БЛИЗКОЕ ПРОШЛОЕ

Орест Высотский

Николай Гумилев глазами сына

Библиотека мемуаров

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Ядро настоящего сборника составляют впервые публикуемые в полном объеме биографические записки о ярчайшем поэте Серебряного века Николае Гумилеве, составленные его сыном Орестом Высотским, также поэтом, до конца своих дней работавшим над книгой об отце. Вторая часть сборника — это воспоминания о Николае Гумилеве, собранные и прокомментированные известным специалистом по русской поэзии, профессором Айовского университета (США) Вадимом Крейдом. Эти материалы Крейд расположил «сюжетно» — так, чтобы у читателя создалось наиболее полное представление о драматичной и захватывающей биографии поэта, в эпоху крушения империи воспевавшего державное отечество, отважного воина, путешественника, романтика.

Книга иллюстрирована уникальными фотодокументами.

- О Николае Гумилеве
  - Поэтическая наука побеждать
  - Орест Высотский{1}
    - ГЛАВА I
    - ГЛАВА II
    - ГЛАВА III
    - ГЛАВА IV
    - ГЛАВА V
    - ГЛАВА VI
    - ГЛАВА VII
    - ГЛАВА VIII
    - ГЛАВА IX
    - ГЛАВА X
    - ГЛАВА XI
    - ГЛАВА XII
    - ГЛАВА XIII
    - ЭПИЛОГ
  - Воспоминания современников о Н. С. Гумилёве
    - Дмитрий Кленовский{3}
    - Александр Биск{4}
    - Андрей Белый{7}
    - Алексей Толстой{8}
    - Сергей Маковский{24}
    - Сергей Маковский{39}
    - Черубина де Габриак{59}
    - Максимилиан Волошин{62}

        - Иоганнес фон Гюнтер{67}
        - Сергей Маковский{76}
        - Анна Гумилева{82}
        - Андрей Белый{100}
        - Вера Неведомская{101}
        - Бенедикт Лившиц{108}
        - Надежда Тэффи{111}
        - Бронислава Погорелова{115}
        - Георгий Иванов{116}
        - Николай Оцуп{126}
        - Николай Оцуп{136}
        - Георгий Адамович{147}
        - Юрий Анненков{152}
        - Леонид Страховский{157}
        - Владислав Ходасевич{160}
        - Андрей Левинсон{172}
        - Вера Лурье{180}
        - Александр Амфитеатров{184}
        - Борис Сильверсван
        - Георгий Адамович{194}
        - Василий Немирович-Данченко{198}
    - Иллюстрации
- notes
    - Примечания
        - 1
        - 2
        - 3
        - 4
        - 5
        - 6
        - 7
        - 8
        - 9
        - 10
        - 11
        - 12
        - 13
        - 14
        - 15
        - 16
        - 17
        - 18
        - 19
        - 20

- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28

- Комментарии
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25
  - 26
  - 27
  - 28
  - 29
  - 30
  - 31
  - 32
  - 33
  - 34
  - 35

- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79

- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123

- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167

- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207

О Николае Гумилеве

Поэтическая наука побеждать
Вступительная статья

Есть символический смысл в том, что эта книга воспоминаний о Николае Гумилеве выходит именно теперь, в начале XXI века, когда прошел первый бум интереса к поэту после снятия цензурных запретов. После впервые открыто отмеченных юбилеев — 100-летия и недавнего 115-летия — со дня рождения Гумилева. После возвращенного едва ли не в полном объеме творческого наследия одного из самых ярких и трагических представителей Серебряного века. После периода, когда вокруг имени Николая Гумилева было, пожалуй, больше внешнего ажиотажа и внимания к нему как к любому запретному плоду, как к жертве большевистского террора, как к вечному антагонисту Александра Блока и даже как к мужу Анны Ахматовой, посвятившей ему немало лирических шедевров. Витало в воздухе и полудетективное любопытство в виде интригующих вопросов: сфабриковано все-таки или нет «дело Таганцева», участвовал Гумилев в подготовке контрреволюционного мятежа или нет?

Свою положительную роль в ту пору сыграла первая после снятия идеологической опалы мемуарная книга «Николай Гумилев в воспоминаниях современников» (1990), составленная профессором Айовского университета (США) Вадимом Крейдом, поэтом и историком литературы русского зарубежья. Из мозаичных, кратких и неравноценных по содержанию воспоминаний можно было составить некий образ и предварительный портрет замечательного неординарного человека, значение которого для отечественной культуры всем нам еще только предстоит осознать.

И вот теперь, когда в обществе наступило запоздалое отрезвление от свободы «без берегов» и когда, в частности, творчество Гумилева осталось лишь на поле литературы и эстетических оценок, вне сиюминутной злобы дня, — настало время для более глубокого и несуетного собеседования с поэтом. Для действительного осознания его значения в контексте того уникального в истории мировой культуры нового Ренессанса, который мы называем Серебряным веком. Тем более это важно узнать и понять, что в русской литературе, в российской судьбе значение поэта, писателя, художника всегда связано с его предназначением, с его исторической задачей, с тем, что Баратынский называл «поручением» («Дарование есть поручение…»). А в личности Николая Гумилева это

предназначение, это поручение — как ни в ком другом из его великого окружения — наиболее характерно и резко явлено и накладывает отпечаток не только на весь его жизненный путь, но и на посмертные его отношения с историей. Он был одним из немногих, если не единственным, в той талантливейшей плеяде Серебряного века, кто не соблазнился разрушительной безответственностью русской интеллигенции начала столетия, теми болезненными и дурманящими «цветами зла» декадентства, игрою в порок и в экзальтированное отрицание тысячелетней истории России, всем тем, что и способствовало наряду с другими глубинными процессами истории погибели великой страны. В сущности, в Гумилеве мы можем с поздним воздыханием видеть, какою могла быть Россия в XX веке, пойди она не за разрушителями, а за такими людьми, как он. В нем было душевное здоровье, сознательно воспитанное физическое упорство, духовное родство с верой и мужеством его героических предков, ведущих свое начало от двух главных для русского государства линий — священнической и военной. Блестящий поэт и критик с безупречным вкусом; отчаянный и увлеченный путешественник; бесстрашный военный, добровольно ушедший на фронт в гущу боевых действий; покоритель женских сердец; монархист-государственник, не скрывавший своих взглядов от узурпировавших власть большевиков. Поистине он был русским европейцем. Как Пушкин, Карамзин, Лермонтов. В нем, в его пути, в его личности — для видящих и слышащих — открывалась альтернатива новейшей истории России. В его поэзии, в его мировоззрении, в его характере была воля к будущему, или, говоря словами его сына, Льва Гумилева, «пассионарность». Неслучайно он называл себя «рыцарем счастья». Вот почему так насущно именно сегодня подлинное открытие для нашего времени судьбы и творчества Николая Гумилева. России всегда, а в наше время как никогда прежде, недоставало и недостает философии счастья, радости, философии трезвого взгляда на обстоятельства, воли к ежедневной победе, чтобы мы надеялись не на «авось», а на собственные силы, на осознанную целеустремленность к светлой стороне жизни. Мощный заряд такой целеустремленности несет в себе мужественная, жизнелюбивая поэзия Николая Гумилева. Потому он с полным основанием мог в стихотворении «Мои читатели» говорить не только о своих современниках, но и о нас:

…Я не оскорбляю их неврастенией,
Не унижаю душевной теплотой,
Не надоедаю многозначительными намеками

На содержимое выеденного яйца,
Но когда вокруг свищут пули,
Когда волны ломают борта,
Я учу их, как не бояться,
Не бояться и делать, что надо.
И когда женщина с прекрасным лицом,
Единственно дорогим во вселенной,
Скажет: «Я не люблю вас», —
Я учу их, как улыбнуться,
И уйти, и не возвращаться больше.
А когда придет их последний час,
Ровный, красный туман застелет взоры,
Я научу их сразу припомнить
Всю жестокую, милую жизнь,
Всю родную, странную землю
И, представ перед ликом Бога
С простыми и мудрыми словами,
Ждать спокойно Его суда.

Чтобы понять истоки этой поэзии, характер человека, написавшего такие стихи, чтобы разобраться в причине его гибели и в том, почему Россия в начале XX века отвергла для себя исторический вектор, носителем которого были люди, подобные Николаю Гумилеву, — мало знать творчество поэта. Необходимо войти в исторический, культурный, общественный контекст его биографии, его времени. И здесь как раз актуальным становится все, что касается жизни этого выдающегося человека, его отношений с эпохой, с современниками, с самим собой, наконец. Во многом на эти вопросы отвечает новая книга воспоминаний о Николае Гумилеве. Впервые в ней публикуется биография поэта, написанная сыном Н. Гумилева Орестом Николаевичем Высотским. В биографии (наиболее полной) замечательно соединены жанр воспоминаний, благоговейное волнение летописца семейных преданий, строгость исследователя, тактичная пристрастность сына, гордящегося своим великим отцом, непримиримая твердость в отношении к излишне вольным интерпретаторам драматических поворотов на жизненном пути поэта. Это многолетний труд О. Высотского, до публикации которого он, как и его брат по отцу Л. Гумилев, к сожалению, не дожил. Но читатель сможет оценить мужественность и традиционное благородство стиля воспоминаний О. Высотского, прожившего долгую и трудную жизнь, ученого и поэта, участника Великой Отечественной войны, побывавшего и в сталинских

застенках, оказавшегося после распада СССР за границей, в Молдавии, и похороненного там, в чужой земле Тирасполя. Думаю, что Николай Гумилев был бы доволен своими сыновьями, они ни в чем и никогда не посрамили имени отца. Как написал О. Высотский: «Потомки поэта Гумилева старались достойно продолжить традиции рода».

Мемуары других авторов составлены и прокомментированы В. Крейдом. Это материалы, которые не попали в книгу «Николай Гумилев в воспоминаниях современников» либо вошли в нее в сокращенном виде. Верю, что с появлением новой книги о жизни поэта не только читатель дождался глубокого и серьезного знакомства с ним, но и Николай Гумилев, окончательно и бесповоротно вернувшись через десятилетия в родное Отечество, дождался того читателя, к которому обращался когда-то, не сомневаясь, что этой встречи никто и ничто отменить не может:

…Пусть он придет! Я должен рассказать,
Я должен рассказать опять и снова,
Как сладко жить, как сладко побеждать
Моря и девушек, врагов и слово.

Геннадий Красников

Орест Высотский[1]
Николай Гумилев глазами сына

ГЛАВА I
Родословные корни

Хотя этого ждали и к нему готовились, но, как всегда, начавшиеся ночью предродовые схватки вызвали переполох. В доме все проснулись, горничную послали за акушеркой, кухарка, на кухне громыхая кастрюлями, принялась разжигать плиту, чтобы согреть воду, старая нянька то и дело подходила к окну, стараясь сквозь шум дождя услышать подъехавшего извозчика, а затем семенила в спальню к роженице, подбадривая ее:

— Сейчас, сейчас, барыня, вот приедет Дарья Семеновна, и все будет хорошо, уж потерпите, голубушка.

Наконец послышался цокот подков по булыжной мостовой, и в прихожую вошла женщина в черной шляпе, с плоским чемоданчиком. Степан Яковлевич сам помог ей снять пальто и проводил в гостиную, где сидела его старшая дочь Шурочка, машинально сжимая и разжимая руки и судорожно зевая.

Акушерка с горничной скрылись за дверью спальни, нянька пошла в детскую, откуда послышался плач проснувшегося Мити, и в гостиной наступила напряженная тишина. Только шум дождя и рев ветра с моря стали еще слышнее. Гумилев ходил по комнате, слегка прихрамывая и морщась от ревматической боли, покусывая волоски седеющей бороды, и его тень тоже двигалась по стене и дрожала от колеблющегося пламени свечи. Шурочка продолжала нервно зевать.

В семье ждали девочку. Первенец, Зиночка, умерла, прожив едва полгода, и Анна Ивановна, разрешившись вторым ребенком — сыном Митей, теперь молила Бога послать ей дочь. Для девочки приготовили все приданое: пеленки с кружевами, капоры с розовыми лентами, свивальники.

А за дверью спальни совершалось чудо: в мир приходил новый человек. Что ждет его здесь? Что записано в книге его Судьбы, да и кто может прочесть эту книгу?

Все чаще из спальни слышались стоны и крики роженицы. В столовой стенные часы гулко пробили четыре раза.

— Может, послать бы к отцу Владимиру, открыть Царские врата? — сказала нянька, присаживаясь на краешек стула и вопросительно глядя на барина. Но тот, не останавливаясь, ходил вдоль стола, покусывая бороду и не отвечая на вопрос.

Наконец из спальни раздался громкий женский крик, и следом слабый, тоненький плач младенца.

— Ну, слава те господи, — перекрестилась нянька. Мелко

закрестилась Шурочка — кого-то ей послал Бог: сестричку или братика? Живя в доме отца, Шурочка успела привязаться к мачехе, всегда такой спокойной, выдержанной, доброжелательной. Степан Яковлевич остановился и истово перекрестился на образ, перед которым мигал красный огонек лампадки.

Но вот дверь спальни открылась, и акушерка, торжественная, как жрец, вошла в гостиную, неся на вытянутых перед собой руках младенца, закутанного в пеленки.

— Поздравляю, Степан Яковлевич, с сыночком, — сказала она низким, мужским голосом.

— Значит — это мой новый братик Коленька, — радостно улыбаясь, воскликнула Шурочка, стараясь разглядеть в пеленках сморщенное красное личико. Она помнила, что отец говорил: «Если будет сын, назовем его Николаем, ведь святой Николай — покровитель всех моряков». Сильный порыв ветра потряс оконные ставни.

— Ишь, какая буря-то разыгралась, — сказала нянька, — у Колечки, видно, жизнь будет бурная, это уж верная примета.

Сквозь щели в ставнях уже синело утро нового дня — 3 апреля 1886 года.

Через две недели, 15 апреля, протоиерей Кронштадтской госпитальной Александро-Невской церкви Владимир Краснопольский окрестил ребенка в квартире Гумилевых по Екатерининской улице. Сына, как и было задумано, назвали Николаем. Восприемниками, то есть его крестными, были: шурин Гумилева, капитан первого ранга крейсера «Варяг» Лев Иванович Львов, и семнадцатилетняя дочь Гумилева от первого брака — Александра Степановна, Шурочка, как ее называли дома.

Нечасто можно встретить семьи, в которых не было бы своих преданий о дедушках, бабушках, прадедушках и прабабушках, а то и о вовсе легендарных предках. Были такие предания и в семье Гумилевых. Правда, Степан Яковлевич, всегда суровый и замкнутый, ничего не говорил о своих родителях и близких, не любил разговоров о раннем детстве. Анна Ивановна из природного такта не проявляла любопытства, только порой в разговоре с падчерицей упоминала, что отец происходит из духовного сословия Рязанской губернии. Правда, о своих предках, старой дворянской фамилии Львовых, Анна Ивановна рассказывала охотно.

Происхождение Николая Степановича Гумилева оказалось неясным. Уже в глубокой старости дочь Степана Яковлевича, Александра Степановна Сверчкова, в Семейной хронике упомянула только в нескольких словах, что дед, Яков Гумилев,

хотел пустить своего сына Степана по духовной части и требовал, чтобы тот поступил в духовную академию. Но кто был Яков Гумилев, что делал в жизни, она не упоминает. Невестка Н. С. Гумилева, Анна Андреевна Гумилева, урожденная Фрейнганг, в воспоминаниях писала, скорее всего со слов свекрови, что «дедушка поэта, Яков Степанович, был уроженцем Рязанской губернии, владелец небольшого имения, в котором он хозяйничал. Скончался он, оставив жену с шестерыми малолетними детьми». Степан Яковлевич, отец поэта, был старшим сыном в этой многодетной семье. Запись позволяет предположить, что дед Николая Степановича был пусть и не богатый, но помещик и дворянин. Более определенно это утверждает Г. П. Струве в статье «Н. С. Гумилев. Жизнь и личность»: «… дед поэта, Яков Степанович, был помещиком, владельцем небольшого имения Березки в Рязанской губернии». Опровергает это В. Лукницкая, опубликовавшая материалы, собранные ее покойным мужем, Павлом Лукницким. В ее работе написано: «Отец поэта, Степан Яковлевич Гумилев, родился в селе Желудеве Спасского уезда Рязанской губернии, в семье церковнослужителя».

Далее Лукницкая сообщает, что Степан Яковлевич «рос и воспитывался в Рязани у старшего брата Александра, который учительствовал в духовной семинарии». Как видим, сведения противоречивы.

Чтобы разобраться в происхождении Гумилева, пришлось обратиться в Рязанский государственный архив, размещенный в кремле. Здесь и отыскали толстую книгу с пожелтевшими шершавыми листами, исписанными поблекшими от времени чернилами мелким, тонким почерком. В книгу вписаны все крещенные в Христорождественской церкви села Желудева в далеком 1836 году. А вот и нужная нам запись: «Двадцать осьмого июля у дьячка Якова Федотова и его законной жены Матрены Григорьевой родился сын Стефан, крещен он был второго августа священником Алексеем Васильевым Городновским и диаконом Димитрием Васильевым, восприемники: Рязанский цеховой Иуда Артамонов и помещика Михайла Иванова Смольянинцева дочь, девица Александра Михайловна». Ни фамилии родителей Стефана, ни их возраста не указано.

И возникает сомнение: да точно ли дьячок из Желудева, этот Яков Федотов и его жена Матрена Григорьевна и есть родные дедушка и бабушка поэта Гумилева? Может быть, это ошибка, тем более что биографы всегда называли деда Яковом Степановичем, а не Федотовичем.

Постараемся мысленно перенестись на два столетия назад и

представить себе село Желудево: ряд потемневших деревенских изб, крытых соломой, господский дом на взгорке, побеленную кирпичную церковь за каменной оградой и рядом приземистые дома церковного причта — священника, дьякона, псаломщика. Обратимся к архивным записям о церковном причте села Желудева «с изъявлением между ними родства и при том, есть ли дети мужеска пола и каких лет, и чему обучены, кто куда выбыл или помер».

Этот любопытный документ проливает свет на происхождение Николая Степановича Гумилева.

Священником Христорождественской церкви села Желудева Спасского уезда с 1790 года тридцать лет служил Григорий Прокопьевич Гумилев. Были у него сын Федор, родившийся в 1797 году, и дочь Матрена, 1800 года рождения. Федор Григорьевич закончил духовную семинарию в Рязани, женился на Февронии Ивановне и имел от нее двух сыновей: Николая и Сергея, впоследствии ставших преподавателями семинарии. Дочь, Матрену Григорьевну, выдали замуж за дьячка Христорождественской церкви Якова Федотовича, сына дьякона. Яков Федотович родился в 1790 году, в декабре 1813 года был определен на место дьячка[1]. В архивных документах 1833 года он назван по имени и отчеству, но без фамилии, в записи 1845 года он назван Яковом Федотовичем Гумилевым, а в записи 1851 года — Яковом Федотовичем Пановым.

В 1820 году Григорий Прокопьевич умер, и приход по наследству получил его сын, Федор Григорьевич, шурин дьячка Якова Федотовича. Скончался отец Федор в 1835 году, умер к тому времени и дьякон Федот Панов.

У Якова Федотовича и Матрены Григорьевны было не шестеро детей, как сообщают некоторые биографы, а семеро. Старший был сын Василий, он родился в 1820 году, в 13 лет поступил в Скопинское уездное училище, но дальнейшая его судьба неизвестна. Второй сын, Александр, который был на три года моложе брата, по окончании духовной семинарии стал священником, с 1844 года был в ней преподавателем. Третьим ребенком была Прасковья, за ней — Григорий, Александра и сын Стефан, ставший отцом Николая Гумилева. Последним ребенком была Пелагея, она родилась, когда отцу шел 52-й год, а матери — 42-й.

Живя в Рязани, священник Александр Яковлевич воспитывал младшего брата Стефана, пока тот учился в семинарии. У самого Александра было трое детей: Александр, Людмила и Софья.

Таким образом, нет сомнения, что Яков Федотович и Матрена Григорьевна — родные дед и бабушка Николая Степановича,

священники Николай и Сергей — его дяди, а Александр, Людмила и Софья — двоюродные брат и сестры.

Путаница в происхождении Гумилева объясняется не только отсутствием родословных хроник (как видим, такие хроники есть), но и нежеланием Степана Яковлевича вспоминать о своем родстве.

Разумеется, сам Степан Яковлевич знал своих отца, мать, братьев и сестер. Не потому ли в семье всегда умалчивалось о его, по тогдашним понятиям, не престижном происхождении, хотя так ли уж оно непрестижно? Скромный дьячок из глухого рязанского села видел предел своих мечтаний в том, чтобы его дети стали священниками в окрестных приходах. Мог ли Яков Федотович представить, что сын Степан станет корабельным врачом, статским советником, внук — знаменитым поэтом, а правнук — признанным ученым-историком?

Так мы познакомились с родословной Гумилева по мужской линии, и на этом можно было бы поставить точку. Но среди потомков поэта упорно держится легенда о том, что известный церковный деятель XIX века, автор многочисленных богословских произведений, архимандрит Харьковский и Черниговский Филарет Гумилевский — близкий родственник деда Николая Степановича, не то его брат, не то дядя. Так ли это?

Из достаточно подробной биографии Филарета Гумилевского, помещенной в русском библиографическом словаре Фабер-Цявловского в 1901 году, узнаем, что Филарет Гумилевский до пострижения в монахи носил имя Дмитрия Григорьевича. Родился он 23 октября 1805 года в селе Конобаеве Шацкого уезда Тамбовской губернии, где его отец, Григорий Афанасьевич, носил фамилию Конобаевский по своему селу. Но когда Дмитрий Григорьевич учился в Тамбовской духовной семинарии, первосвященник Иона, приняв во внимание его маленький рост, всегдашнее послушание и смирение, переменил его фамилию на Гумилевский (от латинского «humilis» — «смиренный»).

Кроме архимандрита Филарета известен и еще Гумилевский Стефан Иоаннович, автор сочинения «Наставление отца сыну-воину…», изданного в Тифлисе в 1855 году. Вероятно, и фамилия Гумилев в давние времена была дана какому-нибудь семинаристу. Но с уверенностью можно сказать, что между Гумилевским и скромными рязанскими Гумилевыми никакого родства нет.

Предки Николая Степановича Гумилева по женской линии все были мелкопоместные дворяне, мужчины служили в армии и участвовали в войнах. В России фамилия эта распространена широко: были князья Львовы, были Львовы-ученые, академики,

писатели, архитектор, революционеры и реакционеры. Вероятно, в отдаленные времена у многих из них имелись общие корни, но роды давно уже разделились и обособились.

Основываясь на семейных преданиях, биограф Гумилева П. Н. Лукницкий пишет, что «пращуру поэта по линии матери Пимену Львову выданы императрицей Елизаветой Петровной жалованные грамоты в Осташковском уезде». Но эти сведения едва ли верны. Действительно, в Новоторжском уезде Тверской губернии жил помещик Пимен Никитич Львов, который родился 20 июня 1626 года в царствование Михаила Федоровича и поэтому не мог получить жалованные грамоты от Елизаветы, царствовавшей сто двадцать лет спустя. Но дело даже не в этой хронологической ошибке, а в том, что Пимен Никитич, хотя и имел большое потомство, не состоял в родстве с Львовыми — предками поэта Гумилева.

Другим легендарным предком в семье считали татарского князя Милюка, когда-то перешедшего на службу к русскому царю. Был ли Милюк князем, сохранил ли этот титул, предание не поясняет, но, вспоминая рассказы матери, Николай Степанович писал:

> … Мне чудится (и это не обман),
> Мой предок был татарин косоглазый,
> Свирепый гунн… Я веяньем заразы,
> Через века дошедшей, обуян…
> Но все это семейные легенды.

В начале XVIII века в селе Васильевском Старицкого уезда Тверской губернии жил дворянин Василий Васильевич Львов. Поместье было крошечное, Львов владел всего-навсего 32 крепостными мужиками. Сын его Лев в 90-х годах женился на Анне Ивановне, дочери помещика Ивана Федоровича Милюкова, в приданое за ней дано было сельцо Слепнево Бежецкого уезда Тверской губернии, в котором, как значится в документе 1842 года, «движимого имения находится… шестьдесят четыре мужеска полу душ».

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что прадедом и прабабушкой поэта Гумилева со стороны матери были Лев Васильевич и Анна Ивановна Львовы.

Лев Васильевич родился в 1764 году. 1 мая 1770 года шестилетним ребенком, провожаемый слезами матери, няньки и прочих домочадцев, был увезен из родительского дома и отдан в Сухопутный шляхетский кадетский корпус.

Желая содействовать правильному воспитанию в русском

обществе, Екатерина Великая лучшим для этого средством считала воспитать «новую породу или новых отцов и матерей», которая должна была вырасти в воспитательных училищах под надзором опытных педагогов, в разобщении с семьей и обществом, дабы уберечь молодежь от вредного влияния окружающей среды. Разумеется, такому воспитанию подлежали только дети дворян, и с 1764 года в России были учреждены кадетские корпуса. Целых пятнадцать лет юного Львова муштровали в таком корпусе, и наконец в феврале 1785 года он был направлен в артиллерийский полк в чине поручика.

Через два года возобновилась война с Турцией, и молодой офицер уехал в действующую армию. Он участвовал в штурме Очакова и за проявленную храбрость был произведен в капитаны. Он отличился и при взятии крепости Измаил. Армией командовал Суворов. Вполне возможно, что Лев Васильевич видел фельдмаршала, а может быть, даже говорил с ним.

С окончанием войны Львов был уволен от службы в чине секунд-майора и через несколько лет женился на Анне Ивановне Милюковой, поселившись в Слепневе, ставшем с тех пор родовым имением Львовых. Но Лев Васильевич не ушел в отставку, а целых семнадцать лет, до апреля 1808 года, служил пятисотенным начальником в подвижном земском войске, за что был награжден золотой, на Владимирской ленте, медалью. Он был избран судьей Бежецкого уездного суда, оставался в этой должности с 1809 по 1812 год. Умер Лев Васильевич 10 января 1824 года, оставив вдову и двух сыновей.

Старший, Константин, родился в 1803 году, был мичманом на флоте, но умер, не прожив и сорока лет, в 1842 году.

Младший, Иван, родной дед поэта Гумилева со стороны матери, родился в Слепневе 6 октября 1806 года. Четырнадцатилетним подростком его отдали в морской кадетский корпус. Трудно сказать, почему уроженцы далеких от моря губерний стали моряками.

В мае 1824 года Иван Львович был выпущен из кадетского корпуса гардемарином, а в марте 1827 года произведен в мичманы и направлен в третий флотский экипаж в Кронштадт. Плавал он на парусных корветах и фрегатах, пять раз бывал в дальних походах, «кампаниях», как тогда говорили, длившихся по полгода.

В 1828 году опять началась война с Турцией. Поводом на этот раз было восстание в Греции против турецкого ига, и Россия пришла на помощь порабощенным единоверцам. Мичман Львов на корабле с моря участвовал в сражениях у крепостей Анапа и Варна. В следующем году под стенами крепости Пендраклия

принял бой, в котором был сожжен 60-пушечный турецкий корабль, а возле крепости Акчесар потоплен 26-пушечный вражеский корвет. Затем Львов принимал участие в блокаде и взятии городов Месемерии и Мидии.

За храбрость и отличие в боях Иван Львов был награжден орденом Святой Анны 3-й степени с бантом.

По мирному договору, заключенному с Турцией в 1829 году, Россия приобрела левый берег нижнего Дуная, а княжества Валахия, Молдавия и Сербия освободились от турецкого ига и стали под покровительство России.

За участие в войне Иван Львович получил серебряную медаль на Георгиевской ленте и 14 февраля 1834 года был уволен со службы в чине лейтенанта[2].

Проведя молодость в морских походах и сражениях, Иван Львович, как когда-то его отец, как множество таких же мелкопоместных дворян, поселился в своем родовом Слепневе. Имение было маленькое, в деревушке насчитывалось не больше сорока изб с ригами, амбарами, хлевами да барский бревенчатый дом с мезонином среди берез и нескольких дубов; и тут же маленький пруд, густо покрытый ряской, с желтыми кувшинками и водяными лилиями. Не эту ли картину вспоминал поэт Гумилев:

Дома косые, двухэтажные
И тут же рига, скотный двор,
Где у корыта гуси важные
Ведут немолчный разговор.

В садах настурции и розаны,
В прудах зацветших караси, —
Усадьбы старые разбросаны
По всей таинственной Руси.

(«Старые усадьбы»)

Вскоре по возвращении домой Иван Львович женился на Юлии Яковлевне Викторовой, дочери помещика Курской губернии, девушке, лет на 16 моложе Львова. Но прежде чем говорить об этой новой семье, надо сказать еще об одном прадеде Гумилева со стороны матери — о Якове Алексеевиче Викторове.

Молодой офицер Викторов участвовал в Аустерлицком сражении, был тяжело ранен и вынесен на руках своим верным денщиком Павликом, который и привез барина в родовое имение Викторовку Старо-Оскольского уезда.

Оправившись от ранения, Яков Алексеевич не вернулся на службу, а остался в своем имении до самой смерти. Он рано овдовел и после замужества дочери жил со своими внучками — Агатой и Аней Львовыми. Старшая, Агата, вела домашнее хозяйство, а на обязанности Ани лежало чтение вслух газет, причем дедушка требовал, чтобы она читала честно — все, от доски до доски. Он имел хорошую пенсию, за которой раз в три месяца ездил в Старый Оскол. Иногда во двор усадьбы заезжали венгерцы в расшитых черными шнурами безрукавках и мягких сапогах, они продавали пряности, духи, пудру, даже браслеты, перстни и дорогие меха. Дедушка покупал все, что хотелось внучкам, и обязательно шелковой материи на «смертный» халатик для себя, причем выбирал самые яркие цвета, так как зрение у него было испорчено.

Мало-помалу он впал в детство, и когда его спрашивали, сколько ему лет, всегда отвечал: «Без двух девяносто», хотя было уже, вероятно, больше ста. Павлик, такой же старый, как и его барин, все время сидел в людской на печке, и когда зашедший туда Яков Алексеевич спрашивал: «А что, Павлик, какая нонче погода?» — неизменно отвечал: «Поземная поперла», хотя на дворе светило солнце.

Дожив до глубокой старости, Яков Алексеевич интересовался решительно всем, но особенно много думал о собственной смерти. У него было множество «смертных» халатов, которым время от времени он делал смотр, примерял на себя или посылал халатик в подарок соседу-покойнику, а то и больному. Гроб он тоже велел для себя сделать заранее и примерялся, удобно ли в нем будет лежать. Однажды ему захотелось услышать, как его станут отпевать, и он страшно обиделся, когда священник отказал ему в этом.

— Вот, — говорил он, всхлипывая, — до чего я дожил, и панихиду по мне не хотят петь.

Пришлось, чтобы его успокоить, отпеть умершего в это время одного из дворовых, тоже Якова. Отпевание было очень торжественное, со свечами и певчими, чувствительные бабы плакали в голос, и дедушка остался очень доволен.

После смерти Якова Алексеевича внучки продали доставшееся им в наследство имение, отложив деньги на будущие свадьбы.

Но возвратимся к рассказу об Иване Львовиче Львове. После военной службы он еще несколько лет служил в Москве директором какого-то училища, как о том сообщает А. С. Сверчкова, и вышел в отставку в чине коллежского асессора[3].

Был Иван Васильевич высокий, худощавый мужчина с тонкими чертами лица и слегка вьющимися волосами, по натуре очень добрый, но страшно вспыльчивый. Он мог раскричаться из-за пустяка, хлопнуть дверью, а через полчаса как ни в чем не бывало улыбаться и разговаривать. В семье со смехом вспоминали, как, собираясь в пасхальную ночь к заутрене в Градницы, он так горячился и торопил всех, что дочь Агата впопыхах надела новое платье наизнанку и обнаружила ошибку, только приехав в церковь. По вечерам, усевшись в мягкое кресло, любил Иван Васильевич вспоминать о былых походах и морских сражениях. В его кабинете по стенам висели карты с нанесенными на них пунктирами его походов, в шкафу стояли книги с лоциями морей и океанов, описанием боевых кораблей и дальних плаваний.

Как пишет Сверчкова, Ивана Львовича очень любили за его доброту и справедливость. Когда он скончался, крестьяне все восемь верст до Градницы несли гроб на руках, не позволяя поставить на катафалк.

После кончины мужа Юлия Яковлевна осталась хозяйкой имения. Она была тихая старушка, любила кутаться в большую шаль, вечерами, сидя у лампы, вязала из шерсти носки и варежки, по воскресеньям на паре лошадей ездила к обедне в Градницы. В доме, в людской, постоянно жили прохожие, нищие или просто богомольцы, идущие к святым местам. Хотя после отмены крепостного права вести хозяйство стало трудно — в некоторых усадьбах были волнения крестьян, даже поджоги, — но в Слепневе все обошлось спокойно. В 1880 году Юлия Яковлевна тихо скончалась.

У Львовых было пятеро детей: два сына и три дочери. Старший, Яков Иванович, родился в августе 1836 года, поступил в морской кадетский корпус, но из-за своего вспыльчивого, невоздержанного характера не мог перенести железную дисциплину и перешел в сухопутный корпус, окончив который, служил офицером в пехотном полку. Вскоре он вышел в отставку, женился, взяв за женой поместье, и занялся хозяйством. Был Яков Иванович умелый хозяин и добрый семьянин, он очень любил детей, но детей у них не было, и супруги взяли из приюта девочку, удочерили и впоследствии выдали замуж за железнодорожного служащего Македонского.

Второй сын, Лев Иванович, родился 11 февраля 1838 года, окончил, как и его отец, морской кадетский корпус и всю жизнь прослужил на флоте, много раз бывал в дальних плаваниях, командовал военными кораблями и вышел в отставку контр-адмиралом. Он был женат на Любови Владимировне Сохатской,

но детей не имел. Адмирал часто болел, ездил лечиться то на Кавказ, то в Старую Руссу на грязи, жена и прислуга Аннушка старательно за ним ухаживали, но здоровье не поправлялось, и Лев Иванович умер в Старой Руссе. Тело его перевезли в Градницы и похоронили на родовом кладбище.

После смерти Льва Ивановича поместье перешло его сестрам, но хозяйничала в нем по-прежнему Любовь Владимировна. По семейным воспоминаниям, это была рачительная хозяйка и очень добрая женщина. Она всегда покупала в аптеке нужные лекарства и давала их всем заболевшим, которые к ней приходили, а нередко и сама шла в избу к больному. По праздникам из деревни на помещичий двор приходили крестьяне, и Любовь Владимировна всех одаривала подарками или деньгами.

Революционные настроения в России 1905 года, когда повсюду пылали помещичьи усадьбы, сказались и на Слепневе. Весной в престольный праздник Девятой пятницы в окрестные села наехала из Петербурга и Твери молодежь — студенты и семинаристы, которые принялись подбивать крестьян к погрому барских усадеб. Во двор Львовых явилась толпа подвыпивших парней. Любовь Владимировна вышла к ним, спрашивая, чего они хотят. Парни потребовали деньги на водку и, получив несколько рублей, ушли. А на рассвете один деревенский парень, сильно пьяный, залез в окно спальни с добытым откуда-то револьвером. Любовь Владимировна, знавшая юношу чуть не с пеленок, закричала: «Андрюша, сынок, что это ты задумал?!» Парень точно очнулся, бросил револьвер и выскочил, а барыня от потрясения упала в обморок. Когда на утро конная стража, вызванная управляющим, арестовала нескольких участников беспорядков, Любовь Владимировна поехала в Бежецк и просила отпустить задержанных.

Перенесенные волнения отразились на ее здоровье. Она не хотела оставаться в деревне, уехала в Москву, взяв с собой прислугу Аннушку, но прожила недолго и вскоре умерла.

Старшая дочь Львовых, Варвара, была, по свидетельству Сверчковой, красавица: высокая, стройная, с чудесными вьющимися волосами, приветливая и веселая, она пользовалась большим успехом в бежецком обществе. Выйдя за командира стоявшего в городе лейб-гвардейского уланского полка Фридольфа Ивановича Лампе, она вскоре овдовела и с сыном Иваном и дочерью Констанцией поселилась в Москве, где была классной дамой в Институте благородных девиц. Сын учился в гимназии, дочь — в консерватории, а закончив учение, вышла замуж за ротмистра лейб-егерского полка Александра Дмитриевича Кузьмина-Караваева. По свидетельству Сверчковой,

это был нервный, желчный человек, он постоянно беспричинно ревновал жену и ненавидел тещу, Варвару Ивановну. И все же Констанция Фридольфовна прожила с мужем почти тридцать лет.

Можно было не упоминать столь дальних родственников, если бы пути семьи Кузьминых-Караваевых не переплелись с семьей Гумилевых. Поэтому проследим судьбу этой семьи дальше.

У Кузьминых-Караваевых были сын Сергей и две дочери — Ольга и Мария. Имение их Борисково находилось неподалеку от Слепнева; то в Борискове, то в Слепневе собиралось многочисленное общество: братья Александра Дмитриевича, их жены, дети. Летом из Петербурга приезжали Николай Степанович с Анной Ахматовой, под старость в Слепневе поселилась и Варвара Ивановна, которую все в семье называли тетей Варей.

Среди собиравшихся в Слепневе и в Борискове часто бывала Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева, урожденная Пиленко, женщина большой трагической судьбы. Дочь агронома и царской фрейлины, Пиленко родилась в 1891 году, а в 17 лет вышла замуж за сына профессора, юриста Дмитрия Владимировича Кузьмина-Караваева, племянника Александра Дмитриевича.

В Петербурге Елизавета Юрьевна серьезно увлеклась поэзией, выпустила сборник стихов «Скифские черепки», замеченный А. Блоком. О юной поэтессе писал в «Аполлоне» Н. Гумилев: «Е. Кузьмина-Караваева принадлежит к числу поэтов-однодумов. Ее задача — создать скифский эпос, но еще слишком много юношеского лиризма в ее душе, слишком мало глазомера… Игра метафорами, иногда не только словесными, догматизм утверждений туманно-мистического свойства — все это плохая помощь при создании эпоса. От него остались только черепки, но, к чести поэта, черепки подлинно скифские… Я думаю, что эти черепки имеют много шансов слиться в цельный сосуд, хранящий драгоценное миро поэзии…»

Дальнейшая судьба Елизаветы Юрьевны складывается драматически. В годы революции она уезжает на Кубань и как член партии эсеров в 1918 году возглавляет городской совет Анапы, организует реквизии помещичьих владений. Когда деникинцы заняли город, Кузьмину-Караваеву арестовали, ей грозил расстрел. Но военный трибунал неожиданно вынес удивительно мягкий приговор: две недели тюрьмы. А затем Елизавета Юрьевна, оставившая первого мужа, становится женой деникинского генерала, министра Кубанской рады Д. Е. Скобцова. С 1920 года она с мужем в эмиграции, в Париже. Там она становится монахиней в миру под именем мать Мария. Во время немецкой оккупации как участница Сопротивления была

арестована немцами и погибла в газовой камере нацистского лагеря Равенсбрюк 31 марта 1945 года, за месяц с небольшим до конца войны.

Сохранилась фотография, сделанная Ольгой Оболенской в Слепневе в июле 1911 года. На снимке: Мария Александровна Кузьмина-Караваева (Маша), Елизавета Юрьевна, Анна Андреевна Ахматова, Маруся Сверчкова, трое Кузьминых-Караваевых — Борис Владимирович, его брат Михаил и сестра Екатерина, художник Дмитрий Бушен и брат Елизаветы Юрьевны — Митя Пиленко.

Однако пора вернуться к семье Ивана Львовича Львова.

Средняя дочь Львовых, Агата Ивановна, очень неудачно вышла замуж за жандармского офицера, человека сильно пившего и во хмелю буйного. Его никогда не принимали в семье Львовых, где Агата Ивановна, захватив сына, укрывалась на несколько дней, а то и недель, пока супруг не начинал писать покаянные письма.

Младшая дочь Львовых, Анна Ивановна, родилась 4 июня 1854 года. Но прежде чем говорить о ней, надо вернуться к Степану Яковлевичу Гумилеву.

Существует версия, что он окончил с отличием гимназию в Рязани и, вопреки воле отца, поступил в Московский университет. Об этом писали А. С. Сверчкова и А. А. Гумилева. В действительности Степан Яковлевич в 1850 году поступил в Рязанскую духовную семинарию и «по окончании полного курса среднего отделения вследствие его прошения для продолжения ученья в светском учебном заведении, при согласии его родителей, был уволен из училищного ведомства». В 1856 году двадцатилетний семинарист Гумилев поступил на медицинский факультет Московского университета. Выходец из бедной семьи, Гумилев старательно учился и получил право на государственное содержание, то есть бесплатное обучение и стипендию.

В это время в Желудеве скончался его отец, и студенту пришлось помогать матери деньгами. Продолжая учение, надо было найти заработок. По рекомендации университетского товарища Степан Яковлевич получил место репетитора в семье члена губернского суда Некрасова и начал давать уроки его дочери за стол и комнату. Для получения прав на репетиторство требовалось выдержать экзамен; в 1858 году Гумилев был аттестован на звание школьного учителя.

Девушку, которой Степан Яковлевич давал уроки, звали Анной Михайловной. Здесь мы обратимся к воспоминаниям ее родной дочери Александры Степановны Сверчковой, простив ей несколько сентиментальный стиль повествования.

«Анночка училась музыке в консерватории, но ей особенно трудно давалась математика. Это была тихая, робкая девушка, слабая здоровьем, чрезвычайно милая и приветливая, с чудесным цветом лица и большими синими глазами. Во всей ее фигуре было что-то трогательное, к ней очень подходило стихотворение А. Толстого:

Тебя так любят все; один твой тихий вид
Всех делает добрей и с жизнию мирит.
Но ты грустна, в тебе есть скрытое мученье,
В душе твоей звучит какой-то приговор;
Зачем твой ласковый всегда так робок взор
И очи грустные так молят о прощеньи…

Действительно, суровый приговор тяготел над ее юной головкой. Матери она лишилась вскоре после своего рождения, она умерла от туберкулеза, покормив дочь молоком три месяца. Через год отец женился на другой, мачеха не обижала Анночку, но и не любила. Своих детей у нее не было, она не знала и не умела, как надо обходиться с падчерицей, и, пользуясь ее любовью к музыке, уговорила мужа отдать дочь в консерваторию. Отец не протестовал, тем более что дела службы и домашние дрязги ему чрезвычайно наскучили. Он стал искать развлечений на стороне и был доволен, когда вторая жена приказала долго жить. Анночка плакала, она своей кроткой, любящей душой уже успела привязаться к мачехе. На ее место скоро появилась третья жена, которая забрала все хозяйство в свои руки. Муж не смел пикнуть, а дочка, как улитка, ушла в свою раковинку. Вот в это время у них в доме и поселился молодой, умный и веселый студент, Степан Яковлевич Гумилев».

Часто бывая на хозяйской половине, студент, большой любитель музыки, наслаждался игрой Анночки. Он опасался открыто оказывать знаки внимания скромной девушке, боясь испугать ее, но все более и более, видя ее положение, проникался к ней сочувствием.

Молодые люди полюбили друг друга. Отец Анночки дал свое согласие на брак.

10 июня 1861 года Гумилев окончил полный курс университета, получил звание лекаря и уездного врача и был определен на службу младшим врачом во флотский экипаж. Скромно отпраздновав свадьбу, молодая чета уже 30 августа поселилась в Кронштадте.

Началась новая жизнь. Корабельный врач плавал то на фрегате «Пересвет», то на корабле «Император Николай I», то на

«Князе Пожарском», то на «Варяге». Его молодая жена тяжело переносила сырой, холодный климат Кронштадта, постоянные тревоги и волнения, которые вконец расшатали ее здоровье.

Долго у Гумилевых не было детей. Наконец 29 июня 1869 года родилась девочка, которую нарекли Александрой. Но радость была недолгой: на Анночке сказалась наследственность, она заболела туберкулезом. Муж, как врач, запретил ей кормить ребенка грудью, чтобы болезнь не передалась ребенку. «Грустными глазами смотрела молодая мать, как с ее колен девочка тянется к кормилице, здоровенной бабе-староверке, которая полтора года вливала в ребенка свое несокрушимое здоровье», — пишет Сверчкова. Не без труда Степан Яковлевич в 1871 году добился трехмесячного отпуска с сохранением оклада, повез жену на кумыс в калмыцкие степи, обращался к лучшим, самым дорогим докторам. Ничего не помогало, и ранней весной следующего года Анночка умерла. Выполняя последнюю волю жены, Гумилев отвез ее тело в цинковом гробу в Москву, где у покойной жили совсем одряхлевший отец и две старые, незамужние тетки.

После похорон Шурочка осталась у теток, а ее отец вернулся на службу и в мае ушел на корабле в море.

Шли годы. Врач Гумилев продвигался по службе, был произведен в коллежские советники, получил орден Святого Станислава 3-й степени, публиковал статьи в столичных медицинских журналах. Он редко приезжал в Москву, и Шурочка, почти не знавшая отца, очень его боялась. Строгий смолоду, после смерти жены Степан Яковлевич стал замкнут, суров и деспотичен с окружающими.

Пять лет спустя Степан Яковлевич проводил отпуск с дочерью в Москве, куда приехал его давний приятель, капитан первого ранга Лев Иванович Львов с женой и младшей сестрой Анной Ивановной. Гумилев посватался к девушке, предложение было принято, и 6 октября 1876 года они обвенчались в селе Градницы.

Анне Ивановне было 22 года. Трудно сказать, что побудило богатую и красивую девушку выйти за корабельного врача, сорокадвухлетнего вдовца, имевшего семилетнюю дочь. В самом деле, Анна Ивановна была хороша собой: стройная, с красивым овалом лица и большими серыми глазами. Такой она выглядит на большом овальном портрете, сохранившемся в семейном архиве.

Получив только домашнее воспитание с гувернанткой, Анна Ивановна свободно говорила по-французски, много читала, любила романы Жорж Санд. Она была совершенно лишена кокетства, не ездила на балы, всегда оставалась спокойна, выдержанна, уравновешенна. В семье она была последним

ребенком, при ее рождении Льву Ивановичу шел 49-й год, матери было 40. Может быть, это сказалось и на характере дочери.

Выйдя замуж за Степана Яковлевича, она вся погрузилась в домашнее хозяйство, заботясь о детях и муже, страдавшем от ревматизма, полученного в многочисленных плаваниях. Анна Ивановна убеждала всех, и в первую очередь себя, что прожила жизнь счастливо, и в семье все хорошо.

Каждый год Анна Ивановна, взяв с собой падчерицу, приезжала на все лето в родное Слепнево, где собирались ее родственники: в Слепневе постоянно жила Любовь Владимировна, а овдовев, поселилась и Варвара Ивановна Лампе с детьми — Яней и Катей, как в семье называли Констанцию. Приезжала Агата Ивановна с сыном Борей, иногда наведывался в гости старший Яков Иванович. Степан Яковлевич приезжал в Слепнево редко, он был занят на службе, к тому же не любил большие и шумные компании. Впрочем, и его дочь Шурочка тоже чувствовала себя чужой в этой незнакомой для нее обстановке. Анна Ивановна не обижала девочку, но по натуре она не была ласкова, а Шура привыкла к вниманию московских бабушек.

Для обучения Шуре наняли гувернантку, которая лишь задавала урок и требовала ответа, не стараясь объяснить заданное и как-то приохотить к учению. Происходило это летом, за окном ярко светило солнце, щебетали птицы, хотелось гулять, но гувернантка заставляла сидеть в душной комнате, в то время как сама отправлялась вниз на балкон, где слышался веселый разговор и смех: там по очереди читали вслух какой-нибудь интересный роман.

В детстве Анна Ивановна тоже была поручена учительнице, которая по молодости лет, не умея преподавать, заставляла долбить французские глаголы, наказывая за незнание урока земными поклонами или вязанием чулок. Ее мать, Юлия Яковлевна, поручив дочь знающему, по ее мнению, человеку, ни во что не вмешивалась, всецело поглощенная ведением большого хозяйства. Теперь, помня свое обучение, Анна Ивановна передала падчерицу гувернантке, стараясь избегать конфликтов и больше всего боясь рассердить мужа.

Постепенно у девочки стали крепнуть дурные наклонности: упрямство, злоба, скрытность. Наконец она решила отомстить своей мучительнице: украла у гувернантки наперсток и бросила в колодец. Преступление скоро открылось. Шурочку отдали на воспитание в Институт благородных девиц. Но и здесь проявилось ее упрямство. За какую-то маленькую провинность ее поставили в угол, как поступали обычно и с другими девочками, но, не в пример им, она не стала просить прощения: стояла, презрительно

сжав губы.

Только к четырнадцати годам Шура вернулась в семью отца.

Степан Яковлевич, прослужив на флоте 26 лет, был награжден двумя орденами Святого Станислава, орденом Святой Анны и вышел в отставку в 1887 году в чине статского советника. Он часто болел, не терпел в доме шума, смеха, суеты. Иногда по вечерам собирались сослуживцы, допоздна играли в преферанс или винт, но это не прибавляло в доме веселья.

А. А. Гумилева пишет: «Вскоре после выхода замуж А. И. почувствовала себя матерью, и ожидание ребенка наполнило ее чувством радости. Ее мечтой было иметь первым ребенком сына, а потом девочку. Желание ее наполовину исполнилось — родился сын Дмитрий, через полтора года Бог дал ей второго ребенка… но на этот раз ее ожидание было обмануто, — родился второй сын Николай, будущий поэт». В этих воспоминаниях допущена неточность: сын Дмитрий родился 13 октября 1884 года, то есть лишь на седьмом году брака.

В «Хронике», составленной Сверчковой, есть упоминание еще об одном ребенке Гумилевых, о девочке Зине. Описывая первый год своей жизни в новой для нее семье, среди незнакомых ей людей, Александра Степановна вспоминала, как она, «подобно дикому зверьку, смотрела из угла, как А. И. нянчила свою новорожденную дочку Зиночку…». Ни в каких других воспоминаниях этот ребенок не упомянут, но нельзя не верить падчерице Анны Ивановны, прожившей в доме с семилетнего возраста до замужества. Остается предположить, что Зина была первым ребенком, вскоре умершим, и в кругу семьи не вспоминали это печальное событие.

Итак, у Гумилевых было трое детей: старшая, Шурочка, как ее звали близкие, дочь Степана Яковлевича от первого брака, и два сына — Митя и Коля. Когда Степан Яковлевич вышел в отставку, семья из Кронштадта переехала в Царское Село.

ГЛАВА II
Колдовской ребенок

Ребенок был хилым, слабеньким. Вскоре после родов Анна Ивановна сменила няньку, взяв коренастую, краснощекую, приторно-услужливую бабу, которая, казалось, только и думала, как бы лучше угодить мальчику и барыне.

Анна Ивановна заметила, что Коля пугается шума. В детской установили особый режим тишины, даже днем закрывали ставнями окна. Приятель отца, доктор дворцового госпиталя Данич, советовал оберегать младенца от резких движений, давать ему больше спать и кормить строго по часам.

Похоронив несколько лет назад своего первенца — Зиночку, Анна Ивановна волновалась за новорожденного. Если его старший брат рос крепким, упитанным, уже пытался самостоятельно стоять в кроватке, крепко ухватившись за перекладину, то при виде синеватого, сморщенного личика Коли Анну Ивановну охватывали щемящая жалость и тревога.

Степан Яковлевич получил очередной отпуск, но не поехал лечиться, готовясь с будущего года выйти в отставку. Ему исполнилось 50 лет, все чаще давал себя знать ревматизм, полученный в плаваниях по северным морям, да и легкие беспокоили врачей.

В доме, особенно осенью, ложились рано, а по утрам рано вставали. В тот злополучный вечер легли, как всегда. Анна Ивановна взяла в постель «Консуэло» и, облокотившись на подушку, читала, ожидая, когда ровно в полночь нянька принесет кормить Колю. Вдруг из детской раздался даже не крик, а вопль. Анна Ивановна вся похолодела.

Вбежав в детскую, она обмерла, увидя на руках отца Колю с залитым кровью лицом. На полу валялась бутылка темно-зеленого стекла с отбитым горлышком. Ребенок уже не плакал, он только весь дрожал и судорожно икал. Нянька сидела в углу на стуле с растерянно-глупой улыбкой. Только теперь все поняли — она вдребезги пьяна.

Появился доктор Квицинский, в черном сюртуке, в очках с золотой оправой. Все молча ждали, боясь самого страшного: вдруг глаз вытек? К счастью, оказалось, что глаз цел, но бровь и скула рассечены глубоко, останется шрам.

Действительно, правый глаз у Коли уцелел чудом, а шрам, оставшийся на всю жизнь, создавал впечатление косоглазия.

Ранней весной Степан Яковлевич вышел в отставку, получив

пожизненный пенсион. Той же весной семья переехала из Кронштадта в Царское Село. Городок был небольшой, уютный, тихий, с величественными дворцами, лицеем, тенистыми парками, неширокими улицами. Гумилевы сняли квартиру на Конюшенной улице; жизнь потекла, как спокойная река.

Родителей тревожило здоровье младшего сына; мало того, что мальчик был слабенький, даже на втором году жизни не мог стоять в кроватке, он постоянно страдал головными болями. Доктор определил это как повышенную деятельность мозга. Коля не был плаксив, но ему приходилось закладывать ватой уши, чтобы уберечь от уличного шума, который на ребенка плохо действовал. К трем годам обнаружился еще один недостаток: мальчик говорил невнятно, глухо, точно у него во рту комок ваты. Он не мог произнести не только «р», но и несколько других букв, вместо «вчера» говорил «вцегла».

Отец посчитал, что детям нужна природа: лес, речка, веселые игры на свежем воздухе. Анна Ивановна, выросшая в деревне, с этим соглашалась, и в 1890 году Гумилевы купили небольшое имение, скорее дачу, поблизости от станции Поповка Николаевской железной дороги. В имении было два дома, флигель, конюшня, а главное — небольшое озеро или пруд с островком посередине, поросшим высокими осинами. Озеро окаймляла роща, переходившая в еловый лес.

Первое же лето семья провела в Поповке. Обрывочные воспоминания этой далекой поры подчас дают себя почувствовать в стихах Гумилева, как в этом, опубликованном в его «Посмертном сборнике»:

На утре памяти неверной
Я вспоминаю пестрый луг,
Где царствовал высокомерный,
Мной обожаемый индюк.

Была в нем злоба и свобода,
Был клюв его, как пламя, ал,
И за мои четыре года
Меня он остро презирал.

Ни шоколад, ни карамели.
Ни ананасная вода
Меня утешить не умели
В сознанье моего стыда…

(«Индюк»)

В конюшне стояли лошади, но детям не разрешалось подходить близко, и мальчики лишь издали наблюдали, как конюх ведет их в поводу на пруд, а с лошадиных губ стекают прозрачные капли. Пруд зарос кувшинками, их ослепительно-белые чашечки торчали над зелеными листьями, по берегу рос высокий камыш. Вокруг была роща из берез вперемежку с осинами и липами, а за ней темнел ельник, куда детям ходить одним строго запретили. Но Шурочка любила забираться в самую гущу леса и к болоту, где высились на бледных стеблях цветы, и от них шел тяжелый, дурманящий запах.

Много лет спустя поэт вспомнил эти цветы и болото, называвшееся Драконьим. Вспомнил и написал:

Цветы, что я рвал ребенком
В зеленом драконьем болоте,
Живые, на стебле тонком,
О, где вы теперь цветете?

(«Какая странная нега»)

Осенью семья Гумилевых возвратилась в Царское Село с тем, чтобы на следующий год опять приехать в Поповку, так полюбившуюся детям. Коля заметно окреп, хотя все еще отставал в физическом развитии от брата. Когда Анна Ивановна, сидя на диване, читала сыновьям сказки Андерсена, он готов был часами слушать, прижавшись к маме, про Снежную королеву, а вот Митя не мог долго усидеть на месте, начинал ерзать, рвался во двор поиграть с собакой или залезть на дуб.

Время бежало незаметно и быстро. Шурочка из девочки-подростка превратилась в румяную девушку, на которую стали заглядываться молодые кавалеры. Появились претенденты на ее руку.

Инспектор гимназии, которого Шура почти не знала, вдруг сделал ей предложение через знакомую даму. А потом появился другой претендент на руку и сердце — генерал, ровесник ее отца, вдовец, имевший глухонемого сына, намного старше невесты.

Как раз в это время ранней весной в доме Гумилевых стал бывать офицер пограничного полка, сын художника Леонид Владимирович Сверчков. Это был 27-летний статный красавец с холеными, закрученными усами, черноглазый, жгучий, превосходный танцор. Он недурно играл на скрипке, умел поддержать оживленный разговор, описывая невероятные приключения из жизни на границе.

С первого же вечера офицер вскружил голову неопытной

девушке. Поначалу Сверчков понравился и Степану Яковлевичу, но уже через неделю, когда последовало предложение, Гумилев попросил его больше к ним не приезжать.

Разлученные насильно, молодые люди слали друг другу письма и тайком встречались в Екатерининском парке. Условились, что Сверчков еще раз обратится к Степану Яковлевичу и будет настойчиво просить его согласия. На этот раз он своего добился, отец обещал дать в приданое 10 тысяч. 25 мая 1893 года состоялась скромная свадьба, а вечером того же дня молодожены уехали в Польшу, на кордон Радех, в полутора верстах от Костовиц.

Не прошло с того дня и двух лет, как Сверчков, повздорив с командиром, вышел в отставку и переехал в Петербург. Сняли маленькую квартиру, бывший офицер поступил счетоводом на Путиловский завод. Там Сверчков прослужил недолго: получил место счетовода в правлении Московско-Брестской железной дороги и перевез семью в Первопрестольную. Родился сын Коля, потом — дочь Маруся.

Сверчков часто возвращался домой поздно, навеселе, бурно уверял жену, что скоро они уедут из этой проклятой Москвы, он получит хорошее место и все заживут счастливо. Но это были пустые разговоры. Жили скудно: мизерное жалованье, а расходы все росли. Степан Яковлевич так и не дал обещанных в приданое денег, говоря, что беспутный супруг их все равно промотает. Присылал немного только к праздникам.

Так прожили в Москве три года. Леонид Владимирович слег: у него обнаружилась чахотка. Александра Степановна боялась за детей и вздохнула с облегчением, когда муж скончался.

Пришлось возвращаться к отцу в Царское Село, хотя вдова понимала: ее приезд ни у кого не вызовет радости. К счастью, она скоро поступила учительницей — сначала в школу, а затем в гимназию.

Расставшись со старшей сестрой, Митя и Коля особенно сильно привязались к матери. Часто по вечерам при неярком свете лампы под зеленым абажуром Анна Ивановна любила рассказывать им семейные предания о князе Милюке, далеком предке Львовых, происходившем из татар, когда-то с ордами Батыя разорявших русские города, — он перешел на службу к русскому царю, принял православие и сохранил княжеский титул.

Часто они слушали о своем дедушке Льве Васильевиче, штурмовавшем Очаков, и о другом — Якове Алексеевиче, сражавшемся против Бонапарта.

Колю эти рассказы особенно волновали. Он рисовал в тетрадке им самим придуманные фамильные гербы, вглядывался

в висевшие на стенах портреты предков. В доме был большой альбом с красочными картинами Отечественной войны 1812 года: оборона Смоленска, кавалерийская атака драгун. Бородинское сражение — клубы порохового дыма, гарцующие по полю всадники в ярких мундирах, медные пушки, фельдмаршал Кутузов на низеньком стуле… Анна Ивановна вспоминала, как в Слепневе об этом сражении обступившей его детворе рассказывал седой старик, отставной солдат с серебряными медалями.

Степан Яковлевич тоже много рассказывал сыновьям о своих морских походах. Но рассказывал сухо: перечислял порты, куда заходил их корабль, морские течения, господствующие пассаты и любил, чтобы Николай показывал на большой географической карте гавани, мысы и проливы.

Анна Ивановна рано приобщила сыновей к религии. Из Слепнева она привезла «Bible d'une Grand'mére» — толстую книгу в темно-вишневом переплете со множеством прекрасных иллюстраций. Обычно мать, сидя на диване и положив «Бабушкину библию» на колени, открывала страницу с картинкой и принималась рассказывать, а оба мальчика, сидя рядом, слушали, разглядывая рисунок.

Эти иллюстрации и рассказы матери будоражили воображение Коли. Оставаясь один, он вспоминал подробности, что-то дополняя по собственному разумению. Сколько было потом написано им стихов и поэм на эти древние, но вечно живые темы!

Кроме библейских сказаний мать читала детям и страницы из Евангелия. Мысль об искуплении грехов мученической смертью поразила мальчика — она не покинет Николая Степановича всю его короткую и бурную жизнь. Постоянно он думал о том, как, не жертвуя радостями земной жизни, сохранить свою бессмертную душу, спасти ее для загробной жизни. В сборнике «Колчан» есть стихотворение «Счастье», а там такие строфы:

Ведь я не грешник, о Боже,
Не святотатец, не вор,
И я верю, верю, за что же
Тебя не видит мой взор?
Ах, я не живу в пустыне,
Я молод, весел, пою,
И Ты, я знаю, отринешь
Бедную душу мою!

В мой самый лучший, светлый день,
В тот день Христова Воскресенья,

Мне вдруг примнилось искупленье.
Какого я искал везде.
Мне вдруг почудилось, что, нем,
Изранен, наг, лежу я в чаще,
И стал я плакать надо всем
Слезами радости кипящей.

Коле исполнилось семь лет, и мать на Страстной неделе впервые повела его к исповеди.

— Священник будет задавать тебе вопросы, — объясняла Анна Ивановна, — а ты должен отвечать: «Грешен, батюшка».

— А если батюшка спросит, не убил ли я брата, как Каин, я тоже должен отвечать — грешен?

— Ну, такое батюшка не спросит…

— Почему не спросит? А если спросит, и я скажу «грешен», значит, солгу, а это — грех.

— Священник знает все твои грехи и, конечно, не спросит про убийство.

— Если батюшка все знает, зачем тогда спрашивает?

— Чтобы ты сам сознался перед Богом в своих грехах и тем облегчил свою душу.

Ранним утром в почти пустой церкви слабо колебались огоньки нескольких свечей, посреди, на возвышении лежала плащаница с нарисованным масляной краской телом Христа, а в стороне, у бокового притвора стоял священник в темной рясе, с большим крестом в руке и внимательно смотрел на входивших. Все прошло благополучно. Даже суровый отец поздравил его с принятием Святых Даров и поцеловал в голову.

Много лет спустя Николай Степанович говорил: «Как осторожно надо подходить к ребенку! Как сильно меня поразило, когда я впервые услышал о страданиях Спасителя». Религиозность в нем осталась до конца. Он любил войти в церковь или часовню, когда там почти никого не было, поставить свечку к образу Божьей Матери или Николая Чудотворца, но избегал многолюдных богослужений с большими толпами народа. Подавая милостыню нищим, старался делать это незаметно, точно стыдясь своего милосердия.

В семь лет Коля научился читать и очень полюбил это занятие. Тогда же он стал придумывать фантастические истории о волшебниках, китайских мандаринах, охотниках на львов. Все придуманное рисовал: писать еще не научился.

Настало время поступать в гимназию. Поступать можно было либо через приготовительные классы, либо выдержав экзамен в

первый класс. Родители предпочли второе. Коле предстояло учиться в Царскосельской гимназии, куда уже отдали Митю.

Для подготовки к экзаменам наняли репетитора, студента физико-математического факультета Петербургского университета грузина Газалаву, и осенью 1897 года одиннадцатилетний Николай Гумилев был принят в первый класс. Не успев проучиться и двух месяцев, он заболел бронхитом, у него усилились головные боли. Доктор Квицинский посоветовал не мучить ребенка школьными занятиями, и родители оставили Колю под надзором репетитора.

С утра Багратий Иванович проводил с учеником занятия: Коля охотно изучал географию, живо интересовался историей, зоологией. Читал он бегло, но арифметика давалась с большим трудом.

На смену сказкам Андерсена появились Гюстав Эмар, Майн Рид, Фенимор Купер, Жюль Верн, «Дети капитана Гранта», книжки про страшных анаконд в дельте Амазонки. Все это волновало, будоражило воображение…

Весной семья опять поехала в Поповку, взяв с собой и репетитора, очень привязавшегося к своему ученику. Из Петербурга наезжало много дачников, у братьев Гумилевых появились новые товарищи. Незаметно мальчики научились хорошо плавать и по целым дням барахтались в теплой воде пруда.

В усадьбе было несколько лошадей. Братья любили ездить верхом по окрестным дорогам. Коля ездил отважно, любил пускать лошадь в галоп и всегда оказывался впереди Мити. Зато когда пускались наперегонки, он отставал и от брата, и от их приятеля Левы Лемана.

Как-то затеяли игру в разбойников, и мальчишка с соседней дачи заявил, что будет атаманом. Коля пришел в ярость. Тут же произошло выяснение отношений; Коля остался победителем — с большим синяком под глазом и разорванной матросской курточке. После этой драки он принялся усиленно подтягиваться на руках, ухватившись за ветку дуба, поднимал тяжелую гирю, кем-то принесенную с мельницы. Уже тогда он поставил себе законом быть первым во всем и всегда.

Осенью Гумилевы сняли квартиру в Петербурге, и Коля, выдержав экзамен, вслед за Митей был принят во второй класс гимназии Гуревича. Гимназия была солидная, с опытными и строгими учителями; братья перебивались в ней с двойки на тройку. Учитель немецкого языка Ф. Ф. Фидлер, принимавший у Мити экзамен, записал в ведомости: «Читать умеет, но не знает ни одного немецкого слова». Не лучше были успехи и у Коли — за

1899/1900 год у него в ведомости стоят двойки по греческому, латинскому, немецкому и даже по французскому языку. Постановлением педагогического совета Николай Гумилев был оставлен на второй год.

Будущий поэт жил будто двойной жизнью: одной — интересной, бурной, полной сильных впечатлений, другой — мелкой, скучной, пустой. Он много читал; теперь его увлекла романтика Средневековья. До поздней ночи он зачитывался трагедиями Шекспира, и вместе с идеалами рыцарской чести в него входила музыка белого стиха; засыпая, он продолжал слышать ее.

Утром в окне виднелось дождливое, серое небо. В столовой кухарка бренчала чашками, ставя на стол завтрак. Пора было собираться в постылую гимназию, тащиться с ранцем на спине по Лиговке среди суетливо спешащих на службу чиновников, усаживаться за парту, пока дребезжит звонок в руках старика-служителя. Эта вторая жизнь — не рыцаря и героя, а маленького, щуплого гимназиста четвертого класса — была скучна и унизительна.

Если бы не гимназия, жизнь стала бы интересной. По воскресеньям мать водила сыновей в Мариинский театр на оперы «Жизнь за царя», «Руслан и Людмила». А дома ждали книги.

Ко дню рождения Лева Леман подарил недавно вышедшую книгу «В стране черных христиан», и Коля глотал описания неведомой страны Абиссинии. Как было не увлечься, когда на первых же страницах автор сообщает: «По роскоши растительности и животной жизни Колла, часть этой страны, бесспорно, представляет одну из великолепнейших стран мира.

Широкие горные долины, поражающие зрителя-европейца могучей красотой своей тропической растительности. Но горе путешественнику, который вздумал бы переночевать в одной из таких долин! Там поджидает его свирепый, неумолимый боа, там — царство кровожадных львов; там бродят целыми стадами гигантские слоны; там, среди сладостных грез, навеянных природой, настигает его страшная, убийственная болотная лихорадка… Природа словно не хочет, чтобы человек был здесь свидетелем ее прелестей. Но все же, как хороша она здесь! Высокая трава почти с головой покрывает всадника, который с неимоверным трудом прокладывает дорогу, если только стадо слонов не наметило ее…»

И дальше: «В Деге, занимающей самое большое пространство, растут в виде огромных деревьев „шарообразный волчец“ и пальмовая чебарра, а самые возвышенные места Деги покрыты бесчисленными цветами.

Посреди озера Тана возвышаются маленькие острова, покрытые богатой растительностью; по берегам тянутся роскошные пастбища…» Николай был увлечен, он дал себе клятву во что бы то ни стало побывать там, в колдовской и прекрасной стране.

В кабинете отца он отыскал старинный двухтомник, изданный еще в начале XIX века, — «Собрание новейших и любопытных путешествий в разные страны света», в переводе князя Алексея Голицына. В нем описаны путешествия в Персию, Египет, Индию и даже в Австралию. Автор рассказывает о трудностях, ожидающих путешественника, и о стойкости, неустрашимости, которыми путешественник должен обладать.

С волнением мальчик читал слова автора-француза: «Я уверен, что нутро Африки, земли, для открытия почти девственной, заключает в себе бездну новых и драгоценных предметов, коих познание озарило бы большим светом все части Всеобщей Физики.

Я, с дозволения Читателя, объявляю здесь тому намерение достичь до сих пределов Света, почитаемых и поднесь неприступными. Мое намерение состояло, чтоб проехать вдоль Африки, по средине оной, от малоизвестного залива Дела Сирд до мыса Доброй Надежды. Я поставлю себе за честь, что вздумал об оном предприятии, от которого воображение содрогается…»

Тяга в неведомые страны, мечты об открытиях владели Гумилевым всю жизнь. Обращаясь к своей любимой Африке, поэт писал:

Дай за это дорогу мне торную,
Там, где нету пути человеку,
Дай назвать моим именем черную,
До сих пор неоткрытую реку.

(«Вступление»)

Удалось ли ему открыть такую реку — до сих пор неизвестно.

Постепенно началось его увлечение поэзией. У Жуковского были прочтены — «Орлеанская дева», «Рустем и Зораб», «Наль и Дамаянти»; слезы умиления выступали на глазах Коли всякий раз, как он перечитывал «Ундину» или «Графа Габсбургского». Все сильнее хотелось самому написать стихотворение, а еще лучше — поэму. Вспоминая рассказы матери, он пытался написать крупное произведение в стихах о своих предках, начинавшееся строфой:

Мой прадед был ранен под Аустерлицем

И замертво в лес унесен денщиком,
Чтоб долгие, долгие годы томиться
В унылом и бедном поместье своем.

Но поэма не удалась: еще недоставало умения, фантазия не хотела укладываться в строгие формы четырехстопного амфибрахия.

Страсть к поэзии Гумилев старался привить товарищам по гимназии. Решили выпускать свой журнал. Николай с бурной энергией принялся за дело: на собранные пятаки в писчебумажном магазине купили большой альбом для рисования, аккуратно, по линейке разграфили страницы, и каждый из участников должен был что-нибудь написать или нарисовать в него. Коля несколько вечеров с увлечением писал рассказ о шхуне, затертой льдами в Арктике, о сверкающем северном сиянии, огромных айсбергах и белых медведях.

Воображение Коли требовало не только сочинять стихи и рассказы, но и немедленно совершать какие-то активные действия.

Под его руководством гимназисты создали «тайное общество», нечто вроде масонской ложи, и Гумилев стал его вождем, получив имя свирепого Брама-Тама, которое с достоинством носил. Однажды члены общества забрались по железной пожарной лестнице на чердак; там было сумрачно и пыльно, со стропил свисали лохмотья паутины, под ногами валялись обрывки пожелтевших газет и черепки битой посуды. В самом темном углу мальчики обнаружили большой сундук, окованный ржавыми обручами, на сундуке висел ржавый замок. Долго совещались: взломать сундук или не трогать? Любопытство взяло верх. Были принесены молоток и стамеска. Замок не поддавался, но наконец усталые, перепачканные пылью искатели клада смогли открыть крышку. В сундуке лежали старая, заношенная одежда, издававшая тяжелый запах гнили, связка порванных журналов и стоптанные, изъеденные молью валенки…

Все чаще Коля пробовал писать стихи. Начал большую поэму — «Превращение Будды». Его в то время привлекала голая фабула, но стихами, казалось, писать было легче, чем прозой, слова сами складывались в тот размер, который звучал в голове, как порой звучит полюбившийся мотив. Меж тем Коля совсем не был музыкантом, его не трогали сонаты Бетховена, романсы Чайковского, оперы.

Свои стихи он показывал матери. Анна Ивановна собирала отдельные листочки и прятала в шкатулку, перевязанную цветной

ленточкой. Отец к стихотворным опытам сына относился равнодушно.

Летом в Поповке Митя заболел: поднялась температура, начался сильный кашель. Степан Яковлевич пригласил врача из Петербурга. Оказалось, что положение серьезное. У мальчика начинался процесс в легких. Доктор рекомендовал Кавказ. Степан Яковлевич тут же объявил, что едет в Тифлис, находит квартиру и вызывает телеграммой Анну Ивановну с детьми. Напомнил о себе давний страх перед чахоткой, унесшей в могилу его первую жену. Начались хлопоты: надо было продать дачу в Поповке, мебель в Царском Селе, сделать перевод сыновей в Тифлисскую гимназию.

Анна Ивановна с сыновьями сначала поехала в калмыцкие степи на кумыс, а получив от мужа телеграмму — пароходом до Астрахани, через Каспийское море в Баку и дальше в Тифлис.

В Тифлисе они, точно по волшебству, попали в новый, сказочный мир. Больше всего Колю поразили горы — величественные, огромные, со сверкающими белыми вершинами.

Гумилевы сняли комфортабельную квартиру с электрическим освещением на Сергиевской улице. Степан Яковлевич устроился временно на службу в Страховое общество, сыновья пошли во 2-ю гимназию, Дмитрий — в пятый класс, Николай — в четвертый. Но уже в январе отец перевел их в 1-ю мужскую гимназию, считавшуюся лучшей в городе.

Коле гимназия сразу понравилась: в ней не было того казенного, затхлого духа, который постоянно присутствовал в гимназии Гуревича. Учителя здесь были доброжелательны, ласковы, и гимназисты не испытывали ледяного страха, стоя у классной доски. Появились новые друзья, особенно близко Коля сошелся с братьями Кереселидзе, вежливыми и начитанными.

В первую же зиму жизни в Тифлисе Степан Яковлевич купил в Рязанской губернии, неподалеку от своего родного Желудева, небольшое имение Березки, считая, что мягкий климат среднерусской равнины для детей будет полезнее, чем жаркий грузинский. Туда всей семьей, когда занятия в гимназии кончились, Гумилевы выехали 25 мая 1901 года.

В Березках детям понравилось, особенно речка, где ловили темно-оранжевых, полосатых окуней. Этим любили заниматься утром, до восхода солнца, когда седая от росы трава холодит ноги, в небе — легкие перистые облачка, а на широком лугу заливисто бьют перепела.

В конюшне стояло несколько лошадей; часто после завтрака их седлали, и братья катались по проселочным дорогам, поднимались на пологие холмы, с которых был дивный вид на окрестные поля, маленькие озерца, блестевшие на солнце,

дубовые или березовые перелески, белые церкви с позолоченными крестами, бревенчатые избы деревень.

Отец съездил в Рязань и купил два велосипеда, это по тем временам была новинка. Мальчики очень скоро овладели ездой и теперь раскатывали по окрестностям, вызывая восторг деревенских мальчишек и суеверный ужас старух.

Все было хорошо в Березках. Но временами безо всякой причины Коля становился молчалив, раздражителен, его охватывала беспричинная тоска. Состояние депрессии длилось порой несколько дней. Потом проходило.

Мальчикам купили монтекристо — легкую малокалиберную винтовку для стрельбы в цель. Особенно стрельбой увлекался младший брат: каждое утро с каким-то злым упорством он тренировался в стрельбе по мишени, стрелял не только с правого, но и с левого плеча, стоя, с колена, лежа. И мечтал о настоящем ружье, с которым можно охотиться на птиц и зверей. Мечта сбылась: к Ильину дню отец из Спасска привез легкую шомпольную двустволку с тонкими стволами. Как раз в это время открылась охота на уток, которых было множество по маленьким озерам, заросшим камышом. У Коли появился новый приятель Костя, сын местного священника, учившийся в Рязанской гимназии. Ружье у Кости было уже давно, он хорошо знал окрестности, и ранним утром, когда над лугами стлались волны тумана, друзья отправлялись на охоту, возвращались к вечеру усталые, перепачканные болотным илом, но счастливые, с подстреленными чирками и кряквами.

Далекие поездки и охота приучили Гумилева справляться не только с физическими трудностями, но и душевными переживаниями. Когда к сердцу подкатывала непонятная тоска, он заставлял себя не поддаваться этому унизительному, женскому, как он сам определил, чувству.

Как-то Коля не появился к обеду, не вернулся и ночевать. Дома забеспокоились. Мальчика обнаружили на опушке леса: он вырыл на речном берегу небольшую пещеру, выстелил ее ветками и сухой травой и поселился там, решив учиться сосредоточенности и самоуглублению. Если бы не его пес, убежище было бы невозможно отыскать.

Лето кончалось, пора было возвращаться в Тифлис. Последний раз Николай сходил с приятелями на охоту, подстрелил двух уток и через несколько дней уже ехал в вагоне на юг.

За прошедшие каникулы Митя и Коля заметно выросли, хотя Коля все еще оставался невысоким, худеньким подростком с тонкой шеей. Митя выглядел крепким, загорелым. Никакого

туберкулеза у него не оказалось, но Степан Яковлевич решил еще одну зиму прожить на Кавказе.

С началом занятий Коля пошел в пятый класс. В Березках уже чувствовалось приближение осени, но в Тифлисе все еще не кончилось жаркое лето. По воскресеньям Коля отправлялся с ружьем в горы, один или с Кереселидзе. Он любил взбираться по самым крутым каменистым склонам, рискуя сорваться на острые скалы. Чувство опасности наполняло его радостью, вспоминались строки из «Пира во время чумы»:

Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья…

И все чаще хотелось выразить свои переживания в стихах. Лежа на покрытом мхом утесе, он складывал слова в строки, искал к ним рифмы…

Коля трудно сходился с новыми приятелями, мешала застенчивость, которая в нем уживалась с высокомерием. Он был крайне разборчив, выбирая друзей. Но в Тифлисской гимназии оказалось много прекрасных юношей, с которыми просто невозможно было не подружиться. Борис и Сергей Леграны привлекали своей начитанностью, у них в доме было много интересных, серьезных книг; Борцов — душевный, открытый юноша, он страстно говорил о свободе, любви, о горах и водопадах; еще с прошлого года друзьями Гумилева стали братья Кереселидзе. А тут у Линчевских, знакомых его родителей, Николай встретился и с гимназистками: Воробьевой, Мартенес и Марусей Маркс. Иногда в этом доме устраивали вечеринки с танцами; Николай не танцевал, может быть из-за плоскостопия, но делал вид, что относится к танцам с презрением. Хотя на вечерах он всегда держался сдержанно, говорил мало, но очень любил там бывать.

Просыпалось незнакомое чувство, и, остро волнуя, оно особенно влекло к стихам. Выходило неважно — строки получались, как у Надсона, который совсем не нравился Гумилеву. И все же он писал:

Вот я один с самим собой…
Пора, пора мне отдохнуть:
Свет беспощадный, свет слепой
Мне выпил мозг, мне выжег грудь.

Я грешник страшный, я злодей:

Мне Бог бороться силы дал,
Любил я правду и людей,
Но растоптал я идеал.

(Альбом. Посвящение Марии Маркс)

Сам мучился: почему он пишет не то, что ощущает? Как преодолеть этот плен чужих слов, чужих чувств? Да, оказывается — это страшно трудно!

Вот и опять рождается заунывное стихотворение, совсем не выражающее его чувств:

На сердце песни, на сердце слезы,
Душа страданьями полна.
В уме мечтанья, пустые грезы
И мрак отчаянья без дна.

Когда уж сердце устанет биться,
Грудь наболевшая замрет?
Когда ж покоем мне насладиться
В сырой могиле придет черед?

(Посвящение М. Маркс)

Все новые и новые попытки пересилить эту чужую музыку. Оставаясь один, Гумилев все время бормотал строфы новых стихотворений; он отчетливо слышал их пробуждение, но найти нужные слова еще не умел.

Стихов накопилась уже целая тетрадь. «А что, — думал он, — если издать целый сборник? И назвать его, например, — „Горы и ущелья“? Конечно, „Горы и ущелья“ — это романтика, а не слезливость!»

И первое в нем стихотворение, как посвящение:

I
Люблю я чудный горный вид.
Остроконечные вершины,
Где каждый лишний шаг грозит
Несвоевременной кончиной.
II
Люблю над пропастью глухой
Простором дали любоваться
Или неверною тропой

Все выше, выше подниматься.

III

В горах мне люб и Божий свет,
Но люб и смерти миг единый!
Не заманить меня вам, нет,
В пустые скучные долины.

(Посвящение М. Маркс)

Это стихотворение Николаю очень нравилось, именно так он теперь и станет писать, довольно нытья! Он решил показать стихи Георгию Кереселидзе: что-то он скажет? Георгий прочел внимательно. И предрек автору: «Ты будешь поэт, настоящий поэт!»

Осень пришла и в Тифлис: по утрам холодный, пронизывающий туман, ледяной ветер с гор. В гимназии опять нелады с математикой и полный разлад с греческим: старичок-преподаватель ставит Гумилеву то двойку, то кол. Впрочем, гимназиста это не огорчает, самое главное — писать стихи. И еще — не пропустить вечер у Линчевских, ведь там он опять увидит Машеньку, она в своем гимназическом платье с белым кружевным воротничком так нежна и хороша! Интересно бы посмотреть, как она по утрам причесывает волосы на такой аккуратный пробор. Мальчики Гумилевы выросли в семье, где никогда не было молодых девушек, нравы были строгие, пуританские, никаких разговоров о любви при детях не допускалось. С девушками Николай бывал молчалив и застенчив.

Однажды Боря Легран принес в класс книгу, завернутую в клетчатую бумагу: Ницше, «Так говорил Заратустра». Имя Заратустра живо заинтересовало Гумилева, показалось: что-нибудь про индусов, про факиров или приключения в джунглях. Но это была философия — настоящая, дерзкая, кружившая голову.

Читать было трудно: слишком новы и неожиданны были мысли этого немецкого автора, писавшего в форме коротких сентенций. Но с первых же строк он заставлял позабыть обо всем другом: «Смотрите, я учу вас познавать Сверхчеловека! Сверхчеловек есть разум Земли. Да скажет всякая воля: пусть Сверхчеловек будет разумом Земли!» Или коротко, резко: «Падающего толкни!» Как это понять? Неужели вместо сострадания и помощи надо толкать несчастного в пропасть? А как же Евангелие? И все-таки покоряла смелость, с какой Ницше опровергал ход рассуждений, казавшихся неопровержимыми. Он был певцом сильной личности, не признающей запретов. И

воспевал ее так страстно, что душа маленького гимназиста оказалась смущена, — долго Гумилев ходил точно в чаду.

Новые образы и мысли обступили поэта. Торопясь их выразить, он почти до рассвета, точно в лихорадке, писал короткую поэму «Молодой францисканец».

Она ему, кажется, наконец-то удалась. Особенно заключительные строфы, он по многу раз повторял их:

О вы! Ваше время давно отошло!
Любви не вернете народа.
Да здравствует свет, разгоняющий зло!
Да здравствует наша свобода!

Прощайте! Бесстрашно на казнь я иду,
Над жизнью моею вы вольны,
Но речи от сердца сдержать не могу,
Пускай ею вы недовольны.

В конце зимы Легран так же таинственно, как и прошлый раз, принес еще одну книгу — «Капитал» Карла Маркса. Там были далекие гимназисту рассуждения о прибыли, ренте, прибавочной стоимости, об эксплуатации и революционных задачах рабочего класса. Легран как умел пытался растолковать их приятелю, но кончилось лишь тем, что Гумилев, приехав на каникулы в Березки, отправился на водяную мельницу и, сидя на мешках с зерном, принялся рассказывать мельнику и двум работникам, как Маркс советует избавляться от гнета буржуазии. Мельники, конечно, ничего не поняли, а вот рязанский губернатор, получив донос об этой пропаганде, сделал Степану Яковлевичу замечание, правда, в тактичной форме. Но к этому времени сам пропагандист остыл к идеям, вычитанным у Маркса, и никогда в жизни к ним не возвращался.

Осенью Николаю предстояла переэкзаменовка по ненавистному греческому языку, но пока об этом можно было не думать. В Березках семью поджидала приехавшая раньше Александра Степановна с детьми — Колей и Марусей. Шурочка — уже вовсе не девушка, а много пережившая вдова. Но ее прежняя дружба с Николаем сохранилась.

Очередным увлечением Николая в это лето стала астрономия. Он устроил на крыше дома помост и проводил там ночи напролет, делая какие-то вычисления, но никого не посвящал в эти таинственные занятия.

В августе, не дожидаясь окончания каникул, Николай собрался в Тифлис. Дома сказал, что должен готовиться к

переэкзаменовке. На самом деле повод был другой: с некоторых пор его неудержимо влекла самостоятельность. Он еще ни разу не ездил один по железной дороге, никогда не жил без родителей. А кроме того, в Тифлисе жила Маша Маркс, та, которой он посвящал свои стихи.

Поездка ему очень понравилась, он чувствовал себя совсем взрослым, пассажиры были вежливы, обращались к нему на «вы», говорили — «господин». Коля не курил, но, не удержавшись, купил в киоске на вокзале коробку «Сафо» и теперь то и дело вынимал ее из кармана и любовался нарисованной на крышке гречанкой в хитоне.

Все его радовало в этой поездке, все предвещало удачу: тонкий серпик нового месяца, увиденный накануне отъезда, был справа, и мелкий дождь шел с утра. У Николая давно были приметы не только общеизвестные, народные, но и свои личные, одни предвещали успех, другие — неудачу, а то и несчастье. Сны тоже, как ему казалось, могли быть вещими.

В Тифлисе он поселился у своего гимназического приятеля Борцова, и вечером, удобно развалившись в креслах, они впервые закурили. Детство кончалось. Над верхней губой заметно пробивался мягкий пушок, а если его осторожно подкрасить жженой пробкой, усы выглядели совсем натурально. Ломался голос: он звучал глуховатым баритоном, хотя иногда, совсем непроизвольно, срывался на звонкий мальчишеский дискант.

Прежде ему никогда не приходило в голову спросить себя — красив ли он? Но теперь Николай подолгу всматривался в зеркало, откуда на него глядел худенький юноша с продолговатым, без румянца лицом, высоким, точно сдавленным лбом, негустыми русыми волосами и большим носом. Пожалуй, такое лицо не назовешь красивым. Вот только глаза — большие, продолговатые, точно сливы, цвета стали, они мерцали холодно и таинственно. Шрам, рассекающий правое веко, придавал его взгляду двойное, убегающее направление. Было в его глазах что-то необычное — Гумилев замечал это, и легкая улыбка чуть трогала толстые бледные губы.

Однажды он встретил на улице Машеньку, и когда она, весело улыбаясь, подала ему тонкую руку, Николай ощутил то, что поэты называют «сладким волнением».

Переэкзаменовку по греческому он, неожиданно для себя, сдал легко.

Приехали родители. Начались скучные занятия в гимназии, а по вечерам — чтение книг и писание стихов. По совету Кереселидзе Николай отнес в редакцию «Тифлисского листка» стихотворение «Я в лес бежал из городов…», и 8 сентября оно

появилось в газете. Автор был ошеломлен, читал газету, с трудом веря, что стихи — его произведение. Напечатанные, они выглядели совсем настоящими, как у солидного поэта.

Едва сдерживая восторг, Коля за обедом показал «Листок» родителям. Анна Ивановна, прочтя, обрадовалась. Степан Яковлевич сухо заметил, что это несерьезное дело. А Митя посулил брату большое будущее.

Кроме сочинения стихов Николай все больше читал. Теперь он увлекся мыслителем и поэтом Владимиром Соловьевым, которым в начале века были покорены многие. Гумилеву казалось, что в этом учении сделана попытка примирить вечно существующее Добро, Абсолют с пребывающим во зле миром материи, миром земного человека, отпавшего от Божества, злоупотребившего дарованной ему свободной волей. Но человек должен вновь соединиться с Творцом вселенной. И тогда настанет преображение всего земного бытия.

Насколько сильно повлиял философ на мироощущение поэта, можно судить по строкам стихотворения, написанного 18 лет спустя:

Я — угрюмый и упрямый зодчий
Храма, восстающего во мгле.
Я возревновал о славе Отчей,
Как на небесах, и на земле.

Сердце будет пламенем палимо
Вплоть до дня, когда взойдут, ясны,
Стены Нового Иерусалима
На полях моей родной страны.

(«Память»)

В начале лета Степан Яковлевич принял решение возвратиться в Царское Село, где жила Шура с детьми. Николаю не хотелось уезжать, но он знал: отец не признает никаких возражений. Опечаленный, зашел он к Маше проститься и, приняв от смущения равнодушный и надменный вид, подарил ей альбом, в который старательно, ученическим почерком написал 14 лучших, как ему казалось, стихотворений. Заканчивался альбом признанием в любви:

М.М.М.

Я песни слагаю во славу твою
Затем, что тебя я безумно люблю,

Затем, что меня ты не любишь,
Я вечно страдаю и вечно грущу,
Но, друг мой прекрасный, тебя я прощу

За то, что меня ты погубишь.
Так раненный в сердце шипом соловей
О розе-убийце поет все нежней

И плачет в тоске безнадежной,
А роза, склонясь меж зеленой листвы,
Смеется над скорбью его, как и ты,

О друг мой, прекрасный и нежный.

Этот альбом Мария Михайловна Синягина, в девичестве Маркс, хранила всю свою долгую жизнь.

ГЛАВА III
Царскосельская идиллия

Из Царского Села Колю Гумилева увезли мальчиком. Теперь сюда вернулся семнадцатилетний юноша. И город предстал тоже точно повзрослевший — город муз, город Пушкина: вот он — сидит, облокотившись, на садовой скамейке возле лицейской церкви, бронзовый, но будто живой.

Город имперского величия, российский Версаль. Царские дворцы, огромный парк, фонтаны, пруды с плавающими лебедями, по утрам — пение кавалерийских труб, эскадроны гусар, желтые кирасиры, уланы Ее Величества. На все это юный поэт смотрел, впервые ощущая, что рядом с ним — героическое величие.

А вот и Николаевская мужская гимназия. Сюда он вернулся гимназистом 7-го класса, начинающим поэтом. Он повидал Кавказ с величественными горами, там осталась Машенька Маркс. Свое превосходство над одноклассниками Гумилев чувствовал отчетливо: смотрел на них с холодным презрением, не заводя ни с кем дружбы.

Гимназисты тоже подозрительно поглядывали на худого, длинного подростка с тонкой шеей и надменным выражением глаз, прикрытых тяжелыми веками. К тому же обнаружилось, что он сноб, да еще и двоечник: не может решить у доски простенькой задачи с логарифмами.

Сидя за партой, изрезанной перочинными ножами поколений гимназистов, Гумилев совсем не слушал объяснений учителей. Открывал общую тетрадь, отыскивал нужную рифму к уже готовой строке: «Я конквистадор в панцире железном». «Железном» — «полезном-резвом-трезвом-звездном-безднам»… Вот оно, нужное слово, — конечно же, «безднам»!

Его мысли занимал французский поэт Теофиль Готье. Это был достойный пример для подражания. Как бы хотелось и ему самому поражать современников яркими галстуками, необыкновенными жилетами, отделанной перламутром тростью, а главное — писать такие безупречные стихи. Прославиться, удивить, заставить говорить о себе повсюду, вписать свое имя в историю!

«Гумилев! К директору!» — мечты прерывает скрипучий голос классного наставника: вчера на уроке латыни он, злорадно улыбаясь, отобрал у Николая тетрадку со стихами. Идти к директору всегда страшно. Гумилеву страшно. Гумилеву страшно

вдвойне: ведь ему, в виде исключения, разрешено жить дома.

В директорском кабинете тишина. Большие, как надгробный монумент, часы, поблескивая бронзой, тихо отсчитывают минуты. За массивным столом стоит высокий, прямой, барственно учтивый, точно вельможа екатерининских времен, директор. Иннокентий Федорович Анненский. Прядь темных с проседью волос падает на благородный лоб, темная борода обрамляет бледное лицо, форменный синий сюртук застегнут наглухо.

— Это ваша тетрадь? Ваши стихи? — слегка шепелявый выговор, доброжелательный, чуть печальный взгляд. И между директором и гимназистом завязывается совсем необычный разговор — о поэзии, о французских поэтах Леконте де Лилле, Шарле Бодлере, Артюре Рембо, чьи имена Гумилев в ту пору знал только понаслышке.

Волновали юношу не только стихи и мечты о подвигах. Часто вспоминается Маша Маркс, оставшаяся в Тифлисе. Он помнит, как она улыбалась, принимая его альбом со стихами.

Приближалось Рождество, трогательный семейный праздник с непременной елкой, которую зажигали для детей Шуры — Коли-маленького и Маруси. Старшие Коля и Митя в сочельник повстречали на улице двух гимназисток в сопровождении подростка-гимназиста, брата Валерии Тюльпановой. Девушка была знакома Гумилевым, они вместе брали уроки музыки у Баженовой.

Спутница Тюльпановой, высокая черноволосая и чернобровая девушка с глубоко сидящими светлыми глазами, братьям не была знакома. Валерия ее представила: Анна Горенко. Дальше пошли все вместе; Гумилев шел как деревянный, высоко подняв голову, и невнятно говорил своей новой знакомой что-то о Кавказе, где в горах снега гораздо больше, чем здесь, и случаются лавины. Анна, длинноногая и тоненькая, слегка наклонив голову, кажется, совсем не слушала, изредка улыбаясь каким-то своим мыслям.

Проводив девушек до дома на Широкой улице, молодые люди отдали коробки с игрушками и распрощались.

Как тебе понравился Коля Гумилев? — спросила Валерия. Никак. Он что-то говорил про горы, но я не вслушивалась, — равнодушно ответила Аня. Она была искренна: в таком возрасте девочкам редко нравятся их сверстники.

Но на Колю Гумилева Аня произвела большое впечатление, и с того сочельника Тюльпанова, возвращаясь из гимназии, часто видела его долговязую фигуру, маячившую в конце улицы, — он явно поджидал появления Ани. Вот она выходит из школы в форменном пальто и форменной барашковой шапочке с серебряным гимназическим гербом — какая легкая походка,

словно летит!

Девять лет спустя Анна Ахматова напишет:

В ремешках пенал и книги были,
Возвращалась я домой из школы.
Эти липы, верно, не забыли
Нашей встречи, мальчик мой веселый.

(«В ремешках пенал и книги были…»)

Девочка подходит ближе, слегка улыбаясь, носик покраснел от мороза, тоненькие пальцы, испачканные чернилами, прячутся в пышной муфте. При виде Ани Гумилева охватывает трогательное, совсем недостойное чувство умиления. А он считал, что с женщинами надо быть надменным, властным, подчеркивать свое превосходство. Но как это трудно!

Начинается разговор о поэзии, ведь Аня (она проговорилась) тоже пишет стихи, только стесняется их показывать. Зато Гумилев — уже опытный поэт, у него даже есть публикации, с ним о стихах беседует сам директор гимназии. Аня скромно слушает, иногда просит Николая Степановича почитать, и он охотно декламирует, растягивая слова, как тогда было принято.

Как-то придя утром в гимназию, Гумилев в коридоре услышал новость: японцы потопили наш крейсер «Варяг» и канонерскую лодку «Кореец», началась война. По этому случаю уроков сегодня не будет, все пойдут в гимназическую церковь на молебен о даровании победы.

Мальчики-старшеклассники бурно обсуждали эти события, возмущаясь вероломству азиатов. Гумилев твердо заявил, что следует немедля записаться добровольцем и ехать на Дальний Восток. Правда, из этой затеи ничего не вышло, отец не захотел и слушать про такое. Осталось лишь петь на большой перемене ставшую модной песню:

…Не думали, братцы, мы с вами вчера,
Что нынче умрем под волнами… —

да обсуждать отчеты военных корреспондентов.

Дом Гумилевых уже давно не видел гостей: отец не любил шума. Но в этом году на Пасху и Анна Ивановна, и сыновья все же решили устроить вечер, названный пышно балом. Митя пригласил недавно приехавшую в Царское Село знакомую

девушку — Анну Андреевну Фрейнганг, Александра Степановна, преподававшая в женской гимназии, позвала двух своих учениц, пришел Дима Коковцев, учившийся в одном классе с Николаем Гумилевым, а сам Николай, замирая от счастья, пригласил Аню Горенко.

В доме Гумилевых Ане показалось очень спокойно и уютно. В библиотеке вдоль стен стояли шкафы, полные книг; девятилетний Коля Сверчков в матросской курточке сразу же показал ей свои рисунки, мать Николая Анна Ивановна, вышедшая в темно-коричневом платье, отделанном кружевами, была торжественна и доброжелательна. Даже старик отец, ненадолго заглянувший к гостям, показался симпатичным.

Тот вечер сблизил Аню и Колю Гумилева. Он теперь казался ей совсем простым, веселым и разговорчивым. Они часто встречались и всегда находили множество тем для оживленных бесед. А там пришла весна, и Николай совсем забросил уроки, только и думая о предстоящем свидании. После занятий в гимназии они до сумерек бродили по улицам, гуляли в парке, где на пригорках уже торчали из влажной земли ярко-зеленые иголки молодой травы. Подымались на Турецкую башню и любовались открывшейся панорамой. Не эти ли прогулки вспоминал позже Гумилев:

Вот идут по аллее, так странно нежны,
Гимназист с гимназисткой, как Дафнис и Хлоя.

(«Современность»)

Однажды на Широкой улице им повстречалась похоронная процессия. Нежно пел хор мальчиков, перед гробом несли зажженные фонари, священники кадили, и аромат ладана наполнял влажный весенний воздух. Черные разукрашенные лошади ступали медленно и торжественно. За гробом шли гвардейские офицеры в ярких мундирах, строгие господа в цилиндрах; в каретах, следующих за процессией, сидели важные седые старухи с приживалками. И каждая напоминала графиню из «Пиковой дамы». Гумилев и Горенко остановились и смотрели на медленно движущийся кортеж.

— Эти старые дамы тоже ожидают своей очереди, — сказала с усмешкой Аня, и Гумилев взглянул на нее с удивлением: как можно смеяться над старостью, да еще на похоронах? А впрочем, может быть и можно?

Встречи продолжались. Николай с Анной побывали на концерте приехавшей на гастроли Айседоры Дункан, на

студенческом благотворительном вечере. А в один из вечеров они оказались на спиритическом сеансе в доме Коковцева.

В большой комнате, слабо освещенной двумя свечами в бронзовом подсвечнике, вокруг большого круглого стола толпились молодые люди. На столе белел лист бумаги с написанным по краям алфавитом, на бумаге лежало перевернутое чайное блюдечко. Четверо присутствующих, среди них Гумилев и Горенко, стояли у стола, соединив руки, чуть касаясь блюдечка концами пальцев. Гумилев с восторгом ощущал прикосновение холодных пальцев Ани.

— Дух Пушкина, явись! — торжественно произнес Дима Коковцев, пристально глядя в темный угол комнаты. Блюдечко не шевельнулось.

— Дух Пушкина, явись! — еще более торжественным, загробным голосом воззвал медиум. И вдруг — блюдечко дернулось и поползло по бумаге. Гумилев дрогнул и весь напрягся в ожидании чего-то таинственного.

— Ой! — вскликнула одна из девушек. И в этот же момент смешливая Валя Тюльпанова фыркнула и заливисто расхохоталась. На нее зашикали, сеанс прервался. Аня убрала с блюдечка руки, слегка встряхнув кисти, иронически улыбаясь.

— Мне надоело держать руки на весу, — сказала она и отошла от стола. Присутствующие заговорили о спиритизме, но вскоре перешли на обсуждение только что вышедшего сборника стихов Бальмонта «Горные вершины».

Увлечение поэзией, свидания с Аней сказались на успеваемости: Гумилев получил несколько двоек на весенних экзаменах и решением педагогического совета был оставлен на второй год в 7-м классе.

На лето семья Горенко уехала отдыхать под Севастополь, и Николай остался один. Целыми днями он читал еще недавно неизвестных ему поэтов: только что вышедший сборник Валерия Брюсова «Urbi et orbi» — его восхищала чеканная точность строк, — журнал «Новый путь», первый напечатавший Александра Блока. Так прошло лето. А в сентябре с началом занятий в гимназии родители Димы Коковцева, тоже писавшего стихи, организовали литературные «воскресники», куда приглашали не только молодежь. Хозяин дома был учителем гимназии, и на «воскресниках» у него бывал директор Анненский, бывали гимназические учителя Мухины, специалист по творчеству Некрасова Евгеньев-Максимов, публицист правого толка Меньшиков, «легальный марксист» Туган-Барановский и молодые любители поэзии.

Впервые в жизни Гумилев присутствовал на таких

литературных чтениях, где обсуждались стихи известных поэтов, а не только собственные, и обменивались критическими, порой острыми замечаниями.

Он прочел свое стихотворение:

Пять могучих коней мне дарил Люцифер
И одно золотое с рубином кольцо,
Я увидел бездонность подземных пещер
И роскошных долин молодое лицо.

Принесли мне вина — струевого огня
Фея гор и властительно-пурпурный Гном,
Я увидел, что солнце зажглось для меня,
Просияв, как рубин на кольце золотом.

(«Баллада»)

Слушатели начали переглядываться, недоуменно поднимали брови и иронически улыбались. А Гумилев продолжал:

…Там, на высях сознанья, — безумье и снег…
Но восторг мой прожег голубой небосклон,
Я на выси сознанья направил свой бег
И увидел там деву, больную, как сон.

(«Сказка о королях»)

В комнате наступило молчание. Наконец заговорил Евгеньев-Максимов; он не понял, отчего на высях сознанья — безумье и снег и что это за дева, «больная, как сон». Тон был явно издевательский. А следом на Гумилева бурно обрушился приятель Димы Коковцева — Загуляев. Он придирался к каждому слову, выискивая несообразности, «нелепицы», как он выразился, во всем стихотворении.

Гумилев яростно отбивался, защищался, приводя в пример стихи Бальмонта, Брюсова, Блока. Но критикующие плохо знали первого, а о двух других никогда не слыхали. Они приводили в пример стихи Некрасова, Полонского, Майкова — вот она, настоящая поэзия на все времена.

Иннокентий Федорович молчал, однако на другой день, встретив Гумилева в гимназии, пригласил юного поэта зайти после уроков в его директорскую квартиру.

Высокий, темноватый кабинет, вдоль книжные шкафы, где за

стеклами поблескивают тусклые фолианты, в углу над шкафом бюст Еврипида. Из кресла поднялся хозяин кабинета, спокойный, учтивый:

— Очень рад, садитесь, пожалуйста. Вчера мне было неприятно слышать все сказанное о вашем стихотворении.

Оказалось, что директор хорошо знает стихи Брюсова, читал Блока и Вячеслава Иванова. Беседа была долгой и задушевной. Анненский достал из ящика письменного стола тетрадь в черном коленкоровом переплете, придвинул подсвечник с горящей свечой и, слегка наклонившись, начал читать, напевно растягивая слова:

Небо звездами в тумане не расцветится,
Робкий вечер их сегодня не зажег…
Только томные по окнам елки светятся
Да, кружася, заметает нас снежок.

Мех ресниц твоих снежинки закидавшие
Не дают тебе в глаза мои смотреть,
Сами слезы, только сердца не сжигавшие,
Сами звезды, не уставшие гореть…

Это их любви безумною обидою
Против воли твои звезды залиты…
И мучительно снежинкам я завидую,
Потому что ими плачешь ты…

«Небо звездами в тумане не расцветится…»

Гумилев молчал, пораженный: ничего подобного он не читал и не слышал. Глаза наполнились слезами восторга. А Иннокентий Федорович уже читал следующее стихотворение…

Начался новый 1905 год. В гимназии стало неспокойно: пришло известие о падении Порт-Артура, и гимназисты бурно возмущались бездарностью генерала Куропаткина, предательством Стресселя. Те самые мальчики, которые еще недавно распевали «Гибель „Варяга“», теперь пели насмешливые куплеты петербургских студентов:

С Порт-Артуром распрощались,
Получив большущий «нос».
Гром победы раздавайся,
Веселися, славный Росс!

Кипели политические страсти. Только и разговоров было, что об эсерах, эсдеках, террористах, о Государственной Думе. Докатились до Царского слухи о событиях 9 января. В знак протеста гимназисты отказались идти на урок физики. Гимназия кипела, старшеклассники, убедившись, что поблизости нет наставника, произносили пламенные революционные речи.

Пожалуй, только франтоватый и надменный гимназист Николай Гумилев остался ко всему этому равнодушен. Говорил он и думал не об эсдеках и аграрной программе, а о том, как полнее и ярче выразить в стихах романтические грезы, владевшие им безраздельно.

К этому времени у него были уже две толстые тетрадки стихов, и он подумывал издать книжку. В мечтах он ясно видел ее, даже держал в руках, знал ее название: «Путь конквистадоров». Пусть не останется сомнений: он, Николай Гумилев, ступает на этот путь.

Но для издания требовались деньги, а отец (он это знал) их ни за что не даст: стихи для него так и остались никчемным занятием. Вся надежда была на маму.

Предстояло тщательно отобрать лучшие стихи, что-то исправить, подчистить. Как жаль, что у Иннокентия Федоровича теперь совсем не было времени для бесед с Гумилевым. Волнения в гимназии, постоянные объяснения с начальством требовали от директора страшного нервного напряжения. Мягкий, интеллигентный Анненский страдал от этой обстановки.

Встречи с Аней Горенко стали почему-то редкими. Девушка точно избегала свиданий наедине, ходила вместе с Валей, а встретившись с Николаем, приветливо здоровалась, не прерывая болтовни с подругой. Зная, что он не понимает по-немецки, как нарочно всю дорогу декламировала немецкие стихи. Николай обижался, терпел, но не отходил.

Однажды Гумилев увидел ее на улице с незнакомым студентом в элегантной форменной шинели дорогого сукна. Равнодушно-холодный взгляд очень светлых глаз сквозь стекла пенсне заставил его вздрогнуть и внутренне напрячься, как перед опасностью. Аня, кивнув, прошла мимо. Потом выяснилось, что фамилия этого студента Голенищев-Кутузов. Он тоже писал стихи.

Дима Коковцев привел Гумилева в дом, где жили Горенко, — он стоял на Широкой и назывался домом Шухардиной. По широкой лестнице поднялись на второй этаж. В большой гостиной стояли широкий диван и кресла, обтянутые истертым шелком. В золотой раме тускнел «Последний день Помпеи».

Гумилеву показалось, что в комнате множество людей:

пожилая худощавая дама с дряблыми щеками, другая дама, слегка похожая на Аню, молодой блондин в элегантном сером костюме, с бобриком на голове, подросток с торчащими вихрами, маленькая девочка в розовом платьице. Сама Аня сидела в кресле со сложенными на коленях руками, наклонив голову, так что черные прямые волосы почти закрывали лицо.

Гумилев всегда чувствовал смущение в незнакомой обстановке, поэтому он молча стоял, пока Коковцев не представил его присутствующим. Только постепенно Николай стал различать, что увядшая дама — это Инна Эразмовна, мать Ани; молодая, с неестественным румянцем на щеках и блестящими глазами — Инна, сестра Ани, а элегантный мужчина — ее муж Сергей Владимирович фон Штейн; подросток и хорошенькая девочка — брат и сестра Ани. Старший брат Андрей учился в петербургской гимназии. В Петербурге служил и старший Горенко, корабельный инженер-механик в отставке.

В тот раз Гумилев особенно остро почувствовал, что установившиеся у него с Аней простые, дружеские отношения должны смениться другими. Объяснение состоялось вскоре. Он поджидал Аню в сумерки, рядом с ее гимназией. К счастью, она вышла одна, без подруг и, кажется, заметила Гумилева только, когда он сделал несколько шагов навстречу.

Она согласилась пройтись с ним по парку, где лежал снег, но уже земля была черная, влажная, и от нее пахло весенней свежестью.

Гумилев говорил о своей любви. Она не отвечала, точно чего-то ожидая. Когда он поцеловал ее, подняла голову, взглянула на него спокойно и сказала, что они останутся друзьями. И, кроме того, посоветовала взять в библиотеке книгу Кнута Гамсуна «Пан».

Он прочел ее на следующий день. Да, лейтенант Глан — это и его идеал, надо быть именно таким — решительным, рыцарственным, дерзким.

А где-то через месяц Аня Горенко пригласила его съездить с ее компанией в Павловск. Ехали фон Штейн с женой и брат Ани Андрей, с которым Гумилев прежде не встречался.

По воскресеньям из Петербурга в Павловск приезжали нарядные дамы и господа, писатели, актеры и студенты. На Павловском вокзале давались концерты, между старых дубов выставляли столики с мороженым, можно было выпить бокал шампанского.

Андрей оказался ровесником Николая. Их сразу потянуло друг к другу. Чувствовалось, что Андрей прекрасно образован: он свободно говорил о поэзии, знал многих современных поэтов, не

только Бальмонта, но и Брюсова, Вячеслава Иванова, Блока, читал на память их стихи. Свободно владел латынью, французским и немецким. Гумилева удивило, что к сестрам Андрей обращается на «вы». Привык с детства: мать дома говорила с ними только по-французски, употребляя «vous».

Заняли столик возле огромного дуба. Николай удивленно смотрел, как свободно Аня взяла папиросу, предложенную шурином. Ему казался странным, неприличным вид курящей девушки. Через некоторое время Аня встала, и они со Штейном пошли в сторону белевшего в отдалении Salon de music, в шутку называвшегося «соленый мужик». Оставшись вдвоем, Николай с Андреем заговорили о будущем. Отец твердо решил, что по окончании гимназии Николай должен поступить на юридический факультет, но ему хотелось поехать в Париж, послушать в Сорбонне лекции о современной французской литературе. Андрей горячо его поддержал, сказав, что это отличная мысль.

Начались летние каникулы. Теперь Гумилев чаще встречался с Андреем Горенко, чем с Аней. Целыми днями шли разговоры о поэзии. Андрей живо интересовался будущей книгой стихов, советовал, что в нее включить, указывал, когда строфа не получалась. Несмотря на свою обидчивость, Николай не злился на его замечания.

В начале августа Андрей зашел к Гумилеву. Вид у него был растерянный и точно сконфуженный. Он сообщил новость: у отца какие-то неприятности по службе. На днях семья уезжает в Евпаторию — навсегда.

Они уехали через несколько дней, Аня даже не попрощалась с Гумилевым. Он был растерян, гадал, что произошло: может быть, Андрей Антонович замешан в политике? Но, по словам Андрея, он только отвезет семью и вернется. Все было непонятно и очень обидно: не простившись, навсегда…

После ее отъезда Царское Село для Гумилева точно опустело. Приятели были по сравнению с Гумилевым мало начитаны, они все еще оставались мальчишками, до сих пор развлекались детскими шалостями. На Гумилева они смотрели неприязненно, да и ему они были далеки. Даже Дима Коковцев, тоже писавший стихи, не нравился Николаю: заносчив, самоуверен, считает себя первым поэтом не только в гимназии, но и во всем Царском Селе.

В стране разгоралась революция. То и дело гимназисты, придя в класс, находили в партах прокламации с призывами к свержению самодержавия. Нескольких за агитацию исключили из гимназии.

Но Гумилев точно не замечал вокруг себя этого кипения страстей. Готовя сборник «Путь конквистадоров», он вновь

увлекся чтением Ницше, как прежде в Тифлисе. Его и притягивала и одновременно отталкивала эта философия. Притягивала строгой логикой рассуждений и смелостью, бескомпромиссностью выводов. Но отталкивала отрицанием греха. Интуитивно Гумилев ощущал, что от его «друга Люцифера» исходит что-то страшное, враждебное, даже постыдное.

3 октября 1905 года было получено цензурное разрешение на публикацию сборника стихов «Путь конквистадоров». Эпиграфом к сборнику Гумилев взял слова начинающего Андре Жида: «Я стал кочевником, чтобы сладостно прикасаться ко всему, что кочует». Свою первую книгу «Яства земные» А. Жид напечатал в 1897 году, и в России лишь очень немногие заметили этого французского писателя.

Анна Ивановна дала сыну нужную сумму, ничего не сказав мужу, поэтому о книге дома не говорили. Но родные теперь относились к Николаю иначе: он был не просто гимназист, к тому же плохо учившийся, а поэт, пусть пока непризнанный. Ему бы очень хотелось подарить свою книгу Ане Горенко, но Ани не было, а посылать ей книгу в Евпаторию он не хотел из самолюбия. Выход был найден: он пошлет книгу Андрею, а тот, конечно, покажет ее сестре.

Экземпляр книги он преподнес Анненскому, сделав надпись:

Тому, кто был влюблен, как Иксион,
Не в наши радости земные,
а в другие,
Кто создал Тихих Песен
нежный звон —
Творцу Лаодамии
от автора.

Иннокентий Федорович перед всем классом пожал Гумилеву руку, поздравив с успехом.

Но главный триумф еще предстоял: в ноябрьской книжке «Весов» появилась рецензия самого Валерия Брюсова! Это было потрясающе! Не беда, что маститый мэтр дал не слишком хвалебный отзыв, написав, что «Путь конквистадоров» полон «перепевов и подражаний» и повторяет все основные заповеди декадентства, поражавшие своей смелостью и новизной на Западе лет за двадцать, а в России за десять до того (то есть как раз в ту пору, когда сам Брюсов произвел сенсацию своими сборниками «Русские символисты»). И все же закончил он рецензию обнадеживающе: «Но в книге есть и несколько прекрасных стихов, действительно удачных образов. Предположим, что она только

„путь“ нового конквистадора и что его победы и завоевания — впереди».

На очередной «воскресник» к Коковцевым Гумилев пришел полный собственного достоинства: у кого из царскоселов есть своя книжка стихов (разумеется, исключение составляет Анненский), о ком еще пишет в столичных журналах самый маститый поэт?

На этот раз у Коковцевых было большое общество. Пришли Анненский, его сын — Кривич, пожилая дама Веселковская-Кильштедт, поэтесса Микулич, поэт Савицкий, Евгеньев-Максимов, Дима Коковцев, его приятель Загуляев и несколько совсем юных гимназистов. Все были взволнованы появлением книги «Путь конквистадоров», восприняв ее как дерзость, что-то там декадентское, символистское, бог знает что.

На Гумилева набросились со всех сторон, говорили о ненужной экзальтации, о невнятице, о любовании малопристойными картинами. Особенно возмутила «Песня о певце и короле»:

Я шел один в ночи беззвездной
В горах с уступа на уступ
И увидал над мрачной бездной,
Как мрамор белый, женский труп.

Влачились змеи по уступам,
Угрюмый рос чертополох,
И над красивым женским трупом
Бродил безумный скоморох.

Он хохотал, смешной, беззубый,
Скача по сумрачным холмам,
И прижимал большие губы
К холодным девичьим губам.

— Гадость! — слышалось со всех сторон. — Увольте от такой поэзии! А что это еще за «бледная царица», которая «ждет мучений и лобзаний»?

Гумилев презрительно щурил свои продолговатые холодные глаза и насмешливо кривил губы.

Прошли рождественские каникулы, до окончания гимназии осталось полгода. И вдруг пополз слух: директора увольняют от должности за либерализм. Все были взволнованы и огорчены, Гумилев — больше других: уходил из гимназии его старший друг — поэт. Через несколько дней слух подтвердился. Гимназистов

выстроили в рекруц-зале, по краям застыли классные наставники в мундирах с начищенными до блеска пуговицами. Учителя, тоже в форменных тужурках, стояли отдельно. Быстрыми шажками вошел старичок в мундире, при ордене, с яйцевидной лысой головой и водянистыми, ледяными глазами без ресниц. Это был новый директор, господин Мор.

Строгости в гимназии сразу усилились. «Начальство на нас мор напустило», — острили гимназисты.

В апреле Гумилев получил от Валерия Брюсова письмо с предложением сотрудничать в журнале «Весы». Это был успех — и явный. 15 мая он послал ответ:

> «Уважаемый Валерий Яковлевич!
>
> Спешу ответить на Ваше любезное письмо и дать Вам канву, по которой и т. д.
>
> 3-го апреля мне исполнилось 20 лет, и через две недели я получаю аттестат зрелости. Отец мой отставной моряк и в материальном отношении я вполне обеспечен. Пишу с двенадцати лет, но имею очень мало литературных знакомств, так что многие мои вещи остаются нечитаными за недостатком слушателей.
>
> Из иностранных языков читаю только по-французски, и то с трудом, так что собрался прочитать только Метерлинка. Из поэтов больше всего люблю Эдгара По, которого знаю по переводам Бальмонта и Вас…
>
> Летом собираюсь ехать за границу и пробыть там лет пять».

В начале 1906 года в Царском Селе вышел литературный сборник «Северная речь», в котором участвовали П. Загуляев, В. Кривич, Д. Полозов, И. Анненский (он напечатал трагедию «Лаодамия») и Н. Гумилев (стихотворения «Смерть» и «Огонь»).

За своими литературными хлопотами Гумилев не заметил, как вплотную подошли выпускные экзамены. Готовиться к ним не было ни сил, ни желания. За все время пребывания в гимназии он так и не понял, зачем ему нужно знать бином Ньютона, объем конуса или формулу серной кислоты. Есть стихи, волшебная музыка слов; есть реки, моря, пустыни, джунгли, горные вершины; есть подвиги и слава, для которой родятся короли. Есть женщины, их красота, их любовь, за которую столько скрещено шпаг на дуэлях. Вот это — настоящая полнокровная жизнь, а прочее — сухая схоластика ученых педантов.

На экзамене по литературе учитель Мухин, посетитель коковцевских «воскресников», решил помочь Гумилеву, задав

легкий вопрос: «Чем замечательна поэзия Пушкина?» — «Кристальностью», — спокойно, даже торжественно ответил Гумилев. Экзаменаторы недоуменно переглянулись и рассмеялись. Все же на этом экзамене он получил отличную оценку. Но в целом аттестат не блистал пятерками, «отлично» Гумилев получил еще по логике; из десяти остальных пять предметов оценены на «четыре», другие — на «три». На выпускных экзаменах он получил пятерку по русскому, четверки по истории и французскому языку, а так — одни тройки.

30 мая 1906 года Гумилеву после окончания Николаевской императорской Царскосельской гимназии вручили аттестат зрелости. Пришла свобода. Ночами Гумилеву снился Париж, широкие, многолюдные улицы, на которых отчего-то были караваны верблюдов и воины в шлемах со страусовыми перьями. И томило беспокойство: а вдруг родители откажут, заставят поступать в Петербургский университет.

Дома шли переговоры. Поначалу отец наотрез отказал в просьбе. Но Анна Ивановна не могла устоять перед уговорами своего любимца, и в конце концов Степан Яковлевич тоже сдался, побежденный доводами, что Сорбонна лучше и престижнее российских юридических факультетов. На семейном совете решили, что Николай будет получать из дома по сто рублей в месяц, этого хватит на неотложные расходы и в то же время не позволит «наслаждаться жизнью», чего опасались старшие Гумилевы.

После увольнения из гимназии Иннокентий Федорович Анненский служил инспектором учебных заведений Петербургской губернии, много разъезжал, но, возвращаясь домой, всегда старался встретиться со своим юным другом. Часто к Анненскому приходил его сын Валентин Иннокентьевич со своей хорошенькой женой Натальей Владимировной, сестрой фон Штейна, знакомого Гумилеву. Как-то она попросила Николая Степановича написать ей на память стихи в альбом. Он тут же написал экспромт, нарочно составив его из коротеньких строчек по одному-два слова:

Искатели жемчуга
От зари
Мы, как сны;
Мы цари
Глубины.
Нежен, смел
Наш размах,
Наших тел

Блеск в водах.
Мир красив… —

и так всего 32 строки.

Через несколько минут в альбоме по просьбе владелицы появились и длинные строки:

В этом альбоме писать надо длинные, длинные строки, как нити.
Много в них можно дурного сказать, может быть и хорошего много.
Что хорошо или дурно в этом мире роскошных и ярких событий!
Будьте правдивы и верьте в диаволов, если Вы верите в Бога…

Гумилев чувствовал, что владеет стихосложением, как опытный наездник лошадью, недаром он считал себя учеником Брюсова, мастера, в совершенстве владеющего формой.

Узнав, что вопрос о поездке в Париж решен, Иннокентий Федорович снабдил своего юного друга письмом к сестре, которая была замужем за французским антропологом Жозефом Деникером. Летом в Царское Село из Евпатории приехал Андрей Горенко, еще более худой, даже не загорелый; он горячо поблагодарил за присланную книгу стихов, поздравил с успехом и сказал, что в июне скончалась от чахотки Инна Андреевна, фон Штейн остался вдовцом. Николай не выдержал, спросил, как поживает Анна Андреевна. Оказалось, что она в Киеве, в последнем классе Фундуклеевской гимназии, и очень тоскует по Царскому Селу.

ГЛАВА IV
Конквистадор выходит в путь

Не передать волнения, охватившего юношу, едва он вышел на перрон парижского вокзала. Мимо сновали оживленные люди, слышался громкий смех, царила праздничная суета, несвойственная сдержанному Петербургу.

На широкой площади стояли ряды фиакров, извозчики с длинными, как удилища, кнутами ожидали седоков; здесь же выстроились открытые автомобили, звучали мелодичные сигналы клаксонов. А вот и Эйфелева башня, такая знакомая по многу раз виденным открыткам.

Гумилев нанял извозчика, вспомнив старую шутку, рассказанную матерью: русский барин, вернувшись из Парижа, восторгается французской культурой: «Представьте себе, там даже извозчики говорят по-французски».

На дверях и окнах то и дело попадались маленькие листочки бумаги — это значило, что в доме сдается квартира. Николай без труда снял недорогую квартиру на бульваре Сен-Жермен и направился в магазин готового платья.

На другой день, надев модный костюм, длинное пальто, ярко-оранжевый галстук, молодой человек отправился к Деникерам с письмом Анненского. Узнав, что это недалеко, пошел пешком, любуясь пестрой толпой на тротуарах. На набережной людей было меньше; от рыболовов веяло чем-то знакомым, деревенским, точно это был не Париж, а Березки…

Любовь Федоровна встретила Гумилева приветливо, пробежала письмо брата и принялась расспрашивать о Царском, Петербурге, общих знакомых. Потом стала рассказывать о здешних нравах, добавив, что литературные веяния лучше обсуждать с ее сыном, который сейчас в отъезде.

Сорбонна поразила Гумилева. Это был целый город со своим, не похожим на парижан населением. Николаю предстояло слушать лекции знаменитых профессоров. Впрочем, очень скоро он стал пропускать занятия, бродил по улицам и бульварам, вглядывался в химер на фронтоне Нотр-Дам, заходил в кафе «Клозери де Лиль», где, по преданиям, лет за тридцать до того собирались «парнасцы» — участники литературной школы во главе с Леконтом де Лилем, а теперь часто бывал входивший в моду поэт Поль Фор. Усевшись в углу за столиком, Гумилев писал стихи…

Прошло больше месяца, прежде чем состоялось знакомство с

Николя Деникером, племянником Анненского. Он был литератором, принадлежал к группе «Аббатство», возглавляемой уже снискавшим известность поэтом Шарлем Вильдраком, печатавшимся в журнале французских символистов «Verse et Prose». К сожалению, Деникер не настолько владел русским языком, чтобы оценить творчество своего нового приятеля. Стихи читать было некому. Молодой поэт чувствовал, что как бы утрачивает внутренний слух.

В поисках помощи Гумилев забрасывал письмами Валерия Брюсова. 30 октября 1906 года он писал; «Я никогда в жизни не видел ни одного поэта новой школы или хоть сколько-нибудь причастного к ней. И никогда не слышал о моих стихах мнение человека, которого я мог бы найти компетентным». Не ясно, почему Гумилев совершенно забыл об Иннокентии Анненском, которому преподнес свою первую книгу стихов. «Приехав в Париж, — продолжал Гумилев, — я написал Бальмонту письмо, как его верный читатель, а отчасти в прошлом и ученик, прося позволения увидеться с ним, но ответа не получил. Вы были так добры, что сами предложили свести меня с Вашими парижскими знакомыми. Это будет для меня необыкновенным счастьем, так я оказался несчастлив в моих здешних знакомствах. <…> Я был бы в восторге увидеть Вячеслава Иванова и Максимилиана Волошина, с которыми Вы, наверно, знакомы».

Юного поэта одолевали сомнения; хотелось поделиться мыслями о поэзии, которые ему казались глубокими, даже гениальными, и он писал Брюсову в ответ на упрек в однообразии и неоригинальности размеров: «…мне представляется, что прелесть стиха заключается во внутренней, а не во внешней структуре, в удлинении гласных и отчеканивании согласных, и это должно вызвать смысл стиха». В доказательство он приводил строфу из своего стихотворения «Император». «Но ради Бога не подумайте, Валерий Яковлевич, — продолжал Гумилев, — что я спорю с Вами или, даже, защищаюсь. Это не более как сомнения».

В те времена в Париже открылся Осенний салон Дягилева, на котором, по словам Гумилева, «русское искусство было представлено с самого начала, с тех пор, когда оно может даже не существовало, я говорю о некоторых иконах». Не тогда ли Николай Степанович увидел икону рублевской кисти? Несколько лет спустя он напишет стихотворение «Андрей Рублев».

Здесь, в Салоне, где он любовался Бенуа и Врубелем, Гумилев познакомился с молодыми грузинскими художниками Николадзе и Рабокидзе, которые ввели его на «четверги» русской художницы Кругликовой. У нее собирались русские художники, поэты, писатели, даже политики, по разным причинам оказавшиеся в

Париже. Бывал Николай Минский, стихотворец, которого позже в «Письмах о русской поэзии» Гумилев назвал «сомнительной поэтической величиной», — у Кругликовой он читал стихотворение, начинавшееся словами: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Другой стихотворец, Александр Брик, читал свои бравурные стихи: «В борьбе обретешь ты право свое», ставшие лозунгом эсеров. Иногда заходили на эти вечера Амфитеатров, Волошин. Вскоре Гумилев познакомился с Мстиславом Формаковским, художником, разносторонне образованным человеком: он окончил историко-филологический факультет Одесского университета, обучался в Дюссельдорфской академии художеств.

Еще в Царском Гумилев получил у писательницы Микулич письмо к Гиппиус, поэтессе, жене Дмитрия Сергеевича Мережковского. Им пришлось покинуть Россию после революции 1905 года. Мережковский был полон идей соединить языческую культуру с христианской моралью, называя это странное единство «неохристианством». Поэзию он в этот период оставил, увлекся анархизмом, писал вызывавшие шумный отклик работы по истории русской литературы и общественности: «Гоголь и черт», «Грядущий хам», «Теперь или никогда», «Пророк русской революции». Зинаида Николаевна писала статьи об искусстве и готовила вторую книгу своих стихов.

В ранних зимних сумерках направился Гумилев на улицу Колонель Бонне, 11, в квартале Пасси, где у Мережковских была квартира, занимаемая ими с другом семьи Дмитрием Философовым. Дверь открыл Борис Бугаев, более известный как поэт Андрей Белый, и, увидев незнакомого юношу, осведомился, к кому тот пришел. Запинаясь от волнения, Гумилев ответил, что пришел к Мережковским. Узнав, что у гостя рекомендательное письмо от Микулич, Зинаида Николаевна пригласила его в гостиную.

О книжке Гумилева она ничего не слышала, как и Белый. Поэт принялся объяснять, что он приглашен участвовать в «Весах», переписывается с Валерием Брюсовым. В это время из соседней комнаты появился Мережковский и, узнав, в чем дело, заявил:

— Вы не по адресу… Мы тут стихами не интересуемся… Стихи — дело пустое…

— Почему же — пустое? — смело глядя на Мережковского, возразил Гумилев. Ведь вы сами великолепно сказали о поэте:

> Не презирай людей! Безжалостной и гневной
> Насмешкой не клейми их горестей и нужд,

Сознав могущество заботы повседневной,
Их страха и надежд не оставайся чужд.

Мережковский, не ожидавший такого ответа, растерянно оглянулся на жену, и Гиппиус поспешила ему на помощь:

— Сами-то вы, господин Гумилев, о чем пишете? — И, помедлив: — О козлах, что ли?

Встреча явно не удалась. Много лет спустя Белый вспоминал, что Гиппиус дразнила беднягу, который преглупо стоял перед нею; впервые попавши в «Весы», шел от чистого сердца — к поэтам же; в стриженной бобриком узкой головке, в волосиках русых, бесцветных, в едва шепелявящем голосе кто бы узнал скоро крупного мастера, опытного педагога?

Оскорбленный таким приемом Гумилев писал Брюсову, что Мережковский выговаривал ему: «Вам не место здесь. Знакомство с вами ничего не даст ни вам, ни нам. Говорить о пустяках совестно, а о серьезных вещах мы все равно не сойдемся. Единственное, что мы могли бы сделать, это спасти вас, но ведь это… Тут он остановился. Я добавил тоном вопроса: Дело неинтересное? И он откровенно ответил — „да“». Никогда больше Гумилев не встречался с Мережковскими и в своих критических статьях в «Аполлоне» обходил их творчество молчанием.

А Гиппиус писала Брюсову, который спрашивал, был ли у нее юный поэт: «Какая ведьма „сопряла“ Вас с ним? Да видели ли уже Вы его? Мы прямо пали. Боря имел силы издеваться над ним, а я была поражена параличом. Двадцать лет, вид бледно-гнойный, сентенции старые, как шляпка вдовицы, едущей на Драгомиловское. Нюхает эфир (спохватился) и говорит, что он один может изменить мир, „До меня были попытки… Будда, Христос… Но неудачные“. После того, как он надел цилиндр и удалился, я нашла номер „Весов“ с его стихами, желая хоть гениальностью его строк оправдать Ваше влечение, и не могла. Неоспоримая дрянь. Даже теперь, когда так легко многие пишут хорошие стихи, выдающаяся дрянь. Чем, о, чем он Вас пленил?»

Столь резкий отзыв Гиппиус не случаен: ей был абсолютно чужд поэт-романтик, изображающий окружающий мир в фантастических ярких красках, когда даже гибель, даже смерть становятся апофеозом подвига. Все это было несовместимо с духом раннего символизма, пропитанного мистическими верованиями и ожиданиями. Гиппиус с неприязнью воспринимала окружающее:

Страшное, грубое, липкое, грязное,
Жестко-тупое, всегда безобразное,

Медленно рвущее, мелко-нечестное,
Скользкое, стыдное, низкое, тесное,
……
……
Трупно-холодное, жалко-ничтожное,
Непереносное, ложное, ложное!

Впрочем, на самом ли деле стихи Гумилева показались Мережковским такими никчемными? Сомнения вызывает случай с его стихотворением «Андрогин». Одна знакомая Гумилеву девушка, бывавшая у Мережковских, отнесла им это стихотворение и попросила Зинаиду Николаевну дать отзыв, но не назвала автора. Гиппиус написала на листке: «Очень хорошо», похвалил и Мережковский, а девушку оба «маститых» очень просили познакомить их с поэтом.

После случая с Мережковскими Гумилев остерегался знаменитостей, но Брюсову он писал чуть не каждый день и очень ценил его советы. Продолжалась дружба и с Формаковским.

Как-то, когда они с Формаковским сидели за столиком в маленьком кафе, Николай Степанович пожаловался, что у него накопилось много готового для печати, да вот нет нужных редакций. Формаковский на это предложил: а не начать ли здесь новый литературно-художественный журнал с Гумилевым в качестве редактора? Деньги на первый номер у него имелись, он же взялся вести критический отдел. Другой художник, Божерянов, стал редактором художественного отдела и даже переехал на квартиру Гумилева, чтобы решать все дела по журналу безотлагательно.

Молодой издатель развил бурную деятельность. Журнал назвали «Сириус», он должен был стать двухнедельным изданием объемом полтора-два печатных листа. 8 января 1907 года в письме к Брюсову Гумилев сообщал: «Несколько русских художников, живущих в Париже, затеяли издавать журнал художественный и литературный. Его направление будет новое, и политика тщательно изгоняется <…> если бы Вы могли дать нам что-нибудь свое — стихотворение, рассказ или статью, — Вы еще раз доказали бы свою бескорыстную доброту ко мне…» Одновременно он написал в Киев Ане Горенко с просьбой прислать несколько (сколько есть) стихотворений. Николай Степанович к стихам ее относился несколько насмешливо, сочетание слов «женщина-поэт» казалось ему нелепостью. Но он хотел сделать Ане приятное: ведь ее стихи будут напечатаны не где-нибудь, а в Париже!

Первый номер вышел в январе и открывался вступительной статьей Гумилева. «Издавая первый русский художественный журнал в Париже, этой второй Александрии утонченности и просвещения, — писал он, — мы считаем своим долгом познакомить читателей с нашими планами и взглядами на искусство. Мы дадим в нашем журнале новые ценности для изысканного миропонимания и старые ценности в новом аспекте».

Чтобы скрыть недостаток авторов, Гумилев выступал под разными псевдонимами: Анатолий Грант, К°. В первом номере было напечатано начало повести «Гибели обреченные» и стихотворение «Франция», во втором и третьем последовало продолжение так и неоконченной повести, статья «Карты», очерк «Вверх по Нилу», стихотворение «Неоромантическая сказка»; были помещены и стихи Анны Горенко.

Первую книжку журнала Гумилев отправил Брюсову с просьбой написать отзыв в «Весах», но рецензии не последовало. После третьего номера «Сириус» прекратил существование. Деньги закончились. А главное — у журнала не было подписчиков.

Занимаясь журналом, Гумилев одновременно принялся серьезно изучать французскую литературу, историю живописи и театра, слушал лекции в Сорбонне. В библиотеке внимательно читал сочинения средневековых богословов — Фомы Аквинского, Игнатия Савонаролы, штудировал недавно вышедшие книги философов-мистиков Элиаса Леви, Рудольфа Штейнера.

С юных лет его влекли таинственные, потусторонние явления, он почти физически ощущал их, верил в приметы и предзнаменования. Полагал, что в мире существует две равные силы: Добро, исходящее от Бога, и Зло, идущее от дьявола. Поэтому он пишет: «Пять могучих коней мне дарил Люцифер…», а в стихотворении «Рассвет» у него появляется властительный Змей; «Умный Дьявол» начинается строками: «Мой старый друг, мой верный Дьявол». Эти поэтические образы не случайно попали в стихи Гумилева. Будучи глубоко убежденным христианином, поэт хотел узнать и дьявола, а может быть, помериться с ним силой своей веры в Бога.

Однажды вместе с несколькими сорбоннскими студентами решил провести оккультный сеанс вызывания дьявола. Для этого они прошли ряд испытаний: изучали каббалистические книги, несколько дней перед сеансом вообще ничего не ели, а потом предстояло в определенный вечер выпить таинственный напиток и, запершись в темной комнате, ждать появления таинственного собеседника. До конца это испытание выдержал один Гумилев. И

он действительно видел какую-то тень, которая не пожелала с ним беседовать. Итог подведен в письме к Брюсову: «Когда я уезжал из России, я думал заняться оккультизмом. Теперь я вижу, что оригинально задуманный галстук или удачно написанное стихотворение может дать душе тот же трепет, что и вызывание мертвецов…»

Личная встреча с Брюсовым состоялась в Москве, Гумилев по возвращении на родину сразу направился в редакцию «Скорпиона». Брюсов встретил его приветливо, о парижском инциденте у Мережковских оба промолчали. Валерий Яковлевич рассказывал, что нового в литературной жизни столиц, расспрашивал об оккультных опытах. Сам он очень этим интересовался.

Гумилева он наблюдал и слушал с интересом. И находил в нем все больше и больше черт, которые были присущи ему самому лет десять-двенадцать назад, когда Брюсов отстаивал новые символистские принципы. Приглашал активнее участвовать в «Скорпионе» — стихами, критикой. Гумилев ушел окрыленный. Прощаясь, Брюсов дал ему рекомендательное письмо к французскому поэту Рене Гилю.

Он долго не решался им воспользоваться, так велика была обида, оставшаяся от посещения Мережковских. Впоследствии, работая над «Письмами о русской поэзии», Николай Степанович почти не касался творчества Гиппиус, лишь вскользь упомянув о ее «застывшем на одной точке мастерстве». Об Андрее Белом он отзывался определеннее, отметив его характерное свойство — нехватку культуры: «Из всего поколения старших символистов Андрей Белый наименее культурен <…> Как-то не представляется, что он бывал в Лувре, читал Гомера…»

Откладывался визит к Гилю еще из-за настроения, усугубляемого простудой. И вообще его больше привлекал Jardin des Plantes, где, сидя на садовой скамейке, можно было подолгу наблюдать забавных, словно плюшевых, тибетских медведей. В такие часы поэта охватывало чувство радостного умиротворения, начинала буйно работать фантазия, он точно читал захватывающе-интересную повесть. Выстраивались завершенные картины, хотелось все это поскорее записать. Но за письменным столом сочинитель с ужасом ощущал свое бессилие: на бумагу ложились какие-то бессвязные фразы, образы, казавшиеся яркими, тускнели на глазах.

Порой Гумилева сопровождал Николя Деникер. Его отец, Жозеф Деникер, видный этнограф и антрополог, служил библиотекарем в Jardin des Plantes, и в семье шутили, что Николя — единственный французский поэт, родившийся в зверинце. Он-

то и уговорил Гумилева все-таки нанести визит Рене Гилю.

Наконец 9 октября 1907 года Николай Степанович отважился на этот шаг. Он остался в восторге от знакомства. «Сегодня, — писал он Брюсову в тот вечер, — я был у Гиля, и он мне очень понравился без всяких оговорок. Это энергичный, насмешливый, очень тактичный и действительно очень умный человек <…> Со мной он был крайне приветлив и с каким-то особенным оттенком дружеской фамильярности, что сразу сделало нашу беседу непринужденной. Вообще, я был совершенно неправ, когда боялся к нему идти, и теперь знаю, что французские знаменитости много общительнее русских (Вы знаете, о ком я говорю)».

Рене Гильбер, известный по литературному псевдониму как Рене Гиль, представитель «второй волны» символистов, теоретик «научной поэзии», автор писем о французской поэзии, печатавшийся в «Весах», был на 24 года старше Гумилева. На протяжении нескольких лет между ними сохранялись дружеские отношения, хотя их литературные убеждения все больше расходились.

Пришло письмо от Анны Ивановны: она писала, что получена повестка из воинского присутствия — Николая вызывают для отбывания воинской повинности.

В конце октября Гумилев уже ехал в Россию. По пути он, конечно, сделал остановку в Киеве, где жила и училась Аня Горенко. Она заметно повзрослела, держалась свободно и приветливо, иронизировала по поводу журнала «Сириус»: «Интересно, много ли кроме ее самой и Гумилева было в нем авторов?» И останавливала его попытки заговорить о чувствах.

Казалось неправдоподобным, что вот так, сразу его призовут, и вместо Парижа, Сорбонны, бесед с Рене Гилем придется два года жить с солдатами в казарме, маршировать по плацу, ходить строем в баню. Но этого не произошло, он был признан «совершенно неспособным к воинской службе» и получил «белый билет». Особой радости Гумилев не испытывал. Обидно было думать, что на поверку он неполноценный, слабый, больной и не годится ни для ратных подвигов, ни для опасных путешествий.

На этот раз возвращаться в Париж он решил морем: из Одессы через Босфор, Дарданеллы, побывать в Константинополе, увидеть, хотя бы бегло, Грецию и высадиться в Марселе. Это короткое путешествие подарило Гумилеву множество романтических образов. Особенно яркое впечатление произвел на него Марсель: узенькие, кривые улочки, вымощенные ракушечником и спускающиеся к порту, толпы моряков всех национальностей, их разноязычный говор, веселые, грубые шутки, задубленные лица. В маленьких темных тавернах он, не обращая

внимания на их ломаный французский язык, слушал рассказы о тропических джунглях и широких прериях, где бродят стада грациозных жирафов, о встречах с пиратами, стычках с дикарями, о страшном «Летучем голландце» и Огнях святого Эльма. Голова шла кругом от восторга, он живо представлял эти неизведанные страны, точно сам уже побывал в них. Все слышанное переплавлялось в стихи. Так были написаны «Жираф», «Озеро Чад», «Носорог» — все эти стихотворения войдут в его сборник «Романтические цветы», выпущенный в 1908 году.

Но пока, как сообщал в письме Брюсову Гумилев, «…по приезде в Париж принялся усердно работать над прозой. Право, для меня она то же, что для Канта метафизика. Но, теперь, наконец, я написал три новеллы и посвящение к ним, все неразрывно связанные между собой». Гумилеву очень хотелось видеть их в «Весах» как можно скорее «по романтическим причинам», как он пояснял свое нетерпение. Действительно, все три новеллы объединены не только общим заглавием — «Радости земной любви», но и посвящением: они посвящены Анне Горенко и прославляют рыцарскую верность мужчины, целомудренную скромность девушки. В торжественных выражениях, подобающих эпохе Возрождения, поэт рассказывает о пламенной любви флорентийского поэта Гвидо Кавальканти к прекрасной Примавере, столь гордой и добродетельной, что она не смогла открыть возлюбленному свои нежные чувства.

Гумилеву хотелось как можно скорее преподнести новеллы той, кому они посвящены. Его не оставляла надежда, что, прочитав о том, как мертвый рыцарь даже в раю мечтает о своей возлюбленной, Аня поймет, что напрасно она не ответила любовью на любовь.

5 декабря 1907 года в Париже открылась выставка Нового русского искусства, и Гумилев поспешил на улицу Камартен, где в двух небольших залах висели картины пяти художников. На вернисаже он познакомился с художником Рерихом, «Королем выставки», как написал он в своем отклике на страницах «Весов». Гумилев нашел, что его живопись обладает духовным родством с искусством Поля Гогена: «Оба они полюбили мир первобытных людей с его несложными, но могучими красками, линиями, удивляющими почти грубой простотой, и сюжетами дикими и величественными, и, подобно тому, как Гоген открыл тропики, Рерих открыл нам истинный север, такой родной и такой пугающий».

В свои 34 года Николай Константинович Рерих был в расцвете творческих сил. Его имя стало широко известно в России. «Рерих — вот высшая степень современного русского

искусства. Он глубоко национален, а не народен, — писал Гумилев, — манера его письма — могучая, здоровая, такая простая с виду и такая утонченная по существу…» Двадцатилетний поэт того же самого хотел достичь в своих стихах.

Тонко разбираясь в искусстве, Гумилев был совершенно неспособен разобраться в политических течениях. Он посылал стихи, рассказы и очерки в различные редакции, ничуть не заботясь о их направлениях. Стихи были посланы и в «Русскую мысль», и в «Перевал», и в «Русь», и в «Золотое руно», выпускаемое Рябушинским (узнав от Брюсова о его конфликте с этим респектабельным журналом, Гумилев покорно прервал отношения с редакцией). Радуясь тому, что «Раннее утро» поместило его стихотворение «Гиена», поэт замечает: «Сама газета мне показалась симпатичной, но я настолько наивен в делах политики, что так и не понял, какого она направления. Кажется, „приличного“». Брюсов посоветовал послать стихи в московскую газету «Столичное утро», но предупредил: «Вы по политическим убеждениям правый, а она — левая, но ведь и „Русь“ — левая, а Вы свои стихи в нее посылали». Гумилеву эти оттенки были безразличны. Всю жизнь он был уверен, что поэзия стоит намного выше политических дрязг.

Постоянная работа над стихом, встречи и беседы с Деникером, с Рене Гилем, знакомство с Вильдраком, переписка с Брюсовым, который посылал пространные наставления, — все способствовало совершенствованию поэтического мастерства. Написано было много, но прежде чем посылать в редакции, он по нескольку раз переделывал рукописи, заменял слова, вычеркивал целые строфы. Брюсову 7 января 1908 года он сообщал о рассказе «Золотой рыцарь»: «Этот последний рассказ я переписывал четыре раза всегда с крупными поправками».

Итогом парижских трудов явился появившийся в январе 1908 года сборник стихов «Романтические цветы», вторая книга, включившая 32 стихотворения; из них несколько было перепечатано из сборника «Путь конквистадоров», еще несколько было значительно переработано, но в основном стихи были новые. Отбор для книги делался так тщательно, что даже очень требовательный Брюсов упрекнул автора: «Напрасно <…> Вы были слишком строги к своим стихам. „Маскарад“, „Сегодня у берега“, „Неоромантическая сказка“ и др. имели бы право занять свое место в книге».

Готовя сборник к изданию, Гумилев то приходил в восторг от мысли о будущей книге, то впадал в уныние и готов был отказаться от ее издания.

Книга в скромном бумажном переплете вышла в количестве 300 экземпляров, из них 50 именных на дорогой бумаге, приобретенной в художественном магазине. Получив сборник из типографии, поэт почувствовал разочарование: ему виделось великолепное издание, солидная толстая книга, а получилась какая-то брошюра. Заглавие «Романтические цветы» выглядит полемичным по отношению к Бодлеру и его «Цветам зла»; здесь красота, романтика и добро, там отчаяние и тоска.

Получив от Гумилева экземпляр сборника, Брюсов писал ему: «Общее впечатление, какое произвела на меня Ваша книга, — положительное. После „Пути“ Вы сделали успехи громадные. Может быть, конквистадоры Вашей души еще не завоевали стран и городов, но теперь они вооружены для завоевания». Далее Брюсов перечисляет пьесы, какие ему понравились: «Юный маг», «Над тростником», еще многое и, конечно, весь триптих «Озеро Чад».

Да, Гумилев и сам видел, что вторая книга получилась значительнее первой. Недавние сомнения и робость сменились верой в себя. Это радовало и вдохновляло.

Брюсов выполнил обещание, в третьем номере «Весов» появился его отзыв на книгу. Сравнивая «Романтические цветы» с «Путем конквистадоров», он писал: «Видишь, что автор много и упорно работал над своим стихом <…> Стихи Н. Гумилева теперь красивы, изящны и большей частью *интересны* по форме; теперь он резко и определенно вычерчивает свои образы и с большей обдуманностью и изысканностью выбирает эпитеты». Расценив и эту книгу как ученическую, мэтр назвал Гумилева парнасцем, поэтом, схожим с Леконтом де Лилем. Это странно: различие между двумя поэтами разительно, и оно прежде всего в том, что Гумилеву совершенно чужда рассудочность. Парнасцем был скорее Брюсов, ведь это он почти декларативно возвещал:

В минуту любовных объятий
К бесстрастью себя приневоль
И в час беспощадных распятий
Прославь исступленную боль.

Не обошлось и без отрицательных отзывов. В седьмом номере «Русской мысли» была статья В. Гофмана, где говорилось: «Если признать основным принципом искусства нераздельность формы и содержания, то стихи г. Гумилева пока большей частью не подойдут под понятие искусства». Довольно кисло оценил книгу и Андрей Левинсон в журнале «Современный мир». Но так или иначе, у молодого поэта теперь было имя, в редакциях его

произведения принимали охотно, он сам говорил о себе, что «пошел в ход».

Жизнь в Париже, казавшаяся когда-то привлекательной, становилась все более чужой, неприятной, французская поэзия не волновала: чеканность формы замечательна, однако какая бесстрастная холодность. Тянуло домой, в Россию. Он писал Брюсову: «Обстоятельства хотят моего возвращения в Россию (в Петербург), но не повредит ли это мне, как поэту?» Вопрос был риторический, в глубине души он уже твердо решил: еду!

Весной 1908 года он познакомился в Париже с молодым поэтом графом Алексеем Николаевичем Толстым. Через много лет Толстой вспоминал майский вечер, столик кафе под каштанами, где у них с Гумилевым шел разговор «о стихах, о будущей нашей славе, о путешествиях в тропические страны…». И о том, что Гумилева преследовало желание умереть.

Из-под пера Толстого выходит живой образ: «Он, как всегда, сидел прямо — длинный, деревянный, с большим носом, с надвинутым на глаза котелком. Длинные пальцы его рук лежали на набалдашнике трости. В нем было что-то павлинье: напыщенность, важность, неповоротливость. Только рот у него был совсем мальчишеский, с нежной и ласковой улыбкой».

Воспоминания Толстого написаны вскоре после гибели Гумилева, осенью 1921 года. Прошло много лет, и нужно сделать поправку на художественную фантазию мемуариста, а все же свидетельство впечатляет. Вот что как будто бы рассказал ему Гумилев: «Я увидел, что сижу в траве на верху крепостного рва в Булонском лесу. Рядом валялся воротник и галстук… Опираясь о землю, чтобы подняться совсем, я ощупал маленький, с широким горлышком пузырек, — он был раскрыт и пуст. В нем, вот уже год, я носил большой кусок цианистого калия, величиной с половину сахарного куска. Я начал вспоминать, как пришел сюда, как снял воротник и высыпал из пузырька на ладонь яд. Я знал, что, как только брошу его с ладони в рот, — мгновенно настанет неизвестное. Я бросил его в рот и прижал ладонь со всей силы ко рту. Я помню шершавый вкус яда».

Возможно, это тоже не более чем поэтический мотив, который Гумилев представил воплотившимся в реальности. Толстой вспоминает это объяснение: одиночество, и «кроме того, здесь была одна девушка». Подробности этого разговора у Толстого опущены. Да, может быть, и весь разговор им сочинен от начала и до конца.

В апреле Гумилев окончательно расстался с Сорбонной и тронулся домой. Не удержавшись, по пути заехал в Киев. И опять все то же: Аня не кокетничала, держалась дружески, однако не

допускала признаний.

Двадцатого он уже был в Царском Селе. Там все было тихо, уютно и отчаянно скучно. Отец целые дни проводил у себя в кабинете в вольтеровском кресле, надрывно кашляя, мать неотлучно сидела возле мужа, которому нужно было то подать стакан чая, то накапать лекарство, то поставить грелку к ногам. Сестра по утрам уходила в гимназию, а вечером проверяла тетради.

Степана Яковлевича огорчало, что сын оставил Сорбонну. Он требовал, чтобы Николай хотя бы продолжал учение и закончил Петербургский университет. Гумилев нервничал, день ото дня становился все раздражительнее.

Несколько скрасило эту будничность знакомство с семьей художников Кардовских, поселившихся на первом этаже в том же доме. Они собирались за границу и с интересом слушали рассказы Гумилева о весенних выставках в Париже, о картинах Рериха, о замечательных эмалях княгини Тенишевой. На прощанье он подарил Кардовским свои «Романтические цветы». Книга им очень понравилась, только обложка показалась невыразительной — серая, бесцветная. Следующую книгу брался оформить Дмитрий Кардовский, самый известный из всего этого семейства.

Гумилев нанес визит своему бывшему директору. Анненский расспрашивал о Париже, о планах на будущее, но почему-то ни слова не говорил о «Романтических цветах», уже давно ему отосланных. В действительности Анненский прочел книгу сразу по ее получении и нашел, что она оправдывает надежды, связываемые им с ее автором. Ему особенно понравилось «Озеро Чад».

Он позвал Гумилева на заседание кружка «Вечера Случевского». Вечера были посвящены памяти крупного поэта Константина Случевского, недавно умершего. После смерти Полонского Случевский в своей квартире в центре Петербурга стал проводить литературные «пятницы», на которых собирался весь писательский цвет столицы. Несомненное влияние поэзия Случевского оказала и на Анненского, который более других способствовал решению продолжить после смерти Константина Константиновича его «пятницы»…

Так в 1904 году возникло новое объединение «Вечера Случевского». Председателем его стал Ф. Ф. Фидлер, тот самый преподаватель немецкого языка из гимназии Гуревича, который ставил Гумилеву двойки. Кружок пользовался известностью и признанием, его посещали такие видные символисты, как Ф. Сологуб, В. Иванов, бывала там Н. Тэффи.

На четвертом году неофициального существования было решено его легализовать. Заседание, которое посетил Гумилев, вел сын Анненского Валентин Кривич. От него Гумилев узнал, что в газете «Царскосельское дело», где литературным отделом заведовал бывший задиристый гимназист Загуляев, в феврале появился пасквиль, высмеивающий не только Гумилева, но и самого Анненского. В пасквиле описывался городок Калачев: «Среди его граждан нашелся тоже гениальный „поэт“. Это был молодой человек очень неприятной наружности и косноязычный, недавно окончивший местную гимназию, где одно время высшее начальство самолично пописывало стихи с сильным привкусом декаденщины… Этот многообещающий юноша побывал в Париже, где, по его словам, он приобщался к кружку, служившему черные мессы, и, вернувшись в мирный Калачев, выпустил в свет книжку своих стихов, которые быстро разошлись по городу, так как жаждавший только славы автор рассылал ее совершенно бесплатно».

Гумилев взорвался, пригрозив вызвать автора на дуэль и пристрелить как собаку. Кривич принялся его успокаивать, говоря, что на такое ничтожество лучше не стоит обращать внимания, и собеседник остыл, но настроение было испорчено.

«Вечер Случевского», на котором Николай Степанович впервые присутствовал, прошел интересно. Были Анненский, Кривич, Фидлер, бывшие однокашники Гумилева по гимназии Эрих Голлербах, Дмитрий Коковцев и какая-то дама в большой шляпе (оказалось, сама Тэффи, уже входившая в славу).

По правилам, установленным в кружке, собравшиеся читали свои произведения. Когда очередь дошла до Гумилева, он прочел стихи «Старый конквистадор», написанные совсем недавно и еще нигде не опубликованные. Глухой голос точно с трудом выговаривал слова:

Углубясь в неведомые горы,
Заблудился старый конквистадор.
В дымном небе плавали кондоры,
Нависали снежные громады.

Он восемь дней скитался в этих горах, пока не нашел жилища под уступом, «в тени сухих смоковниц», и оставался в нем, оберегая «милый труп» своего издохшего коня:

Как всегда, был дерзок и спокоен
И не знал ни ужаса, ни злости,
Смерть пришла, и предложил ей воин

Поиграть в изломанные кости.

Присутствующим казалось, что перед ними не молодой человек с бледным лицом и тонкой шеей в крахмальном воротничке, а обветренный в походах старый воин. Гумилев читал еще, и был единогласно принят в члены кружка. Разошлись только утром, с первым поездом в Петербург.

В середине июня Гумилев поехал в Березки. Имение еще не продали, хотя Степан Яковлевич уже не мог туда ездить, предстояло искать покупателя этого поместья.

После Парижа рязанское захолустье предстало унылым и убогим. Через неделю Гумилев уже ехал в другое имение — Слепнево, где прежде никогда не бывал. Мать много рассказывала о нем, всегда тепло вспоминала старый дом, большую библиотеку деда, парк у дома, реку, красивые окрестности.

В маленьком, заросшем садами Бежецке Гумилев взял извозчика, за что старенькая тетя Варя пожурила его: «Не мог известить телеграммой, послали бы экипаж!»

Слепневский дом Николаю Степановичу не понравился: бревенчатый, с мезонином, он казался немногим лучше деревенской избы. Поскрипывали крашенные желтой охрой полы. И на стенах — потемневшая от времени картина с изображением итальянских крестьян, везущих на ослике вязанку хвороста, портреты предков в позолоченных толстых рамах, портрет императора Николая I, в углу каждой комнаты — иконы с горящими перед ними лампадками. На многочисленных овальных и круглых столиках — вышитые покойной бабушкой салфетки. Парк был запущен и походил на глухой лес. Всюду крапива и лопухи с огромными, проеденными гусеницами листьями.

Открывшаяся тоскливая картина навеяла ему стихи, напечатанные в сборнике «Жемчуга» в 1910 году (переиздавая книгу восемь лет спустя, Гумилев снял третью строфу):

Вот парк с пустынными опушками,
Где сонных трав печальна зыбь,
Где поздно вечером с лягушками
Перекликаться любит выпь.

Вот дом, старинный и некрашеный,
В нем словно плавает туман,
В нем залы гулкие украшены
Изображением пейзан.

Тревожный сон… Но сон о небе ли?

Нет! На высоком чердаке,
Как ряд скелетов, груды мебели
В пыли почиют и тоске.

Мне суждено одну тоску нести.
Где дед раскладывал пасьянс
И где влюблялись тетки в юности
И танцевали контрданс.

И сердце мучится бездомное.
Что им владеет лишь одна
Такая скучная и томная,
Незолотая старина.

Тетя Варя, заботясь о племяннике, который ей очень нравился, закармливала его пирогами, вареньями и компотами, но поэта тяготила эта размеренная и скучная жизнь:

…Теперь бы кручи необорные,
Снега серебряных вершин
Да тучи сизые и черные
Над гулким грохотом лавин!

(«Старина»)

В начале июля он уже был в Царском Селе. Как раз в эту пору Аня Горенко провела несколько дней в Петербурге, но не заехала в Царское, не встретилась с Гумилевым.

По настоянию отца Николай Степанович подал прошение ректору Петербургского университета о приеме его на юридический факультет. 10 августа он был зачислен студентом. Но вместо того, чтобы слушать лекции, отправился в свое первое путешествие в Африку.

На пути в Одессу была короткая встреча в Киеве с Аней. И опять — ни да, ни нет, колебания, холодность, почти отказ.

10 сентября он сел в одесском порту на пароход «Россия», направляясь в Египет.

Миновали Стамбул. Солнце еще не взошло, когда он вышел на верхнюю палубу. Небо было холодно-серебристым, длинные облака, точно перья огромной белой птицы, охватывали половину небосклона, слабый ветер чуть рябил воду, такую же серебристую, как и небо над ней. Вдалеке в синеватой дымке темнели три большие скалы — Принцевы острова. Постепенно небо стало

розоветь, загорелось пламенем, и этот огонь разлился по морской воде. Восторг наполнял душу.

В Синопе был карантин. Четыре дня Гумилев бродил по шумному, но скучному южному городу.

27 сентября (по новому стилю) пароход подошел к Афинам. Жадно разглядывал Николай Степанович лес мачт и рей в порту Пирея, ослепительные белые дома на каменистых склонах, где сквозь дымку угадывался храм Афины Паллады. Гумилев захватил с собой Гомера и в который раз перечитывал знакомые строфы.

Наконец 30 сентября пароход стал на рейде Порт-Саид. Сверкала вода под лучами горячего солнца, сновали лодки с полуодетыми арабами, предлагавшими фрукты и услуги по перевозке на пристань. У самой воды белели стены длинного, похожего на казармы здания, дальше в небо подымались тонкие минареты. Предстояло плыть дальше, в Александрию. Оттуда по железной дороге Гумилев двинулся в Каир.

Маленький паровоз с черной, как бочка, трубой мчался с непривычной скоростью, вагон дребезжал, и казалось — вот-вот опрокинется. Мимо окна, из которого несло сухим жаром, проплывали растрескавшиеся солончаки, потом они сменились песчаными холмами, поросшими чахлым кустарником. Но это была Африка, настоящая Африка!

Каир открыл взгляду странное смешение: рядом с громадами многоэтажных европейских домов, сверкающих витринами магазинов, подымались стройные минареты, слышны были протяжные крики муэдзинов, и тут же доносились резкие звонки трамваев; среди фиакров и автомобилей, управляемых арабами с цветными тюрбанами на головах, шествовали верблюды. Европейцы в пестрой толпе выделялись своими белыми костюмами и пробковыми шлемами.

По вечерам в городе было душно, из пустыни шел сухой жар, а ранним утром оттуда тянуло резким, холодным ветром. Пустыня была рядом: из песчаных барханов поднимались величественные пирамиды, плескались в бурых водах Нила веселые ребятишки. Раздевшись, Гумилев тоже бросился в эту дивную реку. Он вспомнит об этом через много лет в стихотворении «Египет»:

Здесь недаром страна сотворила
Поговорку, прошедшую мир:
«Кто испробовал воду из Нила,
Будет вечно стремиться в Каир».

Вечером он поехал в сад Эзбикие, который восхваляли рекламные плакаты. Туристы посещали этот сад днем или ранним вечером, поэт вошел в него почти ночью.

Яркая луна освещала стройные пальмы, поднимающие к небу свои веера. Дальше, на пологом холме темнела роща величавых платанов, их листья под лунным светом переливались таинственной игрой света и тени. С холма по камням стремился водопад, то искрясь, то пропадая под сенью деревьев. Неподвижный теплый воздух весь был напоен странным, незнакомым европейцу ароматом.

Бродя по холмам Эзбикие, Гумилев ощутил такой восторг, такое просветление, что поднял глаза к небу и дал клятву: «Нет, жизнь выше смерти! Клянусь Тебе, Господи, что бы ни случилось, я, вольный, выбираю жизнь, а не смерть!»

Вернувшись поздней ночью в отель, он заснул счастливым сном человека, принявшего, наконец, верное решение.

В начале ноября Гумилев был уже дома. По пути снова останавливался в Киеве, с восторгом рассказывал о Египте, о купании в Ниле и о волшебном саде Эзбикие. Аня вежливо слушала, сказала, что рада его решению учиться в Петербурге, они теперь смогут чаще видеться. Но едва он попытался обнять девушку, она отстранилась с нескрываемым отвращением. Гумилев поклонился и вышел. Не об этой ли их встрече позже писала Анна Ахматова:

…Как забуду? Он вышел, шатаясь,
Искривился мучительно рот…
Я сбежала, перил не касаясь,
Я бежала за ним до ворот.

Задыхаясь, я крикнула: «Шутка
Все, что было. Уйдешь, я умру».
Улыбнулся спокойно и жутко
И сказал мне: «Не стой на ветру».

(«Сжала руки под черной вуалью…»)

Но на самом деле Горенко не побежала вдогонку. А Гумилев на следующий день был уже дома, в Царском Селе.

Он наконец появился в аудиториях, затянутый в студенческий мундир, с тщательно причесанными на прямой пробор волосами, слегка загоревший под африканским солнцем.

Лекции по истории, по римскому праву, статистике, политической экономии читали известные в научном мире

профессора. В университете шла бурная литературная жизнь. Среди студентов был поэт Сергей Городецкий, основавший литературное общество «Кружок молодых». Он мечтал, что кружок разрастется, собрания будут проходить на городских площадях, а не в «музее древностей», как называли несколько комнат в конце университетского коридора, которыми ведал профессор истории искусств Д. Б. Айналов, благосклонно относившийся к юным литераторам. Открытые заседания устраивали по вечерам в физическом институте.

Там обсуждались не только литературные проблемы, но и велись разговоры о философии. Было заведено рассылать официальные приглашения, отпечатанные в типографии. Их постоянно получали молодой поэт Петр Потемкин, Ю. Кричевский, выпускник двух факультетов — юридического и филологического, который редактировал в университете журнал «Студенчество». Бывал Михаил Кузмин, в правлении «Кружка молодых» состоял еще один бывший студент-юрист Д. В. Кузьмин-Караваев. Блок, посещавший «Кружок молодых» в качестве почетного гостя, писал матери: «Очень интересно, многолюдно и приятно».

О «Кружке молодых» Гумилеву рассказал Потемкин, который в это время, оставив увлечение шахматами, выпустил сборник стихов «Смешная любовь» и стихотворный перевод «Танца мертвых» австрийского драматурга Франца Ведекинда. На романо-германском отделении университета он познакомился с учившимся там В. Пястовским (Пястом) и О. Мандельштамом, который убеждал Гумилева сменить факультет и перейти к ним.

В это же время появился в Петербурге Алексей Толстой, знакомый по Парижу, год назад выпустивший первый сборничек стихов «Лирика». Сейчас он скупал эту книжку и предавал торжественному сожжению, поставив в известность об этом всех своих знакомых.

Трех молодых поэтов не устраивал кружок Городецкого, они хотели учиться у мэтров и обратились сначала к Анненскому, потом к Волошину: оба согласились. Гумилев хотел бы видеть наставником и Вяч. Иванова, но не предоставлялось случая к нему явиться.

В октябре вернулись из-за границы Кардовские, и Николай Степанович нанес им визит. Ольга Людвиговна обрадовалась поэту. Поделились впечатлениями прошедшего лета, художница предложила Гумилеву позировать, и он согласился. А Дмитрий Николаевич подтвердил свое обещание выполнить обложку для будущей книги, которую Гумилев предполагал назвать «Золотая магия», вступив в переговоры с Брюсовым о ее издании

«Скорпионом».

Между делом Ольга Людвиговна упомянула одного своего знакомого художника, который увлекается искусством Древней Византии и пишет античные головы, похожие на иконные лики. Недавно выяснилось, что он еще и поэт. Ему бы хотелось встретиться с Гумилевым.

О Василии Комаровском Гумилев знал давно, но не был с ним знаком. Неоднократно встречал его, когда тот гулял по аллеям Екатерининского парка. Всегда один, в шляпе канотье, с высоко закинутой головой, широкоплечий и немного сутулый, он бродил по аллеям, что-то бормоча и не замечая никого. Знакомство состоялось у Кардовских за чаем. Комаровский, который был старше Гумилева на пять лет, первым заговорил о поэзии, отстаивая необходимость абсолютного соответствия между формой и содержанием. Прочел свое написанное недавно стихотворение:

Где лики медные Тиберия и Суллы
Напоминают мне угрюмые разгулы,
С последним запахом последней резеды
Осенний тяжкий дым вошел во все сады.

Повсюду замутил золоченые блики.
И черных лебедей испуганные крики
У серых берегов открыли тонкий лед
Под дрожью новою темно-лиловых вод.

Гумилев отдал должное этим строкам. О поэзии Комаровского он напишет в первом номере журнала «Аполлон» за 1914 год: отметит, что его поэзия — это «стихи мастера», воспитанного в школе Анри де Ренье и Анненского: ему удается слить «эстетическую наблюдательность французского поэта с нервным лиризмом русского». Ахматовой запомнились его слова: «Это я научил Васю писать, стихи его сперва были такие четвероногие».

Из их первой встречи ничего путного не получилось. Комаровский встал и, холодно попрощавшись, ушел. Гумилев на прощанье вписал по просьбе дочери Кардовских Кати акростих в ее альбом:

…О, счастлив буду я напомнить
Вам время давнее, когда
Стихами я помог наполнить
Картон, нетронутый тогда.

А Вы, Вы скажете мне бойко:
«Я в прошлом помню только Бойку».

Бойкой звалась ее пушистая болонка.

К удивлению Ольги Людвиговны на другое утро Василий Комаровский и Гумилев, мирно беседуя, зашли к ней. Их отношения не прерывались до самой смерти Комаровского, многих поразившей: он умер от нервного шока, когда началась мировая война. Гумилев написал о его книге стихов «Первая пристань» и дал ей высокую оценку: «Книга, очевидно, не имела успеха, и это возбуждает горькие мысли. Как наша критика, столь снисходительная ко всему без разбору, торжествующая все юбилеи, поощряющая все новшества, так дружно отвернулась от этой книги не обещаний (их появилось так много неисполненных), а достижений десятилетий творческой работы несомненного поэта?»

…С наступлением ноябрьских холодов из своего имения в Новгородской губернии вернулся племянник Михаила Кузмина — Сергей Ауслендер. Обходя редакции после летнего перерыва, он увидел стихи Гумилева, приготовленные для печати, — они должны были появиться в журнале «Весна». Имя Гумилева было ему знакомо, но Ауслендер слышал, что этот начинающий поэт живет в Париже и близок к кружку Мережковских, а это была, в его глазах, худшая рекомендация. Пробежав стихи, он захотел узнать о поэте больше.

Через несколько дней Гумилев заглянул в редакцию «Весны», а вскоре наведался и по оставленному Ауслендером адресу: Вознесенский проспект, 27. Хозяин собирался на литературную «среду» Вяч. Иванова в «башню» — квартиру на углу Тверской и Таврической, в седьмом этаже. Оттуда действительно великолепный вид открывался на Таврический сад.

«Среды» проводились давно, с 1905 года. Начинались они поздно, ближе к полуночи. Бывали на них не только писатели, но и ученые, художники, философы — Н. Бердяев, В. Эрн.

Дядя Ауслендера, поэт Михаил Кузмин, просто жил в этой квартире, обитатели которой называли его «аббатом». Михаил Алексеевич был на девять лет старше Гумилева и, хотя пришел в литературу поздно, завоевал признание первым же своим сборником стихов «Сети», который выпустило издательство символистов «Скорпион». Маленького роста, напоминающий фарфоровую статуэтку, с огромными, темными и томными глазами, Кузмин любил подкрашивать губы, чуть припудривал лицо и носил туфли на высоких каблуках. Садясь за рояль, он пел

«Куранты любви», которые недавно написал, и сам себе аккомпанировал.

Визит Гумилева оказался для Ауслендера неожиданностью. Разговор у них не клеился. Перескакивали с одной темы на другую, перебирали общих знакомых. Ауслендер упомянул о Мережковских, чтобы узнать, насколько Гумилев к ним близок, и был крайне удивлен ответом. Оказалось, что они не поддерживают никаких отношений. После этого холодок отчуждения начал таять.

Гумилев почувствовал, что выпал удобный случай обратиться к Вячеславу Иванову, и заявил Ауслендеру: «Едем вместе». Это, разумеется, было неудобно, однако Гумилев не находил ничего странного в том, что он, поэт, посетит «среду», где в основном и собирались поэты. Ауслендер позвонил: после некоторых колебаний падчерица Иванова Вера согласилась принять их обоих.

В этот вечер гостей на «башне» было немного. Сидели в большой комнате, где был стол с графинами красного и белого вина. По традиции начали читать по кругу стихи. Когда очередь дошла до Гумилева, он прочел:

Созидающий башню сорвется,
Будет страшен стремительный лёт,
И на дне мирового колодца
Он безумье свое проклянет.

Разрушающий будет раздавлен,
Опрокинут обломками плит,
И, Всевидящим Богом оставлен,
Он о муке своей возопит.

А ушедший в ночные пещеры
Или к заводям тихой реки
Повстречает свирепой пантеры
Наводящие ужас зрачки.

Не спасешься от доли кровавой,
Что земным предназначила твердь.
Но молчи: несравненное право —
Самому выбирать себе смерть.

(«Выбор»)

Стихи понравились всем. Вячеслава Ивановича особенно

тронули мысли о смерти. «Как просто, — говорил он, — а вместе с тем в праве выбора скрыт весь смысл нашего земного существования, все значение философского понятия „свободная воля!“» Он поздравил молодого поэта и пригласил заходить на «среды». Тут Гумилев высказал свое заветное желание: не согласится ли Вячеслав Иванович прочитать для группы молодых поэтов лекции по теории стиха?

Иванов сразу согласился, и так родилась «Академия стиха». Мэтр символизма у себя в «башне» начал заниматься с молодыми весной. Появилась большая аспидная доска, Иванов, вооружившись мелом, раскрывал тайны русской просодии. Часто он переходил к своим излюбленным темам, увлеченно доказывая, как велики возможности гекзаметра. Собрания становились все многолюднее. Появились, кроме Потемкина, Гумилева, А. Толстого, и Виктор Гофман, О. Мандельштам, В. Комаровский. Каждое занятие заканчивалось тем, что слушатели читали свои стихи, и теория подкреплялась примерами из практики.

Наступил перелом в творческой судьбе Гумилева. «Я окончательно пошел в ход, — с восторгом сообщает он Брюсову 30 ноября 1908 года сразу после первого посещения „башни“, — приглашен в три альманаха: „Акрополь“ С. Маковского, о котором Вы, наверное, знаете, в „Семнадцать“ — альманах „Кошкодавов“ и в альманах Городецкого „Кружок молодых“. В каждом дал по циклу стихотворений и критика ко мне благосклонна. Пока обо мне писали в 6-ти изданиях и, кажется, напишут еще в трех. Но эти успехи заставляют меня относиться очень недоверчиво к себе. И я думаю отложить издание моих „Жемчугов“».

В декабре заведующим критико-библиографическим отделом газеты «Речь» стал публицист Л. Галич, высоко ценивший поэзию Анненского. Он тут же направил предложение о сотрудничестве автору «Тихих песен», и первое, что Иннокентий Федорович опубликовал в газете, была рецензия на книгу «Романтические цветы» Гумилева. Он похвалил сборник и подчеркнул: «…книжка отразила не только *искание красоты,* но и *красоту исканий.* Это много. И я рад, что романтические цветы — деланные, потому что поэзия живых… умерла давно».

ГЛАВА V
Черная речка

Молодой задор, растущая уверенность в своих силах, в своем таланте заставляли Гумилева жадно интересоваться миром искусства. Кроме поэзии его влекла и живопись, и скульптура, и театр, хотя стихи для него оставались превыше всего.

Театральный сезон 1908/09 года в Петербурге был яркий. Восходила звезда новых режиссеров: В. Э. Мейерхольд поставил в Александрийском театре «Дон Жуана», а в Мариинском — «Тристана и Изольду». В зале на Троицкой шла пьеса Федора Сологуба «Ночные пляски» в постановке Н. Н. Евреинова. В спектакле было много музыки, балета, танцевальные номера были поручены известному артисту балета Михаилу Фокину. Двенадцать девушек-босоножек в газовых туниках исполняли танец-хоровод. Это были ученицы студии Евреинова: Ольга Высотская, Анночка Гейнц, Алиса Творогова и другие. Сергей Городецкий играл роль поэта.

На премьере присутствовали Блок, Сологуб, Мейерхольд, Михаил Кузмин, пришли Кардовский с женой, в первом ряду сидели Гумилев и Тэффи.

«Ночные пляски», встреченные ханжеским брюзжанием респектабельной прессы, прошли на сцене несколько раз.

1 января открылась выставка художников «Салон-1909», организованная Сергеем Маковским в бывшем Меньшиковском дворце. Сергей Константинович Маковский, великолепный знаток новой европейской и российской живописи, был поклонником группы «мира искусства». Его регулярно появлявшиеся статьи из цикла «Страницы художественной критики» пользовались серьезным успехом. Он был старше Гумилева на двенадцать лет, но во внешнем облике между ними было много общего. Оба носили короткую стрижку, оба очень заботились о своем костюме. Обоих считали эстетами. Встретившись на вернисаже, они оба быстро нашли тему, интересную и тому и другому.

Маковский посетовал, что прекратился журнал «Мир искусства», который был действительно первым художественным журналом в России. Очень нужно какое-то серьезное издание, которое делилось бы современными веяниями в искусстве. Гумилев добавил, что оно не должно быть чисто художественным, необходим большой литературный отдел, который, несомненно, привлечет публику.

Они пришли к общему мнению и остались довольны беседой.

В следующую встречу Николай Степанович подарил Маковскому свои «Романтические цветы», получив от него второй томик «Страниц художественной критики». Гумилев восторженно отозвался о недавно напечатанных «Тихих песнях» Анненского. Выяснилось, что Маковский не догадался, кому принадлежит псевдоним, под которым они напечатаны: «Ник-То».

Вскоре произошло его знакомство с Анненским, и так решился вопрос о новом журнале, который получил название «Аполлон». Гумилев настолько увлекся идеей этого журнала, что Маковскому казалось: сама судьба послала ему такого помощника. Образовался кружок, впоследствии именуемый «Молодой редакцией». Душой его был Гумилев.

В начале января он поехал в Слепнево, предупредив тетушку телеграммой. На станции Подобино его ждали санки. Был морозный, солнечный день, снег сверкал и искрился. Бородатый кучер охотно рассказывал, что в этом году зайцев видимо-невидимо, все молодые яблони в саду погрызли.

В усадьбе гостя ждали его двоюродные племянницы — Оля и Маша. Обе они были чрезвычайно милы, в особенности старшая, Маша — высокая, тоненькая блондинка с тонкими чертами лица, скромная и женственная, с очаровательной улыбкой, — пленила Гумилева. От нее словно исходил свет идеальной чистоты.

По вечерам в гостиной он рассказывал девушкам о Париже, о высоких Кавказских горах и, конечно, о Греции, о Египте. Читал свои стихи. Больше всего им нравился «Жираф»:

Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд
И руки особенно тонки, колени обняв.
Послушай: далёко, далёко, на озере Чад
Изысканный бродит жираф.

Глаза Маши наполнялись слезами, когда он доходил до последней строфы:

…И как я тебе расскажу про тропический сад,
Про стройные пальмы, про запах немыслимых трав…
Ты плачешь? Послушай… далёко, на озере Чад
Изысканный бродит жираф.

Странная робость охватывала самого поэта, и он замолкал, сидя на полу перед топящейся печкой, помешивая угли кочергой. Красное пламя отражалось в его слегка раскосых глазах, и он походил на кочевника-монгола у одинокого костра в степи.

Настала пора прощаться. Николай Степанович обещал непременно приехать будущим летом. В Петербург он возвратился в приподнятом настроении. Однако началась городская суета, и постепенно Слепнево стало казаться волшебным сном.

Ранней весной 1909 года на лекцию в Академию художеств собрались поэты: Алексей Толстой, томный Михаил Кузмин с Сергеем Поздняковым, тогдашним своим возлюбленным, массивный Максимилиан Волошин с бронзовыми кудрями и такой же волнистой бородой, похожий на Зевса. Были еще Гумилев и начинающая поэтесса Елизавета Дмитриева, полная, невысокая, прихрамывающая девушка. После лекции небольшая компания решила поужинать в ресторане «Вена».

Гумилев вспомнил, что с Дмитриевой они встречались в Париже, в мастерской художника Себастьяна Гуревича, почти два года назад. Тогда его поразили темные пронзительные глаза на ее некрасивом лице.

Дмитриева слушала лекции в Сорбонне и, как оказалось, была хорошо знакома с Андреем Белым, Вячеславом Ивановым, Максимилианом Волошиным, встречалась и с Анненским. Заговорили о стихах, Николай Степанович прочел, подчеркивая ударения:

Откуда я пришел, не знаю…
Не знаю я, куда уйду,
Когда победно отблистаю
В моем сверкающем саду.

(«Credo»)

На следующий вечер гуляли по Монмартру втроем с Гуревичем и зашли в маленькое ночное кафе. Девочка-цветочница продавала гвоздики, Гумилев купил букетик Елизавете Ивановне. Для нее все это было внове: ресторан, цветы. Пили легкое красное вино, у нее слегка кружилась голова.

Через день Гумилев уехал в Нормандию. Встретились они лишь через два года в Петербурге.

В ресторане заговорили об Африке, и, выслушав рассказ Гумилева, Дмитриева сказала очень серьезно:

— Не надо убивать крокодилов.

— Она всегда так говорит? — осведомился он у Волошина.

— Да, всегда.

В «Сатириконе» двумя годами позже будет напечатано стихотворение, не имеющее заглавия:

Когда я был влюблен (а я влюблен
Всегда — в идею, женщину иль запах)…

Может быть, эти строки навеяны историей с Елизаветой Дмитриевой, которая в своей «Исповеди» написала: «Мы оба с беспощадной ясностью поняли, что это „встреча“. Это была молодая, звонкая страсть».

В конце жизни Дмитриева составила свою «Автобиографию», оконченную в 1927 году. Из нее мы узнаем, что выросла Елизавета Ивановна в небогатой дворянской семье — «много традиций, мечтаний о прошлом и беспомощность в настоящем». Отец ее был по матери шведом, мать по отцу — украинкой, старшая сестра Дмитриевой умерла в 24 года, очень трагично. Сама она младшая, «очень болезненная, с 7 до 16 лет почти все время лежала — туберкулез и костей, и легких». На память об этом осталась хромота.

«Мое первое воспоминание о жизни, — пишет Дмитриева, — возвращение к жизни после многочасового обморока — наклоненное лицо мамы с янтарными глазами и колокольный звон… На дворе был август с желтыми листьями и красными яблоками. Какое сладостное чувство земной неволи!»

Долгие годы прикованная к кровати, Дмитриева больше всего полюбила длинные ночи и красную лампадку у Божьей Матери Всех Скорбящих. «А бабушка заставляла ночью целовать образ Целителя Пантелеймона и говорить: „Младенец Пантелей, исцели младенца Елисавету“. И я думала, что если мы оба младенцы, то он лучше меня поймет».

В детстве девушка мечтала стать святой, а ее любимым героем был Дон Кихот. Другой образ, который она носила в сердце, — Прекрасная Дама, Дульсинея Тобосская. Она рано оценила Гофмана, а потом, начав писать стихи, «прошла через Бальмонта».

В дневнике М. Волошина сохранился записанный им в Коктебеле летом 1909 года рассказ Дмитриевой о ее детстве. Она вспоминает, что долго находилась под влиянием своего брата, романтика, который десяти лет от роду бежал в Америку, украв деньги у отца и оставив ему записку; его изловили в Новгороде. Это был необычный мальчик: его одолевали мысли о вечной борьбе Бога и дьявола, в которой верх берет дьявол, а с сестры он взял слово, что та выйдет замуж в шестнадцать лет и что у нее будет ровно 24 человека детей.

Ей было тринадцать лет, когда в ее жизнь вошел человек, имя которого у Волошина не названо: теософ, поборник оккультизма

и, кажется, сладострастник — он домогался любви подростка, а его жена устраивала Лизе дикие сцены ревности. Атмосфера в доме была из-за этого патологического романа ужасная: «Все были против меня, и я не знала, что делать. У меня было сознание, что у меня не было детства, и невозможность любви».

Когда они увиделись с Гумилевым в Петербурге, у Дмитриевой был жених, Всеволод Васильев, отбывавший воинскую повинность; и было сильное чувство к Волошину, перед которым она благоговела. Но все это куда-то отодвинулось, а остался Гумилев, жизнь «вместе и друг для друга… Те минуты, которые я была с ним, я ни о чем не помнила, а потом плакала у себя дома, металась, не знала…». Так она пишет в «Исповеди».

Николай Степанович постепенно перезнакомил Маковского со всеми своими друзьями: А. Толстым, П. Потемкиным, С. Ауслендером. 4 марта, пригласив Маковского, всей компанией они отправились к И. Ф. Анненскому.

Говорили о журнале. Замысел его Маковский вынашивал давно. Еще 24 ноября 1908 года он писал А. Бенуа: «Речь идет действительно о „нашем“ будущем журнале. Между прочим — нравится ли вам название сборника „Акрополь“? В прошлый вечер, после Вашего ухода, почему-то все решили, что лучше не придумаешь — звучит гордо и всю Грецию обнимает, без подчеркивания „Аполлона“, современный лик которого в достаточной мере смутен, как оказалось, даже для создателей его». Но родился в итоге все-таки «Аполлон».

К тому времени, как Маковский с молодежью появились у Анненского, дело с журналом считалось решенным, хотя названия еще не определили. Гумилев писал Брюсову в конце февраля 1909 года: «Новых стихов я сейчас не посылаю, потому что большая часть их появится в альманахе „Акрополь“».

Анненский с самого начала серьезно отнесся к этой затее. Он не примыкал ни к каким литературным группам и школам, но давно думал об издании, близком ему по духу. Обсудили программу журнала. Маковский просил Анненского направлять его редакторскую деятельность. Тут же было решено не затягивать организационный период и уже через месяц-другой провести заседание альманаха.

В это время на выставке, проходившей в доме Армянской церкви, куда почти случайно забрел А. Толстой, появился портрет Гумилева работы Делла-Вос-Кардовской. Удивленный Толстой поехал к своему другу в Царское Село сообщить ему об этом. Гумилев остался равнодушен, но вот к возникшей у Толстого идее стихотворного альманаха «Речь» проникся горячей симпатией. Решили просить стихи у Анненского, дали в газете «Речь»

объявление и о новом журнале, который назвали «Остров», причем указывалось, что во главе его стоят Н. Гумилев, М. Кузмин, П. Потемкин, Ал. Толстой и даже К. Бальмонт.

Сотрудничество обещали и мэтры — И. Анненский, А. Белый, А. Блок, М. Волошин. Адрес редакции — Глазовская улица, 15, где жил Толстой, который называл себя «первым островитянином». Издателем избрали журналиста А. И. Котылева. В первом номере появились стихи М. Волошина, Н. Гумилева, Вяч. Иванова, М. Кузмина, П. Потемкина, А. Толстого.

М. Кузмин в ту пору жил в новгородском имении Ауслендера, и Гумилев уже 7 мая известил его: «Дорогой Михаил Алексеевич, наконец-то вышел первый номер „Острова“. Я высылаю Вам на днях, так как теперь праздники <…> У нас есть теперь издатель Н. С. Кругликов. Так что журнал, наверное, пойдет. Не откажите прислать еще стихов для следующих номеров. Мы очень ценим, что Вы у нас „участник“, а не просто сотрудник. Журналом заинтересовался Вячеслав Иванов, и он много помогает нам своими советами. В Петербурге все по-прежнему: ссорятся, пьют и читают стихи».

Инженер-путеец, действительный статский советник Н. С. Кругликов был большой любитель стихов, друг Толстого, которому передал для журнала 200 рублей. Первый номер вышел благополучно, но со вторым произошла заминка — нечем было расплатиться с типографией. Из-за этого произошло резкое объяснение с Котылевым, который тут же отказался вести дела «Острова». Николай Степанович заявил, что будет сам всем заниматься, и вскоре редакция обрела царскосельский адрес. Деньги нашли, в мае выпустили второй номер, где напечатали стихи Анненского «То было на Валенн-Коски» и «Шарики детские». На этом номере «Остров» закончился.

Зато 9 мая в Царском Селе состоялось организационное собрание «Аполлона». Выступил Анненский, изложивший программу журнала, которая затем была сформулирована в написанном Маковским вступлении к первому номеру. Цель журнала, говорилось там, в том, чтобы давать выход росткам новой художественной мысли — в самом широком значении этого слова. В основе всей его деятельности будет лежать принцип аполлонизма, а аполлонизм — это символ самоценного, свободного «стройного» творчества, «выход в будущее через переработку прошлого». «Аполлон» будет верен только требованиям эстетического вкуса и «меры», он будет стремиться к «жизнеспособному» искусству, которое направлено «от разрозненных опытов — к закономерному мастерству, от расплывчатых эффектов — к стилю, к прекрасной форме и

животворящей мечте».

Потом на собрании были распределены темы, которыми каждый из участников будет заниматься в будущем журнале. Анненскому досталась современная поэзия, Акиму Волынскому — обозрение пути, пройденного литературой за последние 15 лет. О балете должен был писать Бенуа, о путях театра — Волошин, Маковскому досталась монументальная живопись, Браудо — музыка. Анненский тут же решил, что в первом номере должна появиться статья «О современном лиризме». Он ее и напишет, правда, она появится в третьем номере.

Объявленный состав редакции вызвал недоумение. Поэт Юрий Верховский, впоследствии близкий к акмеизму, с издевкой восклицал: «Что общего между Волынским и Волошиным? — только „вол“. А между Волынским и Анненским — только „кий“».

Волынский, видимо, и сам понимал, что этот журнал не в его духе, и отказался от предложенной работы. Волошин также почти не принимал участия в делах редакции, а потом и вовсе от нее отошел.

Жизнь Гумилева была заполнена до краев: лекции в университете, встречи с друзьями — Толстым, Городецким, Гофманом, с Дмитрием Владимировичем Кузьминым-Караваевым, дальним родственником Гумилева, и его женой, поэтессой Елизаветой Юрьевной, долгие дискуссии с Маковским о журнале. И все более захватывавший его роман с Елизаветой Дмитриевой.

Их вкусы и устремления были во многом разными. Для Дмитриевой Брюсов неприемлем — холодное мастерство и только, — но очень близок Волошин, с которым Гумилев вовсе не чувствует родства. А Волошин утверждает, что «искусство драгоценно лишь постольку, поскольку оно игра. Художники — ведь это только дети, которые не разучились играть. Гении — это те, которые сумели не вырасти. Все, что не игра, — это не искусство».

Дмитриева преподавала русскую историю в Петровской женской гимназии и посещала собрания Поэтической академии в квартире Вяч. Иванова — они закончились в мае 1909 года. Тогда же вместе с Гумилевым она уехала в Москву, а потом дальше — в Коктебель, к Волошину.

Николай Степанович не считал нужным скрывать свою с ней близость. Видимо, Дмитриевой посвящена «Царица», напечатанная в первом номере «Острова», а возможно, ею же навеян одновременно написанный «Поединок»:

В твоем гербе — невинность лилий,
В моем — багряные цветы.

И близок бой, рога завыли,
Сверкнули золотом щиты.

Она вспоминает, что Гумилев много раз просил выйти за него замуж. Ревновал, когда Дмитриева говорила о слове, которым связана со своим женихом. («Ломал мне пальцы, а потом плакал и целовал край платья.»)

У них были свои ласковые имена друг для друга: «Гумми» и «Лиля». Гумилев говорил, что это «имя, похожее на серебристый колокольчик».

В Коктебеле ему стало ясно то, о чем Гумилев догадывался давно: Волошина и Дмитриеву связывают более близкие отношения, чем ее восхищение стихами и акварелями мастера. В «Исповеди» Дмитриева, вспоминая эту поездку, говорит о своей вине перед Николаем Степановичем. Но что было делать: «Я узнала, что М. А. любит меня, любит уже давно — и к нему я рванулась вся, от него я не скрывала ничего… Выбор был уже сделан, но Н. С. все же оставался для меня какой-то благоуханной, алой гвоздикой. Мне все казалось: хочу обоих, зачем выбор?»

Но она не вполне прямодушна. Есть ее письма Волошину, написанные незадолго перед поездкой. Вот одно, от 13 мая:

> «Дорогой Макс, я уже три дня лежу, у меня идет кровь горлом и мне грустно… У нас холодно. Думаю о Вас много, и скучаю от здешнего. Читаю Шекспира. Если достану билеты, то выеду 24-го в воскресенье… В Москве ко мне, может быть, присоединится Гумилев, если ему не очень дешево в 3 классе. Но я бы лучше хотела ехать одна. Хочется видеть Вас, милый Макс…»

Вот следующее, 22 мая:

> «Дорогой Макс, уже взяты билеты и вот как все будет: 25 в понедельник мы с Гумилевым едем, с нами Майя (Звягина. — *О. В.)* и ее отец… По моим расчетам мы приедем в субботу в 7 ч. утра в Феодосию, п. ч. едем в 3 классе… Гум. напросился, я не звала его, но т. к. мне нездоровится, то пусть… Я Вас оч. хочу видеть и оч. люблю. Лиля».

Всю дорогу Николай и Лиля были неразлучны, стоя рядом, глядели в окно, любовались дымно-розовым закатом.

В Коктебеле на волошинской даче собралась большая

компания поэтов. Купались в море, загорали, сочиняли экспромты. Как-то устроили творческое соревнование: попросили Дымшиц-Толстую, жену Алексея Толстого, облачиться в синее платье, надеть на голову серебряную повязку и полулежа позировать на фоне моря и голубых гор. Пять поэтов: Толстой, Волошин, Гумилев, Поликсена Соловьева-Allegr'o и Дмитриева — соревновались, кто удачнее напишет ее «поэтический портрет». Лучшим было признано стихотворение Толстого, которое он назвал «Портрет гр. С. И. Толстой». Он же описал веселое времяпрепровождение отдыхающих в шуточном стихотворении «Коктебель».

Коктебель (письмо)

Пишу я Вам, не торопясь,
К чему? Слежу мечтою длинной,
Как моря сладостная вязь
Взбегает на берег пустынный.
Здесь редко птица пролетит
Иль, наклонясь, утонет парус…
Песок и море. И блестит
На волнах солнечный стеклярус.
Прищурясь, поп лежит в песке,
Под шляпою торчит косица;
Иль, покрутившись на носке,
Бежит стыдливая девица.
Стихом пресытившись, поэт
На берег ходит и дельфину
Вверяет мысли. Зной и свет…
Болят глаза, спалило спину…
Но вот раскатистый рожок
Пансионеров созывает —
И кофе (им язык обжег)
В штанах хозяйка наливает…
Творить расходимся потом.
В 12 ровно — час купанья.
Затем обед — и на втором.
Мой бог, всегда нога баранья.
И чай. Потом гулять идут
В деревню, в лавочку иль в горы.
И на закате ужин ждут,
Кидая нищенские взоры…
Но нет, нарушила вчера

Наш сон и грусть однообразья
На берегу в песке игра:
«Игра большого китоврасья».
Описывать не стану я
Всех этих резких ухищрений,
Как Макс кентавр, и я змея
Катались в облаке камений.
Как сдернул Гумилев носки
И бегал журавлем уныло,
Как женщин в хладные пески
Мы зарывали… было мило…
Письмо начавши поутру,
Прервал для игр. Храню мечту я
Его окончить ввечеру…
Но сон песчит глаза. И сплю я.

Гумилева поместили на третьем этаже в маленькой комнате, обращенной в сторону Святой горы, с покатым деревянным потолком на шести балках. Окно было на высоте двух с половиной аршин от полу, в него виднелись только яркое небо и синяя цепь гор. В этой комнате-келье стояли деревянная кровать и маленький белый столик.

За этим столиком Гумилев писал поэму, принесшую ему широкую известность. Ему наконец удалось выразить свое стремление к неведомому, к сказочно-прекрасным странам, куда могут проникнуть только отважные, сильные люди:

…Пусть безумствует море и хлещет,
Гребни волн поднялись в небеса —
Ни один пред грозой не трепещет,
Ни один не свернет паруса.

Разве трусам даны эти руки.
Этот острый, уверенный взгляд,
Что умеет на вражьи фелуки
Неожиданно бросить фрегат.

Это были «Капитаны», посвященные открывателям новых земель.

И кажется, в мире, как прежде, есть страны,
Куда не ступала людская нога,
Где в солнечных рощах живут великаны

И светят в прозрачной воде жемчуга.

И карлики с птицами спорят за гнезда,
И нежен у девушек профиль лица…
Как будто не все пересчитаны звезды,
Как будто наш мир не открыт до конца!

Лиля вспоминает, что стихи эти «посвящались мне. Вместе каждую строчку обдумывали мы». Этого свидетельства никто не опровергнет. Но и не подтвердит.

Внешне на даче все было хорошо и спокойно. Но приближалось крушение коктебельской идиллии. Волошин, встречаясь за завтраком с Гумилевым, холодно кивал в ответ на приветствие, а Гумилев, не стесняясь, резко отзывался о стихах хозяина дачи. Дмитриева металась между ними, пытаясь предотвратить прямое столкновение.

И однажды у нее произошло с Волошиным объяснение.

Он сказал: «Выбирай сама. Но если ты уйдешь к Гумилеву, я буду тебя презирать». В тот же день Лиля попросила Гумилева уехать, ничего ему не объяснив. Они расстались до осени.

Утром он был в Одессе, где на даче Шмидта летом отдыхали Горенко. Встреча состоялась днем. Аня сидела в саду, по самые глаза замотанная шарфом: у нее была свинка. Долго отказывалась показать лицо. Гумилев нашел, что она напоминает Екатерину Великую.

Он снова просил стать его женой, и на этот раз тоже не получил согласия. Но все-таки это не был прежний категорический отказ.

Год занятий юридическими науками убедил Гумилева, что попал он не туда. В августе Николай Степанович подал прошение ректору о переводе на историко-филологический факультет.

Здесь преподавали ученые с мировым именем. Читал лекции лингвист И. А. Бодуэн де Куртенэ, крупнейший представитель общего и сравнительно-исторического языкознания; вел курс логики выдающийся философ А. И. Введенский. Общий курс античности вел профессор Ф. Ф. Зелинский. Подробно изучалась русская история, был семинар по литературе Петровской эпохи, а общий курс русской литературы отличался фундаментальностью.

Ранней осенью в особняке на Мойке открылась редакция нового журнала «Аполлон». Хотя Гумилев не состоял ее членом, в журнале весь отбор стихов шел через него; прозой занимался М. Кузмин, театральным делом — С. Ауслендер, а художественным — Георгий Лукомский. Секретарем журнала был

приглашен Е. А. Зноско-Боровский, драматург, театровед и автор книг по истории и теории шахмат.

Поэтическая академия в «башне» Иванова летом прекратила свое существование, и Гумилев решил ее возобновить, теперь уже в стенах «Аполлона». В сентябре его стараниями был собран кружок молодых, провозгласивший себя Обществом ревнителей художественного слова при журнале «Аполлон». Лекции в нем согласился читать Анненский. Хорошо знавший градоначальника Маковский пошел к нему с Анненским и Ивановым, и разрешение на проведение собраний было получено. В руководящий кабинет Общества вошли, кроме них трех, Н. Гумилев, А. Блок и М. Кузмин. Несколько позже к ним присоединился профессор Браун.

Первое занятие Общества открылось чаепитием, и потом это вошло в традицию. Гумилев присутствовал на всех занятиях, которые проводил Анненский. Иннокентий Федорович не повторял того, что говорил на занятиях Поэтической академии Вяч. Иванов. У него были свои темы, например, Лермонтов, разбор стихотворения «Выхожу один я на дорогу»: заслуживали внимания отбор гласных, преобладание «о», «у», отсутствие «а» на ударных местах.

В ту осень на одном из собраний появился Андрей Белый, который привез с собой из Москвы рукопись исследования по метрике стиха (вошедшую потом в его книгу «Символизм»). Профессор Зелинский сделал интересный доклад о возможности передать русским стихом античные размеры. С первых чисел октября начались диспуты, в которых оппонентами выступали И. Анненский и Вяч. Иванов. Чаще других в спорах участвовали Н. Гумилев и М. Волошин.

24 октября в редакции «Аполлона» был праздник — вышел первый номер журнала. Гумилев, пришедший после занятий в редакцию, увидел целую выставку рисунков и рукописей. Стопками лежали свежие, пахнувшие типографской краской номера «Аполлона». Поздравляли друг друга. Маковский чувствовал себя именинником и предложил отметить это событие в ресторане.

Немецкий поэт и переводчик Иоганнес фон Гюнтер, постоянный сотрудник журнала, так описал это событие: «… открытие „Аполлона“ было отпраздновано в знаменитом петербургском ресторане Кюба. Первую речь об „Аполлоне“ и его верховном жреце Маковском произнес Анненский, за ним выступили два известных профессора, четвертым говорил наш милый Гумилев от имени молодых поэтов. Но так как перед этим мы опрокинули больше рюмок, чем следует, его речь получилась

немного бессвязной. После него я должен был приветствовать „Аполлон“ от европейских поэтов. Из-за многих рюмок водки, перцовки, коньяка и прочего я решил последовать примеру Эдуарда Шестого и составил одну замысловатую фразу, содержащую все, что надо было сказать. Я без устали повторял ее про себя и таким образом вышел из положения почти без позора. Я еще помнил, как подошел к Маковскому с бокалом шампанского, чтобы чокнуться с ним — затем занавес опускается.

Очнулся я на минуту в маленькой комнате, где пили кофе; моя голова доверчиво лежала на плече Алексея Толстого, который, слегка окостенев, собирался умываться из бутылки с бенедиктином. Занавес.

Потом, в шикарном ресторане Донон, мы сидели в баре и с Вячеславом Ивановым глубоко погрузились в теологический спор. Конец этому нелегкому дню пришел в моей „Риге“, где утром Гумилев и я пили черный кофе и зельтерскую, принимая аспирин, чтобы хоть как-нибудь продрать глаза».

Выход «Аполлона» стал событием в художественной жизни России и спровоцировал острую полемику о новых течениях в поэзии, в искусстве. Элегантный, аристократичный редактор хотел и журнал видеть безукоризненным как по содержанию, так и по оформлению.

Однажды Маковский получил письмо с траурным обрезом, запечатанное черной печатью с девизом «Vae Victis!»[4]. Сергей Константинович болел ангиной и поэтому принимал сотрудников у себя дома. Алексей Толстой стал свидетелем того, как Маковский, захлебываясь от восторга, говорил;

— Вы только послушайте, Алексей Николаевич, послушайте эти стихи:

Лишь один раз, как папоротник, я
Цвету огнем весенней, пьяной ночью…
Приди за мной к лесному средоточью,
В заклятый круг, приди, сорви меня!

Волошин и Маковский набросились на гостя с уверениями, что только что произошло чудо. Некая светская дама прислала изумительные стихи. И какое у нее аристократическое имя: Черубина де Габриак!

Волошин знал об этой загадочной поэтессе гораздо больше, чем можно было предположить. Он уже предлагал Маковскому один ее перевод с французского, который остался неопубликованным. И если с фактологической стороны

достоверна его «История Черубины», вся мистификация была задумана при его прямом участии.

Черубине немедленно был написан ответ на французском языке, чрезвычайно лестный для начинающего поэта, с просьбой порыться в старых тетрадях и прислать все, что она до сих пор написала.

Поэтесса оказалась страстной католичкой. Папа Мако, как за глаза называли в редакции Маковского, вскоре получил несколько экзальтированно-религиозных стихотворений и отдельно — стихотворение «Наш герб»:

Червленый щит в моем гербе,
И знака нет на светлом поле.
Но вверен он моей судьбе,
Последний — в роде дерзких волей…

Есть необманный путь к тому,
Кто спит в стенах Иерусалима,
Кто верен роду моему.
Кем я звана, кем я любима.

И — путь безумья всех надежд,
Неотвратимый путь гордыни:
В нем — пламя огненных одежд
И скорбь отвергнутой пустыни…

Но что дано мне в щит вписать?
Датуры тьмы иль Розы храмы?
Тубала медную печать
Или акацию Хирама?

На следующий день Черубина позвонила Маковскому, и он принялся уверять, что определил ее судьбу и характер по почерку. Сообщил ей, что ее отец родом из Южной Франции, а мать — русская, что она воспитывалась в монастыре в Толедо и еще многое в таком роде.

Папа Мако избрал своим конфидентом Волошина, которому признавался: «Если бы у меня было 40 тысяч годового дохода, я решился бы за ней ухаживать». Волошин отмалчивался. Он знал слабость Маковского к элегантности, аристократичности: «Лиля, скромная, неэлегантная и хромая, удовлетворить его, конечно, не могла…»

Переписка Маковского с Черубиной становилась все оживленнее. Она вместо писем прикладывала к стихам какой-

нибудь простенький цветок или даже травинку; это придавало их общению особую таинственность. Маковский в ответ писал французские стихи и требовал от Черубины свидания. В ответ она по телефону сообщала, что будет кататься на островах, и, конечно, сердце поможет поклоннику ее узнать. Маковский ехал, «узнавал», потом с торжеством рассказывал ей, что видел ее: она была в автомобиле, изысканно одетая; а она, смеясь, уверяла его, что ездит только на лошадях.

По воскресеньям Черубина посещала костел, исповедуясь у отца Бенедикта. Маковский получил стихотворение «Исповедь»:

В быстро сдернутых перчатках
Сохранился оттиск рук,
Черный креп в негибких складках
Очертил на плитах круг.

Я смотрю игру мерцаний
По чекану темных бронз
И не слышу увещаний,
Что мне шепчет старый ксендз.

Поправляя гребень в косах,
Я слежу свои мечты, —
Все грехи в его вопросах
Так наивны и просты.

Ад теряет обаянье,
Жизнь становится тиха, —
Но так сладостно сознанье
Первородного греха…

Легенда о Черубине распространилась по Петербургу с молниеносной быстротой. «Аполлоновцы» все влюблялись в нее поголовно, никто не сомневался в том, что она несказанно прекрасна, и требовали от Папы Мако, чтобы он непременно «разъяснил обольстительницу». Убежденный в своей непобедимости, Гумилев уже предчувствовал день, когда он покорит эту бронзовокудрую колдунью. Вячеслав Иванов восторгался ее искушенностью в «мистическом эросе». Всех нетерпеливее вел себя обычно такой сдержанный Константин Сомов. Ему нравилась, как он говорил, «до бессонницы», воображаемая внешность удивительной девушки. Он был готов с повязкой на глазах ездить к ней на острова, чтобы писать ее портрет.

Но больше всех был влюблен Маковский.

И вдруг все это волшебство рухнуло. Виной всему оказался фон Гюнтер. Именно ему в минуту экзальтированной откровенности Дмитриева призналась, что она и есть Черубина де Габриак. В первый момент он не поверил, решил, что это фантазия невзрачной хроменькой девушки. Но Дмитриева рассказала, как «родилось» это имя.

Об этом потом рассказал в «Истории Черубины» Волошин. На берегу моря был найден обточенный волнами корень виноградной лозы, напоминающий чертика: одна рука, одна нога и собачья морда с добродушным выражением. Макс придумал ему имя Габриак и поставил чертика на полку с книгами французских поэтов, а потом подарил его Дмитриевой. «Это был бес, защищающий от злых духов», — пишет Волошин. И когда стихи за подписью Дмитриевой были отклонены «Аполлоном», ее защитой стала маска Черубины де Габриак.

К вечеру ошеломляющую новость знали в редакции все, а после телефонного разговора с загадочной Черубиной узнал правду сам Маковский, подготовленный Кузминым, которому Гюнтер поведал о своем открытии.

Однако на этом история Черубины не кончилась.

Гумилев, гордый, самолюбивый, остро переживал то, что случилось в Коктебеле. Встречаясь с ним на «башне» или в «Аполлоне», Дмитриева точно умышленно его дразнила. Позднее она писала в своей «Исповеди»: «Я вернулась (из Коктебеля) совсем закрытая для Н. С., мучила его, смеялась над ним, а он терпел и все просил меня выйти за него замуж. А я собиралась выходить замуж за Максимилиана Александровича. Почему я так мучила его? Почему не отпускала его от себя? Это не жадность была, это была тоже любовь. Во мне есть две души, и одна из них, верно, любила одного, а другая другого?»

Эта ситуация получает драматическое разрешение. В очередной раз посватавшись к Дмитриевой и снова получив отказ, Гумилев «плохо говорит о ней» в присутствии Гюнтера, тут же обо всем этом сообщившего Елизавете Ивановне.

Через два дня в Мариинском театре, в огромной мастерской художника Головина, где на полу были разложены декорации, собираются «аполлоновцы», чтобы договориться о своем коллективном портрете, и в половине одиннадцатого Волошин, подойдя к Гумилеву, дает ему пощечину. Присутствовавший при этой сцене Толстой вспоминает: «К ним подбежали Анненский, Головин, В. Иванов. Но Гумилев, прямой, весь напряженный, заложив руки за спину и стиснув их, уже овладел собой. Здесь же он вызвал Волошина на дуэль».

Секретарь «Аполлона» Зноско-Боровский согласился быть секундантом Гумилева. Вторым секундантом Гумилева стал Михаил Кузмин. Секундантами Волошина были граф Толстой и князь Шервашидзе.

Совещаясь, секунданты выбрали, несмотря на протесты Гумилева, требовавшего стреляться в пяти шагах до смерти одного из противников, самые легкие условия: по одному выстрелу с места, на пятнадцати шагах, одновременно, по команде. Местом дуэли, разумеется, была выбрана Черная речка. Нелегко было найти дуэльные пистолеты. Их достали у Бориса Суворина, пистолеты были «с историей», с гравированными на них фамилиями прежних дуэлянтов.

На рассвете 22 ноября в сторону Новой деревни выехало два автомобиля: впереди Гумилев с секундантами, следом — противники и доктор. На дороге автомобиль Гумилева застрял в мокром снегу, пришлось тащить машину из сугроба. Гумилев, спокойный и серьезный, стоял в стороне, засунув руки в карманы пальто. «Для него, — пишет Толстой, — конечно, изо всей этой путаницы, мистификации и лжи не было иного выхода, кроме смерти».

Дул мокрый морской ветер, вдоль дороги свистели и мотались голые вербы. Выехав за город, оставили автомобили на дороге, и все пошли на голое поле, где были сваи, занесенные снегом.

Противники стояли поодаль, а секунданты начали совещаться. Никто из них не знал ни только правил дуэли, но и не умел заряжать старинные пистолеты. Старшим распорядителем выбрали Толстого, который пошел отмерять шаги. Гумилев заметил Зноско-Боровскому, что граф шагает слишком широко.

Пришлось еще раз отмерять шаги, и, поставив противников на их места, Толстой начал заряжать пистолеты. Засыпав порох «на глазок», он разорвал для пыжей носовой платок и забил его в ствол. Гумилев, вспоминает он, «стоял на кочке, длинным черным силуэтом различимый во мгле рассвета. На нем был цилиндр и сюртук, шубу он сбросил в снег. Подбегая к нему, я провалился по пояс в яму с талой водой. Он спокойно выжидал, когда выберусь, — взял пистолет, и тогда только я заметил, что он, не отрываясь, с ледяной ненавистью глядит на Волошина, стоявшего, расставив ноги, без шапки».

Толстой по правилам в последний раз предложил противникам мириться. Гумилев, не дослушав, сказал глухо и недовольно:

— Я приехал драться, а не мириться.

Отойдя в сторону, Толстой попросил приготовиться и начал громко считать: «Раз! Два!..» Кузмин, не в силах стоять, сел в снег и заслонился цинковым хирургическим ящиком, чтобы не видеть ужасов.

— Три!.. — У Гумилева блеснул красный свет, раздался выстрел. Прошло несколько секунд. Ответного выстрела не последовало.

— Я требую, чтобы этот господин стрелял! — в бешенстве крикнул Гумилев.

— У меня была осечка, — пробормотал в волнении Волошин, глядя на пистолет, который держал стволом вниз на вытянутой руке.

— Пускай он стреляет во второй раз, — опять крикнул Гумилев, — я требую этого!..

Волошин поднял пистолет, щелкнул курок, но выстрела не было. Толстой подбежал к нему, выдернул у него из дрожащей руки пистолет и, целя в снег, выстрелил. Гашеткой ему ободрало палец. Гумилев продолжал неподвижно стоять.

— Я требую второго выстрела! — упрямо проговорил он. Секунданты посовещались и отказали. Гумилев поднял шубу, перекинул ее через руку и пошел к автомобилям.

Максимилиан Волошин описывает дуэль несколько иначе: «Рано утром мы стрелялись за Новой деревней возле Черной речки, если не той самой парой пистолетов, которой стрелялся Пушкин, то, во всяком случае, современной ему. Была мокрая, грязная весна[5], и моему секунданту Шервашидзе, который отмеривал нам 15 шагов по кочкам, пришлось очень плохо. Гумилев промахнулся, у меня пистолет дал осечку. Он предложил мне стрелять еще раз. Я выстрелил, боясь, по неуменью своему стрелять, попасть в него. Не попал, и на этом дуэль закончилась. Секунданты предложили нам подать друг другу руки, но мы отказались».

Репортеры много зубоскалили о поединке «декадентов», рассказывали в фельетонах, как Волошин потерял в снегу калошу, и все вместе, даже Гумилев, искали ее. Эта выдумка отозвалась в шуточных стихах Саши Черного:

> Боже, что будет с моей популярностью.
> Боже, что будет с моим кошельком?
> Назовет меня Бильский дикой бездарностью,
> А Вакс Калошин — разбитым горшком…

Через три дня Гумилев в самом отвратительном настроении уехал в Киев, где с сотрудниками журнала «Остров» и «Аполлон»

организовал вечер поэтов. Его первоначально предполагалось провести в престижном Купеческом собрании, но это не вышло. 29 ноября «Киевские новости» сообщали, что сегодня публика приглашается на «Остров искусств» — «вечер современной поэзии сотрудников журналов „Аполлон“, „Остров“ и др. Михаила Кузмина, графа Ал. Н. Толстого, П. Потемкина и Н. Гумилева и др. Гг. Яновские и г. Аргамаков от участия в вечере в последний день отказались и устроители долгом считают о том уведомить, прося желающих получить обратно деньги в кассе театра. Начало ровно в 8 ½ ч. вечера».

Б. К. Яновский, известный композитор, впоследствии рассказал, что «накануне их приезда одна из киевских газет, когда еще никто не знал ни строки из того, что должно быть прочитано этими поэтами, поместила предварительную статью, в которой поэты выставлялись не то шарлатанами, не то блаженненькими, причем делались гнусные намеки на кое-что из интимной жизни их». Статья, написанная социал-демократом Н. В. Вольским-Валентиновым, появилась в газете «Киевская мысль» и была явно рассчитана на то, чтобы спровоцировать скандал. Но не случилось. Вечер открыл Михаил Кузмин пением своих «Курантов любви». Алексей Толстой прочел свою недавно написанную сказку о ведьмаке, откусившем половину луны, о свинье и луже, о русалке, о ведьме и Хлое. Зал начал смеяться, послышались робкие аплодисменты. А когда Петр Потемкин вышел и начал читать пародии:

Застрелилась, а смеется —
Розовая вся.
Только солнце, луч кося,
Золотой косы коснется, —
Улыбнется, засмеется,
Розовая вся.
Гробик ласков, словно люлька, —

зрители поняли, что местные газетчики их попросту надули. Гумилев, выступавший в заключение вечера, чувствовал расположение зала.

Николай Степанович тщательно готовился к этому вечеру, ведь в зале сидела Аня Горенко. Выйдя на сцену, он стал читать чуть глуховатым голосом, немного шепелявя. Под конец прочел поэму «Сон Адама»:

От плясок и песен усталый Адам
Заснул, неразумный, у древа Познанья…

……
Направо — сверкает и пенится Тигр,
Налево — зеленые воды Евфрата,
Долина серебряным блеском объята.
Тенистые отмели манят для игр,
И Ева кричит из весеннего сада:
«Ты спал и проснулся… Я рада, я рада!»

В Киеве все три дня Гумилев был с Аней Горенко. И она окончательно приняла предложение, став его невестой. Мечта Гумилева осуществилась, и все-таки он не походил на счастливого человека, был подавлен, холоден. Сразу после вечера поэтов он выехал в Одессу, чтобы сесть на пароход, идущий в Африку.

В этот же день, вечером, на лестнице Царскосельского вокзала от паралича умер тот, о ком Гумилев напишет:

К таким нежданным и певучим бредням
Зовя с собой умы людей,
Был Иннокентий Анненский последним
Из Царскосельских лебедей.
……
Журчит вода, протачивая шлюзы,
Сырой травою пахнет мгла,
И жалок голос одинокой музы,
Последней — Царского Села.

4 декабря состоялись похороны И. Ф. Анненского на Казанском кладбище. С тех пор «Аполлон» стал — при непосредственном участии Гумилева — активным пропагандистом творчества своего ушедшего наставника и вдохновителя. Со смертью Анненского кончилось время ученичества Гумилева.

ГЛАВА VI
Таинственный континент

Одесса встретила Гумилева пронизывающим сырым туманом, над портом висел холодный дым из пароходных труб. Хотелось поскорее уплыть туда, где светит яркое солнце.

Сидя в прокуренном гостиничном номере, он написал Вячеславу Иванову письмо, ведь еще в Петербурге они условились вместе ехать в Абиссинию, и теперь, 1 декабря, Гумилев писал: «Многоуважаемый Вячеслав Иванович, карантина в Синопе, кажется, нет. 3-го (в среду) я выезжаю в Константинополь, там — в пятницу. В субботу румынский пароход, и 9-го (во вторник) я уже в Каире. Незачем ехать в Триест. Так дешевле и быстрее. В Каире буду ждать телеграммы в русском посольстве… если не будет телеграммы, поеду дальше. Я чувствую себя прекрасно, очень хотел бы Вашего общества. Мои поклоны всем. P. S. Море очень хорошо».

Но приподнятый тон письма не соответствовал настроению поэта. Просто у него выработалась способность подавлять тяжелые мысли и чувства, всегда выглядеть бодрым и решительным. А в действительности настроение было под стать погоде: вспоминался нелепый роман с Лилей, и какая-то опереточная, водевильная дуэль, и странное объяснение с Аней: опять какие-то недосказанности, снова необходимость чего-то ждать.

Пароход шел к Босфору. Впереди была Африка, настоящая Абиссиния, о которой мальчиком он мечтал, читая книгу «В стране черных христиан». Он не забыл клятву, данную самому себе: непременно достичь этой волшебной страны! Сколько с тех пор было всего о ней прочитано: романы Хоггарта, Луи Буссенара, дневники и записи путешественников — Криндича («Русский кавалерист в Абиссинии. Из Джибути в Харар»), Краснова («Казаки в Абиссинии»), Ашинова.

Было серое, пасмурное утро, когда пароход подошел к Стамбулу. Над проливом висел туман, хотя не такой холодный, как в Одессе. Гумилев отправил открытку Брюсову, приветствуя его из Варны, куда «заехал по пути в Абиссинию. Там я буду недели через полторы. Застрелю двух, трех павианов, поваляюсь под пальмами и вернусь назад, как раз чтобы застать Ваши лекции в „Академии стиха“».

Из Каира, так и не получив известий от Иванова, Гумилев отправился дальше.

И вот уже — Суэцкий канал, узенькая полоска мутной воды, заключенная в унылые плоские берега без растительности. А дальше — Красное море, «Чермное», как оно называлось на старинных картах.

Стаи дней и ночей
Надо мной колдовали,
Но не знаю светлей,
Чем в Суэцком канале,

Где идут корабли
Не по морю, по лужам,
Посредине земли
Караваном верблюжьим.

Сколько птиц, сколько птиц
Здесь на каменных скатах,
Голубых небылиц,
Голенастых, зобатых!

Виден ящериц рой
Золотисто-зеленых,
Словно влаги морской
Стынут брызги на склонах.

(«Суэцкий канал»)

Канал расширился, теперь пароход шел по озеру, за ним — опять лента канала, а наутро — стоянка в порту Суэц. И — вот оно, Красное море, которое:

…только одно из морей,
Ты исполнило некогда Божий закон —
Разорвало могучие сплавы зыбей,
Чтоб прошел Моисей и погиб Фараон.

(«Красное море»)

Под лучами яркого солнца поверхность моря сверкала и искрилась так, что резало глаза. Пароход шел вдоль берега Судана. Эта страна тоже манила Гумилева. В порту Судана была стоянка, Николай Степанович тотчас поспешил с пристани в город.

Рыночную площадь заполоняла пестрая толпа. Шествовали верблюды, проходили навьюченные ослики, на низкорослых мулах восседали чернокожие всадники. Закованные в кандалы и выставленные на продажу рабы сверкали белками глаз. Воздух был напоен ароматами, от жаровен тянуло острым запахом жареной рыбы, чеснока и лука.

Наконец 20 декабря, обогнув мыс, пароход вошел в широкую бухту Джибути. С левого берега синела гладь Баб-эль-Мандебского залива, на низком, пологом берегу бухты белели строения таможни и длинные склады. На скале возвышался губернаторский дворец посреди кокосовых пальм. Узкие черные пироги, управляемые темнокожими лодочниками, стремительно неслись к пароходу, стараясь первыми принять пассажиров.

В целой Африке нет грозней Сомали,
Безотраднее нет их земли.

(«Сомали»)

На следующий день Гумилев написал Иванову: «Я прекрасно доехал до Джибути и завтра еду дальше. Постараюсь попасть в Аддис-Абебу, устраивая по дороге эскапады. Здесь уже настоящая Африка. Жара, голые негры, ручные обезьяны. Я совершенно утешен и чувствую себя прекрасно… Сейчас пойду купаться, благо акулы здесь редки…»

Но в тот, первый раз доехать удалось только до Харара, ведь это была первая поездка в «настоящую Африку», рекогносцировка для последующих путешествий. Слишком мало было денег, сказывалась и неопытность, неготовность к такому путешествию. В начале февраля 1910 года Гумилев возвратился в Россию, пробыв в Африке только месяц.

Загорелый, окрепший, он за ужином оживленно рассказывал дорожные приключения. Степан Яковлевич уже несколько месяцев не выходил из своего кабинета, но требовал, чтобы жена постоянно сидела возле него. По приезде Гумилев зашел к отцу, еще раз выслушал его требование не бросать университет.

На следующий вечер, когда Николай Степанович в библиотеке описывал племяннику свое путешествие, Анна Ивановна, войдя в кабинет с лекарством, застала мужа сидящим в кресле с опущенной на грудь головой. Приехавший доктор констатировал смерть от разрыва сердца.

Кончина старика ни на кого в семье не произвела особенно тяжелого впечатления: его не любили ни сыновья, ни дочь, а Анна Ивановна, прожившая с мужем почти 32 года, не проявляла своих

чувств. После отпевания в церкви Степана Яковлевича похоронили на Царскосельском кладбище, а через неделю Николай Степанович, заняв отцовский кабинет, стал все переставлять по-своему. Родным это показалось кощунством, однако Гумилев стоял на своем. И вскоре у него стали собираться гости: читали стихи, обменивались мнениями, спорили о литературных течениях.

На Масленицу из Киева приехала Аня Горенко, но к Гумилевым зашла только раз, проводя большую часть времени в Петербурге.

Вскоре по возвращении из Африки Гумилев побывал у Вячеслава Иванова. Хозяин «башни» жадно слушал его рассказ о горном перевале на пути к Харару, об охоте на леопарда. В редакции «Аполлона» Маковский, Кузмин, Ауслендер, Городецкий поздравляли его с приездом и, кажется, искренне ему обрадовались.

Пришел большой пакет из Москвы — два экземпляра сборника «Жемчуга», выпущенного издательством «Скорпион». Обращала на себя внимание оригинальная обложка: два великолепных леопарда ходят вокруг малахитовой чаши, наполненной жемчугами, которые перебирают дама в роскошном кринолине и таинственный араб в чалме.

«Жемчуга», свою третью книгу стихов, Гумилев готовил к изданию давно. Еще в конце 1908 года он писал Брюсову: «Я много работаю и все больше над стихами. Стараюсь по Вашему совету отыскивать новые размеры, пользоваться аллитерацией и внутренними рифмами. Хочу, чтобы „Золотая магия“ уже не была „ученической книгой“, как „Ром. Цветы“». Одно время Гумилев намеревался назвать свою новую книгу «Золотая магия», но позже передумал и назвал «Жемчуга». При этом каждый раздел книги получил свое название: «Жемчуг черный», «Жемчуг серый», «Жемчуг розовый». Кроме этих разделов в сборник вошли (с сохранением посвящения А. А. Горенко) стихи под заглавием «Романтические цветы», взятые из второй книги стихов. На первой странице «Жемчугов» стояла надпись: «Посвящается моему учителю Валерию Яковлевичу Брюсову».

В седьмом номере журнала «Русская мысль» появилась рецензия Брюсова на сборник, в которой говорилось, что Гумилев «живет в мире воображаемом и почти призрачном. Он как-то чуждается современности, он сам создает для себя страны и населяет их им самим сотворенными существами: людьми, зверями, драконами; в этих мирах явления подчиняются не объективным законам природы, но новым, которым повелел существовать поэт <…>. Почти все его стихотворения написаны

прекрасно, обдуманным и утонченно звучащим стихом. Н. Гумилев не создал никакой новой манеры письма, но, заимствовав приемы стихотворной техники у своих предшественников, он сумел их усовершенствовать, развить, углубить, что, быть может, надо признать даже большей заслугой, чем искание новых форм, слишком часто ведущее к плачевным неудачам».

Гумилев находил, что форма стиха, размер, ритм, звучание должны усиливать его эмоциональное воздействие, не отвлекая от внутреннего смысла внешними эффектами, как случалось у его учителя Брюсова. Для Гумилева в поэзии первенствовала мысль, выраженная стихом. Он обращался к традиционным «вечным» темам, однако воплощал их глубоко оригинально — как, например, произошло у него с Дон Жуаном, в интерпретации Гумилева вовсе не похожего на ветреного повесу. Этот Дон Жуан горько ощущает свое одиночество, даже никчемность собственного бытия:

Я вспоминаю, что, ненужный атом,
Я не имел от женщины детей
И никогда не звал мужчину братом.

(«Дон Жуан»)

Все чаще в стихах Гумилева окружающий мир предстает как арена для подвигов, ведущих к гибели и к высшей награде на небесах:

За то, что не был ты, как труп,
Горел, искал и был обманут,
В высоком небе хоры труб
Тебе греметь не перестанут.

(«Адам»)

«Жемчуга» принесли Гумилеву настоящую известность у читающей публики, особенно оценившей «Капитанов». Но сам он становился все более требовательным к себе и писал Брюсову, что «„Жемчуга“ — упрощенья, — и я вполне счастлив, что Вы, мой первый и лучший учитель, одобрили их. Считаться со мной как с поэтом придется только через много лет».

Во время выхода «Жемчугов» в господствовавшем еще символизме наметился упадок, прекратил существование один из

его главных органов — журнал «Весы». Прежде обменивавшиеся любезными письмами Брюсов и Вяч. Иванов все больше становились врагами. Молодые поэты искали пути, лежавшие за пределами символизма. Особенно ясно это стало после статьи Михаила Кузмина в апрельском номере «Аполлона», возвестившей приверженность новой поэзии принципу «прекрасной ясности» взамен символистских туманов.

Гумилев оказался на распутье. С одной стороны, он по-прежнему преклонялся перед Брюсовым, с другой — все отчетливее понимал, что его дарованию чужд символизм. 26 марта в Петербурге в редакции «Аполлона» состоялось заседание Общества ревнителей художественного слова, на котором доклад о символизме читал Вячеслав Иванов. Прозвучали десятки раз до этого высказанные тезисы, касавшиеся дуализма бытия, Аполлона и Диониса, их неслиянности и неразделенности, их двуединства.

Речь Вяч. Иванова не встретила одобрения присутствующих. С полемическим ответом выступил Кузмин, отвергавший утверждения докладчика, что слово «символ» является магическим внушением, приобщающим слушателя к мистериям поэзии. Он не согласился и с мыслями Вяч. Иванова о том, что поэзия есть воспоминание о стародавнем «языке богов» и что нельзя требовать от поэта языка земного — это означало бы примирение с утилитарной моралью.

Кузмин страстно защищал совершенно иной взгляд на поэзию: она должна нести людям не хаос, недоумевающий ужас и расщепление духа, а чувство стройности и гармоничности. И такая поэзия бесконечно выше, значительнее, чем стихи, в которых ненужный туман и акробатический синтаксис — словом, безвкусие.

Мнения присутствующих разделились, причем молодежь, в том числе и Гумилев, Вячеслава Иванова не поддержала. Он ушел оскорбленным. Стало ясно, что наступило время окончательного разрыва между бывшими союзниками.

Статья Кузмина «О прекрасной ясности» была по праву воспринята как разрыв с символизмом. Кузмин выдвинул свою теорию, которая тут же была подхвачена. Суть ее сформулирована в заключительных абзацах статьи: «Друг мой, имея талант, то есть умение по-своему, по-новому видеть мир, память художника, способность отличать нужное от случайного, правдоподобную выдумку, — пишите логично, соблюдая чистоту народной речи, имея свой слог, ясно чувствуйте соответствие данной формы с известным содержанием и приличествующим ей языком, будьте искусными зодчими как в мелочах, так и в целом, будьте понятны в ваших выражениях <…> в рассказе пусть рассказывается, в

драме пусть действуют, лирику сохраните для стихов, любите слово, как Флобер, будьте экономны в средствах и скупы в словах, точны и подлинны, — и вы найдете секрет дивной вещи — *прекрасной ясности,* которую назвал бы я „кларизмом“».

Гумилеву многое понравилось в этом манифесте. Впервые он прочитал его по возвращении из Парижа. Как раз в это же время в восьмом номере «Аполлона» (за май-июнь) появилась статья Вячеслава Иванова «Заветы символизма», где он обобщил свои выступления в марте в московском Обществе свободной эстетики и петербургском Обществе ревнителей художественного слова. Отстаивая главенство символов в произведении, Вяч. Иванов, по примеру Кузмина, в конце тоже обратился к молодым: «В поэзии хорошо все, в чем есть поэтическая душевность. Не нужно желать быть „символистом“; можно только наедине с собой открыть в себе символиста — и тогда лучше всего постараться скрыть это от людей. Символизм обязывает. <…> О символизме должно помнить завет: „Не приемли всуе“».

В том же номере «Аполлона» в качестве сопроводительной статьи было напечатано выступление Блока на заседании Общества ревнителей художественного слова, которое он назвал «О современном состоянии русского символизма». Поддержав основные положения доклада Вяч. Иванова, Блок, тем не менее, сделал другой главный вывод. Если Вяч. Иванов предлагал поэтам учиться мудрости, постигая самих себя, а затем мир, то Блок говорил о необходимости учиться у мира, то есть у жизни, а потом уж у «того младенца, который живет еще в сожженной душе».

Оба эти доклада были замечены, вокруг них развернулась в кругах символистов бурная полемика, причем многие не заметили принципиальной разницы в выступлениях Вяч. Иванова и Блока. Одна за другой стали появляться статьи.

Первым был ответ В. Брюсова в следующем номере «Аполлона», который назывался «О „речи рабской“, в защиту поэзии». Вождь русского символизма полностью перешел на позиции «кларистов» и метал громы и молнии в адрес Вяч. Иванова.

Он подчеркивал, что «„символизм“, как „романтизм“, — определенное историческое явление, связанное с определенными датами и именами <…> Оно всегда развивалось исключительно в области искусства». И тут же предостерегал: «Неужели после того как искусство заставляли служить науке и общественности, теперь его будут заставлять служить религии! Дайте же ему, наконец, свободу!»

Чуть позже в «Аполлоне» появилась статья Андрея Белого

«Венок и венец», «Балаган и трагедия» Д. Мережковского в газете «Русское слово». С. Городецкий в газете «Против течения» напечатал свою статью, озаглавленную «Страна Реверансов и ее пурпурно-лиловый Бедекер».

Гумилев сразу понял, что статьи Вяч. Иванова и А. Блока носят принципиальное различие. В письме к своему бывшему учителю он писал: «Ваша последняя статья в „Весах“ очень покорила меня, как, впрочем, и всю редакцию. С теоретической частью ее я согласен вполне, также и полемической, когда дело идет о Вячеславе Ивановиче, но я несколько иначе понимаю статью Блока <…> Я вынес то впечатление, что он стремится к строгому искусству».

Вяч. Иванов, считавшийся ближайшим сотрудником «Аполлона», был возмущен статьей Брюсова и тотчас откликнулся письмом в редакцию, которое, однако, не было опубликовано. Это вызвало дальнейшее охлаждение мэтра символизма к «Аполлону».

Два месяца по возвращении из Африки пролетели незаметно, настало время ехать в Киев венчаться. И странно — столько лет Николай Степанович добивался согласия Анны на брак, а теперь, когда желанный час наступал, его охватывало вялое безразличие. Докучали мелочные хлопоты: надо было брать из университета разрешение на женитьбу, мерить новый фрак у портного, укладывать чемоданы. Но сборы шли как бы помимо него, и, получив материнское благословение, Николай Степанович сел в поезд.

25 апреля в церкви Никольской Слободы, неподалеку от Киева, священник совершил обряд бракосочетания.

Через несколько дней, как было условлено, молодая чета отправилась в свадебное путешествие в Париж.

Гумилев, проживший в этом городе два года, отнесся к поездке спокойно, но его молодая жена, ни разу не выезжавшая в такое путешествие, смотрела на все с большим любопытством.

Поселились на рю Бонапарт, 10, в отеле; молодые бродили по залам Лувра, ездили в Версаль, который после царскосельских дворцов не произвел на молодую женщину такого уж потрясающего впечатления. По вечерам бывали в театре — давал свои представления дягилевский «Русский балет» с участием Павловой и Карсавиной — или шли в ночное кабаре.

Гумилев познакомил жену со своими парижскими друзьями и с редактором «Аполлона» Маковским, случайно оказавшимся в это время в Париже. Познакомилась Анна Андреевна и с художником Модильяни, никому не известным в ту пору. Восхитившись ее строгим профилем, он сделал много зарисовок.

Если не было дождя, Гумилевы просто бродили по аллеям Люксембургского сада, заходили куда-нибудь или подолгу простаивали перед лавками букинистов.

Месяц прошел незаметно, настало время возвращаться в Россию.

В вагоне они оказались вместе с Маковским, которого очень заинтересовала Анна Андреевна. Худенькая, тихая, очень бледная, с печальной складкой рта и атласной челкой на лбу, она вызывала не то любопытство, не то жалость. Гумилев был подчеркнуто заботлив, кутал жену в большую шаль, гладил ее тонкую руку.

В Царском молодая пара поселилась в квартире Гумилевых на Бульварной улице. Анна Ивановна постаралась, чтобы невестка почувствовала себя своей в новой семье. Но сближения не произошло. Анна Андреевна держалась в стороне, вставала поздно, выходила к завтраку около часа дня последней и, войдя в столовую, говорила точно в пустое пространство: «Здравствуйте все». За столом сидела молча, словно отсутствуя, потом исчезала в свою комнату, а вечером либо вообще не выходила, либо уезжала в Петербург то с мужем, то одна.

Вскоре после возвращения из Парижа она зашла к своей подруге Тюльпановой, теперь ставшей Срезневской. Мельком, как о чем-то ничего не значащем, сообщила о замужестве, читала свои новые стихи, в которых подруга не нашла даже намека на любовь к мужу. Все это показалось Срезневской непонятным.

Действительно, отношения молодоженов складывались странно. Николай Степанович был чем-то подавлен, хотя старался этого не показывать. Иногда читал жене только что написанные стихи, даже спрашивал ее мнение, но совсем не интересовался ее творчеством. А когда Маковский сказал, что ему понравились стихотворения Анны Андреевны, Гумилев с усмешкой сказал: «Да, Аня так же хорошо вышивает».

Однажды он принес корректуру «Кипарисового ларца» И. Анненского, и Аня целую ночь не могла оторваться от стихов, «была поражена и читала ее, забыв все на свете». Супруги жили вместе, но, казалось, не понимали друг друга.

Все время по возвращении из Парижа Гумилевым владело странное чувство беспокойства, точно он должен был совершить что-то грандиозное, величественное, но не мог понять, что именно. Вечерами он часто бродил по Екатерининскому парку, испытывая сложную гамму эмоций. Так рождались его новые произведения. Несколько лет спустя он об этом написал стихи, названные «Шестое чувство»:

…Как некогда в разросшихся хвощах
Ревела от сознания бессилья
Тварь скользкая, почуя на плечах
Еще не появившиеся крылья, —

Так, век за веком — скоро ли, Господь? —
Под скальпелем природы и искусства
Кричит наш дух, изнемогает плоть,
Рождая орган для шестого чувства.

Постепенно, словно из густого тумана перед ним выступал образ генуэзца, отважного мореплавателя Христофора Колумба. Все громче звучала музыка рождающейся поэмы. Музыка обретала словесное звучание. Вот они, долгожданные строфы:

Свежим ветром снова сердце пьяно,
Тайный голос шепчет: «Всё покинь!»
Перед дверью над кустом бурьяна
Небосклон безоблачен и синь.
В каждой луже запах океана,
В каждом камне веянье пустынь.
……
Этот мир, такой святой и строгий,
Что нет места в нем пустой тоске.

Он думал о том, что непозволительна пустая тоска, в этом он себя убеждал еще подростком в Березках. Ведь окружающий мир, святой и строгий, значительнее, чем все переживания, даже когда от них человеку очень больно. Ведь в самом деле:

И струится, и поет по венам
Радостно бушующая кровь.
Нет конца обетам и изменам,
Нет конца веселым переменам,
И отсталых подгоняют вновь
Плетью боли Голод и Любовь.

14 июля Николай Степанович встретился с Кузминым. За год до этого на «башне» Вяч. Иванова их познакомил племянник Кузмина — Ауслендер. Были Гумилев и Кузмин и внешне, и внутренне совсем разные: один — всегда подтянутый, строгий, даже надменный с посторонними, другой — миниатюрный,

напомаженный и подкрашенный, прозванный «аббатом». Однако за год они не только подружились, но были уже на «ты».

В тот вечер Кузмин приехал в Царское Село, и друзья сидели ранним вечером за чайным столом, на котором уютно кипел самовар. Потом в кабинете Кузмин слушал новые стихи, слегка прикрыв свои огромные глаза и покачивая в такт головой. Стихи ему показались прекрасными. Какое замечательное подтверждение его мыслей о кларизме как самом плодотворном поэтическом направлении! А у Гумилева именно ясность, ясность предельная — как вот в этих строках:

…Голодом и Страстью всемогущей
Все больны — летящий и бегущий,
Плавающий в черной глубине.

(«Открытие Америки»)

Кузмин безошибочно почувствовал, что перед ним начало поэмы не только о славе первооткрывателя, но о чем-то большем. Гумилев согласился, добавив, что главное еще впереди — это появление музы Дальних Странствий, музы прекрасной и такой неверной. А вся поэма будет называться «Открытие Америки». Причем это открытие будет написано так, как прежде никто не писал.

Но вдохновение порой изменяло поэту. С женитьбой он потерял часть свободы. Часто теперь ему вспоминалась маленькая комната на Гороховой, которую он обставил по своему вкусу: на стене шкура пантеры, на ней ружье и два кинжала в красивых ножнах, купленных в Стамбуле, лубочная картина абиссинских мастеров, на столе — греческая ваза, на полу ползает большая черепаха, постукивая когтями.

Здесь он в прошлом году встречался с Надей Войтинской, художницей, писавшей его портрет. Когда она окончила, Николай Степанович предложил ей самой позировать, а он напишет ей стихи. Он считал, что поэт, как и художник, должен иметь перед собой модель, образ, который он сможет воплотить в стихи. Он усадил Войтинскую на диван, накинул на нее белое покрывало. Так они молча сидели более часа. Наконец Гумилев прочел только что написанное стихотворение «Свидание»:

Сегодня ты придешь ко мне,
Сегодня я пойму,
Зачем так странно при луне
Остаться одному.

Теперь все изменилось. Аня явно не вписывалась в семейный уклад Гумилевых, твердо установленный Анной Ивановной, уклад провинциального дворянства — с почти ритуальными воскресными вечерами за чайным столом, обсуждениями прочитанных романов, посещениями оперных и драматических спектаклей, со своими шутками, понятными только в своем семейном кругу. Все это было ей неинтересно. Между супругами возникали тяжелые, бессмысленные препирательства. Кончалось тем, что Гумилев надевал пальто и уходил из дому или уезжал в Петербург.

Как-то в августе приехал Ауслендер, зашел к Гумилевым. Анны Андреевны не было дома, Николай Степанович один сидел в маленьком садике. Ауслендер пригласил Гумилева быть у него шафером, свадьба будет в Окуловке. Заговорили о счастье, о том, как все меняется, когда человек начинает жить семейной жизнью. И дали друг другу слово, что с ними этого не произойдет.

Мыслями Гумилев был уже далеко от дома. Он переписывал свое «Открытие Америки» и чувствовал в себе призыв Музы Дальних Странствий. Уверения этой сладкой музы, ее сладкий зов слышит в шуме волн его герой генуэзец. Гумилев выразит владевшее им настроение в заключительных строках поэмы:

Мы устали. Мы так жаждем чуда.
Мы так жаждем истинной любви…
— Будь как Бог: иди, лети, плыви!

Его Муза Дальних Странствий влекла на таинственный континент — Африку, в Абиссинию.

Слухи о далекой «Стране черных христиан» доходили до России уже в XVIII веке, но только в середине XIX века туда через Судан пробралась экспедиция под командованием Егора Петровича Ковалевского. Он один из первых написал, что населяющие те края черные племена — полноценные представители человеческого рода: «Я защищаю человека, у которого хотят отнять его человеческое достоинство».

Когда в конце прошлого века Италия пыталась превратить Абиссинию в свою колонию, Россия была полна сочувствия к эфиопам, мужественно защищавшим свою свободу. 7 декабря 1895 года войска императора Менелика нанесли итальянцам первое поражение под Або-Алаги, почти истребив отряд майора Тозелли, а несколько месяцев спустя в битве при Адуа полностью разгромили войска захватчиков. Есть сведения, что эфиопы не

брали итальянцев в плен: их негде было содержать и нечем кормить. Пленных кастрировали и отпускали на свободу. Это приводило итальянских солдат в неописуемый ужас.

Во время этой войны Главное управление Российского общества Красного Креста направило в Абиссинию санитарный поезд во главе с генерал-майором Шведовым, который развернул там полевой госпиталь. Русские врачи оказали помощь многим тысячам раненых и больных, заслужив любовь и доверие абиссинцев, прежде подозрительно относившихся к европейцам. Все участники отряда Шведова были награждены Менеликом орденами и грамотами.

Неудивительно, что романтик Гумилев так стремился в эту героическую страну с одной из самых древних христианских церквей.

20 сентября 1910 года Николай Степанович выехал в Одессу. Помня прошлогодний опыт, он запасся деньгами, для чего пришлось продать имение Березки. Правда, туда уже никто не ездил.

И вот порт, пароход «Олег», взявший курс на Африку.

7 октября из Константинополя Гумилев отправил открытку Зноско-Боровскому, 5 ноября[6] из Порт-Судана — Вячеславу Иванову: «Опять попав в места, о которых мы столько говорили в прошлом году, я не смог удержаться от искушенья напомнить Вам о своем существовании». И дальше Гумилев писал, что в Средиземном море им окончена поэма об отважном генуэзце.

Он писал, сидя на палубе под тентом, 4-ю песнь поэмы «Открытие Америки». Писалось легко, свободно, рифмы приходили сразу, точно только и ждали рождения новой строки:

Мы взошли по горному карнизу
Так высоко за гнездом орла.
Вечер сбросил золотую ризу,
И она на западе легла,
В небе загорались звезды; снизу
Наплывала голубая мгла.

Образ Музы Дальних Странствий так явственно предстал перед Гумилевым, что казалось — вот она, здесь, совсем рядом:

…Муза, ты дрожишь как в лихорадке,
Взор горит и кудри в беспорядке.
Что с тобой? Разгаданы загадки,
Хитрую распутали мы сеть…
Успокойся, Муза, чтобы петь,

Нужен голос ясный, словно медь!

Отрываясь от поэмы, Гумилев принимался усердно заучивать арабские слова и фразы по захваченному с собой учебнику. В прошлогодней поездке он остро ощущал незнание языка. Конечно, овладеть диалектами множества племен, населяющих Абиссинию, было невозможно, но, пользуясь французским и арабским, удалось бы кое-как объясняться с туземцами.

Долгий путь в Джибути не утомил Гумилева, он с радостным чувством узнавал виденные год назад места: смотрел на них глазами человека, вернувшегося в милую сердцу страну. Вот те же известковые скалы и большие зеленые ящерицы на них; и те же, что и в прошлом году, голые арапчата орут, размахивая руками и ловко ловя апельсины, которые бросают им с парохода пассажиры; и те же стаи пеликанов, медленно взмахивающих крыльями.

Наконец, пройдя Баб-эль-Мандебский пролив, пароход бросил якорь в порту Джибути. Обычная долгая и скучная процедура в таможне, скверная гостиница, а на следующий день (поезд ходил два раза в неделю — по вторникам и субботам), во вторник, Гумилев уже ехал по узкоколейке в Дире-Дауа{2}.

Железную дорогу строили французы, получившие концессию от абиссинских властей. После присоединения Сомали и выхода к морю страна нуждалась в такой дороге для вывоза товаров.

Гумилев ехал в вагоне для белых с несколькими французскими инженерами. Вагоны для черных были битком набиты, оттуда слышались громкий хохот, пение и гортанный говор. Поезд то набирал скорость, когда дорога шла под уклон, и тогда вагоны трясло, качало так, что, казалось, они вот-вот опрокинутся, то тащился со скоростью пешехода, взбираясь на подъем. В вагоне стоял лязг и скрежет: рельсы были уложены на железные шпалы, чтобы защитить их от термитов. За окном простиралась красноватая, растрескавшаяся равнина с редким кустарником.

Только к вечеру следующего дня «бубука», как по-амхарски называют поезд, подошел к Дире-Дауа. Шумная толпа высыпала из вагонов и цветным потоком растеклась по пыльным улочкам с низенькими белыми домиками среди мимоз.

Дальше пути не было — только что стали строить дорогу, и первый паровоз в Аддис-Абебе увидели в 1917 году. Побывать в Аддис-Абебе Гумилев мечтал еще в свой первый приезд. Теперь он намеревался осуществить эту мечту.

Путь лежал через Харар, один из самых древних городов

страны. Гумилев уже посетил его в прошлом году. Пришлось нанять мула и проводников.

Караванная тропа шла отрогами Черчерских гор, поросших лесом и колючим кустарником. Когда поднялись на 2500 метров над уровнем моря, жара, стоявшая в Дире-Дауа, спала, стало легче дышать.

В просветах между деревьями виднелись маленькие деревни, коричневые скалы, густая зелень долин. Когда он снова сюда вернется в 1913 году, то будет систематически вести дневник и об этой дороге запишет: «Дорога напоминала рай на хороших русских лубках: неестественно-зеленая трава, слишком раскидистые ветки деревьев, большие разноцветные птицы и стада коз по откосам гор. Воздух мягкий, прозрачный и словно пронизанный крупинками золота. Сильный и сладкий запах цветов. И только странно дисгармонируют со всем окружающим черные люди, словно грешники, гуляющие в раю, по какой-нибудь еще не созданной легенде».

Когда встречались каменные завалы, приходилось, сойдя с мула, пробираться пешком. С вершины далеко внизу видно было озеро Адели. Местность изменилась: вместо мимоз и колючих кустарников зеленели банановые пальмы и изгороди молочаев, виднелись возделанные поля дурро.

Дальше была прямая дорога в Харар мимо озера Оромоло. По его пологому берегу бродили красавцы чибисы и болотные птицы серого оперения с наростами на голове.

С возвышенности на город открывался величественный вид: дома из красного песчаника, мечети и острые минареты, белые дома европейцев. Город окружала невысокая стена с приземистыми воротами: в центре пошире — для провоза клади на мулах и верблюдах, по бокам — для пешеходов. После захода солнца ворота запирались.

Харар насчитывал уже девятьсот лет. До 1887 года он был центром Харарского султаната. Его история, так привлекшая Гумилева, полна героических и трагических событий. В песнях и народных преданиях ярко отражена фигура самого знаменитого правителя независимого Харара, который в середине XVI века вел «священную войну» с Абиссинией. Это был Ахмед аль-Гази, объявивший себя имамом и двинувший против христианской Абиссинии полчища мусульман. Гибли церкви и монастыри, ценнейшие рукописи и старинные иконы. К Харару потянулись караваны с награбленным золотом, шли, закованные в цепи, голые невольники. Однажды, как гласит предание, в узком проходе между скалами имам остановил войско и приказал рубить головы всем, чьи мулы, обремененные добычей, не смогут

пройти через скальный проход. Ему приписывали чудодейственную силу: до сих пор показывают трещины на камнях от удара его сабли.

Осталось неизвестным, знал ли Николай Степанович, что за десять лет до того, как он побывал в Хараре, там жил французский негоциант, он же известный поэт Артюр Рембо, автор книги «Лето в аду», переводы из которой делал Иннокентий Анненский.

В африканском дневнике 1913 года Гумилев сравнивает город с Багдадом времен Гарун-аль-Рашида: «Узкие улицы, которые то подымаются, то спускаются ступенями, тяжелые деревянные двери, площади, полные галдящим людом в белых одеждах, суд, тут же на площади — все это полно прелести старых сказок». Посреди одной из площадей стояла церковь с блестящим крестом над куполом. Она выглядела совершенно чуждой архитектуре мусульманского города. Директор местной школы, пожилой копт, рассказал поэту ее историю.

До захвата Харара войсками абиссинцев в нем были только мечети. Но когда в городе поселились христиане, Менелину пришлось задуматься о строительстве храма. С этим не могли смириться мусульмане, а императору не хотелось применять силу, чтобы не возбуждать религиозный конфликт. Опытный дипломат, он решил задачу с мудростью, достойной царя Соломона: пригласил мусульманских старейшин и сказал, что в уважение их просьбам отказывает христианам в просьбе построить церковь. Но ведь и христиане должны общаться с Богом, поэтому следует разделить мечеть на две части. Старейшинам ничего не оставалось, как согласиться со строительством христианского храма.

Дни шли за днями, а Гумилеву все не удавалось найти караван, с которым можно было отправиться в Аддис-Абебу. Только в конце ноября представился случай уехать на муле с большим караваном, идущим в столицу страны. Ехать одному было бы безумием: дороги кишели грабителями.

О пути, проделанном Гумилевым от Харара до Аддис-Абебы, не сохранилось никаких свидетельств. Но известно, что в декабре он уже был в столице, где познакомился, даже подружился с русским посланником Чемерзиным и сотрудниками русской миссии.

Гумилев был представлен наследнику престола. На приеме он завел знакомства среди придворных, министров, местных художников и поэтов. Многие из его новых знакомых говорили, хотя и скверно, по-французски, другие знали лишь амхарский, который Гумилев всячески старался освоить.

Аддис-Абеба был совсем молодым городом. В центре стояло несколько европейских двух- и трехэтажных домов, окруженных хижинами под остроконечными тростниковыми крышами. На холме возвышался дворец негуса с двумя каменными львами, лежавшими у парадной лестницы.

Город стоял на высокогорье, днем прогревался, а ночи бывали холодными. В разреженном горном воздухе было трудно дышать.

Целыми днями Гумилев бродил по улицам, наблюдая местную жизнь. Все было интересно: обычай мужчин целовать друг другу руки при встрече, пестрые и яркие одеяния эфиопок (у самых знатных — непременно короткая черная мантия), разноголосый говор толпы на рынках, где продавали громадные огурцы-нумиш, красный берберийский перец, высушенную кору кустарника, которая дает ароматный дым.

На Рождество после молебна в императорском дворце был дан торжественный обед для дипломатического корпуса, министров и сановников. Гумилеву показалось, что гостей было тысячи три. Когда закончилась трапеза, показали конные игры: смельчаки вырывались вперед, бросая в противников дротики, а те отражали нападение щитами.

Все было для Гумилева ново, все захватывало и ужасно хотелось побывать на охоте: убить леопарда, может быть, даже льва — заветная мечта каждого белого, приезжавшего в Африку. Его новый знакомец богатый лидж Адену пригласил Гумилева погостить у него в имении, уверяя, что оно совсем недалеко от Аддис-Абебы. Но проехать понадобилось полтораста верст.

В своем поместье лидж Адену организовал для гостя большую облаву, описанную Гумилевым (этот очерк был им напечатан несколько лет спустя в приложении к «Ниве» за 1916 год).

> «Облава в тропическом лесу — это совсем новое ощущение, — стоишь и не знаешь, что покажется сейчас за этим круглым кустом, что мелькнет между этой кривой мимозой и толстым платаном; кто из вооруженных копытами, когтями, зубами выбежит с опущенной головой, чтобы пулей приобщить его к твоему сознанию; может быть, сказки не лгут, может быть, действительно есть драконы…
>
> Мы стали по двум сторонам узкого ущелья, кончающегося тупиком; загонщики, человек тридцать быстроногих галласов, углубились в этот тупик. Мы прицелились к камням посреди почти отвесных склонов и слушали удаляющиеся голоса, которые раздавались то

выше нас, то ниже и вдруг слились в один торжествующий рев. Зверь был открыт.

Это была большая полосатая гиена. Она бежала по противоположному скату в нескольких саженях над лидж Адену, а за ней с дубиной мчался начальник загонщиков, худой, но мускулистый, совсем голый негр. Временами она огрызалась, и тогда ее преследователь отставал на несколько шагов. И загонщик, и лидж Адену выстрелили одновременно. Задыхающийся негр остановился, решив, что его дело сделано, а гиена, перекувыркнувшись, пролетела в аршине от лидж Адену, в воздухе щелкнула на него зубами, но, коснувшись ногами земли, кое-как справилась и опять деловито затрусила вперед. Еще два выстрела прикончили ее.

Через несколько минут снова послышался крик, возвещавший зверя, но на этот раз загонщикам пришлось иметь дело с леопардом, и они не были так резвы. Два-три могучих прыжка — и леопард был наверху ущелья, откуда ему повсюду была вольная дорога. Мы его так и не видели.

Третий раз пронесся крик, но уже менее дружный, вперемежку со смехом. Из глубины ущелья повалило стадо павианов. Мы не стреляли. Слишком забавно было видеть этих полусобак-полулюдей, удирающих с той комической неуклюжестью, с какой из всех зверей удирают только обезьяны. Но позади бежало несколько старых самцов с седой львиной гривой и оскаленными желтыми клыками. Это уже были звери в полном смысле слова, и я выстрелил. Один остановился и хрипло залаял, а потом медленно закрыл глаза и опустился на бок, как человек, который собирается спать. Пуля затронула ему сердце, и, когда к нему подошли, он был уже мертв.

Облава кончилась. Ночью, лежа на соломенной циновке, я долго думал, что не чувствую никаких угрызений совести, убивая зверей для забавы, и почему моя кровная связь с миром только крепнет от этих убийств. А ночью мне приснилось, что за участие в каком-то абиссинском дворцовом перевороте мне отрубили голову, и я, истекая кровью, аплодирую умению палача и радуюсь, как все это просто, хорошо и совсем не больно!»

Возвратившись в Аддис-Абебу, Николай Степанович все чаще

стал ощущать странную пустоту, словно все вокруг потускнело, потеряло свою яркую, праздничную краску.

Как-то ночью в отеле ему не спалось. Он вышел на балкон и сел с папиросой, вдыхая холодный разреженный воздух. Над притихшим городом (после полуночи на улицах запрещалось движение) слышались только многоголосый лай собак, визг шакалов из кустарника, покрывавшего склон горы, да рыканье льва из дворца негуса. Черное небо над головой сверкало яркой россыпью звезд. Странное чувство охватило Николая Степановича: все, что окружало здесь, было чуждо, но совершенно реально, а Петербург, Царское Село, жена, мать, друзья казались только бледными, еле ощутимыми воспоминаниями.

К нему вдруг подступила тоска одиночества, и он решил: «Довольно, пора возвращаться».

Начались обычные дорожные сборы: надо было упаковать шкуры, купленные на базарах амулеты, рог носорога, клетку с большим попугаем, приобретенным в подарок жене. За все прошедшие месяцы он не послал ей ни одного письма и теперь чувствовал укоры совести.

Опять был долгий караванный путь из Аддис-Абебы в Дире-Дауа с ночлегами в маленьких деревушках. На этот раз Николай Степанович познакомился по пути с поэтом ато-Иосифом, который помогал ему собирать абиссинские песни и пересказывал их содержание. На амхарском языке песни звучали мелодично, но в русском переводе многое пропадало. Вот одна из них:

Самое высшее счастье смотреть,
Как люди косят и грузят,
Если лошадь бежит по дороге
Иль проходит по ней человек,
Поднимается пыль.
И во время сражения первым
Герой наносит удар.
А я заблудился в пустыне и кричу и взываю,
Вкруг меня ничего, кроме жары.
И ведь я не простой человек,
Вождь Дамоти Берты
Был мне отцом.

Эту песнь спел я, вождь уламосов,
Убивший слона и льва.

В дальнейшем Гумилев собирался работать над переложениями, собранными в особой тетради. Одно из них он в

1914 году напечатал, включив в свою статью «Умер ли Менелик?».

В Благовещение 25 марта (7 апреля по новому стилю) 1911 года с первым поездом Николай Степанович был в Царском Селе. Анны Андреевны дома не было: эту ночь она решила провести в Петербурге и, вернувшись, с удивлением увидела мужа, завтракающего за чайным столом.

ГЛАВА VII
Рождение акмеизма

Пока Гумилев был в Африке, Анна Андреевна заполняла стихами большую тетрадь, которую решила теперь показать мужу. У нее было странное чувство робости, точно предстояло признаться в чем-то тайном и постыдном. Хотя Николай Степанович был не первым читателем тетради: кое-что она показывала жене Маковского, и сам Сергей Аполлонович хвалил ее стихи, даже предлагал поместить их в «Аполлоне». Хотя бы это, названное «Белой ночью»:

Ах, дверь не запирала я,
Не зажигала свеч,
Не знаешь, как, усталая,
Я не решалась лечь.

Смотреть, как гаснут полосы
В закатном мраке хвой,
Пьянея звуком голоса,
Похожего на твой.

И знать, что все потеряно,
Что жизнь — проклятый ад!
О, я была уверена,
Что ты придешь назад.

И еще другое:

Сердце к сердцу не приковано,
Если хочешь — уходи.
Много счастья уготовано
Тем, кто волен на пути.

Я не плачу, я не жалуюсь,
Мне счастливой не бывать.
Не целуй меня, усталую, —
Смерть придет поцеловать.

Дни томлений острых прожиты
Вместе с белою зимой.
Отчего же, отчего же ты

Лучше, чем избранник мой?

Суждение Гумилева было решительным: это настоящая поэзия, надо делать книгу. Эта книга — она будет называться «Вечер» — написана в зиму 1910/11 года, когда Гумилев был в Абиссинии. Потом Ахматова будет отзываться о ней сурово: «Бедные стихи пустейшей девочки…»

Кое-что было отдано в журналы, и потом, когда стихи напечатали, «сама девочка… прятала под диванные подушки номера журналов… „чтобы не расстраиваться“». Псевдоним был выбран по девичьей фамилии татарской прабабки княжны Ахматовой.

Еще в октябре 1910 года Гумилев послал Маковскому из Порт-Саида рукопись «Открытия Америки», сопроводив письмом, где говорилось, что «в поэме я принимаю заранее все изменения, сделанные Вами с Кузминым или Вячеславом Ивановым. Я прошу о них».

Поэма была помещена в двенадцатом номере «Аполлона». Холодок отчужденности между Гумилевым и Вяч. Ивановым сохранялся, и теперь, возвратясь из путешествия, Николай Степанович надеялся с этим покончить, зная, как Вячеслав Иванович любил слушать его рассказы об Африке. Рассказать обо всем этом Гумилев намеревался на заседании Общества ревнителей художественного слова, где будут присутствовать его участники, следовательно, придет и Вячеслав Иванов. Были разосланы официальные приглашения: «Редакция „Аполлона“ имеет честь пригласить Вас пожаловать во вторник 5 апреля в 9 часов вечера на сообщение Н. С. Гумилева о своем путешествии в Абиссинию в помещении редакции: Мойка, 24, кв. 6».

Собралась большая аудитория: Кузмин, Чуковский, пришел напомаженный, в галстуке-бабочке Маковский, возбужденный Городецкий. Не было только Вячеслава Иванова — он вошел, как только заседание объявили открытым. Увидя его, докладчик успокоился: значит, примирение состоится.

Он стал описывать горные перевалы и большие караваны, идущие в столицу страны, и Аддис-Абебу, где его обворовали в отеле. Описал торжественный обед во дворце негуса, национальные праздники, водосвятие в день Крещения.

Особенно удался ему рассказ об охоте, а закончил свое сообщение Гумилев чтением абиссинских народных песен, им самим переведенных на русский язык. Эти переводы очень понравились Вяч. Иванову. Он нашел, что Гумилеву удалось передать местный колорит, национальные особенности

абиссинской песни, ее экзотичность.

Приветствую Деву Марию,
Чистой, как голубь, она создана
И милосердной.

Приветствую снова и снова
Мать Бога Младенца,
Сотворившего небо и землю, —

повторил Вяч. Иванов и отметил, что в этих строках явственно слышны удары африканского бубна, дикое, звериное преклонение перед высшими силами.

Обсуждение доклада продолжалось. Чуковский, воздав должное Гумилеву, тем не менее укорял его за желание покрасоваться, присвоив себе лавры отважного конквистадора. Кузмин заметил, что доклад был интересен, но чересчур прост. Но с этим не согласились другие, им рассказ Гумилева показался образцом выдержки и умения.

Перешли к чтению стихов. Николай Степанович решил прочесть недавно написанную поэму «Блудный сын». Дошел до третьей строфы:

Я больше не мальчик, не верю обманам,
Надменность и кротость — два взмаха кадила,
И Петр не унизится пред Иоанном,
И лев перед агнцем, как в сне Даниила.

Вяч. Иванов сильно насупился, заявив, что поэт не смеет переступать границу дозволенного, касаясь библейских тем. Этак можно дойти до вульгарного истолкования самого Христа. Вместо примирения дело шло к полному разрыву. Гумилев не знал, что мэтр символистов, внешне любезный, доброжелательный, упрекал Маковского за его особое расположение к Гумилеву, которому он поручил вести в «Аполлоне» раздел «Письма о русской поэзии». Вяч. Иванов считал, что для этого Гумилев недостаточно образован и начитан. Маковский отбивался, указывая, что все это компенсируется серьезным отношением к стихам, редкой честностью и независимостью суждений.

В то время он «не принадлежал, в сущности, никакому литературному толку, — вспоминал Маковский. — Его корежило от реалистов-бытовиков, наводнявших толстые журналы, но он считал необходимым бороться и с десятилетним „символическим

пленением“ русской поэзии, как он говорил. Несмотря на увлечение Брюсовым, Анненским, Сологубом и прославленными французскими символистами, Гумилева тянуло прочь от мистических туманов модернизма».

В «Письмах о русской поэзии» Гумилев писал о только что вышедшем сборнике стихов Вячеслава Иванова «Cor ardens»: «Неизмеримая пропасть отделяет его от поэтов линий и красок, Пушкина или Брюсова, Лермонтова или Блока… Их герои, их пейзажи — чем жизненнее, тем выше; совершенство образов Вячеслава Иванова зависит от их призрачности. Лермонтовский Демон с высот совершенного знания спускается в Грузию целовать глаза красивой девушки; герой поэмы Вячеслава Иванова, черноногий Меламп, уходит в „бездонные бездны“, на Змеиную Ниву созерцать брак Змей-Причин со Змеями-Целями». В рецензии Гумилев как бы мимоходом, с меткой усмешкой повторяет ивановское выражение «бездонные бездны», сходное по смыслу с «масло масляное». Такой отзыв должен был неприятно поразить крайне самолюбивого, даже самовлюбленного Вячеслава Иванова.

Петербургский университет показался Гумилеву скучнее Сорбонны. Лекции были сухие, очень далекие от живых поэтических веяний. Он по целым месяцам не появлялся в аудиториях и 4 мая подал ректору прошение об отчислении, которое и было удовлетворено.

В конце мая Анна Андреевна отправилась в Париж. Ей хотелось встретиться с художником Модильяни, который писал ей письма и звал приехать.

А Николай Степанович поехал в Слепнево.

Летом деревня оживала, соседи ездили друг к другу в гости, собирались компании молодежи. В четырех верстах от железнодорожной станции было старинное имение Подобино, принадлежавшее Неведомским. Большой барский дом с ампирными колоннами стоял на пологом холме, окруженный вековыми дубами запущенного парка. Молодые хозяева имения были всегда рады гостям. Владимир Неведомский восхищался стихами Гумилева, подарившего ему сборник «Жемчуга». Неподалеку было имение Кузьминых-Караваевых — Борисково. На лето туда приезжали Дмитрий Владимирович с женой Елизаветой Юрьевной, его братья Борис и Михаил, брат Елизаветы Юрьевны Митя Пиленко, совсем юный Дмитрий Бушен, князь Оболенский — жених Оли Кузьминой-Караваевой. Чуть подальше отстояло поместье Ермоловых — Дубровка.

Николай Степанович придумал играть в цирк. Большая компания выезжала верхом на лошадях, которые не все были

объезжены. Сам Гумилев наряжался в старинный дедушкин сюртук и высокий цилиндр, изображая директора. Кавалькада разъезжала от одного имения до другого. Вера Неведомская вспоминала: «Раз мы заехали кавалькадой человек в десять в соседний уезд, где нас не знали. Дело было в Петровки, в сенокос. Крестьяне обступили нас и стали расспрашивать — кто мы такие? Гумилев, не задумываясь, ответил, что мы бродячий цирк и едем на ярмарку в соседний уезд давать представление. Крестьяне попросили нас показать наше искусство, и мы проделали перед ними всю нашу „программу“. Публика пришла в восторг, и кто-то начал собирать медяки в нашу пользу. Тут мы смутились и поспешно исчезли».

Если была плохая погода, Гумилев предлагал игру в «типы». Каждому участвующему давалась роль: «любопытному» полагалось везде «совать свой нос», «сплетник» должен был рассказывать выдумки об общих знакомых. Были типы «человека, всем в глаза говорившего правду», «Дон Кихота», «великой интриганки». Назначенная роль вовсе не соответствовала характеру актера, и это было особенно забавно. В амплуа полагалось оставаться постоянно: на прогулке, за обедом, в гостиной.

На память об этих летних забавах Гумилев написал Оле Кузьминой-Караваевой на сборнике «Чужое небо»:

Мы с тобой повсюду рыскали,
Сказкой медленной озлоблены,
То проворны, то неловки.
Мы бывали и в Борискове,
Мы бывали и в Дубровке,
Вот как мы сдержали слово
Ехать на лето в Слепнево.

Но не все время было только веселье. Иногда с утра Гумилев в своей комнате писал статьи для журнала «Аполлон», слушая, как внизу в четыре руки музицировали его хорошенькие племянницы. А вечерами, при неярком свете настольной лампы под зеленым абажуром, он любил сидеть с девушками, рассказывая только что придуманные фантастические истории или читая экспромты:

Приехал Коля. Тотчас слухи,
Во всех вселившие испуг:
По дому ночью бродят духи
И слышен непонятный стук.

Лишь днем не чувствуешь их дури,
Когда ж погаснет в окнах свет,
Они лежат на лиги-куре
Или сражаются в крокет.

Маша, такая не похожая на знакомых ему женщин, внушала Гумилеву чувство, которое нельзя было назвать только родственным. В ее альбом он вписал:

Вы сегодня не вышли из спальни,
И до вечера был я один,
Сердце билось печальней, и дальний
Падал дождь на узоры куртин.
Ни стрельбы из японского лука,
Ни гаданья по книгам стихов,
Ни блокнотов! Тяжелая скука
Захватила и смяла без слов…
……
Вы взглянули… И, стула бесстрастней,
Встретил я ваш приветливый взгляд,
Помня мудрое правило басни,
Что, чужой, не созрел виноград.

13 июля из Парижа приехала Анна Андреевна, худая и строгая. Участия в развлечениях слепневской молодежи она не принимала, предпочитая прогулки в одиночестве по заросшему кустарником парку, где было много грибов, или старую скамью под единственным на усадьбе дубом. Оживлялась она только тогда, когда посланный в Бежецк кучер привозил почту.

Ахматова вспоминает: «Тамошняя молодежь за сказочную мою худобу и (как им тогда казалось) таинственность называла меня знаменитой лондонской мумией, которая всем приносит несчастье». В ее комнате висела большая икона — «Христос в темнице». «За плечами еще пылал Париж в каком-то последнем закате». Анна Андреевна ждала письма, которое, читаем мы в ее воспоминаниях, «так и не пришло — никогда не пришло. Я часто видела это письмо во сне: я разрываю конверт, но оно или написано на непонятном языке, или я слепну…».

Ей не нравилась ни усадьба, ни окрестности:

Сколько раз я проклинала
Это небо, эту землю,
Этой мельницы замшелой

Тяжко машущие руки!

С приездом жены все переменилось: Николай Степанович подолгу сидел за письменным столом или уезжал, никого не предупреждая, то в Борисково, то в Бежецк, а 7 августа они вместе отправились в Москву.

Все время, с отъезда из Петербурга, Гумилева угнетало воспоминание о выходке Вячеслава Иванова при чтении «Блудного сына». Он еще не был готов к решительному разрыву. На письмо, отправленное из Слепнева в начале июня, очень доброжелательное, с просьбой оценить стихотворения, передаваемые в «Аполлон» (хотя, собственно, Гумилев не нуждался в таком отзыве), Вяч. Иванов 16 июня прислал сухой и едкий ответ. Отказавшись рекомендовать присланные стихи, он писал: «Что же касается моего мнения, то, во-первых, Вы хорошо знаете, что я горячо приветствую вообще разнообразие „пестрой лиры“, опыты в новом, неопробованном роде; во-вторых, Ваши новые стихи я нахожу достаточно удавшимися, „уклона“ нет (Гумилев опасался, что в них „нежелательный уклон“), неожиданной новизны тоже. Много Анненского, его поэзии, но это вовсе не дурно. Восхищения не испытал. Печатать советую, если Вы не ограничиваетесь стихотворениями безупречными и вполне оригинальными». Как понял Гумилев, Иванов находил стихи далеко не безупречными, скорее — подражанием символисту Анненскому. Николай Степанович хотел поговорить об этих стихах с Брюсовым, который заметно разошелся с Вячеславом Ивановым, хотя продолжал оставаться в лагере символистов.

В Москве Гумилев побывал в редакции «Скорпиона», встретился с Андреем Белым и попытался узнать у Брюсова его отношение к группе молодых поэтов, в которой он все отчетливее становился лидером. Но, к его огорчению, откровенного разговора не получилось: за высказываниями Валерия Яковлевича не чувствовалось желания поддержать круг «Аполлона».

У Брюсова Гумилев познакомился с поэтом Николаем Клюевым, почти своим ровесником. Одетый в сапоги и поддевку, русобородый, Клюев, с его нарочито народным говором, пересыпал речь устаревшими церковными словами. Но это было не притворство, не маскарад: он был искренен в своей любви к старой, не развращенной цивилизацией России, отличался глубокой религиозностью и очень расположил к себе Гумилева.

Отзываясь в «Аполлоне» на сборник стихов «Сосен перезвон», Гумилев заявляет: «Эта зима принесла любителям поэзии

неожиданный и драгоценный подарок. Я говорю о книге почти не печатавшегося до сих пор Н. Клюева. В ней мы встречаемся с уже совершенно окрепшим поэтом, продолжателем традиции пушкинского периода… Он знает, что культурное общество — „только отгул глухой, дремучей, обессилевшей волны“. Но крепок русский дух, он всегда найдет дорогу к свету. В стихотворении „Голос из народа“ звучит лейтмотив всей книги. На смену изжитой культуре, приведшей нас к тоскливому безбожью и бесцельной злобе, идут люди, которые могут сказать про себя: „Мы предутренние тучи, зори росные весны…“ В творчестве Клюева намечается возможность поистине большого эпоса».

Клюев не остался далек от того поэтического направления, которое зарождалось в Петербурге. Но Николаю Степановичу был внутренне близок этот поэт.

Из Москвы Гумилев возвратился в Слепнево; Анна Андреевна поехала к матери в Киев, а оттуда — в Петербург.

В Тверскую губернию Николая Степановича тянуло не только желание отдохнуть от литературных столичных дрязг. Он хотел повидать Машеньку. Объяснение с ней состоялось вечером, на балконе. Она расплакалась и просила никогда с нею не говорить о любви. В блокноте Гумилева появились строчки:

Когда она родилась, сердце
В железо заковали ей.
И та, которую любил я,
Не будет никогда моей…

С середины августа зарядили затяжные холодные дожди, в доме даже днем было сумрачно. Но молодежь продолжала встречаться то в Борискове у Караваевых, то в Подобине у Неведомских. Вера Неведомская вспоминала: «В зале зажигали камин и, расположившись на диванах и креслах, принимались обсуждать мысль Гумилева о домашнем театре, для которого он напишет пьесу из средневековой жизни. Пьеса будет о любви и смерти, название — „Любовь-отравительница“, Испания, XIII век».

Володя Неведомский предложил ввести персонажи в духе итальянской комедии дель арте: Коломбина, Пьеро, Арлекин и другие. Вера потребовала, чтобы в пьесе был кардинал, Оля Караваева непременно хотела играть роль привидения, Елизавета Юрьевна сказала, что в трагедии непременно должны быть яд, кинжал, смерть. Гумилев уже делал наброски в блокноте, забравшись на тахту.

Как передает в своих воспоминаниях Неведомская, пьеса в стихах была написана тогда же, в присутствии будущих

исполнителей. Ее содержание таково: раненый рыцарь, возвращаясь из похода против мавров, попадает в провинциальный монастырь и влюбляется в послушницу Марию. Игуменья возмущена и грозит расправой. Влюбленные в унынии. Вдруг в монастырь приезжает кардинал и узнает, что здесь лежит его раненый племянник. Этот кардинал — светский, элегантный — сразу понимает ситуацию и, отозвав в сторону игуменью, в певучей латинской речи внушает ей снисхождение к молодым людям. «Провинциальная игуменья слаба в латыни, она робеет, путается и от конфуза на все соглашается. Фокус Гумилева был в том, что весь разговор был только музыкальной имитацией латыни: отдельные латинские слова и латиноподобные звуки сплетались в стихах, а содержание разговора передавалось только жестами и мимикой».

Интрига получилась запутанной. Возникает новое препятствие: вдруг открывается, что отец раненого рыцаря был убит отцом сестры Марии, и долг мести препятствует браку влюбленных. Все удручены — «сцена темнеет, сверкает молния, гремит гром и начинается ливень». Но тут появляются странствующие комедианты, промокшие до нитки. Они узнают, в чем причина печали, и Коломбина выступает в защиту любви:

«Христос велел любить!»
Игуменья: «Как сестры и как братья!»
Коломбина: «По всячески и верно без изъятья!»

Обращаясь к рыцарю, комедианты поют:

«Милый дон, что за сон?
Ты ведь юн и влюблен!
Брачного платья мягкий шелк
Забыть поможет тяжелый долг…»

По просьбе кардинала комедианты разыгрывают «Прекрасную Елену»; все опять улаживается. Но в трагедии должны быть яд и кинжал. Появляется тень убитого отца рыцаря и требует отмщения. Рыцарь закалывается кинжалом, Мария принимает яд.

Вся пьеса, разыгранная под руководством Гумилева, представляла собой сплошной шарж: нарочитые выкрики, буйная жестикуляция и соответствующая мимика.

Так закончилось лето, пора было возвращаться в Петербург. На станции Подобино Гумилев, грустно улыбаясь, прочел экспромт:

Грустно мне, что август мокрый
Наших коней расседлал,
Занавешивает окна,
Запирает сеновал.

И садятся в поезд сонный.
Смутно чувствуя покой,
Кто мечтательно-влюбленный,
Кто с разбитой головой.

И к Тебе, великий Боже,
Я с одной мольбой приду:
Сделай так, чтоб было то же
Здесь и в будущем году.

Прощаясь с Верой Неведомской, он вдруг заговорил о том, что грядут большие события, что нас ждет упадок белой расы, тонущей в материализме, восстание желтой и черной рас, и признался: иногда он ясно видит картины и события вне круга теперешней жизни. Они относятся к каким-то давно прошедшим эпохам, и для него дух этих старых времен гораздо ближе того, чем живет современный европеец.

Анна Ивановна присмотрела в Царском Селе и купила двухэтажный дом, увитый диким виноградом. Рядом стоял тоже двухэтажный флигель, а возле дома — небольшой сад и чистенький дворик с клумбой посередине. Верхний этаж занимали Анна Ивановна и ее падчерица Шура с детьми. Внизу разместились сыновья со своими женами. Николай Степанович занимал четыре комнаты. Сразу после большой, пустынной гостиной, с окнами на улицу и во двор, в которой почему-то никто не засиживался, была библиотека с полками по стенам, до потолка заставленными книгами. Книги лежали и на большом овальном столе, стоявшем посреди комнаты, и на широком диване. В следующей комнате с темно-синими обоями стояла кушетка Ахматовой. В третьей, окнами во двор, висели полотна художницы Александры Эстер, ее подарки Гумилеву. В этой комнате была обстановка стиля модерн, во всех остальных стояла старомодная мебель красного дерева, давно потерявшая свой блеск. Наконец, четвертая комната служила рабочим кабинетом Гумилева. Там был большой письменный стол, на нем два портрета в рамках и греческая ваза. Стены закрыты картинами абиссинских мастеров на кустарных тканях, висели браслеты из слоновой кости, дротик, два кинжала, пятнистая шкура гепарда,

на ней — два ружья.

Гумилев в письмах обязательно сообщал свой адрес: «Царское Село, Малая, 63 (собственный дом против гимназии)».

В Петербурге опять пошла та же, что и прежде, литературная жизнь: встречи в «Аполлоне», диспуты, столкновения приверженцев разных направлений. Обычно немногословный, в литературных спорах Гумилев высказывался резко, всегда в форме сентенций, не допускающих возражений. В эту осень он особенно часто говорил о стихотворном мастерстве, о том, что еще в Древних Афинах существовали школы поэтов, напоминал слова Делакруа: «Надо неустанно изучать технику своего искусства, чтобы не думать о ней в минуту творчества».

В пылу полемики указывал на промахи даже больших, талантливых поэтов, таких, как Блок, который ради звучности, напевности стиха допускает нарушения синтаксиса и просто пишет нечто невразумительное, вроде: «Не жду я ранних тайн, поверь, они не мне взойдут».

Блок действительно считал, что все решает вдохновение, что поэтическое творчество, идущее из «потусторонних глубин», не нуждается в проверке алгеброй, что истинная поэзия сродни подсознательному лепету и что смутность этого лепета есть признак символизма, постигающего неизъяснимую тайну. А Гумилев находил, что все это просто неряшливость, и с возмущением цитировал блоковскую строчку: «Лошадь храпела на век».

Его все больше очаровывала идея прекрасной ясности, о которой писал Кузмин. И он не находил ничего, принижающего поэзию, в том, что о ней говорят как о ремесле, которое прежде всего требует умения и навыка.

Старые друзья к таким разговорам отнеслись прохладно. Алексей Толстой говорил, что ему просто некогда вести разговоры о теориях; Петр Потемкин перешел сотрудничать в «Сатирикон»; Сергей Ауслендер был занят семейными идеалами, и даже секретарь «Аполлона» Зноско-Боровский заявил о своем уходе из редакции журнала. По сути, это означало, что с «Академией стиха» покончено, да к тому же хозяин «башни», Вячеслав Иванов, вскоре переехал в Москву.

Идея организации Цеха Поэтов всецело овладела Гумилевым, и он вместе с присоединившимся к нему Сергеем Городецким развил бурную деятельность. Формировалась новая группа молодых поэтов. Кроме Гумилева и Городецкого в нее сразу вошли Анна Ахматова, Дмитрий Кузьмин-Караваев и его жена Елизавета Юрьевна. Вскоре появилось пополнение: щуплый, рассеянный и чрезвычайно смешливый Осип Мандельштам,

молодой ассириолог и поэт Владимир Шилейко, переводивший с шумерского древний эпос о Гильгамеше. Примкнул к кружку и недавно появившийся в Петербурге Владимир Нарбут, который уже выпустил свой сборник стихов. В столицу Нарбут приехал из далекого степного имения, вел он себя несдержанно. Через несколько месяцев после его появления секретарь «Аполлона» Зноско-Боровский был вызван свидетелем в суд «по делу дворянина Владимира Николаевича Нарбута», который ночью, по дороге из одного ресторана в другой, к восторгу сопровождавшей его компании, оседлал одного из Коней Клодта на Аничковом мосту и избил городового, пытавшегося его утихомирить. Городецкий привел к Гумилеву еще одного поэта — Михаила Зенкевича, большелобого, с русым чубом, падавшим на глаза, живые и пытливые.

20 октября состоялось первое заседание кружка в квартире Городецкого на Фонтанке, 143. Собрались молодые поэты, пригласили и «стариков» — Александра Блока и Сергея Маковского.

Подражая Средневековью, кружок решили назвать Цехом Поэтов: название подчеркивало, что поэзия — ремесло. Решено было, что управлять Цехом должны синдики, как в Средние века называли старейшин; они и будут руководить творчеством членов Цеха. Синдики станут по очереди председательствовать на собраниях, их суждения и замечания надлежало принимать безоговорочно, самим же синдикам делать замечания не полагалось.

На первом заседании синдиками единодушно избрали Гумилева и Городецкого, роль цехового стряпчего (была и такая должность) отвели Дмитрию Кузьмину-Караваеву, секретарем назначили Анну Ахматову — в ее обязанности входило оповещать членов Цеха о днях собраний.

После первого заседания Цеха Блок перестал там бывать, вся эта затея показалась ему чуждой и бессмысленной.

1 ноября Цех собрался у Гумилева в Царском Селе. Фактически Гумилев стал главным руководителем Цеха. Осип Мандельштам говорил: «Гумилев — это наша совесть».

В ту пору в Цехе состояло 26 поэтов, но не все из них разделяли идеи, исповедуемые учредителями. Михаил Лозинский, друживший с Гумилевым, хотя и был членом Цеха, по-прежнему причислял себя к символистам. Впрочем, тогда, в конце 1911 года, еще не было сформулировано новое направление. У Цеха были более скромные задачи — овладеть техникой стиха, поддерживать высокую поэтическую культуру.

Той же осенью при журнале «Аполлон» было организовано

книжное издательство, и Гумилев отдал в него подготовленный для печати сборник стихов «Чужое небо».

В литературной среде кипели споры о символизме, кларизме, Цехе Поэтов, футуризме, эгофутуризме. Журналы Петербурга и Москвы были полны взаимных выпадов: одна группа нападала на другую, та тоже не оставалась в долгу. Были поэты, которые самозабвенно отстаивали позиции своего кружка, другие переходили из лагеря в лагерь. Так рождалось новое поэтическое направление — акмеизм.

Новые веяния все отчетливее проявлялись в живописи. Художественные выставки следовали одна за другой, на них соперничали мастера, примыкавшие то к кубизму, то к таким группам, как «Бубновый валет» или «Ослиный хвост».

В театральный сезон 1911/12 года, когда в петербургском «Старинном театре» шел испанский цикл режиссера Николая Евреинова — «Овечий источник» Лопе де Вега с декорациями Рериха, пьесы Кальдерона, Сервантеса, Тирсо де Молина, открылось артистическое кабаре «Бродячая собака», которому суждено было войти в историю культурной жизни России. Его творцом стал Борис Константинович Пронин, давно мечтавший о таком артистическом клубе.

Идея состояла в том, чтобы объединить людей искусства, дать им возможность встречаться не в ресторанах для богатых обывателей, а в своей среде. Пронин — худощавый, подвижный молодой человек — казался сгустком энергии, он ни на минуту не мог остаться бездеятельным, постоянно что-то организовывал, кого-то убеждал. В 1890 году его, студента Московского университета, власти выслали из города за участие в студенческих волнениях. Познакомившись с Максимом Горьким, он принял участие в организации студии при Московском Художественном театре, подружился с Мейерхольдом, сблизился с Евреиновым. Кажется, в литературно-артистическом мире не нашлось бы человека, с которым Пронин не был коротко знаком.

«Бродячая собака» открылась 31 декабря 1911 года на Михайловской площади. Чтобы попасть в кабаре, надо было пройти под аркой ворот, там повернуть во второй двор и, как гласил шуточный «гимн Собаке», написанный В. Князевым на музыку Шпис-Эшенбурга:

Во втором дворе подвал,
В нем приют собачий,
Всякий, кто сюда попал —
Просто пес бродячий.

В день, точнее — в ночь открытия, очень скромного, Пронин прибежал к своей знакомой, актрисе «Старинного театра» Ольге Высотской: нужно было взять напрокат пианино, а денег не нашлось.

Стены подвала были стилизованно расписаны художниками Судейкиным и Сапуновым. Кто-то принес и повесил часы с кукушкой. В большой комнате был красиво оформленный камин известного архитектора с надписью: «Камин построил Фомин». Имелся буфет с вином и самыми простыми, дешевыми блюдами. В три часа ночи буфет закрывался, но сидеть посетители могли хоть до утра. Люди искусства по желанию вступали в действительные члены «Бродячей собаки» и могли давать рекомендации тем, кто от искусства был далек.

При входе в главную комнату с небольшой сценой стояла конторка и на ней — большая «Свиная книга», в которой посетители оставляли свои автографы: поэты — экспромты, художники — рисунки.

В пятницу 13 января 1912 года молодые поэты собрались, чтобы отметить четверть века литературной деятельности Константина Бальмонта. Его стихи, очень музыкальные, даже магические, уже не пользовались былой популярностью. (Гумилев писал в «Аполлоне»: «Вечная тревожная загадка для нас К. Бальмонт. Вот пишет он книгу, потом вторую, потом третью, в которых нет ни одного вразумительного образа, ни одной подлинно-поэтической страницы, и только в дикой вакханалии несутся все эти „стозвонкости“ и „самосожженности“ и прочие бальмонтизмы».) Молодых больше увлекали стихи Блока или мастерски сделанные строфы Брюсова. Стали входить в моду «Куранты любви» Кузмина.

Но юбилей Бальмонта решили провести в «Бродячей собаке» непременно, хотя самого юбиляра не было, он в то время жил в Париже.

Ольга Высотская, постоянный посетитель и действительный член «Бродячей собаки», сидела за столиком со своей подругой Алисой Твороговой. Обратили внимание на стоявшего у конторки худощавого, высокого мужчину в элегантном темно-сером костюме. Когда он отошел, Высотская заглянула в книгу. Там значилось: «Н. Гумилев». Рядом кто-то из приятелей написал: «Великий синдик Гу поставил точку на лугу».

Высотская уже знала о нем: Гумилев — это тот, кто возглавил новое направление в поэзии, акмеизм, и решился спорить с самим Блоком. Он автор «Жемчугов». Совсем недавно эту книгу подарил ей артист Сергей Эрнестович Радлов, и ее поразили стихи, совсем не похожие на все, что она до сих пор читала. Особенно

запомнилось стихотворение «Приближается к Каиру судно…», ведь прошлым летом она с братом совершала поездку в Египет, была в Каире, видела пирамиды, побывала в Палестине, купалась в Мертвом море. Взволновало и чудесное стихотворение «Жираф»:

…Я знаю веселые сказки таинственных стран
Про черную деву, про страсть молодого вождя,
Но ты слишком долго вдыхала тяжелый туман.
Ты верить не хочешь во что-нибудь, кроме дождя…

Вечер начал Сергей Городецкий остроумной, несколько парадоксальной речью; он говорил не столько о юбиляре, сколько о публике и читателях. Сколько среди них таких, как известный ему болван, который испестрил книгу Бальмонта своими надписями, суждениями и сентенциями, говорящими о полном непонимании поэта.

После доклада читали свои стихи Гумилев, Ахматова, Мандельштам, фон Гюнтер и другие поэты. Когда выступления окончились, Зноско-Боровский познакомил Высотскую и ее подругу с Гумилевым, который сразу сел за их столик и принялся рассказывать про Абиссинию, откуда он возвратился прошлой весной.

В другом конце залы сидела Ахматова в темно-лиловом платье и рядом с ней Николай Недоброво, поэт и критик, который через два года напишет о ней необыкновенно проницательную статью. У Недоброво был туберкулез, который рано свел его в могилу, но сейчас, глядя на этого человека в безукоризненно сидевшем фраке, многие думали, что он существо из какого-то высшего круга и очень хорошо знает себе цену.

Гости «Бродячей собаки» начали расходиться только под утро. На Михайловской площади в предрассветных сумерках виднелись фигуры извозчиков в долгополых балахонах. После жаркого, продымленного подвала хорошо было дышать свежим морозным воздухом. Гумилев и Высотская сели в маленькие санки, застоявшаяся на морозе лошадь пошла резво. Миновали Казанский собор и свернули с Невского. Глядя прямо перед собой, Гумилев читал стихи густым, тягучим голосом, и они приобретали странное звучание оттого, что он нечетко произносил некоторые слова.

Вскоре отметили двадцатилетний юбилей сценической деятельности артиста Юрьева, прославившегося исполнением ролей Дон Жуана в пьесе Мольера и Арбенина в «Маскараде». Поставили высокое кресло, подобное трону; на нем была надпись: «Юрию Юрьеву Бродячая собака — лает!» Шею юбиляра украсил

широкий золоченый ошейник. Были речи, поздравления, подходили с бокалами в руках. Юрий Михайлович, смущенно улыбаясь, пил свое любимое «Нюи».

Гумилев сел за столик с Высотской. Ненадолго к ним подсел Толстой, выпил бокал вина, рассказал, как ходил в кинематограф, потому что ему сказали, будто в хронике покажут его. В самом деле, на экране высветилась его фигура: сидит на бульваре, папироса в руках. И ему отчего-то сделалось страшно.

После вечера Гумилев опять поехал провожать молодую актрису, и были слова о поиске своей избранницы, своей «половинки разрезанного яблока», о том, как это трудно и какое счастье найти.

Они встречались то в «Бродячей собаке», то в Эрмитаже, то на Конногвардейском бульваре. Гумилев любил рассказывать об Африке, с гордостью вспоминал, как в Аддис-Абебе был принят самим императором Менеликом, черным аристократом, ведущим свой род от царя Соломона и царицы Савской, живших задолго до Рождества Христова. Рассказывал о пышных празднествах, великолепных военных парадах, воинах в леопардовых и львиных шкурах, на конях, разукрашенных черными страусовыми перьями.

Ольге Высотской он казался рыцарем, точно сошедшим с полотна средневекового художника. Однажды Гумилев рассказал ей, как, купаясь в Гаваше, потерял нательный крест, которым его благословила мать перед отъездом в Африку. Это была дурная примета. Он с тех пор все ждал, что случится какое-то несчастье…

Летом в Териоках образовалось товарищество актеров. На дачный сезон там арендовали театр, инициатором была Любовь Дмитриевна Блок, а Всеволод Эмильевич Мейерхольд согласился режиссировать. Труппа состояла из опытных актеров, но были и молодые, в их числе Высотская. Размещались актеры на большой даче Лепони, превращенной в общежитие, все получали бесплатное питание, но никакой платы.

В вечер открытия поставили сочиненную Мейерхольдом пантомиму «Влюбленные» с музыкой Дебюсси и декорациями Кульбина. На премьеру из Петербурга приехал Блок. Он и позже бывал на всех спектаклях, но никогда не оставался ночевать на даче, где с другими актерами оставалась его жена. Высотская сняла отдельную комнату, в которой жила со своей матерью, приехавшей из Москвы. Днем шли репетиции, вечером — спектакли. В свободное время любили запускать на пляже воздушного змея.

Однажды поздним вечером к Высотским зашел художник Сапунов со спутницей, ученицей Высших женских курсов, которую, с его легкой руки, все звали «Принцесса». Сапунов

сказал, что они небольшой компанией — художницы Бебутова и Яковлева, поэт Кузмин и он с «Принцессой» — приехали на артистическую дачу. Компания отправилась в казино, а Сапунов с девушкой зашли к Высотским, долго пили чай, говорили о Москве.

Рано утром прибежали со страшным известием: Сапунов утонул. После ужина в казино молодежь решила прокатиться в лодке по морю. Отъехали далеко, стали меняться местами на ходу и перевернулись. Кое-как подплыли к лодке, ухватились за нее. Сапунова не было. Трех девушек и Кузмина спасли финские рыбаки, а тело художника море выбросило через несколько дней в Кронштадте.

Вскоре после этого случая в Териоки приехал Николай Степанович. Ольга познакомила его со своей матерью, которой он не понравился: ужасно церемонно держится, настоящий сноб. Но Ольга не обратила на это внимание. Их встречи с Гумилевым продолжались. Она ни на что не рассчитывала, просто любила своего героя.

Ольга Николаевна родилась и выросла в семье русских интеллигентов; ее отец, сын подмосковного помещика, служил директором Ярославской гимназии и в 1906 году, подобно Иннокентию Анненскому, имел неприятности за свой либерализм и был переведен в Тулу. Лишь к 1910 году он получил должность директора гимназии в Москве, на Разгуляе. Мать Ольги окончила консерваторию в Женеве, где сблизилась с революционной молодежью, жившей в эмиграции, увлеклась передовыми идеями, с восторгом изучала биографии декабристов и даже была в дружбе с сыном одного из них — Якушкиным.

Отец по вечерам вслух читал что-нибудь художественное, мать на концертном рояле играла Бетховена, Баха, Моцарта. Ольга с детства полюбила поэзию, музыку, живопись, но особенно увлекалась театром. Ее учителями стали режиссер Николай Евреинов, а потом Мейерхольд, посвятивший ей в ноябре 1912 года свою постановку пьесы Федора Сологуба «Заложники жизни».

Николая Степановича она полюбила глубоко и серьезно. Он, особенно в начале романа, отнесся к этому как к своей очередной победе, но постепенно и в нем начали просыпаться более глубокие чувства, которые он старался не показывать: в артистической среде проявлять любовь или ревность считалось плохим тоном.

Отношения в этой среде и правда были свободными. Встретив Высотскую на Невском, Паллада Олимповна, в ту пору — Богданова-Бельская, рассказывала, делая при этом «трагические

глаза», что вчера вечером Гумилев объяснялся ей в любви и что устоять перед таким мужчиной она не смогла. Конечно, Паллада могла и приврать, ведь это ей Кузмин посвятил в «Гимне Бродячей собаки» несколько строк о даме, которая «резвится на лугу», ибо ей «любовь одна отрада». Посещавшая не только «Собаку», но и фешенебельные рестораны с отдельными кабинетами, эта актриса снискала себе вполне определенную репутацию. И все-таки Высотская была шокирована. Что в самом деле произошло между нею и Гумилевым в марте 1913-го, никто не узнает. Не было ни бурных сцен, ни слез и упреков. Ольга Николаевна спокойно сказала, что уходит, отрекаясь от всего, что связывало их подобием любви.

Высотская уехала в Москву, а Гумилев 7 апреля отправился в Абиссинию. Из Порт-Саида он послал Высотской открытку с сонетом «Ислам» и приписал: «Всегда вспоминаю. Напишите в Порт-Саид, куда привезти Вам леопардовую шкуру». По тону открытки можно предположить, что он обескуражен неожиданным разрывом, может быть, даже глубоко переживал его, хотя с деланной игривостью пытался представить всю эту историю недоразумением. Но в том же году Гумилев написал «Пятистопные ямбы»:

…Я знаю, жизнь не удалась… И ты,
Ты, для кого искал я на Леванте
Нетленный пурпур королевских мантий,
Я проиграл тебя, как Дамаянти
Когда-то проиграл безумный Наль.
Взлетели кости, звонкие, как сталь,
Упали кости — и была печаль.

Сказала ты, задумчивая, строго:
«Я верила, любила слишком много,
А ухожу, не веря, не любя,
И пред лицом Всевидящего Бога,
Быть может, самое себя губя,
Навек я отрекаюсь от тебя».

Твоих волос не смел поцеловать я,
Ни даже сжать холодных, тонких рук.
Я сам себе был гадок, как паук,
Меня пугал и мучил каждый звук,
И ты ушла, в простом и темном платье,
Похожая на древнее Распятье…

К кому были обращены эти строки? Высотская всю жизнь считала, что они относятся к ней, а не к Ахматовой, как утверждают литературоведы. Ведь в 1913 году ушла именно она…

«Бродячая собака» снискала прочную репутацию артистического клуба, в котором проходили заседания Цеха Поэтов, диспуты акмеистов с эгофутуристами, чтение недавно написанных стихов. Попасть в число приглашенных в кабаре для поэта считалось честью.

Однажды на заседании Цеха в «Бродячей собаке» получил такое приглашение молодой поэт Георгий Иванов, недавно выпустивший свой первый сборник стихов «Отплытие на остров Цитеру». На сборник обратил внимание Гумилев и похвалил в рецензии: «Первое, что обращает на себя внимание в книге Георгия Иванова, — это стих. Редко у начинающих поэтов он бывает таким утонченным, то стремительным и быстрым, чаще только замедленным, всегда в соответствии с темой».

В кабаре молодой поэт с волнением оглядывался, ожидая встречи с мэтром — с Гумилевым. Появился Владимир Нарбут; Сергей Городецкий принес символ Цеха — деревянную лиру. Все ждали появления главного синдика. Наконец послышалось: «А вот и Николай Степанович».

Иванов вспоминает: «Гумилев стоял у кассы, платя за вход. Слегка наклонившись вперед, прищурившись, он медленно отсчитывал на ладони мелочь. За ним стояла худая, высокая дама, ярко-голубое платье не очень шло к ее тонкому, смуглому лицу. Впрочем, внешность Гумилева так поразила меня, что на Ахматову я не обратил почти никакого внимания. Гумилев шел, не сгибаясь, важно и медленно — чем-то напоминая автомат. Стриженная под машинку голова, большой, точно вырезанный из картона нос, как сталь холодные, немного косые глаза… Одет он был тоже странно: черный, долгополый сюртук, как-то особенно скроенный, и ярко-оранжевый галстук… Внешность Гумилева показалась мне тогда необычайной до уродства… Но руки у него были прекрасны и улыбка, редкая по очарованью, скрашивала, едва он улыбался, все недостатки его внешности. Нас познакомили. Несколько любезно-незначительных слов — и я сразу почувствовал к Гумилеву граничащее со страхом почтение ученика к непререкаемому мэтру. Я не был исключением. Кажется, не было молодого поэта, которому Гумилев не внушал при первой встрече тех же чувств».

Иванов в то время причислял себя к эгофутуристам, у которых одним из вождей был Игорь Северянин, провозгласивший без тени сомнения: «Я гений». Директорами,

как они себя называли, кроме Северянина были поэты Олимпов, сын поэта Фофанова, и Грааль Аральский, по паспорту Степан Петров. Эгофутуристы были тогда основной группировкой, противостоящей Цеху Поэтов. После встречи в «Бродячей собаке» Георгий Иванов публично заявил о своем выходе из «Эгофутуризма». Затем последовал выход Аральского, а несколькими месяцами позже в журнале «Гиперборей» появилось заявление Игоря Северянина, оповещавшего: «Я вышел из кружка „Эго“ и больше не сотрудничаю в изданиях газеты „Петербургский глашатай“».

Впрочем, реальным литературным противником Цеха по-прежнему оставались символисты. Хотя внутри символистов происходили распри, перед лицом новой поэтической группы его лидеры оказались едины в своем неприятии.

Опубликованные еще в 1910 году программные статьи Вячеслава Иванова («Заветы символизма») и Блока («О современном состоянии русского символизма») стали мишенью нападок со стороны приверженцев акмеизма.

Сергей Городецкий, всегда резкий в суждениях, утверждал: «Символическое движение в России можно к настоящему времени счесть, в главном его русле, завершенным… Символисты совершенно слепо самораспинаются в своем стремлении в запредельную даль. Какую и что за этим стоит? Ничего. Поэтому наш Цех решительно заявляет о своем полном разрыве с символизмом». Столь же решительный разрыв с символизмом сформулировал и Гумилев, опубликовавший в первом номере «Аполлона» за 1913 год принципиально для него важную статью «Наследие символизма и акмеизм»: «Символизм закончил круг своего развития и теперь падает… На смену символизму идет новое направление, как бы оно ни называлось… требующее большего равновесия сил и более точного знания отношений между субъектом и объектом, чем то было в символизме».

Это была декларация разрыва с предшествующим направлением.

Весной 1912 года Гумилев уехал с женой в Италию, эту Мекку всех поэтов и художников. Италия заворожила Гумилева соединением нескольких эпох. Поражало все — древние стены огромного Колизея воскрешали в памяти «образы властительные Рима», ажурные дворцы венецианских дожей, средневековые готические соборы, «где мученики спят в прохладной раке», сводчатые капеллы, расписанные Боттичелли или Леонардо да Винчи. Средневековье, Возрождение, современная Италия, органически сливаясь, пробуждали вдохновение Гумилева:

Волчица с пастью кровавой
На белом, белом столбе,
Тебе, увенчанной славой,
По праву привет тебе.
……
Волчица, твой город тот же,
У той же быстрой реки.
Что мрамор высоких лоджий,
Колонн его завитки…

Заканчивается стихотворение о Риме утверждением:

И город цезарей дивных,
Святых и великих пап,
Он крепок следом призывных,
Косматых звериных лап.

(«Рим»)

Поясняя смысл последней строчки, Николай Степанович писал Брюсову: «Смысл… таков: что значит вся эта мишура, твой город тот же дикий и вечный благодаря своему божественно звериному происхождению».

О возвышенном, о вечном поэт говорит и в другом стихотворении — «Пиза»:

Ах, и мукам счет и усладам
Не веками ведут — годами!
Гибеллины и гвельфы рядом
Задремали в гробах с гербами.

Всё проходит, как тень, но время
Остается, как прежде, мстящим,
И былое, темное бремя
Продолжает жить в настоящем.

В итальянских стихах Гумилева читатель вместе с поэтом вдыхает запах древней страны, бродит по ее площадям, соборам и музеям:

… в палаццо дожей
Есть старинные картины,

На которых странно схожи
С лебедями бригантины.

Возле них, сойдясь гурьбою,
Моряки и арматоры
Всё ведут между собою
Вековые разговоры.

С блеском глаз, с улыбкой важной,
Как живые, неживые…
От залива ветер влажный
Спутал бороды седые.

Миг один — и будет чудо:
Вот один из них, смелея,
Спросит: «Вы, синьор, откуда,
Из Ливорно иль Пирея?

Если будете в Брабанте,
Там мой брат торгует летом,
Отвезите бочку кьянти
От меня ему с приветом».

Все эти стихи были напечатаны в «Русской мысли» в том же 1912 году и составили небольшой цикл. К нему же относятся и стихи «Венеция», «Болонья», которые появились год спустя в «Гиперборее»:

Нет воды вкуснее, чем в Романье,
Нет прекрасней женщин, чем в Болонье,
В лунной мгле разносятся признанья,
От цветов струится благовонье.

Лишь фонарь идущего вельможи
На мгновенье выхватит из мрака
Между кружев розоватость кожи,
Длинный ус, что крутит забияка.

Для сравнения стоит вспомнить «Итальянские стихи» Блока. Они завораживают музыкальностью, лиризмом и одухотворенностью. Они наполнены личными переживаниями. Матери Блок писал: «Я здесь очень много воспринял, живя в Венеции уже совершенно как в своем городе, и почти все обычаи,

галереи, церкви, каналы для меня свои, как будто я здесь очень давно». Это ощущение очень точно передано:

Холодный ветер от лагуны,
Гондол безмолвные гроба.
Я в эту ночь — больной и юный —
Простерт у Львиного столба…

В тени дворцовой галереи,
Чуть озаренная луной,
Таясь, проходит Саломея
С моей кровавой головой.

(«Венеция»)

У Гумилева тоже есть стихотворение «Венеция», и оно совсем другое: трехстопный дактиль, короткие слова. Все подчинено цели выразить напряжение, волевое настроение:

Поздно. Гиганты на башне
Гулко ударили три.
Сердце ночами бесстрашней,
Путник, молчи и смотри.

Как считает Сергей Маковский, «…в Италии Блок не столько полюбил Италию, ее красоту, ее искусство, сколько с новым самоупоением предался эротической мечтательности. Он представлял себя в Италии каким-то сверх-Дон-Жуаном, рыцарем Святой Марии, решив, что эта роль ему наиболее к лицу, и стихотворение за стихотворением он обращается с любовными признаниями к той, которая „многим кажется святой“, но вероломна и ждет его „восторг нескромный“».

Если это и религиозность, то как она различна у двух поэтов!

В «Благовещении» Блок позволяет себе по отношению к Деве Марии фривольность в духе «Гаврилиады» Пушкина:

И она дрожит пред страстной вестью,
С плеч упали тяжких две косы…

Он поет и шепчет — ближе, ближе,
Уж над ней — шумящих крыл шатер…
И она без сил склоняет ниже
Потемневший, помутневший взор…

«Чего не простишь Пушкину за его обезоруживающую улыбку! — замечает Маковский. — Блок пишет всегда „всерьез“, сдвинув брови и пророчески „взор устремив“, и это делает его „Гаврилиаду“ невыносимой».

Иной взгляд у Гумилева. В стихотворении «Фра Беато Анджелико» есть строки:

Мария держит Сына своего,
Кудрявого, с румянцем благородным,
Такие дети в ночь под Рождество,
Наверно, снятся женщинам бесплодным.

В заключительной строфе стихотворения Гумилев лаконично высказал кредо рождающегося акмеизма:

…Есть Бог, есть мир, они живут вовек,
А жизнь людей мгновенна и убога,
Но всё в себя вмещает человек,
Который любит мир и верит в Бога.

Не все поняли смысл двух последних строчек. Даже соратник по Цеху Поэтов синдик Городецкий упрекнул Гумилева на страницах «Гиперборея»:

Не от Беато ждать явление Адама,
Мне жалко строгих строф стихотворенья.

В конце апреля во Флоренции Гумилев получил из Петербурга только что вышедший сборник стихов «Чужое небо», изданный «Аполлоном». Это был уже четвертый сборник, хотя автор назвал его третьей книгой стихов, как бы отрекаясь от своего юношеского творчества.

Сборник состоял из четырех частей. В первой собраны стихи с размышлениями поэта о смысле жизни, о Добре и Зле; в борьбе между ними проходит человеческое бытие. Гумилева с юности преследовали мысли о том, как совместить радости земного существования, жажду славы, любовь женщин, рыцарские подвиги с христианским смирением. Отчетливо эти вопросы звучат в стихотворении «Отрывок»:

Христос сказал: «Убогие блаженны,

Завиден рок слепцов, калек и нищих,
Я их возьму в надзвездные селенья,
Я сделаю их рыцарями неба
И назову славнейшими из славных…»

Пусть! Я приму! Но как же те, другие,
Чьей мыслью мы теперь живем и дышим,
Чьи имена звучат нам как призывы?
Искупят чем они свое величье,
Как им заплатит воля равновесья?
Иль Беатриче стала проституткой,
Глухонемым — великий Вольфганг Гёте
И Байрон — площадным шутом… О, ужас!

Были здесь стихи о перевоплощении, о прошлой, бывшей еще до рождения жизни: тема метемпсихоза тоже постоянно занимала поэта.

Вторая часть сборника посвящена Анне Ахматовой, но из всех стихотворений только два или три действительно относятся к жене. Самое первое в этом разделе напечатано с посвящением Сергею Маковскому, третье — с посвящением М. А. Кузьминой-Караваевой: это стихотворение «Родос». Почему прославление древнего рыцарского ордена поэт связал с памятью Машеньки? Здесь рыцарская верность Небесной Невесте сопрягается с памятью о трепетной платонической любви к умершей девушке, олицетворяющей высокий идеал непорочной чистоты. И здесь же — тоска поэта по минувшим векам духовного величия монахов-рыцарей:

Но, быть может, подумают внуки,
Как орлята, тоскуя в гнезде:
«Где теперь эти крепкие руки,
Эти души горящие — где?»

Способность видеть в прозаической, будничной жизни героическое характерна для поэзии Гумилева. Подвиги героев Древнего Рима, Эллады, отвагу Роланда прославляли многие авторы, в их числе и наставник Гумилева — Валерий Брюсов. А Гумилев увидел ту же «благоухающую легенду», описывая старых, вышедших в отставку русских генералов, тех, кто бывал в походах в Средней Азии, присоединяя к России Бухару. Все это было еще свежо в памяти, участники боев не так давно ушли со службы. Их портреты висели по стенам «среди сановников и денди»:

…Они забыли дни тоски,
Ночные возгласы: «К оружью!»,
Унылые солончаки
И поступь мерную верблюжью.
……
Забыли? Нет! Ведь каждый час
Каким-то случаем прилежным
Туманит блеск спокойных глаз,
Напоминает им о прежнем.
……
И мне сказали, что никто
Из этих старых ветеранов
Средь копий Греза и Ватто,
Средь мягких кресел и диванов

Не скроет ветхую кровать,
Ему служившую в походах,
Чтоб вечно сердце волновать
Воспоминаньем о невзгодах.

(«Туркестанские генералы»)

Третья часть сборника включала переводы из Теофиля Готье — тех стихотворений, которые были наиболее близки переводчику, с декларативным заявлением:

Все прах! — Одно, ликуя,
Искусство не умрет.
Статуя
Переживет народ.

В четвертой части сборника были помещены поэмы «Блудный сын» (это она так возмутила Вячеслава Иванова), «Открытие Америки», но без четвертой главы, и «Дон Жуан в Египте», которая представляет собой скорее коротенькую пьеску.

Отзыв на «Чужое небо» дал в «Аполлоне» Михаил Кузмин, отметив, что поэт «открыл широко двери новым возможностям для себя и новому воздуху». Действительно, в сборник включены стихи уже зрелого мастера.

25 мая Гумилевы вернулись из Италии. И опять с головой окунулись в бурные литературные дебаты. Теперь члены Цеха Поэтов вели войну не только с символизмом, но и с новыми течениями. Появилось Поэтическое общество, получившее

название «Физа» — по заглавию недавно вышедшей поэмы Бориса Анрепа. Борис Васильевич Анреп, выпускник аристократического Училища правоведения, готовился к научной карьере в Петербургском университете, но увлекся живописью, живя то в Петербурге, то в Париже. В обществе «Физа» деятельное участие принимал его друг Николай Недоброво. Ахматова часто бывала на заседаниях этого кружка, проходивших в зале Женского общества на Спасской. По вечерам враждующие стороны собирались в «Бродячей собаке». Были там и открыто враждебные Цеху «будетляне», провозгласившие, что «Академия и Пушкин непонятнее иероглифов», и требовавшие «сбросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. и проч. с парохода современности».

Наступил день 18 сентября, когда Анна Андреевна почувствовала, что пора ехать в родильный приют на Васильевском острове, на 18-й линии. Поздно вечером на свет появился мальчик. Николай Степанович отметил это радостное событие в одном из ресторанов в компании Дмитрия Кузьмина-Караваева. Первенца нарекли Львом.

8 октября редактор «Аполлона» Маковский официально пригласил Гумилева заведовать литературным отделом журнала. «Многоуважаемый Николай Степанович, — писал он, — мне бы хотелось закрепить Ваши отношения к „Аполлону“, которыми, Вы знаете, я очень дорожу, более определенно, чем это было до сих пор <…> что могло бы выразиться в объявлениях „Аполлона“ следующей фразой: „Литературный отдел — при непосредственном участии Н. Гумилева“. Разумеется, при этой новой постановке дела за мной останется обязанность и право редактора-издателя, ответственного за весь материал, помещаемый в „Аполлоне“, но я уверен, что, будучи автономным в Вашей области, Вы найдете и время и желание привлечь к изданию нужных сотрудников».

Гумилев и до этого приглашения помещал в журнале «Письма о русской поэзии» и занимался подбором стихов. Он сразу же дал ответ: «Я принимаю Ваше предложение и постараюсь осуществить не только те принципы, которые выдвинула практика этих лет, сколько идеалы, намеченные во вступительной статье к первому номеру „Аполлона“ <…> Согласно нашим разговорам, я считаю, что предложенье Ваше входит в силу во всех своих подробностях с первого номера 1913 года. Теперь же я приступаю к приглашению сотрудников и подготовке материала».

К этому времени кроме респектабельного «Аполлона» у Цеха появился и свой «цеховой» журнал — «Гиперборей»: его первый номер вышел в октябре. Редактором стал поэт Михаил

Леонидович Лозинский, который, даже редактируя журнал Цеха Поэтов, по-прежнему причислял себя к символистам. Другими двумя редакторами были Гумилев и Городецкий. Сначала редакция помещалась в квартире Лозинского, затем переехала на Разъезжую.

В эту осень Гумилев возвратился в университет на романо-германское отделение историко-филологического факультета и постарался прилежно посещать лекции и семинары профессоров Шишмарева, Петрова, изучать старую французскую поэзию — Моро, Ронсара, Франсуа Вийона. В университете Гумилев организовал кружок углубленного изучения французской поэзии, на котором прочел доклад о творчестве Теофиля Готье. Дополнительно Гумилев начал брать уроки латинского языка, усердно изучал английский. Чтобы жить поближе к университету, он снял недорогую квартиру в Тучковом переулке. Ахматова сразу окрестила ее «тучкой».

Акмеизм возникал в «Аполлоне» и «Гиперборее» в дискуссиях товарищей по Цеху и диспутах с символистами и футуристами. Пришло время выработать кредо новой школы. Гумилев понимал, что речь идет не только о новых поэтических приемах, но и о том, что самый звук и образность поэзии должны измениться. Тогда появятся и новые стихотворные размеры, оригинальные рифмы, небанальный синтаксис и словарь.

«Чтобы стихотворение возбуждало любовь и ненависть, заставляло мир считаться с фактом своего существования, — писал Гумилев, — оно должно иметь мысль и чувство… Гомер, оттачивая свои гекзаметры, …счел бы себя плохим работником, если бы, слушая его песни, юноши не стремились к военной славе, если бы затуманенные взоры девушек не увеличивали красоту мира».

28 ноября кружок, созданный им в университете, проводил заседание, посвященное 350-летию драматурга Лопе де Вега. В последнем ряду зала сидели Гумилев, Городецкий, Лозинский, Мандельштам и Пяст. Их мало интересовал доклад профессора, и они вполголоса обсуждали, кого следует считать «предками» зарождающегося поэтического направления и как это направление назвать, чтобы полнее выразить его сущность. И тут Гумилев произнес греческое слово «акме» — «высшая степень, цветущая пора». Городецкий возразил, что незачем выискивать античное имя, когда есть русское — «адамизм», иначе говоря, «твердый, мужественный и ясный взгляд на жизнь». Под адамизмом надо понимать также простоту, возврат от цивилизации к естественному состоянию. Городецкий тогда был сильно увлечен такими настроениями.

Заседание окончилось, друзья, к которым присоединились поэт и педагог Василий Гиппиус, студенты Боткин и Кржевский — он станет видным историком испанской литературы, — посидели в ресторане на 1-й линии, а оттуда поехали в «Бродячую собаку». Там к ним примкнули Кузмин, Потемкин и художник Судейкин. На маленькой сцене артисты из «Кривого зеркала» давали веселую пантомиму; Кузмин запел «Коль славен наш Господь в Сионе», Боткин хотел говорить о Лопе де Вега непременно на староиспанском языке, ужасно этим насмешив Мандельштама.

Гумилев вспомнил, как недавно у него в Царском собралась компания поэтов, все сидели в гостиной и по очереди читали стихи, тут же обсуждая их. Совсем еще юный царскосел Всеволод Рождественский начал читать тихим и робким голосом, и вдруг раздался громкий храп. Гумилев вскочил, чтобы отчитать нарушителя, но грубияном оказался бульдог Анны Андреевны, Молли, прикорнувший на ковре у ног своей хозяйки. Все долго смеялись над этим случаем и за глаза называли Рождественского «Молли».

Споры и обсуждения программы нового литературного течения, названного его создателем «Акме», продолжались, тогда же афиша в «Бродячей собаке» оповестила, что 18 декабря 1912 года в девять часов вечера состоится лекция Сергея Городецкого «Символизм и акмеизм».

Городецкий, тщательно причесанный, во фраке и ослепительно белой сорочке, вышел на сцену, держа в руках несколько исписанных листочков бумаги. В докладе он повторил свои известные утверждения, что символизм как поэтическое течение завершил в России свой цикл развития, привел причины его упадка, иллюстрируя примерами, и отметил, что символизм не оценил одного из самых благородных своих поэтов — Иннокентия Анненского.

На смену символизму, говорил докладчик, идет адамизм: Гумилев, Нарбут, Зенкевич, Ахматова, Мандельштам… Эти поэты не парнасцы, потому что им не дорога отвлеченная вечность, они и не импрессионисты, поскольку рядовое мгновение не обладает для них художественной самоценностью. Интересуют их лишь мгновения, которые могут быть вечными, высшие мгновения человеческой жизни.

После доклада началось обсуждение, в котором приняли участие Н. Кульбин, В. Гиппиус, С. Поздняков, Д. Кузьмин-Караваев, Е. Зноско-Боровский. Из выступлений можно было заключить, что основная идея акмеизма так и не сформулирована. Поэтому идею попытался пояснить Гумилев. Он начал с утверждения, как всегда категоричного, что «символизм

падает» и «все чаще и чаще раздаются голоса в пользу пересмотра еще так недавно бесспорных ценностей и репутаций», что появились футуристы, эгофутуристы и прочие — «это гиены, всегда следующие за львом».

Охарактеризовав французский и немецкий символизм, Гумилев сказал, что эта мысль будет вскоре повторена в его программной статье, напечатанной «Аполлоном», что «русский символизм направил свои главные силы в область неведомого. Попеременно он братался то с мистикой, то с теософией, то с оккультизмом». Адамисты или акмеисты отвергли подобную «неврастению». Несколько лет спустя Гумилев напишет известное стихотворение, где о своем отношении к читателям он скажет:

Я не оскорбляю их неврастенией,
Не унижаю душевной теплотой.
Не надоедаю многозначительными намеками
На содержимое выеденного яйца.

(«Мои читатели»)

В статье он сформулировал свою мысль с предельной ясностью: «Всегда помнить о непознаваемом, но не оскорблять своей мысли о нем более или менее вероятными догадками — вот принцип акмеизма». Там же он назвал «предков» акмеизма: «В кругах, близких к акмеизму, чаще всего произносятся имена Шекспира, Рабле, Виллона и Теофиля Готье. Подбор этих имен не произволен. Каждое из них — краеугольный камень для здания акмеизма, высокое напряжение той или иной его стихии».

Дальше «стихии» получали обозначение: внутренний мир человека, его тело, жизнь, «знающая все: — и Бога, и порок», безупречность форм. И Гумилев заключал: «Соединить в себе эти четыре момента — вот та мечта, которая объединяет сейчас между собою людей, так смело назвавших себя акмеистами».

Впрочем, споры о сущности акмеизма продолжались и после доклада Городецкого, за которым последовала статья Гумилева. Сопоставляли стихи поэтов различных направлений: символистов, футуристов, имажинистов. Но каждый крупный поэт перерастает рамки своего направления, и даже те, кто провозглашал акмеизм, в своем творчестве были больше, чем акмеистами. Основной круг имен, связанных с акмеизмом, определился: Гумилев, Городецкий, Ахматова, Мандельштам и Зенкевич. То ближе, то дальше от этого кружка были Нарбут и Георгий Иванов.

Своего теоретического объяснения акмеизм не получил,

отметил Брюсов в статье «Далекое и близкое», где сказано: «Н. Гумилев не учитель, не проповедник; значение его стихов гораздо более в том, как он говорит, нежели в том, что он говорит. Надо любить самый стих, самое искусство слова, чтобы полюбить поэзию Н. Гумилева… Гумилев пишет и будет писать прекрасные стихи».

Некоторая размытость исходных установок акмеизма приводила к тому, что, характеризуя творчество его приверженцев, критика постоянно указывала на несоответствие стихов провозглашаемым принципам. Это относилось к поэзии Ахматовой. Мандельштам тоже не всегда оказывался акмеистом в точном значении слова: реальные вещи у него порой бывали связанными надрациональными ассоциациями:

На розвальнях, уложенных соломой,
Едва прикрытые рогожей роковой,
От Воробьевых гор до церковки знакомой
Мы ехали огромною Москвой.

А в Угличе играют дети в бабки
И пахнет хлеб, оставленный в печи.
По улицам меня везут без шапки,
И теплятся в часовне три свечи.

Не три свечи горели, а три встречи —
Одну из них сам Бог благословил,
Четвертой не бывать, а Рим далече —
И никогда он Рима не любил.

(«На розвальнях, уложенных соломой…»)

Здесь все очень конкретно, однако рвется логическая нить и соединение, мотив предшествует видению поэта.

Вслед за Гумилевым и Городецким Мандельштам выступил со своим манифестом акмеизма. Высшей реальностью в поэзии он назвал «слово как таковое». И объявил: «Для акмеистов сознательный смысл слова, Логос, такая же прекрасная форма, как музыка для символистов». Мандельштам настаивал: «Любите существование вещи больше самой вещи и свое бытие больше самих себя — вот высшая заповедь акмеизма». Это декларативное заявление еще больше запутывало дело и было отвергнуто Гумилевым и Городецким. Но и сам Городецкий, синдик Цеха, был для акмеизма слишком примитивен. Это давно замечали другие члены Цеха.

Опубликовав манифест акмеистов, Гумилев хотел заручиться поддержкой Брюсова, который явно отдалялся от символизма в лице Вячеслава Иванова. Обращаясь к Брюсову, Гумилев писал: «Дорогой Валерий Яковлевич, мне передали, что Вы уже несколько раз были в Петербурге и скоро приедете опять. Я очень жалею, что не знал об этом и не мог повидаться с Вами, что мне не только очень хотелось бы, но и было нужно. Может быть, Вы не откажете написать мне или позвонить по телефону (Царское Село, 555) где и когда я могу Вас застать». Ответа не последовало, и в следующем письме Гумилев уточнил просьбу: «В конце Вашей статьи Вы обещаете другую, об акмеизме. Я хочу Вас просить со всей трогательностью, на которую я способен, прислать мне корректуру этой статьи до 7 апреля».

Но его надежды не оправдались. Брюсов, оставаясь мэтром символизма, не мог принять акмеистов. Появилась его статья «Новые течения в русской поэзии, акмеизм», где автор называет своего ученика «г. Гумилев». В категоричной форме Брюсов заявлял: «Всего вероятнее, через год или два не останется никакого акмеизма. Исчезнет самое имя его, как забыто, например, название „мистического анархизма“, движения, изобретенного лет 6–7 назад г. Георгием Чулковым».

Брюсов оказался не таким уж плохим пророком: как школа акмеизм просуществовал недолго. Другое дело, что поэты, близкие к акмеизму, стали крупнейшими именами в истории русской литературы XX века.

В 1914 году вышла книга стихов Теофиля Готье «Эмали и камеи» в переводе Гумилева. Она была благосклонно встречена критикой. О ней писал знаток французской литературы Андрей Левинсон: «Мне и доныне кажется лучшим памятником этой поры в жизни Гумилева бесценный перевод „Эмали и камеи“, поистине перевоплощение в облик любимого им Готье. Нельзя представить, при коренной разнице в стихосложении французском и русском, в естественном ритме и артикуляции обоих языков, более разительного впечатления родственности обоих текстов. И не подумайте, что столь полной аналогии возможно достигнуть лишь обдуманностью и совершенностью фактуры, выработанностью ремесла; тут нужно постижение более глубокое — поэтическое братство с иноязычным стихотворцем».

К началу 1914 года все чаще стали размолвки между синдиками Гумилевым и Городецким. Впрочем, разлад был заметен и между другими членами Цеха. Совсем отдалился Николай Клюев, уехал из Петербурга Нарбут; Осип Мандельштам, обиженный отказом «Гиперборея» напечатать его акмеистический манифест, уговорил Ахматову передать синдикам сочиненное им

прошение о закрытии Цеха. Возмущенный Гумилев даже не дочитал прошение до конца, а Городецкий начертал в углу резолюцию: «Всех повесить. Ахматову заточить пожизненно на Малой, 63» (то есть в царскосельском доме).

Через несколько дней Гумилев с Городецким обсуждали план лекций для Цеха. Разгорелся спор: Гумилев предлагал пригласить для чтения лекций критика Валериана Чудовского и Зноско-Боровского, Городецкий отверг обе кандидатуры, не предлагая никого взамен. Возник разговор о разделе Цеха на два крыла между синдиками. Атмосфера накалилась. Произошел обмен письмами. Отвечая на резкое послание Городецкого, Николай Степанович 6 апреля написал: «Дорогой Сергей (отчество — Митрофанович — он все же вычеркнул. — *О. В.),* письмо твое я получил и считаю тон его совершенно неприемлемым: во-первых, из-за резкой передержки, которую ты допустил, заменив слово „союз“ словом „дружба“ в моей фразе о том, что наш союз потеряет смысл, если не будет М. Л.; во-вторых, из-за оскорбительного в смысле этики выражения „ты с твоими“, потому что никаких „моих“ у меня не было и быть не может; в-третьих, из-за того, что решать о моем уходе от акмеизма или из Цеха поэтов могу лишь я сам, и твоя инициатива в этом деле была бы только предательской; в-четвертых, из-за странной мысли, что я давал тебе какие-то „объяснения“ по поводу изд. „Гиперборей“, так как никаких объяснений я не давал и не стал бы давать, а просто повторил то, что тебе было известно из разговоров с другими участниками этого издательства (которому я не сочувствовал с самого начала, не сочувствую и теперь)».

Письмо с вычерками и поправками становилось документом, важным для истории.

> «Однако та любовь, которую я питал к тебе», — написал Гумилев и тут же все вычеркнул, начав заново: «Однако те отношения, которые были у нас за эти три года, вынуждают меня попытаться объясниться с тобой. Я убежден, что твое письмо не могло быть вызвано нашей вчерашней вполне мирной болтовней. Если же у тебя были иные основания, то насколько бы лучше просто изложить их. Я всегда был с тобой откровенен и, поверь, не стану цепляться за нашу дружбу (слово „дружба“ тоже зачеркнуто. — *О. В.)* — не стану цепляться за наш союз, если ему суждено кончиться. Я и теперь думаю, что нам следует увидаться и поговорить без ненужной мягкости, но и без излишнего надрыва.
>
> К тому же после нашего союза осталось слишком

большое наследство, чтобы его можно было ликвидировать одним взмахом пера, как это думаешь сделать ты.

Сегодня от 6–7 ч. вечера я буду в ресторане Кинши, завтра до двух часов дня у себя на Тучковом. Если ты не придешь ни туда, ни туда, я буду считать, что ты уклонился от совершенно необходимого объяснения и тем вынуждаешь меня считать твое письмо лишь выражением личной ко мне неприязни, о причинах которой я не могу догадаться.

Писем, я думаю, больше писать не надо, потому что уж очень это не акмеистический способ общения.

Н. Гумилев».

Городецкий на это сразу откликнулся письмом:

«Дорогой Николай, я приду сегодня в Кинши, но сначала ты должен выслушать возражения на „тона“ твоего письма, действительно неверные. 1. Союз для меня равняется дружбе, и потому то, что тебе кажется передержкой, есть только идеализация наших отношений. 2. „Твои“ никого и ничем не оскорбляет, смею тебя уверить. Мы с тобой не раз делили Цех на твоих и моих — вспомни. 3. От акмеизма ты сам уходишь, заявляя, что он не школа; так же и из Цеха, говоря, что он погиб. Я только требую соответствия между образом мыслей и поступками. Слово „предательство“ ты не имел права употреблять даже в сослагательном наклонении. 4. Объяснений я требовал не раз насчет „Гиперборея“. Ты совершенно напрасно отделывался шутками. Ответственным считаю тебя, потому что дело было решено твоим, без моего ведома, попустительством. Никаких других оснований, кроме затронутых вчерашним разговором, у меня не было. О моем личном к тебе чувстве распространяться не считаю уместным даже в ответ на обвинение в неприязни. А выставлять меня политиканом (твое P. S.) значит или не знать меня, или шутить неуместно. Надеюсь, ты теперь согласишься, что „тон“ моих писем вполне приемлем и акмеистичен. С. Г.».

Встреча в ресторане состоялась, было заключено «перемирие». 25 апреля на заседании Литературного общества с докладами об акмеизме выступили Гумилев, Городецкий,

Мандельштам и Зенкевич. Городецкий опубликовал отзыв на «Эмали и камеи» в переводе Гумилева. Но Цех Поэтов, получивший в дальнейшем название «Первый», все же прекратил существование.

ГЛАВА VIII
Экспедиция в страну черных христиан

Прошло всего два года со дня возвращения Гумилева из Абиссинии, и его опять позвала Муза Дальних Странствий. Жажда новых путешествий, новых приключений постоянно томила поэта. Не эта ли неуемная жажда владела странствующими рыцарями, отправлявшимися то на освобождение Гроба Господня, то на поиски Эльдорадо?

Веселы, нежданны и кровавы
Радости, печали и забавы
Дикой и пленительной земли;
Но всего прекрасней жажда славы:
Для нее родятся короли,
В океанах ходят корабли.

Гумилев спешил оставить свой след — в поэзии, в ратных подвигах. Спешил, словно предвидел близкую гибель.

Бездействие, пошлые разговоры и взаимные интриги петербургской богемы раздражали поэта. Там настоящее бесстрашие, героизм, честь и глубокая вера высмеивались, как архаические предрассудки. Видя и понимая это, Гумилев писал:

Я вежлив с жизнью современною,
Но между нами есть преграда, —
Все, что смешит ее, надменную, —
Моя единая отрада.

Победа, слава, подвиг — бледные
Слова, затерянные ныне,
Гремят в душе, как громы медные,
Как голос Господа в пустыне.

Всегда ненужно и непрошено
В мой дом спокойствие входило…

(«Я вежлив с жизнью современною…»)

Ему хотелось активной деятельности: открыть африканские неведомые реки, озера, неизвестные племена, а может быть, и

древний город. «У меня есть мечта, — писал он, — живучая, при всей трудности ее выполнения. Пройти с юга на север Данакильскую пустыню, лежащую между Абиссинией и Красным морем, исследовать нижнее течение реки Гаваша, узнать расселенные там неизвестные загадочные племена. Номинально они находятся под властью абиссинского правительства, фактически свободны. И так как все они принадлежат к одному племени данакилей, довольно способному, хотя очень свирепому, их можно объединить и, найдя выход к морю, цивилизовать или, по крайней мере, арабизировать. В семье народов прибавится еще один сочлен. А выход к морю есть. Это — Рагейта, маленький независимый султанат, к северу от Обока. Один русский искатель приключений — в России их не меньше, чем где бы то ни было, — совсем было приобрел его для русского правительства. Но наше министерство иностранных дел ему отказало».

Под «искателем приключений» Гумилев имел в виду терского казака Николая Ашинова, который в 1889 году во главе отряда, сопровождаемого архимандритом Паисием и монахами, пытался основать к северу от Джибути поселение «Новая Москва», купив земли у местного султана. Но французские крейсеры подвергли русский лагерь бомбардировке и взяли весь город в плен. Избежать плена удалось только поручику Федору Мешкову, он ушел в глубь страны, достиг города Энтото, тогдашней столицы Абиссинии, и побывал у императора Менелика.

В декабре 1912 года Николай Степанович встретился в университете с известным египтологом, первым в России абиссиноведом Борисом Александровичем Тураевым, которому принес в подарок абиссинский складень: Деву Марию с младенцем на одной половине и святого с отрубленной ногой на другой — и стал рассказывать о своем путешествии. Ученый поинтересовался, было ли сделано сообщение в Академии наук. Гумилев был смущен: он всего лишь неприлежный студент, которого академики просто не станут слушать. Но, вспоминает он, «не прошло и получаса, как с рекомендательным письмом в руках я оказался на витой каменной лестнице перед дверью в приемную одного из вершителей академических судеб». Это был помощник директора Музея антропологии и этнографии имени императора Петра Великого крупнейший этнограф Лев Яковлевич Штернберг. К удивлению поэта, «принцы официальной науки оказались, как настоящие принцы, доброжелательными и благосклонными».

Предложенный Гумилевым маршрут экспедиции академия не приняла, как слишком дорогой. Пришлось выбирать другой: «Я должен был отправиться в порт Джибути в Баб-эль-Мандебском

проливе, оттуда по железной дороге к Харару, потом, составив караван, на юг в область, лежащую между Сомалийским полуостровом и озерами Рудольфа, Маргариты, Звай; захватить возможно больший район исследования; делать снимки, собирать этнографические коллекции, записывать песни и легенды. Кроме того, мне предоставлялось право собирать зоологические коллекции». Гумилев получил согласие взять себе в помощники своего племянника Н. Л. Сверчкова, Колю-маленького, 18-летнего юношу, давно мечтавшего о путешествиях.

Сверчков не только любил охоту и природу, с детства увлекался энтомологией, собирал и классифицировал жуков и бабочек, но был и хорошим фотографом. К тому же, как отмечал дядя, «он отличался настолько покладистым характером, что уже из-за одного желания сохранить мир пошел бы на всевозможные лишения и опасности».

Но на финансирование экспедиции у музея было мало денег. Нашлось всего 600 рублей: 400 выдали на руки, 200 обещали выслать позже в Абиссинию. Чтобы восполнить недостаток средств, директор музея академик Василий Васильевич Радлов обратился к председателю Российского Добровольного флота:

> 20-го марта 1913 г.
>
> Милостивый Государь,
>
> Отто Львович,
>
> Позволю себе обратиться к Вашему Превосходительству со следующей просьбой.
>
> Музей антропологии и этнографии имени Императора Петра Великого командирует в Абиссинию для собирания этнографической коллекции и для обследования племен Галла и Сомали Николая Степановича Гумилева и Николая Леонидовича Сверчкова.
>
> Ввиду крайне ограниченной суммы, ассигнованной на эту экспедицию, обращаюсь к Вашему просвещенному содействию для предоставления означенным лицам свободного проезда на пароходах Добровольного флота от Одессы до Адена и обратно. Экспедиция предполагает выехать 10 апреля из Одессы и возвратиться в начале августа.
>
> Прошу Ваше Превосходительство принять уверения в совершенном моем почтении и преданности.
>
> *В. Радлов*

В ответ было получено разрешение бесплатного проезда от

Одессы до порта Джибути. Гумилеву был дан также «Открытый лист» — официальный документ, подтверждающий цель поездки. Кроме того, академик просил русского посланника в Абиссинии Чемерзина оказать экспедиции содействие:

> 26 марта 1913 г.
>
> От Директора Музея, действительного Тайного Советника академика В. В. Радлова Его Превосходительству Б. А. Чемерзину.
>
> Милостивый государь,
>
> Борис Александрович,
>
> Позволю себе обратиться к Вашему Превосходительству со следующей просьбой. Музей антропологии и этнографии командирует Н. С. Гумилева в Абиссинию для изучения племени Галласов. Так как для беспрепятственного проезда по стране этого племени необходимо содействие губернатора г. Харара, покорнейше прошу исходатайствовать соответствующее рекомендательное письмо от Абиссинского правительства и выслать таковое по адресу г. Гумилева в Дире-Дауа, а также сообщить русскому вице-консулу в Джибути об оказании содействия г. Гумилеву в этом городе, чем премного обяжете Музей Императорской Академии Наук и Вашего покорного слугу.
>
> *В. Радлов*

От Военного ведомства было получено пять винтовок и тысяча патронов.

Денег, выделенных академией, было недостаточно, и Анна Ивановна опять съездила в банк и сняла нужную сумму.

Наконец сборы закончились, багаж был отправлен, билеты на поезд заказаны. И тут Гумилева свалила болезнь: головная боль, температура под сорок. Доктор сказал: «Вероятно, тиф». Всю ночь больной бредил. Утром его навестил Георгий Иванов. «Жар был так силен, — вспоминал он, — сознание не вполне ясно: вдруг, перебивая разговор, он заговорил о каких-то белых кроликах, которые умеют читать, обрывал на полуслове, опять начинал говорить разумно и вновь бредил. Когда я попрощался, он не подал мне руки: „Еще заразишься“ — и прибавил: „Ну, прощай, будь здоров, я ведь сегодня непременно уеду“».

Иванов пришел на другой день, и оказалось, что «за два часа до отхода поезда Гумилев потребовал воды для бритья и платье. Его пытались успокоить, но не удалось. Он сам побрился, сам уложил то, что осталось не уложенным, выпил стакан чаю с

коньяком и уехал».

Случилось это 7 апреля. 9-го путешественники были в Одессе, а еще через день на пароходе «Тамбов» вышли в море. Знал ли Гумилев, что 14 лет назад на этом пароходе отправился в свой очередной вояж отважный русский путешественник Александр Ксаверьевич Булатович, ротмистр лейб-гвардии гусарского полка? С 1896 года он несколько раз побывал в Абиссинии, дошел до реки Баро, с отрядом раса Уальде Георгиса был на озере Рудольфа, даже стал военным советником негуса Менелика II, которого постоянно предупреждал об опасности проникновения англичан в Западную область страны. В 1911 году Булатович, уже принявший в России монашеский чин, узнав о тяжелой болезни негуса, приехал в Аддис-Абебу в сопровождении духовенства с чудотворными иконами и елеем, освященным епископом в Москве, чтобы попытаться исцелить императора. Ему хотелось получить разрешение на открытие православного монастыря на одном из пустынных островов неподалеку от столицы. Но оба намерения успеха не имели.

Теперь на «Тамбове» в Абиссинию плыли Гумилев и Сверчков. «Какие-нибудь две недели тому назад бушующее и опасное Черное море было спокойно, как какое-нибудь озеро. Волны мягко раздавались под напором парохода, где рылся, пульсируя, как сердце работающего человека, невидимый винт. Не было видно пены, и только убегала бледно-зеленая малахитовая полоса потревоженной воды. Дельфины дружными стаями мчались за пароходом, то обгоняя его, то отставая, и по временам, как бы в безудержном припадке веселья, подскакивали, показывая лоснящиеся мокрые спины. Наступила ночь, первая на море, священная. Горели давно не виданные звезды, вода бурлила слышнее. Неужели есть люди, которые никогда не видели моря?»

Из Порт-Саида 13 апреля он послал жене открытку с изображением Суэцкого канала: «Безумная зима сказывается, я отдыхаю как зверь… С нетерпением жду Африку». Другую открытку с видом Порт-Саида он послал Ольге Высотской в Москву.

Из Джибути Гумилев написал жене: «Мое нездоровье прошло совершенно, силы растут с каждым днем… Мой дневник идет успешно, и я его пишу так, чтобы прямо можно было печатать. В Джедже с парохода мы поймали акулу; это было действительно зрелище. Оно заполнило две страницы дневника… С нами едет турецкий консул, назначенный в Харар. Я с ним очень подружился, он будет собирать для меня абиссинские песни, и мы у него остановимся в Хараре. Со здешним вице-консулом Галабом, с которым, помнишь, я ссорился, я окончательно

помирился, и он оказал мне ряд важных услуг».

Из Джибути в Дире-Дауа поезд ходил два раза в неделю, но Гумилеву не повезло: пройдя 160 километров, поезд остановился на маленькой станции Айша. Дальше путь был размыт потоками дождевой воды, и его обещали восстановить дней через восемь. Но нетерпеливый Гумилев, проявив массу энергии и разругавшись с инженером-французом, раздобыл две дрезины с ручным приводом. На одну погрузили багаж, на другой разместились путешественники с ашкерами для охраны, почтовый курьер и пятнадцать сомалийцев, которые, ритмично выкрикивая: «Ейдехе, ейдехе!», качали рукояти дрезины.

В некоторых местах насыпь была настолько размыта, что рельсы со шпалами висели в воздухе. Они дрожали и прогибались, и тогда приходилось идти пешком. Солнце палило так, что руки и шея покрылись волдырями, порывы ветра обдавали горячей пылью.

Только на следующий день, пересев с дрезины на платформу, подвозившую шпалы, и переночевав на маленькой станции, добрались, наконец, до Дире-Дауа.

Этот городок в роще мимоз нравился Гумилеву своей патриархальной тишиной. Предстояло готовиться к настоящей экспедиции.

В Дире-Дауа решено было только нанять проводников-переводчиков, а мулов купить в Хараре, где они стоили гораздо дешевле. Вскоре удалось нанять переводчика Хайле, негра из племени шангала[7], скверно, но бойко говорившего по-французски, и харарита Абдулайе, знавшего лишь несколько французских слов, но зато имевшего собственного мула; его Гумилев назначил начальником каравана. Кроме переводчиков взяли двух быстроногих бродяг в качестве ашкеров.

«Чтобы быть уверенными в своих ашкерах, необходимо записать их и их поручителей у городского судьи. Я направился к нему и имел случай видеть абиссинский суд, — свидетельствует Гумилев в дневнике. — …Судиться в Абиссинии — очень трудная вещь. Обыкновенно выигрывает тот, кто заранее сделает лучший подарок судье, а как узнать, сколько дал противник? Дать же слишком много тоже невыгодно. Тем не менее абиссинцы очень любят судиться, и почти каждая ссора кончается традиционным приглашением во имя Менелика (ба Менелик) явиться в суд».

Дорога из Дире-Дауа в Харар была хорошо знакома Гумилеву. В Хараре пришлось задержаться: из Аддис-Абебы не был получен пропуск для путешествия по стране. Пытаясь ускорить его получение, Гумилев решил обратиться к губернатору Харара дедъязмагу Тафари, одному из самых знатных людей в стране,

сыну двоюродного брата негуса Менелика. Жена Тафари была сестрой наместника престола Лидж Иассу.

Губернаторский дворец, куда пришли Гумилев и Сверчков, был «большой двухэтажный деревянный дом с крашеной верандой, выходящей во внутренний, довольно грязный двор». Он «напоминал не очень хорошую дачу где-нибудь в Парголове или Териоках. На дворе толкалось десятка два ашкеров, державшихся очень развязно. Мы поднялись по лестнице и после минутного ожидания на веранде вошли в большую, устланную коврами комнату, где вся мебель состояла из нескольких стульев и бархатного кресла для дедъязмага. Дедъязмаг поднялся нам навстречу и пожал нам руки. Он был одет в шамму, как все абиссинцы, но по его точеному лицу, окаймленному черной вьющейся бородкой, по большим, полным достоинства газельим глазам и по всей манере держаться в нем сразу можно было угадать принца… Мы просили его о пропуске, но он, несмотря на подарок, ответил, что без приказания из Аддис-Абебы он ничего сделать не может… Тогда мы попросили дедъязмага о разрешении сфотографировать его, и на это он тотчас же согласился».

Гумилев не мог знать, что молодой губернатор Харара в 1916 году станет регентом престола, а с 1930 года — императором Эфиопии, 225-м потомком царя Соломона — основателя династии — и получит имя Хайле Селассие. Он был последний негус-негести, процарствовавший 44 года.

На покупку мулов ушло три дня. В городе не было ярмарок, мулов надо было искать по домам и стараться не ошибиться, выбирая сильных и здоровых животных. Нужен был и еще один переводчик кроме Абдулайе. Гумилеву посоветовали обратиться в католическую миссию, куда он пошел вместе с русским подданным армянином Иоханжаном, уже лет двадцать жившим в Абиссинии, и познакомился с епископом Галасским. Монсеньор Жером когда-то был другом Артюра Рембо, учителем Тафари. Француз лет пятидесяти, приветливый и отменно любезный, он помог нанять переводчиком воспитанника Феликса, которого абиссинцы называли Фасика.

Пока ожидали пропуск, Гумилев бродил по городу и покупал предметы быта: старую одежду, чалму, какую носят хараритские, побывавшие в Мекке, даже прядильную машину. Коля-маленький целыми днями ловил разноцветных жучков, фотографировал окрестности и местных жителей. На несколько дней они съездили налегке, всего с одним вьючным мулом и тремя ашкерами, в Джигу к сомалийскому племени Габаризаль и вернулись, пополнив этнографическую коллекцию.

20 мая 1913 года Гумилев написал Штернбергу: «Многоуважаемый Лев Николаевич, как Вы увидите по штемпелю, мы уже в Абиссинии… Мой маршрут более или менее устанавливается. Я думаю пройти в Бари, откуда по реке Уэби Сидамо к озеру и, пройдя по земле Прусси по горному хребту Ахмар, вернуться в Дире-Дауа. Таким образом я все время буду в наименее изученной части страны Галла… Завтра я надеюсь уже выступить, и месяца три Вы не будете иметь от меня вестей. Всего вернее, в конце августа я прямо приеду в музей. Очень прошу Вас в половине июня послать мне через Лионский кредит в Bank of Abissinia в Dire-Daua 200 р. Я на них рассчитываю, чтобы расплатиться с ашкерами и возвратиться.

Русский вице-консул в Джибути — Галеб оказал мне ряд важных услуг: разрешил бесплатный пропуск оружия в Джибути и в Абиссинии, скидку по провозу багажа на железной дороге, дал рекомендательные письма. Искренне уважающий Вас Н. Гумилев».

На следующий день караван Гумилева вышел через Тоанские ворота из Харара и, пройдя мимо озер Оромайо и Адели, свернул на юго-запад в сторону Черчерских гор. Путь пролегал то по высокогорью, то по балкам между гор, поросших молочаями и колючими мимозами, которые были оплетены толстыми лианами. Ветви высокого развесистого дерева были усыпаны большими серыми яйцевидными плодами. Фасика ткнул палкой в один из плодов, висевших на тонкой веточке, плод раскрылся, и из него с шумом вылетела стайка маленьких птичек. Это были ткачи, они вьют гнезда из гибких стеблей травы, защищая их от врагов множеством острых колючек.

Иногда с холма открывался прекрасный пейзаж, и Коля Сверчков просил остановиться, устанавливал штатив, делал несколько снимков. Когда останавливались на ночлег, он при свете красного фонаря проявлял и фиксировал негативы, аккуратно заворачивая их в черную плотную бумагу, и укладывал в коробку.

Ночью лес, окружавший стоянку, был полон своей таинственной жизнью. В кустарнике, почти рядом, визгливо грызлись и тявкали шакалы, издали доносились чьи-то протяжные крики, в древесных ветвях слышалась возня каких-то существ, громкое хлопанье крыльев большой птицы, а над деревьями, в просвете, небо, усеянное золотой россыпью звезд, точно все дрожало и искрилось.

Лежа между толстыми корнями старой сикоморы, Гумилев наслаждался волшебной африканской ночью, и строки еще не написанных стихов как музыка звучали в голове.

Земля остывала от земного жара, воздух становился все

холоднее, приближалось утро. Еще до восхода солнца караван двинулся в путь.

Над самой тропой на толстом суку дерева сидел павиан, но едва один из ашкеров поднял винтовку, как обезьяна издала гортанный крик, и в джунглях поднялась кутерьма: скрывавшиеся в густых ветках обезьяны стали перебегать в глубь леса, подхватив под мышки громко верещавших детенышей. Глядя на это зрелище, ашкеры хохотали.

Строки, вошедшие в сборник «Шатер», кажутся строками дневника:

Восемь дней от Харара я вел караван
Сквозь Черчерские дикие горы
И седых на деревьях стрелял обезьян,
Засыпал средь корней сикоморы.

(«Галла»)

За несколько переходов караван миновал горные вершины. На пятый день экспедиция вышла на небольшое поле, засеянное дурро; вокруг виднелся с десяток хижин, напоминавших небольшие стожки сена, которые стояли вдоль пыльной дороги. Хайле Мариам сказал, что деревня называется Беддану и что его дядя Мозакие в ней геразмач — староста. Гумилев приказал сделать привал и побывал с племянником в гостях у Мозакие.

На следующий день путешественники начали спуск с плоскогорья в зону Война-Дега. Стало заметно жарче, местность представляла собой пологие холмы, поросшие абрикосами, персиками, мимозой. В дневнике, который Гумилев теперь вел не так подробно, как в Хараре, он записал 11 июля: «Шли 6 часов на юг; пологий спуск в Аппия; дорога между цепью невысоких холмов; колючки и мимозы; странные цветы — один словно безумный с откинутыми назад лепестками и тычинками вперед. Отбились от каравана; решили идти в город; поднимались над обрывами полтора часа; спящий город; встречный вице-губернатор доводит до каравана и пьет с нами чай, сидя на полу. Город основан лет тридцать назад абиссинцами, называется Ганами (по-галасски Утренитб, т. е. хороший); в нем живет начальник области Фитаурари Асфау с 1000 солдатами гарнизона; домов сто. Церковь святого Михаила; странные камни с дырами и один на другом; есть даже три друг на друге. Один напоминает крепостцу с бойницей, другие сфинкса, третьи циклопические постройки. Тут же мы видели забавное приспособление для дикобраза (джарта); он ночью приходит есть

дурро, и абиссинцы поставили род телеграфной проволоки или веревки консьержа, один конец которой в доме, а на другом повешено деревянное блюдо и пустые тыквы. Ночью дергают за веревку, в поле раздается шум, и джарт убегает. В дне пути к югу есть львы, в двух днях — носороги».

Селения встречались все реже, вокруг была почти плоская, чуть всхолмленная равнина, поросшая высокой жесткой травой, в которой мог с головой укрыться всадник, и редкими низкорослыми развесистыми деревьями, — это была Кола. Воздух обжигал лицо, пересыхало в горле. На бахре виднелись стада антилоп, тропу перебегали то зайцы, то шакалы. Однажды на горизонте увидели большое стадо слонов, которые медленно шли один за другим. Об этой, самой жаркой части страны поэт писал:

Колдовская страна! Ты на дне котловины
Задыхаешься, льется огонь с высоты,
Над тобою разносится крик ястребиный,
Но в сияньи заметишь ли ястреба ты?

Пальмы, кактусы, в рост человеческий травы,
Слишком много здесь этой паленой травы…
Осторожнее! В ней притаились удавы,
Притаились пантеры и рыжие львы.

(«Абиссиния»)

Вечером подошли к маленькой сомалийской деревушке у подножия невысоких, поросших редким кустарником холмов. Жители рассказывали, что в кустарнике живет крупный леопард. Местное население считает его враждебным демоном.

Гумилев загорелся охотничьей страстью. Получив от старшины селения полугодовалого козленка и выпив молока, он отправился на холмы в сопровождении своего слуги-харарита.

«Вот и склон с выцветшей, выжженной травой, с мелким колючим кустарником, похожим на наши свалочные места. Мы привязали козленка посередине открытого места, я залег в куст шагах в пятнадцати, сзади меня улегся с копьем мой харарит. Он таращил глаза, размахивал оружьем, уверяя, что это восьмой леопард, которого он убьет; он был трус, и я велел ему замолчать. Ждать пришлось недолго; я удивляюсь, как отчаянное блеяние нашего козленка не собрало всех леопардов в округе. Я вдруг заметил, как зашевелился

дальний куст, покачнулся камень, и увидел приближающегося пестрого зверя, величиною с охотничью собаку. Он бежал на подогнутых лапах, припадая брюхом к земле и слегка махая кончиком хвоста, а тупая кошачья морда была неподвижна и угрожающа. У него был такой знакомый по книгам и картинкам вид, что в первое мгновенье мне пришла в голову несообразная мысль, не сбежал ли он из какого-нибудь странствующего цирка? Потом сразу забилось сердце, тело выпрямилось само собой, и, едва поймав мушку, я выстрелил.

Леопард подпрыгнул аршина на полтора и грузно упал на бок. Задние ноги его дергались, взрывая землю, передние подбирались, словно он готовился к прыжку. Но туловище было неподвижно, и голова все больше и больше клонилась на сторону: пуля перебила ему позвоночник сейчас же за шеей. Я понял, что мне нечего ждать его нападения, опустил ружье и повернулся к моему ашкеру. Но его место было уже пусто, там валялось только брошенное копье, а далеко сзади я заметил фигуру в белой рубашке, отчаянно мчавшуюся по направлению к деревне.

Я подошел к леопарду; он был уже мертв, и его остановившиеся глаза уже заволокла белесоватая муть. Я хотел его унести, но от прикосновения к этому мягкому, точно бескостному телу меня передернуло. И вдруг я ощутил страх, нарастающий тягучим ознобом, очевидно, реакцию после сильного нервного подъема. Я огляделся: уже сильно темнело, только один край неба был сомнительно желтым от подымающейся луны, кустарники шелестели своими колючками, со всех сторон выгибались холмы. Козленок отбежал так далеко, как ему позволяла тянувшаяся веревка, и стоял, опустив голову и цепенея от ужаса. Мне казалось, что все звери Африки залегли вокруг меня и только ждут минуты, чтобы умертвить меня мучительно и постыдно.

Но вот я услышал частый топот ног, короткие, отрывистые крики, и, как стая воронов, на поляну вылетел десяток сомалей с копьями наперевес. Их глаза разгорелись от быстрого бега, а на шее и лбу, как бисер, поблескивали капли пота. Вслед за ними, задыхаясь, подбежал и мой проводник харарит. Это он всполошил всю деревню известием о моей смерти».

Еще несколько дней продолжался поход. 14 июня, измученные жарой, добрались до небольшого галласского селения. Гумилев записал в дневнике: «Стали просить продать молока, но нам объявили, что его нет. В это время подъехали абиссинцы (два конных, пять слуг) ашкеры Ато Надо, которые просили ехать с нами в Ганами. Они тотчас вошли в деревню, проникли в дома и достали молока. Мы выпили и заплатили. Галласские старухи были очарованы. Абиссинцы не пили, была пятница, они старались для нас и, отыскивая по следам, заехали в эту трущобу. Мы не знали дороги и захватили галласа, чтобы он нас провел. В это время прибежали с пастбища мужчины — страшные, полуголые, угрожающие. Особенно один, прямо человек каменного века. Мы долго ругались с ними, но, наконец, они же, узнав, что мы за все заплатили, пошли нас провожать и на дороге, получив от меня бакшиш, благодарили, и мы расстались друзьями».

Чтобы не так мучиться от жары, решили идти только ранним утром. Караван выходил в путь затемно, когда ярко светила идущая на ущерб луна. Днем останавливались лагерем где-нибудь под редкой тенью дерева и отдыхали. А кругом все так же ни одного селения, ни одного колодца.

Однажды, когда багровое солнце стремительно опускалось к горизонту, из-за пологого песчаного холма вышли три сомалийца с копьями и небольшими кожаными щитами. Один из них, рослый мускулистый человек с копной рыжих волос, некоторое время молча рассматривал маленький отряд Гумилева, сделал два-три шага вперед и что-то гортанно крикнул. Переводчик сообщил: «Он требует отдать ему мулов и ружья. Это бандит».

Караван встретился с шайкой разбойников, каких немало бродило по стране. Оставалось либо откупиться, либо принять бой. Гумилев сказал толмачу: сейчас он перестреляет мерзавцев всех до одного. Он схватил винтовку и передернул затвор. Все три сомалийца стремительно исчезли за холмом.

Надо было готовиться к бою. Лагерь стал полукругом, вьюки уложили в виде заслона, мулов поставили в середину. Гумилев дал каждому ашкеру по три обоймы патронов. У него самого и Коли-маленького были многозарядные маузеры. Наступила ночь — тихая, жаркая и темная. В лагере никто не спал. Наконец над горизонтом поднялся полудиск луны и тускло осветил равнину, по которой неясно двигались какие-то тени. Вспоминая эту ночь, Гумилев писал:

Помню ночь и песчаную помню страну
И на небе так низко луну.

……
В этот вечер, лишь тени кустов поползли,
Подходили ко мне сомали.

Вождь их с рыжею шапкой косматых волос
Смертный мне приговор произнес,

И насмешливый взор из-под спущенных век
Видел, сколько со мной человек.
……
В целой Африке нету грозней сомали,
Безотраднее нет их земли,

Сколько белых пронзило во мраке копье
У песчаных колодцев ее,

Чтоб о подвигах их говорил Огаден
Голосами голодных гиен.

(«Сомалийский полуостров»)

Ночь миновала благополучно. 17 июня Гумилев коротко записал в дневнике: «В страшную жару выходим. Идем по 5 часов. Барха похожа на фруктовый сад. Здесь она становится светлее и реже.

Остановились у деревни. У входа. Чтобы коровы не бросались все сразу в ворота и не ломали их, перед ними вырыта большая яма.

Мы вошли в деревню из шести только соломенных хижин (женщины и дети носят куски кожи вместо одежды). Посетили школу. Купили ложку и смолы для чернил. Учитель страшный жулик. Учился у сомалей. Дети на каникулах, так как падеж скота.

Впервые видел молитву Шейх-Нуратукейну».

Через день караван перешел вброд мелководную быструю реку Рамис и спустился до ее впадения в Уаби. Эта река тоже имеет быстрое течение, но глубоководна, к тому же в воде то и дело появлялись крокодилы, от их зеленых зубчатых хвостов шли мелкие волны. Предстояла трудная переправа; ашкеры стреляли из винтовок, пытаясь отпугнуть крокодилов, мулы упирались, боясь воды, их начало сносить сильным течением. Мул Сверчкова опрокинулся, едва не потащив за собой всадника, у которого крокодил сорвал с ноги гетру; другой крокодил поранил ашкеру зубами руку. После суеты, криков и стрельбы отряд наконец

переправился на другой берег, где расположился лагерем. Проворные ашкеры занялись рыбной ловлей, изредка стреляя в крокодилов, высовывавшихся из воды.

Всю неделю караван шел по бархе, покупая в редких деревушках молоко. Но запасы продуктов уменьшались с каждым днем. Кончилась мука, постоянно не хватало воды, томила жажда. Для пополнения запасов охотились на антилоп и диких свиней, которые встречались в изобилии. От плохой воды, жары и плохо прожаренного на костре мяса Гумилев заболел: мучил желудок, возвратилась тропическая лихорадка, он глотал хину, но крепился, находя, что болеть неприлично, тем более — начальнику каравана.

23 июня на горизонте показалась гора Шейх-Гусейна, но только на третий день подошли к этому поселку, о чем Гумилев сделал пометку в путевом дневнике: «Шли три часа до города; остановились на окраине под двумя молочаями… Местный начальник прислал провизии. Мы пошли к нему; он принял нас в доме с плоской крышей, где были три комнаты — одна, отгороженная кожами, другая — глиной. Была навалена утварь. Хотел войти осел. Хозяин подражает абиссинским вождям и важничает. Потом после дня ужасной жары пошли смотреть гробницу Шейх-Гусейна… Вечером писали историю Ш. Г. с Хаджи Абдул Меджидом и Кабир Аббасом».

На следующий день Николай Степанович с Колей-маленьким пошли смотреть место чудес — пещеры, в которых некогда жил Шейх-Гусейн. В одной из пещер в большом камне была дыра, помогавшая отличить праведника от грешника: испытуемый, раздевшись донага, должен был пролезть через нее. Если человек застревал, это значило, что он грешник, которому никто не смел помочь, и несчастный погибал от жажды мучительной смертью. Гумилев тут же стал раздеваться и, как ни упрашивал его племянник не рисковать, полез в дыру. К счастью, он выдержал испытание.

В поселке удалось пополнить запасы продовольствия, приобрести предметы быта, записать предания и местные песни; купили даже машину для очистки хлопка.

Дальше путь лежал к юго-западу по высокому плоскогорью. Здесь было не так жарко, как в долине, но постоянно не хватало воды, поэтому приходилось делать большие переходы. Расстройством желудка заболели и другие участники похода. Одежда совсем изодралась о колючки, подошвы, изорванные о камни, приходилось подвязывать веревками; дядя и племянник заросли бородами, давно прекратив бритье по утрам, кожа на носах шелушилась, растрескались губы. И все же, несмотря на

трудности переходов и болезнь, Гумилев постоянно испытывал душевную приподнятость и радость.

Глядя, как старшие женщины возле своих хижин толкут зерно в ступке, как мужчины мотыжат землю в поле, Николай Степанович ощущал себя сопричастным этой простой, размеренной жизни, точно он воскрес:

Когда же, наконец, восставши
От сна, я буду снова — я
Простой индеец, задремавший
В священный вечер у ручья?

(Прапамять)

30 июня караван подошел к городу Гинир, остановившись лагерем в небольшой роще на его окраине. Начальник городского рынка оказался старым другом проводника Фасики, это помогло запастись хорошими продуктами на дорогу. Гумилев со Сверчковым обедали у двух сирийцев, служащих фирмы Галеба. Было очень приятно сидеть за столом, накрытым скатертью, есть из тарелки, пользоваться ножом и вилкой, пить вино из бокалов.

Отдохнувшие и окрепшие путешественники 4 июля покинули Гинир и направились в северо-западном направлении. По сути, после Гинира экспедиция повернула обратно, однако следуя новым маршрутом. Путь лежал по высокогорью, здесь часто встречались поселения, а жара не так изводила. Иногда проходил караван верблюдов, на конях гарцевали всадники-абиссинцы.

Под несколькими древовидными молочаями разместился базар, хотя деревни поблизости не было. Но к базару шли вереницы крестьян, большинство с поклажей. Запись в путевом дневнике: «Базар без деревни; начальник в будке; объявление о беглом рабе; красавицы; женщина с зобом; купили плетеную вазу из-под масла».

Через три дня опять подошли к Уаби, на этот раз — выше по течению. Здесь река текла в высоких берегах, поросших лесом. У некоторых деревьев корни с подмытого берега свисали прямо к воде. Для переправы жители использовали оригинальное устройство: к росшим на противоположных берегах деревьям был привязан толстый канат, на котором висела большая, плетенная из ветвей корзина, вмещавшая до пяти человек; перебирая руками по канату, можно было передвигаться на другой берег.

Сперва в корзину погрузили багаж, и два ашкера переправились. Затем один из них вернулся, перевез остальных слуг и вещи, после чего настала очередь Гумилева и Сверчкова.

На середине реки Николай Степанович, дурачась, начал сильно раскачивать корзину, так что Коля-маленький ухватился обеими руками за борта. Ему совсем не хотелось свалиться прямо в зубы крокодилу. Дядя хохотал и продолжал раскачиваться. Едва корзина стукнулась о берег, как дерево, к которому был привязан канат, зашаталось и рухнуло в реку. Люди уже успели выскочить на сушу.

Некоторое время путь шел по пойме реки. Опять пускались в путь задолго до восхода солнца, а днем укрывались в тени редких деревьев.

Постепенно дорога пошла в гору, дышать стало легче. Днем моросил теплый дождь, ночью обрушивались потоки тропического ливня. Наутро мулы шли по колено в жидкой грязи.

Дожди прекратились через несколько дней, и выглянувшее солнце высушило дорогу. 15 июля Гумилев записал в дневник: «Через три часа прелестной дороги с павианами… палатка; из нее выходит белый m-r Reu: мы садимся и решаем ночевать, чтобы завтра пройти таможню; у него — кобылы, у меня — разрешение. Вечером ему приносят еды от жены Ато Мандафры. Едим вместе. Мул кашляет». Француз был инженер-изыскатель дорожной компании. Караван Гумилева приблизился к трассе строящейся дороги от Джибути до Аддис-Абебы.

На трассу будущей железной дороги экспедиция вышла у города Логахардин и повернула на восток, в направлении Дире-Дауа. Все очень устали, но впереди был еще долгий путь. В селении, где они уже побывали в начале путешествия, Гумилев разрешил всем отдохнуть, хотя бушевала тропическая лихорадка, и хозяйку хижины, где остановился Николай Степанович, он лечил порошками хины, отказавшись от платы, — в Абиссинии за такие лекарства отдавали быка или корову с теленком.

В день отъезда, 13 августа, в семье Х. Мариама родился сын, и по существующей традиции его назвали Гумало[8] в честь почетного гостя. Один сельский богатей в тот же день привязал на солнцепеке своего работника за ногу к дереву. Гумилев, ни слова не говоря, отвязал человека и, приведя его в Дире-Дауа, передал на попечение французским миссионерам.

Так завершилась экспедиция. Не все из задуманного Гумилевым удалось. До озера Рудольфа оставалось еще далеко, но собранные коллекции — этнографические и энтомологические — и многочисленные фотоснимки, и фольклор, а главное, огромный заряд творческой энергии — все это сполна окупило затраченные усилия.

В Африке Николай Степанович нашел то, что искал: мир первозданный, не изуродованный европейской цивилизацией.

Даже лишения и трудности придавали всему окружающему оттенок героики, и поэт восторженно писал:

Оглушенная ревом и топотом,
Облеченная в пламень и дымы,
О тебе, моя Африка, шепотом
В небесах говорят серафимы.

(«Вступление»)

Разумеется, стихи об Африке, об Абиссинии нельзя считать просто описанием событий, происходивших с Гумилевым. Скорее, они выражают его романтическое ощущение жизни, отличавшее поэта от других путешественников по этим местам. Так, академик Вавилов, побывав в Эфиопии, писал о множестве опасностей, встретившихся ему, о попойках и драках между его проводниками, о встречах с бандитами, от которых с трудом удавалось откупаться. Ученый вспоминал: «Разбили палатку… Я пишу дневник возле маленького фонаря. Весь пол палатки начинает шевелиться, покрываясь огромным количеством крупных черных фаланг и скорпионов… Фаланги лезут на кровать, раскрывая свои челюсти. Мы выскакиваем из палатки, кое-кто уже укушен, и надо уйти из этого опасного места».

А вот впечатления близкого к акмеистам поэта Нарбута, который тоже посетил Абиссинию:

В шалаше духота. А вода
Словно жидкая муть в бурдюках,
Никогда, никогда, никогда
Здесь не встретишь ключа на песках!

В стихотворениях сборника «Абиссиния» Нарбут пишет о бедности, нищете, о больных проказой, о духоте и смраде. А Гумилев, вспоминая свои путешествия, писал:

Высока была его палатка,
Мулы были резвы и сильны,
Как вино, вдыхал он воздух сладкий
Белому неведомой страны.

(«Память»)

Собранные отрядом Гумилева предметы материальной

культуры различных племен были приняты Музеем антропологии и этнографии, куда сдали и более 200 проявленных фотопластинок, выполненных Николаем Сверчковым. Все это музей получил 26 сентября 1913 года вместе с подробными описаниями. До сих пор привезенное Гумилевым хранится в запасниках, а снимки так и не отпечатаны. Каждый экспонат Гумилев сопроводил описью и указанием названия предмета, его назначения, места покупки и цены. Например: «18. Габито — деревянное раскрашенное блюдо, на нем невеста на свадебном празднестве обносит всех присутствующих, начиная с жениха, напитками и сладостями, стакан ставится посредине, сласти идут кругами; кажется, это имеет символическое значение введения женщины в обязанности хозяйки и прислужницы. Харар, 1 т.».

Всего в сентябре музею было сдано по трем описям 128 предметов стоимостью более 3000 рублей. Кроме того, коллекция под № 2131 передана Гумилевым в дар музею бесплатно. Собранные Гумилевым коллекции принадлежат к числу самых ранних коллекций, привезенных русскими путешественниками из Черной Африки.

В 1914 году директор музея представил к оплате из сумм музея счета, включающие и № 4: «Н. С. Гумилева на 400 руб. — за собранную им африканскую коллекцию».

Вскоре по окончании экспедиции в печати появились сообщения о смерти императора-негуса Менелика II. Гумилев сразу откликнулся статьей «Умер ли Менелик?», в которой писал:

> «Умер ли Менелик — вот вопрос, от которого зависит судьба самой большой независимой страны Африки, страны с пятнадцатью миллионами населения, древней православной Абиссинии». Гумилев предвидит возможный раздел Абиссинии колониальными державами — Англией, Францией, Италией — в случае ее ослабления внутренними смутами, подробно описывает распри между центральной властью и могучими феодалами — «надменными расами, засевшими в своих то горных, то лесистых областях». Он пишет: «В Аддис-Абебе мне рассказывали ужасные вещи. Императору дали яд, но страшным напряжением воли, целый день скача на лошади, он поборол его действие. Тогда его отравили вторично уже медленно действующим ядом и старались подорвать бодрость его духа зловещими предзнаменованиями. Для суеверных абиссинцев мертвая кошка указывает на гибель увидавшего ее. Каждый вечер, входя в спальню,

император находил труп черной кошки. И однажды ночью императрица Таиту объявила, что после внезапной смерти Менелика правительницей становится она, и послала арестовать министров. Те, отбившись от нападавших, собрались на совет в доме митрополита Абуны Матеоса, наутро арестовали Таиту и объявили, что Менелик жив, но болен, и видеть его нельзя.

С тех пор никто, кроме официальных лиц, не мог сказать, что видел императора. Даже европейские посланники не допускались к нему. Именем его малолетнего наследника, Лиджа Иассу, управлял его опекун рас Тасама, который во всем считался с мнениями министров. В судах и при официальных выступлениях, как прежде, все решалось именем Менелика. В церквах молились о его выздоровлении.

Так прошло шесть лет, и Лидж Иассу вырос. Несколько охот на слонов, несколько походов на непокоренные племена — и у львенка загорелись глаза на императорский престол. Рас Тасама внезапно умер от обычной среди абиссинских сановников болезни — от яда; и однажды, тоже ночью, Лидж Иассу со своими приближенными ворвался в императорский дворец, чтобы доказать, что Менелик умер и он может быть коронован. Но правительство не дремало: министр финансов Хайле Георгис, первый красавец и щеголь в Аддис-Абебе, собрав людей, выгнал Лиджа Иассу из дворца, военный министр Уольде Георгис, прямо с постели, голый, бросился на телеграфную станцию и саблей перерубил провода, чтобы белые не узнали о смутах в столице. Лиджу Иассу было сделано строжайшее внушение, после которого он должен был отправиться погостить к отцу, в Уоло. Европейским посланникам было категорически подтверждено, что Менелик жив.

Несколько дней тому назад я опять прочел в газетах, что Менелик умер, а на другой же день — опровержение слухам. Значит, повторилось что-нибудь подобное только что рассказанному».

Поэт Гумилев не только охотился и записывал народные песни, но и внимательно изучал политическую жизнь Абиссинии.

Крупнейший африканист, знаток этнографии и языков Африки Д. А. Ольдерогге, внимательно прочитав сборник стихов «Шатер», ни разу не смог упрекнуть Гумилева в

некомпетентности.

В начале сентября загорелые, худые, безмерно счастливые и гордые Гумилев и Сверчков возвратились домой, в Царское Село.

Жизнь опять потекла прежним руслом, и невозможно было представить, что где-то существует Абиссиния, по которой Гумилев недавно вел свой караван, изнывая от жары и жажды. Все это казалось ярким сном, потускневшим после пробуждения.

ГЛАВА IX
Под знаменем улан

Календарные даты только фиксируют исторические события, но происходят такие события, не приноравливаясь к датам. «Двадцатый век начался осенью 1914 года вместе с войной, так же, как XIX начался Венским конгрессом». Эта лаконичная запись в дневнике Ахматовой точно определяет переломный момент в жизни России. До 1914 года сохранялся уклад прошлого века, новое только нарождалось. Но вот страна подошла к поворотному рубежу, еще не предвидя трагических последствий предстоящих событий, только смутно их предчувствуя, но уже явственны были знаки в природе:

То лето было грозами полно,
Жарой и духотою небывалой,
Такой, что сразу делалось темно,
И сердце биться вдруг переставало,
В полях колосья сыпали зерно,
И солнце даже в полдень было ало.

(«Пятистопные ямбы»)

В лесах под Петербургом горели торфяные болота, тяжелая сизая мгла висела в жарком, неподвижном воздухе. Люди инстинктивно чувствовали приближение беды. Стараясь избавиться от тяжелых предчувствий, одни по вечерам собирались в ресторанах, звонко хлопали пробки, пел молодой Вертинский, дамы в декольте обмахивались веерами из страусовых перьев, звонко хохотали, заглушая страх перед близким будущим. Уже обдумывались планы бегства. В городе откуда-то появилось множество калек, юродивых, кликуш и прорицателей.

А начался 1914 год спокойно. Жизнь России текла по устойчивому руслу.

В мае Гумилев с женой и сыном поехали в Слепнево. Николай Степанович пробыл в имении недолго, уже через десять дней он отправился в Либаву, почти тотчас и Анна Андреевна, оставив Левушку, «Львенка», на попечение бабушки, поехала в Дарницу к матери.

В Либаву Гумилева влекла встреча с Таней Адамович. Эта девушка, сестра начинающего поэта Георгия Адамовича,

восторгалась стихами Гумилева, всегда просила при встрече подарить ей листок с автографом, тут же пряча его в шкаф — совсем как белочка, прячущая орехи. И сам поэт нравился ей необыкновенно. Дело быстро шло к роману, который, по записям одной мемуаристки, «был продолжительным, но, так сказать, обнаженным в полном смысле этого слова».

Побыв в Либаве несколько дней, Гумилев в начале июня вернулся в Петербург, где жил на Васильевском острове в квартире приятеля — Владимира Шилейко, «вечного студента», увлекавшегося древними восточными рукописями. В квартире было неприбрано, на подоконнике валялись хлебные крошки вперемешку с табаком и дохлыми мухами. Жаркие вечера проводили в ресторане «Бернар», где к ним часто присоединялся Лозинский. Сидя за столиком, обсуждали литературные вопросы, всегда их волновавшие. Разговор заходил об отношениях Гумилева с Городецким, которые казались странными и Шилейко, и Лозинскому, знавшим, как глубоки их расхождения.

Перед отъездом в Териоки Гумилев зашел в редакцию «Аполлона». Там было по-летнему безлюдно, только Пронин что-то оживленно рассказывал молоденькой машинистке. Он передал Гумилеву давно поджидавшее его письмо, которое пришло на адрес редакции. Оно было послано из какой-то Куриловки. Ольга Высотская сообщала, что прошлой осенью у нее родился сын от Гумилева, его назвали Орестом.

5 июля Николай Степанович заехал всего на один день в Царское Село на пятилетний юбилей свадьбы брата. Собрались друзья из Петербурга, все были нарядны, беспечны и веселы. Посреди стола стояла большая хрустальная ваза с фруктами, которую держал бронзовый амур.

«Под конец обеда, — вспоминает невестка Николая Степановича, — без всякой видимой причины ваза упала с подставки, разбилась, и фрукты рассыпались по столу. Все сразу замолкли. Невольно я посмотрела на Колю, я знала, что он самый суеверный; и я заметила, как он нахмурился. Через 14 дней объявили войну. Десятилетний юбилей нашей свадьбы мы с Митей скромно отпраздновали на квартире художника Маковского на Ивановской улице в Петрограде при совсем других обстоятельствах. Все было уже не то, и тогда Коля напомнил нам о разбитой вазе».

Все переменилось, когда в Сараево грянул выстрел: Гаврило Принцип застрелил наследника австрийского престола эрцгерцога Франца Фердинанда. Дальше события стали разворачиваться стремительно.

15 июля Австрия предъявила ультиматум Сербии. Сербия его

отвергла, день спустя Австро-Венгрия объявила Сербии войну. 17-го в России началась всеобщая мобилизация. 18-го Германия перешла на военное положение. 19-го германский посол в Петербурге передал министру иностранных дел Сазонову ноту объявления войны России.

20 июля Гумилев, Городецкий и Шилейко шли по Морской в сторону Исаакиевской площади. Их обгоняли мальчишки с пачками свежих газет и люди в картузах, какие носят мастеровые, приказчики и рабочие. Все они точно спешили по какому-то важному делу.

Площадь была запружена толпой, все смотрели в сторону массивного здания германского посольства: во многих местах над толпой колыхались трехцветные флаги.

Гумилев с друзьями остановились у гостиницы «Англетер». Где-то запели гимн, появился плакат «Победа России и славянству!». Какие-то люди взбирались по наружной пожарной лестнице на крышу посольства. Послышался звон разбиваемых камнями оконных стекол. Люди, взобравшиеся на крышу, набросили петли на огромные фигуры викингов, украшавших фронтон, и под рев толпы, ухватившейся внизу за веревки, статуи зашатались, одна за другой рухнули вниз.

Гумилев молчал. «Как струна, натянутая туго, сердце билось быстро и упруго».

На Невском громили немецкий магазин. По Владимирскому в сторону Варшавского вокзала шла артиллерия.

Гумилев ходил по городу, смотрел, и чувство восторга наполняло его: Русь, огромная держава, поднялась на защиту маленькой православной Сербии!

Все эти переживания вылились, точно бронза в форму совершенного изваяния, в литые строфы пятистопных ямбов:

…И в реве человеческой толпы,
В гуденье проезжающих орудий,
В немолчном зове боевой трубы
Я вдруг услышал песнь своей судьбы
И побежал, куда бежали люди,
Покорно повторяя: «Буди, буди».

(«Пятистопные ямбы»)

Война всколыхнула всю огромную страну: в церквах служили молебны о даровании победы, у призывных пунктов стояли запряженные подводы, толпились молодые мужики и парни, заливались гармошки и, перекрикивая их, в голос вопили

молодые солдатки, провожая любимых на смерть.

Гумилев был весь охвачен восторгом разворачивающейся грандиозной битвы, а Ахматова в тверской глуши остро чувствовала приближение страшных потрясений:

Пахнет гарью. Четыре недели
Торф сухой по болотам горит.
Даже птицы сегодня не пели,
И осина уже не дрожит.

Стало солнце немилостью Божьей,
Дождик с Пасхи полей не кропил.
Приходил одноногий прохожий
И один на дворе говорил:

«Сроки страшные близятся.
Скоро Станет тесно от свежих могил.
Ждите глада, и труса, и мора,
И затменья небесных светил».

(«Июль 1914»)

В газетах уже печатались сводки с театра военных действий. Наши войска успешно теснили противника, корпус генерала Самсонова стремительно продвигался к сердцу Пруссии — Кенигсбергу. И печатались в газетах все более длинные списки убитых в боях офицеров.

Гумилев страшился одного: что он вдруг не успеет на войну.

Он отправился в воинское присутствие, подав прошение не об отсрочке, а о призыве. При освидетельствовании еще в 1907 году Гумилева признали совершенно неспособным к военной службе. Полистав дело, полковник отказал в его просьбе о немедленной отправке на фронт.

На другой день Гумилев поехал на Варшавский вокзал проводить брата. Жена Мити гостила у своей матери в Витебской губернии, и провожал его только племянник, Коля-маленький. Оказалось, что его, несмотря на белый билет, берут в армию. Добиться этого было просто: пойти не к начальнику, а к писарю и не пожалеть нескольких рублей. Свое призывное свидетельство Коля-маленький оформил за полчаса.

Что предпринял Гумилев, к кому обратился, неизвестно, но уже 30 июля получил свидетельство, подписанное доктором медицины Воскресенским: «Николай Степанович Гумилев, 28 л[ет] от роду, по исследовании его здоровья, оказался не

имеющим физических недостатков, препятствующих ему поступить на действительную военную службу, за исключением близорукости правого глаза и некоторого косоглазия, причем, по словам Гумилева, он прекрасный стрелок».

На очередном заседании редакционной коллегии «Аполлона» Гумилев появился с обстриженной под машинку головой и объявил, что на днях он уезжает в действующую армию: рядовым, вольноопределяющимся лейб-гвардии Ее Величества государыни императрицы Александры Федоровны уланского полка.

24 августа Гумилев был зачислен в 1-й эскадрон и прибыл в Кречевицы Новгородской губернии, где новобранцам предстояло пройти короткую подготовку — строй, стрельбу и верховую езду. Как раз из-за неумения ездить верхом более половины новобранцев отправились в пехоту. Николай Степанович хорошо держался в седле и метко стрелял, но пришлось отрабатывать навыки верховой езды по всем правилам этого искусства. Кроме того, он брал уроки владения шашкой и пикой у опытного улана, по целым часам отрабатывая приемы ближнего боя.

Все в новой жизни нравилось Гумилеву: и строгая дисциплина, и отношения с офицерами, и разговоры с солдатами, когда не нужно было постоянно обдумывать каждое слово, как принято в обществе. В первые же дни он подружился с вольноопределяющимся Янышевским, умным и симпатичным человеком, немного старше Гумилева. Лежа перед сном на двухэтажных нарах, Гумилев рассказывал о своих путешествиях по Абиссинии, об охоте на льва и леопардов, о горных перевалах и реках, кишевших крокодилами. Янышевский слушал с восторгом. Мечтали, как после войны вдвоем поедут на два года на Мадагаскар.

Пребывание в запасном эскадроне затягивалось. Гумилев скучал и злился на вынужденное безделье. Хотелось поскорее испытать себя под огнем противника. Внешне он всегда был спокоен, даже флегматичен, но это был результат тренировки воли.

С фронта поступали тревожные вести. Блестяще начатое наступление генерала Самсонова провалилось. Корпус попал в кольцо и сдался, генерал застрелился. Поползли слухи о командующем 1-й армией Ренненкампфе, делались намеки на измену.

Наконец 28 сентября эскадрон был направлен к границе Восточной Пруссии, где стоял штаб уланского полка. А 17 октября Гумилев принял «боевое крещение».

«Этот день навсегда останется священным в моей

памяти, — писал Гумилев в „Записках кавалериста“. — Я был дозорным и в первый раз на войне почувствовал, как напрягается воля, прямо до физического ощущения какого-то окаменения, когда надо одному въезжать в лес, где, может быть, залегла неприятельская цепь, скакать по полю, вспаханному и поэтому исключающему возможность быстрого отступления, к движущейся колонне, чтобы узнать, не обстреляет ли она тебя. И в вечер этого дня, ясный, нежный вечер, я впервые услышал за редким перелеском нарастающий гул „ура“, с которым был взят В[ладиславль]. Огнезарная птица победы в этот день слегка коснулась своим огромным крылом и меня.

На другой день мы вошли в разрушенный город, от которого медленно отходили немцы, преследуемые нашим артиллерийским огнем. Хлюпая в липкой черной грязи, мы подошли к реке, границе между государствами, где стояли орудия… По трясущемуся, наспех сделанному понтонному мосту наш взвод перешел реку». Они теперь были в Германии. «Я часто думал с тех пор, — продолжает Гумилев, — о глубокой разнице между завоевательным и оборонительным периодами войны. Конечно, и тот и другой необходимы лишь для того, чтобы сокрушить врага и завоевать право на прочный мир, но ведь на настроение отдельного воина действуют не только общие соображения, — каждый пустяк, случайно добытый стакан молока… Свой собственный удачный выстрел порой радует больше, чем известие о сражении, выигранном на другом фронте».

Вот как Гумилев описывает наступление: «В одно прекрасное, даже не холодное, утро свершилось долгожданное. Эскадронный командир собрал унтер-офицеров и прочел приказ о нашем наступлении по всему фронту. Наступать — всегда радость, но наступать на неприятельской земле — это радость, удесятеренная гордостью, любопытством и каким-то непреложным ощущением победы. Люди молодцеватее усаживаются в седлах. Лошади прибавляют шаг…

Время, когда от счастья спирается дыхание, время горящих глаз и безотчетных улыбок.

Справа по три, вытянувшись длинной змеею, мы пустились по белым, обсаженным столетними деревьями дорогам Германии. И хотя каптенармусы и походные кухни остались далеко позади, хотя отступающий противник пытался задержаться за каждым

прикрытием, огрызаясь шрапнельными разрывами — совсем как матерый, привыкший к опасным дракам волк, — это ничуть не омрачало торжества победителей».

Вечером, лежа в халупе, где под кроватью кудахтали куры, а под столом стоял баран, Гумилев записывал на вырванном из ученической тетради листке стихотворение:

Та страна, что могла быть раем,
Стала логовищем огня,
Мы четвертый день наступаем.
Мы не ели четыре дня.

Но не надо яства земного
В этот страшный и светлый час,
Потому что Господне слово
Лучше хлеба питает нас.

И залитые кровью недели
Ослепительны и легки,
Надо мною рвутся шрапнели,
Птиц быстрей взлетают клинки.

Я кричу — и мой голос дикий,
Это медь ударяет в медь,
Я, носитель мысли великой,
Не могу, не могу умереть.

Словно молоты громовые
Или воды гневных морей,
Золотое сердце России
Мерно бьется в груди моей.

И так славно рядить Победу,
Словно девушку, в жемчуга,
Проходя по дымному следу
Отступающего врага.

(«Наступление»)

Гумилев действительно верил, что он не может погибнуть, потому что он — часть России, а такая страна, такой народ погибнуть не может. Разумеется, поэт в бою испытывал страх, но умел его скрывать. Вновь откроем «Записки кавалериста»:

«На той дороге, по которой я только что проехал, кучка всадников и пеших в черных жутко-чужего цвета шинелях изумленно смотрела на меня. Очевидно, меня только что заметили. Они были в шагах тридцати.

Я понял, что на этот раз опасность действительно велика. Дорога к разъезду мне была отрезана, с двух других сторон двигались неприятельские колонны. Оставалось скакать прямо на немцев, но там далеко раскинулось вспаханное поле, по которому нельзя идти галопом, и я десять раз был бы подстрелен, прежде чем вышел бы из сферы огня. Я выбрал среднее и, огибая врага, помчался перед его фронтом к дороге, по которой ушел наш разъезд. Это была трудная минута моей жизни. Лошадь спотыкалась о мерзлые комья, пули свистели мимо ушей, взрывали землю передо мной и рядом со мной, одна оцарапала луку моего седла. Я, не отрываясь, смотрел на врагов. Мне были ясно видны их лица, растерянные в момент заряжания, сосредоточенные в момент выстрела. Невысокий, пожилой офицер, странно вытянув руку, стрелял в меня из револьвера. Этот звук выделялся каким-то дискантом среди остальных. Два всадника вскочили, чтобы преградить мне дорогу. Я выхватил шашку, они замялись. Может быть, они просто побоялись, что их подстрелят свои же товарищи.

Все это в ту минуту я запомнил лишь зрительной и слуховой памятью, осознал же это много позже. Тогда я только придерживал лошадь и бормотал молитву Богородице, тут же мною сочиненную и сразу забытую по миновании опасности».

Позже Николай Степанович говорил, что храбрость в том и заключается, чтобы подавлять страх и делать то, что надо. Ничего не боящийся казак Кузьма Крючков, которого восхваляли плакаты, не храбрец, а чурбан. Бой — это умение справиться со страхом.

Письмо Лозинскому 1 ноября Николай Степанович начинает так:

«Пишу тебе уже ветераном, много раз побывавшим в разведках, много раз обстрелянным и теперь отдыхающим в зловонной ковенской чайной. Все, что ты читал о боях под Владиславовом и о последующем наступлении, я видел своими глазами и во всем принимал посильное участие. Дежурил в

> обстреливаем[ом] Владиславове, ходил в атаку (увы, отбитую орудийным огнем), мерз в сторожевом охраненьи, ночью срывался с места, заслыша ворчанье подкравшегося пулемета, и опивался сливками, объедался курятиной, гусятиной, свининой, будучи дозорным при следованьи отряда по Германии. В общем, я могу сказать, что это лучшее время моей жизни. Оно несколько напоминает мои абиссинские эскапады, но менее лирично и волнует гораздо больше. Почти каждый день быть под выстрелами, слышать визг шрапнели, щелканье винтовок, направленных на тебя, — я думаю, такое наслаждение испытывает закоренелый пьяница перед бутылкой очень старого, крепкого коньяка. Однако бывает и реакция, и минута затишья — в то же время минута усталости и скуки».

В боях под Владиславлем лейб-гвардии уланский полк был в составе 25-й гвардейской кавалерийской дивизии, входившей в конницу хана Нахичеванского. Но осенью дивизия была придана гвардейскому конному корпусу генерала фон Гилленшмидта и в декабре вела бои юго-западнее Варшавы в районе Петракова. В начале января 1915 года дивизию перебросили на Неман, где наша пехота прорвала на широком участке позиции противника, а кавалерия, продвинувшись до Сувалок, шесть суток бродила по немецким тылам, захватывая обозы, пленных и подрывая железные дороги.

Как-то холодной декабрьской ночью офицер вызвал из взвода десять добровольцев-охотников участвовать в пешей, очень опасной, по его словам, разведке, а возможно, и захвате «языка». В числе вызвавшихся был и улан Гумилев. Предстояло пробраться в деревню, похоже, занятую противником. Луна то и дело скрывалась за тучами. Разведчики, согнувшись, пробежали по канаве вдоль деревни и у околицы остановились. Дальше пошли только двое: Гумилев и Чичагов, унтер-офицер из запасных, вежливый мелкий служащий, а на войне — один из храбрейших в эскадроне. Они двинулись по разным сторонам улицы, договорившись возвращаться по легкому свистку. Осторожно, короткими перебежками Гумилев пробирался от дома к дому; шагах в пятнадцати мелькала фигура напарника. Вспоминалось, как, бывало, в Слепневе играли в палочку-выручалочку: то же веселое чувство опасности, то же умение подкрасться и прятаться.

При свете луны Гумилев увидел в конце деревни линию немецких окопов и сразу определил их длину и расположение. В этот момент перед ним появилась человеческая фигура —

Гумилев напоролся на немецкого часового. Стрелять было нельзя, и он бросился вперед со штыком. Фигура исчезла, тут же сбоку, рядом прогремел оглушительный винтовочный выстрел, пуля чиркнула у самого лица. Гумилев побежал обратно, к своему отряду, преследуемый выстрелами из окон. Он знал, что ночная стрельба не очень опасна, и вскоре уже был за околицей. Чичагов оказался рядом. Были доложены результаты разведки, оказавшиеся очень важными.

За эту ночную разведку Гумилев был награжден Георгиевским крестом 4-й степени, а 15 января «за отличие в делах против германцев» произведен в младшие унтер-офицеры.

В конце января он получил командировку в Петроград. Собравшиеся в «Аполлоне» друзья — Лозинский, Маковский, Георгий Иванов, Городецкий — поздравляли Гумилева с орденом, хвалили его репортажи в «Биржевых новостях», расспрашивали о буднях фронта. Представление о фронте у них было самое расплывчатое. Вспоминая те дни, С. Маковский писал: «Наступило лето 1914 года. Война. Большинство аполлоновцев было мобилизовано, но почти все призванные, надев военную форму, продолжали работать по-прежнему, как-то „устроились“ в тылу. Это не мешало им писать стихи о войне» — ходульные, как у Игоря Северянина:

Когда Отечество в огне
И нет воды — лей кровь как воду…
Благословение народу,
Благословение войне!

Или как у Федора Сологуба:

Да здравствует Россия,
Великая страна,
Да здравствует Россия,
Да славится она!

Или как у Сергея Маковского:

Да будет! Венгра и тевтона
Сметут крылатые знамена
Ивановских богатырей,
И ты воскреснешь, Русь… И скоро
От заповедного Босфора
До грани северных морей,

Все озаряя мирной славой,
Соединит орел двуглавый.

А Сергей Городецкий предпочитал псевдонародный речитатив:

Но не страшно бабьему
Сердцу моему,
Опояшусь саблею
И ружье возьму.
Выйду я на ворога,
Выйду не одна.
Каждой любо-дорого
Биться, коль война.

Читая такое, Гумилев испытывал чувство брезгливости: неужели поэты сами не чувствовали фальши?

По случаю приезда Гумилева в «Бродячей собаке» было организовано его чествование.

Войдя в подвал, увидев знакомые стены и своды, Гумилев испытал странное чувство: он — известный поэт, вождь акмеизма, на нем фрак, крахмальная сорочка, яркий галстук. Но он же — унтер-офицер уланского полка, который всего три дня назад лежал, замерзая, в воронке от снаряда и палил из винтовки по немецкой цепи. Презрительно и холодно смотрел он на восторженно его приветствующую публику. Просили читать. Гумилев вышел к маленькой эстраде:

Есть так много жизней достойных,
Но одна лишь достойна смерть.
Лишь под пулями в рвах спокойных
Веришь в знамя Господне, твердь.

И за это знаешь так ясно,
Что в единственный, строгий час,
В час, когда, словно облак красный,
Милый день уплывет из глаз.

Свод небесный будет раздвинут
Пред душою, и душу ту
Белоснежные кони ринут
В ослепительную высоту.

(«Смерть»)

Он замолчал. Казалось, он впрямь видел белоснежных коней, несущих его душу на небеса. Дамы с обожанием смотрели на поэта-воина, просили читать еще. И он читал — много, охотно.

Чествование Гумилева затянулось, последний поезд в Царское давно ушел, и Георгий Иванов пригласил друга переночевать у него. В тихой квартире они еще некоторое время посидели у стола, покурили. Гумилев перелистал томик Блока «Ночные часы». Утром простились. Гумилев возвращался в свой эскадрон. И все пошло сначала — разъезды, обстрелы, запах конского пота, постоянное чувство опасности.

Полк стоял в районе Пинска. На фронте наступило временное затишье, уланы отсыпались в халупах, офицеры устраивали пирушки, приглашая Гумилева и Чичагова: оба они были дворяне, храбрые разведчики, георгиевские кавалеры. Иногда Гумилев писал шуточные мадригалы своим товарищам или сестрам милосердия:

Как гурия в магометанском
Эдеме, розах и шелку,
Так вы в лейб-гвардии уланском
Ея Величества полку.

(«Мадригал полковой даме»)

Но вот немцы перешли в наступление, тесня наши войска. Кавалерийские части получили задание проводить разведку и беспокоить противника рейдами по его тылам.

Для наблюдения за противником уланы залегли в снегу на опушке березового леса. Впереди мутно белело чуть всхолмленное поле, оттуда слышались отдаленные голоса, иногда короткие пулеметные очереди. Лежа на спине, Гумилев смотрел на мерцающие в темном морозном небе звезды. Если слегка прищурить глаза, то между звездами протягивались золотые нити, и тогда он строил по ним геометрический чертеж, похожий не то на развернутый свиток кабалы, не то на затканный золотом ковер: какие-то мечи, кресты и чаши. Наконец явственно обрисовывались небесные звери. Вот Большая Медведица, опустив морду, принюхивается к следу. Вот Скорпион шевелит хвостом, ища, кого бы ужалить.

Гумилева охватил мистический ужас: вдруг небесные звери посмотрят вниз, и тогда Земля сразу обратится в кусок матово-белого льда. Пережитое в ту ночь чувство поэт позднее выразил в

стихотворении «Звездный ужас»:

Горе! Горе! Страх, петля и яма
Для того, кто на земле родился,
Потому что столькими очами
На него взирает с неба черный
И его высматривает тайны.

Зимой военные дороги становятся во много раз труднее. В «Записках кавалериста» Гумилев писал: «Мы ехали всю ночь на рысях, потому что нам надо было сделать до рассвета пятьдесят верст, чтобы оборонять местечко К. на узле шоссейных дорог. Что это была за ночь! Люди засыпали в седлах, и никем не управляемые лошади выбегали вперед, так что сплошь и рядом приходилось просыпаться в чужом эскадроне.

Низко нависшие ветви хлестали по глазам и сбрасывали с головы фуражку… Несколько часов подряд мы скакали лесом. В тишине, разбиваемой только стуком копыт да храпом коней, явственно слышался отдаленный волчий вой. Иногда, чуя волка, лошади начинали дрожать всем телом и становились на дыбы. Эта ночь, этот лес, эта нескончаемая белая дорога казались мне сном, от которого невозможно проснуться. И все же чувство странного торжества переполняло мое сознание. Вот мы, такие голодные, измученные, замерзающие, только что выйдя из боя, едем навстречу новому бою, потому что нас принуждает к этому дух, который так же реален, как наше тело, только бесконечно сильнее его. И в такт лошадиной рыси в моем уме плясали ритмические строки:

…Расцветает дух, как роза мая,
Как огонь, он разрывает тьму,
Тело, ничего не понимая,
Слепо повинуется ему.

Мне чудилось, что я чувствую душный аромат этой розы, вижу красные языки огня». Так в кавалерийском седле на марше родилось одно из самых лучших военных стихотворений поэта:

Как могли мы прежде жить в покое
И не ждать ни радостей, ни бед,
Не мечтать об огнезарном бое,
О рокочущей трубе побед.

(«Солнце духа»)

Как бы ни были сильны его дух и воля, но на одном из маршей Гумилев почувствовал себя совсем плохо. Поднялась температура, и полковой доктор определил: воспаление легких. Через несколько дней он, перевезенный в Петроград, уже лежал в лазарете на Введенской улице.

Из Царского Села приехали Анна Ивановна и сестра Шура, привезли домашнего варенья, рассказывали, что Левушка уже большой, смышленый, вот только говорит плохо, невнятно. Жена, Анна Андреевна, приехала с букетом свежих роз, рассказывала, что Шилейко увлекся ассирийской клинописью, эпосом «Гильгамеш», вскользь упомянула о Городецком.

Гумилев позвонил в «Аполлон» Маковскому, попросил прислать последний номер журнала, на лазаретной тумбочке начал писать «Записки кавалериста». В воскресенье вместе с супругами Лозинскими в лазарет пришли сестры Романович, в белых косынках с красными крестами, обе служили сестрами милосердия. Девушки с любопытством и восхищением смотрели на Гумилева, удивляясь, как этот худой, с желтоватым, бескровным лицом и тонкой шеей человек мог участвовать в кавалерийских атаках, рубиться, стрелять. Он был поэт и герой, а значит, его внешность должна олицетворять героизм и романтику. А Николай Степанович, обсуждая с Сергеем Константиновичем редакционные дела, с удовольствием посматривал на хорошеньких девушек и по их уходе написал стихи: «Сестре милосердия», «Ответ сестры милосердия».

Кроме репортажей в «Биржевые ведомости» Гумилев в лазарете написал несколько рецензий на сборники стихов молодых поэтов: М. Левберг, Т. Чурилина, М. Долинова. Как обычно, подвергая стихи жесткой критике, он находил слова одобрения начинающим авторам: «М. Долинов бесспорно культурен, умеет писать стихи, но он какой-то Епиходов поэзии, и неудача — она такая же крылатая, как ее сестра удача — преследует его на каждом шагу, заставляя совершать ряд неловкостей:

Нагорный ключ благословенной лени!
Я преклонил косматые колени…

и лишь затем выясняется, что разговор идет не о человеке, а о Фавне:

Увы, не помню майской даты,

Весь день валяюсь, как чурбан…
……
Твой белый мрамор розами увит,
И цепью связаны четыре тумбы…

…И в этом море промахов тонут действительно удачные строфы, показывающие, что не поэтом назвать Долинова нельзя».

Кашель почти прекратился, но доктор при обходе заговаривал о комиссии, которая признает Гумилева негодным к военной службе. Такая перспектива очень беспокоила Николая Степановича. Он всегда считал, что болеть — недостойно настоящего мужчины, это удел слабых и жалких интеллигентов, каких-нибудь разночинцев вроде Белинского или Добролюбова. Лежа в постели, он смотрел в потолок, а перед глазами проплывали лица улан, стычки с противником, мерное покачивание в седле на марше. Тоскливое чувство сжимало сердце: неужели он никогда не вернется в свой эскадрон? А когда русские и союзные войска войдут в Берлин, его не будет среди победителей, не сбудутся мечты:

Хорошо с египетским сержантом
По Тиргартену пройти,
Золотой Георгий с бантом
Будет биться на моей груди.

Перед сном он молился о ниспослании ему здоровья, молитвы вызывали поэтические образы, слова слагались в стихи:

Лежал истомленный на ложе болезни
(Что горше, что тягостней ложа болезни?),
И вдруг загорелись усталые очи:
Он видит, он слышит в священном восторге —
Выходят из мрака, выходят из ночи
Святой Пантелеймон и воин Георгий.

Вот речь начинает святой Пантелеймон
(Так сладко, когда говорит Пантелеймон):
«Бессонны твои покрасневшие вежды,
Пылает и душит твое изголовье,
Но я прикоснусь к тебе краем одежды
И в жилы пролью золотое здоровье».

И другу вослед выступает Георгий

(Как трубы победы, вещает Георгий):
«От битв отрекаясь, ты жаждал спасенья,
Но сильного слезы пред Богом неправы,
И Бог не слыхал твоего отреченья,
Ты встанешь заутра, и встанешь для славы».

И скрылись, как два исчезающих света
(Средь мрака ночного два яркие света).
Растущего дня надвигается шорох,
Вот солнце сверкнуло, и встал истомленный
С надменной улыбкой, с весельем во взорах
И с сердцем, открытым для жизни бездонной.

(«Видение»)

Постоянные просьбы и требования Гумилева в конце концов заставили лазаретное начальство выписать его. В начале мая он был уже в своем полку.

Кавалерийскую дивизию оттянули с фронта для переброски на юг, к Владимиру-Волынскому, а вскоре началось отступление через Брест-Литовский по Московскому шоссе. В это время дивизия перешла в состав 3-й армии генерала Леша.

Бой 6 июля 1915 года Гумилев считал самым знаменательным в его жизни. Вот как описан этот бой в его «Записках кавалериста»:

> «Накануне зарядил затяжной дождь. Каждый раз, как надо было выходить из домов, он усиливался. Так усилился он и тогда, когда поздно вечером нас повели сменять сидевшую в окопах армейскую кавалерию.
>
> Дорога шла лесом, тропинка была узенькая, тьма — полная, не видно вытянутой руки. Если хоть на минуту отстать, приходилось скакать и натыкаться на обвисшие ветви и стволы, пока, наконец, не наскочишь на круп передних коней. Не один глаз был подбит, и не одно лицо расцарапано в кровь…
>
> Наконец, пройдя версты три, мы уткнулись в бугор, из которого, к нашему удивлению, начали вылезать люди. Это и были те кавалеристы, которых мы пришли сменить…
>
> Собственно говоря, окопа не было. По фронту тянулся острый хребет невысокого холма, и в нем был пробит ряд ячеек на одного-двух человек с бойницами для стрельбы… Чуть стало светать, нас разбудили:

неприятель делает перебежку и окапывается, открыть частый огонь…

Нам надо было пробежать с версту по совершенно открытому полю, превратившемуся в болото от непрерывного дождя…

Вскоре на бугре показались и австрийцы. Они шли сзади шагах в двухстах и то стреляли, то махали нам руками, приглашая сдаться. Подходить ближе они боялись, потому что среди нас рвались снаряды их артиллерии. Мы отстреливались через плечо, не замедляя шага.

Слева от меня из кустов послышался плачущий крик: „Уланы, братцы, помогите!“ Я обернулся и увидел завязший пулемет, при котором остался только один человек из команды да офицер. „Возьмите кто-нибудь пулемет“, — приказал ротмистр. Конец его слов был заглушен громовым разрывом снаряда, упавшего среди нас. Все невольно прибавили шагу.

Однако в моих ушах все стояла жалоба пулеметного офицера, и я, топнув ногой и обругав себя за трусость, быстро вернулся и схватился за лямку. Мне не пришлось в этом раскаяться, потому что в минуту большой опасности нужнее всего какое-нибудь занятие. Солдат-пулеметчик оказался очень обстоятельным. Он болтал без перерыва, выбирая дорогу, вытаскивая свою машину из ям и отцепляя от корней деревьев. Не менее оживленно щебетал и я. Один раз снаряд грохнулся шагах в пяти от нас. Мы невольно остановились, ожидая разрыва. Я для чего-то стал считать — раз, два, три. Когда я дошел до пяти, я сообразил, что разрыва не будет. „Ничего на этот раз, везем дальше… что задерживаться?“ — радостно объявил мне пулеметчик. И мы продолжили свой путь.

Кругом было не так благополучно. Люди падали, одни ползли, другие замирали на месте. Я заметил шагах в ста группу солдат, тащивших кого-то, но не мог бросить пулемета, чтобы поспешить им на помощь. Уже потом мне сказали, что это был раненый офицер нашего эскадрона. У него были прострелены нога и голова. Когда его подхватили, австрийцы открыли особенно ожесточенный огонь и переранили несколько несущих. Тогда офицер потребовал, чтобы его положили на землю, поцеловал и перекрестил бывших при нем солдат и решительно приказал им спасаться. Нам всем было его

жаль до слез. Он последний со своим взводом прикрывал общий отход…[9]

Наконец мы достигли леса и увидели своих коней. Пули летали и здесь, один из коноводов был даже ранен, но мы все вздохнули свободно, минут десять пролежали в цепи, дожидаясь, пока уйдут другие эскадроны, и лишь тогда сели на коней…

Вечерело. Мы весь день ничего не ели и с тоской ждали новой атаки впятеро сильнейшего врага. Особенно удручающе действовала время от времени повторяющаяся команда: „Опустить прицел на сто!“ Это значило, что на столько же шагов приблизился к нам неприятель».

За спасение пулемета под огнем противника унтер-офицер Гумилев приказом по 2-й гвардейской кавалерийской дивизии был награжден Георгиевским крестом 3-й степени.

До середины августа шли упорные бои. Тяжелая артиллерия немцев непрерывно обстреливала позиции 14-го армейского корпуса, прусская гвардейская дивизия пыталась прорвать фронт, лейб-гвардии уланы с приданной им артиллерией вели упорные бои. Иногда нашим частям удавалось потеснить противника, это вызывало всеобщее ликование: «Дивное зрелище — наступление нашей пехоты <…>. Как гул землетрясений грохотали орудийные залпы и несмолкаемый треск винтовок; как болиды летали гранаты, рвалась шрапнель. Действительно, по слову поэта, нас призвали всеблагие, как собеседников на пир, и мы были зрителями их высоких зрелищ. И я, и изящный поручик с браслетом на руках, и вежливый унтер, и рябой запасной, бывший дворник, мы оказались свидетелями сцены, больше всего напоминавшей третичный период земли».

Свое отношение к войне поэт выразил в нескольких строках:

Барабаны, гремите, трубы, ревите, а знамена везде взнесены:
Со времен Македонца такой не бывало грозовой и чудесной войны.

22 сентября приказом по полку Гумилев был направлен в школу прапорщиков и через день уже прибыл в Царское Село. Дома его ждала приятная неожиданность: на несколько дней в отпуск приехал его брат-поручик с женой. Митя с бурым от загара, обветренным лицом и темными усами был очень эффектен.

Обучаясь в школе прапорщиков, Гумилев начал хлопотать о переводе его в Александрийский гусарский полк. В уланском полку к нему относились хорошо, но все же он постоянно замечал свое неравное с офицерами положение. Болезненно самолюбивый, он все больше и больше тяготился этим. Если первые месяцы войны его увлекали опасные эпизоды, стычки с противником, рейды по тылам немцев и ему казалось, что он своей храбростью завоюет всеобщее признание, то постепенно все это стало привычным, будничным. Офицерский чин стирал невидимую грань, когда любой корнет мог поставить поэта Гумилева по стойке «смирно».

В уланском полку слишком привыкли, что он всего лишь младший унтер-офицер. Понятны и другие причины, по которым Гумилев хотел стать гусаром — как герой Отечественной войны поэт Денис Давыдов, как путешественник по Абиссинии гусарский ротмистр Булатович.

Занятия в школе прапорщиков не мешали Николаю Степановичу опять окунуться в литературную жизнь Петрограда. Он старался оживить Цех Поэтов, распавшийся накануне войны. Состав Цеха изменился, пришли новые участники: Шилейко, Михаил Струве, Тумповская, Адамович, Зенкевич, Оцуп. Опять в столичных журналах печатались стихи и критические статьи Гумилева, он выступал на литературных диспутах, будто и не было окопов, шрапнельных разрывов над головой, бессонных ночей в седле.

Как-то к Николаю Степановичу зашел Шилейко, пополневший, в модном приталенном пальто. Теперь он жил во дворце графа Шереметева и почему-то пользовался особым расположением его сиятельства.

Шилейко сообщил, что ему удалось прочитать замечательные ассирийские клинописи, эпос о Гильгамеше. Не привлекла бы Гумилева идея перевести эти изумительные стихи? Он уже достаточно повоевал, пора вернуться к поэзии. Гумилев задумался над этим предложением. Однако война для него еще не закончилась.

После долгого перерыва он пришел на очередной «Вечер Случевского», проходивший на квартире В. П. Лебедева. Собрались почти все члены кружка и несколько молодых начинающих поэтов. Пришел известный библиограф и знаток поэзии П. В. Быков, пришел старенький учитель немецкого языка, постоянный член кружка Ф. Ф. Фидлер, у которого Гумилев учился во 2-м классе гимназии Гуревича. Молодую поэтессу Марию Левберг, еще не принятую в члены кружка, сопровождал В. В. Курдюмов, стихи которого незадолго до войны жестко

критиковал Гумилев на страницах «Аполлона».

Читали стихи, и Николай Степанович прочел стихотворение «Война»:

Но тому, о Господи, и силы,
И победы царский час даруй,
Кто поверженному скажет: «Милый,
Вот, прими мой братский поцелуй!»

Подышав полной грудью воздухом литературного Петербурга, Николай Степанович уже не так, как прежде, стремился на фронт. Война в конечном счете была для него прежде всего захватывающей поэтической темой. Всегда и во всем Гумилев оставался поэтом — верным слугой своей музы.

ГЛАВА X
Черные гусары смерти

После окончания школы прапорщиков приказом главнокомандующего армиями Западного фронта генерал-адъютанта Иванова 28 марта 1916 года Гумилев получил первый офицерский чин и был переведен в 5-й гусарский Александрийский полк. В отличие от других этот полк называли «Черные гусары», иногда — «бессмертные» или даже «гусары смерти». Служившие в полку носили черную форму.

Гумилеву очень нравилась эта форма. Позже им написано о себе в третьем лице:

Он не ведал жалости и страха,
Нес на стремени он черный стяг,
И была украшена папаха
Черепом на скрещенных костях.

Несколько лет спустя художница Наталья Гончарова нарисовала дружеский шарж, изобразив поэта в форме черного гусара верхом на жирафе.

10 апреля 1915 года Гумилев прибыл в штаб полка, стоявший в Аузини, или, по-русски, в Овсеевке, неподалеку от Двинска, и получил назначение в 4-й эскадрон к подполковнику Алексею фон Радецкому.

Полк занимал позиции по Двине в районе фольварка Арандоль. Появление в полку нового прапорщика было встречено с недоверием — какой-то, говорят, литератор, был в уланах, теперь за что-то переведен в гусары… Подозрительной казалась и внешность: медлительный в движениях, он выглядел человеком необщительным или застенчивым, хотя хорошо воспитанным, деликатным.

Но с первых же вылазок отношение к Гумилеву стало меняться: в храбрости ему бы не отказал никто. В полку рассказывали, как штаб-ротмистры Шахназаров и Посажной шли с прапорщиком Гумилевым по открытому полю и возле опушки леса из-за Двины их накрыла длинная пулеметная очередь; пули сбили ветви и листья с березы и свистели над самой головой. Оба ротмистра прыгнули в окоп, а Гумилев достал из портсигара папиросу, помял ее пальцами, постучал мундштуком о крышку, зажег спичку, заслонил ее ладонью от ветра, прикурил и только после этого спрыгнул в окоп.

Рассказывали о новом прапорщике и вовсе небылицы: будто бы, скитаясь по дикой Африке, он там женился на дочери какого-то вождя, даже имел от нее ребенка, а потом организовал из негров войско и почти присоединил Сахару к России, только наше правительство отказалось от такого приобретения. И будто бы в Абиссинии до сих пор поют песню про Гумилева:

Нет ружья лучше маузера!
Нет вахмистра лучше З-Бель-Бека!
Нет начальника лучше Гумилеха!

Многие александрийские гусары баловались стихоплетством, но оценить Гумилева как поэта его сослуживцы не могли. Только полковник А. Н. Коленкин, человек образованный и просвещенный, напоминал офицерам, что Гумилев признанный крупный поэт.

Как-то вскоре после Пасхи в штаб полка прибыл по делам штаб-ротмистр Карамзин и, познакомившись с Гумилевым, принялся выяснять с ним, какого воинского чина заслуживал бы по своим литературным заслугам тот или другой поэт. Гумилев, увлекшись этой игрой, сказал, что Блок вполне на «генерал-майора» вытянет, а вот Бальмонт в признание его больших трудов может считаться «штабс-капитаном».

Пробыл Гумилев в гусарском полку меньше месяца: опять начался процесс в легких, поднялась температура, усилился кашель. 5 мая его отправили в привилегированный лазарет Большого дворца в Царском Селе. Этот лазарет часто навещали августейшие особы: великая княжна Ольга Николаевна, ее сестра Татьяна Николаевна. Однажды появилась в сопровождении большой свиты вдовствующая царица Мария Федоровна — маленькая, морщинистая женщина, говорившая с заметным немецким акцентом.

Упросив доктора отпустить его из лазарета, 9 мая Николай Степанович пришел к Ясинским на Черную речку, где должно было состояться заседание кружка Случевского. На этот раз вечер прошел скучно: не было ни только крупных поэтов, но даже молодежи — одни незнакомые старички, о чем-то брюзжавшие по углам.

Несколько лет спустя дочь Ясинских уверяла, что именно в тот вечер у них был молодой поэт Сергей Есенин, смотревший во все глаза на знаменитого мэтра.

В лазарете было интереснее: заехал Лозинский, очень интересно рассказывал о новых стихах Блока, о готовящемся вечере Брюсова в Тенишевском училище. Пришел Георгий

Иванов, забавно говорил об увлечении Кузмина начинающим литератором Юрочкой Юркуном. Сестра милосердия Ольга Арбенина навестила палату со своей подругой по лазарету — Аней Энгельгардт. Эта тоненькая, хрупкая девушка с большими карими глазами, нежным и безвольным ртом очень понравилась Николаю Степановичу. Когда 14 мая на вечере в Тенишевском училище Гумилев среди публики узнал Энгельгардт, он очень обрадовался и, протиснувшись, сел рядом с ней. Говорили о поэзии. Она знала на память много стихов, и его, гумилевских, тоже, и внимательно слушала его слова, доверчиво смотря в глаза.

Через две недели врачи отправили Гумилева на лечение в Массандру, опасаясь, что бронхиты приведут к чахотке.

Перед отъездом в Крым он побывал в Слепневе, где летом жили Анна Ивановна с Левой. Анна Андреевна в это время была у близких в Севастополе. В старом доме с потрескивающими половицами, книжными полками и лампадками перед образами казалось так уютно после фронта. Впервые война показалась Гумилеву кровавым кошмаром, когда люди стараются убить как можно больше людей, когда окровавленные трупы не вызывают содрогания.

Через несколько дней он уже был в Массандре. Море было тихое, на блестящей поверхности виднелись то голубые, то ярко-зеленые полосы. Сладкое волнение охватило его:

Боже! Будь я самым великим князем,
Но живи от моря вдалеке,
Я б, наверно, повалившись наземь,
Грыз ее и бил в слепой тоске!

(«Тоска по морю»)

Дни проходили за днями, кашель прекратился, вместе со здоровьем возвращались и поэтические образы. Целыми часами Гумилев бродил по берегу, ничего вокруг не замечая, вслушиваясь в себя: стихи еще не родились, но все томительнее становилось чувство, что вот-вот зазвучат новые строфы. Это было воспетое им шестое чувство:

Так век за веком — скоро ли, Господь? —
Под скальпелем природы и искусства
Кричит наш дух, изнемогает плоть,
Рождая орган для шестого чувства.

(«Шестое чувство»)

Торжественный настрой охватывал душу поэта. Он думал о самопожертвовании — не оно ли высшее проявление божественного духа? И правда ли, что «светло и свято дело величавое войны»? Вспоминался немецкий солдат, лежавший навзничь, раскинув руки, среди белых ромашек, его лицо, по которому ползали зеленые мухи. Уже появлялись первые, еще не связанные воедино строки:

Для чего безобразные трупы
На коврах многоцветных весны?

Предстояло возвращение в полк. Если совсем недавно оно было бы радостным и желанным, то теперь Гумилев испытывал тоскливое чувство. Он понял, что мало быть храбрым воином. Надо стать настоящим офицером, а не прапорщиком, которого никто не принимает всерьез. Надо сдать экзамен в училище, получить чин корнета, и это сделает его равным среди офицеров… Нет, не равным, он будет выше их, он получит все четыре Георгия, и ему будут завидовать.

Перед отъездом из Крыма хотелось повидать жену: видимо, она все еще жила в Севастополе, хотя ни одного письма от нее не было. 10 июля он приехал в Севастополь, но Ахматова уже была у матери в Киеве.

И тут ему очень захотелось повидать Аню Энгельгардт. Узнав, что Аня у дяди и тети в Иваново-Вознесенске, Николай Степанович, не раздумывая, направился туда же.

Семья врача местной больницы жила в собственном доме с чудесным садом, полным цветов. Когда Гумилев подошел к калитке, его охватил сладкий, медовый дух цветущих лип.

Его встретил мальчик лет четырнадцати, который с восхищением смотрел на гусарскую форму, изогнутую саблю и не сразу понял, что гвардейский офицер спрашивает его сестру Аню. За большим обеденным столом гостя угощали чаем с домашним печеньем и вареньем в вазочках. Николай Степанович был предельно вежлив и предупредителен со всеми. После чая они с Аней долго сидели вдвоем в садовой беседке, увитой диким виноградом. С вечерним поездом Гумилев уехал.

Пройдя медицинскую комиссию в Петрограде, Гумилев 25 июля возвратился в полк. Черные гусары продвинулись с боями к Шлосс-Ленбургу, близ Сигулды. Здесь 8 июля 1901 года, купаясь в реке, утонул Иван Коневской, двадцатичетырехлетний поэт, которого называли одним из создателей символизма. Николай Степанович знал его стихи и его судьбу, помнил и стихи Валерия

Брюсова «На могиле Ивана Коневского»:

Я посетил твой прах, забытый и далекий.
На сельском кладбище, среди простых крестов,
Где ты, безвестный, спишь, как в жизни одинокой
Любовник тишины и несказанных снов.

Зегевальд — прелестное местечко, прозванное Ливонской Швейцарией; в его окрестностях, на лесистых холмах виднелись развалины рыцарских замков. Гумилев представлял себе их гордых владельцев, закованных в черные латы и кольчуги, и эти видения постепенно переплавлялись в романтические образы. Какие-то из них отзываются в романтической поэме «Гондла», какие-то — в трагедии «Красота Морни». Отрывок из нее появился в печати через шестьдесят с лишним лет после гибели автора.

Август выдался сухой и жаркий. На фронте наступило затишье. В расположении эскадрона стоял благостный покой.

С восходом солнца отряд седлал коней для парфорской охоты — так называли в полку скачки по бездорожью. Участие в скачках было добровольным, но на тех, кто боялся сломать себе шею, смотрели с презрением. А опасность действительно была большая. Особенно трудно было справиться с изгородями, за которыми обычно оказывались канавы, полные воды. Каждый раз кто-нибудь из всадников падал вместе с лошадью — счастье, если отделывался ушибами.

Николай Степанович сразу по возвращении в эскадрон принял участие в этой охоте. И не только не слетел с коня, а опередил испытанных всадников. Отношение к нему сразу изменилось. Одни прониклись уважением, другие — недоброжелательством.

Офицеры устраивали застолья, чествовали победителей в скачках или отмечали чьи-нибудь именины. Часто во время таких пирушек раздавалось постукивание ножа о край тарелки, разговоры смолкали. Медленно поднимался Гумилев и размеренно, чуточку подчеркивая ритм, читал. Особенно нравились гусарам его стихи об Абиссинии, такие как «Дагомея», где прославлено мужество и беспрекословное повиновение воле своего повелителя:

Царь сказал своему полководцу: «Могучий,
Ты велик, словно слон дагомейских лесов,
Но ты все-таки ниже торжественной кучи

Отсеченных тобой человечьих голов.

И как доблесть твоя, о единственный воин,
Так и милость моя не имеет конца.
Видишь солнце над морем? Ступай! Ты достоин
Быть слугой моего золотого отца».

Барабаны забили, защелкали бубны,
Преклоненные лица завыли вокруг,
Амазонки запели протяжно, и трубный
Прокатился по морю от берега звук.

Полководец царю поклонился в молчанье
И с утеса в бурливую воду прыгнул,
И тонул он в воде, а казалось, в сиянье
Золотого закатного солнца тонул.

Оглушали его барабаны и крики,
Ослепляли соленые брызги волны,
Он исчез. И блистало лицо у владыки,
Точно черное солнце подземной страны.

Читал Гумилев и подражание абиссинским песням:

Я служил пять лет у богача,
Я стерег в полях его коней,
И за то мне подарил богач
Пять быков, приученных к ярму.

Одного из них зарезал лев,
Я нашел в траве его следы, —
Надо лучше охранять крааль,
Надо на ночь разжигать костер.

А второй взбесился и сбежал,
Звонкою ужаленный осой,
Я блуждал по зарослям пять дней,
Но нигде не мог его найти.

Двум другим подсыпал мой сосед
В пойло ядовитой белены,
И они валялись на земле
С высунутым синим языком.

Заколол последнего я сам,
Чтобы было чем попировать
В час, когда пылал соседский дом
И вопил в нем связанный сосед.

(«Пять быков»)

Эта песня очень понравилась слушателям, которые нашли справедливой месть владельца быков. Долго вспоминали сослуживцы и здравицу, сочиненную ко дню рождения корнета Балясного. Там были такие строки:

К тому же он винтер прекрасный
И может выпить самовар.
Итак, да здравствует Балясный,
Достопочтенный юбиляр!

К полковому празднику Гумилев написал мадригал полковнику Коленкину и прочел его на банкете под гром аплодисментов:

В вечерний час на небосклоне
Порой промчится метеор,
Мелькнув на миг на темном фоне,
Он зачаровывает взор.

Таким же точно метеором
Прекрасным огненным лучом
Пред нашим изумленным взором
И Вы явились пред полком.

И озаряя всех приветно,
Бросая всюду ровный свет,
Вы оставляете заметный,
И — верьте — незабвенный след.

После долгого раздумья Гумилев подал рапорт с просьбой допустить его к экзаменам на офицерский чин. 16 августа он был командирован в Николаевское военное училище, снял квартиру на Литейном и явился в канцелярию.

Предстояли экзамены по 17 дисциплинам, среди которых были фортификация с практическими занятиями, решение

тактических задач, топографическая съемка и другие специальные предметы. Надо было сдавать и немецкий язык, который он ненавидел еще со времен гимназии Гуревича. Гумилев подал рапорт в Главное управление военно-учебных заведений о замене на экзамен по французскому и получил разрешение.

Зачисленный в училище Гумилев опять почувствовал себя свободным поэтом. Выслушивать нудные объяснения полковника-артиллериста о ведении огня с закрытой позиции казалось скучным и ненужным. Другие дисциплины были не лучше.

В начале сентября в «Приюте комедиантов» был вечер молодой поэтессы Ларисы Рейснер. Николай Степанович впервые пришел в это артистическое кабаре, сменившее «Бродячую собаку», закрытую полицией за нарушение «сухого закона».

Со сцены читала отрывки из своей поэмы высокая, яркая девушка с огромными серо-зелеными глазами. В небольшом зале, где за чашкой черного кофе сходились рафинированные представители интеллектуального мира столицы, ее надменная красота особенно бросалась в глаза. Худощавый прапорщик в черном мундире с двумя «Георгиями», сидевший за столиком, не отрываясь смотрел на юную поэтессу большими холодными глазами.

Лариса знала этого гусара, знала его прямые, резкие критические суждения о поэзии. Стихи Рейснер, кажется, никого не волновали, но для нее это было не так уж важно. Она отчетливо видела одного Гумилева, который улыбался, одобряя не стихи, а ее красоту. Это было ужасней самой строгой критики, и все-таки холодный пристальный взгляд Гумилева притягивал Ларису.

Подошел молоденький поэт Всеволод Рождественский, поздравив с успехом: Гумилеву понравилось. Знакомство состоялось тут же. И начался новый, нетривиальный роман между романтиком-конквистадором и романтиком-революционером.

Лариса Михайловна Рейснер, дочь профессора М. А. Рейснера, была на девять лет моложе Гумилева. Перед войной ее отец читал курс права в Томском университете, но вынужден был оставить должность после того, как В. Бурцев выступил с разоблачением его сотрудничества с охранным отделением. Рейснеры переехали в Петербург, он стал приват-доцентом Санкт-Петербургского университета. Лариса, родившаяся в Люблине, училась в Петроградском психоневрологическом институте, одновременно слушая лекции в университете.

О ее красоте вспоминали многие мужчины. «Я помню то

ощущение гордости, которое охватывает меня, когда мы проходили с нею узкими переулками Петербургской стороны… Не было ни одного мужчины, который прошел бы мимо, не заметив ее, и каждый третий — статистически точно установлено — врывался в землю столбом и смотрел вслед, пока мы не исчезали в толпе», — свидетельствует Вадим Андреев, сын писателя. «Русокосой надменной красавицей» назвал Ларису ее ровесник Всеволод Рождественский. Только Ахматовой Рейснер показалась «похожей на подавальщицу в немецком кабачке».

Вскоре Гумилев вновь встретился с Рейснер в «Приюте комедиантов». Теперь они сидели за столиком вдвоем, и Гумилев рассказывал, что в Массандре, в нежном лепете морских волн он явственно слышал имя «Лера», о своих замыслах написать трагедию из скандинавского эпоса, где будет героиня с таким именем. Потом было медленное блуждание по ночным, опустелым улицам Петербургской стороны — «как по руслам высохших рек». 23 сентября в ответ на полученное от Рейснер письмо Николай Степанович послал ей стихи:

Что я прочел? Вам скучно, Лери,
И под столом лежит Сократ.
Томитесь Вы по древней вере? —
Какой отличный маскарад!
……
Я был у Вас совсем влюбленный,
Ушел, сжимаясь от тоски,
Ужасней шашки занесенной
Жест отстраняющей руки.

Теперь, забросив фортификацию, Гумилев по ночам работал над своей драматической поэмой. Лариса Рейснер вдохновляла его, становясь в воображении исландской девой, живущей среди свирепых воинов-волков. Таинствен облик этой девушки: днем она — Лера, воспитанная жестокими обычаями и обрядами язычников, стремящихся к власти, ночью совсем иная, тоскующая, нежная и страстная Лаик. Такое соединение противоположных характеров поэт угадал в реальном прототипе: Лариса сочетала в себе дерзкий порыв к борьбе, к победе и тонкое понимание поэзии, нежность чувств, даже религиозность, хотя и с примесью легкой иронии.

«Гондла» — так поэт назвал драматическую поэму — написана в форме монологов и диалогов. В ее основе — давно волновавшее поэта столкновение зла и добра в человеческой жизни. Зло — это жажда власти, беззаконие, эгоизм, душевная

грубость, которыми в поэме наделены язычники. Добро олицетворяют христиане-ирландцы с их смирением, милосердием, любовью к ближнему. Поэт для них равноценен королю, тогда как грубые исландцы ненавидят и презирают искусство.

Фабула поэмы сложна. Король исландцев задумал выдать свою дочь Леру за ирландского королевича и тем объединить обе державы. Но на пути из Ирландии происходит подмена, и вместо королевича прибывает Гондла, сын ирландского поэта, слабый телом горбун. Большинство исландцев и их вождь не знают о подмене, и Леру выдают замуж за горбуна. Но брак не состоялся: исландские воины подсылают одного из своих на брачное ложе Леры до Гондлы, этим нанося ему страшный удар. К тому же обнаруживается, что Гондла — не королевич, а сын «жалкого скальда». В драматических коллизиях проявляется высокий дух Гондлы. Любовная страсть к Лере-Лаик одухотворена другой, более глубокой христианской любовью, всепрощением и жертвенностью во имя спасения души. Сама физическая жажда оказывается греховной — ведь Лера, как выяснилось, сводная сестра Гондлы, и только случайность предотвращает кровосмешение. Лера стремится к власти, она хочет быть королевой, и ей, дневной, не нужен жалкий горбун. А Гондла, узнав о своем происхождении, понимает, что его путь — иной:

Мой венец не земной, а небесный,
Лаик, терны — алмазы его.

Отождествляя Ларису Рейснер с Лерой-Лаик, поэт отождествляет себя с Гондлой: некрасивым, слабым горбуном, но духом более сильным, чем его грубые соперники — Снорре, Груббе, Лаге. На предложение Ахти идти войной на датчан Гондла отвечает:

Ахти, мальчик жестокий и глупый,
Знай, что больше не будет войны.
Для чего безобразные трупы
На коврах многоцветной весны?

Уже зная, что в Ирландии он провозглашен королем и может, взяв свою сестру Лаик, вернуться на родину, Гондла приносит себя в жертву ради того, чтобы обратить язычников-исландцев в христианство:

Вы отринули таинство Божье,
Вы любить отказались Христа,
Да, я знаю, вам надо подножье
Для Его пресвятого креста!
[ставит себе меч на грудь]
Вот оно. Я вином благодати
Опьянился и к смерти готов,
Я монета, которой Создатель
Искупает спасенье волков.

Религиозное чувство, потребность искупительной жертвы поэт переносит и на себя. Он тоже готов отдать жизнь «за други своя», надеясь обрести прощение всех своих наслаждений бурной жизнью. Остается и глубоко скрытая обида Гондлы за поруганную честь, хотя эта обида и прощена во имя братской любви.

Поэма писалась легко и быстро. Но Гумилев из суеверия никому не говорил о своем труде.

1 октября он послал письмо жене, проводившей время в Слепневе:

> «Дорогая Анночка, больше двух недель от тебя нет писем — забыла меня. Я скромно держу экзамены, со времени последнего письма выдержал еще три, осталось еще только четыре [из 15][10], но среди них артиллерия — увы! Сейчас готовлю именно ее. Какие-то шансы у меня все-таки есть… Адамович с Г. Ивановым решили устроить новый цех, пригласили меня. Первое заседание провалилось, второе еще будет. Я ничего не пишу [если не считать двух рецензий для Биржевки][11], после экзаменов буду писать [говорят, мы просидим еще месяца два]. Поблагодари Андрея за письмо. Он пишет, что у вас появилась тенденция меня идеализировать. Что это так вдруг. Целую тебя, моя Анечка, кланяйся всем, твой Коля».

Шансов успешно сдать экзамены оказалось мало: он не сумел решить тактические задачи и провалился по топографической съемке, а испытание по фортификации не держал вовсе. Средний балл по всем экзаменам составил 8,42[12]. Разрешалась переэкзаменовка, но Николай Степанович от нее отказался, поняв, что он — поэт, а не кадровый офицер. Припомнились слова А. К. Толстого:

Исполнен высшим идеалом,

Я не рожден служить, а петь;
Не дай мне, Феб, быть генералом,
Не дай безвинно поглупеть!

27 октября Гумилев возвратился в полк.

Даже за те два месяца, что он пробыл в Петрограде, положение на фронте заметно изменилось. Повсюду чувствовалась апатия, усталость, падение дисциплины, неверие в победу. Приуныли и гусары-офицеры, застолья кончились. У Гумилева было много свободного времени, он усердно работал над «Гондлой», писал письма Рейснер: «„Лера, Лера, надменная дева, ты, как прежде, бежишь от меня“. Больше двух недель, как я уехал, а от Вас ни одного письма. Не ленитесь и не забывайте меня так скоро, я этого не заслужил. Я часто скачу по полям, крича навстречу ветра Ваше имя, снитесь Вы мне почти каждую ночь. И скоро я начинаю писать новую пьесу, причем, если Вы не узнаете в героине себя, я навек брошу литературную деятельность».

Рейснер тоже писала на фронт «Гафизу», как она называла Гумилева: «Милый Гафиз, Вы меня разоряете. Если по Каменному дойти до самого моста, до барок и большого городового, который там зевает, то слева будет удивительная игрушечная часовня. И даже не часовня, а две каменных ладони, сложенные вместе со стеклянными, чудесными просветами. И там не один св. Николай, а целых три. Один складной и два сами по себе. И монах сам не знает, который влиятельней. Поэтому свечки ставятся всем уже заодно. Милый Гафиз, если у Вас повар, то это уже очень хорошо, но мне трудно Вас забывать. Закопаешь все по порядку, так что станет ровное место, и вдруг какой-нибудь пустяк, ну, мои старые духи или что-нибудь Ваше, и вдруг начинается все сначала, и в историческом порядке. Завтра вечер поэтов в Университете, будут все Юркуны, которые меня не любят, много глупых студентов и профессора, вышедшие из линии обстрела. Вас не будет, милый Гафиз. Сейчас часов семь, через полчаса я могу быть на Литейном, в такой сырой, трудный, долгий день. Ну, вот и довольно».

А война продолжалась. Не было кавалерийских стычек, рейдов по тылам противника, опасных разведок, все стало тоскливо и скучно. Целую неделю приходилось сидеть в окопе на наблюдательном пункте, в блиндаже было холодно, с потолка капало на сколоченный из досок стол, по которому бегало несколько огромных крыс.

Трагедия «Гондла» была закончена и отослана в редакцию

журнала «Русская мысль». Как обычно, напряжение, сопутствующее большой работе, сменилось приятной расслабленностью и желанием отдыха.

В конце января Гумилев получил командировку в Окуловку Новгородской губернии на заготовку сена для кавалерийской дивизии. По пути он заехал в Петроград, зашел к Лозинскому. Друзья целый вечер провели вдвоем, Николай Степанович читал еще не оконченную поэму «Мик», Михаил Леонидович, сидя в кресле, иногда вставлял свои замечания. Утром Гумилев на один день поехал в Слепнево, где жила его мама с Левушкой. В доме было тихо, уютно, Левушка играл на полу, сидя на леопардовой шкуре, которую его отец привез из Абиссинии.

На следующий день Гумилев, подходя к Варшавскому вокзалу, не заметил генерала и был посажен за то, что не отдал честь, на ближайшую гауптвахту. Через сутки Гумилев уже был в Окуловке. Он поселился в избе вместе с интендантом Никитиным, маленьким седеньким человеком, который страшно много курил. Никитин получал почту, читал без разбора: то «Биржевые ведомости», то «Петроградскую газету», то «Речь» — и очень нервничал, встречая сообщения о забастовке на Путиловском заводе, о выступлении в Государственной Думе депутата с требованием сократить военные расходы.

Приобретя лыжи, Гумилев в свободное от службы время отправлялся охотиться на зайцев. А когда начиналась метель, Николай Степанович, лежа на кровати, читал книгу философа Павла Флоренского «Столп и утверждение истины». Ему нравились высказывания автора о церковности: «Вот имя тому пристанищу, где усмиряются тревоги сердца, где усмиряются притязания рассудка, где великий покой нисходит в разум».

Вместе с письмами друзья прислали из Петрограда номера тоненького журнальчика «Рудин»; на обложке был силуэт молодого человека с прической и галстуком прошлого века. Издавал журнал отец Ларисы Рейснер, который хотел, по его выражению, «первым бросить камень в толстую рожу кого-то, кто воюет и сидит в Думе». Журнал был открыто оппозиционный, направленный против войны. Александр Блок так отозвался об этом издании: «В 1915–1916 гг. Рейснеры издавали в Петербурге журнальчик „Рудин“, так называемый „пораженческий“ в полном смысле, до тошноты плюющийся злобой и грязный, но острый. Мамаша писала под псевдонимом рассказы, пропахнувшие „меблирашками“. Профессор („Барон“) писал всякие политические сатиры, Лариса — стихи и статейки. Злые карикатуры на Бальмонта, Городецкого, Клюева, Ремизова и Есенина по поводу „Красы“ Ясинского и „Биржевки“. Лариса

(Л. Храповицкая) о грязи и порнографии Брюсова. Отвратительная по грязи карикатура на Струве».

Можно себе представить, как воспринял этот журнал георгиевский кавалер, русский патриот Гумилев, читая памфлеты, написанные девушкой, в которую он был влюблен. Нежная Лаик на самом деле оказалась волчицей Лерой! Даже не просмотрев журнал до конца, Гумилев велел денщику бросить его в топящуюся печку. Остался противный осадок, точно он прикоснулся к чему-то липкому и мерзкому. Политикой Гумилев не интересовался, мало что в ней понимал, но грубое оскорбление в печати уважаемых поэтов его коробило, коробили и призывы к поражению России в войне.

9 февраля он написал открытку:

> «Лариса Михайловна, я уже в Окуловке. Мой полковник застрелился, и приехали рабочие, хорошо еще, что не киргизы, а русские. Я не знаю, пришлют ли мне другого полковника или отправят в полк, но, наверно, скоро заеду в город. В книжн. Маг. Лебедева, Литейный (против Армии и Флота), есть и Жемчуга, и Чужое небо. Правда, хорошие китайцы на открытке? Только негде писать стихотворенье.
>
> Иск. Пред. Вам
>
> *Н. Гумилев».*

Тон открытки говорит о том, что дым любви рассеялся или поэт поборол эти чувства. Лариса Михайловна отнеслась к охлаждению иначе. Вот ее последнее письмо к Гумилеву: «В случае моей смерти все письма вернутся к Вам. И с ними то странное чувство, которое нас связывало, и такое похожее на любовь. И моя нежность — к людям, к уму, поэзии и некоторым вещам, которая — благодаря Вам — окрепла, отбросила свою собственную тень среди других людей — стала творчеством. Мне часто казалось, что Вы когда-то должны еще раз со мной встретиться, еще раз говорить, еще раз все взять и оставить. Этого не может быть, не могло быть. Но будьте благословенны Вы, Ваши стихи и поступки. Встречайте чудеса, творите их сами. Мой милый, мой возлюбленный. И будьте чище и лучше, чем прежде, потому что действительно есть Бог. Ваша Лери».

Через год, в 1918-м Лариса Рейснер стала членом РКП(б) и женой заместителя морского комиссара Федора Раскольникова (Ильина). Вместе с мужем она участвовала в гражданской войне, сама была комиссаром разведывательного отряда, продолжая заниматься и литературой. Л. Д. Троцкий говорил, что Рейснер

соединила в себе «красоту олимпийской богини, тончайший ум и мужество воина».

О свержении царя Гумилев услышал в Окуловке. Он отнесся к известию с чувством человека, видящего вместо своего привычного дома груду развалин. На следующий день Гумилев поехал в Петроград, хотел повидать друзей. Улицы были оцеплены войсками и студентами с большими красными бантами на шинелях и тужурках. Извозчиков не было видно, трамваи то шли, то надолго замирали, и Николай Степанович позвонил по телефону жене, сообщил, что не может добраться до дому и поэтому возвращается в Окуловку.

Вскоре Гумилев заболел и очутился в 208-м Петроградском лазарете. На этот раз он не рвался в полк. Святые Пантелеймон и Георгий не являлись ему.

На больничной койке, глядя в тусклое окно, он вспоминал прошлое. Преследовала мысль, что он неудачник: мечтал о славе, а остался всего лишь прапорщиком разваливающейся армии, хотел достичь вершин в поэзии, но и сегодня пребывает где-то в тени Блока. И любовь тоже обманула, не дала чувства настоящего счастья:

Я не прожил, я протомился
Половину жизни земной,
И, Господь, вот Ты мне явился
Невозможной такой мечтой.

Вижу свет на горе Фаворе
И безумно тоскую я,
Что взлюбил и сушу и море,
Весь дремучий сон бытия;

Что моя молодая сила
Не смирилась перед Твоей,
Что так больно сердце томила
Красота Твоих дочерей.

Но любовь разве цветик алый,
Чтобы ей лишь мгновенье жить,
Но любовь разве пламень малый,
Что ее легко погасить?

С этой тихой и грустной думой
Как-нибудь я жизнь дотяну,
А о будущей Ты подумай,

Я и так погубил одну.

(«Я не прожил, я протомился…»)

Как только жар прекратился, Гумилев упросил докторов отпустить его в Царское Село. Георгий Иванов, приехав, застал друга в библиотеке, где на широком диване под клеткой с горбоносым какаду сидел Гумилев, худой и желтый после перенесенной болезни, закутанный в пестрый азиатский халат. Сейчас он мало напоминал недавнего блестящего гусара. Начались рассказы о беспорядках в городе, но Гумилев отмахнулся: он не читает газет и другим не советует. Потом стал говорить, что на войне страшно и скучно. Что там люди, безусловно, благородные и храбрые, но со слабыми нервами — в минуту опасности валились с коня.

Через несколько дней в «Русской мысли» появилась «Гондла». Вечером в Царское Село приехали Маковский, Иванов, Лозинский и молодой поэт Николай Оцуп. Все поздравляли автора, считая, что эта драматическая поэма — его большой успех. Спорили о том, кто бы мог поставить ее на сцене. Маковский, правда, находил, что «Гондла» — прекрасная поэма, но на сцене она смотреться не будет, а вот «Дитя Аллаха» совсем иное дело, пьеса просто создана для кукольного театра. Не так давно по инициативе актера Александрийского театра Сазонова и Маковского на Английской набережной в доме художника Гаута открылся кукольный театр, и Сергей Константинович старался обеспечить для него репертуар.

В середине марта на квартире Сологуба Николай Степанович читал «Дитя Аллаха». Федор Кузьмин восседал во главе стола на роскошном кресле с позолоченными ножками, его одутловатое лицо с поджатыми губами и бородавкой на щеке не выражало никаких эмоций — ни одобрения, ни порицания. Присутствовали Осип Мандельштам, Андрей Левинсон, Георгий Иванов, балетоман и литературовед Аким Волынский, молодые — Оцуп, Рождественский. Обсуждение проходило оживленно, и к Гумилеву вернулось хорошее настроение. Он опять чувствовал прилив сил, уверенность в своем поэтическом таланте.

А еще через несколько дней у Чуковского состоялось чтение африканской поэмы «Мик». Сначала поэма показалась слишком простой по форме: четырехстопный ямб, привычные, часто глагольные рифмы, наивная фабула, какой-то говорящий павиан, мальчишка — обезьяний царь… Но по мере чтения присутствующие прониклись ощущением чего-то высокого, прекрасного, и нежная грусть, соединенная с любовью к

отважному мальчику Луи, которого Архистратиг Михаил зачислил в рать свою, наполняла сердца слушателей. Корней Иванович хвалил поэму, а спустя несколько месяцев в «Петроградской газете» появилась его сказка «Крокодил», и внимательные читатели увидели в ней дружеский шарж на поэму «Мик».

То «вечера», то «чтения», то театральные постановки следовали одни за другими. В атмосфере революционного Петрограда появилась нервозная, судорожная веселость, точно люди старались не замечать грозных событий. Царь с семьей находились в Гатчине под арестом, в газетах печатали пространные речи Керенского, в городе рассказывали о демонстрации офицеров в Москве в поддержку генерала Корнилова. Где-то на позициях продолжали громыхать орудия, но теперь никто уже не понимал, зачем это делается.

На одном из вечеров в «Привале комедиантов» к Гумилеву подошел критик Виктор Жирмунский и представил ему Анну Николаевну Энгельгардт. Гумилев с радостным удивлением взглянул на девушку, удивляясь, как это он мог так долго не вспоминать о ней.

Анна Николаевна была девятью годами моложе Гумилева. Она происходила из семьи ученых и литераторов. Ее дед, Александр Николаевич Энгельгардт, профессор Петербургского лесного института, народник и аграрник, был автором знаменитых «Писем из деревни». Отец, Николай Александрович, составил «Историю литературы XIX века» и сочинял исторические романы. Мать Ани первым браком была за поэтом Бальмонтом, от которого у нее был сын.

Анна Николаевна окончила частную гимназию Лохвицкой-Сколон, ничем серьезно не увлекалась, ее не интересовала постоянно звучавшая в доме музыка, зато читала она много, хотя бессистемно. Нравились ей романы Пшибышевского и д'Аннунцио, скандальный «Санин» М. Арцыбашева кружил голову и пугал своей декадентской пряностью. Была Аня непосредственна, не по летам наивна, по-детски доверчива и неожиданно обидчива.

Может быть, эти черты характера сложились под влиянием обстановки, царившей в семье. У отца было тяжелое нервное заболевание, и когда наступал период депрессии, он по неделям не покидал своего кабинета, жестоко страдая. А мать без всякого повода ревновала мужа, в доме происходили дикие скандалы с истерическими криками. Сводный брат, студент университета, был нервным, неуравновешенным и кончил свои дни шизофреником.

У Ани были подруги, но ни с кем не было близости; больше она дружила с Лилей Брик. Все они были поголовно заражены декадентством. Во время войны Аня окончила курсы сестер милосердия и работала в военном госпитале. Ей очень шел костюм с красным крестом на груди, в котором она любила гулять по Летнему саду с томиком Ахматовой в руках.

Начавшийся роман с Гумилевым напоминал кинематографическую страсть. Казалось, Аня совсем не думала о том, что у Николая Степановича есть жена, растет сын. Она вся отдалась своему чувству.

Легкая победа словно вознаграждала Гумилева за сложные отношения с Ларисой Рейснер. С Аней все было проще: она смотрела восторженными глазами на поэта и военного героя, гордилась им и была безмерно счастлива, слыша его признания.

Но за любовными успехами и литературными диспутами неотступно следовала мысль: надо ехать в полк, ведь он — офицер. Ехать было бессмысленно — не осталось не только полка, но и самой русской армии, и никакие патриотические заклинания Керенского не могли предотвратить развал.

Гумилев единственный выход видел в том, чтобы попасть в русский экспедиционный корпус во Франции, на Салоникский фронт, а там, может быть, ему поручат формирование боевых отрядов из воинственных абиссинских племен.

Там он сумеет проявить свои воинские таланты, там он будет признан как полководец.

В апреле из штаба полка пришло сообщение: приказом по войскам 5-й армии за № 269 прапорщик Гумилев награждается орденом Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом. Награда порадовала, но совсем не так, как Георгиевские кресты. Да и вручение ордена могло состояться не ранее июля, а отъезд во Францию откладывать было нельзя.

Чтобы получить командировку, понадобилась помощь влиятельных знакомых. Больше других помог Михаил Александрович Струве, именно благодаря ему Гумилев получил 7 мая 1917 года командировку на Салоникский фронт.

В удостоверении перечислялись выданные ему на проезд денежные суммы. В редакции «Русская воля» он был зачислен специальным корреспондентом во Франции с окладом 800 франков в месяц.

Встретившись перед отъездом с Аней Энгельгардт, он обещал, устроившись в Париже, вызвать ее к себе. Едва ли он сам серьезно верил в это, но их отношения в это время были очень близкими. День 17 мая был холодный, ветреный, мелкие волны бились о сваи дебаркадера, на котором, ожидая посадки на крейсер, стояли

Николай Степанович и провожающая его Анна Андреевна. Гумилев был оживлен, весел: он верил, что во Франции порядок сохранен, боевой дух в войсках высок и там можно служить. Верил в свою удачу.

ГЛАВА XI
В экспедиционном корпусе

Крейсер сопровождали два миноносца, охранявшие его со стороны немецкого берега. Опасность встретить вражескую подводную лодку или наскочить на мину была велика. И тогда не помогли бы девяти- и шестидюймовые орудия корабля.

Стоя на палубе, Николай Степанович вглядывался в морские волны, и рождались строки стихотворения «На Северном море», где говорится о конквистадорах, о ландскнехтах:

Уже не одно столетье
Вот так мы бродим по миру,
Мы бродим и трубим в трубы,
Мы бродим и бьем в барабаны:
«Не нужны ли крепкие руки,
Не нужно ли твердое сердце,
И красная кровь не нужна ли
Республике иль королю?»

О да, мы из расы
Завоевателей древних,
Которым вечно скитаться,
Срываться с высоких башен,
Тонуть в седых океанах
И буйной кровью своею
Поить ненасытных пьяниц —
Железо, сталь и свинец.

Ему казалось, что он и сам — как древний викинг, плывущий навстречу гибели:

Но все-таки женщины грезят —
О нас, и только о нас.

Мысли его вернулись в Петербург, к семье. Приехав в Лондон, он непременно встретится с Анрепом, другом Ахматовой. Об их истории он знал, как и о ее дружбе с Недоброво. Ревности не было, только не отпускало чувство одиночества.

Лозинский отговаривал его ехать во Францию, хотя сам же помогал получить командировку. Иванов был искренне огорчен

разлукой, и Шилейко тоже уговаривал отказаться от поездки, советовал заняться переводом «Гильгамеша», а у Мандельштама были слезы на глазах при прощании. Но все-таки Гумилев уехал.

Утром 20 мая крейсер бросил якорь в бухте Стокгольма. Гумилев вместе с несколькими офицерами переправился на берег. День был солнечный, яркий, молодая листва берез светилась зеленым золотом, придавая городу праздничный вид. Странное чувство охватило поэта: с радостным замиранием сердца он узнавал никогда до сих пор не виданные, но такие знакомые громады кафедральных соборов, дома с высокими черепичными крышами, величественный королевский дворец в стиле барокко, ратушу. Ночью, когда вышли в море, у него стали складываться строки нового стихотворения:

Зачем он мне снился, смятенный, нестройный,
Рожденный из глуби не наших времен,
Тот сон о Стокгольме, такой беспокойный,
Такой уж почти и не радостный сон…

«О Боже, — вскричал я в тревоге, — что, если
Страна эта — истинно родина мне?
Не здесь ли любил я и умер не здесь ли,
В зеленой и солнечной этой стране?»

И понял, что я заблудился навеки
В слепых переходах пространств и времен,
А где-то струятся родимые реки,
К которым мне путь навсегда запрещен.

(«Стокгольм»)

Плавание благополучно завершилось в Англии, откуда крейсеру предстояло конвоировать караван судов. Распрощавшись с морскими офицерами, Гумилев поехал к Анрепу, единственному своему знакомому в Лондоне. Борис Васильевич уже два года служил в русском правительственном комитете, лишь на короткое время приезжая в Петроград. Последний раз это было в феврале 1917 года; тогда темным вечером он шел к Ахматовой по льду через Неву, а в городе слышались винтовочные выстрелы. До сих пор он носил на шее, как талисман, черный перстень — ее подарок в тот вечер.

Анреп расспрашивал о Петрограде, об общих знакомых, но все не решался спросить об Анне Андреевне. Условились, что некоторое время Гумилев пробудет в Лондоне в доме у

английского писателя Бекгофера, чтобы отдохнуть после дороги.

Благодаря Бекгоферу и Анрепу Гумилев познакомился с писателем Честертоном, художественным критиком Роджером Фраем. 28 июня в еженедельнике «Нью эйдж» появилось его интервью; Гумилев утверждал, что на смену риторической поэзии XIX века теперь идет новое направление, ценящее в поэзии ясность и достоверность образов.

Две недели пребывания в Лондоне прошли быстро, и Гумилев отправился к месту назначения в Париж.

Во Франции, как оказалось, нет никакого экспедиционного корпуса. Морским путем на помощь союзникам в разное время прибыли четыре пехотные бригады, подчиненные французскому командованию и по его указаниям направляемые на разные участки фронта. Прибывший 2 июля Гумилев был откомандирован в распоряжение представителя русских войск генерала Занкевича. Вскоре приказом Керенского в Париж был направлен комиссар Временного правительства Рапп для «реорганизации армии на демократических началах». Комиссару вменялась в обязанности также «борьба со всеми контрреволюционными попытками».

Евгений Иванович Рапп когда-то, как революционер, эмигрировал из России, до своего назначения комиссаром держал в Париже адвокатский кабинет, был сугубо штатским интеллигентом. В новой для него роли он чувствовал себя неуверенно и, встретившись с Гумилевым, понял, что сама Судьба посылает ему такого помощника: боевой прапорщик, георгиевский кавалер, а главное — культурный человек, литератор. Комиссар направил прошение военному министру о назначении ему офицером для поручений прапорщика Н. С. Гумилева. Еще до того, как пришел ответ из Петрограда, приказом генерала Занкевича Гумилев был отправлен в распоряжение комиссара Раппа. Ответ из российской столицы получили только в октябре, за две недели до падения Временного правительства.

Дел у комиссара и его порученца было много. Солдаты волновались, тогда как офицеры продолжали держать себя с «нижними чинами» высокомерно, а генерал Лохвитский даже приказал пороть провинившихся солдат шомполами. Комиссара офицеры не признавали совершенно, да и солдаты относились к Раппу с насмешкой, как он их ни пытался увлечь рассуждениями о революции и свободе.

По поручению комиссара Гумилев подготовил приказ военного комиссара Временного правительства от 21 августа, в котором было сказано:

«При посещении мною дивизии я убедился, что, несмотря на появление в приказе более месяца тому назад телеграммы Военного министра о моем назначении, войска, не исключая, к сожалению, командного состава, не уяснили себе роли и значения Комиссара Временного Правительства при войсках.

Считаю долгом поэтому разъяснить, что Комиссар является лицом, облеченным особым доверием Временного правительства и Исполнительного комитета Совета Солдатских и Рабочих депутатов и носителем их власти».

Обязанности порученца были разнообразны: писать проекты приказов, распоряжений, рапортов, готовить выступления комиссара на митингах, участвовать в разрешении конфликтных ситуаций. Такие занятия были неприятны Гумилеву, ведь он менее всего стремился сделаться «штабной крысой». Впрочем, своим недовольством он ни с кем не делился, а в письмах к жене держался, как всегда, бодро: «Я остаюсь в Париже в распоряжении здешнего наместника от Временного правительства, т. е. вроде Анрепа, только на более интересной и живой работе. Меня, наверное, будут употреблять для разбора разных солдатских дел и недоразумений. Через месяц, наверно, выяснится, насколько мое положение здесь прочно. Тогда можно будет подумать и о твоем приезде сюда, конечно, если ты сама его захочешь. А пока я еще не знаю, как велико будет здесь мое жалованье. Но положение во всяком случае исключительное и открывающее при удаче большие горизонты».

Последнее замечание о «больших горизонтах» не было простой бравадой. Гумилев серьезно обдумывал возможность заинтересовать французское военное командование проектом вербовки солдат в Абиссинии. В случае принятия проекта его, как человека, знакомого с этой страной, могли бы направить в Аддис-Абебу, и он возглавил бы там добровольческую армию. Эта фантастическая затея увлекла Николая Степановича. Военное ведомство поначалу проявило к предложению интерес, и Гумилев составил меморандум на французском языке, который передал по инстанциям:

«Прапорщик 5-го Гусарского
Александрийского полка
Российской Армии
Гумилев.
Записка относительно могущей представиться
Возможности набора отрядов добровольцев

Для французской армии в Абиссинии

По своему политическому устройству Абиссиния делится на известное число областей: Тигрэ, Гондар, Шоа, Улиамо, Уоло, Галла Арусси, Галла Коту, Харар, Данакиль, Сомали и т. д.

Население Тигрэ составляет 2 000 000 жителей. Это превосходные воины, но, к несчастью, очень независимого и буйного нрава. К тому же многие из них мусульмане и питают мало сочувствия к итальянцам.

В Гондаре и Шоа живет население от шести до семи миллионов чистокровных абиссинцев, почти сплошь православных и обладающих следующими качествами: духом дисциплины и подчинения вождям; храбростью и стойкостью в бою (это победители итальянцев); выносливостью и привычкой к лишениям — до такой степени, что человек опережает лошадь на пробеге в 30 километров и что при переходах, длящихся несколько недель, каждый человек несет на себе запас провианта, необходимый для его прокормления. Будучи горцами, они способны выносить самый суровый климат.

Племена улиамо и уоло — это покоренные абиссинцами негры. Из них выходят хорошие воины, но они скорее годятся для обозных и санитарных частей. В эту же категорию можно отнести племя галла коту.

Племя галла арусси обладает теми же качествами, что и абиссинцы, и вдобавок гигантским ростом и атлетическим сложением.

Данакильцы, сомалийцы и часть хараритов храбры, ловки и воинственны, но с трудом подчиняются дисциплине. Их можно было бы использовать для образования отрядов разведчиков, чистильщиков окопов и тому подобных заданий.

Помимо того, в Абиссинии имеются очень хорошие лошади и мулы. Средняя цена лошади равнялась до войны 25 франкам, а мула — 100 франкам. Всегда можно было бы получить несколько тысяч этих животных для военных надобностей.

Политическая обстановка в Абиссинии следующая: страна управляется императором (в данный момент — императрицей, которой помогает знакомый мне князь, рас Тафари, сын раса Маконнена) и советом министров. Кроме того, в каждой области имеется почти независимый губернатор и ряд вождей при нем.

Чтобы начать набирать вождей с отрядами от 100 до 500 человек, необходимо получить разрешение от центрального и областных правительств. Расходы составят несомненно меньшую сумму, чем в такого же рода экспедициях в других частях Африки, благодаря легкости общения и воинственному нраву жителей.

Я побывал в Абиссинии три раза и в общей сложности провел в этой стране почти три года. Я прожил три месяца в Хараре, где я бывал у раса (деджача) Тафари, некогда губернатора этого города. Я жил также четыре месяца в столице Абиссинии, Аддис-Абебе, где познакомился со многими министрами и вождями и был представлен ко двору бывшего императора российским поверенным в делах в Абиссинии.

Свое последнее путешествие я совершал в качестве руководителя экспедиции, посланной Российской Академией Наук».

Но мечты о поездке в Абиссинию не сбылись. Французы не дали меморандуму хода.

Летом 1917 года в Париже возник ряд русских газет левого направления. Они часто с искажениями перепечатывали тексты из французских газет. Делалось это, как правило, с целью вести в солдатской массе «большевистскую ленинско-махаевскую пропаганду», как писал Рапп в своем донесении. В войсках начиналось брожение. Солдаты требовали возвращения в Россию, где назревали новые революционные события. Особенно волновалась Первая бригада, в ней застрельщиком была пулеметная рота, состоявшая из питерских рабочих. Явную враждебность к генералу Занкевичу и комиссару Раппу проявлял председатель Совета унтер-офицер Глоба. Отношения между солдатами и офицерами настолько обострились, что пришлось последних удалить из лагеря.

Начались переговоры с мятежниками. 2 сентября состоялась встреча Совета с Раппом. Комиссар не решился появиться в мятежном лагере и послал офицера с извещением, что он ожидает представителей бригады у себя. Этим офицером был Гумилев.

Из лагеря была выведена Вторая бригада, оставшаяся верной Временному правительству, а с Первой начались долгие переговоры. Они, однако, ни к чему не привели.

Уговоры строптивой бригады тянулись два месяца и завершились подавлением мятежа с помощью войск. Дольше других сопротивлялась пулеметная рота, но и она в конце концов

сдалась.

Гумилева возмущал анархический бунт в армии. Но и принимать участие в полицейской, карательной акции Гумилеву было тяжело. Несколько раз он заговаривал с Раппом об отправке его на фронт, но тот об этом и слышать не хотел.

В то время как всего в сотне километров от Парижа шли бои, в столице по вечерам были открыты рестораны, давал спектакли балет. Дягилев устроил Осенний салон, пригласив художников Ларионова и Гончарову, знакомых Гумилеву по Петербургу. В свободное от службы время Николай Степанович встречался с ними, подолгу бродил с Ларионовым по улицам и бульварам. Гончарова написала портрет Гумилева в экзотическом окружении. Николай Степанович подарил ей индийскую миниатюру с изображением черного генерала. Наталье Сергеевне миниатюра понравилась, но она нашла в картине заметное влияние европейской школы, высказав сожаление о том, что пренебрегают самобытным народным искусством.

Весна в тот год в Париже выдалась поздняя, моросил мелкий дождь, над городом висели низкие тучи. Только к середине июля разгулялось, и Николая Степановича пригласили совершить прогулку в Орлеан. Собралась небольшая компания: Ларионов, Гончарова, поэт Николай Минский и несколько молодых французов, среди которых Гумилев обратил внимание на высокую, стройную девушку в простом, но элегантном платье, с большим букетом белой сирени. У нее были большие карие, чуть раскосые глаза, темные локоны оттеняли ровную матовость лица. Ларионов назвал ее имя: Элен Дибуше. Выяснилось, что она полуфранцуженка, полурусская, дочь врача-хирурга. Русские звали ее Еленой Карловной.

Хотя прежде Гумилев не бывал в Орлеане, судьбу Орлеанской Девы он знал, как мало кто другой, и увлек свою новую знакомую необычайно красочным рассказом о Жанне. Он не замечал окружающего, видя только Елену, радуясь брошенной ему улыбке, ревнуя, когда она разговаривала не с ним. Они бродили по городу, заходили в большой гулкий собор, кормили на площади воркующих голубей. Вечером, когда утомленные и притихшие возвращались поездом в Париж, Гумилев был точно в тумане. Он чувствовал, что произошло что-то большое, радостное и одновременно страшное. Тетрадь, в которую он записывал стихи, теперь начнет заполняться быстро. Первое стихотворение, навеянное новой страстью, появилось в ту же ночь, к рассвету:

Из букета целого сирени
Мне досталась лишь одна сирень,

И всю ночь я думал об Елене,
А потом томился целый день.

Всё казалось мне, что в белой пене
Исчезает милая земля,
Расцветают влажные сирени
За кормой большого корабля.

И за огненными небесами
Обо мне задумалась она
Девушка с газельими глазами
Моего любимейшего сна.

Сердце прыгало, как детский мячик,
Я, как брату, верил кораблю,
Оттого, что мне нельзя иначе,
Оттого, что я ее люблю.

(«Из букета целого сирени…»)

Сиреневую веточку из своего букета подарила ему, прощаясь, Елена!

В штабе, куда он являлся ежедневно, ожидая отправки на Салоникский фронт, приказа все не было. Теперь его уже не тяготила мысль, что придется и дальше торчать в Париже. Ему это казалось счастьем, особенно после того, как Елена первой ему позвонила и они условились о встрече.

Вечером они были на балете. В вечернем платье Елена казалась особенно прелестной. Потом он провожал ее по ночным улицам «к тупику близ улицы Декамп» и долго прощался у массивной входной двери с бронзовыми ручками. Условились в ближайшее воскресенье совершить прогулку в Версаль.

Жизнь раскололась надвое: выполнение противных обязанностей у комиссара Раппа, звонки по телефону, поездки в военные лагеря — и постоянное радостное ожидание новой встречи с Еленой, которая держалась с ним дружески-просто, свободно, как принято во Франции. А он весь горел и писал в тетради:

Как ты любишь, девушка, ответь.
По каким тоскуешь ты истомам?
Неужель ты можешь не гореть
Тайным пламенем, тебе знакомым?

Если ты могла явиться мне
Молнией слепительной Господней,
И отныне я горю в огне,
Вставшем до небес из преисподней?

(«Много есть людей, что, полюбив…»)

При встрече Гумилев читал ей стихи, написанные накануне, стараясь по выражению лица угадать ее отношение — не к стихам, к любовным признаниям. Она слушала с улыбкой, говорила, что любовь всегда свободна, и от ее слов Гумилев терзался еще сильнее:

…Нет, любовь не это!
Как пожар в лесу, любовь — в судьбе,
Потому что даже без ответа
Я отныне обречен тебе.

(«Мы в аллеях светлых пролетали…»)

Странными были их отношения. Встречаясь с Еленой уже несколько недель, он все не решался открыто с нею объясниться. Мысли о будущем его не тяготили, а прекратить свидания с Еленой было выше его сил. Он мучился своей любовью, словно она была позором:

Вероятно, в жизни предыдущей
Я зарезал и отца, и мать.
Если в этой — Боже присносущий! —
Так жестоко осужден страдать.
……
Каждый день мой, как мертвец, спокойный,
Все дела чужие, не мои.
Лишь томленье вовсе недостойной,
Вовсе платонической любви.

(«Позор»)

Его терзало сомнение — не безответно ли это чувство? При встречах Елена рассказывала о себе, о том, как в детстве, выходя вечером на берег моря и глядя в звездное небо, она мечтала, что к ней спустится сверкающий серафим и унесет в надзвездный мир. Как грезила, что будет жить уединенно на большом озере и

смотреть на закат с балкона своего белого дома. Гумилев смотрел на нее с восторгом и нежностью и страдал все сильнее.

После свиданий Елена вдруг исчезала на целую неделю, не отвечая ни на письма, ни на телефонные звонки. Гумилев тосковал, не находя выхода для своего чувства:

Пролетала золотая ночь
И на миг замедлила в пути,
Мне, как другу, захотев помочь,
Ваши письма думала найти —

Те, что Вы не написали мне…
А потом присела на кровать
И сказала: «Знаешь, в тишине
Хорошо бывает помечтать!

Та, другая, вероятно, зла,
Ей с тобой встречаться даже лень,
Полюби меня, ведь я светла,
Так светла, что не светлей и день».

Ночь, молю, не мучь меня! Мой рок
Слишком и без этого тяжел,
Неужели, если бы я мог,
От нее давно бы не ушел?

Смертной скорбью я теперь скорблю,
Но какой я дам тебе ответ,
Прежде чем ей не скажу «люблю»
И она мне не ответит «нет».

(«Пролетала золотая ночь…»)

Однажды, даже не предупредив по телефону, она пришла в отель, где он жил, — даже по меркам французов такое считалось неудобным. Николай Степанович понял, что пришло время объясняться. В стихах об этом сказано так:

Я говорил: Ты хочешь, хочешь?
Могу я быть тобой любим?
Ты счастье странное пророчишь
Гортанным голосом своим.

А я плачу за счастье много,

Мой дом — из звезд и песен дом,
И будет сладкая тревога
Расти при имени твоем…

(«Я говорил: Ты хочешь, хочешь?..»)

После этой встречи ему пришлось, даже не успев предупредить Елену, уехать в лагерь почти на три недели. Возвратившись в Париж, он поспешил на улицу Декамп с надеждой на свидание. Консьержка сказала, что мадемуазель десять дней назад уехала, а когда вернется, неизвестно.

Ничего не понимая, Гумилев по возвращении в отель набросал на листке тетради:

Ты не могла иль не хотела
Мою почувствовать истому,
Свое дурманящее тело
И сердце бережешь другому.
……
И ты меня забудешь скоро,
И я не стану думать, вольный,
О милой девушке, с которой
Мне было нестерпимо больно.

(«Ты не могла иль не хотела…»)

Елена позвонила только через неделю. Они встретились в кафе; она объявила, что их отношения зашли слишком далеко и это не приведет ни к чему хорошему. Нужно думать о будущем. Возвращение в Россию для нее невозможно. Надо устраивать свою жизнь. Гумилев растерялся: отвечать ей было нечего. Впервые в жизни он почувствовал неуверенность. Ночью он писал в заветной тетради:

Ты пожалела, ты простила
И даже руку подала мне,
Когда в душе, где смерть бродила,
И камня не было на камне.
……
Всё, пред твоей склоняясь властью,
Всё дам и ничего не скрою
За ослепительное счастье
Хоть иногда побыть с тобою.

Лишь песен не проси ты милых,
Таких, как я слагал когда-то,
Ты знаешь, я их петь не в силах
Скрипучим голосом кастрата…

Его преследовало предчувствие надвигающейся беды. Вероятно, и вправду Елена не та, за кого он ее принимал, она слишком земная, расчетливая и осторожная.

И не узнаешь никогда ты,
Чтоб в сердце не вошла тревога,
В какой болотине проклятой
Моя окончилась дорога, —

(«Ты пожалела, ты простила…»)

дописал он последнюю строфу.

Шел октябрь, зарядили холодные дожди. Свидания прекратились, все разладилось. Стало ясно — роман окончен.

…Картонажный мастер, глупый, глупый,
Видишь, кончилась моя страда,
Губы милой были слишком скупы,
Сердце не дрожало никогда.

Пора было взять себя в руки, не распускаться. Он — поэт, воин — должен побеждать, даже став побежденным, как это ни трудно:

Страсть пропела песней лебединой,
Никогда ей не запеть опять,
Так же как и женщине с мужчиной
Никогда друг друга не понять.

Но поет мне голос настоящий,
Голос жизни, близкой для меня,
Звонкий, словно водопад гремящий,
Словно гул растущего огня:

«В этом мире есть большие звезды,
В этом мире есть моря и горы,

Здесь любила Беатриче Данта,
Здесь ахейцы разорили Трою!
Если ты теперь же не забудешь
Девушку с огромными глазами,
Девушку с искусными речами,
Девушку, которой ты не нужен,
То и жить ты, значит, недостоин».

(«Отвечай мне, картонажный мастер…»)

Решение было принято, точка поставлена. Он больше не искал встреч, не звонил, старался задерживаться на службе, чтобы отвлечься от воспоминаний. Однако в конце октября Елена позвонила и каким-то жалким голосом попросила с ней встретиться.

Оказалось, им предстояло проститься. Вскоре Елена уезжала из Парижа, из Франции, даже из Европы. У нее появился жених — американец французского происхождения из Чикаго, там у его отца большое дело.

Оставалось лишь пожелать ей счастья за океаном.

Несколько дней Николай Степанович с трудом сдерживал охватившие его чувства обиды, злости и раскаяния. Как он глубоко ошибся! Ведь Елена была для него романтической Синей звездой.

Вот девушка с газельими глазами
Выходит замуж за американца.
Зачем Колумб Америку открыл?!

(«Хокку»)

Так завершилась история «любви несчастной Гумилева в год четвертый мировой войны». Она породила цикл замечательных любовных стихов, которые обращены к Синей звезде. И как бы подвела черту под целой эпохой в жизни Гумилева.

Утром 27 октября, как обычно, он пришел в управление. Раппа еще не было, в приемной Занкевича прохаживался высокий, красивый ротмистр в начищенных до блеска сапогах — Лавровский. Он сообщил, что в Питере большевики совершили переворот, арестованы министры Временного правительства. Положение критическое. Необходимы какие-то экстренные действия.

Вечером в просторном зале управления собрался митинг, на который пришли оказавшиеся в Париже русские офицеры, солдаты и штатские. Стояли в проходах, возле стен, воздух был сизым от табачного дыма. Среди сидевших в зале Гумилев заметил генералов Николаева и Свидерского.

Речь произнес граф Игнатьев, русский военный агент. Сказал, что в России новая революция и что французы, видимо, имеют отношение к русским союзникам. Выразил твердую веру, что здесь собрались патриоты, которые при любых обстоятельствах исполнят свой долг до конца. Призвал к спокойствию и соблюдению дисциплины.

Никто не знал, что будет завтра. Шли разговоры, что захватившие в Петрограде власть большевики объявили об одностороннем прекращении войны без аннексий и контрибуций. Комиссар Рапп не появлялся на службе. Оставалось ждать, как станут развиваться события. Гумилев целые дни проводил в библиотеке, а по вечерам в отеле усердно занимался английским языком.

Кроме всегдашнего увлечения Африкой Николая Степановича давно интересовал Восток: Персия, Индия, Китай. В библиотеке он с увлечением читал антологию китайской поэзии «Яшмовая книга», составленную Жюдит Готье, дочерью любимого им поэта Теофиля Готье. Одиннадцать стихотворений из «Яшмовой книги», переведенных Гумилевым на русский язык, вошли в сборник «Фарфоровый павильон». Вдохновленный китайской и индийской поэзией, поэт написал пять оригинальных стихотворений в такой же стилистике и начал работать над поэмой «Два сна».

Одновременно Гумилев увлекся историей Византии, особенно временем царствования императора Юстиниана. Он хотел писать об этой эпохе и выбрал форму трагедии, как более полно отвечающую его замыслу.

Обдумывая сюжет, Гумилев свободно обращался с историческими событиями, его интересовала не хроника, а отношения между персонажами, их переживания, схожие, в поэтическом преломлении, с его собственными.

Византия давно притягивала поэта, «ведь через Византию, — писал он, — мы, русские, наследуем красоту Эллады, как французы наследуют ее через Рим».

Фабула трагедии «Отравленная туника» такова. Ко двору императора Юстиниана приезжает просить военной помощи арабский поэт Имр; его отца убили враждебные племена, и он поклялся отомстить. Имр встречает тринадцатилетнюю дочь императора Зою и сразу влюбляется в нее. Но Зоя — невеста Трапезондского царя, уже назначен день свадьбы, после которой

царь возглавит поход против арабов. Посылая царя в поход, Юстиниан замышляет подарить ему тунику, пропитанную ядом, чтобы после смерти царя завладеть Трапезондом. Жена императора, в прошлом танцовщица и куртизанка из Александрии, ненавидит свою падчерицу Зою, которая напомнила ей о прошлом.

События разворачиваются стремительно: Зоя увлеклась поэтом-воином Имром и становится, при подстрекательстве Феодоры, его любовницей, о чем по наивности рассказывает своему жениху. Араб узнает в Феодоре куртизанку, с которой в Александрии у него была связь, и Феодора уговаривает императора отправить Имра в поход вместо Трапезондского царя. Царь, узнав об измене невесты, кончает жизнь самоубийством. Имр возглавляет поход, но Юстиниан, услыхав о его связи с Зоей, шлет ему вослед отравленную тунику, а дочь отправляет в монастырь.

Трагедия написана любимым Гумилевым пятистопным ямбом, придающим ей торжественное звучание. Все персонажи говорят белым стихом, только поэт Имр — рифмованным, что делает его речь более звучной, особенно в любовных признаниях; как воин Имр тоже говорит белым стихом.

Все основные персонажи трагедии — исторические личности. Существовал император Юстиниан, умный и деятельный политик, который не останавливался перед жестоким и нечестным поступком ради процветания государства. Имр-уль Кайс, сын киндского царька, убитого враждебными племенами, — самый выдающийся арабский поэт домусульманского периода. Феодора, ставшая императрицей Византии после карьеры танцовщицы и куртизанки, была умной и смелой женщиной, верной помощницей своему супругу. Дочь Юстиниана Зоя — полувымышленное лицо: детей у императора не было, но исторические легенды, одной из которых воспользовался Гумилев, о них упоминают. Царь Трапезондский целиком вымышлен автором.

Трагедия выдерживает единство времени, места и действия, в ней канонические пять актов. Действующих лиц — шесть, их характеры предельно четко очерчены словами и поступками, каждая сцена усложняет интригу, которая приводит к гибели героев и торжеству вероломства. Персонажи образуют контрастные сочетания: честность, прямота и благородство царя, безудержная, дикая страсть и смелость Имра вступают в противоречие с рассудочной жестокостью Юстиниана, вероломством Феодоры, раболепством и хитростью царедворца Евнуха. Дочь императора Юстиниана Зоя — центральная фигура

трагедии, именно с ней связаны все основные коллизии. Безвольная, неопытная, она, однако, наделена страстью, покоряющей и Трапезондского царя, и поэта Имра. Зоя невольно губит всех, кто с ней соприкасается, точно бы она и есть отравленная туника.

В трагедии «Гондла» прообразом Леры служила Лариса Рейснер, а поэта — сам автор. В «Отравленной тунике» узнаваемых прототипов нет. Несомненно одно: ни Зоя, ни Феодора не имеют ничего общего с Синей звездой — Еленой Дибуше. Здесь девушка, почти ребенок, соблазненная сильным, опытным мужчиной, скорее напомнит биографам поэта об Анне Энгельгардт. Многие черты характера Имра заставляют предполагать, что это один из автопортретов Гумилева, но в трагедии к прототипу скорее ближе Трапезондский царь: гордый, честный и всепрощающий. Для него прошли времена юношеской бравады и максимализма, теперь ему присуще глубокое понимание человеческих поступков: победа требует самопожертвования во имя любви как проявления величия духа.

Вот как рассказывает Евнух о самоубийстве Трапезондского царя:

Мой спутник встал на страшной высоте
Лицом на юг,
Позолоченный солнцем, как некий дух, и начал говорить.
Я слушал, уцепившись за перила.
Он говорил о том, что этот город —
И зданья, и дворцы, и мостовые,
Все как слова, желанья и раздумья,
Которые владеют человеком,
Наследие живым от мертвецов;
Что два есть мира, меж собой неравных:
В одном, обширном. — гении, герои,
Вселенные исполнившие славой,
А в малом — мы, их жалкие потомки,
Необходимости рабы и рока.
Потом сказал, что умереть не страшно,
Раз умерли Геракл и Юлий Цезарь,
Раз умерли Мария и Христос,
И вдруг, произнеся Христово имя.
Ступил вперед, за край стены, где воздух
Пронизан был полуденным пыланьем…
И показалось мне, что он стоит
Над бездной, победив земную тяжесть…
В смятенье страшном я закрыл глаза

На миг один, на половину мига,
Когда же вновь открыл их, пред собой —
О горе! — никого я не увидел.

6 января 1918 года военный агент в Англии генерал Ермолов сообщил Занкевичу о просьбе генерала Бичерахова с персидского фронта «прислать в его распоряжение 26 русских офицеров желающих — из них 16 кавалеристов, 8 пехотных и 2 артиллериста… Отправка должна состояться 15 января нового ст., причем офицеры должны быть снабжены теплой одеждой. Мы предлагаем выдать им содержание на 4 месяца и некоторую сумму… Но этот вопрос мы не решили».

Узнав о запросе Ермолова, Николай Степанович подал Занкевичу рапорт: «Согласно телеграмме № 1459 генерала Ермолова ходатайствую о назначении меня на Персидский фронт». 10 января Занкевич телеграфировал Ермолову: «Усиленно ходатайствую о зачислении на вакансию, а если таковые уже разобраны, то исходатайствовании таковой перед Английским правительством для прапорщика Гумилева 5-го Александрийского полка для направления его в качестве кавалериста в Персию в ближайшем будущем. Прапорщик Гумилев — отличный офицер, награжден двумя георгиевскими крестами и с начала войны служит в строю. Знает английский язык. О результатах телеграфируйте, обеспечьте ему проезд в Англию».

Через три дня пришел ответ: «Прапорщик Гумилев может быть командирован с нашими офицерами в Месопотамию в распоряжение генерала Бичерахова. Для чего надлежит немедленно командировать его в Лондон без задержки, т. к. 16 или 17 января н.с. офицеры должны выехать сюда… Если прапорщик Гумилев будет вами командирован, то все довольствие он должен получить от вас, ибо я не имею возможности выдать ему эти деньги».

16 января Гумилев получил предписание коменданта Парижа отправиться в распоряжение генерала Ермолова и 21 января прибыл в Лондон. Утром 23 января он уже был в Тыловом управлении со всеми нужными бумагами.

Все последние дни на душе было муторно: постоянное напряженное ожидание решения его судьбы вконец утомило Гумилева. Неужели и теперь что-то помешает его поездке в Персию, о которой он так давно мечтал? Пожалуй, теперь, когда Россия вышла из войны, боевые действия в Месопотамии его перестали интересовать. Однако хотелось увидеть Персию, страну

философов, поэтов и художников. В Париже, ожидая командировки, он написал три стихотворения: «Персидская миниатюра», «Подражание персидскому» и «Пьяный дервиш», даже снабдив их собственными рисунками. Однако выяснилось, что у Ермолова денег для Гумилева нет, а англичане полагали, что отсутствие денег равноценно отсутствию рекомендации. Так что предстояло ехать обратно в Париж или — первым пароходом — в Россию.

Занкевич, извещенный Гумилевым, пытался помочь: опять телеграммой просил Ермолова ходатайствовать перед англичанами, просил и военного агента во Франции графа Игнатьева выхлопотать деньги у французского правительства на свое имя. Но успеха это не принесло.

Поселившись в дешевой гостинице, Николай Степанович по целым дням не выходил из дому: работал над «Отравленной туникой», обдумывал план большой книги по теории стихосложения, которую хотел назвать «Теория интегральной поэзии», написал стихотворение «Франция», точно навсегда прощаясь со страной, где столько прожил.

Иногда по вечерам он заходил к Анрепу, обсуждал планы на будущее, которое виделось в густом тумане. Он даже пытался подыскать какую-нибудь службу, обратился в канцелярию военного агента, откуда ему прислали опросный бланк. Однако никакой специальности у него в общем-то не было. А полученное жалованье быстро таяло, и надо было принимать какое-то решение.

Возможности были немногочисленны: иностранный легион, где предстояло воевать за английские колонии, или возвращение на родину, где хаос и беззаконие. Для Гумилева выбор был ясен. Он стал собираться в дорогу.

У него накопилось порядочно вещей: книги, картины, альбомы стихов, черновики. Все это он оставил на хранение Анрепу, полагая, что революция в России продлится полгода-год, а потом все успокоится и он сможет приехать за вещами. Анреп попытался отговорить Гумилева, но, зная характер Николая Степановича, махнул рукой. Попросил передать Анне Андреевне старинную монету с барельефом Александра Македонского и крепко пожал отъезжающему руку.

4 апреля, оформив документы, поэт сел на пароход, идущий через Норвегию в Мурманск. Знакомые офицеры на прощанье подарили ему серую кепку из модного магазина, чтобы бывший прапорщик имел вполне «пролетарский вид».

В маленькой каюте, кроме Гумилева, было еще два пассажира. Ехал поэт Гарднер, тот самый, на стихи которого

Николай Степанович писал рецензию в «Аполлоне» пять лет назад. Полное имя молодого поэта было Вадим де Пайва-Перейра Гарднер, его отец был американцем, а мать русской. Гарднер очень обрадовался встрече с мэтром акмеизма, всячески выказывая свое почтение. Во время войны он служил в лондонском комитете по снабжению союзных армий, а теперь решил вернуться в Россию.

Вторым в каюте был инженер-путеец Лавров, увлекавшийся ассирийской клинописью и по целым часам обсуждавший с Гумилевым эпос о Гильгамеше.

Иногда на палубе завязывались яростные споры с солдатами из экспедиционного корпуса, возвращавшимися на родину. Пахло дракой, и Гумилеву с Гарднером едва удавалось успокаивать спорщиков.

Плавание было опасным. В море, кроме массивных айсбергов, плавали мины, сновали немецкие подводные лодки. Для защиты от них транспорт сопровождали три английских эскадренных миноносца.

В этом плавании сложились стихи о жизни, которая, казалось Гумилеву, складывается нескладно до нелепости:

Я не прожил, я протомился
Половину жизни земной,
И, Господь, вот Ты мне явился
Невозможной такой мечтой.

Не стоило и загадывать, что впереди.

С этой тихой и грустной думой
Как-нибудь я жизнь дотяну.
А о будущей Ты подумай,
Я и так погубил одну.

(«Я не прожил, я протомился…»)

Меж тем письмо Анны Энгельгардт, которое Гумилев так никогда и не прочел, уже который месяц блуждало по Англии и Франции в поисках адресата. Вот оно:

«Коля, милый, я написала тебе несколько писем, телеграмму, но возможно, ты ничего не получил. Знаешь, я перепутала адрес (вернее, он был перепутан в твоей последней телеграмме) и, только получив твое

последнее письмо от 14 сен., узнала, что он совсем другой! Досадно, ведь письмо к тебе идет безбожно долго, чуть ли не 2–3 месяца.

Грустно писать, зная, что письмо придет чуть ли не через год. Я прямо в отчаянье от такой задержки! Милый, уже ½года, что мы в разлуке. Мне иногда кажется, что это навсегда! Звать тебя сюда, Коля, настаивать, чтобы ты приехал, я не могу и не хочу. Это было бы слишком эгоистично. Ты знаешь, здесь в Петербурге сейчас гадко, скучно, все куда-то убегают… А там, в Париже, вероятно, жизнь иная — у тебя интересное дело, милые друзья, твоя коллекция картин, нет той грубости и разрухи, кот. царят здесь. Мне бесконечно хочется тебя видеть, я по-прежнему люблю тебя, но лучше тебе быть там, где приятно и где к тебе хорошо относятся. Может быть, война скоро окончательно кончится и тогда ты и так приедешь или, может быть, сможешь приехать сюда ненадолго. Я боюсь и мне больно будет видеть твое раскаянье, если ты приедешь сейчас сюда ради меня, потому что здесь, действительно, тяжело жить! Ты зовешь меня, ты милый! Но я боюсь ехать одна в такой дальний путь и в настоящее время, м.б., раньше бы и поехала, теперь же так трудно ездить вообще, а тем более так далеко <…>. Ах, Коля, Коля, я люблю тебя, часто думаю о тебе и мне не верится, что мы когда-нибудь будем опять вместе! Я люблю только тебя одного и никого больше полюбить не в силах, я не знаю, как ты! Правда, Коля, мы были друзьями, я стараюсь не слишком часто огорчать тебя, т. ч. враждебного чувства ты не должен иметь ко мне? — Я знаю твою ветреность, возможно что ты иногда забываешь меня! <…> Все наши общие знакомые уехали. Мальчишек не видно вовсе. Что твой маленький Лева? И твоя матушка? Здоровы ли они? Как твое здоровье? Я чувствую себя сносно. Меня принялись лечить. Я терпеть не могу лечиться и выбросила все лекарства за окно <…> Я работаю как сестра в санатории, вне города и мне это нравится. Полудеревенская жизнь мне очень по душе, а кроме того я… самостоятельна, и моя холостая жизнь мне тоже приятна. Прости, что пишу на таких лоскутках, нет бумаги под рукой.

Пиши мне! Будь счастлив и помни меня. Целую тебя. Анна.

20. XI.1917 г.

Не смейся над разбросанностью моего письма, мне немного трудно писать».

На двенадцатые сутки рано утром транспорт подошел к Мурманску. На дебаркадере стояли английские солдаты в шинелях с поднятыми воротниками, постукивая тяжелыми коваными ботинками, стараясь согреться. Ледяной холод пронизывал Николая Степановича в демисезонном пальто и кепке, и он купил на базаре оленью доху, расшитую по подолу узором, и высокую оленью шапку.

ГЛАВА XII
В Красном Петрограде

Гумилев не узнавал свой город. Так выглядит тяжело больной старый друг.

На обшарпанных стенах домов наклеены воззвания, приказы, плакаты, ветер, срывая клочья бумаги, гонит их по улице вместе с мусором. Витрины магазинов, сверкавшие прежде, задраены ржавыми гофрированными шторами, возле дверей редких булочных — унылые очереди. Бьются по ветру вылинявшие красные флаги. На углу Литейного, ставшего проспектом Володарского, лежит палая лошадь, кто-то вырезал из крупа большой кусок мяса. Изредка громыхает трамвай, окна забиты кусками фанеры. Невского нет — есть проспект имени Двадцать пятого Октября.

Из писем Николай Степанович знал: их дом в Царском, переименованном в Детское Село, реквизирован, Анна Ивановна с Шурой, Левушкой и Марусей живут в Бежецке. А жена, насколько ему известно, живет у своей царскосельской подруги Вали Тюльпановой, ставшей профессоршей, женой врача-психиатра Срезневского.

Ахматова, которую он разыскал у Шилейко, встретила мужа без удивления, спокойно, как встречают не очень званого гостя. Говорили о Париже и Лондоне, об Анрепе, о литературе.

П. Н. Лукницкий, биограф Гумилева, записал со слов Ахматовой, что она провела с мужем ночь в меблированных комнатах «Ира», где он остановился, а на следующий день в квартире Срезневских попросила у него развод, объяснив, что выходит замуж за Шилейко. Гумилев не поверил, что — по любви.

Позже, объясняя этот странный брак, Анна Андреевна говорила:

— Это все Коля с Лозинским: «Египтянин, египтянин!» в два голоса. Ну, я и согласилась.

Шилейко был ассирологом, еще четырнадцатилетним гимназистом расшифровывал египетские папирусы. Он также писал лирические стихи и помещал их в «Аполлоне» и «Гиперборее». В начале войны Шилейко поступил воспитателем детей к графу Шереметеву, избежав этим призыва, жил в Шереметевском дворце на Фонтанке, располнел и приоделся. Анна Андреевна поясняла: «К нему я сама пошла. Чувствовала себя такой черной, думала, очищение будет». А до Шилейко был композитор Лурье, крещеный еврей, о нем Ахматова сказала

кратко: «Он хороший был — Артур, только бабник страшный».

С легкой иронией Анна Андреевна вспоминала, что в ту пору для оформления брака достаточно было заявить в домоуправление, где просто записывали в домовую книгу. Шилейко взялся все это оформить и через день сказал, что нужная запись сделана. Так Ахматова, без развода с Гумилевым, даже не заходя в домоуправление, стала женой Шилейко, сохранив свой литературный псевдоним. «Но когда после нашего развода (с Шилейко. — *О.В.),* — говорила Анна Андреевна, — некто по моей просьбе отправился в контору уведомить домоуправление о расторжении брака, он не обнаружил записи ни под тем числом, которое я отчетливо помнила, ни под ближайшим и вообще нигде».

Совсем по-другому описывает то же событие Георгий Иванов: якобы в один из теплых августовских вечеров во Владимирском соборе в торжественной обстановке, с шаферами и певчими, священник обвенчал Анну Гумилеву и Владимира Шилейко. Никакого доверия это свидетельство не вызывает, как и запись Ирины Одоевцевой, которая так передает слова Николая Степановича: «До сих пор не понимаю, почему Анна Андреевна заявила мне, что хочет развестись со мной, что она решила выйти замуж за Шилейко. Я ведь ничем не мешал ей, ни в чем ее не стеснял. Меня — я другого выражения не нахожу — как громом поразило. Но я овладел собой. Я даже мог заставить себя улыбнуться. Я сказал: „Я очень рад, Аня, что ты первая предлагаешь развестись. Я не решался сказать тебе, я тоже хочу жениться“. Я сделал паузу — на ком, о Господи?.. Чье имя назвать? Но я сейчас же нашелся: „На Анне Николаевне Энгельгардт, — уверенно произнес я. — Да, я очень рад“. И я поцеловал ей руку: „Поздравляю, хотя твой выбор не кажется мне удачным. Я плохой муж, не скрою. Но Шилейко в мужья вообще не годится. Катастрофа, а не муж“».

Если вспомнить отношения между Ахматовой и Гумилевым чуть ли не с первого года их брака, вспомнить историю с Еленой Дибуше в Париже, вспомнить Анну Энгельгардт, которая не без основания считала себя невестой Николая Степановича, а фактически уже была его женой, то обе версии развода вызывают изрядные сомнения. Но других свидетельств нет.

Как бы то ни было, узел сложных отношений, связавший двух крупных поэтов Серебряного века, был если не развязан, то разрублен. 5 августа 1918 года брак был официально расторгнут.

Незадолго до того на Троицу Гумилев с Ахматовой поехали в Бежецк. О своем приезде Николай Степанович уведомил письмом. Анна Ивановна сдержанно отнеслась к разводу. Хотя с невесткой

никогда не было близких отношений, развод она считала недопустимым в порядочном дворянском обществе. Левушка обрадовался приезду родителей, но еще больше — большому плюшевому льву с пышной гривой, купленному Николаем Степановичем в Лондоне перед отъездом в Россию.

Ахматова вспоминает, как, сидя на диване, они смотрели на сына и молчали, а потом Николай Степанович взял ее руку, почтительно поцеловал и тихо, задумчиво произнес:

— И зачем ты это выдумала?

Гумилев поселился на Ивановской улице, в квартире Маковского, ключ от которой был у Лозинского. Сергей Константинович в это время жил в Крыму, квартира пустовала.

Надо было решить вопрос: на какие средства существовать и как добыть паек, ведь в лавках ничего не продавалось, частную торговлю запретили и новая власть объявила военный коммунизм.

И надо было выяснить отношения с Асей Энгельгардт.

Еще до поездки в Бежецк, 13 мая Георгий Иванов, зайдя за Гумилевым, повез его на утренник в Тенишевское училище, организованный обществом «Арзамас». Утренник начинался почему-то в 2 часа дня, предстояло чтение поэмы Блока «Двенадцать», напечатанной в начале марта в левоэсеровской газете «Знамя труда». О поэме в городе шли жаркие споры: одни ею восхищались, других она возмущала. Сологуб, Пяст и Ахматова в знак протеста отказались участвовать в утреннике, но Гумилев с Ивановым пришли. Среди публики было много молодых, начинающих поэтов: Леонид Страховский в поношенном мундире лицеиста с блестящими пуговицами, Николай Оцуп — крупный, полноватый юноша в кожаной куртке и галифе, похожий на комиссара из учпродкома, Леонид Канегиссер в форме вольноопределяющегося, но без погон. Никому бы в голову не пришло, что в конце лета он убьет начальника Чека Урицкого.

Поэму «Двенадцать» читала жена Блока, выступавшая под сценической фамилией Басаргина. Мелодично, подвывая, в тогдашней манере, она бросала в зал такие непривычные, вовсе не блоковские слова:

> …— Отвяжись ты, шелудивый,
> Я штыком пощекочу!
> Старый мир, как пёс паршивый,
> Провались — поколочу!

В публике нарастали возмущенные выкрики, свист и

одновременно приветственные аплодисменты. Когда Любовь Дмитриевна закончила чтение, поднялся страшный шум, понеслись крики «позор!» и «браво!».

Следующим по программе должен был выступать сам Блок, но, растерявшись от такой бурной реакции зала, он не мог справиться с волнением. Возникла пауза, и тогда на сцену вышел Гумилев, остановился у пюпитра, несколько минут спокойно смотрел в зал, пока шум не утих, и прочел написанное в Лондоне стихотворение «Франция»:

…Ты прости нам, смрадным и незрячим,
До конца униженным прости!
Мы лежим на гноище и плачем,
Не желая Божьего пути.

В каждом, словно саблей исполина,
Надвое душа рассечена,
В каждом дьявольская половина
Радуется, что она сильна.

Вот ты кличешь: «Где сестра Россия,
Где она, любимая всегда?»
Посмотри наверх: в созвездье Змия
Загорелась новая звезда.

Зал потрясла овация. Затем Блок, успокоившись, прочел стихотворение «Скифы» и еще несколько своих прежних стихотворений.

Из Тенишевского училища Николая Степановича провожал Страховский. Шли аллеями Летнего сада, солнечные блики пробивались сквозь молодую листву деревьев и ложились на белый мрамор статуй, на желтый песок аллей. Страховский был в черном пальто с золотыми пуговицами, на которых сияли двуглавые орлы, Гумилев — в элегантном пальто английского покроя. Этот почтительный юноша, прочитавший собственное — и неплохое — стихотворение, нравился Гумилеву. Почувствовалось, что он дома, где все такое близкое и родное.

Распрощавшись со Страховским, он направился на квартиру профессора Николая Александровича Энгельгардта. Встреча с Аней была трогательной, у нее глаза сияли от счастья. О будущем не говорили. Ни о разводе с женой, ни о средствах, потребных для жизни вдвоем.

В это время Горький, заручившись поддержкой наркома просвещения Луначарского, принялся за организацию

издательства «Всемирная литература». Целью издательства было познакомить широкие массы трудящихся с сокровищами мировой культуры, выпуская произведения классиков литературы, начиная с древнейших времен и до нынешних дней. Предстояло составить огромный список произведений, многие из них впервые перевести на русский язык или обновить перевод, который явно устарел.

Горький стал энергично привлекать к работе писателей, переводчиков, литературоведов. Корней Чуковский занялся редактированием английской и американской литературы. Александр Блок возглавил в издательстве немецкий отдел, Гумилев — французский, оба они вошли в редколлегию издательства. Кроме этих обязанностей Гумилев был членом комиссии по «Инсценировкам истории культуры». По замыслу Горького, надо было написать ряд драматических произведений, охватывающих всю историю человечества. В качестве образцов служили небольшая пьеса Гумилева «Охота на носорога» из жизни первобытного общества и драма Блока «Рамзес» — сцены из жизни Древнего Египта.

В разное время во «Всемирной литературе» сотрудничали многие маститые писатели: Александр Куприн, семидесятипятилетний Василий Немирович-Данченко, критик Аким Волынский, Лозинский, Левинсон. До эмиграции некоторое участие в издательстве принимал Мережковский. Сотрудничали в издательстве и более молодые — Георгий Иванов, Оцуп, Адамович. Их привлек к работе Гумилев.

Сам Николай Степанович не только делал переводы и руководил другими, но и составил «Правила для переводчиков». Чуковского они возмущали: «Какие в литературе правила?» Но все равно Гумилев прочел на редколлегии издательства свои «Принципы художественного перевода», напечатанные в следующем, 1919 году. Горькому эта декларация понравилась, он даже предложил, несмотря на протест Блока и Чуковского, чтобы Гумилев заменил переводы Жуковского своими, и почти умолял переводчиков переводить честно и талантливо, «потому что мы держим экзамен… да, да, экзамен… Наша программа будет послана в Италию, во Францию, знаменитым писателям, в журналы — и надо, чтобы все было хорошо».

Порой заседания «Всемирной литературы» под председательством Горького превращались в разговоры или дружелюбную полемику о литературных течениях. Горький на заседания приезжал чисто выбритый, угрюмый, подчеркнуто величественный: «Я позволю себе сказать…», «Я позволю себе предложить…» Обсуждался вопрос о Гюго: сколько томов издавать? Горький требовал — поменьше: «Я позволю себе

предложить изъять „Несчастных“… да, изъять, не надо „Несчастных“, теперь, когда за катушку ниток… вот такую, маленькую, в Самарской губернии дают два пуда муки… Не люблю Гюго».

— Ну, а «Тружеников моря»? — спросил Чуковский.

— Не люблю…

— Но ведь там проповедь энергии, человеческой победы над стихиями, это мажорная вещь…

— Ну, если так, то хорошо. Вот вы и напишете предисловие. Если кто напишет предисловие — отлично будет.

Но Горький не всегда был таким доброжелательным. Известно, как его взорвали попытки комиссара изобразительного искусства Н. Н. Пунина закрыть Дом Искусств, другое горьковское детище. «Горький, — свидетельствует один из очевидцев, — с черной широкополой шляпой в руках очень свысока, властным и свободным голосом говорил:

— Не то, государи мои, вы говорите. Вы, как всякая власть, стремитесь к концентрации, к централизму — мы знаем, к чему привело централизацию самодержавие. Вы говорите, что у нас в Доме Искусств буржуи, а я вам скажу, что это все ваши же комиссары и жены комиссаров. И зачем им не наряжаться? Пусть люди хорошо одеваются — тогда у них вшей не будет. Все должны хорошо одеваться. Пусть и картины покупают на аукционах. Пусть! Человек повесит картину — и жизнь его изменится. Он работать станет, чтоб другую купить. А на нападки, раздававшиеся здесь, я отвечать не буду, они сделаны из-за личной обиды: человек, который их высказывает, баллотировался в Дом Искусств и был забаллотирован… — Пунин (а это его забаллотировали) нервно то запирал ключиком портфель, то отпирал, то запирал, то отпирал, лицо у него дергалось от нервного тика. Выступая, он сказал, что гордится тем, что его забаллотировали в Дом Искусств, ибо это показывает, что буржуазные отбросы его ненавидят. Вдруг Горький встал <… > очень строгий, стал надевать перчатку и, стоя среди комнаты, сказал:

— Вот он говорит, что его ненавидят в Доме Искусств. Не знаю. Но я его ненавижу, ненавижу таких людей, как он, и… в их коммунизм не верю. — Подождал и вышел».

Заседания, лекции, литературные споры и обсуждения заполняли жизнь Николая Степановича; никогда прежде он не жил такой напряженной, пусть голодной и неустроенной жизнью. Вместе с Лозинским они решили возродить издательство «Гиперборей». Прежние издательства были закрыты, в типографиях бумаги осталось только для декретов и партийных

газет, а у Гумилева накопилось много стихов и рассказов, хотелось видеть их изданными. И ему удалось договориться с полиграфистами о печатании в кредит с расплатой после продажи выпущенных книг.

Первой 28 июня появилась из печати тоненькая книжка в бумажной обложке — африканская поэма «Мик». А в июле одна за другой вышли «Фарфоровый павильон» и «Костер». Затем повторным изданием вышли «Жемчуга» и «Романтические цветы».

«Костер» — это книга вполне зрелого мастера, окончательно избавившегося от влияния Брюсова. В сборник вошло десять стихотворений, рисующих Россию, ее историю и пейзажи: «Андрей Рублев», «Городок», «Змей»; в других стихотворениях поэт опять возвращается к теме перевоплощения душ, к единству человека и природы:

…Я за то и люблю затеи
Грозовых военных забав,
Что людская кровь не святее
Изумрудного сока трав.

(«Детство»)

Впервые в сборнике «Костер» Гумилев обращается к общественной теме в стихотворении «Мужик». О нем емко сказала Марина Цветаева: «Есть у Гумилева стих — „Мужик“ … с таким четверостишием:

В гордую нашу столицу
Входит он — Боже спаси! —
Обворожает царицу
Необозримой Руси.

Вот в двух словах, четырех строчках, все о Распутине, Царице, всей той туче. Что в этом четверостишии? Любовь? Нет. Ненависть? Нет. Суд? Нет. Оправдание? Нет. Судьба. Шаг судьбы.

Вчитайтесь, вчитайтесь внимательно. Здесь каждое слово на вес — крови.

В гордую нашу столицу *(две* славных, *одна* гордая: не Петербург встать не может) входит он (пешая и лешая судьба России!) — Боже спаси! — (знает: не спасет!) обворожает царицу (не обвораживает, а именно по-деревенски: обворожает!) необозримой Руси — не знаю

как других, а меня это „необозримой“ (со всеми звенящими в ней зорями) пронзает — ножом <…>.

Объяснять стихи? Растворять (убивать) формулу, мнить у своего простого слова силу большую, чем у певчего — сильней которого силы нет, описывать — песню! <…>. Что поэт хотел сказать этими стихами? Да именно то, что сказал.

Дорогой Гумилев, есть тот свет или нет, услышьте мою, от лица всей поэзии, благодарность за двойной урок: поэтам — как писать стихи, историкам — как писать историю.

Чувство Истории — только чувство Судьбы…»

Но в то время, когда вышел «Костер», на сборник не обратили внимания. Было не до стихов. В стране разгоралась гражданская война, все ужаснее становился голод, все чаще шепотом передавали о казнях. О том, что в Екатеринбурге большевики расстреляли государя и всю его семью.

Гумилев считал, что это преступление, которое совершили не только большевики, а весь народ, и что народ страшно расплатится за него. Народ подчинился диктатуре, а в России — либо царь, либо — диктатор, злая личность, несущая гибель нации.

6 февраля 1919 года в «Петроградской правде» появилось объявление: «Сегодня в 6 часов вечера состоится открытие Коммунального детского театра-студии. Театр помещается на проспекте Володарского, 51. Открывается театр сказкой в 3-х действиях „Дерево превращений“ Н. С. Гумилева». Эта веселая восточная сказка, написанная прозой, пользовалась в голодном Петербурге успехом не только у детей, но и у взрослых.

Часто Гумилев выступал с докладами о литературе, в Институте живого слова вел курс теории и истории поэзии, руководил молодыми поэтами в кружке «Орион», читал с эстрады в студии Пролеткульта и Балтфлота, не заботясь, нравятся ли его стихи не привыкшим к поэзии рабочим и матросам. Стихи и в самом деле порой вызывали недоумение или подозрение. Он читал матросам стихотворение «Галла»:

Я склонился, он мне улыбнулся в ответ,
По плечу меня с лаской ударя,
Я бельгийский ему подарил пистолет
И портрет моего Государя, —

в зале послышалось глухое ворчание, а сидевший в первом

ряду матрос даже схватился за маузер. Почти такую же реакцию у слушателей вызвало стихотворение «Воин Агамемнона», где были слова:

Тягостен, тягостен этот позор —
Жить, потерявши царя!

Зато на вечере в Доме Искусств среди интеллигентов стихи имели успех. Корней Чуковский пишет, что «во время перерыва меня подзывает пролеткультовский поэт Арский и говорит, окруженный другими пролеткультовцами:

— Вы заметили?

— Что?

— Ну, не притворяйтесь… Вы сами понимаете, почему Гумилеву аплодируют.

— Потому что стихи очень хорошие. Напишите вы такие стихи, и вам будут аплодировать.

— Не притворяйтесь, Корней Иванович. Аплодируют, потому что там говорится о птице…

— О какой птице?

— О белой… Вот! Белая птица. Все и рады… Здесь намек на Деникина.

У меня, пишет Чуковский, закружилась голова от такой идиотской глупости». Но именно подобные суждения формировали образ Гумилева в глазах правящих верхов.

Той же весной Гумилевы переехали на новую квартиру на Преображенской улице, а 14 апреля 1919 года у Анны Николаевны Энгельгардт и Николая Степановича родилась девочка, которую окрестили Еленой. Было ли это имя дано в память о парижской Синей звезде или оно просто нравилось Гумилеву, но молодая мать не возражала. Рождение дочери не отразилось на поступках Николая Степановича, прибавилось только забот о пропитании, нужно было еще больше денег, которые стремительно падали, и полученный за статью гонорар в 30 тысяч едва хватал на неделю.

4 июля в Институте искусств Гумилев читал лекцию о поэме «Двенадцать». Пришел Блок, надеясь, что можно будет спрятаться за спинами слушателей. Оказалось, что народу мало. Говоря о последних строфах, Гумилев пришел к выводу, что Христос в конце поэмы «приклеен искусственно». Блок слушал, как каменный. Когда лекция кончилась, он сказал очень значительно, с паузами:

— Мне тоже не нравится конец «Двенадцати». Но он цельный, не приклеенный. Он с поэмой одно целое. Помню, когда я кончил,

я задумался: почему же Христос? И тогда же записал у себя: «К сожалению, именно Христос».

В ноябре Николай Степанович поехал с Кузминым в Москву. Их выступление в Политехническом институте московские коллеги встретили холодно, даже недоброжелательно. Вечером Гумилев зашел к Шилейко и Ахматовой на Зачатьевский переулок, где они жили с августа прошлого года. Гостя встретили приветливо. Анна Андреевна расспрашивала о петербургских знакомых — Блоке, Сологубе, Пясте, Мандельштаме. Шилейко поинтересовался, как движется перевод «Гильгамеша», ведь Николай Степанович ни разу не обратился к нему за помощью. Когда Гумилев сказал, что работает над сборником стихов об Африке «Шатер», и прочел два стихотворения, Анна Андреевна съязвила: «Это что же, в помощь школьникам, изучающим географию?»

В Петербурге началась зима, в квартире стоял лютый холод, Аня сидела с ребенком на кровати, укутанная кофтами и одеялами. Дров не было ни полена, и Николай Степанович, вооружившись топором, снял с петель дверь, разрубил и сжег вместе с ручками и задвижкой. Но этого топлива едва хватило до утра. На счастье, при содействии Чуковского Гумилев получил дрова от заведующего хозяйством Главархива и написал Корнею Ивановичу: «Дрова получил, сажень, дивные. Вечная моя благодарность Вам. Вечно Ваш Н. Г.».

Предстояло выполнить еще одно важное дело. В реквизированном доме Гумилевых в Царском Селе осталась его библиотека. Николаю Степановичу хотелось получить свои книги. На помощь пришел Оцуп: он съездил в Царское и, узнав, что все книги в больших ящиках вынесены в дровяной сарай во дворе дома, где и лежат уже два года, позвал двух студистов из Института живого слова. Ночью сбили замок с дверей сарая и на салазках вывезли ящики в дом матери Оцупа. Через два месяца книги уже стояли в книжном шкапу на Преображенской.

Если с дровами на некоторое время все уладилось, то с продуктами становилось все хуже и хуже. В столовой для писателей на обед давали тарелку жидкого пшенного супа, ложку пшенной каши на воде и пайку хлеба, по виду и вкусу похожего на кусок торфа. В буфете если и можно было купить пирожок с кислой капустой, то надо было отдать чуть не весь гонорар, полученный за поэму.

Каждый день Гумилев отправлялся на «охоту»: добыть для девочки хоть немного молока, раздобыть полфунта пшена или десяток картофелин, найти какое-нибудь советское учреждение, готовое послушать лекцию о творчестве Лермонтова или Леконта

де Лиля, согласиться на проведение занятий по теории стихосложения — за это платили несколько тысяч рублей и кормили супом с куском пшенного хлеба.

Корней Чуковский вспоминал, как

> «к годовщине Октябрьских дней военные курсанты, наши слушатели, получили откуда-то много муки. Каждому из нас, „лекторов“, они выдали не менее полпуда. Весело было нам в этот предпраздничный день везти через весь город на своих легких салазках такой неожиданный клад. Мы бодро шагали рядом и вскоре где-то близ Марсового поля завели разговор о ненавистных Гумилеву символистах.
>
> В пылу разговора мы так и не заметили, что везем за собой пустые салазки, так как какой-то ловкач, воспользовавшись внезапно разыгравшейся вьюгой, срезал наши крепко прикрученные к салазкам мешки. Я был в отчаянии: что скажу я дома голодной семье, обреченной надолго остаться без хлеба?
>
> Но Гумилев, не тратя ни секунды на вздохи и жалобы, сорвался с места и с каким-то воинственным криком ринулся преследовать вора — очень молодо, напористо, с такой неоглядной стремительностью, с таким, я бы сказал, боевым упоением, словно только и ждал той минуты, когда ему посчастливится мчаться по снежному полю, чтобы отнять свое добро у врага. Кругом было темно — из-за вьюги. Сквозь тусклую и зыбкую муть этого мокрого снежного шквала люди — даже те, что брели по ближайшей тропе, — казались пятнами без ясных очертаний. Гумилев мгновенно стал таким же пятном и исчез. Я ждал его в тоске и тревоге.
>
> Вернулся он очень нескоро и, конечно, ни с чем, но глаза его сияли торжеством. Оказывается, в этой мгле он налетел на какого-то мирного прохожего, который нес свой собственный мешок на спине, и, приняв его за нашего вора, стал отнимать у него этот мешок. Прохожий со своей стороны принял его за грабителя: громко закричал „караул“, и у них произошла потасовка, которая, хоть и кончилась победой прохожего, доставила поэту какую-то мальчишескую — мне непонятную — радость. Он возвратился ко мне триумфатором и, взяв за веревочку пустые салазки, тотчас же возобновил свою обвинительную речь против символизма, против творчества Блока, которую всегда начинал одной и той

же канонической фразой:
— Конечно, Александр Александрович гениальный поэт, но вся система его германских абстракций и символов…
И больше о нашей катастрофе — ни слова.
Весь этот боевой эпизод, происшедший на Марсовом поле, — погоня за мнимым грабителем и отчаянное сражение с ним (хотя тот и оказался гораздо сильнее) — все это раскрыло передо мною самую суть Гумилева. То был воитель по природе, человек необыкновенной активности и почти безумного бесстрашия».

В поисках средств к существованию Гумилев оставался прежде всего поэтом; он усердно работал над переводами и своими новыми произведениями. Казалось, тяжелое материальное положение не только не угнетало его, а вселяло дополнительную энергию. Революционные годы были самыми плодотворными во всей его поэтической жизни. Он чувствовал прилив творческих сил. Это был не прежний юношеский азарт, но глубокое, философское понимание мира, нашедшее выход в стихах о природе, мироздании, судьбе человека.

В холодной квартире, при свете коптилки он погружался в мир поэзии, забывая обо всей житейской неустроенности. Гумилев тщательно готовил к печати новый сборник стихов «Посредине странствия земного». В заглавии цитировалась начальная строка дантовской «Божественной комедии»: «Земную жизнь пройдя до середины» — так ее переведет Лозинский.

В конце концов сборник был назван «Огненный столп». Об огненном столпе написано в библейской «Книге Неемии»: «В столпе облачном Ты вел их днем и в столпе огненном — ночью, чтоб освещать им путь, по которому идти им».

Гумилев очень продуманно отбирал стихи для этой книги. Стихи шли не по времени их создания и не по признакам тематической общности, а по сцеплению идей — это был своеобразный «системный подход». Гумилев утверждал, что для составления книги необходимо использовать не линейную, обычную последовательность «смены мыслей, чувств и образов», а подводить итог «темам поэзии и возможном отношении к этим темам поэта».

«Огненный столп» — естественное продолжение и развитие книги «Костер». Литературные критики, отмечая высокое мастерство включенных в «Огненный столп» стихов, расходились в оценке отдельных стихотворений. Если многие восхищались стихотворением «Заблудившийся трамвай», то Э. Голлербах

находил его неудачным. «Неудачным произведением» назвал Л. Лунц небольшую поэму «Звездный ужас». О стихотворении «У цыган» критики вообще не высказывались.

Расхождение в оценке вызвано тем, что в этих стихах уже не акмеизм, который довольствуется точным описанием окружающих явлений, а сложное душевное переживание. Тут порою чувствуется, как, например, в «Звездном ужасе», колдовской, шаманский мистицизм: в окружающий, вполне реальный мир вдруг вторгается иррациональная сила; потусторонность, незамечаемая в повседневной жизни, вдруг напоминает о себе, и душа человека наполняется ужасом.

Гумилев еще в «Пути конквистадоров» выказывал свой интерес к влиянию этих сил на людские судьбы. О них он думал на фронте, лежа в дозоре на снегу и глядя в звездное небо. О них Гумилев размышляет в своей последней прижизненной книге. Он не был по-настоящему услышан и понят. Анна Ахматова, пунктирно намечая статью о Гумилеве, очень точно заметила: «Самый непрочитанный поэт». «И дело тут не в том, — поясняет она свою мысль, — что он запрещен — мало ли кто запрещен».

Яркими образцами философской поэзии Гумилева были три стихотворения под общим заглавием «Душа и тело». Они, возможно, являются частью большого эпического замысла, который остался неосуществленным. Э. Голлербах иронически замечал, что «Гумилев размахивается на подобие Гете или Данте». Едва ли ирония Голлербаха уместна, тем более что Гумилеву судьба не дала времени, чтобы довести до конца произведение, которое должно было стать главным в его поэзии.

Темой этого произведения, вероятно, должно было стать единство материального и невидимого, духовного мира, проступающее во всех явлениях.

Чтобы существовать, приходилось общаться с представителями нового режима. Чуковский записывал в дневнике 1920 года: «Я сделался перипатетиком: бегаю по комиссарам и ловлю паек. Иногда мне из милости подарят селедку, коробку спичек, фунт хлеба — я не ощущаю никакого унижения и всегда с радостью — как самец в гнездо — бегу на Манежный, к птенцам, неся на плече добычу. Источники пропитания у меня такие: Каплун, Пучков, Горохр и т. д. Каплун — приятный, с деликатными манерами, тихим голосом, ленивыми жестами — молодой сановник. Склонен к полноте, к брюшку, к хорошей барской жизни. Обитает в покоях министра Сазонова. У него имеется сытый породистый пес, который ступает по коврам походкой своего хозяина».

Борис Гитманович Каплун — управделами Петросовета, в его

ведении всё — пайки, дрова, квартиры и даже должности с зарплатой. Когда Чуковский с Гумилевым зашли к нему, Каплун выставил на стол бутылку вина и дореволюционное печенье. Уплетая печенье, Корней Иванович рассматривал книгу Мережковского с льстивой и подобострастной надписью Каплуну, а Гумилев один прикончил бутылку.

Однажды кто-то принес на заседание редакционной коллегии «Всемирной литературы» парижскую газету «Последние новости» со статьей уже эмигрировавшего Мережковского «Открытое письмо Уэллсу». Забыв, как он лебезил перед Максимом Горьким, униженно прося переиздать, для гонорара, его романы, теперь Мережковский писал: «Горький будто бы спасает русскую культуру от большевистского варварства. Я одно время сам думал так, сам был обманут, как вы. Но когда испытал на себе, что значит „спасение“ Горького, то бежал из России. Я предпочитал быть пойманным и расстрелянным, чем так спастись.

Знаете ли, мистер Уэллс, какой ценой „спасает“ Горький? Ценой оподления.

Нет, мистер Уэллс, простите меня, но ваш друг Горький — не лучше, а хуже всех большевиков, хуже Ленина и Троцкого. Те убивают тело, а этот убивает и растлевает души. Во всем, что вы говорите о большевиках, узнаю Горького».

«Письмо» возмутило сотрудников «Всемирной литературы». Гумилев, «железный человек», как называли его в шутку за непоколебимую защиту достоинства писателя, был оскорблен смертельно. Ведь получалось, что Горький «оподлил» всех, кто с ним сотрудничал. Что все они — голодные, гонимые властями писатели — стали подлецами только потому, что пытаются сохранить русскую культуру.

Он тут же подготовил ответ в газету «Последние новости» от имени коллегии издательства: «В зарубежной прессе не раз появлялись выпады против издательства „Всемирная литература“. Говорилось только о невежестве сотрудников и неблаговидной политической роли, которую они играют. Относительно первого, конечно, говорить не приходится. Люди, которые огулом называют невежественными несколько десятков профессоров, академиков и писателей, насчитывающих ряд томов, не заслуживают, чтобы с ними говорили. Второй выпад мог бы считаться серьезнее, если бы не был основан на недоразумении.

„Всемирная литература“ — издательство не политическое. Его ответственный перед властью руководитель Максим Горький добился в этом отношении полной свободы для своих сотрудников. Разумеется, в коллегии экспертов, ведающей идейной стороной издательства, есть люди самых разнообразных

убеждений, и чистой случайностью надо признать факт, что в числе шестнадцати человек, составляющих ее, нет ни одного члена Российской Коммунистической партии. Однако все они сходятся на убеждении, что в наше трудное и страшное время спасение духовной культуры страны возможно только путем работы каждого в той области, которую он свободно избрал себе прежде. Не по вине издательства эта работа его сотрудников протекает в условиях, которые трудно и представить себе нашим зарубежным товарищам. Мимо нее можно пройти в молчании, но гикать и улюлюкать над ней могут только люди, не сознающие, что они делают, или не уважающие самих себя».

После бурного обсуждения Горький предложил не вступать в дискуссию и письма не публиковать.

На святках в Институте искусств в бывшем особняке Зубова был устроен вечер-бал для литераторов, художников, музыкантов, актеров. В тускло освещенном несколькими электрическими лампочками зале двигалась толпа, одетая в свитеры, потертые шубы с траченными молью воротниками, в валенках или теплых калошах. Было страшно холодно, изо ртов шел пар.

Гумилев появился в зале во фраке, с женой, Анной Николаевной, в темном открытом платье, и ее подругой. Проходя по залу, Гумилев величественно раскланивался направо и налево, всем своим видом показывая: ничего особенного не произошло. Что — революция? Не слыхал!

Отыскав возле прохода свободные места, он усадил своих дам, а сам куда-то отлучился. Поэт Илья Садофьев, оглядываясь в поисках свободного места, бесцеремонно уселся рядом с Гумилевой. Вернувшись, Гумилев вспыхнул, пригрозил подлецу пощечиной. Садофьев вскочил и вышел из зала.

Завершился 1920 год. На юге, в Крыму, рухнул последний оплот Белого движения. Советская власть укреплялась. Усилились репрессии, ужесточилась цензура.

В холодный январский вечер по пустынному Невскому навстречу ветру, гнавшему поземку, шли Гумилев и престарелый Василий Немирович-Данченко. Говорили о том, что жизнь словно стиснута железными тисками. Гумилев твердо заявил, что ни переворота, ни Термидора не будет. И что одни безумцы могут устраивать заговоры против этой власти.

Кроме Института живого слова Гумилев организовал студию «Звучащая раковина», в которой его лекции слушали совсем юные поклонники поэзии. Николай Степанович решил создать Цех поэтов, третий по счету. Главным синдиком стал он сам, помощником синдика — Лозинский, мастерами — Г. Иванов и Адамович, звания подмастерья удостоился Оцуп, учениками были

Сергей Нельдихен, Константин Вагинов, Ирина Одоевцева, Всеволод Рождественский. Занятия посещали также сестры Наппельбаум, Николай Чуковский, Петр Волков, Валентин Миллер, Наталья Сурина.

В Цехе царила строгая дисциплина. Собирались в назначенные дни на квартире Гумилева на Преображенской улице или в фотографическом ателье Наппельбаума. Новые стихи разбирались детально, строка за строкой и слово за словом; выбор тем для стихов, их композиционное построение предоставлялись каждому пишущему по его выбору. Иванов с антикварной точностью воспроизводил обстановку прошлого века. Адамович писал лирические стихи о своем конфликте с эпохой, Сергею Нельдихену отвели область лирических сентенций в возвышенном «библейском» стиле, Константин Вагинов развивал мотивы античной поэзии, Всеволод Рождественский описывал деревенские пейзажи в стиле Кустодиева, Ирина Одоевцева подражала старинным английским балладам.

Настоящее имя Одоевцевой Ираида Густавовна Гейнике. Стройная, с ярко-рыжими волосами и зелеными глазами, всегда с пышным бантом на затылке, она была родом из прибалтийских немцев; рано выйдя замуж за адвоката Попова, она уже рассталась с ним.

> «Однажды, — рассказывал Всеволод Рождественский, — когда мы собрались у Гумилева, он сообщил нам радостную весть. Издательство „Мысль“ решило выпустить три небольших сборника поэтов Цеха. Один сборник был предоставлен Иванову, другой мне. Кто станет автором третьего сборника? И тут Гумилев сказал, что эту честь нужно предоставить единственной даме нашего цеха — Раде Густавовне.
>
> Так вот. Оказалось, что ее стихов не хватает и на самый скромный сборник. Тогда Гумилев предложил остальным членам принести в следующий раз, в порядке цеховой дисциплины, стихи, написанные в ключе и тональности Рады Густавовны, Пример подал сам Великий синдик. В числе других стихи принес и я. Это о статуе в Летнем саду…
>
> Теперь оставалось только дать будущему сборнику название. Кто-то предложил назвать его „Дворец чудес“. Гумилев заметил, что при этом вспоминается Андерсен, так что лучше назвать сборник в английском духе: „Двор чудес“. А имя автора? „Рада“ звучало хорошо, но Гейнике как-то не подходило <…>. Гумилев, сидя

спиной к книжному шкафу, протянул руку и вытащил за корешок первую попавшуюся книгу. Ей оказалась „Русские ночи“ князя Одоевского — сказочника и романтика.

— Вот и псевдоним, — сказал Гумилев, — Ирина Одоевцева.

Все согласились, что „крещение“ удачное: имя звучало интригующе и романтично. Так родилась новая русская поэтесса».

Из Москвы приехал поэт Владислав Ходасевич, Николай Степанович попытался и его привлечь в Цех. Но Ходасевич, побывав два раза на заседаниях, решительно отказался от участия в кружке. Ему казалось бессмысленным заниматься стихосложением с людьми, не обладающими поэтическим талантом.

Так наступил тысяча девятьсот двадцать первый год.

ГЛАВА XIII
«А я уже стою в садах иной земли…»

Заседания во «Всемирной литературе» с обсуждением перечня произведений, которые следует включать в будущую серию, всегда были долгими, утомительными. От голода и папирос болела голова. Дома у Гумилева постоянно чувствовалась неустроенность: невозможно стало доставать молоко для ребенка, жена рыдала и устраивала сцены.

В конце концов было решено ехать в Бежецк, отложив все дела в городе. А дел было много: недавно Николая Степановича избрали председателем Петроградского отделения Всероссийского Союза поэтов, сменив на этом посту Блока. Гумилев условился с Александром Александровичем о встрече.

Она прошла корректно. Блок в белом свитере, плотно облегавшем его фигуру, с неподвижным, усталым лицом говорил о делах ровным голосом, ничем не проявляя своих чувств. Николай Степанович был предупредителен чуть больше, чем следовало. Оба понимали, что дело не просто в должности. Речь шла о том, кого из них двух признают первым поэтом Петербурга. И, выиграв этот необъявленный спор, Гумилев должен доказать свое первенство делом. Стало быть, необходимо освободиться от бытовых забот, когда приходится тратить время на поиски бутылки молока, нескольких яиц или четверти фунта сливочного масла.

Поезд пришел в Бежецк утром, опоздав на три часа. У вокзала, как в былые времена, стояло несколько извозчиков. Один из них по пути в Слепнево рассказал, что имение отобрано и разорено и что у сестры поэта Александры горе: она похоронила ребенка.

Из писем Николай Степанович знал об этом, знал и о смерти Коли-маленького, который делил с ним опасности путешествия по Абиссинии. Коля был на войне, пережил отравление газами и закончил свой земной путь в Ростове. Прошлым летом здесь же, в Бежецке, умерла от тифа и жена Коли-маленького, княжна Соня Амилахвери; потеряв мужа, она не сумела пробиться к отцу в Грузию и возвратилась к свекрови.

Наконец сани остановились возле знакомого дома. Вышла Анна Ивановна в темном плотном капоте, за ней выбежал Лева и остановился на пороге, с любопытством разглядывая приехавших; следом в дверях показалась совсем одряхлевшая тетя Варя, с трудом передвигая отекшие ноги. Шура пришла из своей школы

только к обеду. За время, что Николай Степанович ее не видел, сестра сильно изменилась, осунулась и словно очерствела. Она предупредила, что в Бежецке с продуктами очень трудно, на рынке безумная дороговизна, и все питаются и живут очень скромно. Условились, что Николай будет посылать из Петербурга деньги.

На следующий день в дом пришла депутация от местных любителей поэзии с просьбой выступить в городском театре. Там на сцене сидел президиум за длинным столом, возле которого стояли два фикуса из директорской квартиры, а над столом два портрета — Ленин и Троцкий, явно кисти местного художника. Николая Степановича посадили на самое почетное место. Выступил директор школы, объявил, что город принимает знаменитого поэта, председателя Петроградского Союза поэтов, он расскажет о современной революционной поэзии. Публика сидела в пальто, полушубках, валенках и шапках — зал не отапливался.

Гумилев заговорил о значении слова, о том, что поэзия есть синтез мысли и духа. В заключение он прочел стихи «Слово»:

> В оный день, когда над миром новым
> Бог склонял лицо Свое, тогда
> Солнце останавливали словом,
> Словом разрушали города.

Трудно было понять, как люди восприняли и беседу, и стихи. Выступавшие, заглядывая в бумажку, говорили о раскрепощении творчества и о грядущей мировой революции. В заключение выступил бежецкий поэт и с большим подъемом громким голосом прочел стихотворение о единении всех трудящихся в братскую семью. Гумилев запомнил только последнюю строку: «И лапоть лаптю руку жмет!»

Николай Степанович был избран всеми присутствующими Почетным председателем Бежецкого отделения Петроградского Союза поэтов. По окончании торжественной части устроители пригласили гостя в комнату за сценой, где был организован «товарищеский ужин»: винегрет, даже политый постным маслом, и тоненькие ломтики черного хлеба. К чаю на столе появилась бутылка с мутным раствором сахарина. В Бежецке и впрямь было скудно с продуктами.

Присутствовали учителя из педтехникума и школы второй ступени, разговор шел не столько о поэзии, сколько о нехватке тетрадей, карандашей да о циркулярах Наркомпроса. Александра Степановна вспоминала, как хорошо было работать, когда

директором школы в восемнадцатом году был Николай Григорьевич Высотский. Николай Степанович невольно вспомнил актрису Высотскую, ее звали Ольга Николаевна. Не ее ли отец был директором школы?

На следующее утро он уехал в Петроград. Для Цеха поэтов, третьего по счету, непременно требовалось создать печатный орган. Разрешение он надеялся получить через Горького, но не было ни издательств, ни бумаги для стихов, выходили только официальные партийные газеты и брошюры вождей. Все же Гумилев сумел наладить печатание на гектографе тоненьких тетрадок-сборников, где помещали стихи Георгий Иванов, Мандельштам, Оцуп и он сам.

С некоторого времени стало привычным, что по утрам в воскресенье к Гумилеву заходил Корней Чуковский, и они отправлялись пешком через весь город на Петроградскую сторону к большой поклоннице стихов Гумилева Варваре Васильевне Шайкевич. Писал Гумилев в это время много, иногда по два-три стихотворения в день, и написанное часто читал по дороге Чуковскому. Например, такие строки:

А я уже стою в садах иной земли,
Среди кровавых роз и влажных лилий,
И повествует мне гекзаметром Вергилий
О высших радостях земли.

У Варвары Васильевны Гумилев сидел в кресле, прямой, как линейка, и, прихлебывая из бокала красное вино, чудом сохранившееся у хозяйки с прежних времен, тоже читал стихи, еще не вошедшие ни в один сборник:

Серебром холодной зари
Озаряется небосвод,
Меж Стамбулом и Скутари
Пробирается пароход.
Как дельфины, пляшут ладьи,
И так радостно солоны
Молодые губы твои
От соленой свежей волны.
Вот, как рыжая грива льва.
Поднялись три большие скалы —
Это Принцевы острова
Выступают из синей мглы.

Стихи назывались «Сентиментальное путешествие», они очень понравились Горькому, тоже бывавшему у Шайкевич. Гумилев не отплатил любезностью за любезность. Горький как писатель ему не нравился, а горьковские поэтические опыты он находил вообще дилетантскими. Встретившись с Горьким, он объявил напрямую: «Вы стихов писать не умеете и заниматься этим не должны». Горький его выслушал и, видимо, согласился.

Гумилев был убежден, что поэзия — это только от Бога. Даже слово «поэт» он произносил особенно торжественно, подчеркивая его особый смысл. Как-то Николай Оцуп спросил, зачем Николай Степанович столько сил и времени тратит на занятия в различных литературных кружках и студиях — вот недавно организовал еще одну, «Звучащая раковина», где его избрали почетным председателем. И услышал в ответ: не с надеждой сделать из них поэтов. Это невозможно, однако можно и нужно просто помочь им приобщиться к великому искусству, научить их понимать поэзию.

Его радовало, что юноши и девушки с таким рвением изучают тайны стихосложения, все эти ямбы, хореи, амфибрахии, гекзаметры, ассонансы, метафоры. Гумилев говорил, что каждого можно научить грамотно писать стихи, подобно тому, как в школах учат писать сочинения. Ему нравилось устраивать литературные игры, буриме, когда каждый по кругу сочинял строку или строфу, из которых должно было получиться целое стихотворение. Иногда все участники занятий рассаживались на ковре в гостиной, вместе со студистами сидели и члены Цеха поэтов: Георгий Иванов, Николай Оцуп, Всеволод Рождественский, Ирина Одоевцева. И начинался разговор стихами: поэтическими строчками перебрасывались, как мячом. Были тут и шутки, и шарады, и нечто вроде объяснений в любви. А потом студисты шли провожать своего учителя, и совсем забывалось, что не хватает продуктов, в домах — холод, в городе установлен комендантский час, а издали, от залива, ветер доносит пушечные выстрелы: это восставший Кронштадт направил тяжелые орудия на Петербург, и никто не знает, что случится завтра.

Однажды, вспоминал Георгий Иванов, он зашел на Преображенскую. Гумилев сидел перед маленькой круглой «буржуйкой», помешивая угли игрушечной саблей своего сына. Показал гостю письмо, полученное утром: «Перепишите и разошлите эту молитву девяти вашим знакомым. Если не исполните — Вас постигнет большое несчастье». Дальше шла молитва: «Утренняя Звезда, источник милости, силы, ветра, огня, размножения, надежды…»

Иванов заметил, что это странная молитва, ведь утренняя

звезда — звезда Люцифера. Гумилев сказал, что, разумеется, не придает посланию никакого значения, однако предупреждать его о несчастье незачем — он и без напоминаний не сомневается, что оно ему суждено. Неизвестно, откуда произойдет нападение, каким оружием воспользуется противник, но, впрочем, он спокоен.

Как-то в мартовский вечер Гумилев зашел к Оцупу, жившему на Серпуховской. Патрули задерживали редких прохожих, глухо и часто ухали пушечные выстрелы, от них вздрагивали оконные стекла: начинался штурм Кронштадтской крепости. Друзья молча сидели на ковре возле топящейся печки, стараясь не думать о том, что сейчас происходит там, в городе, где родился Николай Степанович. С самого начала восстания моряков было в нем нечто трагически-обреченное, как в сопротивлении мальчиков-юнкеров в октябре 1917 года. Николай Степанович не сочувствовал восставшим: они-то и свергали Временное правительство, застрелили в больнице двух министров, расстреливали своих офицеров и юнкеров. Это о них сказано в «Двенадцати»:

В зубах — цигарка, примят картуз,
На спину б надо бубновый туз!
Свобода, свобода,
Эх, эх, без креста!..
…Товарищ, винтовку держи, не трусь!
Пальнем-ка пулей в Святую Русь —

В кондову́ю,
В избяну́ю,
В толстозадую!..

Поэма Блока все еще вызывала массу недоумений и протестов. Понять мотивы, которые им двигали, Гумилеву было сложно. Он мог объяснить, отчего стал большевиком Брюсов — тот всегда был холоден и расчетлив; мог разобраться в поведении Андрея Белого с его безумной восторженностью. Но Блок? Или в самом деле права Зинаида Гиппиус, уверявшая своих знакомых, что Блок просто не понимал, какое он совершил кощунство.

С того, 1918 года Блок очень изменился, ушел в себя, замкнулся, а физически таял буквально на глазах. Последний раз он выступил в Петербурге апрельским вечером, в огромном зале Драматического театра, бывшего Суворинского, при большом стечении публики. Вечер открыл вступительной речью Чуковский, потом на сцену вышел сам поэт с бледным, усталым лицом. Остановился сбоку столика, начал читать стихи о России:

Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться?
Царь, да Сибирь, да Ермак, да тюрьма!
Эх, не пора ль разлучиться, раскаяться…
Вольному сердцу на что твоя тьма?..

Мягкий, глухой голос, будто издалека, на одной ноте. Только заключительную строфу он прочитал громче, проникновеннее:

Тихое, долгое, красное зарево
Каждую ночь над становьем твоим…
Что же маячишь ты, сонное марево?
Вольным играешься духом моим?

(«Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться?..»)

Кто-то из публики негромко сказал: «Это поминки какие-то». Больше Блок не выступал в Петрограде.

Николай Степанович думал о том, как изменилась жизнь, какой трудной, голодной, даже опасной стала она, но у него был и интерес к происходящему. Впрочем, развешанные на улицах лозунги «Кто не с нами, тот против нас!», «У пролетариата нет родины!» отталкивали его, такого чуждого политике. Георгий Адамович настойчиво ему советовал не афишировать свои убеждения — религиозные, монархические. Гумилев отвечал, что не боится доносчиков. Он ведь не выступает против власти. Власть его просто не интересует. Гумилев не читал газет, не слушал панических рассказов знакомых о «красном терроре», не пытался разобраться в чуждой для него идеологии.

После Кронштадта террор усилился. Каждую ночь шли облавы, аресты: увозили бывших чиновников, учителей, священников. Надо было держаться как можно осторожнее, но Гумилев отказывался следовать такой логике. В конце концов, он ведь не был в Белой армии, не участвовал в братоубийственной войне, а теперь эта война позади, и все утрясется, наладится.

Гумилев работал над новым сборником стихов, который он назвал «Шатер». Это были стихи об Африке, книга посвящалась памяти Коли-маленького. Как трагично он кончил жизнь!

…Есть Музей этнографии в городе этом
Над широкой, как Нил, многоводной Невой,
В час, когда я устану быть только поэтом,
Ничего не найду я желанней его.

Я хожу туда трогать дикарские вещи,
Что когда-то я сам издалёка привез,
Слышать запах их странный, родной и зловещий,
Запах ладана, шерсти звериной и роз.

И я вижу, как южное солнце пылает,
Леопард, изогнувшись, ползет на врага,
И как в хижине дымной меня поджидает
Для веселой охоты мой старый слуга.

(«Абиссиния»)

Пришли письма из Бежецка: от Ани, а через день — от Шуры. Аня писала, что очень скучает в Бежецке, с ней никто не разговаривает, деньги давно кончились, она взяла у золовки в долг, но Шура требует долг возвратить; для девочки уже третий день нет ни капли молока. Шура сообщала, что посланные им деньги получены, но Аня тратит их на всякие пустяки. Ребенок плачет, Аня тоже плачет, капризничает и сердится на всех.

Что следовало предпринять? Взять семью в Петроград? Но он сам, случалось, сидел без хлеба. А в Бежецке отношения явно не складывались. Выхода не находилось.

Весенним днем Гумилев и Оцуп сидели на штабелях бревен, сложенных на Английской набережной, курили и рассматривали большие серые льдины, плывущие по Неве. Показались два грузовика, тарахтя и стреляя выхлопами. В кузовах сидели матросы в черных бушлатах, с заросшими щетиной лицами, по бортам стояли курсанты с винтовками. «Братцы, помогите, расстреливать ни за что везут!» — крикнули с грузовика. Гумилев дернулся, порываясь встать. Оцуп крепко схватил его за плечо. Машины проехали. Гумилев перекрестился, тихо сказал: «Убить безоружного — величайшая подлость».

В стране был объявлен нэп, о нем в городе заговорили все сразу, и жизнь стала стремительно меняться: за деньги можно было достать что угодно, открылись маленькие кафе, пошли слухи, что скоро разрешат издательскую деятельность.

11 апреля в Доме литераторов состоялось собрание, на котором Гумилев прочел доклад об акмеизме и несколько стихотворений из готовящихся к изданию сборников «Шатер» и «Огненный столп». И, получив новые письма из Бежецка, понял, что надо ехать за женой и дочерью.

Первым, кого Николай Степанович увидел в Бежецке, был Лева: вооружившись палкой, мальчик нападал на пестрого

теленка, а тот равнодушно глядел на матадора, пережевывая траву.

22 мая, в именины Николая Степановича, вся семья собралась за столом — нэп добрался и до этих мест, появилась даже булочная. Но оставаться здесь Аня не хотела ни на минуту. Вечером следующего дня они все трое были в Петрограде.

На лестнице «Дома литераторов» Мандельштам познакомил Гумилева с военным моряком Павловым, который на днях уезжал в Севастополь и пригласил поэта прокатиться в отдельном салон-вагоне с ним вместе. Предложение было настолько заманчиво, что Гумилев согласился, сразу позабыв о своих делах в издательстве и занятиях со студийцами.

Павлов за несколько дней, что он провел в Петрограде, успел перезнакомиться со многими поэтами — Георгием Ивановым, Оцупом, даже со сдержанным и строгим Ходасевичем. Всех привлекали его открытая наружность и безукоризненные манеры.

30 мая Николай Степанович отправился в Севастополь в поезде командующего военным флотом. Павлов был самого высокого мнения о своем начальнике адмирале Немитце, говорил, что это культурный, замечательный офицер старой выучки. С такими можно восстановить былое величие и флота, и России.

В Севастополь поезд пришел на рассвете. Город носил следы недавних боев: следы осколков пуль на штукатурке домов, выбитые окна, много заколоченных досками дверей. Гумилев бродил по городу, такому знакомому и словно испуганному, притаившемуся. В одном из переулков ему повстречалась женщина в поношенном летнем пальто, с сильной проседью в темных волосах. Когда-то они встречались на даче Шмидтов. Звали ее Клавдией Дмитриевной; она рассказала, какие ужасы творились в Крыму, когда красные взяли Перекоп. Далеко не все могли сесть на уходившие корабли. Оставшихся расстреливали в каменоломнях.

Павлов познакомил Гумилева с морским командиром Сергеем Колбасьевым. Перед революцией Колбасьев окончил кадетский корпус, в гражданскую командовал дивизионом красных миноносцев, а теперь служил на одном из кораблей, стоявших в бухте. Когда-то в Петербурге он бывал в Доме литераторов, у него с Гумилевым оказалось много знакомых. Расстрел государя и его семьи в Екатеринбурге Колбасьев назвал «гнусным преступлением большевиков». Вспомнились предостережения Адамовича и других: уж не провокация ли эти разговоры? Он, однако, не скрыл от Колбасьева, что по убеждениям тяготеет к монархизму, однако при условии, что на

престоле будет очаровательная дама, покровительница поэзии. И тут — редкая удача — выяснилось, что местная типография согласна отпечатать его сборник «Шатер». Правда, он еще не весь был готов, ведь предполагалось, что в книге будут стихи не только об Абиссинии, но и о других областях — Сахаре, Нигере, Конго. Но упускать представившийся шанс было бы глупо.

На другой день Гумилев принес в типографию 12 стихотворений с пометкой, что сборник посвящается «памяти моего товарища в африканских странствиях Николая Леонидовича Сверчкова». На последней странице был перечень книг Цеха поэтов, почти все объявленное имело пояснение: «печатается». Последним в коротеньком перечне значился Вл. Павлов, стихи которого Гумилев обещал опубликовать при первой возможности.

Через несколько дней он получил из типографии 300 тоненьких книжечек в серо-голубой бумажной обложке. Пусть на шершавой бумаге, пусть с опечатками, все равно по тому времени выход книги был чудом.

Как-то Колбасьев пригласил Николая Степановича в рейс на военном корабле в Феодосию. Шли вдоль берега, огибая полуостров. В Феодосии простояли несколько часов. Гумилев прогулялся по набережной, хотел выкупаться, так как день был солнечный. Но вода оказалась ледяной и, едва окунувшись, он выскочил на берег.

Перед самым отплытием на берегу показалась высокая фигура бородатого мужчины, который поспешно шел к кораблю. Это был Волошин, тот, с кем была дуэль и не было примирения. Волошин подошел, протянул руку. Гумилев молча ее пожал. Матросы подняли трап. Максимилиан Александрович с матерью стояли на пристани, глядели вслед отплывающему кораблю.

На обратном пути из Севастополя в Москву Павлов рассказывал, что перед самой революцией он был произведен в мичманы, плавал на канонерской лодке, участвовал в боях. К Белому движению он не примкнул, убежденный, что оно было авантюрой. Но Россия жива, и дело патриотов сплотиться, чтобы возродить ее.

Как и в разговорах с Колбасьевым, Гумилев интуитивно чувствовал, что эта доверительность опасна. Но Павлов перевел разговор на поэзию, восторгаясь только что появившейся гумилевской «Поэмой начала»:

…Освежив горячее тело
Благовонной ночною тьмой,
Вновь берется земля за дело.

Непонятное ей самой.
Наливает зеленым соком
Детски нежные стебли трав
И багряным, дивно высоким
Благородное сердце льва.
И, всегда желая иного,
На голодный жаркий песок
Проливает снова и снова
И зеленый, и красный сок.
С сотворенья мира стократы.
Умирая, менялся прах:
Этот камень рычал когда-то,
Этот плющ парил в облаках.
Убивая и воскрешая,
Набухать вселенской душой —
В этом воля земли святая.
Непонятная ей самой…

Предполагалось, что это будет монументальная поэма: двенадцать песен, согласно сохранившемуся черновому плану. Напечатана была только первая — «Дракон». Осталось несколько заметок, относящихся к продолжению, оно не было осуществлено.

В Ростове Гумилев распрощался с Павловым. Он помнил, что ему рассказывали о постановке трагедии «Гондла» в местном театре, и хотел ее увидеть. Ему повезло: как раз в этот вечер давали его пьесу.

Узнав, что присутствует автор, режиссер Горелик и вся труппа были очень взволнованы. Актеры с пафосом декламировали великолепные монологи. Особенно хорошо читал пожилой актер, игравший роль вождя ирландцев:

Подымается ветер вечерний.
За утесами видно луну,
И по морю из ртути и черни
Мы отправимся в нашу страну.

(«Гондла»)

Актриса, игравшая Леру, уступала мужчинам в декламации, но зато у нее была очень выразительная мимика. Она заслужила много аплодисментов и очень понравилась Николаю Степановичу.

Спектакль продемонстрировал Гумилеву, что написанная им

пьеса в общем не сценична. Однако она так музыкальна, что напоминает оперу, только без пения. Это совсем особая, новая форма театрального искусства.

После представления вся труппа направилась в гостиницу, где остановился Гумилев. Началось бурное обсуждение, на столе появилось несколько бутылок самогона и вишневой наливки. Гумилев сидел на почетном месте рядом с актрисой, игравшей Леру. Наутро актеры пришли на вокзал проводить Гумилева.

Поезд шел медленно. Глядя на проплывающие поля, перелески, села с белыми хатками, крытыми соломой, Гумилев думал о том, что до половины окончил свое земное странствие и пришло время первых итогов:

Я рад, что он уходит, чад угарный.
Мне двадцать лет тому назад сознанье
Застлавший, как туман кровавый, очи
Схватившемуся в ярости за нож;
Что тело женщины меня не дразнит,
Что слава женщины меня не ранит,
Что я в ветвях не вижу рук воздетых,
Не слышу вздохов в шорохе травы.

(«Отрывок»)

В Москву он приехал 2 июля; побывал во Всероссийском Союзе поэтов, где надо было обсудить возможности издания в Петрограде поэтических сборников и переводов. В коридоре заметил крупного рыжеволосого человека в кожаной куртке и с наганом у пояса, внимательно следившего за ним. Человек подошел к нему, представился: Блюмкин, эсер, убийца немецкого посла Мирбаха. Он давний гумилевский почитатель, особенно он любит вот эти стихи:

…Или, бунт на борту обнаружив,
Из-за пояса рвет пистолет,
Так что сыплется золото кружев
С розоватых брабантских манжет.

(«Капитаны»)

В Москве Гумилев встретил и Бориса Пронина, организатора «Бродячей собаки». Пронин жил в большой, но совсем пустой, без мебели, квартире. Пронин провожал его на вокзал ранним утром.

Трамваи еще не ходили, друзья отправились пешком по пустынным улицам. Говорили об общих знакомых, речь зашла о Мейерхольде, который при Советской власти стал быстро выдвигаться: в Москве театр его имени, там ставятся пьесы революционного содержания. Пронин рассказал: как-то после переворота, зайдя в Смольный за справкой, он встретил там Мейерхольда, который метался по коридору, где на каждой двери была бумажка: партия РСДРП (бол), партия эсеров, партия анархистов, еще какие-то партии. Мейерхольд кинулся ему навстречу растерянный: в какую партию записаться?

Когда-то у Мейерхольда играла актриса Ольга Высотская. Пронин потерял ее из виду: на Украине, где она жила перед революцией, воспитывая сына Ореста, побывали и гайдамаки, и Петлюра, и деникинцы, и Махно. Никто не знает о ее судьбе.

На Мясницкой, переименованной в улицу Зиновьева, вдруг обвалился угол карниза, как раз когда они проходили мимо дома. «Слава Богу, мимо», — заметил Пронин. Гумилев не откликнулся.

В Петрограде открылись частные издательства. Яков Ноевич Блох основал книгоиздательство «Петрополис», просуществовавшее несколько лет и затем возобновленное в Берлине. Во «Всемирной литературе» переводили всех классиков мировой культуры. Гумилев, который заведовал французской секцией, привлек к работе и Шилейко, который уже разошелся с Ахматовой, называвшей этот свой брак «мрачным недоразуменьем». Теперь Анна Андреевна стала женой Николая Пунина, ведавшего в Петрограде музеями и охраной памятников. Гумилева Пунин недолюбливал и еще в декабре 1918 года писал в газете «Искусство коммуны»: «Признаюсь, я лично чувствовал себя бодрым и светлым в течение всего этого года отчасти потому, что перестали писать или, по крайней мере, печататься некоторые „критики“ и читаться некоторые поэты (Гумилев, напр.)…».

Привезенные из Крыма книжечки «Шатер» Николай Степанович раздарил с автографами студийцам. Не достался автограф только молоденькой Иде Наппельбаум, она забыла книжку дома и страшно расстроилась. Гумилев утешал: «Не огорчайтесь, через неделю я вам ее подпишу». Этой недели не наступило.

Гумилев с семьей переехал с Преображенской в Дом искусств, так было удобнее: здесь проводились занятия кружков, бывали заседания, в этом же доме располагалась столовая, где можно было обедать или брать обеды на дом. Прежнюю квартиру он не оставил, там были книги, спасенные из царскосельского сарая, там поэт любил уединяться, чтобы поработать. Работа отвлекала

от тяжелых мыслей и предчувствий. Атмосфера в Петрограде становилась невыносимой: повсюду вполголоса говорили о массовых арестах и расстрелах людей, как-то связанных с недавним Кронштадтским мятежом. Шли слухи о готовящемся в городе восстании, о страшных застенках Чека. Похоже, Зиновьев, глава Северной коммуны, спешил убедить Москву, что Петроград кишит контрреволюционерами и рано отменять красный террор.

Кто-то из студийцев пытался предостеречь Николая Степановича, заводил разговоры о политике, но каждый раз наталкивался на жесткий отпор: Гумилев отвечал, что не интересуется подобными вещами. Он почти никому не доверял. Преследовало ощущение, что все вокруг словно запутались в липкой паутине. И где они, настоящие смелые люди с крепкой волей и отважным сердцем, те, кого он воспевал в своих стихах:

Старый бродяга в Аддис-Абебе,
Покоривший многие племена,
Прислал ко мне черного копьеносца
С приветом, составленным из моих стихов.
Лейтенант, водивший канонерки
Под огнем неприятельских батарей,
Целую ночь над южным морем
Читал мне на память мои стихи.

Он таких видел, знал. Они делали то, что надо, они поняли бы, что

… когда придет их последний час,
Ровный, красный туман застелит взоры,
Я научу их сразу припомнить
Всю жестокую, милую жизнь,
Всю родную, странную землю
И, представ перед ликом Бога
С простыми и мудрыми словами,
Ждать спокойно Его суда.

(«Мои читатели»)

На Преображенскую зашла Ирина Одоевцева, ставшая невестой Георгия Иванова, который расстался с первой женой. Говорили о всяких пустяках. Одоевцева машинально дергала ручку ящика письменного стола, пока ящик не открылся. В нем лежала толстая пачка денег. Гумилев насмешливо

прокомментировал: они чужие. И ничего не стал объяснять.

Ждали, что в студию придет на занятия Блок. Он действительно пришел, когда Гумилев, начертив на доске квадраты, изображающие четыре раздела поэтики: фонетику, стилистику, композицию и эйдологию, — объяснял, как они соотносятся один с другим. Обращаясь к гостю, он коротко объяснил, что считает нужным познакомить студийцев с теорией композиции, и предложил прочесть стихи, написанные после этих уроков.

Первым читал Николай Чуковский, сын Корнея Ивановича. Блок сидел неподвижно, точно бы ничего не слыша. После Чуковского выступили еще двое, а затем Блок встал, молча пожал Гумилеву руку и, не проронив ни слова, вышел. Студийцы и сам Гумилев знали, что Блок не признает возможности обучения поэтическому ремеслу. К тому же было очевидно, что Александр Александрович чем-то угнетен, а похоже, и серьезно болен. Блок часто задумывался о своей, возможно близкой, смерти:

…Просто в час тоски беззвездной,
В каких-то четырех стенах,
С необходимостью железной
Усну на белых простынях.

А Гумилев, бравируя, говорил приятелям, что проживет долго, лет до восьмидесяти, не меньше. Но, оставаясь наедине с собой, он почти физически чувствовал приближение смерти; только свою смерть он представлял не на белых простынях, иначе:

…И умру я не на постели
При нотариусе и враче,
А в какой-нибудь дикой щели,
Утонувшей в густом плюще,
Чтоб войти не во всем открытый.
Протестантский, прибранный рай,
А туда, где разбойник, мытарь
И блудница крикнут: «Вставай!»

(«Я и Вы»)

Летом 1921 года Гумилев постоянно ощущал такой прилив творческой энергии, какого не знал никогда прежде. Не проходило состояние, о котором он писал в стихотворении

«Шестое чувство», — минуты, когда «кричит наш дух, изнемогает плоть/ рождая орган для шестого чувства». Вот в одну из таких минут он написал «Заблудившийся трамвай».

Впоследствии несколько мемуаристов утверждали, что именно к нему или к ней рано утром пришел взволнованный поэт и в восторге прочел строфы своего нового произведения. Видимо, все они слегка фантазировали, и это понятно: каждому лестно думать, что он первым узнал о рождении шедевра. А «Заблудившийся трамвай» и в самом деле одна из жемчужин русской поэзии.

В этих стихах все реально, конкретно: мчащийся по пустынной улице трамвай, который оставляет в воздухе огненную дорожку, дощатый забор в переулке, дом в три окна, и серый газон, и Исаакиевский собор. Но все эти реальные детали перемешаны, как бывает только во сне, когда вместо привычной логической связи явлений возникает совсем иная, алогичная, заставляющая по-новому воспринимать все происходящее. Гумилевский трамвай мчится через три моста: через Неву, через Нил и Сену. Стучит сердце, когда палач в красной рубашке, с лицом, как вымя, срезает поэту голову, которая летит вместе с другими в скользкий ящик. И вдруг после этого страшного видения — воспоминание о Машеньке: «Где же теперь твой голос и тело,/ может ли быть, что ты умерла?»:

…И всё ж навеки сердце угрюмо,
И трудно дышать, и больно жить…
Машенька, я никогда не думал.
Что можно так любить и грустить.

(«Заблудившийся трамвай»)

Очевидно, Машенька — это Мария Кузьмина-Караваева, умершая от туберкулеза в Италии перед войной; Гумилев ездил из Петербурга в Финляндию, чтобы с ней попрощаться. Прошло столько лет, и тоска по этой платонической любви навеяла самые пронзительные строки, написанные Гумилевым.

«Заблудившийся трамвай» должен был украсить готовящийся новый сборник Гумилева «Огненный столп». Он, видимо, появился еще до гибели автора: в конце книги сказано, что она отпечатана в августе 1921 года. Первые критические отклики тоже заставляют предположить, что рецензенты обращались к здравствующему автору. Однако дни Гумилева были сочтены.

Он старался казаться жизнерадостным, подшучивал над заведующим хозчастью Дома литераторов Харитоном, дурачился

с молодыми студистками, работал над переводами. Но Гумилев чувствовал, что приближается что-то страшное. Вот его стихи того же периода, адресат которых не установлен:

После стольких лет
Я пришел назад.
Но изгнанник я.
И за мной следят.

— Я ждала тебя
Столько долгих лет!
Для любви моей
Расстоянья нет.

— В стороне чужой
Жизнь прошла моя,
Как [украли?] жизнь,
Не заметил я.

— Жизнь моя была
Сладостною мне,
Я ждала тебя,
Видела во сне.

Смерть в дому моем
И в дому твоем.
— Ничего, что смерть.
Если мы вдвоем.

(«После стольких лет…»)

В четверг 4 августа прошел слух: Николая Степановича прошлой ночью арестовали.

Нашлось много свидетелей этого события, и все рассказывали о нем по-разному.

Георгий Иванов описывал случившееся так: «Гумилев пришел домой в два часа ночи. Свой последний вечер на свободе он провел в им же основанном „Доме поэтов“ в кругу преданно влюбленной в него литературной молодежи… Читали и обсуждали стихи, потом бегали, кувыркались, играли в фанты… Говорят, что в этот вечер он был особенно весел. Несколько студистов провожали его через весь Невский до дому. У подъезда на Мойке стоял автомобиль. Никто не обратил на него внимания — с нэпом автомобиль перестал быть, как во времена военного

коммунизма, одновременно диковиной и страшилищем. У подъезда долго прощались, шутили, уславливались „на завтра“. Те, кто приехал на этом автомобиле, с ордером Г.П.У. на обыск и арест — терпеливо ждали за дверью».

Ходасевич утверждал, что в тот вечер он зашел к Гумилеву с просьбой оставить вещи, так как уезжал в Москву. По его словам, Гумилев, прежде державшийся с ним холодно, на этот раз оказался вдруг очень любезен, общителен и прост, все удерживал гостя: «Посидите еще, что вы так торопитесь», говорил, что он чувствует себя молодо, у него прилив сил и проживет он до девяноста лет, «непременно до девяноста, никак не меньше, а все оттого, что я — постоянно с молодежью, я даже в прятки и в горелки с ними играю. А вы скоро состаритесь, будете ходить сгорбившись, волоча ноги», — и, смеясь, изображал, как будет ходить состарившийся Ходасевич.

Нина Берберова вспоминала, что 3 августа она гуляла с Гумилевым по Петербургу до восьми часов вечера.

Оцуп рассказывал, что, направляясь в комнату Гумилева в Доме искусств, услышал сзади сдавленный шепот. Ефим, бывший лакей бакалейщика Елисеева, в доме которого и был расположен Дом искусств, предупреждал его, что у Николая Степановича засада.

Рассказывали также, что в эту засаду якобы попало несколько знакомых Гумилева, но они скоро были освобождены.

Все были испуганы и взволнованы.

Почти одновременно с арестом Гумилева пришла весть: Блок при смерти. Говорили даже, что он потерял рассудок, отказывается от пищи. Ветреным, дождливым утром в воскресенье 7 августа сообщили: Александр Александрович скончался. Блок тяжело болел уже два месяца. Горький хлопотал о направлении его в санаторий в Финляндию, и, кажется, 4 августа разрешение из Москвы было получено, но никто не думал, что смерть так близка. Евгений Замятин позвонил Горькому, сказал: «Блок умер. Этого нельзя нам всем простить…»

Похороны были 10-го, в среду. На Офицерской у ворот собрался литературный Петроград. Церковь на Смоленском кладбище, отпевание, синий дым ладана, и сквозь него — косой луч солнца на лицо покойного. Худое, вытянувшееся лицо с колючими усами и острой бородкой. Похож не на Блока, а на Дон Кихота.

О Гумилеве на время забыли. Но сразу после похорон Блока секретарь Академии наук Николай Оцуп, критик А. Волынский и журналист Н. Волковысский сговорились идти в Чека с просьбой отпустить арестованного под поручительство Академии наук,

издательства «Всемирная литература», Пролеткульта и других организаций. Встречу в Петроградской Чека описал Волковысский.

Председатель ЧК Семенов

«принял нас холодно-вежливо. Руки не подал, стоял все время сам и не предложил нам сесть.

Вершитель судьбы В. Н. Таганцева, В. И. Лазаревского, Н. С. Гумилева, проф. Тихвинского, скульптора Ухтомского и др. — производил скорее впечатление не рабочего, а мелкого приказчика из мануфактурного магазина. Среднего роста, с мелкими чертами лица, с коротко, по-английски подстриженными рыжеватыми усиками и бегающими, хитрыми глазками, он, разговаривая, делал руками характерные округлые движения, точно доставая с полок и разворачивая перед покупательницами кипы сатины или шевиота.

— Что вам угодно?

— Мы пришли хлопотать за нашего друга и товарища, недавно арестованного — Гумилева.

— Кого-с?

— Гумилева.

— Гумилевича?

— Нет, Гумилева, поэта, Николая Степановича Гумилева, известного русского поэта.

— Гумилева? Не слыхал о таком. Он арестован? Не слышал. Ничего не знаю-с. Так в чем дело?

— Мы крайне поражены его арестом и просим о его освобождении. Это безусловное недоразумение. Гумилев никакой политикой не занимался, и никакой вины за ним быть не может.

— Напрасно-с думаете. Я его даже не знаю, но, поверьте, что здесь может быть и не политика-с. Должностное преступление или растрата денег-с.

— Позвольте. Какое должностное преступление? Какие деньги? Гумилев никаких должностей не занимает, он пишет стихи и никаких денег, кроме гонорара за стихи, не имеет.

— Не скажите-с, не скажите-с… бывает… бывает — и профессора попадаются, и писатели. Казенные деньги… случается.

От этой бессвязной болтовни становится скучно и жутко. Надо было положить ей конец.

— Не могли бы вы распорядиться, чтобы нам дали

справку по делу Гумилева? Его готовы взять на поруки любые организации.

— Справку? С удовольствием.

Берет телефонную трубку.

— Барышня, номер такой-то… Это Семенов говорит. Тут вот делегаты пришли, так узнайте-ка там, арестован у нас Гумилевич?

Мы перебиваем:

— Гумилев, Николай Степанович, писатель, поэт.

— Не Гумилевич, а Гумилев, Николай Степанович. Он кто? (обращается к нам)

— Писатель, поэт.

— Писатель, говорят. Ты слушаешь, да? Так наведи справку и позвони мне… тут ждут.

Кладет трубку и продолжает нас поучать:

— Бывает-с и профессора, и писатели попадаются. Что прикажете делать? Время такое-с.

Мы молчим. Он все оживленнее говорит. Звонок.

— Да? Ага… гм…гм…гм… Ну, хорошо.

Кладет трубку. Быстро оборачивается к нам:

— Ваши документы, граждане.

Точно ломом по голове ударил.

— Какие документы? Вы же знаете, кто мы: представители таких-то организаций.

— Ваши документы, пожалуйста.

Начинаем рыться в карманах. На душу сразу упала тоскливая жуть. Один вынимает из бумажника первую попавшуюся записку. Оказывается — разрешение работать в каком-то секретном архиве, подписано „самим“ Зиновьевым. Семенов берет бумажку, не успевает ее прочесть, видит подпись Зиновьева и быстро возвращает.

— Благодарю вас, больше не надо. Так вот-с… (начинает говорить медленно) так вот-с… действительно арестован. Дело в следствии. Следствие производится.

— Нельзя ли до окончания следствия освободить на поруки?

— Никак нельзя. Да и к чему? Через несколько дней, через недельку следствие закончится. Да вы не беспокойтесь за него, у нас сидится неплохо, и кормим прилично.

— Об этом мы не беспокоимся, ему присылают передачи.

— Тем более-с, раз передачи посылают, так и совсем

хорошо.

— Нельзя ли узнать, по какому делу арестован?

— Никак нельзя. Что вы? Разве можно выдать тайну следствия? Никогда не говорят, за что человек арестован… ведь это мешает работе следствия, мешает. И прежде так было, при старом режиме тоже никогда не говорили.

— Положим…

— Уверяю вас. Всегда так было-с. У нас скоро закончится следствие. И вообще у нас теперь скоро все идет. В месячный срок следователь обязан предъявить обвинение. В месячный срок-с. У нас это строго теперь. В месяц не предъявил (ударяет по столу) — сам в тюрьму. Все равно кто — следователь или комиссар — сам садись. У нас теперь приняты самые строгие меры к охране гарантий прав личности… да-с, к охране прав личности. Строго-с.

Губы едва дрогнули почти неуловимой иронией.

— Да и чего вам беспокоиться? Если вы так уверены в его невиновности — так и ждите его через недельку у себя. И беспокоиться нечего, раз так уверены.

Сердце сжималось от нечеловеческого ужаса. За внешним отсутствием смысла этой болтовни чувствовалось дыхание надвигавшейся смерти. Едва могли спросить:

— А как же получить справку?

— Через неделю… вы не ходите ко мне, я очень занят, а позвоните ко мне по телефону. Знаете, как? Спросите на станции Губчека, а потом у нас на коммутаторе попросите председателя Семенова — вам сразу дадут мой телефон. У нас это просто. Так через неделю позвоните. Прощайте.

Мы ушли раздавленные. Ведь в сущности ничего не было сказано. А в этом „ничего“ душа чуяла бездну. Все заметались, подняли на ноги все „связи“, телеграфировали в Москву. Неизвестно откуда появился слух, связывающий два имени — Таганцева и Гумилева.

Гумилев — в заговоре?! Нелепость! Но в этой нелепости вся безысходность ужаса. Гумилев будет расстрелян? Невероятно! Но чем невероятнее, тем ближе к правде. Через неделю — к телефону:

— Барышня, Губчека, пожалуйста… Губчека? Председателя Семенова.

— Семенов у телефона. Кто? А, по делу Гумилева?

Послезавтра прочтете в газете.

Трубка повешена. Невероятное неумолимой поступью настигает нас…»

Анна Николаевна, жена поэта, не ходила в Чека, она носила мужу передачи то в «Кресты», то на Гороховую. Случайно сохранилась трудно читаемая записка, написанная карандашом на папиросной бумаге высокими узкими буквами: «Котик, ветчины не купила я… колбасу не сердись. Кушай больше в… хлеб каша пей все молоко, ешь булки. Ты не ешь и все приходится бросать, это ужасно. Целую твоя Аня».

Из тюрьмы Гумилев передал жене записку: «Не беспокойся обо мне, я здоров, пишу стихи и играю в шахматы». Рассказывали также, что Гумилев в камере читал Евангелие и Гомера.

Разговор Семенова с депутацией, если верить Волковысскому, происходил 24 августа. А во вторник 30 августа передачу на Гороховой не приняли.

1 сентября «Петроградская правда» поместила пространное сообщение Всероссийской Чрезвычайной комиссии «О раскрытии в Петрограде заговора против Советской власти» и список расстрелянных по постановлению Губчека от 24 августа 1921 года. В этом списке под номером 30 записан «ГУМИЛЕВ Н. С., 33 л., б. дворянин, филолог, поэт, член коллегии изд-ва „Всемирной литературы“, беспартийный, б. офицер. Участник П. Б.О[13]. Активно содействовал составлению прокламаций контрреволюционного содержания. Обещал связать с организацией в момент восстания группу интеллигентов, которая активно примет участие в восстании. Получал от организации деньги на технические надобности».

О том, что дело сфабриковано, знали уже те, кто были непосредственными свидетелями трагедии. Публикации последних лет, сделанные на основе архивных материалов, не оставляют сомнений на этот счет. «Заговор Таганцева», раскрытый ЧК, не являлся конспиративной боевой организацией, преследовавшей далеко идущие политические цели, хотя обвиненные по этому делу действительно были настроены враждебно по отношению к новой власти. О степени причастности Гумилева к таганцевскому кружку по сей день приходится говорить только предположительно. До сих пор вызывают споры также точная дата и место расстрела. Ахматова считала, что осужденные были казнены на окраине города, в стороне Пороховых.

ЭПИЛОГ

Как вспоминал академик Вернадский, список расстрелянных «произвел потрясающее впечатление не страха, а ненависти и презрения, когда мы его прочли». В этом списке академик нашел своего друга Михаила Михайловича Тихвинского — крупного химика-технолога, автора многих открытий. Были в списке и другие крупные ученые: профессора Таганцев, Лазаревский, скульптор Ухтомский…

Среди друзей Николая Степановича, тяжело переживавших утрату, царило недоумение: за что его казнили? Кто-то утверждал, что в трагедии отчасти повинен сам поэт. Георгий Адамович писал: «В Гумилеве было много ненужного, мальчишеского в его постоянных громких заявлениях: „Я — монархист“… в сочинении им прокламаций». Одоевцевой очень импонировал образ Гумилева-героя, возглавившего заговорщиков. Редактор первого 4-томного собрания сочинений Гумилева, изданного в 60-е годы в Вашингтоне, Г. П. Струве обосновывает схожую версию: «Отрицательное отношение к новому режиму было общим тогда для значительной части русского интеллигентского общества… Гумилева от многих отличало его мужество, его неустрашимость, его влечение к риску и тяга к действиям… Неправильно думать, что в так называемый заговор Таганцева он оказался замешанным более или менее случайно».

Другие, хорошо знавшие Гумилева, вообще сомневались в существовании заговора: слишком нелепой выглядела сама мысль о вооруженном восстании, когда гражданская война завершилась победой большевиков. Советская власть укрепилась, в стране был объявлен нэп, отменена продразверстка — и вдруг 250 заговорщиков задумали свергнуть существующий строй. На такое могли решиться только фанатики, идущие на верную смерть. Однако список расстрелянных никак не напоминал образ самоубийц. Казнили 61 осужденного. Из них восемь — ученые, люди творческого труда. Семь матросов из мятежного Кронштадта, 16 бывших офицеров (в основном поручиков), после революции служивших советской власти. Это очень странный список: в нем революционные матросы Балтфлота и монархист Попов, граф Шуленбург и какая-то девица Зубер, занимавшаяся контрабандой, скульптор князь Ухтомский и двадцатичетырехлетний крестьянин член РКП Лапин.

Журналист Волковысский и поэт Николай Оцуп считали весь заговор плодом фантазии сотрудников Петроградской Чека. Это предположение выглядит вполне обоснованным, тем более что

понадобились самые изощренные методы, чтобы выбить из арестованных нужные показания. А. И. Солженицын пишет, что Таганцев 45 дней отказывался отвечать следователю Якову Агранову, но в конце концов назвал всех членов ПБО в обмен на письменное обещание Агранова никого не расстреливать. Очень возможно, что следователь добился нужных показаний, просто избивая и шантажируя допрашиваемого.

Делегация Волковысского, Ольденбурга и Оцупа, ходившая к председателю ЧК Семенову, не добилась результатов. Не возымело действия и ходатайство, 5 августа направленное в Петроградскую ЧК: «По дошедшим до издательства „Всемирная литература“ сведениям сотрудник его Николай Степанович Гумилев в ночь на 4 августа был арестован. Принимая во внимание, что означенный Гумилев является ответственным работником в издательстве „Всемирная литература“ и имеет неоконченные заказы, редакционная коллегия просит о скорейшем рассмотрении дела и при отсутствии инкриминируемых данных освобождении Н. С. Гумилева от ареста». Долгие годы ходили легенды о заступничестве Горького у В. И. Ленина, о телеграмме, якобы посланной Лениным Зиновьеву. Однако, как пишет свидетель Н. Я. Мандельштам, на самом деле Горький, оповещенный об аресте Гумилева, обещал Оцупу что-то сделать, но хлопотать в Москву так и не поехал, и никакой ленинской телеграммы не было.

В «деле» имеется ходатайство с просьбой отпустить Гумилева под поручительство М. Горького, М. Лозинского, Б. Харитонова, А. Машарова. Но этот документ приобщен к другим материалам только 4.09.1921, то есть спустя несколько дней после казни.

Гумилеву инкриминировали участие в составлении прокламаций контрреволюционного содержания, получение денег на технические надобности и обещание связать с организацией в момент восстания группу интеллигентов и офицеров. Ни одно из этих обвинений не подтверждено ни доказательствами, ни свидетельскими показаниями. Да и сами обвинения абсурдны. Какие «технические надобности» можно было осуществить, имея 200 тысяч обесцененных рублей? Такой суммы едва хватило бы на 3–4 буханки хлеба. Причем даже этих денег при обыске не оказалось, было изъято только 16 тысяч. В деле подшита расписка Мариэтты Шагинян о получении от Гумилева 50 тысяч рублей. Но Шагинян на допрос не вызывали.

Кого Гумилев обещал «связать с организацией в момент восстания»? Осипа Мандельштама, Ирину Одоевцеву, Иванова, Ходасевича, Нину Берберову, Корнея Чуковского с сыном? Вздорность подобных обвинений очевидна каждому.

Существует предположение, что следствие получило нужные ему сведения, допросив Одоевцеву. В ее воспоминаниях о последних днях Гумилева говорится, что он будто бы показал ей ящик с деньгами и рассказывал все про ячейки, даже называл людей. Однако этим воспоминаниям нельзя доверять: они написаны по прошествии многих десятилетий и, возможно, основываются на официальном сообщении в «Петроградской правде», а вовсе не на запомнившихся разговорах мемуаристки с Гумилевым.

Одоевцева отзывается о следователе Якобсоне как об умном, культурном человеке, знавшем на память стихи Гумилева. Действительно ли он их знал — неизвестно, но вот отчество поэта путал: трижды в материалах дела Гумилев назван Николаем Станиславовичем.

«Обвинительное заключение» следователь заканчивает фразой: «На основании вышеизложенного считаем необходимым применить по отношению к гр. Гумилеву Николаю Станиславовичу, как к явному врагу народа и рабоче-крестьянской революции, высшую меру наказания — расстрел». Оказывается, смертный приговор был вынесен не судом, даже не «особым совещанием», а самим следователем. Такого не бывало даже при Ежове!

В 1987 году государственный советник юстиции второго класса Г. А. Терехов, ознакомившись с делом Гумилева, впервые сообщил, что никаких обвинительных материалов, которые изобличали бы поэта в участии в антисоветском заговоре, там нет. Содержится лишь доказательство, подтверждающее недонесение им о контрреволюционной организации, в которую он вступил. По законодательству 1921 года это могло считаться тяжким преступлением. Оттого Терехов не находил оснований для реабилитации.

Свой вывод он мотивировал так: «Мотивы поведения Гумилева зафиксированы в протоколе его допроса; пытался его вовлечь в антисоветскую организацию его друг, с которым он учился и был на фронте». Кто же этот «друг»? Фамилия «друга» не указана, очень возможно, что «другом» был любой провокатор. В показаниях Гумилева, содержащихся в деле, упоминается некий поэт Борис Верин. Не он ли?

Поговаривали, что сам Зиновьев, кем-то информированный, находил Гумилева подозрительной фигурой. Называлось в связи с его делом также имя Федора Раскольникова (Ильина), весьма видного политического деятеля красного Петрограда. Правда, в 1920 году он был назначен послом в Афганистан, но в Петрограде у Раскольникова оставалось много друзей-единомышленников.

Тут могли быть и причины личного характера: Раскольников, безусловно, знал о романе Гумилева с Ларисой Рейснер. А Рейснер в 1918 году стала женой Раскольникова и получала от него такие письма: «К сожалению, гумилевщина — это яд, которым заражены даже некоторые ответственные коммунисты». Вспоминая С. А. Колбасьева, служившего переводчиком посольства в Кабуле, Раскольников опять писал про «гнилой дух гумилевщины, который… заражает воздух». О самом Гумилеве в том же письме сказано: «Органический белогвардеец, не по убеждениям, а по духу, по настроению, он в то же время обладает всеми отвратительными чертами деклассированного интеллигента».

Красный террор, помимо многого другого, имел цель «оздоровить классовый состав общества». Последовательно уничтожалась самая активная, деятельная часть интеллигенции, которую невозможно превратить в покорных рабов. Говоря о казни Гумилева, эмигрант Андрей Левинсон в 1921 году писал: «Удивляться ли тому, что его убили? Такие люди несовместимы с режимом лицемерия и жестокости, с методами растления душ, царящими у большевиков».

На долгие годы — до весны 1986-го — имя Гумилева было вычеркнуто из истории русской литературы. Саму мысль о том, что в отношении его могла быть допущена несправедливость, с порога отвергали не только партийные функционеры. Писатель Константин Симонов утверждал: «Некоторые литераторы предлагали чуть ли не реабилитировать Гумилева через органы советской юстиции, признать его, задним числом, невиновным в том, за что его расстреляли в 21 году. Я лично этой позиции не понимаю и не разделяю. Гумилев участвовал в одном из контрреволюционных заговоров в Петрограде — это факт установленный». Правда, Симонов предлагал, невзирая на этот «факт», опубликовать лучшие стихотворения Гумилева, не допуская и мысли, что поэт погиб безвинно.

И только по прошествии семидесяти с лишним лет стали появляться публикации, в которых вещи были названы своими именами: Гумилев — жертва террора, а его мученическая судьба воспринимается как пример героики и благородства.

* * *

Панихиду отслужили в небольшой часовне на Невском. О времени отпевания Николая Степановича, встречаясь, шепотом передавали верным друзьям. Тем не менее часовня была полна

народу. Анна Николаевна стояла с полными слез глазами. У стены, прямая и строгая, — Анна Андреевна Ахматова с лицом, похожим на античную маску. Много молодых.

Через неделю состоялась панихида в Казанском соборе. Служили «о убиенном рабе Божием Николае». Не все знали, кого отпевают. «Убиенных» в те годы было много.

Позже, уже осенью, в доме литераторов выступала Ахматова. Присутствующие еще были под впечатлением недавней казни поэта и потому с особым чувством слушали стихи. Анна Андреевна читала:

Пока не свалюсь под забором
И вечер меня не добьет,
Мечта о спасении скором
Меня, как проклятие, жжет.

Упрямая, жду, что случится,
Как в песне случится со мной, —
Уверенно в дверь постучится
И, прежний, веселый, дневной,

Войдет он и скажет: «Довольно,
Ты видишь, я тоже простил».
Не будет ни страшно, ни больно…
Ни роз, ни архангельских сил.

(«Пока не свалюсь под заборам…»)

В Бежецк весть о расстреле Николая Степановича дошла только в сентябре. Александра Степановна с ужасом подумала о том, как скажет маме. Но Анне Ивановне уже успели сообщить соседи, и она встретила страшное известие с присущей ей выдержкой. Сказала, что не верит в гибель сына: он не такой человек, чтобы так просто погибнуть, ему, несомненно, удалось спастись, и он уехал в свою любимую Африку. Эта уверенность не покидала ее до самой смерти.

Александра Степановна уговорила ее подать заявление в правление Всероссийского Союза писателей о правах на литературное наследство Гумилева. Гонорары за последние публикации могли бы поддержать семью покойного поэта.

«Озабоченная судьбой литературного наследия покойного сына моего Николая Степановича Гумилева, права на которое после его смерти перешли к его детям, Льву, находящемуся на моем иждивении, и Елене, которую содержит вдова покойного

Анна Николаевна Гумилева, прошу Правление Всероссийского Союза Писателей назначить какое-либо лицо для охраны литературного наследия Николая Степановича Гумилева, заключения договоров с издательствами и театральными предприятиями, получения причитающихся по этим договорам сумм и распределения таковых между наследниками». Заявление датировано 31 декабря 1921 года.

Ответа не последовало. Кем получены гонорары за сборник «Огненный столп», вышедший осенью 1921 года в издательстве «Петрополис», и за издания 1922 года — неизвестно. С 1923 года Гумилева в России не печатали.

7 января 1922 года Театральная мастерская показала в Петрограде «Гондлу». На первом представлении публика по окончании спектакля стала вызывать автора. Пьесу тут же сняли из репертуара.

Анна Ивановна Гумилева слегла весной 1938 года, узнав, что арестован ее любимый внук Лева, и уже не вставала до самой смерти в течение четырех лет. Александра Степановна продолжала учительствовать в Бежецкой средней школе, переписывалась с Ольгой Николаевной Высотской и ее сыном Орестом, незадолго до кончины написала воспоминания о семье Гумилевых-Львовых. Скончалась Сверчкова 25 мая 1952 года и похоронена рядом с могилой Анны Ивановны Гумилевой.

Неудачно сложилась жизнь Анны Николаевны и Елены Гумилевой. После расстрела мужа Анна Николаевна жила тем, что продавала оставшиеся у нее вещи, и долго не могла устроиться на работу. Она мечтала о театре, пробовала выступать в пантомиме с танцами, потом ей удалось устроиться кукловодом в театр «Синяя штора», но ненадолго — театр реорганизовался, и в нем места для нее не нашлось. Елена окончила школу, но ничем серьезно не интересовалась. Дядя по матери Александр Николаевич Энгельгардт, который работал в Архангельске, где он организовал при ТЮЗе театр кукол, пристроил ее ученицей, однако Елена держалась вызывающе, и пришлось ее отправить в Ленинград к матери.

Литературовед Д. Е. Максимов вспоминает, что он познакомился с Анной Николаевной в 1924 или 25 году. «Тоненькая, бледная, молчаливая, грустная, затаившая свое горе, она была изящна, почти красива, во всяком случае, вполне соответствовала понятию „стильная“ женщина или, скорее, судя по фигуре и манере, — девушка. Она показала сборник стихов, подаренных, кажется, Всеволодом Рождественским, с надписью: „Крошке Доррит в нашем туманном Лондоне“. И в самом деле, эта хрупкая, неумелая, беспомощная женщина выглядела жертвой

обступившего ее безжалостного города — „страшного мира“. Может быть, в детской беспомощности и заключалась ее женская прелесть».

В 1936 году на квартиру к Энгельгардтам въехал новый жилец, молодой учитель математики С. Н. Недробов. Анна Николаевна сблизилась с ним, но когда учитель узнал, что она станет матерью, он пытался избежать отцовства; это ему не удалось, суд присудил платить алименты. На них Анна Николаевны и существовала, а Елена поступила на почту, помогая матери воспитывать маленькую Галочку.

Когда началась война, Галочку удалось эвакуировать с детским садом в Кировскую область, Анна Николаевна и Елена остались в блокадном Ленинграде. Как рассказала впоследствии бывшая домработница Энгельгардтов Филиппова, вся семья зимой 1942 года погибла. Сначала умер отец, потом мать; их некому было хоронить, трупы лежали тут же, их грызли крысы. Анну Николаевну очень мучил голод и холод, и она все время плакала. Кажется, кто-то из них потерял хлебные карточки, и это предопределило конец. Последней умерла Елена.

Ольга Николаевна Высотская после рождения сына поселилась в небольшом имении Куриловка Курской губернии. Там был небольшой помещичий дом с фруктовым садом, но пахотной земли не было: бывшие владельцы, разорись, продали ее соседям.

Высотская переписывалась с Мейерхольдом, собиралась по окончании войны вернуться в театр. Революция перечеркнула эти планы.

Началась гражданская война. Село занимали то немцы, то петлюровцы, то деникинцы, то красные. В 1920 году в соседнем уездном городке Высотская стала режиссером любительского театра. Когда кончилась гражданская война, Ольга Николаевна побывала в Москве и только там узнала от Пронина о расстреле Николая Степановича Гумилева.

До самой старости она жила вместе с матерью и старшим братом, учителем подтехникума. Замуж она не вышла, не имела близких друзей. Она увлекалась не только театром, но и музыкой, живописью, любила природу, собирала гербарий.

Последние годы жизни она провела с братом в Вязниках Владимирской области, преподавала в музыкальной школе. Ее всегда окружали молодые любители искусства — артисты, поэты.

Выйдя на пенсию, Ольга Николаевна переехала в Тирасполь к сыну, Оресту Николаевичу; в 1962 году написала воспоминания о работе у Мейерхольда и передала их Пушкинскому дому, где они до сих пор хранятся. Умерла Высотская 18 января 1966 года в

возрасте 80 лет.

Старший сын Николая Степановича Лев Гумилев окончил в Бежецке школу второй ступени, живя вместе с бабушкой Анной Ивановной и теткой Александрой Степановной. В школе Лев рано увлекся историей. Свидания с матерью были редкими. Анна Андреевна только несколько раз приезжала в Бежецк, сын тоже не часто ездил к ней в Ленинград.

В 1934 году он поступил в Ленинградский университет на исторический факультет. Жить пришлось с матерью и отчимом Пуниным; спал он на коротком сундуке в прихожей. Когда после убийства Кирова в городе начались повальные аресты и высылки, Лев Гумилев и Николай Николаевич Пунин были арестованы органами НКВД. Анна Андреевна написала и сумела переслать письмо Сталину. Через три недели Гумилева и Пунина освободили.

Орест Высотский с младенчества жил с матерью, бабушкой и дядей в Куриловке, затем учился в Суджанской школе. О своем отце он узнал очень рано. Мать уверяла, что после гражданской войны, когда все успокоится, отец, конечно, отыщется где-нибудь за границей. Только в 1924 году мать сказала, что отца у Ореста нет — он расстрелян.

Дядя, Николай Николаевич Высотский, усыновил племянника, дав ему свою фамилию. После лесного техникума Высотский поступил в Лесную академию, жил в Царскосельском лицее на квартире Паллады Олимповны Гросс. По вечерам хозяйка квартиры часто рассказывала студенту о его отце Гумилеве. Гросс ни словом не обмолвилась, что у Ореста есть брат — Лев Гумилев.

Весной 37-го, встретившись у Прониных с Высотской, она решила, что Ольге Николаевне необходимо повидаться с Ахматовой. А вскоре состоялась и встреча братьев, она сразу переросла в дружбу.

Ореста Высотского привели к Ахматовой. Анна Андреевна, Пунин и Лев с Орестом сидели за обеденным столом. Лев поинтересовался, действительно ли брат больше похож на отца. Анна Андреевна раздумчиво ответила:

— Нет, не похож… Вот только руки — Колины.

Потом заговорили об аресте Тухачевского, и Лев заявил, что Сталин идет путем Наполеона, совершая переворот. Пунин запротестовал: как можно сравнивать Сталина с Наполеоном, ведь Наполеон — завоеватель.

— Сталин еще будет завоевателем, — уверенно ответил Гумилев.

— Не надо за обедом говорить о политике, — строго

заметила Анна Андреевна.

Когда выдавалось свободное время, Лев приезжал к брату в общежитие, что в Ломанском переулке. Шли в темноватую пивную и там, за кружкой, говорили об истории и поэзии. Гумилев читал свои стихи на темы монгольского эпоса — о смерти князя Джамуги:

Когда трещат дома в руках сибирской вьюги,
И горы глыбами бросают с высоты,
И рвутся у коней походные подпруги —
Джамуги смерть тогда припомни ты.

Серебряным седлом коням хребты натерло,
Желтела, вянула и падала трава,
И кони падали, но разрывали горло
Последней гордости последние слова.

И ветер их носил с Охонта до Алтая,
Он их ронял в Байкал и снова подымал,
И за словами вслед, свои валы вздымая,
До первой цепи гор доплескивал Байкал.

(«Смерть князя Джамуги»)

Читал Лев великолепно, с большим чувством. Даже то, что он не выговаривал «р», не мешало, а даже усиливало впечатление. Иногда он почти пел:

Азиатская осень невестится.
Желтый лист прицепляет на брони, —
На воде отражение месяца,
Он нигде не боится погони.

Азиатская осень богатая,
Изукрасила сопки и пади, —
В небе месяц воюет с закатами,
Он не станет молить о пощаде,

Осень с месяцем, весело в паре вам
Слушать песни саянских ветров,
Нам не надо бежать перед заревом
Недалеких монгольских шатров.

(«Азиатская осень невестится…»)

10 марта 1938 года за Гумилевым пришли. Высотский в это время был у него, на Фонтанке, братья сидели рядом на кровати и курили, пока до четырех утра шел обыск. Прощаясь, Лев подарил брату пустой портсигар из карельской березы.

Гумилева увезли на «черном вороне», Орест пошел на Выборгскую сторону пустыми морозными улицами.

На следующий день Высотский приехал в «Фонтанный дом». Анна Андреевна, бледная, с плотно сжатыми губами, приняла известие со стойкой покорностью. Испуганный Пунин метался по комнате, говорил, что за домом уже давно следят.

4 апреля взяли Ореста Высотского.

Внутренняя тюрьма — шпалерка, допросы по ночам то в кабинетах, пропахнувших запахом паркетной мастики и дымом «Казбека», то в «Шанхае», где не расслышать криков и стонов истязаемых.

Возле «Крестов» по назначенным дням еще до рассвета возникала длинная очередь с передачами — не вещей или продуктов, а небольших денежных переводов. Они были нужны не только на махорку, сахар или хлеб из тюремного ларька, но и как сигнал, означавший, что «на воле» еще уцелели близкие люди.

В эти очереди вместе ходили Анна Ахматова и Ольга Высотская. Как странно и страшно изменилась их жизнь — поэта и актрисы!

Показать бы тебе, насмешнице
И любимице всех друзей,
Царскосельской веселой грешнице,
Что случилось с жизнью твоей.

Как трехсотая с передачею
Под «Крестами» будешь стоять
И своею слезой горячею
Новогодний лед прожигать.

Там тюремный тополь качается
И ни звука, — а сколько там
Неповинных жизней кончается.

(«Реквием»)

Летом 1939-го Гумилев, возвращенный с лесоповала в Карелии на переследование в «Кресты», оказался в одном

коридоре с Высотским. Орест заметил его в щелку «волчка»: брат шел по другой стороне коридора, остриженный под машинку, и нес перед собой деревянную «парашу». Через несколько дней удалось установить связь, появилась надежда: может быть, скоро — на волю. Но в конце лета начались массовые «коридорные суды»: заключенных вызывали сразу из нескольких камер в коридор с вещами, и сотрудник органов громко выкрикивал по списку:

— Нефедов Гы-Ка — восемь лет!.. Карпинский Зы-Мы — шесть лет!.. Гумилев Лы-Ны — пять лет!

Это было решение особого совещания.

Высотский в эти списки не попал. Его и двух других студентов Лесной академии два дня судила Коллегия по уголовным делам Леноблсуда и неожиданно вынесла оправдательный приговор. Было это 29 сентября 1939 года. В Европе началась война. Тюремные камеры пустели: кто шел по «особке» в лагеря, кто на свободу.

В августе 1941 года у Высотского родился сын, в 1942-м Орест был призван в армию, служил в гвардейском минометном полку, воевал до 9 мая 1945 года. Вспоминая, Высотский писал:

И майский день, тот яркий майский день,
Когда врага преследуя по следу,
Ломали мы цветущую сирень,
Венчая долгожданную победу.

(«Ветераны»)

Лев Николаевич отбыл срок в Сибири, в 1944-м его взяли в армию, и под конец войны он оказался на фронте, участвовал в боях на Берлинском направлении. Разумеется, «особисты» следили за каждым его шагом.

В конце войны Анна Андреевна вернулась из эвакуации в свою квартиру в «Фонтанном доме», где у нее была одна комната. Пунин оставил Ахматову еще в сентябре 1938 года, уйдя к соседке по квартире. Когда Гумилев демобилизовался, он приехал к матери, окончил университет и за несколько месяцев подготовил и защитил кандидатскую диссертацию.

Жить было трудно: после разгрома Ждановым журналов «Звезда» и «Ленинград» Ахматовой не только отказали в пособии, но также отказали и в выдаче хлебной карточки. Гумилев с трудом устроился на мизерную зарплату в Эрмитаж.

Орест Николаевич Высотский работал в леспромхозах Закарпатья и Западной Украины. Осенью 1949 года началась

новая волна репрессий, и Гумилева опять взяли. На этот раз «тройка» дала восемь лет лагерей. Только в 1956 году он был реабилитирован и возвратился в Ленинград.

Высотского на Волыни тоже готовились арестовать, но он успел уехать и таким образом уцелел. Позже он работал в лесах Карелии, в Западной Сибири, а в 1959 году поселился в Молдавии.

Лев Николаевич женился в 1957 году на московской художнице Наталье Викторовне Шиманской. Он стал крупным ученым, профессором, автором многих трудов по истории и создателем пассионарной теории.

Потомки поэта Гумилева старались достойно продолжить традиции рода.

Воспоминания современников о Н. С. Гумилёве

Дмитрий Кленовский[3]
Поэты Царскосельской гимназии

В «Городе Муз» — Царском Селе — долго, до самой революции, существовали бок о бок два совершенно несхожих мира. Один из них — торжественный мир пышных дворцов и огромных парков с прудами, лебедями, статуями, павильонами, мир, в котором, вопреки всякому здравому художественному смыслу, так гармонично уживались рядом классические колоннады, турецкие минареты и китайские пагоды. И второй мир (тут же, за углом!) — мир пыльного летом и заснеженного зимой полупровинциального гарнизонного городка с одноэтажными деревянными домиками за резными палисадниками, с марширующими в баню с вениками под мышкой гусарами в пешем строю, с белым собором на пустынной площади и со столь же пустынным гостиным двором, где единственная в городе книжная лавка Митрофанова торговала в сущности только раз в году — в августе, в день открытия местных учебных заведений. Эти два мира очень ладно уживались рядом, причем второй, старея, понемногу «врастал» в первый. И когда высокая белая гусарская лошадь, по старости лет «переведенная» из гвардии в извозчичьи оглобли, с неожиданной резвостью тряхнув стариной, лихо подкатывала к чугунным воротам парка — прыжок на столетье назад был как-то совершенно незаметен, как незаметно было потом возвращение в обыденность провинциальной (несмотря на близость столицы) современности.

Я не знаю, что сохранилось сейчас, после войны от Царского Села. Говорят, многое разрушено. Но если что и сохранилось, то границу между «старым» и «новым» было бы, вероятно, еще труднее провести, чем прежде. Ведь из «нового» за полустолетие многое стало «старым», не только внешне приобрело аромат старины, но превратилось исподволь в исторический памятник, реликвию, элизиум теней… Таково, например, то неказистое казенное здание «Императорской Николаевской Царскосельской Гимназии», что высилось на углу не помню уже каких двух улиц. Архитектурной достопримечательности оно никак не представляло. Но через его классы, коридоры и кабинеты прошли такие замечательные люди нашего недавнего литературного прошлого, что, очутись я сейчас в Царском Селе, с таким же трепетом подошел бы к нему, с каким подходил когда-то к зданию пушкинского лицея.

Я был в младших классах Царскосельской гимназии, когда Иннокентий Анненский заканчивал там свое директорское поприще, окончательно разваливая вверенное его попечению учебное заведение. В грязных классах, за изрезанными партами галдели и безобразничали усатые лодыри, ухитрявшиеся просидеть в каждом классе по два года, а то и больше. Учителя были под стать своим питомцам. Пьяненьким приходил в класс и уютно подхрапывал на кафедре отец дьякон. Хохлатой больной птицей хмурился из-под нависших седых бровей полусумасшедший учитель математики, Мариан Генрихович. Сам Анненский появлялся в коридорах раза два-три в неделю, не чаще, возвращаясь в свою директорскую квартиру с урока в выпускном классе, последнем доучивавшем отмененный уже о ту пору в классических гимназиях греческий язык.

Он выступал медленно и торжественно, с портфелем и греческими фолиантами под мышкой, никого не замечая, вдохновенно откинув голову, заложив правую руку за борт форменного сюртука. Мне он напоминал тогда Козьму Пруткова с того известного «портрета», каким обычно открывался томик его произведений. Анненский был окружен плотной, двигавшейся вместе с ним толпой гимназистов, любивших его за то, что с ним можно было совершенно не считаться. Стоял несусветный галдеж. Анненский не шел, а шествовал, медленно, с олимпийским спокойствием, с отсутствующим взглядом. Может быть, в эти минуты он слагал заключительные строки к своему знаменитому сонету:

> …Как серафим у Боттичелли,
> Склонивший локон золотой
> На гриф умолкшей виолончели.

Так или иначе, но среди смертных Анненского в те минуты не было. В стенах Царскосельской гимназии находилась только его официальная, облеченная в форменный сюртук оболочка.

Стояла революционная зима 1905 года. Залетела революция и в стены Царскосельской гимназии, залетела наивно и простодушно. Заперли в классе, забаррикадировав снаружи дверь циклопическими казенными шкафами, хорошенькую белокурую учительницу французского языка. То там, то тут на уроках лопались с треском электрические лампочки, специально приносимые из дому для этой цели. Девятым валом гимназического мятежа была «химическая обструкция» (так это тогда называлось): в коридорах стоял сизый туман и нестерпимо

пахло серой. Появился Анненский, заложивший себе почему-то за высокий крахмальный воротничок белоснежный носовой платок. Впервые он выглядел озадаченным. Как и обычно, был окружен воющей, но очень мирно и дружелюбно к нему настроенной гимназической толпой.

В этот день учеников распустили по домам. Гимназию на неопределенное время закрыли.

Когда, уже осенью, гимназия опять открыла свои двери, вернувшиеся в свою alma mater ученики были ошарашены ожидавшими их переменами. Коридоры и классы были чисто выбелены и увешаны географическими картами, гербариями, коллекциями бабочек. В застекленных шкафах ласкали взор чучела фазанов и хорьков, раскрашенные гипсовые головы зулусов и малайцев. В классах стояли новенькие светлые парты и озонирующие воздух елочки в вазонах. Полусумасшедший Мариан Генрихович, невоздержанный отец дьякон и слишком соблазнительная француженка — бесследно исчезли. Исчезли и усатые второгодники. Но не было больше и Анненского. Великая реформа явилась делом рук нового директора, Якова Георгиевича Моора, маленького, сухонького, строгого, но умного и толкового старика. Он привел с собою плеяду молодых, способных учителей, навел чистоту, порядок. Гимназия приняла благообразный вид.

Моор, фазаньи чучела, головы краснокожих, елочки в вазонах — все это произвело на молодые души потрясающее впечатление. Все приумолкли, присмирели, стали прилежнее учиться. Моор проходил по коридорам деловитым шагом, опустив голову, внимательно глядя себе под ноги. Гимназисты, стоя рядком у стен, почтительно расшаркивались. Если кто приходил в гимназию в неряшливом виде, Моор подзывал его к кафедре и, подняв палец, стыдил перед всем классом, повышая на каждом слове свой тоненький голосок: «И это есть ученик Императорской Николаевской Царской Гимназии!!»

Его не любили, но боялись и слушались. Гимназия стала на хорошем счету. Появились в ней сыновья графа Гудовича, лейб-медика Боткина, свитских генералов.

Казалось, «подметено» было в стенах Царскосельской гимназии так, что и пушинки прошлого не осталось. Но — странное дело — ни Моор, ни педагоги, ни штукатурщики, ни озонирующие воздух елочки не выветрили из этих стен духа той высокой поэзии, которая в них переночевала.

Ведь Иннокентий Анненский был не единственным поэтом Царскосельской гимназии! В годы его директорства в ней учился Николай Гумилев, закончивший гимназию одновременно с

уходом из нее Анненского и быстро завоевывавший себе в Петербурге литературную известность.

Хотя я уже писал в то время стихи и зачитывался поэтами, но Гумилевым едва ли бы заинтересовался. Помог случай.

Появилась у нас однажды в семье новая горничная, Зина, хорошенькая черноглазая девушка. О такой, примерно, как она, сказал в свое время Ходасевич:

Высоких слов она не знает,
Но грудь бела и высока.

Перед тем, как поступить к нам, Зина служила у Гумилевых. И вот однажды, вся зардевшись, показала мне она свое сокровище: тщательно завернутую в бумагу книжечку. Это был «Путь конквистадоров» Гумилева с авторской надписью поэта — первый сборник его еще слабых, полудетских стихов. Книга все же очаровала меня, уже одним своим существованием. Еще гимназист, а напечатал книгу! Это подбадривало меня в моем собственном творчестве.

Думаю, что втайне Зина была влюблена в своего прежнего «молодого барина»… Книжечкой его и надписью на ней она гордилась явно. Может быть, никогда ничего гумилевского она больше и не прочла, но в те дни «высокое слово» коснулось ее немудреной девичьей души.

Я стал присматриваться к Гумилеву в гимназии. Но с опаской — ведь он был старше меня на 6 или 7 классов! Поэтому и не разглядел его как следует… А если что и запомнил, так чисто внешнее. Помню, что был он всегда особенно чисто, даже франтовато одет. В гимназическом журнальчике была на него карикатура: стоял он, прихорашиваясь, перед зеркалом, затянутый в мундирчик, в брюках со штрипками, в лакированных ботинках. Любил он бывать на гимназических балах, энергично ухаживал за гимназистками. Но разве это важно? Важно то, что он сам, лучше всех других рассказал о своих гимназических годах в единственном посвященном им стихотворении, рассказал о своих встречах с Анненским в его директорском кабинете:

Я помню дни: я, робкий, торопливый,
Входил в высокий кабинет,
Где ждал меня спокойный и учтивый,
Слегка седеющий поэт.

О, в сумрак отступающие вещи
И еле слышные духи,

И этот голос, нежный и зловещий,
Уже читающий стихи.

В них плакала какая-то обида,
Звенела медь и шла гроза.
А там, над шкафом, профиль Эврипида
Слепил горящие глаза.

Здесь, в этом строгом кабинете, который почему-то представляется мне всегда каким-то огромным кипарисовым ларцом, происходили встречи мастера и ученика. И невольно думается: не так уж важно, пожалуй, что Анненский не справился со своими директорскими обязанностями по отношению к своим тремстам гимназистам; важно, что он исполнил свой высокий поэтический долг по отношению к одному из них. Да и не к одному только. Мне рассказывали, что когда на педагогическом совете гимназии стоял вопрос об исключении одного ученика за неуспеваемость, Анненский, выслушав доводы в пользу этой строгой меры, сказал:

— Да, да, господа! Все это верно! Но ведь он пишет стихи!

И юный поэт был спасен.

Шли годы. Не было уже ни Анненского, ни Гумилева в стенах Царскосельской гимназии, но занесенный ими туда дух поэзии все еще их не покидал.

Давно был обезличен до неузначаемости директорский кабинет Анненского, давно сгорели в гимназической топке изрезанные гумилевским ножом парты, но еще до самого октябрьского переворота сохранила Царскосельская гимназия свои высокие поэтические традиции.

Сколько молодых поэтов росло под неодобрительным взглядом сугубо прозаического Моора! Конечно, с ним никто о стихах не советовался! Но музы, обходя его, еще долго бродили, «не понимая, что все это значит» (Гумилев), по классам и коридорам. Скрепя сердце разрешил Моор художественные вечера, на которых ученики кроме своих непременно читали стихи Анненского. Издавался свой литературный журнальчик. Многие юные поэты подражали Гумилеву, но были и самостоятельные таланты.

Вспоминается мне Коковцев, способный, своеобразный поэт. И в жизни он был своеобразен. Когда на Страстной ученики говели в круглой гимназической церкви, Коковцев, большеголовый, с характерными, какими-то средневековыми

чертами лица, становился впереди всех, истово крестился, долго, никого не замечая, молился, а время от времени падал ниц, касаясь лбом земли, и лежал так долго-долго. В этом не было рисовки, религиозность не была тогда в моде. Коковцева звало средневековье. Едва кончив гимназию, студентом уехал он в Германию, бродил по старым ее городам, вдыхал готику. Вернулся он с книгой стихов «Скрипка ведьмы». Вскоре жизнь его трагически оборвалась: он умер от холеры.

Чуть ли не в каждом классе было одно время по Оцупу. Не помню точно, сколько их было, но что-то очень уж много. Из них двое, если не ошибаюсь, вышли на широкую литературную дорогу.

Был еще Всеволод Рождественский, хорошенький, большеглазый мальчик. Он посвятил впоследствии много задушевных стихов Царскому Селу. Рождественский опоздал к Ин. Анненскому лет на десять, вероятно, даже вообще никогда его в глаза не видал, но с нежностью называл его «мой директор». В стихах о Городе Муз Рождественский не злоупотреблял обычной бутафорией, не тревожил тени Камерона и Монферана и больше писал о том втором, провинциально-интимном мире Царского Села, где:

…каждый дом сутулится,
Как в сказке братьев Гримм.

Где перед этими домиками зимою:

Дорожки воробьиные
Пересекают двор.

А если подойти к окну и заглянуть в него, то видно, как:

У Фаусек, у Ждановых
На нотную тетрадь
Склонен пробор каштановый,
А в кресле дремлет мать.

Для всех, кто знает Город Муз, царскосельские стихи Всев. Рождественского — источник светлой радости.

А сколько еще разных «мелких» поэтов росло в стенах Царскосельской гимназии! Повернись иначе колесо истории,

возможно иные из них выросли бы по-настоящему. Многих раздавила война, революция, социальный заказ. Интересные стихи писал Пунин, сын гимназического врача. Подавал надежды Влад. Ястребов, сын профессора; он ушел добровольцем на фронт и там погиб. Всех не перечесть! Многие имена выпали из памяти, многие подробности забыты…

Александр Биск[{4}]
Русский Париж
1906–1906

Не мудрствуя лукаво…

Настоящие записки представляют собой «малую историю». Когда подумаешь, сколько труда кладут исследователи, чтобы обнаружить новые материалы о жизни какого-нибудь третьестепенного поэта пушкинского времени, какие архивы приходится разворачивать, то поневоле решаешь, что самые незначительные факты из эпохи Серебряного века нельзя отбросить, а нужно как-то сохранить для будущих поколений.

Если хочешь говорить только о том, чему свидетелем пришлось быть, — личность автора таких воспоминаний поневоле становится в центре событий, приходится упоминать о себе чаще, чем это «полагается».

Ничего сенсационного я не обещаю. Тем не менее эпизоды из повседневной жизни, отрывки разговоров, короче: несколько анекдотов и сплетен — это долг «зажившегося» тем, кто ушел раньше меня.

…1906-й и следующие годы были эпохой похмелья после вспышки 1905 года, но в Париже еще царило революционное настроение. Минский читал на русских вечерах стихотворение, которое начиналось: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Я был совершенно вне политики, но ввиду того, что моя сестра была эсеркой, я читал сочиненное мной бравурное стихотворение «В борьбе обретаешь ты право свое».

Но были и другие вечера, более консервативные. На одном из них одна высокопоставленная дама читала стихи поэта Гумилева, где, помню, рифмовались «кольца» и «колокольца». Гумилев только недавно начал писать. Я читал там свои «Парижские Сонеты», и Гумилеву особенно понравились последние строчки одного из них:

Лютеция молчала, как и ныне,
И факелы чудовищные жгла.

Он пригласил меня участвовать в журнальчике, который он издавал[{5}].

Он успел уже побывать в Африке, и спросил меня, люблю ли я путешествовать. Я ответил, что люблю, но для Африки у меня нет достаточно денег, на что Гумилев ответил: «У меня тоже нет денег, а я вот путешествую».

Очень скоро я с Гумилевым рассорился из-за того, что он не прислал мне номера журнала, где были помещены мои стихи{6}.

Андрей Белый{7}
На экране Гумилев

Однажды сидели за чаем; я, Гиппиус; резкий звонок; я — в переднюю — двери открыть: бледный юноша, с глазами гуся, рот полуоткрыв, вздернув носик, в цилиндре — шарк — в дверь.

— Вам кого?

— Вы… — дрожал с перепугу он, — Белый?

— Да!

— Вас, — он глазами тусклил, — я узнал.

— Вам — к кому?

— К Мережковскому, — с гордостью бросил он: с вызовом даже.

Явилась тут Гиппиус; стащив цилиндр, он отчетливо шаркнул; и тускло, немного гнусаво, сказал:

— Гумилев.

— А — вам что?

— Я… — он мямлил. — Меня… Мне письмо… Дал вам, — он спотыкался; и с силою вытолкнул: — Брюсов.

Цилиндр, зажимаемый черной перчаткой под бритым его подбородком, дрожал от волнения:

— Что вы?

— Поэт из «Весов».

Это вышло совсем не умно.

— Боря, слышали?

Тут я замялся; признаться — не слышал; поздней оказалось, что Брюсов стихи его принял и с ним в переписку вступил уже после того, как Москву я покинул; «шлеп», «шлеп» — шарки туфель: влетел Мережковский в переднюю, выпучась:

— Вы не по адресу… Мы тут стихами не интересуемся… Дело пустое — стихи.

— Почему? — с твердой тупостью непонимания выпалил юноша: в грязь не ударил. — Ведь великолепно у вас самих сказано! — И ударяясь в азарт, процитировал строчки, которые Мережковскому того времени — фига под нос; этот дерзкий, безусый, безбрадый малец начинал занимать: — Вы напрасно: возможности есть и у вас, — он старался: попал-таки!

Гиппиус бросила:

— Сами-то вы о чем пишете? Ну? О козлах, что ли?

Мог бы ответить ей:

— О попугаях!

Дразнила беднягу, который преглупо стоял перед нею;

впервые попавши в «Весы», шел от чистого сердца — к поэтам же; в стриженной бобриком узкой головке, в волосиках русых, бесцветных, в едва шепелявящем голосе кто бы узнал скоро крупного мастера, опытного педагога? Тут Гиппиус, взглядом меня приглашая потешиться «козлищем», посланным ей, показала лорнеткой на дверь:

— Уж идите.

Супруг ее, охнув, — «к чему это, Зина» — пустился отшлепывать туфлями в свой кабинет.

Николаю Степановичу, вероятно, запомнился вечер тот; все же, — он поводы подал к насмешке; ну, как это можно, усевшися сонным таким судаком, — равнодушно и мерно патетикой жарить; казался неискренним — от простодушия; каюсь, и я в издевательства Гиппиус внес свою лепту: ну, как не смеяться, когда он цитировал — мерно и важно:

— Уж бездна оскалилась пастью.

Сидел на диванчике, сжавши руками цилиндр, точно палка прямой, глядя в стену и соображая: смеются над ним или нет; вдруг он, сообразив, подтянулся: цилиндр церемонно прижав, суховато простился; и — вышел, запомнив в годах эту встречу.

* * *

До болезни своей я работал над «Кубком метелей»; без пыла доламывал фабулу парадоксальною формою; Блок мне предстал; я, охваченный добрым порывом, ему написал, полагая: он сердцем на сердце — откликнется.

Он же — молчал.

Уже с Мюнхена я наблюдал: психология оплотневала во мне в физиологию; огненное «домино», потухая, как уголь, завеялось в серые пеплы, став недомоганием, сопровождавшим меня, ощущение твердого тела давило физически в определенных частях организма; однажды, проснувшись, я понял, что болен: едва сошел к завтраку.

Вечером с кряхтом пошел я за Гиппиус: ехать с ней вместе в театр «Антуан»; но не будучи в силах сидеть, из театра пополз, убоявшись взять фьякр, потому что сидеть было больно мне; утром же стало значительно хуже; но доктор сказал, что пустяк, что придется дней пять пострадать: до прокола; он, дав невозможный в условиях жизни отеля режим, удалился; решил быть стоическим, перемогая страдания, которые пухли от пухнущей опухоли: ни сидеть, ни лежать; и — поползав, повис между кресел, ногой опираясь на ногу; я спал на карачках, в

подушку вонзаясь зубами. Как бред: Мережковские, два анархиста, Д. В. Философов ввалились ко мне; дебатировать вместе: Христос или… бомба? Я, перемогая себя, кипятил воду к чаю и производил ряд движений, уже для меня невозможных; а ночью подушкой душил вырывающийся крик.

В канун нового года висел между кресел, вперясь в синий сумерок, черный вошел силуэт.

— Смерть!

Он сунул тетрадку: из синего сумрака:

— Это — стихи мои.

Я же, не в силах ему объяснить, что страдаю, просил его выйти движением руки.

Не везло с Гумилевым!

Алексей Толстой[{8}]
Н. Гумилев

…Они шли мимо меня, все в белом, с покрытыми головами. Они медленно двигались по лазоревому полю. Я глядел на них — мне было покойно, я думал: «Так вот она, смерть». Потом я стал думать: «А может быть, это лишь последняя секунда моей жизни? Белые пройдут, лазоревое поле померкнет»… Я стал ждать этого угасания, но оно не наступало, — белые все так же плыли мимо глаз. Мне стало тревожно. *Я* сделал усилие, чтобы пошевелиться, и услышал стон. Белые поднимались и плыли теперь страшно высоко. Я начал понимать, что лежу навзничь и гляжу на облака. Сознание медленно возвращалось ко мне, были слабость и тошнота. С трудом наконец я приподнялся и оглянулся. Я увидел, что сижу в траве на верху крепостного рва в Булонском лесу. Рядом валялись воротник и галстук. Все вокруг — деревья, мансардные крыши, асфальтовые дороги, небо, облака — казались мне жесткими, пыльными, тошнотворными. Опираясь о землю, чтобы подняться совсем, я ощупал маленький, с широким горлышком пузырек, — он был раскрыт и пуст. В нем, вот уже год, я носил большой кусок цианистого калия, величиной с половину сахарного куска. Я начал вспоминать, как пришел сюда, как снял воротник и высыпал из пузырька на ладонь яд. Я знал, что, как только брошу его с ладони в рот, — мгновенно настанет неизвестное. Я бросил его в рот и прижал ладонь изо всей силы ко рту. Я помню шершавый вкус яда.

Вы спрашиваете: зачем я хотел умереть? Я жил один, в гостинице, — привязалась мысль о смерти. Страх смерти мне был неприятен… Кроме того, здесь была одна девушка…

Мы сидели за столиком кафе, под каштанами, летом 1908 года[{9}]. Гумилев рассказывал мне эту историю глуховатым, медлительным голосом. Он, как всегда, сидел прямо — длинный, деревянный, с большим носом, с надвинутым на глаза котелком. Длинные пальцы его рук лежали на набалдашнике трости. В нем было что-то павлинье: напыщенность, важность, неповоротливость. Только рот у него был совсем мальчишеский, с нежной и ласковой улыбкой.

В этом кафе под каштанами мы познакомились и часто сходились и разговаривали — о стихах, о будущей нашей славе, о путешествиях в тропические страны, об обезьянках, о розысках остатков Атлантиды на островах близ Южного полюса, о том, как было бы хорошо достать парусный корабль и плавать на нем под

черным флагом…

Обо всех этих заманчивых вещах рассказывал мне Гумилев глуховатым голосом, сидя прямо, опираясь на трость. Лето было прелестное в Париже. Часто проходили дожди, и в лужах на асфальтовой площади отражались мансарды, деревья, прохожие и облака, — точно паруса кораблей, о которых мне рассказывал Гумилев.

Так я никогда и не узнал, из-за чего он тогда хотел умереть. Теперь окидываю взором его жизнь. Смерть всегда была вблизи него, думаю, что его возбуждала эта близость. Он был мужествен и упрям. В нем был постоянный налет печали и важности. Он был мечтателен и отважен — капитан призрачного корабля с облачными парусами. В нем соединялись мальчишество и воспитанность молодого человека, кончившего с медалью Царскосельскую гимназию{10}, и бродячий дух, и непреклонный фанатизм будущего создателя Цеха поэтов. В следующем году мы снова встретились с Гумилевым в Петербурге и задумали издавать стихотворный журнал. Разумеется, он был назван «Остров»{11}. Один инженер, любитель стихов, дал нам 200 рублей на издание. Бакст нарисовал обложку. Первый номер разошелся в количестве тридцати экземпляров. Второй — не хватило денег выкупить из типографии. Гумилев держался мужественно. Какими-то, до сих пор непостигаемыми для меня путями он уговорил директора Малого театра Глаголина отдать ему редакторство театральной афишки. Немедленно афишка была превращена в еженедельный стихотворный журнал{12} и печаталась на верже. После выхода третьего номера Глаголину намылили голову, Гумилев получил отказ, но и на этот раз не упал духом. Он все так же — в узкой шубе со скунсовым воротником, в надвинутом на брови цилиндре — появлялся у меня на квартирке, и мы обсуждали дальнейшие планы завоевания русской литературы.

Часто в эту весну и я бывал у него в Царском, в его радушной, устоявшейся, хорошей, чиновничьей семье. В то время в Гумилева по-настоящему верил только его младший брат — гимназист{13} пятого класса, да, может быть, говорящий попугай в большой клетке в столовой. К тому же времени относится и ручная белая мышь, которую Гумилев носил в кармане или в рукаве.

Летом этого года Гумилев приехал на взморье, близ Феодосии, в Коктебель. Мне кажется, что его влекла туда встреча с Д.{14}, молодой девушкой, судьба которой впоследствии была так необычайна. С первых же дней Гумилев понял, что приехал

напрасно: у Д. началась как раз в это время ее удивительная и короткая полоса жизни, сделавшая из нее одну из самых фантастических и печальных фигур в русской литературе.

Помню, в теплую, звездную ночь я вышел на открытую веранду волошинского дома, у самого берега моря. В темноте, на полу, на ковре лежала Д. и вполголоса читала стихотворение. Мне запомнилась одна строчка, которую через два месяца я услышал совсем в иной оправе стихов, окруженных фантастикой и тайной.

Гумилев с иронией встретил любовную неудачу: в продолжение недели он занимался ловлей тарантулов. Его карманы были набиты пауками, посаженными в спичечные коробки. Он устраивал бои тарантулов. К нему было страшно подойти. Затем он заперся у себя в чердачной комнате дачи и написал замечательную, столь прославленную впоследствии поэму «Капитаны»{15}. После этого он выпустил пауков и уехал.

Литературная осень 1909 года началась шумно и занимательно. Открылся «Аполлон» с выставками и вечерами поэзии. Замкнутые чтения о стихосложении, начатые весною на «башне» у В. Иванова, были перенесены в «Аполлон» и превращены в Академию Стиха. Появился Иннокентий Анненский, высокий, в красном жилете, прямой старик с головой Дон Кихота, с трудными и необыкновенными стихами и всевозможными чудачествами. Играл Скрябин. Из Москвы приезжал Белый с теорией поэтики в тысячу страниц. В пряной, изысканной и приподнятой атмосфере «Аполлона» возникла поэтесса Черубина де Габриак. Ее никто не видел, лишь знали ее нежный и певучий голос по телефону. Ей посылали корректуры с золотым обрезом и корзины роз. Ее превосходные и волнующие стихи были смесью лжи, печали и чувственности. Я уже говорил, как случайно, по одной строчке, проник в эту тайну, и я утверждаю, что Черубина де Габриак действительно существовала, — ее земному бытию было три месяца. Те — мужчина и женщина, между которыми она возникла, не сочиняли сами стихов, но записывали их под ее диктовку; постепенно начались признаки ее реального присутствия, наконец — они увидели ее однажды. Думаю, что это могло кончиться сумасшествием, если бы не неожиданно повернувшиеся события.

Мистификация, начатая с шутки, зашла слишком далеко, — пришлось раскрыть. В редакции «Аполлона» настроение было, как перед грозой. И неожиданно для всех гроза разразилась над головой Гумилева. Здесь, конечно, не место рассказывать о том, чего сам Гумилев никогда не желал делать достоянием общества.

Но я знаю и утверждаю, что обвинение, брошенное ему, — в произнесении им некоторых неосторожных слов — было ложно: слов этих он не произносил и произнести не мог. Однако из гордости и презрения он молчал, не отрицая обвинения, когда же была устроена очная ставка и он услышал на очной ставке ложь, то он из гордости и презрения подтвердил эту ложь. В Мариинском театре, наверху, в огромной, как площадь, мастерской Головина, в половине одиннадцатого, когда под колосниками, в черной пропасти сцены, раздавались звуки «Орфея», произошла тяжелая сцена в двух шагах от меня: поэт В., бросившись к Гумилеву, оскорбил его. К ним подбежали Анненский, Головин, В. Иванов. Но Гумилев, прямой, весь напряженный, заложив руки за спину и стиснув их, уже овладел собою. Здесь же он вызвал В. на дуэль{16}.

Весь следующий день между секундантами шли отчаянные переговоры. Гумилев предъявил требование стреляться в пяти шагах до смерти одного из противников. Он не шутил. Для него, конечно, изо всей этой путаницы, мистификации и лжи не было иного выхода, кроме смерти.

С большим трудом, под утро, секундантам В. — кн. Шервашидзе{17} и мне удалось уговорить секундантов Гумилева — Зноско-Боровского{18} и М. Кузмина{19} — стреляться на пятнадцати шагах. Но надо было уломать Гумилева. На это был потрачен еще день. Наконец, на рассвете третьего дня наш автомобиль выехал за город по направлению к Новой Деревне. Дул мокрый морской ветер, и вдоль дороги свистели и мотались голые вербы. За городом мы нагнали автомобиль противников, застрявший в снегу. Мы позвали дворников с лопатами и все, общими усилиями, выставили машину из сугроба. Гумилев, спокойный и серьезный, заложив руки в карманы, следил за нашей работой, стоя в стороне.

Выехав за город, мы оставили на дороге автомобили и пошли на голое поле, где были свалки, занесенные снегом. Противники стояли поодаль, мы совещались, меня выбрали распорядителем дуэли. Когда я стал отсчитывать шаги, Гумилев, внимательно следивший за мной, просил мне передать, что я шагаю слишком широко. Я снова отмерил пятнадцать шагов, просил противников встать на места и начал заряжать пистолеты. Пыжей не оказалось, я разорвал платок и забил его вместо пыжей, Гумилеву я понес пистолет первому. Он стоял на кочке, длинным, черным силуэтом различимый в мгле рассвета. На нем был цилиндр и сюртук, шубу он сбросил на снег. Подбегая к нему, я провалился по пояс в яму с талой водой. Он спокойно выжидал, когда я выберусь, — взял пистолет, и тогда только я заметил, что он, не отрываясь, с

ледяной ненавистью глядит на В., стоявшего, расставив ноги, без шапки.

Передав второй пистолет В., я по правилам в последний раз предложил мириться. Но Гумилев перебил меня, сказав глухо и недовольно: «Я приехал драться, а не мириться». Тогда я просил приготовиться и начал громко считать: раз, два… (Кузмин, не в силах стоять, сел в снег и заслонился цинковым хирургическим ящиком, чтобы не видеть ужасов)… — три! — крикнул я. У Гумилева блеснул красноватый свет — и раздался выстрел. Прошло несколько секунд. Второго выстрела не последовало. Тогда Гумилев крикнул с бешенством: «Я требую, чтобы этот господин стрелял».

В. проговорил в волнении: «У меня была осечка». — «Пускай он стреляет во второй раз, — крикнул опять Гумилев, — я требую этого…» В. поднял пистолет, и я слышал, как щелкнул курок, но выстрела не было. Я подбежал к нему, выдернул у него из дрожавшей руки пистолет и, целя в снег, выстрелил. Гашеткой мне ободрало палец. Гумилев продолжал неподвижно стоять: «Я требую третьего выстрела», — упрямо проговорил он. Мы начали совещаться и отказали. Гумилев поднял шубу, перекинул ее через руку и пошел к автомобилям.

С тех пор я мало встречал Гумилева. Он женился и уехал в Абиссинию. Сбылась мечта о тропических лесах, о пирогах, скользящих по голубым озерам, о стадах обезьян, о том задумчивом жирафе, который, поджидая его, много лет бродил одиноко по берегу озера Чад. Гумилев привез из Африки желтую лихорадку, прекрасные стихи, чучело убитого им черного ягуара и негрское оружие. В эту зиму он поднял знамя восстания против Академии Стиха, В. Иванова и символистов. Зимой 1910/11 года{20} им был основан первый Цех Поэтов. Он много писал и переводил. Его жизнь была размеренна и покойна. Казалось, что путешествием в Африку он надолго утолил в себе жажду приключений. Он был строг и неумолим к молодым поэтам, он первый объявил стихосложение наукой и ремеслом, которому нужно так же учиться, как учатся музыке и живописи. Талант, чистое вдохновение должно было, по его пониманию, обладать совершенным аппаратом стихосложения, и он упорно и сурово учил молодых поэтов ремеслу. Результаты превзошли все ожидания.

Через какие-нибудь пять лет в России повсюду в больших городах возникли, по примеру петербургского, цехи поэтов: отныне нельзя было уже более писать плохих стихов, уровень мастерства необычайно повысился, и те, у кого был талант, могли

проявлять его в совершенной форме.

Когда началась мировая война, Гумилев записался добровольцем в кавалерию и ушел на фронт. О его приключениях ходили рассказы. Он получил три Георгия{21}, был тяжело ранен и привезен в Петербург. Здесь во время выздоровления он вторично собрал Цех. В шестнадцатом году он был послан в Париж{22} и вернулся в Россию во время революции. В восемнадцатом году он в третий раз собрал Цех, работа которого продолжается и поныне. Я не знаю подробностей его убийства, но зная Гумилева, — знаю, что стоя у стены, он не подарил палачам даже взгляда смятения и страха. Мечтатель, романтик, патриот, суровый учитель, поэт… Хмурая тень его, негодуя, отлетела от обезображенной, окровавленной, страстно любимой им Родины…

Им были написаны книги стихов: «Путь конквистадоров», «Романтические цветы», «Жемчуга», «Чужое небо», «Колчан», «Костер», «Шатер», «Мик» — африканская поэма, пьесы в стихах: «Гондла», «Дитя Аллаха», «Отравленная туника», книга китайских стихов: «Фарфоровый павильон». Готовились к печати книги стихов «Огненный столп», «Посредине странствия земного»{23} и «Дракон» — поэма.

Свет твоей душе. Слава — твоему имени…

Сергей Маковский[{24}]
Николай Гумилев
1886–1921

С Гумилевым я познакомился в первых числах января 1909 года в Петербурге, на выставке «Салон»[{25}].

Эта выставка — «Живописи, графики, скульптуры и архитектуры», устроенная мною в музее и «Меншиковских комнатах» Первого кадетского корпуса, оказалась провиденциальной для будущего «Аполлона». Я затеял ее по просьбе друзей-художников, оттого что Дягилев перестал пестовать «Мир Искусства» и кому-то надлежало «объединить» наиболее одаренных художников (после того, как по почину В. В. Верещагина и моему годом раньше были объединены наши историки искусства журналом «Старые годы»).

Далось мне устройство «Салона» нелегко, но я был вознагражден успехом. На мое приглашение откликнулось около сорока художников (из разных обществ); было выставлено более шестисот произведений, картин и рисунков по преимуществу: одного Рериха, которым я увлекался в то время, пятьдесят вещей и между ними лучший его холст маслом — «Бой» (приобретен с выставки Третьяковской галереей); впервые выступили тогда прославившиеся впоследствии К. С. Петров-Водкин, В. В. Кандинский, Н. К. Чурленис; большое впечатление произвели предсмертные этюды Врубеля и «Terror Antiquus» Льва Бакста, самая значительная из его станковых композиций.

С этой символической картины-декорации Бакста, занявшей целую стену на выставке, началось увлечение передового Петербурга архаической Элладой; когда почти годом позже мне пришлось выбрать художника-графика для обложки «Аполлона», я обратился к Баксту, — весь первый год журнал выходил с его титульной виньеткой.

Так вот, за несколько дней до вернисажа (еще продолжалась развеска картин) в «секретарскую» постучался неведомый мне до того молодой человек — Михаил Константинович Ушков; приехал он из Царского Села, чтобы предложить мне выставить принадлежавший ему мрамор С. Н. Судьбинина; сам скульптор, живший тогда в Париже, просил его об этом.

С Ушковым мы тут же подружились. Он оценил немалый труд мой по устройству этого грандиозного смотра художников-модернистов и предложил помощь для осуществления

дальнейших моих замыслов (художественного журнала и издательства), ничего не требуя взамен… В этом человеке, добрейшем и скромнейшем, ни капли не было ни эгоизма, ни честолюбия; от него веяло каким-то абсолютным бескорыстием и порядочностью (через год я с трудом убедил его подписывать «Аполлон» в качестве соиздателя[14]); моя дружба с Михаилом Константиновичем продолжалась и в эмиграции до самой его смерти.

На вернисаже «Салона» судьба свела меня и с другим царскоселом, Николаем Степановичем Гумилевым. Кто-то из писателей отрекомендовал его как автора «Романтических цветов». Юноша был тонок, строен, в элегантном университетском сюртуке с очень высоким, темно-синим воротником (тогдашняя мода), и причесан на пробор тщательно. Но лицо его благообразием не отличалось: бесформенно-мягкий нос, толстоватые бледные губы и немного косящий взгляд (белые точеные руки я заметил не сразу). Портил его и недостаток речи: Николай Степанович плохо произносил некоторые буквы, как-то особенно заметно шепелявил, вместо «вчера» выходило у него — «вцера».

В следующий раз он принес мне свой сборник (а я дал ему в обмен только что вышедший второй томик моих «Страниц художественной критики»). Стихотворения показались мне довольно слабыми даже для ранней книжки. Однако за исключением одного — «Баллады»: оно поразило меня трагическим тоном, вовсе не вязавшимся с тем впечатлением, какое оставил автор сборника, этот белобрысый самоуверенно-подтянутый юноша (ему было 22 года). К «Балладе» из «Романтических цветов» я еще вернусь, ее четырехстопные анапесты удивительно перекликаются с тем, что было написано Гумилевым в самом конце жизни.

Юный поэт-царскосел восторженно говорил об Иннокентии Анненском (незадолго перед тем вышли «Тихие песни»{26} Анненского, но я и не подозревал тогда, что псевдоним Ник-То принадлежит известному переводчику Еврипида, недавнему директору Царскосельской гимназии!). Гумилев бывал у него, помнил наизусть строфы из «трилистников» «Кипарисового ларца», с особой почтительностью отзывался о всеискушенности немолодого уже, но любившего юношески-пламенно новую поэзию лирика-эллиниста Анненского и предложил повезти меня к нему в Царское Село.

Мое знакомство с Анненским, необыкновенное его обаяние и сочувствие моим журнальным замыслам (в связи с обещанной М. К. Ушковым помощью) решили вопрос об издании «Аполлона».

К проекту журнала Гумилев отнесся со свойственным ему пылом. Мы стали встречаться все чаще, с ним и его друзьями — Михаилом Алексеевичем Кузминым, Алексеем Толстым, Ауслендером. Так образовался кружок, прозванный впоследствии секретарем журнала Е. А. Зноско-Боровским «Молодая редакция». Гумилев горячо взялся за отбор материалов для первых выпусков «Аполлона», с полным бескорыстием и с примерной сговорчивостью. Мне он сразу понравился той серьезностью, с какой относился к стихам, вообще — к литературе, хотя и казался подчас чересчур мелочливо-принципиальным судьей. Зато никогда не изменял он своей принципиальности из личных соображений или «по дружбе», был ценителем на редкость честным и независимым.

Понравилось мне и то, что не принадлежал он, в сущности, ни к какому литературному толку. Его корежило от реалистов-бытовиков, наводнявших толстые журналы, но он считал необходимым бороться и с десятилетним «символическим пленением» русской поэзии, как он говорил. Об «акмеизме» еще не было речи, но несмотря на увлечение Брюсовым, Анненским, Сологубом и прославленными французскими символистами (Бодлером, Ренье, Верленом, Рембо), Гумилева тянуло прочь от мистических туманов модернизма.

Мне самому новый ежемесячник (посвященный главным образом искусствам изобразительным и критике — на второй год пришлось пожертвовать всей беллетристической прозой) представлялся меньше всего примыкающим к одному из тогдашних передовых литературных «течений», будь то декадентство московских «Весов» с Брюсовым у кормила или богоискательство и мифотворчество петербургских новаторов (с Блоком, Вячеславом Ивановым, Мережковскими, Г. Чулковым). Гумилев верил в свою миссию реформатора, в нем ощущалась не только талантливость, но свежесть какой-то своей поэтической правды.

Стихи были всей его жизнью. Никогда не встречал я поэта до такой степени «стихомана». «Впечатления бытия» он ощущал постольку, поскольку они воплощались в метрические строки. Над этими строками (заботясь о новизне рифмы и неожиданной яркости эпитета) он привык работать упорно с отроческих лет. В связи отчасти с этим стихотворным фанатизмом была известная ограниченность его мышления, прямолинейная подчас наивность суждений. Чеканные, красочно-звучные слова были для него духовным мерилом. При этом — неистовое самолюбие! Он никогда не пояснял своих мыслей, а «изрекал» их и спорил как будто для того лишь, чтобы озадачить собеседника. Вообще было

много детски-заносчивого, много какого-то мальчишеского озорства в его словесных «дерзаниях» (в критической прозе, в статьях это проявлялось куда меньше, несмотря на капризную остроту его литературных заметок).

Все это вызывало несколько ироническое отношение к Гумилеву со стороны его товарищей по перу. Многие попросту считали его «неумным»…

Особенно протестовал Вячеслав Иванов, авторитет для аполлоновцев непререкаемый. Сколько раз корил он меня за слабость к Николаю Степановичу! Удивлялся, как мог я поручить ему «Письма о русской поэзии», иначе говоря — дать возможность вести в журнале «свою линию». «Ведь он глуп, — говорил Вячеслав Иванов, — да и плохо образован, даже университета окончить не мог, языков не знает, мало начитан»[15]…

В этом, несомненно, была правда… Гумилев любил книгу, и мысли его большею частью были книжные, но точными знаниями он не обладал ни в какой области, а язык знал только один — русский, да и то с запинкой (писал не без орфографических ошибок, не умел расставлять знаков препинания, приносил стихи и говорил: «А запятые расставьте сами!»)[27]. По-французски кое-как понимал, но в своих переводах французов (напр. Теофиля Готье) поражал иногда невероятными ляпсусами. Помню, принес он как-то один из своих переводов. Предпоследнюю строку в стихотворении Готье «La mansarde» (где сказано о старухе у окна — «devant Minet, qu'elle chapitre») он перевел: «Читала из Четьи-Минеи»… Так и было опубликовано, за что переводчика жестоко высмеял Андрей Левинсон в «Речи» (об этой «стреле» Левинсона напомнил мне, в письме о моей характеристике Гумилева, подтверждая мое мнение о его малообразованности, Георгий Иванов).

Тем не менее я Гумилеву верил; что-то в нем меня убеждало, и я отстаивал его во всех случаях, даже тогда, когда он сам, все решительнее возглашая акмеизм против символизма, захотел ничем не ограниченной деятельности, завел «Цех поэтов» и стал выпускать тонкими тетрадями свой собственный журнальчик «Гиперборей»[16]. «Письма о русской поэзии», тем не менее, он продолжал писать, даже (когда мог) в годы войны, на которую с примерным мужеством пошел добровольцем (один из всех сотрудников «Аполлона»). Жест был от чистого сердца, хотя доля позы, конечно, чувствовалась и тут. Позерство, желание удивить, играть роль — были его «второй натурой».

Вот почему мне кажется неверным сложившееся мнение о его поэзии, да и о нем самом (разве личность и творчество поэта не неразделимы?). Сложилось оно не на основании того, чем он был,

а — чем быть хотел. О поэте надо судить по его глубине, по самой внутренней его сути, а не по его литературной позе…

Внимательно перечитав Гумилева и вспоминая о нашем восьмилетием дружном сотрудничестве, я еще раз убедился, что настоящий Гумилев — вовсе не конквистадор, дерзкий завоеватель Божьего мира, певец земной красоты, т. е. не тот, кому поверило большинство читателей, особенно после того, как он был убит большевиками. Этим героическим его образом и до «Октября» заслонялся Гумилев-лирик, мечтатель, по сущности своей романтически-скорбный (несмотря на словесные бубны и кимвалы), всю жизнь не принимавший жизнь такой, какая она есть, убегавший от нее в прошлое, в великолепие дальних веков, в пустынную Африку, в волшебство рыцарских времен и в мечты о Востоке «Тысячи и одной ночи».

Наперекор пиитическому унынию большинства русских поэтов, Гумилев хотел видеть себя «рыцарем счастья». Так и озаглавлено одно из предсмертных его стихотворений (в «Неизданном Гумилеве» Чеховского издательства):

Как в этом мире дышится легко!
Скажите мне, кто жизнью недоволен,
Скажите, кто вздыхает глубоко,
Я каждого счастливым сделать волен.

Пусть он придет! Я должен рассказать,
Я должен рассказать опять и снова,
Как сладко жить, как сладко побеждать
Моря и девушек, врагов и слово.

А если все-таки он не поймет,
Мою прекрасную не примет веру
И будет жаловаться в свой черед
На мировую скорбь, на боль — к барьеру!

Таким счастливым «бретером» и увидело его большинство критиков. Недавно попалась мне на глаза написанная перед самой революцией статья весьма осведомленного В. М. Жирмунского о поэтах, преодолевших символизм[28]. Вот как он характеризует гиперборейца Гумилева: «Уже в ранних стихах поэта можно увидеть черты, которые сделали его вождем и теоретиком нового направления. От других представителей поэзии „Гиперборея“ Гумилева отличает его активная, откровенная и простая мужественность, его напряженная душевная энергия, его темперамент». «Его стихи бедны

эмоциональным и музыкальным содержанием, он редко говорит о переживаниях интимных и личных: как большинство поэтов „Гиперборея“, он избегает лирики любви и природы, слишком индивидуальных признаний и слишком тяжелого самоуглубления. Для выражения своего настроения — объективный мир зрительных образов, напряженных и ярких, он вводит в свои стихи повествовательный элемент и придает им характер полуэпический — „балладную“ форму. Искание образов и форм, по своей силе и яркости соответствующих его мироощущению, влечет Гумилева к изображению экзотических стран, где в красочных и пестрых видениях он находит зрительное, объективное воплощение своей грезы. Муза Гумилева — это „Муза дальних странствий“:

Я сегодня опять услышал
Как тяжелый якорь ползет,
И я видел, как в море вышел
Пятипалубный пароход.
Оттого и солнце дышит,
А земля говорит, поет…

Но действительно до конца, — продолжает Жирмунский, — муза Гумилева нашла себя в „военных“ стихах. Эти стрелы в „Колчане“ — самые острые. Здесь прямая, простая и напряженная мужественность поэта создала себе самое достойное и подходящее выражение. Война как серьезное, строгое и святое дело, в котором вся сила отдельной души, вся ценность напряженной человеческой воли открывается перед лицом смерти. Глубоко религиозное чувство сопутствует поэту при исполнении воинского долга»:

И воистину светло и свято
Дело величавое войны,
Серафимы ясны и крылаты
За плечами воинов видны…

Четвертью века позже Гумилева окончательно героизировал Вячеслав Завалишин, написавший вступление к собранию его стихотворений, изданных (надо сказать, весьма небрежно) в Регенсбурге. Он замечает: «Николай Гумилев вошел в историю русской литературы как знаменосец героической поэзии»:

Я конквистадор в панцире железном,

Я весело преследую звезду,
Я прохожу по пропастям и безднам
И отдыхаю в радостном саду…

Эта характеристика неверна, если только не поверить поэту на слово, если вдуматься в скрытый смысл его строф (может быть, до конца и не сознанный им самим). Многие хоть и звучат на первый слух, как мажорные фанфары, но когда внимательнее их перечтешь, прикровенный смысл их кажется безнадежно печальным.

Таковы, в особенности, наиболее зрелые стихи Гумилева, которых не знал Жирмунский, когда писал свою статью о «преодолевших символизм»: стихи сборников «К Синей звезде» и «Огненный столп». Тут никак уж не скажешь, что Гумилев «избегает лирики любви», «слишком индивидуальных признаний и слишком тяжелого самоуглубления». В этих стихах он предстает нам не как конквистадор и Дон Жуан, а как поэт, замученный своей любовью-музой. Можно сказать, что в последние годы Гумилев только и писал о неутоленной и неутолимой жажде любви: почти все стихотворения приводят к одному и тому же «духовному тупику» — к страшной тайне сердца, к призраку девственной прелести, которому в этом мире воплотиться не суждено. Пусть темпераментный поэт продолжает «рваться в бой» с жизнью и смертью, — он раз и навсегда неизлечимо болен.

Стихи «К Синей звезде» отчасти биографичны. Поэт рассказывает свою несчастливую любовь в Париже 1917 года, когда он, отвоевав на русском фронте, гусарским корнетом был командирован на салоникский фронт и попал в Париж (в распоряжение генерала Занкевича). Тут и приключилась с ним любовь, явившаяся косвенно причиной его смерти (Гумилев не вернулся бы, вероятно, в Россию весной 18-го года, если бы девушка, которой он сделал предложение в Париже, ответила ему согласием).

Целую книжку стихов посвятил он этой «любви несчастной Гумилева в год четвертый мировой войны». «Синей звездой» зовет он ее, «девушку с огромными глазами, девушку с искусными речами», Елену, жившую в Париже, в тупике «близ улицы Деками», «милую девочку», с которой ему «нестерпимо больно». Он признается в страсти «без меры», в страсти, пропевшей «песней лебединой», что «печальней смерти и пьяней вина»; он называет себя «рабом истомленным» перед ее «мучительной, чудесной, неотвратимой красотой». И не о земном блаженстве грезит он, воспевая ту, которая стала его «безумием» или «дивной

мудростью», а о преображенном, вечном союзе, соединяющем и землю, и ад, и Божьи небеса:

Если бы могла явиться мне
Молнией слепительной Господней,
И отныне я горю в огне,
Вставшем до небес из преисподней…

Не отсюда ли впоследствии название сборника — «Огненный столп», где лирика любви приобретает некий эзотерический смысл?

Но все же не будем преувеличивать значения «несчастной» парижской страсти Гумилева. Стихи «К Синей звезде», несомненно, искренни и отражают подлинную муку. Однако они остаются «стихами поэта», и неосторожно было бы их приравнивать к трагической исповеди. Гумилев был влюбчив до крайности. К тому же привык «побеждать»… Любовная неудача больно ущемила его самолюбие. Как поэт, как литератор прежде всего, он не мог не воспользоваться этим горьким опытом, чтобы подстегнуть вдохновение и выразить в гиперболических признаниях не только свое горе, но горе всех любивших неразделенной любовью.

С художественной точки зрения стихи «К Синей звезде» не всегда безупречны; неудавшихся строк много. Но в каждом есть такие, что останутся в русской лирике, — их находишь, как драгоценные жемчужины в морских раковинах…

Все ли почитатели Гумилева прочли внимательно одно из последних его стихотворений (вошло в «Огненный столп»), названное поэтом «Дева-птица»? Нет сомнения: это все та же райская птица, что среди строф к «Синей звезде» появилась «из глубины осиянной». Но тут родина ее названа определеннее — долы баснословной Броселианы (т. е. баснословной страны из «Романов круглого стола», точнее — Броселианды), где волшебствовал Мерлин, сын лесной непорочной девы и самого диавола[17].

Чтобы отнестись так или иначе к моему пониманию Гумилева-лирика, необходимо задуматься именно над этими стихами. Сам я прочел их как следует лишь в последние годы, долго после того, как они проникли в эмиграцию (вместе с приблизительно тогда же написанным и сразу прославленным «Заблудившимся трамваем»).

Напомню их:

Пастух веселый

Поутру рано
Вывел коров в тернистые долы
Броселианы.

Паслись коровы,
И песню своих веселий
На тростниковой
Играл он свирели.

И вдруг за ветвями
Послышался голос, как будто не птичий,
Он видит птицу, как пламя,
С головкой милой, девичьей.

Прерывно пенье,
Так плачет во сне младенец,
В черных глазах томленье,
Как у восточных пленниц.

Пастух дивится
И смотрит зорко:
Такая красивая птица,
А смотрит горько.

Ее ответу
Он внемлет, смущенный:
— Мне подобных нету
На земле зеленой,

— Хоть мальчик-птица,
Исполненный дивных желаний,
И должен родиться
В Броселиане.

— Но злая
Судьба нам не даст наслажденья.
Подумай, пастух, должна я
Умереть до его рожденья.

— И вот мне не любы
Ни солнце, ни месяц высокий,
Никому не нужны мои губы
И бледные щеки.

— Но всего мне жальче,
Хоть и всего дороже,
Что птица-мальчик
Будет печальным тоже.

— Он станет порхать по лугу,
Садиться на вязы эти
И звать подругу,
Которой уж нет на свете.

Пастух, ты, наверно, грубый.
Ну что ж, я терпеть умею,
Подойди, поцелуй мои губы
И хрупкую шею.

— Ты сам захочешь жениться,
У тебя будут дети,
И память о Деве-птице
Долетит до поздних столетий.

Пастух вдыхает запах
Кожи, солнцем нагретой,
Слышит, на птичьих лапах
Звенят золотые браслеты.

Вот уж он в исступленьи,
Что делает, сам не знает,
Загорелые его колени
Красные перья попирают.

Только раз застонала птица,
Раз один застонала,
И в груди ее сердце биться
Вдруг перестало.

Она не воскреснет,
Глаза помутнели,
И грустные песни
Над нею играет пастух на свирели.

С вечерней прохладой
Встают седые туманы,
И гонит он стадо
Из Броселианы.

Стихотворение это неожиданно сложно… К кому оно обращено? Кто эта птица «как пламя», плачущая в ветвях и отдающаяся заметившему ее случайно пастуху? Почему именно к нему обратилась птица, чтобы умереть от его поцелуя? И о какой «птице-мальчике» печалится она, предсказывая свою смерть «до его рождения»? Почему наконец ей, птице «с головкой милой, девичьей», всего жальче, хоть и всего дороже, что он, птица-мальчик, «будет печальным тоже»?

Очень сложно построена эта запутанная криптограмма в романтично-метерлинковском стиле… Но в конце концов дешифровка вероятна, если хорошо знать Гумилева и сердцем почувствовать его как лирика-романтика, всю жизнь влюбленного в свою Музу и ждавшего чуда — всеразрешающей женской любви. Дева-птица и есть таинственная его вдохновительница, его духовная мать и одновременно — та девушка, к которой он рвется душой. «Пастух» и «птица-мальчик» — сам он, не узнающий своей музы, потому что встретил ее, еще «не родившись» как вещий поэт, а только беспечно поющий «песню своих веселий». В долах Броселианы лишь безотчетно подпадает он под ее чары и «что делает, сам не знает», убивая ее поцелуем. Но убитая им птица позовет его из другого, преображенного мира, и тогда станет он «звать подругу, которой уж нет на свете».

Напомню еще раз одно из самых молодых его стихотворений — «Балладу» (сборник «Романтические цветы»). Оно помещено первым после вводного сонета с заключительными строками:

Пусть смерть приходит, я зову любую!
Я с нею буду биться до конца.
И, может быть, рукою мертвеца
Я лилию добуду голубую…

Гумилеву было всего лет двадцать, когда он сочинил эту «Балладу», похожую романтическим подъемом на его предсмертную «Деву-птицу». Да и вся «декорация» стихотворения разве не из той же сказки?

Пять коней подарил мне мой друг Люцифер
И одно золотое с рубином кольцо,
Чтобы мог я спускаться в глубины пещер
И увидел небес молодое лицо.
……
Там на высях сознанья — безумье и снег,

Но коней я ударил свистящим бичом,
И на выси сознанья направил их бег
И увидел там деву с печальным лицом.
……
И, смеясь надо мной, презирая меня,
Люцифер распахнул мне ворота во тьму,
Люцифер подарил мне шестого коня —
И Отчаянье было названье ему.

Не буду перечислять других стихотворений, где упорно повторяется тот же образ, тот же символ из «святая святых» встревоженной души поэта, те же зовы к любви недостижимой, те же предчувствия безвременной смерти, та же печаль, переходящая в Отчаянье (это слово он пишет с прописной буквы), печаль броселиандского «грубого пастуха», убившего своим поцелуем Деву-птицу, за что «злая судьба» не даст ему наслаждения, а «шестой конь», подаренный ему Люцифером, унесет во тьму, в смерть…

Через все его книги проходит мысль о смерти, о «страшной» смерти. Это навязчивый его призрак. Недаром первое же, вступительное стихотворение «Жемчугов», сравнивая свою поэзию с волшебной скрипкой, он кончает строками:

На, владей волшебной скрипкой,
посмотри в глаза чудовищ
И погибни славной смертью,
страшной смертью скрипача.

Продолжим перелистывание «Жемчугов»… В «Поединке» выделяются такие строфы:

Я пал… и молнии победной
Сверкнул и в тело впился нож…
Тебе восторг — мой стон последний,
Моя прерывистая дрожь.
……
И над равниной дымно-белой,
Мерцая шлемом золотым,
Найдешь мой труп окоченелый
И снова склонишься над ним.

Стихотворение «В пустыне» начинается с той же гибели:

Давно вода в мехах иссякла,
Но, как собака, я умру…

Мечтая о прошлых столетиях, видит он какого-то старого «товарища», «древнего ловчего», утонувшего когда-то, и кончает стихотворение обращением к нему:

Скоро увижусь с тобою, как прежде,
В полях неведомой страны.

Эту страну в другом стихотворении («В пути») он окрестит «областию уныния и слез» и «оголенным утесом». Тут же стихотворение, посвященное «светлой памяти И. Ф. Анненского», «Семирамида», он заключает признанием более чем безотрадным:

И в сумеречном ужасе от лунного взгляда,
От цепких лунных сетей,
Мне хочется броситься из этого сада
С высоты семисот локтей.

Поэт воистину вправе с полной искренностью утверждать:

В мой мозг, в мой гордый мозг собрались думы,
Как воры ночью в тихий мрак предместий…

и в заключение:

И думы, воры в тишине предместий,
Как нищего во мгле, меня задушат.

Единственным утешением от этих злых дум было для Гумилева искусство, поэзия, а родоначальником ее представлялся ему дух печально-строгий, учитель красоты (как Лермонтову и французским «проклятым поэтам»), принявший имя утренней звезды. Отсюда — такое языческое восприятие жизни «по ту сторону добра и зла». Недаром, как Адам, что «тонет душою в распутстве и неге», но «клонит колена и грезит о Боге», молясь «Смерти, богине усталых», он хочет быть, как боги, которым «все позволено», хоть и задумывается подчас о христианском завете, — напомню заключительное шестистишье сонета «Потомки Каина» (из «Жемчугов»):

Но почему мы клонимся без сил,
Нам кажется, что кто-то нас забыл.
Нам ясен ужас древнего соблазна,
Когда случайно чья-нибудь рука
Две жердочки, две травки, два древка
Соединит на миг крестообразно?

Эти строки относятся к году нашего знакомства (1909). Тогда писал он с воодушевлением своих талантливых (внушенных Бодлером), но несколько трескучих «Капитанов» и готовился, по примеру Рембо, к поездке в Абиссинию. Тогда он еще не был женат на Анне Андреевне Горенко (ставшей Ахматовой), но знал ее уж давно. После более трех лет колебаний он наконец женился. Свадьба состоялась в 1910 году. *Я* встретил молодых тогда в Париже. Затем мы вместе возвращались в Петербург.

В железнодорожном вагоне, под укачивающий стук колес, легче всего разговориться «по душе». Анна Андреевна, хорошо помню, меня сразу заинтересовала, и не только в качестве законной жены Гумилева, повесы из повес, у которого на моих глазах столько завязывалось и развязывалось романов «без последствий», — но весь облик тогдашней Ахматовой, высокой, худенькой, тихой, очень бледной, с печальной складкой рта, вызывал не то растроганное любопытство, не то жалость. По тому, как разговаривал с ней Гумилев, чувствовалось, что он ее полюбил серьезно и гордится ею. Не раз и до того он рассказывал мне о своем жениховстве. Говорил и впоследствии об этой своей единственной настоящей любви…

Что она была единственной — в этом я и теперь убежден, хотя за десять последующих лет столько «возлюбленных» оказалось на пути Гумилева; его преходящим увлечениям и счета нет!

Поэтому никогда не верил я в серьезность его парижской неудачливой страсти к Елене из «Синей звезды», хотя посвящено ей двадцать пять стихотворений (и многое внушено ею же в последней его драме «Отравленная туника»).

Ахматовой (насколько помню) он посвятил открыто всего одно стихотворение, зато сколько стихотворений, куда более выразительных, сочинил, не называя ее, но они явно относятся к ней и к ней одной[{29}]. Перечитывая этих стихи, можно восстановить драму, разлучившую их так скоро после брака, и те противоречивые чувства, какими Гумилев не переставал мучить и ее, и себя; в стихах он рассказал свою борьбу с ней и несравненное ее очарование, каясь в своей вине перед нею, в вине

безумного Наля, проигравшего в кости свою Дамаянти:

Сказала ты, задумчивая, строго:
«Я верила, любила слишком много,
А ухожу, не веря, не любя,
И пред лицом Всевидящего Бога,
Быть может, самое себя губя,
Навек я отрекаюсь от тебя».

Твоих волос не смел поцеловать я,
Ни даже сжать холодных, тонких рук.
Я сам себе был гадок, как паук,
Меня пугал и мучил каждый звук.
И ты ушла, в простом и темном платье,
Похожая на древнее распятье.

Я не хочу слишком уточнять перипетии семейной драмы Гумилевых. К тому же каждому, знающему стихи, какими начинается «Чужое небо» и каких много в сборниках Ахматовой — «Вечер» и «Четки», не трудно восстановить эту драму и судить о том, насколько в этих стихах все автобиографично. Но несмотря на «камуфляж» некоторых строк, стихи говорят сами за себя. Напомню только о гумилевском портрете — «Она», который он мог написать, конечно, только с Ахматовой:

Я знаю женщину: молчание,
Усталость горькая от слов,
Живет в таинственном мерцаньи
Ее расширенных зрачков.

Неслышный и неторопливый,
Так странно плавен шаг ее,
Назвать ее нельзя красивой,
Но в ней все счастие мое.

И конец:

Она светла в часы томлений
И держит молнии в руке,
И четки сны ее, как тени
На райском огненном песке.

Этот портрет дополняется другим, насмешливо-заостренным, и, рисуя не идеализованную, а бытовую Ахматову, он выдает уже наметившуюся трещину в их любви. Приведу лишь первую и последнюю строфы:

Из логова змиева,
Из города Киева
Я взял не жену, а колдунью,
А думал — забавницу,
Гадал — своенравницу.
Веселую птицу-певунью.
……
Молчит — только ежится
И все ей неможется,
Мне жалко ее, виноватую,
Как птицу подбитую,
Березу подрытую,
Над участью, Богом заклятую.

Эти стихи (вошедшие в сборник «Чужое небо») написаны вскоре после возвращения Гумилева из африканского путешествия{30}. Помню, он был одержим впечатлениями от Сахары и подтропического леса и с мальчишеской гордостью показывал свои «трофеи» — вывезенные из «колдовской» страны Абиссинии слоновые клыки, пятнистые шкуры гепардов и картины-иконы на кустарных тканях, напоминающие большеголовые романские примитивы. Только и говорил об опасных охотах, о чернокожих колдунах и о созвездиях южного неба — там, в Африке, доисторической родине человечества, что висит «исполинской грушей» на дереве древнем Евразии, где

…Солнце на глади воздушных зеркал
Пишет кистью лучистой миражи…

Но житейской действительности никакими миражами не заменить, когда «дома» молодая жена тоскует в одиночестве, да еще такая «особенная», как Ахматова{31}… Нелегко поэту примирять поэтическое «своеволие», жажду новых и новых впечатлений, с семейной оседлостью и с любовью, которая тоже, по-видимому, была нужна ему, как воздух… С этой задачей Гумилев не справился, он переоценил свои силы и недооценил женщины, умевшей прощать, но не менее гордой и своевольной, чем он.

Отстаивая свою «свободу», он на целый день уезжал из Царского, где-то пропадал до поздней ночи и даже не утаивал своих «побед»… Ахматова страдала глубоко. В ее стихах, тогда написанных, но появившихся в печати несколько позже (вошли в сборники «Вечер» и «Четки»), звучит и боль от ее заброшенности, и ревнивое томление по мужу:

…Знаю: гадая, не мне обрывать,
Нежный цветок маргаритку,
Должен на этой земле испытать
Каждый любовную пытку.

Жгу до зари на окошке свечу
И ни о ком не тоскую,
Но не хочу, не хочу, не хочу
Знать, как целуют другую.

Анна Андреевна неизменно любила мужа, а он? Любил и он… насколько мог. Но занятый собою, своими стихами и успехами, заперев в клетку ее, пленную птицу, он свысока утверждал свое мужское превосходство, следуя Ницше, сказавшему (в «Заратустре», кажется): «Мужчина — воин, а женщина для отдохновения воина»… Подчас муж-воин проявлял и жестокость, в которой потом каялся.

А она жаловалась:

…Рассветает. И над кузницей
Подымается дымок.
А со мной, печальной узницей,
Ты опять побыть не мог.

Для тебя я долю хмурую,
Долю-муку приняла.
Или любишь белокурую,
Или рыжая мила?

Как мне скрыть вас, стоны звонкие!
В сердце темный, душный хмель.
А лучи ложатся тонкие
На несмятую постель.

Повторяю, она все прощала. Ее любовь побеждала страдание — разве муж не друг навеки, посланный Богом? И в нескольких

словах, с такой характеризующей ее простотой, она рассказывает и о неверности мужа, и о своей всепрощающей нежности:

У меня есть улыбка одна.
Так. Движенье, чуть видное, губ.
Для тебя я ее берегу —
Ведь она мне любовью дана.

Все равно, что ты наглый и злой,
Все равно, что ты любишь других,
Предо мной золотой аналой
И со мной сероглазый жених.

Но всему приходит конец, даже любовному долготерпению. Случилось то, что должно было случиться. После одного из своих «возвращений» убедился ли он в том, что она встретила «того, другого», которого он называет преступным за то, что он вечность променял на час —

Принявши дерзко за оковы,
Мечты, связующие нас…

или это одна «литература», а все кокетства Ахматовой и даже умственные увлечения ничем серьезным не кончались, и не было вовсе «того, другого»?

Как бы то ни было, но уже задолго до войны Гумилев почувствовал, что теряет жену, почувствовал с раскаянной тоской и пил «с улыбкой» отравленную чашу, приняв ее из рук любимых, как заслуженную кару, ощущая ее «смертельный хмель», обещал покорность и соглашался на счастье жены с другим:

Знай, я больше не буду жестоким,
Будь счастливой, с кем хочешь, хоть с ним.
Я уеду далеким, далеким
И не буду печальным и злым.

Теперь, стоя у догорающего камина и говоря ей о своих подвигах, он отдается одной печали:

Древний я открыл храм из-под песка,
Именем моим названа река,

И в стране озер семь больших племен
Слушались меня, чтили мой закон.

Но теперь я слаб, как во власти сна,
И больна душа, тягостно больна.

Я узнал, узнал, что такое страх,
Заключенный здесь в четырех стенах;

Даже блеск ружья, даже плеск волны
Эту цепь порвать ныне не вольны.

И тая в глазах злое торжество,
Женщина в углу слушала его.

Развивалась эта драма любви на моих глазах. Женившись, я поселился тоже в Царском Селе: в отсутствие Гумилева навещал Ахматову, всегда какую-то загадочно-печальную и вызывающую к себе нежное сочувствие. Как-то Гумилев был в отъезде, зашла она к моей жене, читала стихи. Она еще не печаталась в журналах, Гумилев «не позволял»{32}. Прослушав некоторые из ее стихотворений, я тотчас предложил поместить их в «Аполлоне». Она колебалась: что скажет Николай Степанович, когда вернется? Он был решительно против ее писательства. Но я настаивал: «Хорошо, беру на себя всю ответственность. Разрешаю вам говорить, что эти строфы я попросту выкрал из вашего альбома и напечатал самовластно».

Так и условились… Стихи Ахматовой, как появились в «Аполлоне»{33}, вызвали столько похвал, что Гумилеву, вернувшемуся из «дальних странствий», осталось только примириться с fait accompli. Позже он первый восхищался талантом жены и, хотя всегда относился ревниво к ее успеху, считал ее лучшей своей ученицей-акмеисткой.

Но тут акмеизм — отмечу в двух словах — пожалуй, ни при чем. Дарование Ахматовой (очень большое), созревавшее в тишине и безвестности (она писала рифмованные строки с малых лет), в гумилевской выучке не нуждалось. Вкус у нее куда безусловней его вкуса, поэтический слух, не говоря об уме, гораздо тоньше. Ее строки всегда поют, и в них глубоко пережитого чувства больше, чем внешнего блеска.

Родившегося зимой 1912 года у Анны Андреевны сына{34}, которого крестили Львом, вынянчила мать Гумилева, Анна Ивановна[18] (в Слепневе, родовом именьице Тверской губернии,

унаследованном ею и старшей сестрой Варварой от брата Льва Ивановича Львова, адмирала флота в отставке).

Ахматова в стихах называла себя «дурной матерью», но всею своей последующей жизнью она показала, что это неправда. Она любила сына самоотверженно; скорее Гумилев мог считать себя «дурным отцом», хотя еще в 1918 году, в Лондоне, покупал Левушке игрушки, — ведь это ему не помешало сейчас же по возвращении в Россию развестись с Анной Андреевной и жениться на Анне Николаевне Энгельгардт, молодой, хорошенькой, но умственно незначительной девушке, у которой вскоре родилась дочь.

С тех пор все более звучат в его стихах, когда вдумаешься в тайный их смысл, все та же обида и тот же зов к ней, развенчанной любви, и стремление преодолеть ее всепримиряющей правдой иного мира. С этой мыслью написаны последние стихотворения «Костра» (может быть, лучшие из всех — «Юг», «О тебе», «Эзбекие»)[{35}].

Муку раненой любви выдают не только лирические стихи Гумилева, но и проза, и написанные стихами драмы. Одной и той же темой сквозят анапесты «Гондлы» и ямбы «Отравленной туники» и рассказы из сборника «Тень от пальмы»[19] (первые три новеллы посвящены Ахматовой, тогда еще Анне Андреевне Горенко): «Принцесса Зара», «Черный Дик», «Лесной диавол», «Скрипка Страдивариуса» и др. Везде — та же роковая антиномия: свет и тьма, любовь возвышенная и страсть яростно-грубая, тайна девственной прелести и уродство плоти, поэзия мечты и действительность.

Излюбленный герой Гумилева-драматурга — поэт-калека, обиженный судьбой лебеденок, но гений и прозорливец, бессильный на жизненном пиру и побеждающий жизнь своей жертвенностью, уходя

> …от смерти, от жизни,
> Брат мой, слышишь ли речи мои? —
> К неземной, к лебединой отчизне
> По свободному морю любви.

Ему, покаранному в земном существовании поэту, мерещатся «девушки странно-прекрасные и странно бледные со строго опущенными глазами и сомкнутыми алыми устами»; они «выше гурий, выше ангелов, они, как души в седьмом кругу блаженств», они печальны и улыбаются рыцарю-поэту с безнадежной любовью, и он упивается «неиссякаемым мучительным вином чистой девичьей скорби…».

Здесь стирается граница между реальностью и приоткрытой духу небесной державой. Поэту, как безумному скрипачу Паоло Беллитини из рассказа «Скрипка Страдивариуса», «ясно все, чем он томился еще так недавно, и другое, о чем он мог бы томиться, и то, что было недоступно»… Но при мысли, что кто-то другой, после него, сумеет приручить волшебную скрипку, Паоло Беллитини решает уничтожить ее: «Старый мэтр вздрогнул… нет, никто и никогда больше не коснется ее, такой любимой, такой бессильной! И глухо зазвучали неистовые удары каблука и легкие стоны разбиваемой скрипки».

Так, злобным исступлением кончается эта повесть любви скрипача-поэта, хоть и молился он часами Распятому: кончается убийством! Не достигнув высшей гармонии, он в конце концов уступает льстивым козням Денницы.

Драматические герои Гумилева, и Гондла, и Имр, тоже кончают век убийством… самоубийством. Поэт казнит их с глубоким убеждением, так же, как говорит о смерти в одном из стихотворений «Колчана»: «Правдивее смерть, а жизнь бормочет ложь». Недаром еще в первой юности «шестого коня», подаренного ему Люцифером, он назвал «Отчаяньем». Как ни настраивал себя Гумилев религиозно, как ни хотел верить, не мудрствуя лукаво, как ни обожествлял природу и первоначального Адама, образ и подобие Божье, — есть что-то безблагодатное в его творчестве. От света серафических высей его безотчетно тянет к стихийной жестокости творения и к первобытным страстям человека-зверя, к насилию, к крови, ужасу и гибели.

Удивительна в Гумилеве эта дисгармония. Она ощущалась и в житейской, и в писательской его личности. Для меня оставалось проблемой и то, почему смешно-претенциозный в жизни (особенно в литературных спорах), он был так обдуманно-меток и осторожен в своих критических статьях. Его «Письма о русской поэзии», печатавшиеся из месяца в месяц в «Аполлоне» (были изданы при большевиках отдельной книгой[20]) представляют собрание остроумных замечаний и критических оценок, прочесть которые не мешало бы никому из поэтов. И похвалить, и выбранить он умел с исчерпывающим лаконизмом и, я бы сказал, с изящной недоговоренностью.

Еще известнее он как теоретик поэзии антисимволист, создатель литературной школы, учивший молодых наших пиитов писать стихи, ментор «Цеха поэтов». Новизна его с этой точки зрения даже преувеличена. На самом деле, отталкиваясь от символизма, свою поэтику Гумилев не определял положительными признаками, его «акмеизм» сводился к

указаниям на то, чего, по его мнению, не надо допускать в поэзии, т. е. определяется отрицательно. Во всяком случае, самый термин — небезусловен: «акме» (с греческого «вершина», предельное заострение), по существу — не путь к школьной новизне: ведь слово всегда ложно, в идеале достигать наивысшей выразительности в любой поэзии.

Вот почему под флагом «акмеизма» могли выступать такие ничем друг на друга не похожие поэты, как Городецкий и Осип Мандельштам, Ахматова и тот же Гумилев: их связывает общее отношение к «изреченному слову», но не стиль. Из мира нездешних сущностей Гумилев звал поэтов обратно к земной реальности и, следовательно, к предметным образам, прочь от подобий с неясным потусторонним содержанием. Но это его несогласие с Андреем Белым и Вячеславом Ивановым (прежде всего) не есть еще новая концепция поэзии.

Так же верно и другое: отрицание символизма, навеянного декадентским Западом «конца века», восстанавливало прерванную традицию, возвращало русское слово к отечественным истокам. Реалистическая всем своим погружением в имманентный мир русская поэзия, не выносящая искусственности метафорических эффектов, не могла не захиреть от привитой ей трансцендентности и мистики. Расти дальше в атмосфере магии и теософских вещаний было трудно. Роль Гумилева тут несомненна. И конечно, отнюдь не Блок и не Вячеслав Иванов — зачинатели нашей поэзии XX века (с советской вкупе, несмотря на «социалистический реализм» и маяковщину), а именно — стихотворцы, прошедшие «Цех поэтов».

Сам Гумилев в первой книжке «Аполлона» за 1913 год так сказал об «акмеизме»: «Русский символизм направил свои главные силы в область неведомого. Попеременно он братался то с мистикой, то с теософией, то с оккультизмом. Между тем непознаваемое по самому смыслу этого слова нельзя познать… Все попытки в этом направлении — нецеломудренны. Детски-мудрое, до боли сладкое ощущение собственного незнания — вот то, что нам дает неведомое» (здесь Гумилев как бы заимствует мысль у богослова XV века Николая Кузанского: doctu ignoratio). «Разумеется, познание Бога, прекрасная дама Теологии, остается на своем престоле, но ни низводить ее до степени литературы, ни литературу поднимать в ее алмазный холод акмеисты не хотят». «Романский дух, — говорит он дальше, — слишком любит стихию света, разделяющую предметы, четко вырисовывающую линию; эта же символическая связанность всех образов и вещей, изменчивость их облика могла родиться в туманной мгле германских лесов… Новое течение… отдает решительно

предпочтение романскому духу перед германским».

Городецкий, разделявший взгляды Гумилева из приверженности к народно-русскому стилю, так дополнил его размышления о символизме: «Борьба за этот мир, звучащий и красочный, имеющий формы, вес и время, за нашу планету Землю… После всяких „неприятий“ мир бесповоротно принят акмеизмом во всей совокупности красот и безобразий… Искусство есть прочность. Символизм принципиально пренебрегает этими законами искусства. Символисты старались использовать текучесть слова, усиливая ее всеми мерами и тем самым нарушили царственную прерогативу искусства — быть спокойным во всех положениях…»

Гумилев тут же, помнится мне, приводил переведенные им строки Теофиля Готье{36}:

Созданье тем прекрасней,
Чем взятый матерьял
Бесстрастней, —
Стих, мрамор иль металл!

Замечу к слову, что Готье был для него идеалом поэта. В девятом выпуске «Аполлона» за 1911 год он поместил восторженную статью о французском парнасце, которого усердно переводил.

Гумилев настолько восхищался французским Учителем, что хотел быть похожим на него и недостатками. Готье не понимал музыки. Не раз говорил мне Николай Степанович не без гордости, что и для него симфонический оркестр не больше как «неприятный шум».

Для «Аполлона» его мысли, прочь от туманной символики, не явились новостью. Первым высказал их несколькими годами раньше, хотя обращался не столько к поэтам, сколько к прозаикам, один из ближайших ко мне аполлоновцев — М. А. Кузмин. В 1910 году в «Аполлоне» появилась его статья, озаглавленная «О прекрасной ясности». Она звучит и теперь, через полвека без малого, что была написана как наставление, к которому следовало бы прислушаться многим из русских авторов и в наши дни. «Оглядываясь, мы видим, — говорит Кузмин, — что периоды творчества, стремящегося к ясности, неколебимо стоят, словно маяки, идущие к одной цели, и напор разрушительного прибоя придает только новую глянцевитость вечным камням и приносит новые драгоценности в сокровищницу, которую сам пытался низвергнуть. Есть художники, несущие людям хаос, недоумевающий ужас и расщепленность своего духа, и есть

другие, дающие миру свою стройность. Нет особенной надобности говорить, насколько вторые при равенстве таланта выше и целительнее первых…»

Самым парадоксальным из основоположников акмеизма был Осип Мандельштам; он изменил ему в конце творческой жизни для поэзии, менее всего созвучной кузминскому «кларизму», но еще в 22-м году, следуя за Гумилевым, написал статью «О природе слова»[21], в которой подымает на смех речевые неясности поэтической символики и мистики. Вот эта злая характеристика «литургического слова» символистов: «Все преходящее есть только подобие. Возьмем, к примеру, розу и солнце, голубку и девушку. Ничего настоящего, подлинного. Страшный контрданс „соответствий“, кивающих друг на друга. Вечное подмигивание. Ни одного ясного слова, только намеки, недоговаривания. Роза кивает на девушку, девушка на розу. Никто не хочет быть самим собой… Жорж Данден открыл на старости лет, что он говорил всю жизнь прозой. Русские символисты открыли такую же прозу, изначальную, образную природу слова. Они запечатали все слова, все образы, предназначив их исключительно для литургического употребления. Получилось крайне неудобно — ни пройти, ни встать, ни сесть. На столе нельзя обедать, потому что это не просто стол. Нельзя зажечь огня, потому что это может значить такое, что сам потом не рад будешь. Человек больше не хозяин у себя дома. Ему приходится жить не то в церкви, не то в священной роще друидов, хозяйскому глазу человека не на чем отдохнуть, не на чем успокоиться. Вся утварь взбунтовалась. Метла просится на шабаш, печной горшок не хочет больше варить, а требует себе абсолютного значения (как будто варить не абсолютное значение)…»

Все это очень близко к тому, что проповедовал Гумилев на собраниях «Цеха поэтов». Они возникли вскоре после того, как начал издаваться «Аполлон» (в конце 1909 года){37} и устраивались Гумилевым и Городецким то у них на дому, то у Михаила Леонидовича Лозинского, секретаря «Аполлона» (после ухода Зноско-Боровского), прекрасного поэта, переводчика Данте, незаменимого помощника моего в журнальной работе, то — еще где-то, и носили характер тесных кружковых сборищ. Если память не изменяет мне, в их первоначальный состав входило человек двенадцать. Кроме самого Гумилева и Городецкого, «синдиков», Дм. В. Кузьмин-Караваев (умерший два года тому о. Дмитрий, еще в России он перешел в католицизм и принял сан священника; он считался в «цехе» казначеем), его жена, урожденная Пиленко, Елизавета Юрьевна (в эмиграции ставшая матерью Марией и

мученически погибшая в Германии), Анна Ахматова, М. Л. Лозинский, гр. В. А. Комаровский, Василий Гиппиус (автор замечательной работы о Гоголе), Пяст, М. Л. Моравская, Нарбут, Зенкевич, Осип Мандельштам и, несколько позже, Георгий Иванов. Никаких особых докладов на этих собраниях не читалось. Все ограничивалось чтением стихов и критическим разбором, причем Гумилев проводил свою «акмеистическую» точку зрения на качество прочитанных строчек. Как главное требование выдвигалась их смысловая ясность, определенность без тумана намекающих слов и двоящихся понятий, столь любезных символистам. Гумилев корил их стиль эпиграммической строкой:

Некто, некогда, нечто, негде узрел…

Журнал Цеха — «Гиперборей» выходил всего два года (1911 и 1912)[{38}]. Вспоминается несколько тонких выпусков, находивших у «цехистов» горячий отклик. Собрания продолжались и после революции, при большевиках, в обновленном составе. Петербургский «Дом искусств» предоставил Гумилеву студию, куда девицы и юноши потекли толпой «учиться писать стихи». Гумилев в качестве верного последователя Валерия Брюсова все больше верил, что работа над стихом, упражнение, технический опыт, словом — ремесло поэзии, восполняет недостаток того, что принято называть вдохновением. Но эта несомненно хорошая школа для самокритики и для выработки стилистических приемов не могла, конечно, заменить того, что дается подсознательным творческим процессом.

О результатах студийной работы после революции я судить не могу. Знаю о ней, и то весьма приблизительно, с чужих слов, со слов одной из бывших «студиек», моей парижской знакомой. По-прежнему молодые поэты читали стихи, которые критически обсуждались, а Гумилев высказывал свое мнение «мэтра». Моя знакомая назвала мне несколько имен из неофитов студии: Ирину Одоевцеву (исключительно одаренную), Н. Оцупа, Н. Берберову, Рождественского, А. Евреинову-Кашину, В. Лурье.

Курьезное совпадение. Тотчас после Февральской, в апреле 1917 года, я уехал из Петербурга в Крым, будучи уверен, что никогда не вернусь, и предоставил журнальное помещение «Аполлона» на Разъезжей улице и мою личную квартиру на Ивановской — со всем, что в них оставалось, в полное распоряжение (через секретаря редакции Лозинского) аполлоновцам. Насколько мне известно, чуть ли не первыми переехали в мою квартиру Ахматова со своим другом — Шилейко, ученым-ассириологом, сотрудником «Аполлона», давно

и безнадежно, как мне казалось, ее любившим. Они въехали, а затем в той же квартире, по возвращении из Лондона (зимой 1918 года), поселился будто бы Гумилев, женившийся перед тем на Энгельгардт. Но молодая чета не прожила в моих комнатах до трагической смерти Николая Степановича. В наступившие голодные и холодные года большевики вселили в бывшую мою квартиру каких-то прачек, которые постепенно сожгли, чтобы не замерзнуть, всю мебель и заодно, на растопку, библиотеку и личный архив (так дымом и ушла прошлая жизнь!).

В какой-то из своих статей (помнится, об Эмиле Верхарне) Георгий Чулков говорит: «Понять поэта значит разгадать его любовь. О совершенстве мастера мы судим по многим признакам, но о значительности его только по одному: любовь, страсть или влюбленность художника предопределяет высоту и глубину его поэтического дара». С этой точки зрения Гумилев — несомненнейший из поэтов нашего века: его сущность — любовь к поэзии, к женщине, к миру, к родине. Он не был мыслителем, не обладал умом, проникающим в глуби стоящих перед человечеством вопросов. Да и жизненный путь свой кончил он действительно слишком рано, никак не принадлежа к гениальным скороспелкам, как Лермонтов, например (с которым, однако, у него много общего — и гордыня, и Minderwärtigkeitskomplex, и любовная мука, и порывание к небу, и предчувствие ранней смерти). Как стихотворец он не был одарен сверх меры: рифмованные строки переходят у него частенько в надуманное рифмотворчество. Но рядом с этим иногда целые стихотворения достигают прелести совершеннейших образцов русской лирики. Одним из таких стихотворений, прочитанных мною недавно[22], я и закончу мои воспоминания о Гумилеве, верном аполлоновце, спутнике моем когда-то в России, — он был предан ей и умер так же, как жил, не изменив ее правде:

С той поры, как я, еще ребенком,
Стоя в церкви, сладко трепетал
Перед профилем девичьим, тонким,
Пел псалмы, молился и мечтал,

И до сей поры, когда во храме
Всемогущей памяти моей
Светят освещенными свечами
Столько губ манящих и очей,

Не знавал я ни такого гнета,
Ни такого сладкого огня,

Словно обо мне ты знаешь что-то,
Что навек сокрыто от меня.

Ты пришла ко мне, как ангел боли,
В блеске необорной красоты,
Ты дала неволю слаще воли,
Смертной скорбью истомила… Ты

Рассказала о своей печали,
Подарила белую сирень,
И зато стихи мои звучали,
Пели о тебе и ночь, и день.

Пусть же сердце бьется, словно птица,
Пусть же смерть ко мне нисходит…
Ах, Сохрани меня, моя царица,
В ослепительных таких цепях.

Сергей Маковский[{39}]
Николай Гумилев по личным воспоминаниям

Наследственность, бытовая среда, эпоха — вот слагаемые, создающие писателя. Но и от многого побочного, более или менее случайного, зависит итог — творческий подвиг писателя; эти биографические «случайности» мы называем обобщенно писательской судьбой. Тут на первом месте — любовь и любви писателя, в особенности — поэта.

Гумилев-поэт — явление многогранное, его поэзия сложна, как вся создавшая ее эпоха, когда многое начиналось в России и многое навсегда кончилось. В Гумилеве было много противоречивости, лучше сказать — двойственности: легкомысленным озорством просвечивает его трагичная неудовлетворенность, рисовкой, подчас цинизмом окрашены нежнейшая лирика и драматические поэмы, и даже воинская его доблесть. И всегда грусть, часто несознательная, подспудная, сквозь иронию, насмешку и бравурную похвальбу, в мажорном ключе — затаенное предчувствие гибели.

По наследству от предков Гумилев не получил ни красоты, ни физической силы, ни цветущего здоровья. Казался почти хилым[{40}]. Может быть, это отчасти и вызвало ставшую его «второй натурой» позу мужественной неколебимости. Держался он навытяжку, поворачивая голову медленно, и ступал твердо, всей ступней, хоть и косолапил слегка; говорил, картавя, не выговаривая ни «л», ни «р», с остановками, словно задерживая слова, чтобы они звучали внушительнее.

Был ростом высок и строен, но лицом некрасив, хотя и не настолько, как рассказала недавно в «На берегах Невы», вспоминая о последних его годах в Петербурге, И. В. Одоевцева, бывшая его ученица. Я-то подружился с ним десятью годами раньше, когда он не стриг волос по-солдатски под гребенку, а тщательно приглаживал густые светло-каштановые пряди. Бровей и тогда почти не было, но чуть прищуренные и косившие серые глаза с длинными светлыми ресницами, видимо, обвораживали женщин, успех у начинающих поэтесс, его учениц, он имел несомненно. Принимал их раза два в неделю в «Аполлоне», в секретарской, рядом с моим редакционным кабинетом, когда отсутствовал М. Л. Лозинский (секретарь редакции); подчас я оказывался невольной преградой для его донжуанской предприимчивости…

Николай Степанович Гумилев — уроженец Кронштадта. Отец его, Степан Алексеевич[41], был военным врачом, служил в Балтийском флоте. Женат два раза. От первого брака осталась дочь Александра, по мужу Сверчкова. У нее была дочь Маруся, а сына ее, Николая, все называли «Колей-маленьким»; был он юношей мечтательным и сумасбродным и отличным наездником (с ним в 1907 году путешествовал Николай Степанович в Африку[42]).

Н. Гумилев — младший сын от второго брака Степана Алексеевича с Анной Ивановной Львовой, происходившей из семьи мелкопоместных дворян Тверской губернии Бежецкого уезда[43]. Старшего брата звали Дмитрием, он женился на Анне Андреевне Фрейганг.

Родовое именьице называлось «Слепнево» (в пятнадцати верстах от города Бежецка), полученное Анной Ивановной и старшей ее сестрой Варварой (в замужестве Лампе) по наследству от отца их, «адмирала торгового флота» в отставке.

По рождении младшего сына, Николая, 16 апреля 1886 года, отец его приобрел особнячок в Царском Селе и перебрался в него с семьей в чине «статского советника». Раннее детство поэта прошло в Царском. Девяти лет он был переведен в петербургскую гимназию Гуревича (1895 г.), а еще через три года, когда семья перебралась на Кавказ, в Тифлис, двенадцатилетнего поэта определили в тифлисскую гимназию; пробыл он в ней шесть лет[44], учился плохо, в семнадцать лет едва добрел до шестого класса. Зато в 1902 году вышло в «Тифлисском листке» его стихотворение — «Я в лес бежал из городов». Помещал он и раньше стихи (правда, слабые) в разных гимназических журнальчиках.

Возвратясь великовозрастным гимназистом в Царское Село (1903 г.), Николай Степанович не без труда окончил Царскосельскую Николаевскую гимназию (1906 г.), где еще директорствовал Иннокентий Анненский, сыгравший такую большую роль в дальнейшей жизни поэта. Получив аттестат зрелости, Гумилев поехал в Париж.

Я не убежден, что Гумилев успел до этого времени сблизиться с Иннокентием Федоровичем как многообещающий поэт, — так удостоверяет Н. Оцуп в своей книге «Современники». Мне кажутся наивно приукрашенными эти «воспоминания»: автору их и было-то в 1903 году всего девять лет от роду[45].

Никогда не слышал я ни от Гумилева, ни от Анненского о давнишней их близости. Неправдоподобным кажется мне, чтобы Анненский, ревниво оберегавший свою музу от слуха «непосвященного» и особенно удрученный тогда службой, своим

«постылым» и «тягостным делом», как он жаловался в письме кому-то из друзей, находил время для ничем еще своего таланта не выразившего гимназиста и, сразу отгадав его дарование, «с вниманием следил за его первыми литературными трудами» и убеждался постепенно, «что он имеет дело с подлинным поэтом». Не миф ли это? Если Иннокентию Федоровичу за эти годы и довелось читать стихи Гумилева, то вряд ли обратил он на них особое внимание. В первый сборник «Путь конквистадоров» Николай Степанович поместил лучшие из своих гимназических строк, но в них никак не чувствуется учебы у Анненского, хоть и сквозят они переводами Бодлэра, Анри де Ренье, Верлэна и др. Впоследствии Гумилев не включал эти «пробы пера» в свои сборники.

Во время первой поездки в Париж Гумилев начал было выпускать русский журнальчик «Сириус», где напечатал несколько своих стихотворений (под псевдонимом), затем он ненадолго съездил в Африку, о которой с детства грезил, в Египет и Судан и, возвратясь в Париж, издал вторую книжку стихов «Романтические цветы» (1907 г.)[{46}]. Лишь два-три стихотворения заслуживают внимания в этой пейзажной по преимуществу лирике, хотя в ней и живет уже будущий поэт «дальних странствий» и любовных приключений — задор его парадоксальных метафор и звон ритмических перебоев, влюбленность в парнасскую словесную живопись и зачарованность Левантом… Иностранных языков Гумилев не знал, но вслед за Валерием Брюсовым, Анненским, Коневским, гр. Василием Комаровским с помощью словаря и подстрочников приобщался к красочной пышности Леконта де Лилля, Эредиа, Бодлэра, Теофиля Готье, прославлял их и переводил ревностно, особенно — последнего (позже выпустил отдельной книжкой «Эмали и камеи», 1914 г.).

Тогда же сочинил он первые рассказы прозой — «Тень от пальмы»; написаны они в 1907 году, первые три — посвящены Анне Андреевне Горенко, его будущей жене (Ахматовой). Ею он увлекался давно, еще гимназистом. Была она тремя годами моложе, родилась на Большом Фонтане, под Одессой. Отец ее был инженер-механик. Ребенком ее отвезли родители в Царское Село (1903 г.) и определили в женскую гимназию, где она и училась до шестнадцати лет, но окончила среднее образование в Фундуклеевской гимназии в Киеве (1907 г.), куда перебралась семья Горенко. В Киеве же поступила Анна Андреевна ненадолго на Высшие Женские Курсы; наконец, в 1907 году переехала с семьей опять на север и поступила на Петербургские литературные курсы Раева.

Так, коротко говорит о своей юности Ахматова в предисловии к избранным своим стихам, вышедшим в 1961 году. Следовательно, в Царском Селе, девочкой, она могла встречать Гумилева после приезда его из тифлисской гимназии, с 1903 до 1906 года. Вероятно, в 1907 году летом Гумилев съездил к Горенко, на берег Черного моря, под Севастополем. Там, близ древнего Херсонеса, обычно проводили Горенко летние месяцы. Тогда-то, вероятно, и стал Николай Степанович подумывать о женитьбе на Анне Андреевне… Однако долго не решался.

Ахматова с молодых лет писала стихи, но из скромности редко кому их показывала. К тому же Гумилев, которого она сразу полюбила («как сорок тысяч сестер», — из ее стихотворения «Гамлет»), не сочувствовал ее писательству, «не женское это дело», — заявлял он (не дело для его жены, во всяком случае: в любви он был эгоистом безусловным). Вероятно, между ними уже тогда началась глухая борьба. Вспоминая одно из еще добрачных свиданий с Гумилевым, Ахматова не удержалась от признания:

Как забуду? Он вышел, шатаясь,
Искривился мучительно рот.
Я сбежала, перил не касаясь,
Я бежала за ним до ворот.

Задыхаясь, я крикнула: «Шутка
Всё что было. Уйдешь, я умру».
Улыбнулся спокойно и жутко
И сказал мне: «Не стой на ветру».

А вот после их последней встречи, пятью годами позже, ставшая знаменитой ахматовская строфа:

Так беспомощно грудь холодела,
Но шаги мои были легки.
Я на правую руку надела
Перчатку с левой руки…

Печататься в серьезных журналах Гумилев жене «не позволял»; после их брака мне стоило много усилий уговорить Анну Ахматову поместить несколько стихотворений в «Аполлоне» (1910).

В 1907 году Николай Степанович уже провозглашал себя, хоть и без особого права, «мэтром», выпустил две книжки стихов и готовил третью и четвертую — «Жемчуга» и «Чужое небо»[{47}].

Многие из более зрелых произведений в этих книгах были хорошо известны «царскосельскому Малларме», Анненскому.

Первое чтение Гумилевым своих «Капитанов», поэмы, навеянной Бодлэром и Анри де Ренье, состоялось при мне. Анненскому понравился буквенный звон этих стихов: звуки разлетающиеся, как брызги морских волн, гремящая инструментальная насыщенность рифмованных строф:

И, взойдя на трепещущий мостик,
Вспоминает покинутый порт,
Отряхая ударами трости
Клочья пены с высоких ботфорт,

Или, бунт на борту обнаружив,
Из-за пояса рвет пистолет,
Так что сыплется золото с кружев,
С розоватых брабантских манжет.

Гумилев был уже тогда «своим человеком» у Анненских и запросто приводил к ним своих друзей и знакомых.

Я познакомился с Гумилевым 1 января 1909 года, на вернисаже петербургской выставки — «Салон 1909 года», устроенной мной в помещении музея Первого кадетского корпуса (бывшего Меншиковского дворца). Гумилев вернулся перед тем из Парижа; проживая вместе с матерью и старшим братом Дмитрием в Царском, он поступил в Петербургский университет (на романо-германское отделение филологического факультета{48}).

Он был в форме: в длинном студенческом сюртуке «в талию», с высоким темно-синим воротником (по моде того времени). Подтянутый, тщательно причесанный (с пробором), совсем не отвечал он обычному еще тогда типу длинноволосого «студиозуса», но не проявлял и пошловатости «белоподкладочника». Он был нарядно независим в движениях, в манере подавать руку.

С Гумилевым сразу разговорились мы о поэзии и о проекте нового литературного журнала; от многих писателей уже слышал он о моем намерении «продолжить» дягилевский «Мир Искусства». Тут же поднес он мне свои «Романтические цветы» и предложил повести к Иннокентию Анненскому. Возлагая большие надежды на помощь Анненского писательской молодежи, Гумилев отзывался восторженно об авторе «Тихих песен» (о котором, каюсь, я почти еще ничего не знал).

Гумилев стал ежедневно заходить и нравился мне все больше. Нравилась мне его спокойная горделивость, нежелание

откровенничать с первым встречным, чувство достоинства, которого, надо сказать, часто недостает русским. Нас сближало, несмотря на разницу лет, общее увлечение французами-новаторами и вера в русских модернистов. Постепенно Гумилев перезнакомил меня со своими приятелями — Алексеем Толстым (в то время писал только стихи), с Ауслендером, Городецким… Михаила Кузмина я встречал и раньше.

Спустя немного времени, когда улеглась первая выставочная суетня, я поехал, помнится, с целой компанией молодых людей, к тому, которого впоследствии, в «Колчане», Гумилев назвал «последним из царскосельских лебедей», — к Анненскому.

Со времени отставки от директорства Иннокентий Анненский продолжал жить в Царском с семьей в им нанятом двухэтажном, выкрашенном в фисташковый цвет доме с небольшим садом. Первая комната прямо из сеней, просторная проходная гостиная (невысокий потолок, книжные этажерки, угловой диван, высоченные стенные часы с маятником и сипло гремящим каждые пятнадцать минут боем) выдавала свое «казенное» происхождение. В ней посетители задерживались редко, разве какое-нибудь литературное собрание. Направо была узкая темноватая столовая и очень светлый рабочий кабинет Анненского: полка во всю длину комнаты для томиков излюбленных авторов, фотографические учебные группы около бюста Эврипида. Напротив, перед письменным столом, в широкие окна глядели из палисадника тощие березки, кусты сирени и черемухи. Выше, по винтовой лесенке, обширная библиотека Анненского продолжалась в шкафных комнатах, среди которых была одна, «заветная», куда поэт мог уйти от гомона молодых гостей. По крайней мере, так я думал, замечая иногда «исчезновение» Иннокентия Федоровича и его возвращение, такое же внезапное, с лицом задумчиво-отсутствующим.

Анненский стоял в стороне от соревнования литературных школ. Не был ни с Бальмонтом, ни с Валерием Брюсовым в поисках сверхчеловеческого дерзания. Он был символистом в духе французских эстетов, но не поэтом-мистиком, заразившимся от Владимира Соловьева софийной мудростью. В известной мере был он и русским парнасцем, и декадентом, и лириком, близким Фету, Тютчеву, Константину Случевскому и автору «Кому на Руси жить хорошо». Ему пришлось многое поднять на плечи, чтобы уравнять русскую поэзию с «последними словами» Запада.

Анненский оказал мне решающую моральную поддержку в эти первые полгода создавания «Аполлона». Я не хочу преуменьшать и роли Гумилева в этот начальный период журнала. Он не только свел меня с Анненским, но радостно

согласился во всем содействовать моей журнальной затее. Если и возникали между нами несогласия, например, о привлечении Блока в число «ближайших» сотрудников (по предложению Вячеслава Иванова), то Гумилев соглашался и с этим по-товарищески простодушно… Мы стали встречаться почти ежедневно. Завязалась моя дружба и с приятелями Николая Степановича — Алешей Толстым, Ауслендером, Городецким и остальною «молодежью», которой я раньше не встречал. Уже тогда Гумилев над ними главенствовал, держал себя авторитетом в области стихотворного умения, критиком непогрешимым. Мне нравилась его независимость и самоуверенное мужество. Чувствовалась сквозь гумилевскую гордыню необыкновенная его интуиция, быстрота, с какой он схватывал чужую мысль, новое для него разумение, все равно — будь то стилистическая тонкость или научное открытие, о каком прежде он ничего не знал, — тотчас усвоит и обратит в видение упрощенно-яркое и подыщет к нему слова, бьющие в цель, без обиняков.

Я прощал ему его наивную прямолинейность, так же, как и позу, потому что за мальчишеской его «простотой» проступало что-то совсем иного порядка — мука непонятности, одинокости, самоуязвленного сознания своих несовершенств физических и духовных: он был и некрасив, и неспособен к наукам, не обладал памятью, не мог научиться как следует ни одному языку (даже по-русски был малограмотен). И в то же время как страстно хотел он — в жизни, в глазах почитателей, последователей и особенно женщин — быть большим, непобедимым, противоборствующим житейской пошлости, жалким будням «жизни сей», чуть ли не волшебником-чудотворцем. Чувствовалось в нем и сознание долга по отношению к своей стране.

Из всех моих спутников, в эти первые годы «Аполлона», Гумилев был наиболее энергичным и организующим помощником, ничуть не завистливым, благодушно-доброжелательным к «малым сим», хоть и неукоснительно строгим, когда от поблажек автору мог произойти ущерб поэзии. Он был принципиален, настойчиво негибок в восприятии чужого творчества и в воспитании собственной воли, в «победах» над встречавшимися на его пути женщинами и в любви к чему-то несказанному, что для него воплощалось в образе недосягаемо-прекрасной девушки, благословенной молодой колдуньи… И тут, в страстях Гумилева и в его женолюбивом романтизме, начинался другой Гумилев, тот, который оставил глубокий след в своей лирике и лирических драмах и в насыщенной волшебством Востока прозе.

С отрочества, видимо, развил он свою волю к

самоутверждению, к игре в поэта властного, все по-своему познающего, в повелительного почти-чародея. У поэта-чародея не должно было быть ни оседлости, ни удовлетворенной самоограниченности супружеской любви, он «пленяет и покоряет», на все смеет дерзнуть, уходит от жалкой действительности и скитается в странах неведомых, в неоткрытых «Америках», по землям и морям, еще не загрязненным цивилизацией, в мирах первородного Адама, что сродни «нездешней отчизне»; в своем одиноком к ней восхождении он преображает явь чудом своего творчества, покоряя красивых девушек в предчувствии небесных гурий…

Этого Гумилева я почти не знал, когда мы приступали к общей редакционной работе. Лишь после нашумевшей в Петербурге дуэли его с Волошиным, с которым он дружил вначале, открылся мне этот второй его лик. Он еще не был тогда женат на А. А. Горенко; в «Романтических цветах» только намечался его задорно-фантастический эротизм.

Но пафос всепобедной мужественности, доводящей поэта до демонического неистовства, выступал уже в рассказах, написанных после первой «Африки» лирической прозой. Недаром третий сборник его стихов «Жемчуга» (1907–1910) начинается с посвященного Валерию Брюсову стихотворения «Волшебная скрипка»:

> Тот, кто взял её однажды в повелительные руки,
> У того исчез навеки безмятежный свет очей.
> Духи ада любят слушать эти царственные звуки,
> Бродят бешеные волки по дороге скрипачей…

А вот последние строки этого, написанного уже в предвидении смерти, восьмистопного хорея (с женской цезурой после четвертой стопы):

> На, владей волшебной скрипкой, посмотри в глаза чудовищ,
> И погибни славной смертью, страшной смертью скрипача!

Так не только писалось ему смолоду, так хотел он жить! Но в жизни, на самом деле мечтал он не разрушать, а творить, совершенствовать свое искусство и учить, покорять, вызывать к себе поклонение.

Всем нам, однако, самоуверенное тщеславие Гумилева только

помогало в общем сотрудничестве. Себя в большинстве случаев он «плохо слышал», но других умел ценить и наставлять с удивительно тонким беспристрастием. Я понял это и меня не смущало ироническое отношение к нему аполлоновцев. Не удалось и Вячеславу Иванову (только позже оценившему автора «Огненного столпа») убедить меня не поручать ему в «Аполлоне» «Писем о русской поэзии». Будущее доказало мою правоту. Вряд ли кто-нибудь сейчас, полувеком позже, станет оспаривать критическое «шестое чувство» Гумилева. Его промахи были редки. С формальной точки зрения, во всяком случае, прогнозы его оказались верны. Умнейший и самый пронзительный из русских ценителей поэзии, Владислав Ходасевич в своем «Некрополе» так отзывается о его критике: «Он обладал отличным литературным вкусом, несколько поверхностным, но в известном смысле непогрешимым. К стихам подходил формально, но в этой области был и зорок и тонок. В механику стиха он проникал как мало кто».

Тогда, перед выходом первой книжки «Аполлона», выяснилась еще одна задача для дела успешного объединения поэтов. О ее разрешении больше всех заботился Вячеслав Иванов. Он давно мечтал собрания на его «башне» (которые отнимали много времени и становились непосильной обузой для его скромного бюджета) приспособить к какому-нибудь другому литературному очагу. И тут Гумилев со своей «молодежью» очень делу помог. Несмотря на несогласие с Вячеславом Ивановым в отношении целей поэзии и самого стиля российского словотворчества, он принял деятельное участие в создании «Общества ревнителей художественного слова» при «Аполлоне».

В сущности, это общество и создало тот литературный фон, на котором разросся журнал. Учреждение такого общества вовсе не было делом простым в то время — усмирения Столыпиным «первой» революции. Тут пригодились мои связи в бюрократическом мире. Мы отправились втроем в градоначальство: Анненский, Вячеслав Иванов и я. Все было улажено в несколько минут (я хорошо знал тогдашнего градоначальника).

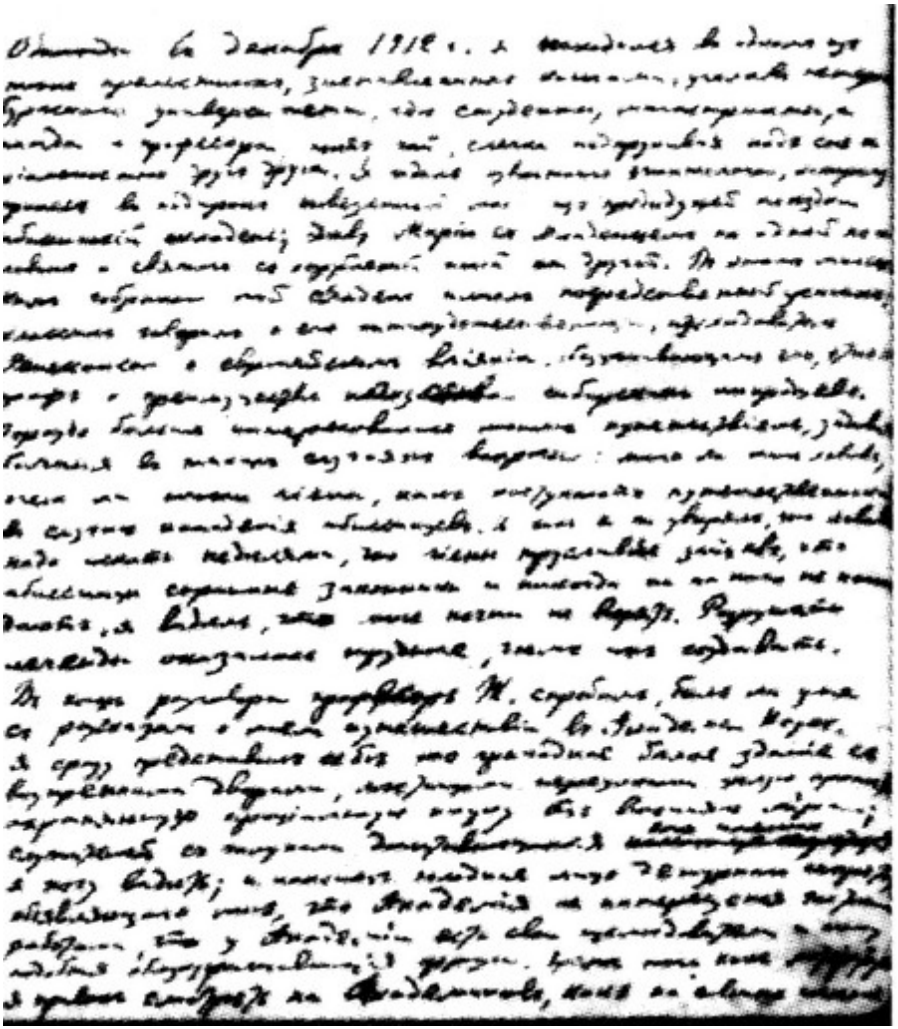
Тотчас начались поэтические собрания Общества уже в редакции «Аполлона», и на них успел выступить несколько раз с блеском Иннокентий Анненский. Тогда же был избран нами, членами-учредителями Общества, возглавляющий комитет из шести писателей. Кроме нас троих вошли в него Блок, Михаил Кузмин и Гумилев (когда Анненского не стало, его заменил профессор Зелинский, а несколько позже к нам присоединился профессор Федор Браун). Все это — без всяких личных заминок,

отчасти благодаря Гумилеву. Общество сразу расцвело.

Тут, кстати, во имя восстановления исторической точности необходимо исправить более чем неточность одного из биографов Гумилева — Глеба Струве. В своей вышедшей в 1952 году книжке, озаглавленной «Неизданный Гумилев», он так излагает учреждение «Общества ревнителей художественного слова»: «По почину Гумилева в Петербурге, под руководством Вячеслава Иванова и при ближайшем участии Н. В. Недоброво и В. А. Чудовского, была организована „Академия стиха“, позднее переименованная в „Общество ревнителей художественного слова“».

Не понимаю, почему понадобилось Глебу Струве (в 1952 году) переиначивать ход событий, еще памятных многим петербуржцам. Ума не приложу. Если для того, чтобы не упоминать имени Анненского и моего, в угоду каким-то соображениям, то проще было совсем не говорить о том, как создалась «Поэтическая академия» при «Аполлоне». Ведь В. Чудовский появился в журнале больше, чем на год позже учреждения Общества, лишь после того, как ушел первоначальный секретарь журнала Е. А. Зноско-Боровский и был заменен М. Л. Лозинским (с которым свел меня тот же Гумилев). Царскосел Н. В. Недоброво, насколько я помню, стал появляться в «Обществе ревнителей» уже после смерти Анненского.

Скажу кстати, что и Струве и Н. Оцуп (хорошо осведомленные о Гумилеве и о самом тесном его участии в «Аполлоне», целых восемь лет!) упоминают лишь вскользь о его сотрудничестве со мной, умалчивая почему-то и об очень существенных событиях в жизни поэта, например — о столкновении его с Максимилианом Волошиным (зимой 1909 года) из-за выдуманной Волошиным «Черубины де Габриак», Дмитриевой (о чем я подробно рассказал в «Портретах современников»).



Автограф Н. С. Гумилева

Весной 1910 года Николай Степанович женился на Анне Андреевне Горенко и увез жену в Париж. В Париже они отдались всей душой музеям города-светоча и французской литературе. Он готовил к печати «Жемчуга»[49]. Осенью 1910 года, на обратном моем пути из Парижа в Петербург, случайно оказались мы в том же международном вагоне. Молодые тоже возвращались из Парижа, делились впечатлениями об оперных и балетных спектаклях Дягилева[50] <…>.

В этот год мы встречались часто. Драма их любви стала развиваться на моих глазах… Женившись, я поселился тоже в Царском, познакомил Ахматову с моей женой, постоянно видел

Гумилевых в эту напряженно-деятельную зиму. Когда Николай Степанович после года приблизительно брачной жизни опять уехал в дальнее странствие{51}, Анна Андреевна как-то зашла к нам, читала стихи. Она еще не печаталась «всерьез» (были помещены ее стихи под псевдонимом лишь в какой-то киевской газете и в парижском «Сириусе»), Гумилев «не позволял»{52}.

Прослушав несколько стихотворений, я тотчас предложил поместить их в «Аполлоне». Она колебалась: «Что скажет Николай Степанович, когда вернется?» Он продолжал быть решительно против ее писательства. Но я настаивал: «Хорошо, беру на себя всю ответственность. Разрешаю вам говорить, что эти строки я попросту выкрал из вашей тетрадки и напечатал самовластно». Так и условились… Стихи Ахматовой, как только появились в «Аполлоне», вызвали столько похвал, что Гумилеву, вернувшемуся из Абиссинии, оставалось только примириться с фактом. Позже он первый восхищался ею, считал ее лучшей своей ученицей.

Только 15 июля 1911 года, в день именин Владимира Дмитриевича Кузьмина-Караваева (женатого на Екатерине Дмитриевне Бушен), в его усадьбе Борисково (по соседству со Слепневым) Гумилев представил свою молодую жену родным и друзьям. У Кузьминых-Караваевых была дочь Екатерина и три сына — Дмитрий (принявший после революции католическое священство), Борис и Михаил. Жена Дмитрия — Елизавета Юрьевна, рожденная Пиленко, художница и поэтесса, автор «Скифских черепков» — высокая, румяная, в полном обаянии своей живой поэтической натуры — была несколькими годами раньше одним из первых увлечений Гумилева, а позже — одной из первых его «цехисток»[23].

Тогда же в Борисково приехали из Слепнева и две дочери А. Д. Кузьмина-Караваева — Мария и Ольга, приходившиеся по матери двоюродными племянницами Гумилеву, знавшие его с детства и с ним на «ты». Обе сестры — прелестные, светловолосые — как бы дополняли друг друга. Маша, спокойная, тихая, цветущей внешности русская красавица, с чудесным цветом лица, и только выступавший по вечерам лихорадочный румянец говорил о ее больных легких. Ольга (ныне княгиня Оболенская) более оживленная, более блестящая, очаровывала всех своим большим и очень красивым голосом.

Приехали в Борисково и соседи Неведомские — Владимир Неведомский, владелец Подобина, со своим братом Николаем и его молодая жена Вера Алексеевна, рожденная Королькова, художница, ученица Д. Н. Кардовского, знаменитая в Петербурге и в Тверской губернии своими удивительными светло-зелеными

глазами и рыжими волосами редкого золотого отлива.

Вместе с тонкой, горбоносой, немного таинственно замкнутой Анной Андреевной какой женский цветник для соблазна влюбчивого Гумилева!

Слепнево никакими деревенскими красотами не отличалось. Скромная усадьба: дом деревянный обычного типа во вкусе бесстильных построек конца прошлого века. Терраса садового фасада выходила на круглую поляну, посреди рос высокий дуб… «Единственного в этом парке дуба…» — писала Ахматова. Старый парк был окружен земляным валом. По боковой стороне его шла дорога. В одном направлении вела она в Борисково Кузьминых-Караваевых, в другом — в Подобино к Неведомским. За дорогой, отдельно от парка огород и фруктовый сад.

Анна Андреевна не слишком пришлась ко двору в провинциальном уюте слепневской усадьбы. Вся уже отдаваясь поэзии, русской и иностранной, и во власти своей только пробудившейся музы, она любила уединяться в березовые рощи и васильковые поля, не принимала участия в «играх», что затевал ее муж. После Черного моря и Днепра и Царского с несравненным дворцовым парком Ахматовой не слишком нравилось великорусское захолустье с ржаными нивами, кузницей рядом, речкой в низких берегах и грибной сыростью чернолесья. Вот как рисует она в том же предисловии к своим избранным стихам пейзаж приютившего ее деревенского уголка: «…Это — не живописное место: распаханные ровными квадратами на холмистой местности поля, мельницы, трясины, осушенные болота, „воротца“, хлеба, хлеба… Там я написала почти всю „Белую стаю“…»[24].

Но хуже было то, что она сразу стала ревновать мужа.

Не щадил он ее самолюбия. Любя и его и его стихи, не умела она мириться с его мужским самоутверждением. Гумилев продолжал вести себя по-холостяцки, не стесняясь присутствия жены. Не прошло и одного брачного года, а он уж с мальчишеским задором увивался за всеми слепневскими девушками.

Ахматова рассказала свою ревность в стихах:

…Рассветает. И над кузницей
Подымается дымок.
А со мной, печальной узницей,
Ты опять побыть не мог.

Для тебя я долю хмурую,
Долю-муку приняла.

Или любишь белокурую,
Или рыжая мила?

Как мне скрыть вас, струны звонкие!
В сердце темный, душный хмель.
А лучи ложатся тонкие
На несмятую постель.

И еще:

…Жгу до зари на окошке свечу
И ни о ком не тоскую,
Но не хочу, не хочу, не хочу
Знать, как целуют другую!

Если в этих стихах есть как будто намек и на Машу Кузьмину-Караваеву, то намек несправедливый: она-то, религиозная и рассудочно-строгая, цветущая на вид, но раненая неизлечимым недугом, менее всего была повинна перед Анной Андреевной. Гумилев относился к Маше с нежностью почти благоговейной, только притворялся повесой. К ней написано, как я узнал от художника Д. Бушена, двоюродного брата Маши, стихотворение «Девушке». Этот «портрет» появился позже в «Чужом небе». Он типичен для поэта начала века, говорившего о любви по-бальмонтовски — «будем, как солнце!» Стараясь всячески играть в героя-покорителя, Гумилев влюбился, однако, в Машу с необычной для него нежностью.

Девушке

Мне не нравится томность
Ваших скрещенных рук,
И спокойная скромность,
И стыдливый испуг.
Героиня романов Тургенева,
Вы надменны, нежны и чисты,
В вас так много безбурно-осеннего
От аллеи, где кружат листы.
Никогда ничему не поверите,
Прежде, чем не сочтете, не смерите,
Никогда никуда не пойдете,
Коль на карте путей не найдете.

И вам чужд тот безумный охотник,
Что, взойдя на нагую скалу,
В пьяном счастье, в тоске безотчетной
Прямо в солнце пускает стрелу{53}.

Совсем по-другому звучат позднейшие стихи, обращенные уже к памяти М. А. Кузьминой-Караваевой[25], — «Родос» (вошли также в «Чужое небо»):

…Наше бремя, тяжелое бремя:
Труд зловещий дала нам судьба,
Чтоб прославить на краткое время,
Нет, не нас, только наши гроба.

В каждом взгляде тоска без просвета,
В каждом вздохе томительный крик, —
Высыхать в глубине кабинета
Перед полными грудами книг.

Мы идем сквозь туманные годы,
Смерти чувствуя веянье роз,
У веков, у пространств, у природы
Отвоевывать древний Родос{54}…

Почему «Родос»? Здесь приоткрывается другой лик Гумилева. Родос — символ ушедших веков, веков веры и рыцарского подвига, это цитадель «посвященных небу сердец», что не стремятся «ни к славе, ни к счастью». Эту вышнюю любовь поэт воспевает, как слияние земли и неба, как видение волшебно-страдальческой красоты.

В одном из последних своих стихотворений «Заблудившийся трамвай» (из «Огненного столпа») Гумилев так вспоминает «Машеньку», ирреалистически смешивая времена и места действия:

…А в переулке забор дощатый,
Дом в три окна и серый газон…
«Остановите, вагоновожатый,
Остановите сейчас вагон!»

Машенька, ты здесь жила и пела,
Мне, жениху, ковер ткала,
Где же теперь твой голос и тело,

Может ли быть, что ты умерла!

Как ты стонала в своей светлице,
Я же с напудренной косой
Шел представляться императрице
И не увиделся вновь с тобой.

И в предпоследней строфе:

Верной твердынею православья
Врезан Исаакий в вышине,
Там отслужу молебен о здравье
Машеньки и панихиду по мне…

Мне кажется, что Машу находим мы и в Деве-Птице (написана тогда же, в 1917 году, когда Гумилев увлекался фольклором Бретани):

…И вдруг за ветвями
Послышался голос, как будто не птичий,
Он видит птицу, как пламя,
С головкой милой, девичьей…

Но в образе этой птицы поэт видит не только обреченную на раннюю смерть Машу, а также и других «райских птиц», в которых преображал он девушек, вызывавших в нем сладостное мечтание и предчувствие рока. Уже свои «Романтические цветы» начинает он с «Баллады», похожей романтическим своим подъемом на предсмертную «Деву-Птицу»:

Пять коней подарил мне мой друг Люцифер
И одно золотое с рубином кольцо,
Чтобы мог я спускаться в глубины пещер
И увидеть небес золотое лицо.
……
Там на высях сознанья — безумье и снег,
Но коней я ударил свистящим бичом,
И на выси сознанья направил их бег
И увидел там деву с печальным лицом…

В этой «деве» мерещится и тогдашняя невеста его Анна

Андреевна Горенко. И о своей последней парижской несчастной любви говорит он так же, как о трепещущей «птице райской» («К Синей звезде»):

И умер я… и видел пламя
Невиданное никогда,
Пред ослепленными глазами
Светилась синяя звезда.
……
И вдруг из глуби осиянной
Вошел обратно мир земной,
Ты птицей раненой нежданно
Затрепетала предо мной…

Но тогда (первый год в Царском и в Слепневе) жене своей он отвечает на жалобы насмешливо-весело, называя ее «птицей подбитой»:

Из логова змиева,
Из города Киева
Я взял не жену, а колдунью.
Я думал забавницу,
Гадал — своенравницу,
Веселую птицу-певунью.
……
Молчит — только ежится
И всё ей неможется.
Мне жалко ее, виноватую,
Как птицу подбитую,
Березу подрытую,
Над участью, Богом заклятою.

Ей же, однако, поздней, посвятил он совсем другие строфы. Портрет «Она» мог быть написан только с Ахматовой:

Я знаю женщину: молчанье,
Усталость горькая от слов,
Живет в таинственном мерцаньи
Ее расширенных зрачков.

Неслышный и неторопливый,
Так странно плавен шаг ее,
Назвать ее нельзя красивой,

Но в ней всё счастие мое…

Трещина в их любви обозначилась с первого года брака. Они были слишком «разные». В плане поэтическом, может быть, только дополняли друг друга, но в жизни… С отрочества Гумилев мнил себя «конквистадором». После поездки в Африку пышным цветом расцвели его экзотические восторги, и так хотелось ему увлечь жену мечтой о далеком волшебстве мира, о красоте пустынь под небом южного полушария с созвездием Креста и о первобытном человеке, божественно-сильном, неистертом так называемой цивилизацией, живущем в согласии с природой и ее тайнами. От Анны Андреевны он требовал поклонения себе и покорности, не допуская мысли, что она существо самостоятельное и равноправное. Любил ее, но не сумел понять. Она была мнительно-горда и умна, умнее его; не смешивала личной жизни с поэтическим бредом. При внешней хрупкости была сильна волей, здравым смыслом и трудолюбием. Коса нашла на камень. Возвратясь из Слепнева в Царское, он только и мечтал умчаться поскорее в новое «странствие» и, не долго думая, исчез опять на несколько месяцев в Абиссинию. Вернулся с почти готовым к печати сборником «Чужое небо».

Тогда, после этого второго путешествия, впервые попал я к нему в царскосельский дом, где жили его мать, Анна Ивановна, и другие Гумилевы в верхнем этаже. Молодые занимали четыре комнаты — в нижнем. Чтобы попасть на их половину, надо было пройти довольно большую пустынную гостиную (с окнами на улицу и на двор), где никто не засиживался. Первая комната, библиотека Гумилева, была полна книг, стоящих на полках и всюду набросанных. Тут же — широкий диван, на котором он спал. Рядом в темно-синей комнате стояла кушетка Ахматовой. В третьей, выходившей окнами во двор, висели полотна Александры Экстер, подарки ее Гумилеву. В этой комнате стояла мебель стиль-модерн, в остальных — старосветская мебель красного дерева, а вовсе не карельской березы, как вспоминает Г. Месняев в «Возрождении» № 119. Четвертая комната, окнами тоже во двор, служила Гумилеву рабочим кабинетом: мне запомнился поместительный письменный стол и стены, сплошь покрытые «абиссинскими картинами», среди которых были навешаны широкие браслеты слоновой кости.

Гумилев был еще «одержим» впечатлениями от Сахары и подтропического леса; с ребяческой гордостью показывал он свои «трофеи», вывезенные из «колдовской» страны: слоновые клыки, пятнистые шкуры гепардов и картины-иконы на кустарных

тканях, некое подобие большеголовых романских примитивов. Только и говорил он об опасных охотах, о темнокожих колдунах, о крокодилах и бегемотах — там, в Африке, доисторической родине человечества, что висит «исполинской грушей» на дереве древней Евразии.

Анну Андреевну не очень увлекала эта экзотическая бутафория. На жизнь она смотрела проще и глубже. К тому же во время отсутствия мужа она сама выработалась в поэта вдохновенно-законченного, хоть и по-женски ограниченного собой, своею болью. Гумилев должен был признать право ее на звание поэта, но продолжал раздражаться все больше ее равнодушием к его конквистадорству. Никакой блеск собственных его рифм и метафор не помог убедить ее, что нельзя вить семейное гнездо, когда на очереди высокие поэтические задачи. Помощница нужна ему, нужен оруженосец, спутник верный, любовь самоотреченная нужна, а не женская, ревнивая, к себе самой обращенная воля. Что делать? Он даже готов покаяться, обуздать свой нрав, только бы чувствовать ее частью самого себя, воплощенной грезой своей… Но она безучастна, хотя еще любит его — чужда ему и завоеванной им славе. Стоя у догорающего камина и рассказывая о своих африканских приключениях, он горько сознает это:

…Древний я открыл храм из-под песка,
Именем моим названа река.
И в стране озер семь больших племен
Слушались меня, чтили мой закон.
Но теперь я слаб, как во власти сна,
И больна душа, тягостно больна.
Я узнал, узнал, что такое страх,
Заключенный здесь, в четырех стенах,
Даже блеск ружья, даже плеск волны
Эту цепь порвать ныне не вольны.
И тая в глазах злое торжество,
Женщина в углу слушала его.

Не помню, чтобы в это время он кем-нибудь сильно увлекался. Это были годы неистовой богемы в Петербурге, литературной кружковщины, борьбы поэтических направлений, возникновения всяких крайностей и пряностей и в живописи, и в театре, и в поэзии. Оглушительно трубили в свои рекламные трубы футуристы и кубофутуристы, «бубновые валеты» и «ослиные хвосты» и пр. Всюду можно было встретить Гумилевых, вместе и в одиночку, на маскарадных вечерах и в кабачках,

особенно — в «Бродячей собаке» Пронина. В эту пору многие из бывавших в «Аполлоне» увлекались Ахматовой, уже знаменитостью, но не заметил я, чтобы она серьезно кем-нибудь увлеклась, как случилось позже… Анна Андреевна признавалась, что в угаре кабачка «Бродячей собаки» ей бывало приятно, с жалостью о нем вспоминает и в своей недавно опубликованной «Поэме без героя». Однако это ночное «веселье» не упрочило ее близости с мужем, связь могла разорваться от первого «случая».

Зимой того же (1912)[55] года родился у них сын, крещен Львом. Тяжелые роды прошли ночью в одной из петербургских клиник. Был ли доволен Гумилев этим «прибавлением семейства»? От его троюродного брата Д. В. Кузьмина-Караваева (в священстве отца Дмитрия) я слышал довольно жуткий рассказ об этой ночи. Будто бы Гумилев, настаивая на своем презрении к «брачным узам», кутил до утра с троюродным братом, шатаясь по разным веселым учреждениям, ни разу не справился о жене по телефону, пил в обществе каких-то девиц. По словам отца Дмитрия, все это имело вид неумно-самолюбивой позы, было желанием не быть, «как все»…

После родов Анна Андреевна стала готовить к печати «Белую стаю»[56] и вновь уединилась, а он выхлопотал себе командировку от Академии наук — возглавляющим этнографическую экспедицию на Сомали. Но оставаться долго без влюбленности Гумилев не мог, и «случай» послал ему опять несчастливую любовь, девушку не менее красивую и умственно-яркую, чем прежние любви, — Татьяну Александровну А.[57] Не берусь утверждать, что увлечение было взаимно… Во всяком случае опять, в третий раз, через Париж и Марсель Гумилев отправился в африканское странствие.

«1913 год был решающим в судьбе Гумилева и Ахматовой, — говорит Н. Оцуп в своей книге „Литературные очерки“, — она пережила сильное чувство к знаменитому современнику с коротким звонким именем». Это тоже вымысел. «Аполлон» не мог бы не знать, если бы что-нибудь подобное было. Ахматова только один раз зашла к Блоку по делу и об этом свидании написала стихи. Если в этот «решающий год» увлекалась кем-нибудь, то не «современником с коротким звонким именем». Она расставалась с мужем покорно и скорбно.

Вдали от жены и сына в это путешествие, окончившееся для него неблагополучно, малярией, Гумилев как будто стосковался по жизни «дома» и не без волнения поспешил в Слепнево. Но тут определенно выяснилось, что разрыв наступил. В одном из наиболее ярких своих стихотворений — «Пятистопные ямбы» («Колчан») он так признается в своей печали от разрыва с женой:

Ты, для кого искал я на Леванте
Нетленный пурпур королевских мантий,
Я проиграл тебя, как Дамаянти
Когда-то проиграл безумный Наль.
Взлетели кости, звонкие, как сталь,
Упали кости — и была печаль.

Сказала ты, задумчиво и строго:
«Я верила, любила слишком много,
А ухожу не веря, не любя,
И пред лицом Всевидящего Бога,
Быть может, самое себя губя,
Навек я отрекаюсь от тебя».

Твоих волос не смел поцеловать я,
Ни даже сжать холодных, тонких рук.
И сам себе был гадок, как паук,
Меня путал и мучил каждый звук,
И ты ушла в простом и темном платье,
Похожая на древнее распятье.

Наступило лето 1914 года. Война. Большинство аполлоновцев были мобилизованы, но почти все призванные, надев военную форму, продолжали работать по-прежнему, как-то «устраивались» в тылу. Один Гумилев, имевший все права, как «белобилетник», не быть мобилизованным, решил во что бы то ни стало идти на войну. Он поступил вольноопределяющимся в Ее Величества лейб-гвардии уланский полк.

Не раз встречался я с ним летом 1915 и 1916 годов, когда он приезжал с фронта в отпуск, гордясь двумя солдатскими «Георгиями» (золотой, 4-й степени) за отличие в боях. Он бывал в «Аполлоне», завтракал у меня, писал очередные «Письма о русской поэзии», посетил Слепнево, где подрастал Левушка.

В 1915 году — новое увлечение аполлоновцев, под влиянием Гордона Крэга, выписанного Художественным театром для постановки «Гамлета». Вместе с Сазоновым, режиссером и артистом Александрийского театра, и его женой, Ю. Л. Сазоновой-Слонимской, я затеял кукольный театрик для тесного круга друзей. Большой двусветный зал в своем особняке на Английской набережной отдал нам на некоторое время дружившим со мной Ф. Гауш, художник-пейзажист. Решено было для начала поставить пьесу собственного изделия, поручив дело приятелю моему Фоме Гартману, небезызвестному композитору

балета «Аленький цветочек». Обращаться с куклами «на нитках» никто из нас не умел, привлечен был специалист-кукольник, крестьянин, в семье которого сохранилась традиция этого театрального фольклора.

Спектакль прошел с успехом. На премьере собрался художественный «весь Петербург». Подготовлялась постановка новой пьесы. Мы мечтали о гётевском «Фаусте», которым прославился кукольный театр в Дрездене, а пока что сочинить пьесу для второго спектакля я попросил Гумилева, давно грезившего о своем «театре». Он взялся за дело с большим воодушевлением и в несколько недель состряпал марионеточную драму — «Дитя Аллаха». Для музыкального сопровождения я пригласил начинающего композитора, москвича А. Лурье. Но дело, из-за ухудшения военной обстановки, на этом и застряло. Все же «Дитя Аллаха» было напечатано в «Аполлоне». Пьеса Гумилева, по совести говоря, мне не слишком нравилась. Она малосценична, разговоров больше, чем действия, но некоторые пассажи забавно-остроумны и лирически ярки.

До того Гумилев уже испробовал свои силы драматурга в короткой мифологической трагедии, которую критика не заметила — «Актеон». Глеб Струве заявил, что «Актеон» никогда не был напечатан. Между тем я имел в руках третий выпуск «Гиперборея»{58}, целиком посвященный гумилевскому «Актеону» (издание «Цеха», 1915 г.). Мало того, эту поэму-трагедию, написанную под влиянием Иннокентия Анненского, я считаю большей удачей Гумилева, чем позднейшие лирические его трагедии: «Гондла» и «Отравленная туника».

Во время второго отпуска, после того, как он был произведен за отличие в боях в унтер-офицеры, Николай Степанович получил разрешение сдать экзамены на офицерский чин. Вскоре он был переведен из улан в Александрийские Ее Величества гусары прапорщиком. Новая форма ему нравилась, напоминала о царскосельском Пушкине. Весной того же года, в мае, получил он, по своему желанию, командировку от Временного правительства в русский экспедиционный корпус на Салоникский фронт. Путь лежал через Финляндию, Норвегию, Лондон, Париж, Марсель и т. д. Но с 17 февраля 1917 года изменилось многое не только в России. Союзники отказались от наступления в Эгейском море, и Гумилев, приехав из Лондона в Париж, был оставлен в распоряжении генерала Занкевича. Гумилеву было предложено принять другое назначение. Он избрал «месопотамский», или «персидский» фронт. Чтобы получить транзитные визы, надо было вернуться в Лондон за инструкциями от военного начальства. Но в Париже он завяз… опять из-за несчастной любви! О ней

рассказано им очень пламенно в стихах «К Синей звезде» (впоследствии эти стихи вошли частью в «Шатер», частью в «Огненный столп»).

Целую зиму, забыв все на свете, он старался пленить красивую русскую девушку из дворянской семьи, рассказывая ей и стихами и прозой о своих дальних странствиях и подвигах. Но и парижская «райская птица» оказалась рассудочно-осторожной. Предложение его она отвергла и предпочла бедному поэту статного, красивого и «вовсе обыкновенного» американца с достатком, за которого и вышла замуж. Действительность снова «одёрнула» поэта, Дон-Кихот не обрел Дульцинеи… Упорствуя, писал он ей одно объяснение в любви за другим, хотел верить чуду. И все-таки пришлось сдаться.

Грезя о неземном блаженстве, Гумилев говорит о своей страсти «без меры», что «печальней смерти, пьяней вина». Любовь стала для него «безумием», «дивной мудростью», и, обращаясь к этой девушке «с огромными глазами» и «с искусными речами», говорит он о вечном союзе с ней, соединяющем землю и ад и Божье небо:

Если ты могла явиться мне
Молнией слепительной Господней,
И отныне я горю в огне,
Вставши для небес из преисподней.

(Отсюда и заглавие последнего сборника «Огненный столп».)

Независимо даже от силы его чувства к «Синей звезде» эта неудача была для него не только любовным поражением, она связывалась с его предчувствием близкой и страшной смерти:

Да, я знаю, я вам не пара,
Я пришел из другой страны…
И умру я не на постели,
При нотариусе и враче,
А в какой-нибудь дикой щели,
Утонувшей в густом плюще…

Все же не надо преувеличивать значения «несчастной» парижской страсти Гумилева. Стихи «К Синей звезде» искренни и отражают подлинную муку, однако остаются «стихами поэта», и неосторожно было бы приравнивать их к трагической исповеди. Любовная неудача больно ущемила его самолюбие, но как поэт, как литератор прежде всего, он не мог не воспользоваться

горьким опытом, дабы подстегнуть вдохновение и выразить в гиперболических признаниях не только свое горе, но горе всех любивших неразделенной любовью. С точки зрения формальной стихи «К Синей звезде» часто небезупречны, неудавшихся строк много. Но в каждом есть такие строки, что останутся в русской лирике.

Нежность и безысходная грусть, с легкой усмешкой по своему адресу, переходит то и дело в трагическое вещание. И трагизм этой любви — не в ней самой, а в том, что она неразлучна с мыслью о смерти. К смерти возвращается поэт со зловещим постоянством. Каждый день его «как мертвец спокойный»; он искупает «вольной смертью» свое «ослепительное дерзновение»; он скорбит «смертной скорбью»; он принимает одно «не споря» — «тихий, тихий золотой покой да двенадцать тысяч футов моря» над своей «пробитой головой»; он добавляет в другом стихотворении:

> И не узнаешь никогда ты,
> Чтоб в сердце не вошла тревога,
> В какой болотине проклятой
> Моя окончилась дорога.

И врывается в эту тему страшной смерти (невольно мерещится: предчувствие!) другая тема — тема возникающей из света райски-прекрасной, но раненой птицы. Может быть, не все почитатели Гумилева прочли внимательно одно из последних его стихотворений «Дева-Птица» — та, что среди строф «К Синей звезде» появилась «из глубины осиянной». Тут родина ее определенно названа — долы баснословной Броселианы (т. е. баснословной страны из «Романов круглого стола», точнее — Броселианды), где волшебствовал Мерлин, сын лесной непорочной девы и самого дьявола.

Эта райская раненая птица, «как пламя», — больше чем случайная метафора. В лирике Гумилева она занимает центральное место, вскрывая духовную глубину его; она светится сквозь все его творчество и придает в конце концов мистический смысл его поэзии, на первый взгляд такой внешне-выпуклой, красочно-описательной, подчас и мишурно-блещущей. Чтобы отнестись так или иначе к моему пониманию Гумилева-лирика, необходимо задуматься именно над этим образом.

Очень сложно построена эта запутанная криптограмма в романтично-метерлинковском стиле (под влиянием «Романов круглого стола»). Но в конце концов разгадывание возможно, если сердцем почувствовать Гумилева как лирика-романтика,

влюбленного в свою Музу и ждавшего чуда — всеразрешающей женской любви. Дева-Птица — это его вдохновительница, духовная мать и одновременно — та девушка, к которой он рвется душой, он, «пастух», не узнающий своей Музы, потому что встретил ее, еще «не родившись», как вещий поэт, а только беспечно поющий «песню своих веселий». В долах Броселианды лишь безотчетно подпадает он под ее чары и «что делает — сам не знает», убивая ее поцелуем. Но убитая им птица позовет его из другого, преображенного мира. Она-то и есть гумилевская настоящая Муза; его «поэтическое нутро» ни в чем так не сказалось, как в стихах о любви, приближающей сердце к вечности. Так было с первых «проб пера», с юношеских его песен. Хотя и стал он сразу в оппозицию к символизму, к «Прекрасной Даме» Блока, к волошинской «Царевне Таиах» и к «Царице Сивилле» Вячеслава Иванова, по существу, потусторонний эрос у них общий. Но Гумилев был слишком гордо-самолюбив, чтобы не «грести против течения».

Было, слов нет, много напускного в его повелительной мужественности, в героической патетике «Жемчугов» и «Шатра», в его отрицании метафизических глубин и «туманной мглы германских лесов». Гумилевская Птица родилась все-таки в мифической Броселианде… Были для него лишь известного рода самозащитой гимны телесной мощи, бесстрашной борьбе с людьми и стихиями, гимны радостной отваге. На самом деле физически слабый и предчувствовавший раннюю смерть поэт, с отрочества падкий на волшебства Денницы, но с совестью религиозной, оглядывающейся на Христа, поэт с упорной волей, но жалостливый и нежный, как Мерлин из Броселианды, — мечтал об одном, о вечном союзе со своей Вивианой…

Не буду перечислять стихотворений, где упорно повторяется тот же образ, тот же символ из «святая святых» встревоженной души поэта, те же зовы к любви недостижимой, те же предчувствия безвременной смерти, та же печаль, переходящая в Отчаяние (это слово он пишет с прописной буквы), печаль броселиандского «Пастуха», убившего поцелуем Деву, за что «злая судьба» не даст ему наслаждения, а «шестой конь», подаренный Люцифером, унесет во тьму, в смерть.

В Лондоне в начале мая, представившись военному начальству, Гумилев навещал своего друга Н. Б. Анрепа, покупал игрушки Левушке, хлопотал о транзитных визах в Россию, приводил в порядок рукописи. Анрепу оставил целый архив. В архиве оказались служебные документы. Георгиевские кресты, готовые к печати стихи «К Синей звезде» и почти законченная

рукопись «Отравленной туники».

Путь в Россию лежал на север — Норвегия, Белое море, Мурманск.

В Царском Селе все как будто оставалось по-прежнему, но Анны Андреевны там уже не было. Приходилось начинать новую жизнь в трудных условиях. Все же тогда энергичному писателю была еще возможность работать с известной независимостью. Гумилев стал сразу зарабатывать, читая литературные лекции в самых разнообразных учреждениях: в Тенишевском училище на Моховой, в Пролеткульте, в Балтфлоте, он возобновил Цех поэтов, куда стала стекаться молодежь. В это время он развелся с Анной Андреевной и женился на Асе, Анне Николаевне Энгельгардт, начинавшей писательнице — румяной, с пушистыми белокурыми волосами и голубыми наивными глазами. Сначала Гумилев поселился в квартире ее родителей (когда они уехали куда-то). Когда родилась у них дочь, Лена, он отослал жену с дочерью к своей матери, Анне Ивановне, в Слепнево, где легче было добывать продукты питания. Затем он переехал на мою бывшую квартиру на Ивановской улице, вероятно, с разрешения М. Л. Лозинского, секретаря «Аполлона», которому я предоставил право распоряжаться ею.

А. Н. Энгельгардт простодушно полюбила Гумилева, во всем подчинялась ему, после рождения дочери ухитрялась приезжать к нему из деревни, посещала изредка «Цех» (но не была на панихиде по нем, на которую пришел весь почти литературный Петербург, в том числе Анна Ахматова). Анне Николаевне посвящен последний сборник стихов Гумилева «Огненный столп».

За эти два петербургских года Гумилев выпустил еще три книги: «Мик», африканская поэма (1918), «Дитя Аллаха», арабская сказка (1918); кроме того, он обработал перевод поэмы «Гильгамеш» (вавилонский эпос) известного ассириолога Бориса Шилейко (1919).

Когда зимой 1920 года жизнь стала невыносимой в квартире на Ивановской от холода, Николаю Степановичу удалось переехать в «Дом Искусств», бывший дом Елисеева, на углу Невского и Мойки, где судьба соединила писателей, литературных и художественных деятелей, многих из состава сотрудников «Аполлона». За время пребывания Гумилева на фронте репутация его как писателя значительно выросла; он не чувствовал себя, вернувшись в русский литературный мир, одиноким. Почти вся группировавшаяся вокруг него в «Апполоне» талантливая молодежь осталась при новой власти привилегированным меньшинством. Многие не связанные политикой сотрудники «Аполлона» могли служить власти, не

вызывая особых подозрений, в то время как большинство сотрудников других журналов примыкали так или иначе к политическим партиям. Большевикам нужны были люди европейски образованные. Этим объясняется, что в «Доме Искусств» оказалось немало аполлонцев или примыкавших к ним художественных деятелей.

В 1921 году только малое меньшинство эмигрировало, рискуя жизнью (в первую очередь — Мережковские и Философов), не допускавшие никаких компромиссов с большевиками.

Гумилев менее всего думал куда-нибудь «бежать», он продолжал упорно свою поэтическую линию, борясь с символистами и всякими «декадентами», вроде Маяковского, Хлебникова и пр.

Выразительней всех и очень колко, по обыкновению, рассказал об этом Владислав Ходасевич в своей книге «Некрополь».

Раньше Ходасевич не был знаком с Гумилевым. Как-то «представился» ему случай, и он получил у него «аудиенцию». Гумилев жил еще в моей квартире, до переселения в «Дом Искусств». «Он меня пригласил к себе, — рассказывает Ходасевич, — встретил так, словно это было свидание двух монархов. В его торжественной учтивости было нечто столь неестественное, что сперва я подумал — не шутит ли он? Пришлось, однако, и мне взять примерно такой же тон: всякий другой был бы фамильярностью… В опустелом, холодном, пропахшем воблою Петербурге, оба голодные, исхудалые, в истрепанных пиджаках и дырявых щиблетах, среди нетопленного и неубранного кабинета сидели мы и беседовали с высокомерною важностью…»

Там же Ходасевич рассказывает об аресте Гумилева 3 августа и о его расстреле 25 августа. С большим волнением прочел я следующую страницу «Некрополя»:

> «В конце лета я стал собираться в деревню на отдых. В среду 3-го августа мне предстояло уехать. Вечером накануне отъезда я пошел проститься кое с кем из соседей по „Дому Искусств“. Уже часов в десять постучался к Гумилеву. Он был дома… Прощаясь, я попросил разрешения принести ему на следующий день кое-какие вещи на сохранение. Когда на утро, в условленный час, я с вещами подошел к дверям Гумилева, мне на стук никто не ответил. В столовой служитель Ефим сообщил мне, что ночью Гумилева арестовали и увели. Итак, я был последним, кто видел

> его на воле… Я пошел к себе и застал там поэтессу Надежду Павлович, общую нашу с Блоком приятельницу. Она только что прибежала от Блока, красная от жары и запухшая от слез. Она сказала мне, что у Блока началась агония. Как водится, я стал утешать ее, обнадеживать. Тогда в последнем отчаянии она подбежала ко мне и, захлебываясь слезами, сказала: „Ничего вы не знаете… никому не говорите… уже несколько дней… он сошел с ума!“ Через несколько дней, когда я был уже в деревне, Андрей Белый известил меня о кончине Блока. 14-го числа, в воскресенье, отслужили мы по нем панихиду…»

Поразительное совпадение! Оба, и Гумилев и Блок, вместе выбыли из строя, исчезли вместе 3 августа, один в застенок (неизвестно, что вынес он во время двухнедельного допроса), другой, Блок, исчез в безумие. В этом одновременном исчезновении — какая жуткая «символика»! Почти всю жизнь Блок и Гумилев враждовали, хоть личной неприязни, на моей памяти, между ними не было; друг друга «не любили», но встречаясь в «Аполлоне», заседая в комнате «Поэтической академии», ни разу ни тот ни другой не проявили открыто этой нелюбви. И после революции они много работали вместе, с трудом добывая пропитание, и в то же время — как были чужды друг другу мыслями, вкусом, мироощущением, отношением к России, всем, что создает писательскую личность! Они были «антиномичны», а русская действительность все время их сталкивала. До последних лет соперничая, может быть и не без взаимной зависти, они в тот же день ушли из жизни. Надо ли говорить, что это соревнование продолжается и после их смерти: русские стихолюбы до сей поры — или «блокисты», или «гумилисты» <…>.

Обложка сборника стихов Н. С. Гумилева.

Если забыть о пресловутом термине «акмеизм», которым Гумилев отстаивал себя, свою писательскую новизну, в борьбе с символистами (особенно с Блоком), если вслушаться в его стихи без предвзятости, то станет очевидным, что многие его строфы близки к модернизму символическому. Недаром высоко чтил он Иннокентия Анненского. Стихи Гумилева из парнасски-агностических, из образных описаний Африки в духе Леконта де Лилля и Эредиа становятся символическими в самом глубоком

смысле, когда выражают волнение любви, или предчувствие иного мира, или отчаяние от сознания бренности земного бытия. Даже сюрреалистом кажется он, если угодно, к концу жизни (последние стихотворения, попавшие в «Колчан», «Костер» и «Огненный столп», как «Фра Беато Анджелико», «Эзбекие», «Шестое чувство», «Заблудившийся трамвай», «Дева-Птица» и др.).

Насколько эти поздние стихи лучше тех, что сочинял Гумилев «дальних странствий», и добавлю — Гумилев трагедий «Гондла» и «Отравленная туника».

Ранняя смерть Николая Степановича — большая потеря для русской поэзии.

> За все печали, радости и бредни,
> Как подобает мужу, заплачу
> Непоправимой гибелью последней —

говорит Гумилев в одном из предсмертных своих стихотворений — «Память». Причины этой гибели до сих пор не вполне еще выяснены. За что был он убит 25 августа 1921 года, после трехнедельного ареста, вместе с другими участниками так называемого «Таганцевского заговора» (между ними — Таганцев, сын директора гимназии, князь Ухтомский, сопровождавший когда-то Николая II в Японию, и ряд других монархически настроенных «заговорщиков»)? Многие в то время мечтали в Петербурге о восстановлении Романовской монархии, не одна возникала контрреволюционная организация, и, конечно, в каждую просачивались провокаторы. Никто не догадывался, что Гумилев состоит в тайном обществе, замышлявшем переворот, хотя Николай Степанович, бывавший всюду, где мог найти слушателей (даже в самых «советских» кругах), не скрывал своих убеждений. Он самоуверенно воображал, что прямота, даже безбоязненная дерзость — лучшая защита от большевистской подозрительности. К тому же он был доверчив, не видел в каждом встречном соглядатая. Вероятно, к нему подослан был советский агент, притворившийся другом, и Гумилев говорил «другу» то, что было говорить смертельно опасно. Веря в свою «звезду», он был неосторожен…

В начале июля 1921 года в Крым отправился поезд красного адмирала Немица, бывшего царского адмирала, человека образованного и обаятельного. Поезд был набит военными, Гумилев выхлопотал право проехать в нем до Севастополя и обратно. В Севастополе допечатывалась последняя его книга стихов «Огненный столп». Деньги на это издание он нашел, по-видимому, у кого-то из крымских моряков.

В поезде Немица атмосфера, вероятно, была ему дружелюбная, полуграмотные «красные» слушали внимательно и сочувственно его «африканские» стихи. Он играл с ними в карты, шутил, много пил. Через неделю как ни в чем не бывало вернулся в Петербург, продолжал свою деятельность лектора, наставителя поэтов… Ночью на 3 августа люди в кожаных куртках куда-то повели его, позволив ему из книг взять с собой Библию и Одиссею. Никто его не видел больше. В конце месяца в «Петроградской Правде» был напечатан список расстрелянных «таганцевцев», с указанием «кто и за что». О Гумилеве сказано было, что он поэт, член правления горьковской «Мировой литературы», беспартийный и бывший военный, участвовал в составлении прокламаций, обещал присоединить к таганцевской организации группу интеллигентов в случае восстания, получал деньги на технические надобности организации.

Вот как заключает свой рассказ о смерти Гумилева и Блока Владислав Ходасевич, бывший тогда в деревне: «В начале сентября мы узнали, что Гумилев убит. Письма из Петербурга шли мрачные, с полунамеками, с умолчаниями. Когда вернулся я в город, там еще не опомнились после этих смертей. В начале 1922 года, когда театр, о котором перед арестом много хлопотал Гумилев, поставил его пьесу „Гондла“, на генеральной репетиции, а потом и на первом представлении публика стала вызывать: — Автора! — Пьесу велели снять с репертуара».

Черубина де Габриак{59}
Исповедь

…В первый раз я увидела Н. С. в июле 1907 года в Париже в мастерской художника Себастьяна Гуревича, который писал мой портрет. Он был еще совсем мальчик, бледное, мрачное лицо, шепелявый говор, в руках он держал небольшую змейку из голубого бисера. Она меня больше всего поразила. Мы говорили о Царском Селе, Н. С. читал стихи (из «Романтических цветов»). Стихи мне очень понравились. Через несколько дней мы опять все втроем были в ночном кафе, я первый раз в моей жизни. Маленькая цветочница продавала большие букеты пушистых гвоздик, Н. С. купил для меня такой букет, а уже поздно ночью мы все втроем ходили вокруг Люксембургского сада, и Н. С. говорил о Пресвятой Деве. Вот и все. Больше я его не видела. Но запомнила, запомнил и он.

Весной уже 1909 года в Петербурге я была в большой компании на какой-то художественной лекции в Академии художеств; был Максимилиан Александрович Волошин, который казался тогда для меня недосягаемым идеалом во всем. Ко мне он был очень мил. На этой лекции меня познакомили с Н. С., но мы вспомнили друг друга. Это был значительный вечер моей жизни. Мы все поехали ужинать в «Вену», мы много говорили с Н. С. — об Африке, почти в полусловах понимая друг друга, обо львах и крокодилах. Я помню, я тогда сказала очень серьезно, потому что я ведь никогда не улыбалась: «Не надо убивать крокодилов». Николай Степанович отвел в сторону М. А. и спросил: «Она всегда так говорит?» — «Да, всегда», — ответил М. А.

Я пишу об этом подробно, потому что эта маленькая глупая фраза повернула ко мне целиком Н. С. Он поехал меня провожать, и тут же сразу мы оба с беспощадной ясностью поняли, что это «встреча», и не нам ей противиться. Это была молодая, звонкая страсть. «Не смущаясь и не кроясь, я смотрю в глаза людей, я нашел себе подругу из породы лебедей», — писал Н. С. в альбоме, подаренном мне.

Мы стали часто встречаться, все дни мы были вместе и друг для друга. Писали стихи, ездили на «Башню» и возвращались на рассвете по просыпающемуся серо-розовому городу. Много раз просил меня Н. С. выйти за него замуж, никогда не соглашалась я на это; в это время я была невестой другого, была связана жалостью к большой, непонятной мне любви. В «будни своей жизни» не хотела я вводить Н. С.

Те минуты, которые я была с ним, я ни о чем не помнила, а потом плакала у себя дома, металась, не знала. Всей моей жизни не покрывал Н. С., и еще: в нем была железная воля, желание даже в ласке подчинить, а во мне было упрямство — желание мучить. Воистину он больше любил меня, чем я его. Он знал, что я не его невеста, видел даже моего жениха. Ревновал. Ломал мне пальцы, а потом плакал и целовал край платья. В мае мы вместе поехали в Коктебель.

Все путешествие туда я помню, как дымно-розовый закат, и мы вместе у окна вагона. Я звала его «Гумми», не любила имени «Николай», а он меня, как зовут дома, «Лиля» — «имя похоже на серебристый колокольчик», — как говорил он.

В Коктебеле все изменилось. Здесь началось то, в чем больше всего виновата я перед Н. С.

Судьбе было угодно свести нас всех троих вместе, его, меня и М. А. — потому что самая большая моя в жизни любовь, самая недосягаемая — это был М. А. Если Н. С. был для меня цветение весны, «мальчик» (мы были ровесники{60}, но он всегда казался мне младше), то М. А. для меня был где-то вдали, кто-то никак не могущий обратить свои взоры на меня, маленькую и молчаливую.

Была одна черта, которую я очень не любила в Н. С., — его неблагожелательное отношение к чужому творчеству; он всегда бранил, над всеми смеялся, — мне хотелось, чтобы он тогда уже был «отважным корсаром», но тогда он еще не был таким.

Он писал тогда «Капитанов»{61}, они посвящались мне. Вместе каждую строчку обдумывали мы. Но он ненавидел М. А., мне это было больно очень, здесь уже неотвратимостью рока встал в самом сердце образ М. А.

То, что девочке казалось чудом, совершилось. Я узнала, что М. А. любит меня, любит уже давно; к нему я рванулась вся, от него я не скрывала ничего. Он мне грустно сказал: «Выбирай сама. Но если ты уйдешь к Гумилеву, я буду тебя презирать». Выбор уже был сделан, но Н. С. все же оставался для меня какой-то благоухающей алой гвоздикой. Мне все казалось: хочу обоих, зачем выбор! Я попросила Н. С. уехать, не сказав ему ничего. Он счел это за каприз, но уехал, а я до осени (сент.) жила лучшие дни моей жизни. Здесь родилась Черубина. Я вернулась совсем закрытая для Н. С., мучила его, смеялась над ним, а он терпел и все просил меня выйти за него замуж. А я собиралась выходить замуж за М. А. Почему я так мучила Н. С.? Почему не отпускала его от себя? Это не жадность была, это была тоже любовь. Во мне есть две души, и одна из них верно любила одного, другая другого.

О, зачем они пришли и ушли в одно время! Наконец Н. С. не

выдержал, любовь ко мне уже стала переходить в ненависть. В «Аполлоне» он остановил меня и сказал: «Я прошу Вас последний раз — выходите за меня замуж». Я сказала: «Нет!» Он побледнел. «Ну, тогда Вы узнаете меня». Это была суббота. В понедельник ко мне пришел Гюнтер и сказал, что Н. С. на «Башне» говорил бог знает что обо мне. Я позвала Н. С. к Лидии Павловне Брюлловой, там же был и Гюнгер. Я спросила Н. С., говорил ли он это. Он повторил мне в лицо. Я вышла из комнаты. Он уже ненавидел меня. Через два дня М. А. ударил его, была дуэль. Через три дня я встретила его на Морской. Мы оба отвернулись друг от друга. Он ненавидел меня всю свою жизнь и бледнел при одном моем имени.

Больше я его никогда не видела.

Я не могла оставаться с М. А. В начале 1910 г. мы расстались, и я не видела его до 1917 г. (или до 1916-го?).

Я не могла остаться с ним, и моя любовь и ему принесла муку.

А мне?! До самой смерти Н. С. я не могла читать его стихов, а если брала книгу — плакала весь день. После смерти стала читать, но и до сих пор больно.

Я была виновата перед ним, но он забыл, отбросил и стал поэтом. Он не был виноват передо мной, очень даже оскорбив меня, он еще любил, но моя жизнь была смята им, — он увел от меня и стихи и любовь…

И вот с тех пор я жила неживой, — шла дальше, падала, причиняла боль, и каждое мое прикосновение было ядом.

Эти две встречи всегда стояли передо мной и заслоняли все: и я не смогла оставаться ни с кем.

Две вещи в мире для меня всегда были самыми святыми: Стихи и Любовь.

И это была плата за боль, причиненную Н. С.: у меня навсегда были отняты и любовь и стихи.

Остались лишь призраки их.

Максимилиан Волошин{62}
Воспоминания о Черубине де Габриак

…Вячеслав Иванов, вероятно, подозревал, что я — автор Черубины, так как говорил мне: «Я очень ценю стихи Черубины. Они талантливы. Но если это — мистификация, то это гениально». Он рассчитывал на то, что «ворона каркнет». Однако я не каркнул. А. Н. Толстой давно говорил мне: «Брось, Макс, это добром не кончится».

Черубина написала Маковскому последнее стихотворение, которое не сохранилось. В нем были строки:

Милый друг, Вы приподняли
Только край моей вуали.

Когда Черубина разоблачила себя, Маковский поехал к ней с визитом и стал уверять, что он уже давно обо всем знал: «Я хотел дать Вам возможность дописать до конца Вашу красивую поэму»… Он подозревал о моем сообщничестве с Лилей и однажды спросил меня об этом, но я, честно глядя ему в глаза, отрекся от всего. Мое отречение было встречено с молчаливой благодарностью.

Неожиданной во всей этой истории явилась моя дуэль с Гумилевым. Он знал Лилю давно, и давно уже предлагал ей помочь напечатать ее стихи, однако о Черубине он не подозревал истины. За год до этого, в 1909 году, летом, будучи в Коктебеле{63} вместе с Лилей, он делал ей предложение.

В то время, когда Лиля разоблачила себя, в редакционных кругах стала расти сплетня.

Лиля обычно бывала в редакции одна, так как жених ее Коля Васильев{64} бывать с ней не мог. Он отбывал воинскую повинность. Никого из мужчин в редакции она не знала. Одному немецкому поэту, Гансу Гюнтеру, который забавлялся оккультизмом, удалось завладеть доверием Лили. Она была в то время в очень нервном, возбужденном состоянии. Очевидно, Гюнтер добился от нее каких-нибудь признаний. Он стал рассказывать, что Гумилев говорит о том, как у них с Лилей в Коктебеле был большой роман. Все это в очень грубых выражениях. Гюнтер также устроил Лиле «очную ставку» с Гумилевым, которому она вынуждена была сказать, что он лжет. Гюнтер же был с Гумилевым на «ты» и, очевидно, на его стороне. Я почувствовал себя ответственным за все это и, с разрешения

Воли, после совета с Леманом{65}, одним из наших общих с Лилей друзей, через два дня стрелялся с Гумилевым.

Мы встретились с ним в мастерской Головина в Мариинском театре во время представления «Фауста». Головин в это время писал портреты поэтов, сотрудников «Аполлона». В этот вечер я позировал. В мастерской было много народу, в том числе — Гумилев. Я решил дать ему пощечину по всем правилам дуэльного искусства, так как Гумилев, большой специалист, сам учил меня в предыдущем году: сильно, кратко и неожиданно.

В огромной мастерской на полу были разостланы декорации к «Орфею». Все были уже в сборе. Гумилев стоял с Блоком на другом конце залы. Шаляпин внизу запел «Заклинание цветов». Я решил дать ему кончить. Когда он кончил, я подошел к Гумилеву, который разговаривал с Толстым, и дал ему пощечину. В первый момент я сам ужасно опешил, а когда опомнился, услышал голос И. Ф. Анненского, который говорил: «Достоевский прав. Звук пощечины — действительно мокрый». Гумилев отшатнулся от меня и сказал: «Ты мне за это ответишь» (мы с ним не были на «ты»). Мне хотелось сказать: «Николай Степанович, это не брудершафт». Но я тут же сообразил, что это не вязалось с правилами дуэльного искусства, и у меня внезапно вырвался вопрос: «Вы поняли?» (то есть: поняли — за что?). Он ответил: «Понял».

На другой день рано утром мы стрелялись за Новой Деревней возле Черной речки если не той самой парой пистолетов, которой стрелялся Пушкин, то во всяком случае современной ему. Была мокрая, грязная весна, и моему секунданту Шервашидзе, который отмеривал нам 15 шагов по кочкам, пришлось очень плохо. Гумилев промахнулся, у меня пистолет дал осечку. Он предложил мне стрелять еще раз. Я выстрелил, боясь, по неумению своему стрелять, попасть в него. Не попал, и на этом наша дуэль окончилась. Секунданты предложили нам подать друг другу руки, но мы отказались{66}.

После этого я встретился с Гумилевым только один раз, случайно, в Крыму, за несколько месяцев до его смерти. Нас представили друг другу, не зная, что мы знакомы; мы подали друг другу руки, но разговаривали недолго: Гумилев торопился уходить.

Иоганнес фон Гюнтер{67}
Под восточным ветром

…И вот я третий раз в Петербурге. Меблированные комнаты «Рига», где я прожил многие месяцы, были в самом лучшем месте Невского проспекта, наискосок от Гостиного двора. Около двенадцати пошел к Кузмину, он жил теперь у Вячеслава Иванова, который уступил ему две комнаты. Мне хотелось многое рассказать Кузмину о минувших пятнадцати месяцах, но немного огорчило то, что он рассказал о новом журнале.

К двум московским журналам — брюсовским «Весам», дышавшим на ладан, и «Золотому руну», которое с трудом держалось после того, как Рябушинский прекратил ему свою помощь, в Петербурге должен был присоединиться еще один, в котором уже работали все мои друзья, — а меня никто не пригласил. Журнал назывался «Аполлон», издавал его писатель, поэт и историк искусства Сергей Маковский, с которым я когда-то спорил о Дионисе и Аполлоне. Значит, Аполлон победил, но без меня. Видимо, в редакции места для меня не было — отдел немецкой литературы был поручен поэту с немецкой фамилией: Виктору Гофману{68}.

Но в тот же день Кузмин извлек меня из моей квартиры и повлек в редакцию, которая находилась в первом этаже старинного особняка XVIII столетия на живописной Мойке, недалеко от квартиры Пушкина, где он и умер. Маковский встретил приветливо и сразу же предложил вступить в «молодую редакцию „Аполлона“». — «А Виктор Гофман?» — «Что же Виктор Гофман? Он сам увидит, что вы самый подходящий для нас человек». И Гофман действительно не возражал. Так я оказался в «молодой редакции „Аполлона“» — «молодой», потому что в России редакторами толстых журналов обычно были седовласые и бородатые господа{69}.

Уважение, почтение и любовь побуждают меня сначала вспомнить об одном из создателей «Аполлона» — Иннокентии Федоровиче Анненском. В долгих разговорах он убедил Маковского в необходимости журнала, который среди разброда различных течений утверждал бы постулаты вневременного и непреходящего искусства. Анненский — тогда ему было уже за пятьдесят — в лучшем смысле слова был душой нашей редакции. Мы все чувствовали себя его учениками.

Я имел счастье ему понравиться. Он прочел рукопись моей пьесы «Маг», и по его желанию она появилась уже в третьем

номере «Аполлона» (декабрь 1909), в переводе Петра Потемкина. После этого, в начале 1910-го, она была поставлена в Киеве и потом много раз на любительских сценах. Насколько Анненский ценил моего «Мага», видно из его посвящения на сборнике стихов: «Магу мага». Лестное стихотворение, которое он мне посвятил, сохранилось, пожалуй, только в моем переводе{70}.

Дружба наша была кратковременной. Я познакомился с ним в первых числах октября, — а уже 30 ноября у него случился разрыв сердца, в Петербурге на царскосельском вокзале, когда он собирался ехать домой. Его смерть была большой потерей для нас. Мы похоронили его в любимом им Царском Селе, священном городе муз юного Пушкина.

Был в редакции еще друг Маковского историк искусств барон Врангель, считавшийся соиздателем «Аполлона». Никто из нас в коротких отношениях с ним не был, хотя он и был очень предупредителен, очень умен и большой знаток искусства. А вот с секретарем редакции мы скоро подружились и даже перешли на «ты», что я делаю неохотно. Из русских друзей я был на «ты» еще только с Кузминым, Гумилевым и Ауслендером. Евгения Александровича Зноско-Боровского я знал как давно уже знаменитого русского шахматиста, но он был еще и большим знатоком театра, обладателем тонкого ума, всегда хорошего настроения и готовности каждому помочь, а также умением принимать скорые и верные решения. Среди нас, помешанных, он был единственным, кто мыслил ясно и реально. Он ушел от нас в 1911 году, когда в Петербурге происходил большой шахматный турнир. Мы все об этом жалели, и о Зноско, несмотря на все писательские интриги, никто не сказал дурного слова.

В первые месяцы мы каждый день собирались в редакции, где, конечно, было много болтовни. Но иногда это нужно: бывало, что в болтовне рождались большие мысли и в работу редакции вносились значительные вклады.

Мы считали себя символистами, мы принадлежали символизму, — но стихи второго поколения символистов представлялись нам уже скучными и ненужными. Символизм с его субъективными оценками весьма реальных понятий казался нам слишком педантичным и не лишенным налета пафоса. Я не собираюсь тут возражать против символотворчества, которое лежит в основе всякой поэзии. Но во многие понятия вкладывалось уж слишком много значения — и из вполне ясных вещей часто поэтому получалось нечто вроде субъективной игры в прятки.

Подобные вопросы мы часто обсуждали с моим другом Михаилом Кузминым — «аббат» был самым старшим в нашей

молодой редакции, где заведовал отделом новой русской прозы и поэтому в теоретических спорах имел право решающего голоса. Наши с ним беседы позже нашли свое отражение в его статье «О прекрасной ясности»{71}, которая и сейчас, через 60 лет, не потеряла своего значения. Без его поэтической честности начавшийся уже тогда распад символизма и возникновение новой школы — акмеизма были бы немыслимы. Теперь это охотно забывается. Но никому, кто ослеплен сегодня именами Гумилева, Анны Ахматовой, Мандельштама, не следовало бы забывать, что они были учениками Кузмина, одни открыто, другие завуалированно.

Энергичнее всех против символизма выступал Гумилев.

Я познакомился с ним в первый же день. Он был предводителем небольшой оппозиции против меня — и, пожалуй, первым, кто меня принял. В первое время мы были неразлучны. В «Аполлоне» он руководил отделом поэзии и должен был читать все присылаемые стихи — это были лавины. У него было множество учеников и последователей — одним из первых был Осип Мандельштам. Великолепный учитель, в совершенстве знавший законы стихосложения, Гумилев оказывал на тогдашнее молодое поколение даже большее влияние, чем Блок. Анненским он восхищался. И почти постоянно был влюблен, пользовался большим успехом у женщин и девушек, хотя вовсе не был хорош собой.

Несмотря на сухость мысли, он был откровенным фантастом. Отсюда, вероятно, проистекала и его страсть к дальним, экзотическим странствиям, — однажды он довольно долго был в Африке, оба раза{72} в опасных бездорожных районах, командуя толпой малонадежных черных носильщиков. Он был насмешником — и убежденным монархистом. Мы часто спорили с ним; я мог еще верить, пожалуй, в просвещенный абсолютизм, но уж никак не в наследственную монархию. Гумилев же стоял за нее, но я и сегодня не мог бы сказать, действительно ли был он сторонником дома Романовых. Может быть, скорее сторонником Рюриковичей, им самим созданного дома Рюриковых. Он был совершенно не модный человек и несомненно чувствовал себя лучше где-нибудь в Эритрее на коне, чем в автомобиле в Париже или в трамвае в Петербурге. Он любил все необыкновенное, что не исключало для него возможности считать себя почти всегда настоящим реалистом. Он был храбрым солдатом и получил два Георгиевских креста за отвагу перед лицом врага. Не потому ли и был он расстрелян коммунистами в 21 году?

Мы с Гумилевым сошлись на отношении к стихам, у нас были одинаковые взгляды на хорошее и плохое в поэзии. Он тогда как

раз перешел от не слишком удачного ученичества у Брюсова к какому-то очень подкупающему классицизму, напоминавшему мастерство французских парнасцев.

Из театральных людей в редакции постоянно бывали Мейерхольд и Евреинов. Два противника. Мейерхольд острил насчет Евреинова — Евреинов ненавидел Мейерхольда. Евреинов, тогда тридцатилетний, был бесспорно гениальным режиссером, но, по-моему, режиссером интимного действия. Он выглядел как олицетворенное самомнение, маленький, злой, желчный, его голос, похожий на хриплое карканье, до сих пор засел в моих ушах. Иногда он меня поражал, — впрочем, как сторонник Мейерхольда, я не выносил его и поэтому и сейчас не могу быть к нему справедливым.

К театральным сотрудникам принадлежал еще симпатичный Андрей Яковлевич Левинсон, несомненно лучший знаток европейского балета. Мы с ним скоро сошлись в восторженном поклонении балерине Тамаре Карсавиной, которую мы обожали, тогда как над ее прославленной соперницей, знаменитой Анной Павловой, несправедливо и глупо подшучивали.

<…>Между прочим, открытие «Аполлона» было отпраздновано в знаменитом петербургском ресторане Кюба. Первую речь об «Аполлоне» и его верховном жреце Маковском произнес Анненский, за ним выступили два известных профессора, четвертым говорил наш милый Гумилев от имени молодых поэтов. Но так как перед этим мы опрокинули больше рюмок, чем следовало, его речь получилась немного бессвязной. После него я должен был приветствовать «Аполлон» от европейских поэтов. Из-за многих рюмок водки, перцовки, коньяка и прочего я решил последовать примеру Эдуарда Шестого и составил одну замысловатую фразу, содержавшую все, что надо было сказать. Я без устали твердил ее про себя и таким образом вышел из положения почти без позора. Я еще помнил, как подошел к Маковскому с бокалом шампанского, чтобы чокнуться с ним, — затем занавес опускается.

Очнулся я на минуту в маленькой комнате, где пили кофе, моя голова доверчиво лежала на плече Алексея Толстого, который, слегка окостенев, собирался умываться из бутылки с бенедиктином. Занавес.

Потом, в шикарном ресторане «Донон», мы сидели в баре и с Вячеславом Ивановым тяжело погрузились в теологический спор. Конец этому нелегкому дню пришел в моей «Риге», где утром Гумилев и я пили черный кофе и сельтерскую, принимая аспирин, чтобы хоть как-нибудь продрать глаза. Конечно, такие сцены были редки. Это был особый случай, когда вся молодая редакция

была коллективно пьяна.

И мы в самом деле были коллективом. Мы часто действовали коллективно. Рукописи, в особенности стихи, зачастую читались коллективно и так же отклонялись. Критика тоже производилась коллективно. И тоже коллективно мы были влюблены в поэтессу Черубину де Габриак. Об этом необходимо рассказать подробнее — потому что, возможно, я один знаю ее подноготную{73} как непосредственный участник и таким образом могу разрешить загадку одной русской литературной истории.

Эта еще и сегодня не совсем забытая история некоторыми была нарисована недостаточно верно, в силу личных причин. Не совсем правильно передал ее в своих воспоминаниях и мой друг Маковский, может быть потому, что ему неприятно было тогдашнее увлечение. К тому же мне кажется, что эта любопытная история очень симптоматична для тех лет, хотя, конечно, такие водевили с переодеваниями, составленные из любви и честолюбия, могут случаться во всякое время. Но те времена, с их возбуждающей постоянной игрой и склонностью к духовному маскараду, создавали благодатную почву для произрастания особенных ядовитых орхидей.

Однажды Маковский получил письмо на элегантной бумаге с траурной каймой, посланное неизвестной дамой, подписавшейся «Черубина де Габриак», к письму были приложены стихи, которые были найдены хорошими. Адрес указан не был. Через некоторое время пришло еще письмо, с еще лучшими стихами, и опять без адреса. Третье письмо. Потом — звонок по телефону: низкий, влекущий женский голос, иногда слегка шепелявящий. И еще письма, телефонные звонки, разговоры — по телефону — по полчаса. Она — испанская аристократка, одинокая, чувствительная, жаждущая жизни, ее духовник — строгий иезуит; мать умерла давно… Маковский влюбился в нее по уши; барон Врангель, Зноско, Ауслендер тоже. Гумилев вздыхал по экзотической красавице и клялся, что покорит ее. Вся редакция горела желанием увидеть это сказочное существо. Ее голос был такой, что проникал прямо в кровь. Где собирались трое, речь заходила только о ней.

Все попытки связаться с ней кончались ничем: она отклоняла все предложения о встрече. Но факт, что она все-таки пользовалась телефоном, выдавал известное стремление высказаться. Все завидовали Маковскому. Были, впрочем, и противники, которые издевались над влюбленной редакцией. Коллективная страсть заразительна: скоро и я вошел в число рыцарей обожаемой Черубины.

Как-то раз после полудня я зашел к Вячеславу Иванову на

Таврическую, где предстояло присутствовать на собрании дамского кружка. Там были Анастасия Николаевна Чеботаревская, жена Федора Сологуба, Любовь Дмитриевна Блок, затем очаровательная художница, писавшая и стихи, Лидия Павловна Брюллова, внучка великого классического художника Брюллова; была и поэтесса Елизавета Ивановна Димитриева, которая делала колкие замечания насчет Черубины де Габриак, говоря, что уж наверно она очень безобразна, иначе давно бы уже показалась ее тающим от восторга почитателям. Казалось, дамы с ней согласны и предложили мне, как аполлоновцу, сказать свое мнение. Но я трусливо уклонился.

Димитриева прочла несколько стихотворений, которые мне показались очень талантливыми. Я сказал ей об этом, а когда Любовь Дмитриевна к тому же сказала, что я хорошо перевел стихи ее мужа и уже много перевел русских стихов, она вдруг стала внимательной ко мне и прочла еще несколько хороших стихотворений. В них было что-то особенное, и я спросил, почему она не пошлет их в «Аполлон». Она ответила, что ее хороший знакомый, господин Волошин, обещал об этом позаботиться. Вскоре я поднялся, чтобы уйти, — одновременно встала и Димитриева. По петербургскому обычаю мне пришлось предложить себя в провожатые.

Она была среднего роста, скорее маленькая, довольно полная, но грациозная и хорошо сложена. Рот был слишком велик, зубы выступали вперед, но губы полные и красивые. Нет, она не была хороша собой, скорее — она была необыкновенной, и флюиды, исходившие от нее, сегодня, вероятно, назвали бы «сексом».

Когда перед ее домом я помогал ей сойти с извозчика и хотел попрощаться, она вдруг сказала, что хотела бы немного пройтись. Ничего не оставалось, как согласиться, и мы пошли куда глаза глядят. Получилась довольно долгая прогулка. Она рассказывала о себе, собственно не знаю, почему. Говорила, что была у Максимилиана Волошина в Коктебеле, в Крыму, долго жила в его уютном доме. Я немного пошутил над антропософической любовью Волошина к Рудольфу Штейнеру, который интересовался больше пожилыми дамами со средствами. Это ее не задело; она рассказала, что летом у Макса познакомилась с Гумилевым. Я насторожился. У нее, значит, было что-то и с Гумилевым, — любвеобильная особа! У меня мелькнула мысль: «А, и теперь вы преследуете своим сарказмом Черубину де Габриак, потому что ваши друзья, Макс и Гумилев, влюбились в эту испанку?»

Она остановилась. Я с удивлением заметил, что она тяжело

дышит. «Сказать вам?» Я молчал. Она схватила меня за руку. «Обещаете, что никому не скажете?» — спросила она, запинаясь. Помолчав, она, дрожа от возбуждения, снова сказала: «Я скажу вам, но вы должны об этом молчать. Обещаете?» — и опять замолчала.

Потом подняла голову. «Я должна вам рассказать… Вы единственный, кому я это говорю…» Она отступила на шаг, решительно подняла голову и почти выдавила: «Я — Черубина де Габриак!» Отпустила мою руку, посмотрела внимательно и повторила, теперь тихо и почти нежно: «Я — Черубина де Габриак».

Безразлично-любезная улыбка на моем лице застыла. Что она сказала? Что она — Черубина де Габриак, в которую влюблены все русские поэты? Она лжет, чтобы придать себе значительности! «Вы не верите? А если я докажу?» Я холодно улыбался. «Вы же знаете, что Черубина каждый день звонит в редакцию и говорит с Сергеем Константиновичем. Завтра я позвоню и спрошу о вас…» Защищаясь, я поднял руку: «Но ведь тогда я должен буду рассказать, что вы мне сейчас сказали…» Она вдруг совсем успокоилась и, подумав, ответила: «Нет, я спрошу о его иностранных сотрудниках, и если он назовет ваше имя… тогда я опишу вас и спрошу, не тот ли это человек, с которым я познакомилась три года тому назад в Германии, в поезде, не сказав ему своего имени».

Я задумался. До чего же находчива! Но солгать стоило. «Лучше скажите, что два года назад, тогда я был в Мюнхене». «Хорошо, два года. Между Мюнхеном и…» «Между Мюнхеном и Штарнбергом». «И если я скажу это Маковскому, вы поверите, что я — Черубина де Габриак?» Она играла смелую игру. Но ведь могло быть, что это вовсе не игра. «Мне придется вам поверить». — «И где мы потом встретимся? Я буду звонить, как всегда, после пяти». — «Хорошо, приходите ко мне к семи…»

На другой день в пять часов в редакции зазвонил телефон. Маковский взволнованно взял трубку. Напряженно прислушиваясь, мы делали вид, что занимаемся своими делами. Потом мне послышалось, что Маковский перечисляет иностранных сотрудников. Значит, правда? Черубина де Габриак — Димитриева? Минут через десять Маковский позвал меня. «Вы никогда мне не говорили, что знакомы с Черубиной де Габриак!» Молодым не трудно лгать. Никогда ее не видел. В поезде между Мюнхеном и Штарнбергом? Ах, Господи, да половина Мюнхена ездит купаться в Штарнберг! Со многими приходилось разговаривать. Черубина де Габриак? Нет, наверное, нет…

Когда, перед семью, я пришел домой, мне открыла горничная

и сказала с лукавой улыбкой: «Барышня уже пришла». Ах, ты, Господи! Еще и это! Какие подозрения возникнут! Я и представить тогда себе не мог, каковы они будут, — потому что Елизавета Ивановна некоторое время посещала меня почти ежедневно. Она не могла наговориться о себе и о своих прелестных стихах, не могла насытиться их чтением… Вскоре я узнал, что все это литературное волшебство Черубины де Габриак выросло не только на ее грядке, что тут действовало целое поэтическое акционерное общество. Но кто же были акционеры?

В каком-то смысле я был обманутым обманщиком. Тем не менее для двадцатитрехлетнего было несравненным наслаждением знать тайну, за разгадкой которой охотился весь Петербург.

В октябре я снова был в Петербурге…

Гумилев вернулся из Абиссинии, по дороге заехал в Париж и на этот раз действительно женился — на подруге юности, как рассказывал Маковский. Он вернулся в Россию из Парижа в одном поезде с молодой парой и не очень был уверен в продолжительности этого брака{74}.

Я встретился с Гумилевым в «Аполлоне». За ним стояла довольно большая группа молодых людей, которых можно было бы назвать его учениками. Самым гениальным из них несомненно был Осип Эмильевич Мандельштам, молодой еврей с исключительно безобразным лицом и крайне одухотворенной головой, которую он постоянно закидывал назад. Он громко и много смеялся и старался держаться подчеркнуто просто, но все равно он был — одна декламация, в особенности когда торжественно выпевал свои стихи, уставившись в неизвестную точку. Он радовался как ребенок, когда замечал, что стихи понравились. Я очень жалею, что, помешанный тогда на театре, не сблизился с Мандельштамом и другими учениками Гумилева.

Оказалось, что это новая школа. К учителю нового движения примкнул и Сергей Городецкий, который со своим фольклором, рожденным мифологией, не мог найти ничего общего с символизмом и стоял в стороне как неприкаянный. Новым поэтам нравился его магический реализм.

Гумилев и Городецкий нашли для своего нового поэтического вдохновения и новое определение — «акмеизм». Название было придумано не очень искусно и давало повод к насмешкам, но оно удержалось. Другое название — «Цех поэтов» было более удачно. То ремесленное, цеховое, что они подчеркнуто выдвигали на первый план, доказывало их серьезное отношение к поэзии, и в этом смысле Гумилев был настоящим цеховым мастером. Иногда я поражался, убеждаясь, как велико было его умение, как глубоки

познания об исходных точках каждого стихотворения, как он умел согласовывать форму и содержание. Друг мой Гумилев, не имевший большого образования, в стихах умел находить малейшие ошибки — и безжалостно выкорчевывал их.

Позже из его учеников наибольшее впечатление на меня произвел Георгий Иванов. Всегда подчеркнуто хорошо одетый, с головой, как камея римского императора, он был воплощением протеста против всякого штукарства в стиле и форме. Его твердая линия в искусстве и склонность Мандельштама к французскому классицизму представлялись мне гарантией дальнейшего процветания русской поэзии.

Умный и ясный дух Кузмина победил, он и был признан всеми как мастер; но он не был достаточно односторонним, чтобы стать вождем всех этих молодых людей. Это качество — неоценимый дар, если хочешь или должен кем-то повелевать. И оно даже не нужно: надо только уверенно и бескомпромиссно играть в односторонность. Гумилев это умел.

Днем мы спорили, проповедовали, провозглашали истины в редакции «Аполлона», — вечером то же продолжалось в «Бродячей собаке», в духе молодого, страстного служения искусству. «Собаку» можно считать местом рождения многих «измов». Сомневаюсь, чтобы в ней родился акмеизм, но без нее он не смог бы так скоро утвердиться. И во всяком случае футуризм и эгофутуризм здесь получили свое крещение.

Игорь Северянин, почти одних лет со мной, — отец эгофутуризма. Собственно, он был Лотаревым, Северянин — псевдоним. Супруги Сологубы с большим треском ввели его в свет. Название его первого томика стихов — «Громокипящий кубок» взято из одного стихотворения Тютчева. Успех Северянина был беспримерный, притом стихи его были лишь смесью элегантного вздора с романтической экзотикой и иногда ужасающими неологизмами. Волна совершенно нерусской истерии несла его с эстрады на эстраду…

Здесь же, в «Бродячей собаке», я увидел Ахматову, когда она уже полгода была замужем за Гумилевым{75}. Он знал, как талантлива была Анна Андреевна — и делал все, чтобы оставить ее в пустыне неизвестности. Вознесенный на высоту, он плохо отзывался о ее стихах, издевался над ними, обижал и оскорблял поэтессу.

Маковский, наш мудрый шеф, между тем тоже женился, хотя и не совсем по правилам. В Москве он познакомился с красивой женой одаренного поэта Ходасевича — и получилась трагедия. Марина ушла от своего поэта и после выполнения некоторых формальностей вышла замуж за нашего Сергея Константиновича.

Маковский переехал в Царское Село; Гумилев тоже жил там в родительском доме. Значит было неизбежно, чтобы молодая жена Гумилева подружилась с женой Маковского. Она показала ей свои стихи, — Марина показала их своему мужу. Он был восхищен и решил напечатать их в «Аполлоне». Анна Ахматова сначала протестовала, но Маковский сказал, что ответственность берет на себя. Так произошло открытие нового поэта — Анны Ахматовой…

Сергей Маковский{76}
Фантастическая дуэль

Как произошла эта в достаточной мере фантастическая литературная дуэль? и по какому поводу?

Вот чему я лично был свидетелем. Ближайшие сотрудники «Аполлона» часто навещали в те дни А. Я. Головина{77} в его декоративной мастерской на самой вышке Мариинского театра. Головин собирался писать большой групповой портрет аполлоновцев: человек десять — двенадцать писателей и художников. Между ними, конечно, должны были фигурировать и Гумилев с Волошиным. Головин еще только присматривался к нам и мысленно рассаживал группой за столом.

Хозяин куда-то вышел. В ожидании его возвращения мы разбрелись попарно в его круглой поместительной «чердачной» мастерской{78}, где ковром лежали на полу очередные декорации, помнится — к «Орфею» Глюка. Я прогуливался с Волошиным, Гумилев шел впереди с кем-то из писателей. Волошин казался взволнованным, не разжимал рта и только посапывал. Вдруг, поравнявшись с Гумилевым, не произнеся ни слова, он размахнулся и изо всей силы ударил его по лицу могучей своей дланью. Сразу побагровела правая щека Гумилева и глаз припух. Он бросился было на обидчика с кулаками. Но его оттащили — не допускать же рукопашной между хилым Николаем Степановичем и таким силачом, как Волошин! Да это и не могло быть ответом на тяжкое оскорбление.

Вызов на поединок произошел тут же. Секретарь редакции Евгений Александрович Зноско-Боровский (известный шахматист) согласился быть секундантом Гумилева.

— Вы недовольны мною? — спросил Волошин, заметив, что меня покоробила грубая расправа его с человеком, который до того считался ему приятелем.

— Вы слишком великолепны физически, Максимилиан Александрович, чтобы наносить удары с такой силой. В этих случаях достаточно ведь символического жеста…

Силач смутился, пробормотал сконфуженно:

— Да, я не соразмерил…

Дуэль состоялась — рано утром за городом, в Новой Деревне, на том же пустыре, где незадолго перед тем дрался с полковником Мясоедовым Александр Иванович Гучков. Нелегко было найти дуэльные пистолеты. Их достали у Бориса Суворина. Это были пистолеты «с историей», с гравированными фамилиями

всех, дравшихся на них раньше. Вторым секундантом Гумилева оказался Кузмин. Секундантами Волошина были А. Толстой и художник князь А. К. Шервашидзе (ученик Головина по декорационной части).

Условия были выработаны мирно настроенными секундантами (совещавшимися очень долго) самые легкие, несмотря на протесты Гумилева: один выстрел с места, на расстоянии двадцати пяти шагов; стрелять по команде (раз — два — три) одновременно.

Вот как описывает эту дуэль один из секундантов Волошина А. Н. Толстой (фельетон в газете «Последние новости», 1921 г.):

> «На рассвете наш автомобиль выехал за город по направлению к Новой Деревне. Дул мокрый, морской ветер, и вдоль дороги свистели и мотались голые вербы. За городом мы нагнали автомобиль противников, застрявший в снегу. Мы позвали дворников с лопатами, и все, общими усилиями, вытащили машину из сугроба. Гумилев, спокойный и серьезный, заложив руки в карманы, следил за нашей работой, стоя в стороне.
>
> Выехав за город, мы оставили на дороге автомобили и пошли на голое поле, где были свалки, занесенные снегом. Противники стояли поодаль. Мы совещались, меня выбрали распорядителем дуэли. Когда я стал отсчитывать шаги, Гумилев, внимательно следивший за мной, просил мне передать, что я шагаю слишком широко… Гумилеву я понес пистолет первому. Он стоял на кочке длинным черным силуэтом, различимый во мгле рассвета. На нем был цилиндр и сюртук, шубу он сбросил на снег. Подбегая к нему, я провалился по пояс в яму с талой водой. Он спокойно выжидал, когда я выберусь, — взял пистолет, и тогда только я заметил, что он не отрываясь, с ледяной ненавистью глядит на В., стоявшего, расставив ноги, без шапки.
>
> Передав второй пистолет В., я по правилам в последний раз предложил мириться. Но Гумилев перебил меня, сказав глухо и недовольно: „Я приехал драться, а не мириться“. Тогда я попросил приготовиться и начал громко считать: „Раз, два“… (Кузмин, не в силах стоять, сел на снег и заслонился цинковым хирургическим ящиком…) „Три!“ — крикнул я. У Гумилева блеснул красноватый свет — и раздался выстрел. Прошло несколько секунд. Второго выстрела не последовало. Тогда Гумилев крикнул с бешенством: „Я

> требую, чтобы этот господин стрелял…“ В. проговорил в волнении: „У меня была осечка“. — „Пускай он стреляет во второй раз, — крикнул опять Гумилев, — я требую этого…“ В. поднял пистолет, и я слышал, как щелкнул курок, но выстрела не было… Я подбежал к нему, выдернул у него из дрожавшей руки пистолет и, уже в снег, выстрелил. Гашеткой мне ободрало палец. Гумилев продолжал неподвижно стоять. „Я требую третьего выстрела“, — упрямо проговорил он. Мы начали совещаться и отказали. Гумилев поднял шубу, перекинул ее через руку и пошел к автомобилям».

На следующее утро в меблированные комнаты на Театральной площади, где проживал кн. Шервашидзе (письмом ко мне подтвердивший в общих чертах этот рассказ А. Толстого), явился квартальный надзиратель. Затем было что-то вроде суда, и присуждено наказание — десятирублевый штраф с каждого из участников.

Много писалось в газетах о поединке «декадентов», с зубоскальством и преувеличениями{79}. Репортеры «желтой прессы» воспользовались поводом для отместки «Аполлону» за дерзости литературного новаторства; всевозможные «вариации» разыгрывались на тему о застрявшей в глубоком снегу калоше одного из дуэлянтов. Не потому ли укрепилось за Волошиным насмешливое прозвище «Вакс Калошин»? Саша Черный писал:

> Боже, что будет с моей популярностью,
> Боже, что будет с моим кошельком?
> Назовет меня Пильский дикой бездарностью,
> А Вакс Калошин — разбитым горшком.

На самом деле завязнувшая в снегу калоша принадлежала секунданту Гумилева Зноско-Боровскому.

От примирения поэты отказались. Я не помню, чтобы и позже они протянули друг другу руки. Встречаясь в редакции или на заседаниях «Поэтической академии», просто не замечали друг друга{80}.

Причина увесистой пощечины Волошина так и осталась неразъясненной. По крайней мере — для меня. Ясно было как будто одно: Волошин счел нравственным долгом своим «проучить» Гумилева за оскорбление женщины, бывавшей у него, Волошина, на его крымской даче в Коктебеле. Но кто была она?

Многие полагали, что она и есть каким-то образом та самая Черубина де Габриак, что будто бы ее Гумилев и обидел…

Волошину все это создавало ореол «рыцаря без страха и упрека».

<…> И вот, всего около полутора лет тому, я узнал еще нечто для меня новое о Е. И. Димитриевой — от ближайшего свидетеля рассказанной мной мистификации. Этот свидетель — тот самый Иоганнес фон Гюнтер, даровитый переводчик русских поэтов на немецкий, о котором я уже упоминал: он вошел в «молодую редакцию» «Аполлона» с первых же дней журнала… Оказывается, обо всей мистификации осведомила его сама Димитриева еще до дуэли Волошина с Гумилевым. Для Гюнтера не оставался тайной и повод к этой дуэли…

За годы эмиграции я потерял Гюнтера из вида, но получив его адрес от семьи Вячеслава Иванова в Риме (у которого он бывал наездами из Баварии, где здравствует до сих пор, продолжая пропагандировать русскую поэзию), я тотчас написал ему, с просьбой сообщить мне все, что он помнит о Черубине. Он ответил длинным письмом, подтвердив во всех подробностях мои личные воспоминания, но с существенными добавлениями… Гюнтер был случайно свидетелем того, как Гумилев, друживший с ним тогда, действительно грубо оскорбил Димитриеву, защищая себя от ее притязаний выйти замуж за него, Гумилева{81}, с которым она была в любовной связи. Роман их начался в Коктебеле у Волошина на даче. Она пожаловалась Максу… Остальное становится понятным. По словам Гюнтера, долго никто в редакции, кроме него, не знал правды о Черубине. Не догадывались ни Гумилев, ни Кузмин, пока Гюнтер не решил, что пора, в интересах журнала, разоблачить эту затянувшуюся интригу. Между прочим, образ Е. И. Димитриевой он рисует так в своем немецком письме:

> «…Она была среднего роста и достаточно полна. Большая голова и лицо бледное и некрасивое. Казалась, однако, очень обаятельной, когда делала шуточные замечания. И делала она их часто и была не только насмешлива, а владела хорошей дозой здорового юмора. В разговоре она бывала очень забавной».

Анна Гумилева{82}
Николай Степанович Гумилев

Далекой младости далекие мечты,
Слетитесь вновь ко мне знакомой вереницей
И разверните вновь страницу за страницей
Забытой повести листы.

Мне приходилось читать в печати кое-какие биографические сведения о моем покойном девере, поэте Н. С. Гумилеве, но, часто находя их неполными, я решила поделиться моими личными воспоминаниями о нем. В моих воспоминаниях я буду называть поэта по имени — Колей, как я его всегда называла.

Будучи замужем за старшим братом поэта, Дмитрием Степановичем, я прожила в семье Гумилевых двенадцать лет. Жила я в дорогой мне семье моего мужа с моей свекровью Анной Ивановной Гумилевой, рожденной Львовой, с золовкой Александрой Степановной Гумилевой, по мужу Сверчковой, с ее детьми Колей и Марией и один год — с деверем, Степаном Яковлевичем Гумилевым.

Мои воспоминания не являются литературным произведением, я просто хочу рассказать все, что знаю о поэте и его семье. Главное, конечно, о нем, о яркой, незаурядной и интересной личности, какой был Н. С. Гумилев.

Впервые я познакомилась с поэтом в 1909 году. Я поехала с моим отцом в Царское Село представиться семье моего жениха{83}. Вышел ко мне молодой человек 22-х лет{84}, высокий, худощавый, очень гибкий, приветливый, с крупными чертами лица, с большими светло-синими, немного косившими глазами, с продолговатым овалом лица, с красивыми шатеновыми гладко причесанными волосами, с чуть-чуть иронической улыбкой, необыкновенно тонкими красивыми белыми руками{85}. Походка у него была мягкая и корпус он держал чуть согнувши вперед. Одет он был элегантно.

От моего жениха я много слышала о Коле, и мне интересно было с ним познакомиться. Я внимательно за ним наблюдала. Он держал себя скромно, но по всему было видно, что этот молодой человек себе на уме. Он был уже принят тогда в «Общество

ревнителей художественного слова» и стал сотрудником журнала «Аполлон»{86}.

Но прежде чем подробно говорить о Н. С. Гумилеве, хочу хотя бы вкратце сказать о его семье. Дедушка поэта, Яков Степанович Гумилев, был уроженец Рязанской губернии, владелец небольшого имения, в котором он и хозяйничал. Скончался он, оставив жену с шестью малолетними детьми. Степан Яковлевич, отец поэта, был старшим сыном в этой многочисленной семье. Он окончил с отличием гимназию в Рязани и поступил в московский университет на медицинский факультет. Обладая большими способностями и к тому же сильным характером и упорством, он скоро добился стипендии. Чтобы обеспечить существование семьи, он давал уроки, пересылая заработанные деньги матери. По окончании университета С. Я. поступил в морское ведомство и как морской доктор совершал не раз кругосветные плавания. О своих переживаниях в путешествиях и сопряженных с ними приключениях он часто рассказывал, и думаю, что это оказало большое влияние на пылкую фантазию будущего поэта. Будучи совсем молодым, С. Я. женился на болезненной девушке, которая скоро скончалась, оставив ему трехлетнюю девочку Александру. Вторым браком С. Я. женился на сестре адмирала Л. И. Львова, Анне Ивановне Львовой. Хотя разница лет была и большая — С. Я. было 45 лет, а А. И. 22 года, — но брак был счастливый. После свадьбы молодые поселились в Кронштадте. Позднее, когда С. Я. вышел в отставку, семья Гумилевых переехала в Царское Село, где Коля и его брат провели свое раннее детство.

Анна Ивановна, мать поэта, была родом из старинной дворянской семьи. Родители ее были богатые помещики. Свое детство, юность и молодость А. И. провела в родовом гнезде Слепневе Тверской губ. А. И. была хороша собой — высокого роста, худощавая, с красивым овалом лица, правильными чертами и большими добрыми глазами; очень хорошо воспитанная и очень начитанная. Характера приятного; всегда всем довольная, уравновешенная, спокойная. Спокойствие и выдержанность перешли и к сыновьям, в особенности к Коле. Вскоре после выхода замуж А. И. почувствовала себя матерью, и ожидание ребенка преисполнило ее чувством радости. Ее мечтой было иметь первым ребенком сына, а потом девочку. Желание ее наполовину исполнилось, родился сын Димитрий. Через полтора года Бог дал ей и второго ребенка. Мечтая о девочке, А. И. приготовила все приданое для малютки в розовых тонах, но на этот раз ее ожидание было обмануто — родился второй сын Николай, будущий поэт.

Николай Степанович Гумилев родился в Кронштадте 3 апреля 1886 года, в сильно бурную ночь, и по семейным рассказам старая нянька предсказала: «У Колечки будет бурная жизнь». Ребенком Коля был вялый, тихий, задумчивый, но физически здоровый. С раннего детства любил слушать сказки. Все дети были сильно привязаны к матери. Когда сыновья были маленькими, А. И. им много читала и рассказывала не только сказки, но и более серьезные вещи исторического содержания, а также и из Священной Истории. Помню, что Коля как-то сказал: «Как осторожно надо подходить к ребенку! Как сильны и неизгладимы бывают впечатления в детстве! Как сильно меня потрясло, когда я впервые услышал о страданиях Спасителя». Дети воспитывались в строгих принципах православной религии. Мать часто заходила с ними в часовню поставить свечку, что нравилось Коле. С детства он был религиозным и таким же остался до конца своих дней — глубоко верующим христианином. Коля любил зайти в церковь, поставить свечку и иногда долго молился перед иконой Спасителя. Но по характеру он был скрытный и не любил об этом говорить. По натуре своей Коля был добрый, щедрый, но застенчивый, не любил высказывать свои чувства и старался всегда скрывать свои хорошие поступки. Например. В дом Гумилевых многие годы приходила старушка из богадельни, так называемая «тетенька Евгения Ивановна», хотя тетей она им и не приходилась. Приходила она обыкновенно по воскресеньям к 9 ч. утра и оставалась до 7 ч. вечера, а часто и ночевать. Коля уже за неделю прятал для нее конфеты, пряники и всякие сладости, и когда Е. И. приходила, он, крадучись, не видит ли кто-нибудь, давал ей и краснел, когда старушка его целовала и благодарила. Чтобы занять старушку, Коля играл с ней в лото и домино, чего он очень не любил. В детстве и в ранней юности он избегал общества товарищей. Предпочитал играть с братом, преимущественно в военные игры и в индейцев. В играх он стремился властвовать: всегда выбирал себе роль вождя. Старший брат был более покладистого характера и не протестовал, но предсказывал, что не все будут ему так подчиняться, на что Коля отвечал: «А я упорный, я заставлю».

Впоследствии, в своей взрослой жизни, поэт тоже не любил подчиняться. В его характере была даже известная доля заносчивости, что вызвало две-три дуэли{87}, о которых он нам, смеясь, рассказывал: «Я вызван был на поединок — Под звоны бубнов и литавр».

Хотя братья и были разного характера, но они были очень дружны, что все же не мешало им иногда подтрунивать друг над другом. Когда старшему брату было десять лет, а младшему

восемь, старший брат вырос из своего пальто и мать решила передать его Коле. Брат хотел подразнить Колю: пошел к нему в комнату и, бросив пальто, небрежно сказал: «На, возьми, носи мои обноски!» Возмущенный Коля сильно обиделся на брата, отбросил пальто, и никакие уговоры матери не могли заставить Колю его носить. Даже самых пустяшных обид Коля долго не мог и не хотел забывать. Прошло много лет. Мужу не понравился галстук, который я ему подарила, и он посоветовал мне предложить его Коле, который любит такой цвет. Я пошла к нему и чистосердечно рассказала, что галстук куплен был для мужа, но раз цвет ему не нравится, не хочет ли Коля его взять? Но Коля очень любезно, с улыбочкой, мне ответил: «Спасибо, Аня, но я не люблю носить обноски брата». Другой пример. Коля дал мне прочесть свое стихотворение, а я была в саду около дома. Села, читаю. В это время пришла племянница десяти лет и попросила поиграть с ней в мячик. Я встала и аккуратно положила листочек, где было написано стихотворение, на скамейку. Не прошло и двадцати минут, как пошел вдруг сильный дождь. Мы быстро вбежали в дом, а листочек я забыла на скамейке. Дождь прошел. Коля вышел в сад и — о, ужас! — видит продукт своего творчества промокшим от дождя. Он так обиделся за такое пренебрежение, что сказал: «Вам никогда не посвящу ни одного стихотворения, даже ни одной строчки». Слово это, увы, сдержал.

Учиться Коля начал рано. Первоначальное обучение получил дома. С шестилетнего возраста он прислушивался к учению на уроках брата. В семь лет уже читал и писал. С восьмилетнего возраста стал писать рассказы и стихи. Помню, А. И. многие из них сохраняла, держа в отдельной шкатулке, обвязанной бантиком.

Зимою семья жила в Царском Селе, а летом уезжала в имение Березки Рязанской губ., купленное С. Я., чтобы дети могли летом пользоваться полной свободой, набирая сил и здоровья на просторе. Там мальчики много охотились, купались.

Когда семья жила в Петербурге, мальчики посещали гимназию Гуревича, которую поэт очень не любил. Будучи уже взрослым, он говорил, что одна эта Литовская улица, где находилась гимназия, наводила на него бесконечную тоску. Все ему там не нравилось. И был очень рад, когда ему пришлось покинуть стены «нудной» гимназии.

Тогда С. Я. решил ехать всей семьей в Тифлис и пробыть там некоторое время. Семья Гумилевых прожила в Тифлисе три года. В 1900 году мальчики поступили во 2-ю тифлисскую гимназию, но отцу не нравился дух этой гимназии, и мальчики были переведены в 1-ю тифлисскую гимназию. В Тифлисе Коля стал

более общительным, полюбил товарищей. По его словам, они были «пылкие, дикие», и это ему было по душе. Полюбил он и Кавказ. Его природа оставила в Коле неизгладимое впечатление. Часами он мог гулять в горах. Часто опаздывал к обеду, что вызывало сильное негодование отца, который любил порядок и строго соблюдал часы трапезы. Однажды, когда Коля поздно пришел к обеду, отец, увидя его торжествующее лицо, не сделав обычного замечания, спросил, что с ним. Коля весело подал отцу «Тифлисский листок», где было напечатано его стихотворение — «Я в лес бежал из городов». Коля был горд, что попал в печать. Тогда ему было шестнадцать лет.

В 1903 году семья вернулась в Царское Село. Здесь мальчики поступили в царскосельскую классическую гимназию. Директором ее был известный поэт Иннокентий Федорович Анненский. В первый же год Анненский обратил внимание на литературные способности Коли. Анненский имел на него большое влияние, и Коля как поэт многим ему обязан. Помню, Коля рассказывал, как однажды директор вызвал его к себе. Он был тогда совсем юный. Идя к директору, сильно волновался, но директор встретил его очень ласково, похвалил его сочинения и сказал, что именно в этой области он должен серьезно работать. В своем стихотворении «Памяти Анненского» Коля упоминает об этой знаменательной встрече:

…Я помню дни: я робкий, торопливый
Входил в высокий кабинет,
Где ждал меня спокойный и учтивый,
Слегка седеющий поэт.

Десяток фраз пленительных и странных
Как бы случайно уроня,
Он вбрасывал в пространства безымянных
Мечтаний — слабого меня.

Но в гимназии Коля хорошо учился только по словесности, а вообще — плохо{88}. По математике шел очень слабо.

Когда мальчики подросли, С. Я. продал свое имение Березки и купил небольшое имение Поповка — под самым Петербургом, чтобы мальчики не только на лето, но и на все праздники приезжали в деревню набирать здоровья. Оба брата были сильно привязаны к дому, любили свой домашний очаг, и их всегда тянуло домой. Старший после окончания классической царскосельской гимназии по желанию отца поступил в Морской корпус, в гардемаринские классы, был одно лето в плавании, но

так тосковал, что раньше времени вернулся домой. А поэт по настоянию отца должен был поступить в университет. Коля захотел поехать в Париж и там поступил в Сорбонну. Но и он тоже сильно тосковал по дому и хотел даже вернуться, но отец не разрешил. В Сорбонне Коля слушал лекции по французской литературе, но больше всего занимался своим любимым творчеством и даже издавал небольшой журнал, где печатал свои стихи под псевдонимом{89}. В Париже он начал мечтать о путешествиях, особенно его тянуло в Африку, в страну, где в полночь

…непроглядная темень,
Только река от луны блестит,
А за рекой неизвестное племя,
Зажигая костры, шумит.

Об этой своей мечте хоть недолго пожить «между берегом буйного Красного моря и Суданским таинственным лесом» поэт написал отцу, но отец категорически заявил, что ни денег, ни его благословения на такое (по тем временам) «экстравагантное путешествие» он не получит до окончания университета. Тем не менее Коля, невзирая ни на что, в 1907 году пустился в путь, сэкономив необходимые средства из ежемесячной родительской получки. Впоследствии поэт с восторгом рассказывал обо всем виденном: как он ночевал в трюме парохода вместе с пилигримами, как разделял с ними их скудную трапезу, как был арестован в Трувилле за попытку пробраться на пароход и проехать «зайцем». От родителей это путешествие скрывалось, и они узнали о нем лишь постфактум. Поэт заранее написал письма родителям, и его друзья аккуратно каждые десять дней отправляли их из Парижа. После экзотического путешествия Петербург навел на поэта тоску. Он только и мечтал опять уехать в страну, где «Каналы, каналы, каналы, — Что несутся вдоль каменных стен, — Орошая Дамьетские скалы — Розоватыми брызгами пен» (Египет).

Вернувшись в 1908 году в Россию, Коля нашел С. Я. тяжело больным ревматизмом. Отец уже не выходил из кабинета, сидя в большом кресле. А. И. неотлучно находилась при муже, и войти в кабинет отца можно было только с его разрешения. В Петербурге Коля тогда весь отдался своему творчеству. Он сблизился с многими поэтами и совершенно забросил занятия в университете. Это вызвало сильное недовольство отца, который упорно требовал, чтобы он закончил университет, и этот спор обычно кончался тем, что Коля обнимал отца, обещая серьезно взяться за

занятия и окончить университет. Отец не особенно этому верил и был прав: своего обещания Коля так и не сдержал.

Будучи от природы очень наблюдательным, Коля всегда подмечал у каждого слабые стороны, которые сейчас же высмеивал. Он вообще любил поддразнивать и грешным делом насмехаться, но добродушно. Помню, пришел однажды товарищ, окончивший университет, и все старался, чтобы мы обратили внимание на его университетский значок. Коля это заметил и сказал: «Володя, подвесь лучше твой значок на лоб, по крайней мере не надо будет тебе вертеться, чтобы его видели. Тогда всем ясно будет, что ты человек науки!»

Подсмеивался он и над племянником, который ходил в царскосельскую гимназию как в университет, когда вздумается. Способности дедушки-художника Сверчкова, видимо, перешли к внуку, и племянник днями и часами рисовал в ущерб учению. Подсмеивался и над матерью, добродушно, конечно, что она любила подчас читать Марлита, но как только замечал, что мать обижается, сейчас же подбегал и целовал ее. Его маленькая, двенадцатилетняя племянница как-то сказала, что прочла какую-то книгу, и добавила: «Я ее взяла, потому что там хорошая печать». Коля сейчас же подхватил: «Ты, я вижу, выбираешь и читаешь книги по печати, а не по содержанию». Иногда он даже слишком приставал к ней, и она объявила, что боится «при дяде Коле рот открыть». Тоже искал случая высмеять сестру по отцу, Александру Степановну Гумилеву, по мужу Сверчкову. У нее была маленькая собачка Лэди, и она сильно оберегала собачку от «искушения» и зорко за нею следила. Как-то раз, спасая собачку (так выразился Коля), сестра упала и сильно повредила ногу. Доктор, лечивший ее, сказал: «Из-за собачки не стоило рисковать ногами». На это Коля, как бы волнуясь, заявил: «Помилуйте, доктор! Ведь это же Лэди! Сестра, наверное, была бы менее экспансивна и вряд ли чем-нибудь рискнула, если бы кому-нибудь из нас грозила такая же опасность».

Ранней весной 1910 года С. Я. скончался. После его смерти жизнь в семье Гумилевых сильно изменилась даже внешне. Отцовский кабинет перешел Коле, и он в нем все переставил по-своему. Как часто добрые по существу люди бывают подчас неделикатны и даже эгоистичны! Помню, не прошло и семи дней, как пришла ко мне в комнату расстроенная А. И. и жаловалась на Колину нечуткость. «Не успели отца похоронить, — говорила она, — как Коля стал устраиваться в его кабинете. Я его прошу подождать хоть две недели, мне же это слишком тяжело! А он мне отвечает: я тебя, мамочка, понимаю, но не могу же я постоянно работать в гостиной, где мне мешают. Дмитрий и Аня так часто и

надолго приезжают, что мне всегда приходится уступать им свой кабинет». Без ведома А. И. я сейчас же пошла убеждать Колю повременить, но мои доводы на него не подействовали, он только посмеялся над моей сантиментальностью.

В дом влилось много чуждого элемента. Весною 25 апреля этого же года поэт женился на Анне Андреевне Горенко (Ахматовой). Свадьбу отпраздновали спокойно и тихо ввиду траура в семье. В этом году Коля осенью поехал в Абиссинию, побывал в самых малодоступных ее местах. В тропических лесах охотился на слонов, в горах со своим абиссинцем ходил на леопарда. Много рассказывал, заражая своими интересными впечатлениями племянника, так называемого Колю-маленького (Сверчкова), юношу 17-ти лет, который объявил, что тоже хочет

> …бродить по таким же дорогам,
> Видеть вечером звезды, как крупный горох,
> Выбегать на холмы за козлом длиннорогим,
> На ночлег зарываться в седеющий мох…

Коля-поэт обещал любимому племяннику в следующее путешествие взять его с собой, что и исполнил. Жена осталась дома. Из Абиссинии Коля навез много всяких абиссинских мелочей.

В семье Гумилевых очутились две Анны Андреевны. Я — блондинка, Анна Андреевна Ахматова — брюнетка. А. А. Ахматова была высокая, стройная, тоненькая и очень гибкая, с большими синими, грустными глазами, со смуглым цветом лица. Она держалась в стороне от семьи{90}. Поздно вставала, являлась к завтраку около часа, последняя, и, войдя в столовую, говорила: «Здравствуйте все!» За столом большею частью была отсутствующей, потом исчезала в свою комнату, вечерами либо писала у себя, либо уезжала в Петербург. Те вечера, когда Коля бывал дома, он часто сидел с нами, читал свои произведения, а иногда много рассказывал, что всегда было очень интересно. Коля великолепно знал древнюю историю и, рассказывая что-нибудь, всегда приводил из нее примеры. Памятно мне любимое большое мягкое кресло поэта, доставшееся ему от покойного отца. Сидя в нем, он писал свои стихи. Творить Коля любил по ночам, и часто мы с мужем — комната была рядом с его кабинетом — слышали равномерные шаги за дверью и чтение вполголоса. Мы переглядывались, и муж говорил: «Опять наш Коля улетел в свой волшебный мир».

В домашней обстановке Коля всегда был приветлив. За обедом всегда что-нибудь рассказывал и был оживленный. Когда

приходили юные поэты и читали ему свои стихи, Коля внимательно слушал; когда критиковал — тут же пояснял, что плохо, что хорошо и почему то или другое неправильно. Замечания он делал в очень мягкой форме, что мне в нем нравилось. Когда ему что-нибудь нравилось, он говорил: «Это хорошо, легко запоминается» и сейчас же повторял наизусть. Коля и в семье был строг к чистоте языка. Однажды я, придя из театра и восхищаясь пьесой, сказала: «Это было страшно интересно!». Коля немедленно напал на меня и долго пояснял, что так сказать нельзя, что слово «страшно» тут совершенно неуместно. И я это запомнила на всю жизнь.

Когда по вечерам вся семья оставалась дома, после обеда мать любила брать сыновей под руку и ходить взад и вперед по гостиной; тут сыновья очень трогательно оспаривали друг у друга, кто возьмет мамочку под руку, а кто обнимет. Обычно после долгого торга мать, улыбаясь, сама разрешала спор — одного возьмет под руку, а другого обнимет, и все трое маршировали по комнате, весело разговаривая. Но редко приходилось нам проводить вечера «уютным кустиком», как говорил Коля; обыкновенно кто-нибудь нарушал нашу семейную идиллию.

В начале 1911 года Анна Ивановна купила дом в Царском Селе на Малой ул., 15. Она видела, что слишком много денег тратится зря. Купила прелестный двухэтажный дом и тут же небольшой, тоже двухэтажный, флигель с садиком и хорошеньким двориком. А. И. с падчерицей и внуками занимали верхний этаж, поэт с женой и я с мужем — внизу. Тут же внизу находились столовая, гостиная и библиотека. После своего второго путешествия в Африку Коля внес в дом много экзотики, которая ему всегда нравилась. Свои комнаты он отделал по своему вкусу и очень оригинально.

Вспоминается мне наша чудная библиотека, между гостиной и Колиной комнатой. В библиотеке вдоль стен были устроены полки, снизу доверху наполненные книгами. В библиотеке во время чтения было принято говорить шепотом. Для поэта библиотека была святая святых, и он не раз повторял, что надо держать себя в ней как в настоящей библиотеке. Посредине находился большой круглый стол, за которым читающие чинно сидели.

С годами Коля стал очень общительным. Имел много товарищей и друзей. Дружил с И. Ф. Анненским, Вячеславом Ивановым и многими другими. Часто бывали Городецкий и Блок. Дом Гумилевых был очень гостеприимный, хлебосольный и радушный. Хозяева были рады всякому гостю, в которых не было

недостатка везде, где бы Гумилевы ни жили. Я очень любила, когда поэт устраивал литературные вечера. Вспоминаю один эпизод. Однажды один молодой поэт читал с жаром и увлечением свою поэму. Царила полная тишина. Вдруг раздался равномерный, громкий храп. Смущенный и обиженный, поэт прервал чтение. Все переглянулись. Коля встал. Окинул взором всех слушателей и видит, все сидят чинно, улыбаются, переглядываются и ищут храпящего гостя. Каково же было наше удивление, когда виновником храпа оказалась собака Молли, бульдог, любимица Анны Ахматовой. Все много смеялись и долгое время дразнили молодого чтеца, называя его Молли.

В 1911 году у Анны Ахматовой и Коли родился сын Лев{91}. Никогда не забуду счастливого лица Анны Ивановны, когда она нам объявила радостное событие в семье — рождение внука. Маленький Левушка был радостью Коли. Он искренне любил детей и всегда мечтал о большой семье. Бабушка Анна Ивановна была счастлива, и внук с первого дня был всецело предоставлен ей. Она его выходила, вырастила и воспитала. Коля был нежным и заботливым отцом. Всегда, придя домой, он прежде всего поднимался наверх, в детскую, и возился с младенцем.

Но мятежную натуру поэта патриархальная спокойная семейная обстановка надолго удовлетворить не могла. Он задумал путешествие в Италию. Но всегда его что-то задерживало: осенью этого же года он основал с Сергеем Городецким Цех Поэтов. Только весною 1912 года ему удалось исполнить свою мечту и поехать в Италию. Он давно хотел побывать в Венеции и воочию увидеть красоту этого города, где

Лев на колонне, и ярко
Львиные очи горят,
Держит Евангелье Марка,
Как серафимы крылат.

Коля посетил несколько городов Италии{92}. Говорил он об Италии с таким жаром, что забывал весь мир и требовал, чтобы мы с мужем обязательно поехали в Рим, где

Волчица с пастью кровавой
На белом, белом столбе…

И рекомендовал мужу не засматриваться на красивых, ярких итальянок, а хорошенько осмотреть

Лик Мадонн вдохновенный
И храм Святого Петра,

что мы и исполнили — через несколько месяцев муж взял отпуск, и мы поехали в Италию.

В жизни Коли было много увлечений. Но самой возвышенной и глубокой его любовью была любовь к Маше. Под влиянием рассказов А. И. о родовом имении Слепневе и о той большой старинной библиотеке, которая в целости там сохранилась, Коля захотел поехать туда, чтобы ознакомиться с книгами. В то время в Слепневе жила тетушка Варя — Варвара Ивановна Львова, по мужу Лампе, старшая сестра Анны Ивановны. К ней зимою время от времени приезжала ее дочь Констанция Фридольфовна Кузьмина-Караваева со своими двумя дочерьми. Приехав в имение Слепнево, поэт был приятно поражен, когда, кроме старенькой тетушки Вари, навстречу ему вышли две очаровательные молоденькие барышни — Маша и Оля. Маша с первого взгляда произвела на поэта неизгладимое впечатление. Это была высокая тоненькая блондинка с большими грустными голубыми глазами, очень женственная. Коля должен был остаться несколько дней в Слепневе, но оттягивал свой отъезд под всякими предлогами. Нянечка Кузьминых-Караваевых говорила: «Машенька совсем ослепила Николая Степановича». Увлеченный Машей, Коля умышленно дольше, чем надо, рылся в библиотеке и в назначенный день отъезда говорил, что библиотечная «…пыль рьянее, чем наркотик…», что у него сильно разболелась голова, театрально хватался при тетушке Варе за голову, и лошадей откладывали. Барышни были очень довольны: им было веселее с молодым дядей. С Машей и Олей поэт долго засиживался по вечерам в библиотеке, что сильно возмущало нянечку Караваевых, и она часто бурно налетала на своих питомиц, но поэт нежно обнимал и унимал старушку, которая после говорила, что «долго сердиться на Николая Степановича нельзя, он своей нежностью всех обезоруживает».

Летом вся семья Кузьминых-Караваевых и наша проводили время в Слепневе. Помню, Маша всегда была одета с большим вкусом в нежно-лиловые платья. Она любила этот цвет, который ей был к лицу. Меня всегда умиляло, как трогательно Коля оберегал Машу. Она была слаба легкими, и когда мы ехали к соседям или кататься, поэт всегда просил, чтобы их коляска шла впереди, «чтобы Машенька не дышала пылью». Не раз я видела Колю сидящим у спальни Маши, когда она днем отдыхала. Он

ждал ее выхода, с книгой в руках все на той же странице, и взгляд его был устремлен на дверь. Как-то раз Маша ему откровенно сказала, что не вправе кого-либо полюбить и связать, так как она давно больна и чувствует, что ей недолго осталось жить. Это тяжело подействовало на поэта:

…Когда она родилась, сердце
В железо заковали ей,
И та, которую любил я,
Не будет никогда моей.

Осенью, прощаясь с Машей, он ей прошептал: «Машенька, я никогда не думал, что можно так любить и грустить». Они расстались, и судьба их навсегда разлучила.

Поэт много стихотворений посвятил Маше. Во многих он упоминает о своей любви к ней, как, например, в «Фарфоровом павильоне», в «Дорогах»:

Я видел пред собой дорогу —
В тени раскидистых дубов,
Такую милую дорогу
Вдоль изгороди из цветов.
Смотрел я в тягостной тревоге,
Как плыл по ней вечерний дым,
И каждый камень на дороге
Казался близким и родным.
Но для чего идти мне ею?
Она меня не приведет
Туда, где я дышать не смею,
Где милая моя живет.

Весною 1913 года Коля вновь задумал предпринять путешествие в неведомые и малоисследованные места. Хорошо о нем сказано, что он создал новую музу, «музу дальних странствий», чему соответствуют и его слова «…как будто не все пересчитаны звезды, как будто наш мир не открыт до конца…». Свое третье путешествие Коля иначе обставил и совершил. Это было весной 1913 года. У Гумилевых тогда было много разговоров об академике Радлове, который хлопотал, чтобы Коля был командирован Академией наук в качестве начальника экспедиции на Сомалийский полуостров для составления всяких коллекций, для ознакомления с нравами и бытом абиссинских племен{93}. Но насколько я помню, Коля поехал на свои средства.

Анна Ивановна дала ему крупную сумму из своего капитала, это я наверное знаю. Но так как Академия наук тоже заинтересовалась его путешествием, то обещала купить у него те редкие экземпляры, которые он брался привезти. Поехал он, как я уже упомянула, вдвоем с любимым 17-летним племянником Колей Сверчковым, Колей-маленьким. Когда они уехали, семья, в особенности обе матери, сильно беспокоились за сыновей, зная страсть к приключениям Коли-поэта. Он всегда был очень храбрый и с детства презирал малодушие и трусость. «…Да, ты не был трусливой собакой — Львом ты был между яростных львов!..» И его бесстрашие немало волновало семью. Старушка няня о нем говорила: «Наш Коленька всегда любит лезть на рожон, вот уж неугомонный! Не сидится ему на месте, все ищет где поопаснее». Путешествие длилось несколько месяцев. Большой радостью было их возвращение, о котором мы не были предупреждены. Все треволнения были забыты и все были полны интереса к занимательным рассказам, которым, казалось, не было конца. Все обещания Коля выполнил и действительно привез очень много всяких коллекций, которые были им сданы в Музей Антропологии и Этнографии при Академии наук. Что именно — не помню, но помню, что им были очень довольны, чем и он был очень горд. Царскосельский дом обогатился чудным экземпляром — большой стоячей черной пантерой. Эту огромную пантеру, черную, как ночь, с оскаленными зубами, поставили в нишу между столовой и гостиной, и ее хищный вид производил на многих прямо жуткое впечатление. Коля же всегда ею любовался. Помню, как Коля первый раз показал мне свою пантеру. Когда мы приехали с мужем в Царское Село к нашим, дверь в гостиную была заперта, что бывало редко. В передней нас встретил Коля и просил пока в гостиную не входить. Мы поднялись наверх к А. И., ничего не подозревая; думали, что у Коли молодые поэты. Только когда совсем стемнело, Коля пришел наверх и сказал, что покажет нам что-то очень интересное. Он повел нас в гостиную и, как полагается, меня как даму пропустил вперед; открыл дверь, заранее потушив в гостиной и передней электричество. Было совсем темно, только яркая луна освещала стоящую черную пантеру. Меня поразил этот зверь с желтыми зрачками. В первый момент я подумала, что она живая. Коля был бы способен и живую пантеру привезти! И тут же, указывая на пантеру, Коля громко продекламировал: «…А ушедший в ночные пещеры или к заводи тихой реки — Повстречает свирепой пантеры — Наводящие ужас зрачки…»

Привез Коля и красивого живого попугая, светло-серого с

розовой грудкой. Коля был очень увлекательным рассказчиком. Обычно вне своего литературного кружка он в обществе держал себя очень скромно, но если что-либо было ему интересно и по душе, то он преображался, загорались его большие глаза, и он начинал говорить с увлечением. Однажды у нас в имении на охоте, где оба брата, Димитрий и Коля, отличились меткой стрельбой, один из гостей сказал поэту, что с таким метким глазом не страшно было бы идти на охоту на слонов и львов, и задал Коле несколько вопросов насчет Абиссинии. Коля с жаром стал рассказывать о своих переживаниях в Африке, и так образно, что ясно можно было себе представить, как он с племянником и с тремя провожатыми, из которых один был «…карлик мне по пояс, голый и черный»… шли по лесу, где вряд ли ступала человеческая нога; ночь провели в лесу и долго искали более или менее удобного убежища и наконец нашли. «…И хороша была нора — В благоухающих цветах…» Рассказывал, что туземцы в Абиссинии очень суеверны; многого наслушался он за ночи, проведенные в лесу, как, например — если убитому леопарду не опалить немедленно усы, дух его будет преследовать охотника всюду. «…И мурлычет у постели — Леопард, убитый мной». Та леопардовая шуба, в которой Коля ходил по Петербургу зимой (всегда расстегнутая и гревшая фактически только спину), была из двух леопардов, один из которых был убит им самим, а другой туземцами. В ней он шествовал обыкновенно не по тротуару, а по мостовой, и всегда с папиросой в зубах. На мой вопрос, почему он не ходит по тротуару, он отвечал, что его распахнутая шуба «на мостовой никому не мешает». Уезжая в Африку, Коля говорил, что «У него мечта одна — Убить огромного слона — Особенно когда клыки — И тяжелы и велики». — И действительно, по его словам, он наполовину исполнил свою мечту: «Он взял ружье и вышел в лес. — На пальму высохшую влез — И ждал». Туземцы ему сообщили, что «…здесь пойдет на водопой лесной народ…» Долго Коля сидел и ждал, как вдруг «В лесу раздался смутный гул, — Как будто ветер зашумел, — И пересекся небосклон — Коричневою полосой, — То, поднимая хобот, слон — Вожак вел стадо за собой». Коля «…навел винтовку между глаз», но «гигант лесной» не был «сражен пулей разрывной». Об этих переживаниях Коля говорил, что они были незабываемы.

Коля очень любил традиции и придерживался их, особенно любил всей семьей идти к заутрене на Пасху. Если даже кто-либо из друзей приглашал к себе, он не шел; признавал в этот день только семью. Помню веселые праздничные приготовления. Все, как полагается, одеты в лучшие туалеты. Шли чинно, и Коля всегда между матерью и женой. Шли в царскосельскую дворцовую

церковь, которая в этот высокоторжественный праздник была всегда открыта для публики.

В то же время поэт был очень суеверен. Верно, Абиссиния заразила его этим. Он до смешного подчас был суеверен, что часто вызывало смех у родных. Помню, когда А. И. переехала в свой новый дом, к ней приехала «тетенька Евгения Ивановна». Тогда она была уже очень старенькая. Тетенька с радостью объявила, что может пробыть у нас несколько дней. В присутствии Коли я сказала А. И.: «Боюсь, чтобы не умерла у нас тетенька. Тяжело в новом доме переживать смерть». На это Коля мне ответил: «Вы, верно, не знаете русского народного поверья. Купив новый дом, умышленно приглашают очень стареньких, преимущественно больных старичков или старушек, чтобы они умерли в доме, а то кто-нибудь из хозяев умрет. Мы все молодые, хотим еще пожить. И это правда, я знаю много таких случаев и твердо в это верю».

5 июля 1914 года мы с мужем праздновали пятилетний юбилей нашей свадьбы. Были свои, но были и гости. Было нарядно, весело, беспечно. Стол был красиво накрыт, все утопало в цветах. Посредине стола стояла большая хрустальная ваза с фруктами, которую держал одной рукой бронзовый амур. Под конец обеда без всякой видимой причины ваза упала с подставки, разбилась, и фрукты рассыпались по столу. Все сразу замолкли. Невольно я посмотрела на Колю, я знала, что он самый суеверный; и я заметила, как он нахмурился. Через 14 дней объявили войну. Десятилетний юбилей нашей свадьбы мы с Митей скромно отпраздновали на квартире художника Маковского на Ивановской улице в Петрограде при совсем других обстоятельствах. Все было уже не то, и тогда Коля напомнил нам о разбитой вазе.

День объявления войны застал меня в имении моей матери — Крыжуты, Витебской губернии. Я сейчас же решила ехать к мужу, в Петербург. Приехав туда, поехала на квартиру моих родителей. Отца дома не застала и вообще никого. Оставив записку, помчалась в Царское Село и там узнала, что Коля, движимый патриотическим порывом, записался добровольцем в Лб. Гв. Уланский полк, с которым был отправлен на фронт. Я сама записалась в Свято-Троицкую общину сестер милосердия. Год проработала в Петербурге в лазарете, а затем была отправлена в перевязочный отряд при 2-й финляндской дивизии. В этой дивизии мой муж был в пехотном полку, был награжден «Владимиром с мечами», пробыл три года на фронте и был сильно контужен. Коля уже в начале войны успел настолько отличиться, что был дважды награжден Георгиевским крестом за

храбрость. Для поэта война была родная стихия, и он утверждал: «И воистину светло и свято — Дело величавое войны. — Серафимы ясны и крылаты — За плечами воинов видны…». Несколько раз Коля приезжал на несколько дней в отпуск, и раза два-три наши отпуска совпадали. Мы все трое «фронтовые», как называла нас Муся (племянница), делились впечатлениями. Было метко сравнение поэта:

Как собака на цепи тяжелой,
Тявкает за лесом пулемет;
И жужжат шрапнели, словно пчелы,
Собирая ярко-красный мед.

Как отец Коля был очень заботлив и нежен. Он много возился со своим первенцем Левушкой, которому часто посвящал весь свой досуг. Когда Левушке было 7–8 лет, он любил с ним играть, и любимой игрой была, конечно, война. Коля с бумерангом изображал африканских вождей. Становился в разные позы и увлекался игрой почти наравне с сыном. Богатая фантазия отца передалась и Левушке. Их игры часто были очень оригинальны. Любил Коля и читать сыну и сам много ему декламировал. Ему хотелось с ранних лет развить в сыне вкус к литературе и стихам. Помню, как Левушка мне часто декламировал наизусть «Мика», которого выучил, играя с отцом. Все это происходило уже в Петербурге, когда мы жили вместе. Часто к нам приходили мои племянники и дети Чудовского{94}. Вся детвора всегда льнула к доброму дяде Коле (так они его называли), и для каждого из них он находил ласковое слово. Помню, как он хлопотал и суетился, украшая елку, когда уже ничего не было и все доставалось с невероятными усилиями. Но он все же достал тогда детские книги, которыми награждал всю детвору. Удалось ему достать и красивую пышную елку. И веселились же дети, а смотря на них, и взрослые, в особенности сам Коля!

В 1917 году Коля должен был отправиться на Салоникский фронт. Он поехал в Париж через Финляндию и Швецию, но, прибыв в Париж, был оставлен там в распоряжении представителя Временного правительства, чем был сильно огорчен. Там он пробыл год.

В 1918 году он записался на Месопотамский фронт, но для этого должен был поехать в Англию. Это было в начале года. Но, увы! и тут ему не удалось уехать в действующую армию, в Месопотамию. В Лондоне он пробыл несколько месяцев и весной вернулся через Мурманск в Петербург. Не успел Коля после своих долгих скитаний по заграницe вернуться, как сразу окунулся с

головой в свой литературный мир. Единственное, что он действительно горячо любил и чему отдавался всей душой, это только одну поэзию. Он был всецело поэт!

В конце 1918 года Коля был членом литературного кружка и работал в Доме литераторов. В этом году он развелся с Анной Ахматовой{95}.

В 1919 году поэт преподавал во многих литературных студиях, в Институте Истории Искусства, в Институте Живого Слова{96}. Я поступила слушательницей в Институт Истории Искусства на археологический факультет к проф. Струве, но часто заходила слушать Колю. Он читал очень интересно.

В 1919 году Коля женился вторым браком на Анне Николаевне Энгельгардт. После того как семье Гумилевых пришлось покинуть свой дом в Царском Селе с его чудной библиотекой{97}, они переехали в Петербург. Художник Маковский предложил Коле временно свою квартиру на Ивановской улице. Мы все соединились, кроме Александры Степановны Сверчковой. Времена стали тяжелые. Анне Ивановне трудно было добывать продукты, стоять в очередях, и Коля просил меня взять на себя хозяйство. Анна Николаевна — в семье называвшаяся Ася — была еще слишком молода. Помню, как однажды Коля, такой бодрый и веселый, пришел к мужу и ко мне в комнату и пригласил нас в Тенишевское училище на литературное утро. Выступали там Коля, А. А. Блок, жена Блока — Любовь Дмитриевна и молодые поэты. Зал был переполнен. Любовь Дмитриевна в первый раз публично прочла «Двенадцать». Когда она продекламировала последние слова поэмы «В белом венчике из роз впереди — Исус Христос», в зале поднялся сильный шум. Одни громко аплодировали, другие шикали, свистели, громко кашляли. Творилось что-то ужасное! Зал еще бушевал, когда мы увидели с мужем, что на эстраду не спеша поднимается наш Коля. Мне было за него как-то не по себе. Мы сильно за него волновались. Коля поднялся на эстраду и стал. Он стоял спокойно, выдержанно. Ждал, пока публика перестанет бушевать. Мало-помалу шум улегся. Коля подождал еще некоторое время. И только когда все успокоились, он стал читать свои «Персидские газеллы». После него выступил А. Блок. Только на следующий день Коля нам рассказал, что А. Блок отказался сейчас же после поэмы «Двенадцать» выйти на эстраду. Тогда Коля решил его выручить и вышел раньше времени, не по программе{98}.

В 1920 году нам пришлось разъехаться. Муж получил назначение в Петергоф, а Анна Ивановна осталась жить с Левушкой, Колей и Асей, которые переехали на Преображенскую улицу, № 5. В это время Ася ожидала прибавления семейства,

чему Коля был очень рад и говорил, что его «мечта» иметь девочку, и когда маленькая Леночка{99} родилась на свет Божий, доктор, взяв младенца на руки, передал его Коле со словами: «Вот ваша мечта».

В 1921 году последний раз мой муж, Коля и я встретили Новый год вместе. А. И. с Левушкой и Асей уехали в Бежецк, а Коля остался один. В Бежецке легче можно было достать продукты, что для Левушки и Аси было очень важно. Новый год — это уже семейный праздник, и мы трое его хотели встретить вместе. Встретили мы Новый год очень оживленно и уютно. Никто из нас не предполагал, что этот год будет для нас трагическим, что это последний раз, что мы все вместе встречаем Новый год.

Помню, как тогда я по вечерам приходила в кабинет к Коле обсуждать с ним меню на следующий день. Заставала его сидящим в большом глубоком кресле всегда с пером в его «как точеной» руке. Он всегда сосредоточенно обсуждал все со мною, внимательно выслушивая, что я ему говорила. Когда я теперь отдаюсь воспоминаниям о моей совместной жизни с ним, то он представляется мне, каким я его видела в эти последние памятные мне дни. Бодрый, полный жизненных сил, в зените своей славы и личного счастья со своей второй хорошенькой женой, всецело отдававшийся творчеству. Ни тяжелые годы войны, ни еще более тяжелая обстановка того времени не изменили его морального облика. Он был все таким же отзывчивым, охотно делившимся с каждым всем, что он имел. Как часто приходили в дом разные бедняки! Коля никогда не мог никому отказать в помощи.

В последний раз в жизни мне пришлось видеть Колю в самом конце июля 1921 года (1 августа я уехала с больным мужем). Муж очень плохо себя чувствовал и просил меня зайти к Коле и принести привезенные им письма от Анны Ивановны. Коля, будучи у нас утром, забыл их захватить. Когда я пришла к нему, он меня встретил на лестнице и сказал: «А я как раз собирался к вам с письмами мамы. Какой сегодня чудный солнечный день, пройдемтесь немного, а затем зайдем вместе к Мите». И мы пошли прямо по Преображенской улице к Таврическому саду. Гуляя по вековым аллеям роскошного сада, разговорились; затем сели под дуб на скамейку отдохнуть. Тут поэт разоткровенничался. Первый раз за всю мою двенадцатилетнюю жизнь в их доме он был со мною откровенен. Сначала он рассказывал о путешествиях, потом перешел на свои взгляды на жизнь, на брак, много говорил о своих душевных переживаниях и о тех минутах одиночества, когда, уйдя в себя, он думал о Боге:

Есть Бог, есть мир, они живут вовек,
И жизнь людей мгновенна и убога,
Но все в себе вмещает человек,
Который любит мир и верит в Бога.

Потом стал расспрашивать меня о моей жизни, о моей любви к мужу и спросил, была ли я с ним счастлива за эти двенадцать лет. На мой утвердительный ответ и под влиянием этой интимной беседы Коля стал мне декламировать, как сейчас помню, свое стихотворение «Соединение»:

Луна восходит на ночное небо.
По озеру вечерний ветер бродит,
Целуя осчастливленную воду.
О, — как божественно соединенье
Извечно созданного друг для друга —
Но люди, созданные друг для друга,
Соединяются, увы, так редко!

Потом мы медленно, молча пошли домой. Такого бесконечно грустного Колю я никогда не видела. Это была последняя в жизни прогулка с Колей. Она надолго осталась у меня в памяти. Тогда мне и в голову не могло прийти, что его мысли омрачаются предчувствием скорой гибели и что он думал о «пуле, что его с землею разлучит».

25 августа 1921 года трагически погиб наш талантливый поэт Николай Степанович Гумилев. Мы узнали об этом из газет. На здоровье моего бедного, тяжело больного мужа гибель единственного любимого брата сильно подействовала. Он проболел еще некоторое время и тихо скончался. Несмотря на дружеские отношения с братом, поэт скрыл от него, от всей семьи и даже от матери, с которой был так откровенен, свое участие в заговоре.

Андрей Белый{100}
Башенный житель

Быт выступа пятиэтажного дома, иль «башни», — единственный, неповторимый; жильцы притекали; ломалися стены; квартира, глотая соседние, стала тремя, представляя сплетенье причудливейших коридоров, комнат, бездверных передних; квадратные комнаты, ромбы и секторы; коврики шаг заглушали; пропер книжных полок меж серо-бурявых ковриц, статуэток, качающихся этажерочек; эта — музеик; та — точно сараище; войдешь — забудешь, в какой ты стране, в каком времени; все закосится; и день будет ночью, ночь — днем; даже «среды» Иванова были уже четвергами: они начинались позднее 12 ночи. Я описываю этот быт таким, каким уже позднее застал его (в 1909–1910 годах).

Хозяин «становища» (так Мережковские звали квартиру) являлся к обеду: до — кутался пледом; с обвернутою головой утопал в корректурах на низком, постельном диване, работая, не одеваясь, отхлебывая черный чай, подаваемый прямо в постель: часа в три; до — не мог он проснуться, ложась часов в восемь утра, заставляя гостей с ним проделывать то же; к семи с половиною вечера утренний, розовый, свежий, как роза, умытый, одетый, являлся: обедать; проведший со мною на «башне» два дня Э. К. Метнер на третий сбежал; я такую выдержал жизнь недель пять; возвращался в Москву похудевший, зеленый, осунувшийся, вдохновленный беседой ночною, вернее, что — утренней.

…Мы же, жильцы, проживали в причудливых переплетениях «логова»: сам Вячеслав, М. Замятина, падчерица, Шварцалон, сын, кадетик, С. К. Шварцалон, взрослый пасынок; в дальнем вломлении стен, в двух неведомых мне комнатушках, писатель Кузьмин проживал; у него ночевали «свои»: Гумилев, живший в Царском; и здесь приночевывали: А. Н. Чеботаревская, Минцлова; я, Степпун, Метнер, Нилендер, в наездах на Питер являлись: здесь жить; меры не было в гостеприимстве, в радушии, в ласке, оказываемых гостям «Вячеславом Великолепным»: Шестов так назвал его.

Чай подавался не ранее полночи; до — разговоры отдельные в «логовах» разъединенных; в оранжевой комнате у Вячеслава, бывало, совет Петербургского религиозно-философского общества; или отдельно заходят: Аггеев, Юрий Верховский, Д. В. Философов, С. П. Каблуков, полагавший (рассеян он был), что петух — не двухлапый, а четырехлапый, иль Столпнер,

вертлявенький, маленький, лысенький, в страшных очках, но с глазами ребенка, настолько питавшийся словом, что не представлялось, что может желудок его варить пищу действительную; иль сидит с Вячеславом приехавший в Питер Шестов, или Юрий Верховский, входящий с написанным им сонетом с такой же железною необходимостью, как восходящее солнце: из дня в день.

У В. Шварцалон, в эти годы курсистки, — щебечущий выводок филологичек сюрприз репетирует: для Ф. Зелинского; ну а в кузьминском углу собрался «Аполлон»: Гумилев, Чудовской, или Зноско-Боровский с Сергеем Маковским; со мною — ко мне забегающие: Пяст, Княжнин иль Скалдин.

…Вячеслав любил шуточные поединки, стравляя меня с Гумилевым, являвшимся в час, ночевать (не поспел в свое Царское), в черном, изысканном фраке, с цилиндром, в перчатке; сидел, точно палка, с надменным, чуть-чуть ироническим, но добродушным лицом; и парировал видом наскоки Иванова.

Мы распивали вино.

Вячеслав раз, помигивая, предложил сочинить Гумилеву платформу: «Вы вот нападаете на символистов, а собственной твердой позиции нет! Ну, Борис, Николаю Степановичу сочини-ка позицию…» С шутки начав, предложил Гумилеву я создать «адамизм»; и пародийно стал развивать сочиняемую мной позицию; а Вячеслав, подхвативши, расписывал; выскочило откуда-то мимолетное слово «акмэ», острие: «Вы, Адамы, должны быть заостренными». Гумилев, не теряя бесстрастья, сказал, положив нога на ногу:

— Вот и прекрасно: вы мне сочинили позицию — против себя: покажу уже вам «акмеизм»!

Так он стал акмеистом; и так начинался с игры разговор о конце символизма.

Иванов трепал Гумилева; но очень любил; и всегда защищал в человеческом смысле, доказывая благородство свое в отношении к идейным противникам; все-таки он — удивительный, великолепнейший, добрый, незлобивый. Сколько мне одному напростил он!

Из частых на «башне» — запомнились: Е. В. Аничков, профессор и критик, Тамамшева (эс-де), Белявские, устроительницы наших лекций, учительницы, прилетающие между лекциями с тарараканьем, Столпнер, С. П. Каблуков, математик-учитель и религиозник, Протейкинский, Бородаевский, Н. Недоброво, Скалдин, Чеботаревская, Минцлова, Ремизов, Юрий Верховский, Пяст, С. Городецкий, священник Аггеев; являлися многие: Лосский, Бердяев, Булгаков, писатель

Чапыгин, Шестов, Сюннерберг, Пимен Карпов, поэты, сектанты, философы, богоискатели, корреспонденты; Иванов-Разумник впервые мне встретился здесь.

Вера Неведомская{101}
Воспоминания о Гумилеве и Ахматовой

Судьба свела меня с Гумилевым в 1910 году. Вернувшись в июле из заграницы в наше имение «Подобино» — в Бежецком уезде Тверской губ., — я узнала, что у нас появились новые соседи. Мать Н. С. Гумилева получила в наследство небольшое имение «Слепнево», в 6 верстах от нашей усадьбы{102}. Слепнево, собственно, не было барским имением, это была скорее дача, выделенная из «Борискова», имения Кузьминых-Караваевых. Мой муж уже побывал в Слепневе несколько раз, получил от Гумилева его недавно вышедший сборник «Жемчуга» и был уже захвачен обаянием гумилевской поэзии.

Я как сейчас помню мое первое впечатление от встречи с Гумилевым и Ахматовой в их Слепневе. На веранду, где мы пили чай, Гумилев вошел из сада; на голове — феска лимонного цвета, на ногах — лиловые носки и сандалии и к этому русская рубашка. Впоследствии я поняла, что Гумилев вообще любил гротеск и в жизни, и в костюме. У него было очень необычное лицо: не то Би-Ба-Бо, не то Пьеро, не то монгол, а глаза и волосы светлые. Умные, пристальные глаза слегка косят. При этом подчеркнуто-церемонные манеры, а глаза и рот слегка усмехаются; чувствуется, что ему хочется созорничать и подшутить над его добрыми тетушками, над этим чаепитием с вареньем, с разговорами о погоде, об уборке хлебов и т. п.

У Ахматовой строгое лицо послушницы из староверческого скита. Все черты слишком острые, чтобы назвать лицо красивым. Серые глаза без улыбки. Ей могло быть тогда 21–22 года. За столом она молчала, и сразу почувствовалось, что в семье мужа она чужая. В этой патриархальной семье и сам Николай Степанович, и его жена были как белые вороны. Мать огорчалась тем, что сын не хотел служить ни в гвардии, ни по дипломатической части, а стал поэтом, пропадает в Африке и жену привел какую-то чудную: тоже пишет стихи, все молчит, ходит то в темном ситцевом платье вроде сарафана, то в экстравагантных парижских туалетах (тогда носили узкие юбки с разрезом). Конечно, успех «Жемчугов» и «Четок» произвел в семье впечатление, однако отчужденность все же так и оставалась. Сама Ахматова так вспоминает об этом периоде своего «тверского уединенья»:

Но всё мне памятна до боли

Тверская скудная земля.
Журавль у ветхого колодца,
Над ним, как кипень, облака,
В полях скрипучие воротца,
И запах хлеба, и тоска.
И те неяркие просторы,
Где даже голос ветра слаб,
И осуждающие взоры
Спокойных, загорелых баб.

После чая мы, молодежь, пошли в конюшню смотреть лошадей, потом к старому пруду, заросшему тиной. Выйдя из дома, Николай Степанович сразу оживился, рассказывал об Африке, куда он мечтал снова поехать. Потом он и Ахматова читали свои стихи. Оба читали очень просто, без всякой декламации и напевности, которые в то время были в моде. Расставаясь, мы сговорились, что Гумилевы приедут к нам на другой же день.

Наше Подобино было совсем не похоже на Слепнево. Это было подлинное «дворянское гнездо» — старый барский дом с ампирными колоннами, громадный запущенный парк, овеянный романтикой прошлого, верховые лошади и полная свобода. Там не было гнета «старших»: мой муж в 24 года распоряжался имением самостоятельно. Были тетушки, приезжавшие на лето, но они сидели по своим комнатам и не вмешивались в нашу жизнь.

Здесь Гумилев мог развернуться, дать волю своей фантазии. Его стихи и личное обаяние совсем околдовали нас, и ему удалось внести элемент сказочности в нашу жизнь. Он постоянно выдумывал какую-нибудь затею, игру, в которой мы все становились действующими лицами. И в конце концов мы стали видеться почти ежедневно.

Началось с игры в «цирк». В Слепневе с верховыми лошадьми дело обстояло плохо: выездных лошадей не было, и Николай Степанович должен был вести длинные дипломатические переговоры с приказчиком, чтобы получить под верх пару полурабочих лошадей. У нас же в Подобине, кроме наших с мужем двух верховых лошадей, всегда имелось еще несколько молодых лошадей, которые предоставлялись гостям. Лошади, правда, были еще мало объезженные, но никто этим не смущался. Николай Степанович ездить верхом, собственно говоря, не умел, но у него было полное отсутствие страха. Он садился на любую лошадь, становился на седло и проделывал самые головоломные

упражнения. Высота барьера его никогда не останавливала, и он не раз падал вместе с лошадью.

В цирковую программу входили также танцы на канате, хождение колесом и т. д. Ахматова выступала как «женщина-змея»; гибкость у нее была удивительная — она легко закладывала ногу за шею, касалась затылком пяток, сохраняя при всем этом строгое лицо послушницы. Сам Гумилев, как директор цирка, выступал в прадедушкином фраке и цилиндре, извлеченных из сундука на чердаке. Помню, раз мы заехали кавалькадой человек в десять в соседний уезд, где нас не знали. Дело было в Петровки, в сенокос. Крестьяне обступили нас и стали расспрашивать — кто мы такие? Гумилев не задумываясь ответил, что мы бродячий цирк{103} и едем на ярмарку в соседний уездный город давать представление. Крестьяне попросили нас показать наше искусство, и мы проделали перед ними всю нашу «программу». Публика пришла в восторг и кто-то начал собирать медяки в нашу пользу. Тут мы смутились и поспешно исчезли.

В дальнейшем постоянным нашим занятием была своеобразная игра, изобретенная Гумилевым: каждый из нас изображал какой-то определенный образ или тип — «Великая Интриганка», «Дон Кихот», «Любопытный» (он имел право подслушивать, перехватывать письма и т. п.), «Сплетник», «Человек, говорящий всем правду в глаза» и так далее.

При этом назначенная роль вовсе не соответствовала подлинному характеру данного лица — «актера», скорее наоборот, она прямо противоречила его природным свойствам. Каждый должен был проводить свою роль в повседневной жизни. Забавно было видеть, как каждый из нас постепенно входил в свою роль и перевоплощался. Наша жизнь как бы приобрела новое измерение. Иногда создавались очень острые положения; но сознание, что все это лишь шутка, игра, останавливало назревавшие конфликты. Старшее поколение смотрело на все это с сомнением и только качало головой. Нам говорили: «В наше время были приличные игры: фанты, горелки, шарады… А у вас — это что же такое? Прямо умопомрачение какое-то!»

Но влияние Гумилева было неизмеримо сильнее тетушкиных поучений. В значительной мере нас увлекала именно известная рискованность игры. В романтической обстановке старых дворянских усадеб, при поездках верхом при луне и т. п., конечно, были увлечения, более или менее явные, и игра могла привести к столкновениям. В характере Гумилева была черта, заставлявшая его искать и создавать рискованные положения, хотя бы лишь психологически. Помимо этого у него было влечение к опасности чисто физической. В беззаботной

атмосфере нашей деревенской жизни эта тяга к опасности находила удовлетворение только в головоломном конском спорте. Позднее она потянула его на войну. Гумилев поступил добровольцем в Лейб-Гвардии Уланский полк. Не было опасной разведки, в которую он бы не вызвался. Для него война была тоже игрой — веселой игрой, где ставкой была жизнь. При большевиках он с увлечением составлял заговор среди матросов. Арестованный, он спокойно заявил себя монархистом и непримиримым противником большевизма. Несомненно, что и на расстрел он вышел совершенно спокойно — это входило в правила игры.

Но я забегаю вперед… Мне вспоминается осень 1911 года. В конце августа начались осенние дожди и прекратили наше кочевание по округе{104}. Кому-то явилась мысль о домашнем театре. Мы все забрались в нашу старую библиотеку, где «последней новинкой» было одно из первых изданий Пушкина (там было тоже издание Вольтера, которое можно было читать только в лупу). Все уселись с ногами на диваны, и Николай Степанович стал сочинять пьесу. Называлась она «Любовь-отравительница»; место действия — Испания; эпоха — XIII век. Желания у нас, актеров, были очень пестры: один настаивал, чтобы были введены персонажи итальянской «Комедиа дель Арте» — Коломбина, Пьеро, Арлекин и т. д.; другой непременно хотел, чтобы был кардинал, третий требовал яда и смертей, еще кто-то просил для себя роли привидения. И Николай Степанович, шутя, тут же при нас создал пьесу в стихах. Текст пьесы остался в России. В свое время мы все знали его наизусть, но за 40 с лишним лет стихи стерлись из памяти, кроме немногих отдельных строчек. Вот краткое содержание этой пьесы:

Раненый рыцарь, возвращаясь из похода против мавров, попадает в провинциальный монастырь. Монашки ухаживают за ним, и он увлекается послушницей, сестрой Марией. Игуменья узнает об этом и возмущена. Влюбленные удручены; но судьба посылает им помощь в лице кардинала, дяди рыцаря. Возвращаясь из Рима от папы, кардинал по дороге узнает, что его племянник лежит в монастыре раненый, и заезжает навестить его. Кардинал светский и элегантный и ему сразу ясна ситуация. Он отзывает игуменью в сторону и между ними происходит очаровательная сцена: кардинал в певучей латинской речи внушает игуменье снисходительность к увлечениям молодежи. Провинциальная игуменья слаба в латыни; она робеет, путается в словах и от конфуза на все соглашается. Фокус Гумилева был в том, что весь разговор был только музыкальной имитацией латыни: отдельные латинские слова и латиноподобные звуки

сплетались в стихах, а содержание разговора передавалось только жестами и мимикой.

Казалось бы, все улажено; но судьба создает новое препятствие. В свое время отец рыцаря был убит кем-то неизвестным, и рыцарь связан клятвой мести. Неожиданно появляется друг рыцаря и сообщает, что какая-то старая цыганка, умирая, открыла тайну: отец рыцаря был убит отцом сестры Марии. Долг мести препятствует браку. Все мрачны, и соответственно этому сцена темнеет, сверкает молния, гремит гром и начинается ливень. Стук в монастырские ворота, и жалобные голоса просят приюта на ночь. Это труппа странствующих комедиантов, промокших до нитки. Они отряхиваются, осматриваются и очень быстро уясняют положение дела. Коломбина выступает в защиту любви:

Христос велел любить!
Игуменья: Как сестры и как братья!
Коломбина: По всячески и, верно, без изъятья!

Обращаясь к рыцарю, комедианты поют:

Милый дон, что за сон?
Ты ведь юн и влюблен!
Брачного платья мягкий шелк
Забыть поможет тяжкий долг…

Рыцарь колеблется. Кардинал, любитель театра, просит комедиантов показать свое искусство. Коломбина быстро распределяет роли:

Ты будь Агамемнон, ты — Гектор, ты — Парис,
Еленой буду я, а это вот нектар… —

(показывает на бутылочку с лекарством). И в течение нескольких минут они разыгрывают «Прекрасную Елену». Мрачное настроение рассеяно, и дело идет к свадьбе. Но тут появляется тень убитого отца и грозит рыцарю проклятием, если он, забыв святой долг мести, соединится с дочерью убийцы. На этот раз положение безысходное: рыцарь в отчаянии закалывается, а сестра Мария принимает яд.

Вся пьеса была шаржирована до гротеска. Николай Степанович режиссировал, упорно добиваясь ложно-классической

дикции, преувеличенных жестов и мимики. Его воодушевление и причудливая фантазия подчиняли нас полностью, и мы покорно воспроизводили те образы, которые он нам внушал. Все фигуры этой пьесы схематичны, как и образы стихов и поэм Гумилева. Ведь и живых людей, с которыми он сталкивался, Н. С. схематизировал и заострял, применяясь к типу собеседника, к его «коньку», ведя разговор так, что человек становился рельефным; при этом «стилизуемый объект» даже не замечал, что Н. С. его все время «стилизует».

Между многочисленными тетушками, приезжавшими на лето в нашу усадьбу, была очаровательная тетя Пофинька.

Ей было тогда 86 лет. В молодости у нее был какой-то бурный роман, в результате которого она не вышла замуж и законсервировалась, как маленькая, сухенькая мумия. На плечах всегда кружевная мантилька, на руках митенки, на голове кружевная косынка и поверх нее — даже в комнате — шляпа, чтобы свет не слепил глаза. Нам было известно, что тетя Пофинька в течение 50 лет вела дневник на французском языке. Мы все — члены семьи и наши гости — фигурировали в этом дневнике, и Гумилеву страшно хотелось узнать, как мы все отражаемся в мозгу тети Пофиньки. Он повел регулярную осаду на старушку, гулял с ней по аллеям, держал шерсть, которую она сматывала в клубок, наводил ее на воспоминания молодости. Не прошло и недели, как он стал ее фаворитом и приглашался в комнату тети Пофиньки слушать выдержки из заветного дневника. Кончился этот флирт весьма забавно: в одной беседе тетя Пофинька ополчилась на гигантские шаги, которыми мы тогда увлекались, но которые по ее мнению были «неприличны». Для убедительности она рассказала ряд случаев — поломанные ноги, расшибленные головы — все якобы на гигантских шагах. Николай Степанович слушал очень внимательно и наконец серьезно и задумчиво произнес: «Теперь я понимаю, почему в Тверской губернии так мало помещиков: оказывается, 50 % их погибло на гигантских шагах!» Этой иронии тетя Пофинька никогда не простила Н. С., и дневник ее закрылся для него навсегда.

Была и другая тетушка — тетя Соня Неведомская, для своих 76 лет очень еще живая и восприимчивая. Сначала она возмущалась современной поэзией. Потом — нет-нет да вдруг и попросит: «Пожалуйста, душка, прочти мне… как это: „Как будто не все пересчитаны звезды, как будто весь мир не открыт до конца…“» Под конец нашей жизни в Подобине, т. е. накануне мировой войны, тетя Соня уже знала наизусть многие стихи Гумилева и полюбила их.

С 1910 по 1914 год мы каждое лето проводили в Подобине и постоянно виделись с Гумилевым. С Н. С. у нас сложились в то время очень дружеские отношения. Помню осень, если не ошибаюсь, 1912 года. Мы все вместе уезжаем вечерним поездом на зиму в Петербург. На вокзале Гумилев шутя импровизирует:

Грустно мне, что август мокрый
Наших коней расседлал,
Занавешивает окна,
Запирает сеновал.

И садятся в поезд сонный,
Смутно чувствуя покой,
Кто мечтательно-влюбленный,
Кто с разбитой головой.

И к Тебе, великий Боже,
Я с одной мольбой приду:
Сделай так, чтоб было то же
Здесь и в будущем году.

Это один из многих экспромтов на домашние темы, которым Н. С. не придавал никакого значения и никогда не помещал в печати.

Ахматова — в противоположность Гумилеву — всегда была замкнутой и всюду чужой. В Слепневе, в семье мужа, ей было душно, скучно и неприветливо. Но и в Подобине, среди нас, она присутствовала только внешне. Оживлялась она только тогда, когда речь заходила о стихах. Гумилев, который вообще был неспособен к зависти, ставил стихи Ахматовой в музыкальном отношении выше своих. Я случайно запомнила одно стихотворение Ахматовой, которое, насколько я знаю, не было напечатано:

Угадаешь ты ее не сразу,
Жуткую и темную заразу,
Ту, что люди нежно называют,
От которой люди умирают.

Первый признак — странное веселье,
Словно ты пила хмельное зелье.
А потом печаль, печаль такая,
Что нельзя вздохнуть, изнемогая.

Только третий признак настоящий:
Если сердце замирает слаще
И мерцают в темном взоре свечи.
Это значит — вечер новой встречи.

Ночью ты предчувствием томима:
Над собой увидишь серафима,
А лицо его тебе знакомо…
И накинет душная истома

На тебя атласный черный полог.
Будет сон твой тяжек и недолог…
А наутро встанешь с новою загадкой,
Но уже не ясной и не сладкой,

И омоешь пыточною кровью
То, что люди назвали любовью.

Зимой мы с Гумилевыми встречались редко. Они жили у матери Николая Степановича в Царском Селе; ей принадлежала там большая дача со старым садом и оранжереей. Помню один званый вечер у них. Собрались поэты: элегантный Блок, Михаил Кузмин с подведенными глазами; Клюев — подстриженный в скобку и заметно дичившийся; граф Комаровский, незадолго перед тем вышедший из клиники душевнобольных (Гумилев считал его очень талантливым). Кто-то читал свои стихи. Но было в настроении что-то напряженное, и сам Гумилев казался связанным.

Несколько раз встречали мы Гумилевых в «Бродячей Собаке»{105}, где собирались поэты, художники и все, кто тянулся к художественной богеме. Там с Гумилевым заметно считались и прислушивались к его мнению; однако я думаю, что близкой дружбы у него не было ни с кем. Ближе других ему был, пожалуй, Блок{106}. Как-то раз у нас с Н. С. зашла речь о пророческом элементе в творчестве Блока. Н. С. сказал:

«Ну что ж, если над нами висит катастрофа, надо принять ее смело и просто. У меня лично никакого гнетущего чувства нет, я рад принять все, что мне будет послано роком».

Надо сказать, что в 1910–1912 годах ни у кого из нас никакого ясного ощущения надвигавшихся потрясений не было. Те предвестники бури, которые ощущались Блоком, имели скорее характер каких-то мистических флюидов, носившихся в воздухе. Гумилев говорил как-то о неминуемом столкновении белой расы

с цветными. Ему представлялся в будущем упадок белой расы, тонувшей в материализме, и, как возмездие за это, восстание желтой и черной рас. Эти мысли были скорей порядка умственных выводов, а не предчувствий, но, помню, он сказал мне однажды:

«Я вижу иногда очень ясно картины и события вне круга нашей теперешней жизни; они относятся к каким-то давно прошедшим эпохам, и для меня дух этих старых времен гораздо ближе того, чем живет современный европеец. В нашем современном мире я чувствую себя гостем».

По-видимому, это как раз те самые переживания, которые Гумилев передал в стихотворной форме:

Я верно болен — на́ сердце туман.
Мне скучно все: и люди, и рассказы.
Мне снятся королевские алмазы
И весь в крови широкий ятаган.
Мой предок был татарин косоглазый
Или свирепый гунн. Я веяньем заразы,
Через века дошедшей, обуян.
Я жду, томлюсь — и отступают стены…
Вот океан весь в клочьях белой пены.
Закатным солнцем залитый гранит
И город с голубыми куполами,
С цветущими жасминными садами…
Мы дрались там… Ах да, я был убит.

Это стихотворение совсем не случайно для Гумилева — он много раз возвращался к этой теме{107}. И это было не позерство, это было очень искренно. Может быть — предчувствие?

Бенедикт Лившиц{108}
Полутораглазый стрелец

…Мне неизвестно, чем должна была быть «Бродячая Собака» по первоначальному замыслу основателей, учредивших ее при Художественном обществе Интимного театра, но в тринадцатом году она была единственным островком в ночном Петербурге, где литературная и артистическая молодежь, в виде общего правила не имевшая ни гроша за душой, чувствовала себя как дома.

«Бродячая Собака» открывалась часам к двенадцати ночи, и в нее, как в инкубатор, спешно переносили недовысиженные восторги театрального зала, чтобы в подогретой винными парами атмосфере они разразились безудержными рукоплесканиями, сигнал к которым подавался возгласом: «Hommage! Hommage!»

Сюда же, как в термосе горячее блюдо, изготовленное в другом конце города, везли на извозчике, на такси, на трамвае свежеиспеченный триумф, который хотелось продлить, просмаковать еще и еще раз, пока он не приобрел прогорклого привкуса вчерашнего успеха.

Минуя облако вони, бившей прямо в нос из расположенной по соседству помойной ямы, ломали о низкую притолоку свои цилиндры все, кто не успел снять их за порогом.

Затянутая в черный шелк, с крупным овалом камеи у пояса, вплывала Ахматова, задерживаясь у входа, чтобы, по настоянию кидавшегося ей навстречу Пронина{109}, вписать в «свиную» книгу свои последние стихи, по которым простодушные «фармацевты» строили догадки, щекотавшие только их любопытство.

В длинном сюртуке и черном регате, не оставлявший без внимания ни одной красивой женщины, отступал, пятясь между столиков, Гумилев, не то соблюдая таким образом придворный этикет, не то опасаясь «кинжального» взора в спину.

* * *

…С Кузминым, невзирая на то, что мы не слишком почтительно обошлись с ним в «Пощечине общественному вкусу», у меня установились прекрасные отношения с первого же дня, когда Юркун, познакомившийся со мною и Лурье в «Бродячей Собаке», привел нас к нему в квартиру Нагродской, на Мойке. Никакие принципиальные разногласия не могли помешать этим отношениям перейти в дружбу, насчитывающую уже двадцать лет.

Точно так же знакомство с Мандельштамом, с которым мы почти одновременно дебютировали в «Аполлоне», быстро переросло границы, полагаемые простым литературным соседством, и, приняв все черты товарищества по оружию, не утратило этого характера даже в ту полосу, когда мы очутились в двух разных лагерях.

Между прочим, не кто иной, как Мандельштам, посвятил меня в тайны петербургского «savoir vivreá», начиная с секрета кредитования в «собачьем» буфете и кончая польской прачечной, где за тройную цену можно было получить через час отлично выстиранную и туго накрахмаленную сорочку — удобство поистине неоценимое при скудости нашего гардероба.

Пожалуй, один только Гумилев, не отделявший литературных убеждений от личной биографии, не признавал никаких ходов сообщения между враждующими станами и, глубоко оскорбленный манифестом «Идите к черту», избегал после выпуска «Рыкающего Парнаса» всяких встреч с будетлянами.

Это было довольно трудно, так как, помимо участия в диспутах, на которых выступали и мы, он сталкивался с нами почти каждый вечер в «Бродячей Собаке», где нередко досиживал до первого утреннего поезда, увозившего его в Царское Село.

Исключение он делал лишь для Николая Бурлюка, отказавшегося подписать ругательный манифест: с ним он поддерживал знакомство и охотно допускал его к версификационным забавам «цеха», происходившим иногда в подвале. По поводу обычной застенчивости своего тезки, тщетно корпевшего над каким-то стихотворным экспромтом, он как-то обмолвился двумя строками:

Издает Бурдюк
Неуверенный звук.

* * *

…«Бродячая Собака» была не единственным местом, где футуристы встречались со своими литературными противниками.

К числу таких мест можно прежде всего отнести нейтральные «салоны», вроде собраний у Чудовских. Жена Валерьяна Чудовского, художница Зельманова, женщина редкой красоты, прорывавшейся даже сквозь ее беспомощные, писанные ярь-медянкой автопортреты, была прирожденной хозяйкой салона, умевшей вызвать разговор и искусно изменить его направление.

В тот вечер, когда меня впервые привел к Чудовским Мандельштам, у них были Сологуб с Чеботаревской, Гумилев, Георгий Иванов, Константин Миклашевский, Вольдемар Люсцинус, певец Мозжухин и еще несколько человек из музыкального и актерского мира.

Я не хочу останавливаться на подробном описании доморощенного отеля Рамбулье, где Сологуб неудачно острил и еще неудачнее сочинял экспромты, один из которых начинался буквально следующими строками:

Вот я вижу, там
Сидит Мандельштам…

Где автор тоненького зеленого «Камня», вскидывая кверху зародыши бакенбардов, дань свирепствовавшему тогда увлечению 1830 годом, который обернулся к нему Чаадаевым, предлагал «поговорить о Риме» и «послушать апостольское credo».

Где, перекликаясь с ним, Гумилев протяжно читал в нос свой «Ислам» и подзадоривал меня огласить «Пальму праведника», вызывая во мне законное подозрение, что за настойчивостью акмеиста скрывается желание вывести на чистую воду будетлянина, затесавшегося в чуждую ему среду.

Где, говоря о постановке блоковских драм в Тенишевке, Чеботаревская находила исполнительницу роли Незнакомки, двоюродную сестру моей невесты, слишком terre a terre, но восхищалась музыкой Кузмина, послужившей поводом к пытке звуком, которой подверглись все гости Зельмановой, когда Мозжухин потряс стены квартиры раскатами чудовищного баса.

Где его огромный, похожий на детское колено кадык прыгал в вырезе крахмального воротника, как ядро, готовое разлететься на части в самом жерле гаубицы, и где Гумилев, не переносивший никакой музыки, в особенности когда она принимала характер затяжного бедствия, застыл в страдальческом ожидании ужина.

Я не хочу также останавливаться ни на «журфиксах» Паллады{110}, превратившей свое жилище в образцовый «женоклуб», ни на собраниях в других домах, куда мы были вхожи.

…Однажды утром он (Хлебников) пришел ко мне на Гулярную и объявил, что твердо решил добиться встречи, но не знает, как это сделать. Я ответил, что единственный способ — это пригласить Лелю Скалон и ее подругу, Лилю Ильяшенко, исполнительницу роли Незнакомки, в «Бродячую Собаку», но что для этого, разумеется, нужна известная сумма денег на ужин и вино — денег, которых ни у него, ни у меня не было.

Так как он продолжал настаивать, не считаясь ни с чем, я предложил ему отправиться в ломбард с моим макинтошем и цилиндром и взять под них хоть какую-нибудь ссуду. Через час он вернулся в полном унынии: за вещи давали так мало, что он не счел нужным оставлять их в закладе.

Мы мрачно молчали, стараясь найти выход из тупика.

Вдруг лицо Велемира прояснилось:

— А не взять ли нам денег у Гумилева?

— У Гумилева? Но почему же у него?

— Потому, что он в них не стеснен, и потому, что он наш противник.

— Неудобно обращаться к человеку, который после нашего манифеста еле протягивает нам руку.

— Пустяки! Я сначала выложу ему все, что думаю об его стихах, а потом потребую денег. Он даст. Я сейчас еду в Царское, а вы на сегодня же пригласите Лелю и Лилю в «Собаку».

Он исчез, надев для большей торжественности мой злополучный цилиндр.

К вечеру он возвратился, видимо, довольный исходом поездки. Выполнил ли он в точности свое намерение или нет, об этом могла бы рассказать одна Ахматова, присутствовавшая при его разговоре с Гумилевым, но деньги он привез.

Надежда Тэффи[{111}]
Синие вторники

Был такой поэт Василий Каменский[{112}]. Не знаю, жив ли он и существует ли как поэт, но уже в эмиграции я читала о нем — был в Петербурге диспут: «Гениален ли Василий Каменский». После этого я его имени больше не встречала и ничего о нем не знаю. Он был талантливый и своеобразный.

Ай, пестритесь, ковры мои, моя Персия.
Губы алы, кораллы, чары-чалы.
Все пройдет, все умрут,
С смуглых голых ног сами спадут
Бирюза, изумруд…

Он ручей называл «журчеек», сливал журчание с названием. Передавал звуком острый зигзаг молнии. Это он назвал мои вторники «синими». Так и писал о них уже в «большевицкие» времена — «синие вторники».

На синих вторниках бывали писатели, актеры, художники и те, кому было интересно посмотреть на всю эту компанию.

Помню, приехал из Оренбурга старенький казачий генерал. Был моим читателем и захотел познакомиться. И вот как раз попал на синий вторник.

Генерал был человек обстоятельный, прихватил с собой записную книжку.

— А кто это около двери? — спрашивал он.

— А это Гумилев, поэт.

— А с кем же это он говорит? Тоже поэт?

— Нет, это художник Саша Яковлев.

— А кто это рояль настраивает?

— А это композитор Сенилов. Только не настраивает, а играет свое сочинение.

— Значит, так сочинил? Так, значит, сам сочинил и, значит, сам и играет.

Генерал записывал в книжку.

— А кто эта худенькая на диване?

— А это Анна Ахматова, поэтесса.

— А который из них сам Ахматов?

— А сам Ахматов это и есть Гумилев.

— Вот как оно складывается. А которая же его супруга, то есть сама Гумилева?

— А вот Ахматова и есть Гумилева.

Генерал покрутил головой и записал в книжечку. Воображаю, что он там потом в Оренбурге рассказывал.

Украшением синих вторников была Саломея Андроникова[113], не писательница, не поэтесса, не актриса, не балерина и не певица — сплошное «не». Но она была признана самой интересной женщиной нашего круга. Была нашей мадам Рекамье, у которой, как известно, был только один талант — она умела слушать. У Саломеи было два таланта — она умела, вернее, любила говорить. Как-то раз высказала желание наговорить пластинку, которую могли бы на ее похоронах прослушать ее друзья. Это была бы благодарственная речь за их присутствие на похоронах и посмертное подбодрение опечаленных друзей.

— Боже мой, — завопил один из этих друзей, — она хочет еще и после смерти разговаривать!

Многие художники писали ее портреты. У Саломеи была высокая и очень тонкая фигура. Такая же тоненькая была и Анна Ахматова. Они обе могли, скрестив руки на спине, охватить ими талию так, чтобы концы пальцев обеих рук сходились под грудью.

Высокая и тонкая была также Нимфа, жена Сергея Городецкого.

Мне нравилось усаживать их всех вместе на диван и давать каждой по розе на длинном стебле. На синем фоне дивана и синей стены это было очень красиво.

Я очень любила Гумилева. Он, конечно, был тоже косноязычным, но не в чрезмерно сильной степени, а скорее из вежливости, чтобы не очень отличаться от прочих поэтов.

Ахматова всегда кашляла, всегда нервничала и всегда чем-то мучилась.

Жили Гумилевы в Царском Селе в нестерпимо холодной квартире.

— Все кости ноют, — говорила Ахматова.

У них было всегда темно и неуютно и почему-то всегда беспокойно. Гумилев все куда-то уезжал, или собирался уезжать, или только что откуда-то вернулся. И чувствовалось, что в этом своем быту они живут как-то «пока».

Они любили развлекать друзей забавной игрой. Открывали один из томов «Жизни животных» Брема и загадывали на присутствующих, кому что выйдет. Какому-нибудь эстету выходило: «Это животное отличается нечистоплотностью». «Животное» смущалось, и было очень забавно (не ему, конечно).

Н. Гумилев на синих вторниках бывал редко. Встречаться с ним я любила для тихих бесед. Сидеть вдвоем, читать стихи.

Гумилев никогда не позировал. Не носил байроновских воротников с открытой шеей и блузы без пояса, что любил иногда даже Александр Блок, который мог бы обойтись без этого кокетства. Гумилев держал себя просто. Он не был красив, немножко косил, и это придавало его взгляду какую-то особую «сторожкость» дикой птицы. Он точно боялся, что сейчас кто-то его спугнет. С ним можно было хорошо и просто разговаривать. Никогда не держал себя мэтром.

Мы могли бы с ним подружиться, но что-то мешало, что-то вмешалось. В современной политике это называется «видна рука Москвы». Эта «рука Москвы» выяснилась только через несколько лет. Провожая меня с какого-то вечера домой, он разговорился и признался, что нас поссорили. Ему рассказали, что в одном из моих рассказов о путешественниках я высмеяла именно его. Он обиделся. Тут же на извозчике все это дело мы выяснили. Конечно, рассказ не имел к нему никакого отношения.

Мы оба жалели, что это не выяснилось раньше. Он стал заходить ко мне. Но все это длилось недолго. Надвигались война и его отъезд на фронт.

Беседы наши были забавны и довольно фантастичны. Задумали основать кружок «Островитян». «Островитяне» не должны были говорить о луне. Никогда. Луны не было. Луна просто вычеркивалась из существования. Не должны знать Надсона. Не должны знать «Синего Журнала». Не помню сейчас, чем все это было связано между собою, но нас занимало.

Свое нелепое стихотворение «Сказка» он посвятил мне. В новом издании, напечатанном в Регенсбурге{114}, «Сказку» поместили, почему-то вычеркнув посвящение. Должно быть, решили, что это не имеет значения. Но я эту «Сказку» люблю, и для меня она имеет большое значение, и я ее не отдам. Она моя. «На скале, у самого края…»

Гумилев собирался на войну. Иногда приходила Анна Ахматова, тревожная и печальная. Он жил один в Петербурге. Все у них было беспокойно и нельзя было ничего расспрашивать. Чувствовалось, что говорить нельзя. Ахматова быстро уходила.

— Пойду посмотреть на него.

Было что-то больное и тревожное, чего нельзя было касаться.

Потом видела я Гумилева уже в военной форме. Все вскользь… И все ушло.

Я лежала в больнице в Париже. У меня был тиф. И зашел меня навестить Бинштok, секретарь Союза Иностранных Писателей.

Он всегда ужасно волновался, и, хотя сидел далеко от меня, около дверей на стуле для посетителей, мне казалось, что от его

волнения все бутылочки, рецепты, стаканы и баночки с моего больничного столика летят на пол, а висящий на стене термометр гонит ртуть до сорока.

Мне было худо. Я сказала Бинштоку:

— Ради Бога, ничего мне не рассказывайте. Меня все беспокоит, я очень больна. Не хочу знать ни плохого, ни хорошего.

— Я знаю, я знаю, — заторопился он. — Я утомлять не буду. Я только одно. Новость. Гумилев расстрелян.

— О-о-о! Ведь я же просила. Зачем вы… Я так любила Гумилева! О-о-о!

И слышу дрожащее блеяние Бинштока:

— Дорогая! Я же думал, что это вас развлечет…

О Господи!

Бронислава Погорелова{115}
Брюсов и его окружение

Незабываемое впечатление произвело на меня появление Гумилева.

Стоял ясный весенний день. С сестрой Иоанной Матвеевной сидели мы вдвоем за послеобеденным чаем. Из своего кабинета вышел В. Я., и не один. Оказалось, у него был гость, которого он и привел с собой. В подобном появлении не было ничего необычайного. Часам к 4–5 то и дело заходили литераторы, редакторы, и к ним все уже давно привыкли. Но появившийся в этот день гость оказался необыкновенным. «Гумилев», — представился он сам как-то слишком самоуверенно. Все в нем изумляло. Казался он как-то шире и выше обыкновенных людей. Происходило это, вероятно, от иного, не московского и даже не российского покроя одежды. Разговор его тоже не был похож на то, что обычно интересовало писателей, по-будничному беседовавших между собой: технические ухищрения писательского ремесла, вопросы гонораров, печатания, стычки авторов с издателями. Гумилев, еще не получив своего стакана чаю, неожиданно и сразу заговорил о той буре, которая поднялась, когда он плыл в последнее воскресенье на заокеанском пароходе, об острове Таити, о совершенстве телосложения негритянок, о парижском балете.

Брюсову, видимо, не нравилась вся эта «экзотика», но не считая, вероятно, возможным перевести сразу разговор на профессионально-бытовые темы, не покидая чужих краев, он стал говорить о заграничных музеях и выставках… И тут нас всех поразила огромная эрудиция Гумилева. О всемирно известных музеях он принялся говорить как ученый специалист по истории искусств. О знаменитых манускриптах — как изощренный палеограф. Мы прямо ушам не верили. Куда исчезли «знойные африканские танцы»?

Осенью 1920 года наступили грозные дни террора. Почти ежедневно мы слышали жуткие вести: расстрелян тот-то, арестованы те-то. Помню, однажды вечером нам пришли сказать: «Гумилев расстрелян». Упорно твердили о каком-то заговоре, в котором якобы участвовал несчастный.

У Гумилева есть одно стихотворение. В нем есть такие жутко-пророческие строки:

За то, что эти руки, эти пальцы

Не жали плуга, были слишком стройны,
За то, что песни, вечные скитальцы,
Обманывали, были беспокойны…
За все теперь настало время мести…

Быть может, в этих стихах таится самое верное объяснение причин, вызвавших гибель Гумилева.

Георгий Иванов{116}
О Гумилеве

…Наше время — тяжелое бремя,
Трудный жребий дала нам судьба,
Чтоб прославить на краткое время
Нет, не нас — только наши гроба.
……
Но, быть может, подумают внуки,
Как орлята, тоскуя в гнезде —
Где теперь эти крепкие руки,
Эти души орлиные где!

Гумилев. Чужое небо

Был не жаркий, только теплый, только солнечный август 1921 года. Гумилев вернулся в Петербург из путешествия по югу России. Он ходил по городу загорелый, поздоровевший и очень довольный. В его жизни — он говорил — наступила счастливая полоса: вот и поездка в Крым, устроившаяся фантастически-случайно, была прекрасна, и новая квартира, которую нашел Гумилев, очень ему нравилась, и погода — «посмотрите, что за погода!».

Литературные дела тоже его радовали. Был «нэп», появилось много издательств — одно покупало собрание стихов Гумилева, другое выпускало его статьи и прозу. «Огненный столп» был в печати{117}. На днях из Москвы должны были приехать актеры, чтобы ставить «Гондлу». Это Гумилеву было особенно приятно. С постановкой на сцене пьесы его имя проникало в новые слои публики, его влияние расширялось. Вообще влияние Гумилева, его известность росли на глазах. Все больше становилось у него поклонников и учеников, все чаще его имя, как равное, противопоставлялось имени Блока.

С уверенностью могу сказать, что ничто или почти ничто не омрачало этих — последних — дней Гумилева. Он был здоров, полон надежд и планов, материально и душевно все

складывалось для него именно так, как ему хотелось. Это ощущение полноты жизни, расцвета, зрелости сказалось и в заглавии, которое он тогда придумал для своей будущей книги: «По середине странствия земного».

Прибавлю, что в эти теплые, ясные августовские дни Гумилев был влюблен — и это была счастливая любовь…

Гумилев пришел домой в два часа ночи{118}. Свой последний вечер на свободе он провел в им же основанном «Доме Поэтов» в кругу преданно-влюбленной в него литературной молодежи. Как всегда, сначала «занимались» — читали и обсуждали стихи, потом бегали, кувыркались, играли в фанты. Гумилев очень любил и это общество, и это времяпрепровождение и всегда веселился от души. Говорят, что в этот вечер он был особенно весел. Несколько студистов провожали его через весь Невский до дому. У подъезда, на Мойке, стоял автомобиль. Никто не обратил на него внимания — с «нэпом» автомобиль перестал быть, как во времена военного коммунизма, одновременно диковинкой и страшилищем. У подъезда долго прощались, шутили, уславливались «на завтра». Те, кто приехал на этом автомобиле, с ордером ГПУ на обыск и арест, — терпеливо ждали за дверью.

Потом…

…поставили к стенке
и расстреляли его,
и нет на его могиле
ни холма, ни креста, ничего.

И. Одоевцева. Баллада о Гумилеве

Потом… стали проходить годы.

Прошло десять лет с тех пор, как в ту августовскую ночь Гумилев был выхвачен из своего «странствия земного», из самой полноты жизни и творчества и механически уничтожен машиной большевистского «правосудия».

Гумилева нет. Нет «ни холма, ни креста» на его безвестной могиле{119}. Остались стихи, биография, все увеличивающаяся посмертная слава.

Стихи, биография, слава… «Золотая статуя» поэта-героя. И, с другой стороны, живая, трагически оборвавшаяся десять лет тому назад жизнь. Когда-нибудь их контуры сольются. Но пока одно другому «мешает», одно другому противоречит. «Что-то» от живого Гумилева и десять лет спустя еще веет в воздухе и не позволяет говорить о нем как о мертвом. Еще режут слух

нестерпимой фальшью пышно-официальные фразы. Но и смерть — такая смерть — предъявляет свои права. Трудно говорить как о мертвом, нельзя говорить как о живом. Все это очень «путает планы» и очень связывает руки.

И еще:

> В биографии славной твоей
> Разве можно оставить пробелы… —

писала давно, до войны, начинающая поэтесса Ахматова своему мужу «Коле». Писала полунасмешливо-полусерьезно… Более насмешливо, чем серьезно. Так вот — заполнит, как надо, «пробелы» в биографии Гумилева только тот, для кого улыбка, с которой Ахматова читала эти стихи и с которой в свое время все мы ее слушали, станет окончательно невозможной и непонятной…

Двадцать седьмого августа{120} тысяча девятьсот двадцать первого года Гумилев был расстрелян. Ужасная, бессмысленная гибель! Но, в сущности, для биографии Гумилева, такой биографии, какой он сам себе желал, — трудно представить конец более блестящий. Поэт, исследователь Африки, георгиевский кавалер и, наконец, отважный заговорщик, схваченный и расстрелянный в расцвете славы, расцвете жизни…

Не знаю, доброй или злой была фея, положившая в колыбель Гумилева свой подарок — самолюбие. Необычайное, жгучее, страстное. Этот дар помог Гумилеву стать тем, чем он был, этот дар привел его к гибели.

С семилетним Гумилевым сделался нервный припадок оттого, что другой шестилетний мальчик перегнал его, состязаясь в беге. Одиннадцати лет он покушался на самоубийство: неловко сел на лошадь, домашние и гости видели это и смеялись. Год спустя он влюбляется в незнакомую девочку гимназистку, долго следит за ней и, наконец, однажды, когда она входила в ворота дома, подходит и признается, задыхаясь: «Я вас люблю». Девочка ответила «дурак!» и захлопнула дверь. Гумилев был потрясен, ему казалось, что он ослеп и оглох. Ночами он не спал, обдумывая месть: сжечь тот дом, стать разбойником, похитить ее или убить. Обида, нанесенная двенадцатилетнему Гумилеву, была так сильна, что в тридцать пять лет он вспоминал о ней, смеясь, но с горечью.

Гумилев был слабый, неловкий, некрасивый ребенок. Но он задирал сильных, соперничал с ловкими и красивыми. Неудачи только пришпоривали его.

Гумилев-подросток, ложась спать, думал об одном — как прославиться. Мечтая о славе, он шел утром в гимназию. Часами блуждая по Царскосельскому парку, он воображал тысячи способов осуществить свои мечты. Стать полководцем? Ученым? Взорвать Петербург? Все равно что, только бы люди повторяли имя Гумилева, писали о нем книги, удивлялись ему.

Понемногу в его голове сложился стройный план завоевания мира. Надо следовать своему призванию — писать стихи. Эти стихи должны быть лучше всех существующих, должны поражать, ослеплять, сводить с ума. Но надо, чтобы поражали людей не только его стихи, но он сам, его жизнь. Он должен совершать опасные путешествия, подвиги, покорять женские сердца.

Этим детским мечтам Гумилев в сущности следовал всю жизнь. Только с годами убывающую уверенность в себе стала сменять уверенность в человеческой глупости.

Гумилев говорил, что поэт должен «выдумать себя». Он и выдумал себя, настолько всерьез, что его маска для большинства его знавших (о читателях нечего и говорить) стала его живым лицом. Только немногие близкие друзья знали другого Гумилева — не героя и не африканского охотника.

Какой-то домашний знакомый (это было в 1910 году) развлекал общество чтением «декадентских» стихов. Мне было шестнадцать лет, я уже писал стихи, тоже декадентские, дюжинами. Имена Гиппиус, Брюсова, Сологуба были мне хорошо известны. Но чтец прочел «Капитанов» и назвал имя Гумилева. Меня удивили стихи (ясностью, блеском, звоном), и я запомнил это имя, услышанное впервые.

Года через полтора я с Гумилевым познакомился. Это было на вечере в честь Бальмонта. Там должен был быть в сборе весь «Цех поэтов», и я, только что в Цех выбранный, явился туда, робея и волнуясь, как новобранец в свою часть. Конечно, я пришел слишком рано… Понемногу собирались другие — Зенкевич, Мандельштам, Владимир Нарбут. Пришел Сергей Городецкий с деревянной лирой под мышкой — фетишем «Цеха». Уже началась программа, когда кто-то сказал: «А вот и Николай Степанович…»

Гумилев стоял у кассы (вечер происходил в «Бродячей Собаке»), платя за вход. Слегка наклонившись вперед, прищурившись, он медленно пересчитывал на ладони мелочь. За ним стояла худая, высокая дама. Ярко-голубое платье не очень шло к ее тонкому, смуглому лицу. Впрочем, внешность Гумилева так поразила меня, что на Ахматову я не обратил почти никакого внимания.

Гумилев шел не сгибаясь, важно и медленно — чем-то напоминая автомат. Стриженная под машинку голова, большой,

точно вырезанный из картона нос, как сталь холодные, немного косые глаза… Одет он был тоже странно: черный долгополый сюртук, как-то особенно скроенный, и ярко-оранжевый галстук{121}.

Нас познакомили. Несколько любезно-незначительных слов — и я сразу почувствовал к Гумилеву граничащее со страхом почтение ученика к непререкаемому мэтру. Я не был исключением. Кажется, не было молодого поэта, которому бы Гумилев не внушил сразу, при первой же встрече, тех же чувств. Это впечатление осталось надолго. Только спустя много лет близости и тесной дружбы я окончательно перестал теряться в присутствии Гумилева.

Внешность Гумилева показалась мне тогда необычайной до уродства. Он действительно был некрасив и экстравагантной (потом он ее бросил) манерой одеваться — некрасивость свою еще подчеркивал. Но руки у него были прекрасные и улыбка, редкая по очарованию, скрашивала, едва он улыбался, все недостатки его внешности.

«Цех поэтов» был основан Гумилевым и Городецким. Только правилом, что крайности сходятся, можно объяснить этот, правда, недолгий союз. Надменный Гумилев и «рубаха-парень» Городецкий — что было общего между ними и их стихами?

Официально Гумилев и Городецкий были равноправными хозяевами «Цеха» — синдиками. Они председательствовали поочередно и оба имели высокое преимущество сидеть в глубоких креслах во время заседания. Остальным — в том числе и Кузмину, и Блоку — полагались простые венские стулья.

Обычно Городецкий во всем поддерживал Гумилева, но изредка, вероятно для формы, вступал с ним в спор. Гумилев говорил: «Прекрасно». Городецкий возражал: «Позорно».

Разумеется, Гумилев неизменно торжествовал. Вообще он очень любил спорить, но почти никогда не оказывался побежденным. С собеседниками, столь робкими, как его тогдашние ученики, это было нетрудно. Но и с серьезным противником он почти всегда находил средство сказать последнее слово, даже если был явно неправ.

Отношения между синдиками и членами «Цеха» были вроде отношений молодых офицеров с командиром полка. «В строю», т. е. во время заседания, дисциплина была строжайшая. Естественно, что «мэтры» и считавшие себя таковыми вскоре пообижались по разным поводам и «Цех» посещать перестали. Осталась зеленая молодежь. Наиболее «верные» впоследствии образовали группу акмеистов.

После заседания — весело ужинали. И опять, как в полковом

собрании, командир Гумилев пил с «молодежью» «на ты», шутил, рассказывал анекдоты, был радушным и любезным хозяином, но «субординация» никогда не забывалась.

Гумилев трижды ездил в Африку{122}. Он уезжал на несколько месяцев, и по возвращении «экзотический кабинет» в его царскосельском доме украшался новыми шкурами, картинами, вещами. Это были утомительные, дорогостоящие поездки, а Гумилев был не силен здоровьем и не богат.

Он не путешествовал как турист. Он проникал в неисследованные области, изучал фольклор, мирил враждовавших между собой туземных царьков. Случалось — давал и сражения. Негры из сформированного им отряда пели, маршируя по Сахаре:

Нет ружья лучше Маузера!
Нет вахмистра лучше З-Бель-Бека!
Нет начальника лучше Гумилеха!

Последняя его экспедиция (за год перед войной) была широко обставлена на средства Академии Наук. Я помню, как Гумилев уезжал в эту поездку. Все было готово, багаж отправлен вперед, пароходные и железнодорожные билеты давно заказаны. За день до отъезда Гумилев заболел — сильная головная боль, 40° температура. Позвали доктора, тот сказал, что, вероятно, тиф. Всю ночь Гумилев бредил. Утром на другой день я навестил его. Жар был так же силен, сознание не вполне ясно: вдруг, перебивая разговор, он заговаривал о каких-то белых кроликах, которые умеют читать, обрывал на полуслове, опять начинал говорить разумно и вновь обрывал.

Когда я прощался, он не подал мне руки: «Еще заразишься» и прибавил: «Ну, прощай, будь здоров, я ведь сегодня непременно уеду».

На другой день я вновь пришел его навестить, так как не сомневался, что фраза об отъезде была тем же, что читающие кролики, т. е. бредом. Меня встретила заплаканная Ахматова: «Коля уехал».

За два часа до отхода поезда Гумилев потребовал воды для бритья и платье. Его пытались успокоить, но не удалось. Он сам побрился, сам уложил то, что осталось неуложенным, выпил стакан чаю с коньяком и уехал.

Осенью 1914 года Гумилев на редакторском заседании в «Аполлоне» неожиданно сообщил, что поступает в армию.

Все удивились, Гумилев был ратником второго разряда, которых в то время и не думали призывать. Военным он никогда не был.

Значит, добровольцем, солдатом?

Не одному мне показалась странной идея безо всякой необходимости надевать солдатскую шинель и отправляться в окопы.

Гумилев думал иначе. На медицинском осмотре его забраковали, ему пришлось долго хлопотать, чтобы добиться своего. Месяца через полтора он надел форму вольноопределяющегося Л. Гв. Уланского полка и вскоре уехал на фронт.

Гумилев изредка приезжал на короткие побывки в Петербург. Он не написал еще тогда, но уже имел право сказать о себе:

Знал он муки голода и жажды,
Сон тревожный, бесконечный путь,
Но святой Георгий тронул дважды
Пулею нетронутую грудь.

Война его не изменила. О фронте он рассказывал забавные пустяки, точно о пикнике, читал мадригалы, сочиненные полковым дамам:

Как гурия в магометанском
Эдеме в розах и шелку,
Так Вы в Лейб-Гвардии Уланском
Ея Величества полку.

Когда его поздравляли с Георгиевским крестом, он смеялся: «Ну, что это, игрушки. К весне собираюсь заработать „полный бант“». Стихи его того времени если и говорили о войне, то о войне декоративной, похожей на праздник:

И как сладко рядить победу,
Словно девушку, в жемчуга,
Проходя по дымному следу
Отступающего врага.

Только раз я почувствовал, что на войне Гумилеву было не так уж весело и приятно, как он хотел показать. Мы засиделись где-то ночью, поездов в Царское больше не было, и я увел

Гумилева к себе.

— Славная у тебя комната, — сказал он мне, прощаясь утром. — У меня в Париже была вроде этой. Вот бы и мне пожить так, а то все окопы да окопы. Устал я немножко.

Гумилев устал. «Рядить в жемчуга» победу приходилось все реже. Вместо блестящих кавалерийских атак и надежд заработать «полный бант» приходилось сидеть без конца во вшивых окопах. В эти дни им были написаны замечательные стихи о Распутине:

…В гордую нашу столицу
Входит он — Боже спаси —
Обворожает царицу
Необозримой Руси.
И не погнулись, о горе,
И не покинули мест
Крест на Казанском соборе
И на Исакии крест[123].

Наступило двадцать седьмое февраля. Гумилев вернулся в Петербург. Для него революция пришла не вовремя. Он устал и днями не выходил из своего царскосельского дома. Там, в библиотеке, уставленной широкими диванами, под клеткой с горбоносым какаду, тем самым, о котором Ахматова сказала:

А теперь я игрушечной стала,
Как мой розовый друг какаду…

Гумилев сидел над своими рукописями и книгами. Худой, желтый после недавней болезни, закутанный в пестрый азиатский халат, он мало напоминал недавнего блестящего кавалериста.

Когда навещавшие его заговаривали о событиях, он устало отмахивался: «Я не читаю газет».

Газеты он читал, конечно. Ведь и на вопрос, что он испытал, увидев впервые Сахару, Гумилев сказал: «Я не заметил ее. Я сидел на верблюде и читал Ронсара».

Помню одну из его редких обмолвок на злобу дня: «Какая прекрасная тема для трагедии лет через сто — Керенский».

Летом Гумилев уехал в командировку в Салоники.

До Салоников Гумилев не доехал, он остался в Париже. Из-за него возникла сложная переписка между Петербургом и Парижем — из Петербурга слали приказы «прапорщику Гумилеву» немедленно ехать в Салоники, из Парижа какое-то военное

начальство, которое Гумилев успел очаровать, этим приказам сопротивлялось. Пока шла переписка, случился октябрьский переворот. Гумилев долго оставался в Париже, потом переехал в Лондон.

За год заграничной жизни Гумилевым было написано много стихов, большая пьеса «Отравленная туника», ряд переводов. Он наверстывал время, потерянное на фронте.

За границей Гумилев отдыхал. Но этот «отдых» стал слишком затягиваться. На русских смотрели косо, деньги кончались. Гумилев рассказывал, как он и несколько его приятелей-офицеров, собравшись в кафе, стали обсуждать, что делать дальше. Один предлагал поступить в Иностранный Легион, другой — ехать в Индию охотиться на диких зверей. Гумилев ответил: «Я дрался с немцами три года, львов тоже стрелял. А вот большевиков я никогда не видел. Не поехать ли мне в Россию. Вряд ли это опаснее джунглей». Гумилева отговаривали, но напрасно. Он отказался от почетного и обеспеченного назначения в Африку, которое ему устроили его влиятельные английские друзья. Подоспел пароход, шедший в Россию. Сборы были недолги. Провожающие поднесли Гумилеву серую кепку из блестящего шляпочного магазина на Пиккадилли, чтобы он имел соответствующий вид в пролетарской стране.

Летом 1918 года Гумилев снова был в Петербурге{124}. Он гулял по разоренному Невскому, сидел в тогдашних жалких кафе, навещал друзей, как всегда спокойный и надменный. У него был вид любопытствующего туриста. Но надо было существовать, к тому же Гумилев только что женился (вторым браком на А. Н. Энгельгардт). До сих пор Гумилеву не приходилось зарабатывать на жизнь — он жил на ренту. Но Гумилев не растерялся.

— Теперь меня должны кормить мои стихи, — сказал он мне.

Я улыбнулся.

— Вряд ли они тебя прокормят.

— Должны!

Он добился своего — до самой своей смерти Гумилев жил литературным трудом. Сначала изданием новых стихов и переизданием старых. Потом переводами (сколько он их сделал!) для «Всемирной литературы». У него была большая семья на руках. Гумилев сумел ее «прокормить стихами».

Кроме переводов и книг были еще лекции в Пролеткульте, Балтфлоте и всевозможных студиях. Тут платили натурой — хлебом, крупой. Это очень нравилось Гумилеву — насущный хлеб в обмен на духовный. Ему нравилась и аудитория — матросы,

рабочие. То, что многие из них были коммунисты, его ничуть не стесняло. Он, идя после лекции, окруженный своими пролетарскими студистами, как ни в чем не бывало снимал перед церковью шляпу и истово, широко крестился. Раньше о политических убеждениях Гумилева никто не слыхал. В советском Петербурге он стал даже незнакомым, даже явно большевикам открыто заявлять: «Я монархист». Помню, какой глухой шум пошел по переполненному рабочими залу, когда Гумилев прочел:

Я бельгийский ему подарил пистолет
И портрет моего государя.

Гумилева уговаривали быть осторожнее. Он смеялся: «Большевики презирают перебежчиков и уважают саботажников. Я предпочитаю, чтобы меня уважали».

Приведу для контраста другой разговор, в те же дни, в разгар террора, но в кругу настоящих сторонников всего старого. Кто-то наступал, большевики терпели поражения, и присутствующие, уверенные в их близком падении, вслух мечтали о днях, когда они «будут у власти». Мечты были очень кровожадными. Заговорили о некоем П., человеке «из общества», ставшем коммунистом и заправилой «Петрокоммуны». Один из собеседников собирался его душить «собственными руками», другой стрелять, «как собаку», и т. п.

— А вы, Николай Степанович, что бы сделали?

Гумилев постучал папиросой о свой огромный черепаховый портсигар:

— Я бы перевел его заведовать продовольствием в Тверь или Калугу, Петербург ему не по плечу.

В своей квартире, на Преображенской, Гумилев сидел по большей части в передней. По советским временам парадная была закрыта, и из передней вышел уютный маленький кабинет. Там над диваном висела картина тридцатых годов, изображавшая семью Гумилевых в гостиной. Картинка была очень забавна, особенно мил был какой-то дядюшка, томно стоявший за роялем. Он был без ног — художник забыл их нарисовать. Гумилев охотно рассказывал историю всех изображенных.

Гумилев любил там сидеть у круглой железной печки, вороша угли игрушечной саблей своего сына. Тут же на полке стоял большой детский барабан.

— Не могу отвыкнуть, — шутил Гумилев, — человек военный, играю на нем по вечерам.

В квартире водилась масса крыс.

— Что вы, что вы, — говорил Гумилев, когда ему давали

советы, как от крыс избавиться, — я, напротив, их развожу на случай голода. Чтобы их приручить, я даже иногда приятельски здороваюсь со старшей крысой за лапу.

Убирать квартиру приходила дворничиха Паша. Она очень любила слушать стихи.

— Почитайте что-нибудь, Николай Степанович, пока я картошку почищу.

— А по-французски можно?

— Что желаете.

Гумилев читал вслух Готье, Паша чистила картошку, сочувственно вздыхая. Гумилев начинал фантазировать: «Погодите, Паша, вот скоро большевиков прогонят, будете вы мне на обед жарить уток». — «Дай Бог, Николай Степанович, дай Бог». — «Я себе тогда аэроплан куплю. Скажу: Паша, подайте мне мой аэроплан. Я полетаю до обеда недалеко — вон до той тучки». — «Дай Бог, дай Бог!»

Гумилев вставал поздно, слонялся полуодетый по комнатам, читал то Блэка, то «Мир приключений», присаживался к столу, начинал стихи, доедал купленные вчера сладости.

— Это и есть самая приятная жизнь, — говорил он.

— Приятнее, чем путешествовать по Африке?

— Путешествовать по Африке отвратительно. Жара. Негры не хотят слушаться, падают на землю и кричат: «Калас» (дальше не иду). Надо их поднимать плеткой. Злишься так, что сводит челюсти. Я вообще не люблю юга. Только на севере европеец может быть счастлив. Чем ближе к экватору, тем сильнее тоска. В Абиссинии я выходил ночью из палатки, садился на песок, вспоминал Царское, Петербург, северное небо и мне становилось страшно, вдруг я умру здесь от лихорадки и никогда больше всего этого не увижу.

— А на войне?

— На войне то же самое. Страшно и скучно. Когда идешь в конную атаку: «Пригнись!» Я не пригибался. Но прекрасно сознавал, какой это риск. Храбрость в том и заключается, чтобы подавить страх перед опасностью. Ничего не боящийся Козьма Крючков не храбрец, а чурбан.

И еще неприятно на войне — целые дни в сапогах, нельзя надеть туфлей, болят ноги.

За полгода до смерти Гумилев сказал: «Знаешь, я смотрел, как кладут печку и завидовал — знаешь, кому? — кирпичикам. Так плотно их кладут, так тесно и еще замазывают между ними каждую щелку, чтобы нигде не дуло. Кирпич — к кирпичу. Друг — к другу, все вместе — один за всех, все за одного… Самое

страшное в жизни — одиночество. А я так одинок…»

И, точно недоумевая, прибавил:

— В сущности, я — неудачник.

Меня не удивили эти слова, многих бы удивившие. Гумилев действительно был очень одинок. Бесстрастная, почти надменная маска — сноба, африканского охотника, «русского Теофила Готье» — скрывала очень русскую, беспокойную и взволнованную, не находящую удовлетворения душу. О, как далек был в сущности своей Гумилев от блестящего и пустого Готье! Он сам это хорошо сознавал. Но, сознавая, с тем большим упорством, сжимая зубы, шел раз выбранной дорогой — «линией наивысшего сопротивления».

Всю свою короткую жизнь Гумилев был окружен холодным и враждебным непониманием. И он то злился, то иронизировал:

…О нет, я не актер трагический,
Я ироничнее и суше.
Я злюсь, как идол металлический
Среди фарфоровых игрушек.

Он помнит головы курчавые,
Склоненные к его подножью,
Жрецов молитвы величавые,
Леса, охваченные дрожью…

И видит, горестно смеющийся,
Всегда недвижные качели,
Где даме с грудью выдающейся
Пастух играет на свирели.

Всю жизнь Гумилев посвятил одному: заставить мир вспомнить, что

…в Евангелии от Иоанна
сказано, что слово — это Бог.

«Божественность дела поэта» он старался доказать и «утвердить» всеми доступными человеку средствами на личном примере. В этом смысле — как это ни странно звучит — Гумилев погиб не столько за Россию, сколько за поэзию…

В этом смысле — при всех своих литературных успехах — он был прав, считая себя неудачником. Всю жизнь он, как укротитель, хлопал бичом, готовый быть растерзанным, а звери

отворачивались и равнодушно зевали…

В этом смысле — первой блестящей победой Гумилева была его смерть.

В кронштадтские дни две молодые студистки встретили Гумилева, одетого в картуз и потертое летнее пальто с чужого плеча. Его дикий вид показался им очень забавным, и они расхохотались.

Гумилев сказал им фразу, смысл которой они поняли только после его расстрела:

— Так провожают женщины людей, идущих на смерть.

Он шел, переодевшись, чтобы не бросаться в глаза, в рабочие кварталы вести агитацию среди рабочих. Он уже состоял тогда в злосчастной «организации», из-за участия в которой погиб.

Говорят, что Гумилева предупреждали об опасности и предлагали бежать. Передают и его ответ: «Благодарю вас, но бежать мне незачем».

В тюрьму Гумилев взял с собой Евангелие и Гомера. Он был совершенно спокоен при аресте, на допросах и — вряд ли можно сомневаться — что и в минуту казни.

Так же спокоен, как когда стрелял львов, водил улан в атаку, говорил о верности «своему Государю» в лицо матросам Балтфлота. Уже зная, что его ждет, он писал жене: «Не беспокойся. Я здоров, пишу стихи и играю в шахматы…»

…И нет на его могиле
Ни холма, ни креста — ничего.

Но любимые им серафимы
За его прилетели душой.
И звезды в небе пели:
«Слава тебе, герой!»{125}

Николай Оцуп{126}
Н. С. Гумилев

Когда меня в начале 1918 года привели знакомиться с Н. С. Гумилевым, я сразу вспомнил, что уже где-то видел и слышал его. Где же? Сначала вспоминается мне «Привал комедиантов» в конце 1915-го или в начале 1916 года{127}. Вольноопределяющийся с Георгиевским крестом читает свои стихи:

Как собака на цепи тяжелой
Тявкает за лесом пулемет…

Стихи он читает с трудом, как будто воздуха ему не хватает, несколько согласных произносит совсем невнятно, чуть-чуть в нос, и все же голос звучит уверенно и громко. Гумилеву аплодируют, он сходит с эстрады в публику и останавливается перед столиком дамы, его окликнувшей. Дама что-то говорит тихим голосом, показывая глазами на А. Толмачева, одного из поэтов свиты Игоря Северянина. Она, очевидно, просит Гумилева, в этот вечер мэтра эстрады, пригласить Толмачева{128} прочесть стихи. Гумилев отвечает нарочно громким голосом так, чтобы слышно было Толмачеву:

«Я не могу допустить, когда я мэтр эстрады, выступление футуриста».

Я вспоминаю этот вечер, сидя за чаем у Гумилева в комнате, по стенам которой развешаны персидские миниатюры, шкура пантеры и длинное арабское ружье.

Гумилев рассказывает, как он убил пантеру, а мне мучительно хочется припомнить, где же еще раньше, гораздо раньше, чем в Привале, я видел эти странные косые глаза и слышал эту медленную важную речь.

И вдруг совершенно ясно вспоминаю царскосельский пейзаж, кажется, площадь у ворот «любезным моим сослуживцам» и гимназиста Гумилева.

Он так же важно и медлительно, как теперь, говорит что-то моему старшему брату Михаилу. Брат и Гумилев были не то в одном классе, не то Гумилев был классом младше. Я моложе брата на 10 лет, значит, мне было тогда лет 6, а Гумилеву лет пятнадцать{129}. И все же я Гумилева отлично запомнил, потому что более своеобразного лица не видел в Царском Селе ни тогда, ни после. Сильно удлиненная, как будто вытянутая вверх голова,

косые глаза, тяжелые, медлительные движения и ко всему очень трудный выговор, — как не запомнить! Помню, тогда же брат сказал мне, что этот гимназист — поэт Гумилев и что стихи его даже появились недавно в гимназическом журнале. Значительно позднее, лет через десять, у кого-то из царскоселов я видел уцелевший номер этого рукописного журнала. Там действительно были какие-то ранние, очень звонкие стихи Гумилева, не включенные им, конечно, даже в первую книжку стихов.

Были у меня и другие воспоминания о молодом Гумилеве, вернее, о том образе поэта, который создавался из рассказов о нем и его друзей Хмара-Барщевских{130}.

Гумилев, уже собиравший первую книгу стихов, бывал у Хмара-Барщевских и Анненских. В те годы я еще готовился поступить в первый класс гимназии. Когда Хмара-Барщевские меня пригласили репетитором, я сразу попал в атмосферу, насыщенную воспоминаниями о «последнем из царскосельских лебедей»{131}, заполненную беседами о стихах и поэтах. Вот за эти два-три года я узнал многое об Анненском, в частности об отношении его к Гумилеву.

По рассказам Хмара-Барщевских, еще за шесть лет до своей смерти Анненский с вниманием следил за первыми литературными шагами Гумилева. Царскоселам, любившим поэзию, в те годы были известны имена земляков-поэтов Валентина Кривича (сына Иннокентия Анненского), Д. Коковцева, графа Комаровского и Н. Гумилева. Кривич больше за отцовские заслуги считался маститым. Комаровского считали не совсем нормальным (он действительно был серьезно болен), и к поэзии его особенно серьезных требований никто не предъявлял. Гумилева похваливали, но всегда ставили ему в пример Митеньку Коковцева: «Вот Коковцев уже сейчас настоящий поэт, а вы работайте, может быть, что-нибудь и выйдет».

Гумилев работал, ходил к Анненскому, и постепенно последнему стало ясно, что он имеет дело с подлинным поэтом.

Анненский любил стихи почти никому не известной гимназистки Горенко (Анны Ахматовой) больше, чем стихи Гумилева, но с необычайной прозорливостью предвидел, что Гумилев пойдет по пути Брюсова успешнее, чем сам Брюсов. Этого, конечно, никто из ослепленных тогда великолепием брюсовской славы не думал. Меньше всех думал об этом в те годы, конечно, сам Гумилев, Брюсова боготворивший.

Все это вспоминалось мне в тот день, когда мой сверстник, тоже царскосел, поэт Рождественский, даже физически трепетавший перед Гумилевым, представил меня мэтру. Мэтр был к нам милостив, он недавно написал в одной из уже умиравших

«буржуазных» газет лестную рецензию о нашем студенческом альманахе «Арион».

Первый разговор с Гумилевым оставил во мне глубокий след. Живой облик его как-то сразу согласовался с тем образом человека и поэта, который создался у меня раньше по рассказам Хмара-Барщевских, по стихам Гумилева и письмам его о русской поэзии в «Аполлоне».

Гумилев был человек простой и добрый. Он был замечательным товарищем. Лишь в тех случаях, когда дело касалось его взглядов на жизнь и на искусство, он отличался крайней нетерпеливостью{132}.

И я в родне гиппопотама,
Одет в броню моих святынь,
Иду торжественно и прямо
Без страха посреди пустынь.

Эти строчки Готье, переведенные Гумилевым, как будто специально написаны французским поэтом о своем русском переводчике.

Никогда Гумилев не старался уловить благоприятную атмосферу для изложения своих идей. Иной бы в атмосфере враждебной смолчал, не желая «метать бисер», путаться с чернью, вызывать скандал и пр. А Гумилев знал, что вызывал раздражение, даже злобу, и все-таки говорил не из задора, а просто потому, что не желал замечать ничего, что идеям его враждебно, как не желал замечать революцию.

Помню, в аудитории, явно почитавшей гениями сухих и простоватых «формалистов», заговорил Гумилев о высоком гражданском призвании поэтов-друидов, поэтов-жрецов. В ответ он услышал грубую реплику; ничего другого, он это отлично знал, услышать не мог и разубедить, конечно, тоже никого не мог, а вот решил сказать и сказал, потому что любил идти наперекор всему, что сильно притяжением ложной новизны{133}.

Тогда такие выступления Гумилева звучали вызовом власти. Сам Гумилев даже пролеткультовцам говаривал: «Я монархист».

Гумилева не трогали, так как в тех условиях такие слова принимали за шутку…

Рассказывали, что на лекции в литературной студии Балтфлота кто-то из сотни матросов, в присутствии какого-то цензора-комиссара, спросил Гумилева:

— Что же, гражданин лектор, помогает писать хорошие стихи?

— По-моему, вино и женщины, — спокойно ответил

гражданин лектор.

Тем, кто знает сложное поэтическое мировоззрение Гумилева, конечно, ясно, что такой ответ мог иметь целью только подразнить «начальство». Ведь начальство и в отношении к поэзии насаждало всюду систему воспитания в духе марксизма.

Буржуазному спецу разрешалось говорить о технике стиха, «идеологию» комиссары оставляли за собой. А тут вдруг такой скандальный совет воспитывать в себе поэта не с помощью «Капитала», а…

По окончании лекции комиссар попросил Гумилева прекратить занятия в студии Балтфлота.

Кто из петербуржцев не помнит какой-то странной, гладким мехом наружу, шубы Гумилева с белыми узорами по низу (такие шубы носят зажиточные лопари). В этой шубе, в шапке с наушниками, в больших тупоносых сапогах, полученных из Кубу (Комиссии по улучшению быта ученых), важный и приветливый Гумилев, обыкновенно окруженный учениками, шел на очередную лекцию в Институт Живого Слова, Дом Искусств, Пролеткульт, Балтфлот и тому подобные учреждения. Лекции он, как и все мы, читал почти никогда не снимая шубы, так холодно было в нетопленых аудиториях. Пар валит изо рта, руки синеют, а Гумилев читает о новой поэзии, о французских символистах, учит переводить и даже писать стихи. Делал он это не только затем, чтобы прокормить семью и себя, но и потому, что любил, всем существом любил поэзию и верил, что нужно помочь каждому человеку стихами облегчать свое недоумение, когда спросит он себя: зачем я живу? Для Гумилева стихи были формой религиозного служения.

Есть доля правды в словах Блока, будто поэтическая школа Гумилева (акмеизм) была «привозной заграничной штучкой» (смотр. несправедливую и все же прекрасную статью Блока «Без божества, без вдохновенья» — о «Цехе акмеистов»). Доля правды потому, что русскому писателю, конечно, не свойственна ни в какой мере поза Леконта де Лиля, свысока озирающего дальние страны и минувшие времена с большей охотой, чем свою родину, свою эпоху. Главным образом за это читающая Россия (и Блок в том числе) от Гумилева отстранялась, но, отстранившись, проглядела в нем величественную и спокойную правду поэзии, выходящей за пределы пространства и времени.

Многие помнят прекрасные слова Блока: «Революция была одним из проявлений тех событий, свидетелями которых мы были в наших собственных душах. Как сорвалось что-то в нас, так сорвалось оно и в России. И сама Россия в лучах этой новой гражданственности оказалась нашей собственной душой» (статья

«О современном состоянии русского символизма» в «Аполлоне» (1910 г.).

Что ответил на эти слова Гумилев:

«Бедность воображения обнаружит тот, кто будет представлять себе эволюцию личности в условиях времени и пространства» (статья «Наследие символизма и акмеизм» тоже в «Аполлоне» двумя-тремя годами позднее статьи Блока).

То и другое — правда.

Первая правда ударяет по сердцам, вторая расхолаживает.

Блока любили все, Гумилева только друзья. И никогда, надо надеяться, не разлюбят в России «наше солнце, в муках погасшее, Александра, лебедя чистого».

Но хочется верить, что скоро в России окончательно поймут, а значит, и полюбят вдохновенную волю Гумилева к трезвому, ни от каких потрясений не зависимому, совершенному искусству.

Быть может, будущее нашей поэзии в каком-то таинственном синтезе путей Блока и Гумилева.

Помню ночь у меня на Серпуховской, где в зимы 19-го, 20-го и 21-го годов и Гумилев, и многие другие поэты бывали очень часто.

Глухо долетают издали пушечные выстрелы (ночь наступления на Кронштадт). Гумилев сидит на ковре, озаренный пламенем печки, я против него тоже на ковре. В доме все спят. Мы стараемся не говорить о происходящем — было что-то трагически-обреченное в кронштадтском движении, как в сопротивлении юнкеров в октябре 1917 года.

Стараемся говорить и говорим об искусстве.

— Я вожусь с малодаровитой молодежью, — отвечает мне Гумилев, — не потому, что хочу сделать их поэтами. Это, конечно, немыслимо — поэтами рождаются, — я хочу помочь им по человечеству. Разве стихи не облегчают, как будто сбросил с себя что-то. Надо, чтобы все могли лечить себя писанием стихов…

Гумилев не боялся смерти. В стихах он не раз благословлял смерть в бою. Его угнетала лишь расправа с безоружными.

Помню жестокие дни после кронштадтского восстания.

На грузовиках вооруженные курсанты везут сотни обезоруженных кронштадтских матросов.

С одного грузовика кричат: «Братцы, помогите, расстреливать везут!»

Я схватил Гумилева за руку. Гумилев перекрестился. Сидим на бревнах на Английской набережной, смотрим на льдины, медленно плывущие по Неве. Гумилев печален и озабочен.

«Убить безоружного, — говорит он, — величайшая подлость». Потом, словно встряхнувшись, он добавил: «А вообще смерть не страшна. Смерть в бою даже упоительна».

Есть упоение в бою
И бездны мрачной на краю, —

вспомнились мне слова Пушкина.

Первая строчка о Гумилеве, вторая о Блоке…

Последние два-три года жизни Гумилева почти день за днем известны нескольким ближайшим его друзьям, в том числе и пишущему эти строки.

Мы встречались каждый день и ездили вместе в бывшее Царское, тогда уже Детское Село — Гумилев читать лекции в Институте Живого Слова, я проведать мать. С ней и Гумилев подружился. Ей написал он свой последний экспромт (о Царском Селе).

Этот экспромт в одном из зарубежных журналов был моей матерью опубликован.

Вот он:

Не Царское Село — к несчастью,
А Детское Село — ей-ей.
Что ж лучше: быть царей под властью
Иль быть забавой злых детей?

У моей матери хранились несколько месяцев книги Гумилева, тайно вынесенные им самим и студистами из реквизированного Детскосельским Советом собственного дома, полученного Гумилевым в наследство от отца. Эти книги незадолго до ареста Гумилев с моей помощью в корзинах перевез на свою петербургскую квартиру.

Никогда мы не забудем Петербурга периода запустения и смерти, когда после девяти часов вечера нельзя было выходить на улицу, когда треск мотора ночью за окном заставлял в ужасе прислушаться: за кем приехали? Когда падаль не надо было убирать — ее тут же на улице разрывали исхудавшие собаки и растаскивали по частям еще более исхудавшие люди.

И все же в эти годы было что-то просветлявшее нас, и все же

Я тайно в сердце сохраняю
Тот неземной и страшный свет,
В который город был одет.

Я навсегда соединяю
С Италией души моей
Величие могильных дней.
Как будто наше отрешенье
От сна, от хлеба, от всего
Душе давало ощущенье
И созерцанья торжество…

Умирающий Петербург был для нас печален и прекрасен, как лицо любимого человека на одре.

Но после августа 21-го года в Петербурге стало трудно дышать, в Петербурге невозможно было оставаться — тяжкобольной город умер с последним дыханием Блока и Гумилева.

Помню себя быстро взбегающего по знакомой лестнице Дома Искусств. Иду к двери Гумилева и слышу сдавленный шепот за спиной.

Оборачиваюсь — Е., один из служащих Дома Искусств, бывший лакей Елисеева:

«Не ходите туда, у Николая Степановича засада».

Все следующие дни сливаются в одном впечатлении Смоленского кладбища, где хоронили Блока, и стенной газеты, сообщавшей о расстреле Гумилева{134}.

Гроб Александра Александровича Блока мы принесли на кладбище на руках. Ныло плечо от тяжелой ноши, голова кружилась от ладана и горьких мыслей, но надо было действовать: Гумилева не выпускают. Тут же на кладбище С. Ф. Ольденбург, ныне покойный А. Л. Волынский, Н. М. Волковысский и я сговариваемся идти в Чека с просьбой выпустить Гумилева на поруки Академии наук, Всемирной литературы и еще ряда других не очень благонадежных организаций. К этим учреждениям догадались в последнюю минуту прибавить вполне благонадежный Пролеткульт и еще три учреждения, в которых Гумилев читал лекции.

О посещении нами Чека с челобитной от всех приблизительно перечисленных выше учреждений уже вспоминал, кажется, Н. М. Волковысский.

Говорить об этом тяжело. Нам ответили, что Гумилев арестован за должностное преступление.

Один из нас ответил, что Гумилев ни на какой должности не состоял. Председатель петербургской Чека был явно недоволен, что с ним спорят.

— Пока ничего не могу сказать. Позвоните в среду. Во всяком

случае ни один волос с головы Гумилева не упадет.

В среду я, окруженный друзьями Гумилева, звоню по телефону, переданному чекистом нашей делегации.

— Кто говорит?

— От делегации (начинаю перечислять учреждения).

— Ага, это по поводу Гумилева, завтра узнаете.

Мы узнали не назавтра, когда об этом знала уже вся Россия, а в тот же день.

Несколько молодых поэтов и поэтесс, учеников и учениц Гумилева, каждый день носили передачу на Гороховую.

Уже во вторник передачу не приняли.

В среду{135} после звонка в Чека молодой поэт Р. и я бросились по всем тюрьмам искать Гумилева. Начали с Крестов, где, как оказалось, политических не держали.

На Шпалерной нам удалось проникнуть во двор, мы взошли по лестнице во флигеле и спросили сквозь решетку какую-то служащую: где сейчас находится арестованный Гумилев?

Приняв нас, вероятно, за кого-либо из администрации, она справилась в какой-то книге и ответила из-за решетки:

«Ночью взят на Гороховую».

Мы спустились, все больше и больше ускоряя шаг, потому что сзади уже раздавался крик:

— Стой, стой, а вы кто будете?!

Мы успели выйти на улицу.

Вечером председатель Чека, принимавший нашу делегацию, сделал в закрытом заседании Петросовета доклад о расстреле заговорщиков: проф. Таганцева, Гумилева и других.

В тот же вечер слухи о содержании этого доклада обошли весь город.

Потом какие-то таинственные очевидцы рассказывали кому-то, как стойко Гумилев встретил смерть.

Что это за очевидцы, я не знаю — и без их свидетельства нам, друзьям покойного, было ясно, что Гумилев умер достойно своей славы мужественного и стойкого человека.

Николай Оцуп{136}
Николай Степанович Гумилев

Я горжусь тем, что был его другом в последние три года его жизни. Но дружба, как и всякое соседство, не только помогает, она и мешает видеть. Обращаешь внимание на мелочи, упуская главное. Случайная ошибка, неудачный жест заслоняют качества глубокие, скрытые. Вот почему вся мемуарная литература должна приниматься с осторожностью.

По случаю пятилетия со дня смерти поэта, в 1926 году, я опубликовал в «Последних Новостях» воспоминания о нем. Ни от одной строчки моей статьи я не отказываюсь. В смысле живости впечатлений недавнее даже много сильнее, чем давнее. Но признаюсь, что позднее, когда случайное моих частых встреч с Гумилевым, наши споры, несогласия, недоразумения, как и порывы непосредственного восхищения, когда все это отодвинулось, только тогда мало-помалу не менее близким, чем сам поэт, стало для меня его творчество и даже мне показалось досадным, что я не сразу увидел все, что вижу теперь. Настоящий поэт именно этого и ждет.

Гумилева я всегда любил, но лишь сравнительно недавно произошла эта моя вторая с ним встреча. Слились в одно факты, о которых я узнал из его биографии, и те, которые мне привелось наблюдать самому. Гумилев — человек, поэт, теоретик, глава школы — теперь для меня едины. Пленительная это фигура, одна из самых пленительных в богатой замечательными людьми русской поэзии. Попробуем восстановить этот образ.

Гумилев родился в Кронштадте в 1886 году. Раннее детство провел в Царском Селе. Родился в крепости, охраняющей дальнобойными пушками доступ с моря в город Петра.

Для будущего мореплавателя и солдата нет ли здесь предзнаменования? А Царское Село, воистину город муз, город Пушкина и Анненского, не это ли идеальное место для будущего поэта?

О своем детстве Гумилев рассказывает в двух стихотворениях: «Детство» и «Память».

«Детство» начинается словами:

> Я ребенком любил большие,
> Медом пахнущие луга,
> Перелески, травы сухие
> И меж трав бычачьи рога.

Царскоселы вряд ли ошибутся, узнавая в этих строчках знакомые места, например, по дороге на станцию Александровскую, где иногда приходилось сходить с дороги, пропуская огромное стадо великолепного племенного скота, которое гнали с придворных ферм на «медом пахнущие луга».

В этой вещи Гумилева описан очень впечатлительный ребенок, друг животных и растений, уже мечтающий о смерти, но как о каком-то апофеозе слияния с природой.

Еще замечательнее строфа о детстве из автобиографического стихотворения «Память». Превосходное это стихотворение. Поэт и озирается на свое прошлое, и пророчествует о будущем…

Самый первый, некрасив и тонок,
Полюбивший только сумрак рощ,
Лист опавший, колдовской ребенок,
Словом останавливавший дождь.

Гумилев написал эти строчки уже «посередине странствия земного». Две особенности автора: физическая и психическая, отмечены в них.

Да, он был некрасив. Череп, суженный кверху, как будто вытянутый щипцами акушера. Гумилев косил, чуть-чуть шепелявил. В детстве он должен был от этого страдать, особенно сравнивая себя с более удачливыми детьми. Ведь он, как большинство поэтов, влюблялся очень рано. Нет сомнения, что в лучшей своей драме «Гондла» он выбрал героем горбуна, несчастного в любви, но одаренного чудным даром певца, отчасти по мотивам личным. Но об этом — впереди.

«Колдовской ребенок». Чрезвычайно важно и это. Пушкин этого про себя не сказал бы. Но Гумилев нес в себе и веру, и суеверия, сближающие его с поэтами Средневековья. Он почитал астрологов, изучал Кабалу, верил в заклинательную силу амулетов.

Дерево да рыжая собака,
Вот кого он взял себе в друзья.

Значит, уже ребенком Гумилев был одиноким. Не человек ему друг. Мотив настойчивый. В «Детстве» он говорит:

Умру с моими друзьями,

Мать-и-мачехой, лопухом…

Все мы помним его веселым, общительным. А вот что было в его душе: с детских лет он от людей бежал, спасался. Не оттого ли так пленяла его «Муза дальних странствий»? Не оттого ли в путешествиях, на войне он более у себя, в своей стихии, чем в размеренных буднях, которых не выносил?

Козьмин сообщает о жизни Гумилева в Тифлисе, куда он перевелся в четвертый класс гимназии и где увлекался марксизмом{137}. Вряд ли это существенно. Уже в 1903 году он снова в Царском Селе{138}. Здесь гимназистом переживает он военный разгром России на Дальнем Востоке и первую революцию.

Гумилев был старше меня на 8 лет и был одно время одноклассником одного из моих старших братьев. Говорили о нем как о поэте менее талантливом, чем Митенька Коковцев, мистик, тоже царскосел. Многое узнал я о Гумилеве и Ахматовой у Хмара-Барщевских, родственников Анненского.

Сближая рассказы с хроникой тех лет, вижу франтоватого гимназиста, не разделяющего увлечения революцией, стоящего вдалеке от событий, надменного, замкнутого, уже поглощенного жаждой славы. Хорошее ли это чувство? В самом высоком плане, конечно, нет. Но если, например, даже такой поэт, как Леопарди, пишет в дневнике о своей «огромной, безграничной жажде славы», стоит ли за то же осуждать Гумилева? Он, впрочем, сам себя судил строго. Вот что говорит он про себя, юношу:

Он совсем не нравится мне. Это
Он хотел стать Богом и царем,
Он повесил вывеску поэта
Над дверьми в мой молчаливый дом.

Вспомним, в какую эпоху наш юноша захотел стать Богом и царем.

«Победоносцев над Россией простер совиные крыла», — говорит Блок. Интеллигенция, которая еще для славянофила Ивана Аксакова была выражением всех живых сил страны, не внушала уважения по многим причинам. Млея от сочувствия революционерам, она боялась открыто вмешиваться в события. Жили прошлым, то есть эпохой великих реформ, и надеждами на будущее.

В искусстве побеждало декадентство, и первые большие поэты символизма искали уже связи с национальной стихией.

Пока же царил Бальмонт. Его «Будем, как солнце» воспринималось как откровение.

Царскосел Э. Голлербах очень смешно рассказывает, как гимназист Гумилев, без устали ухаживавший за барышнями, целый час умолял одну из них, катая ее на извозчике:

— Будем, как солнце!

Быть как солнце значило тогда выполнять завет того же Бальмонта:

Хочу быть дерзким, хочу быть смелым,
Из сочных гроздьев венки сплетать.
Хочу упиться роскошным телом,
Хочу одежды с него сорвать.

Бальмонту вторил Брюсов:

Мы натешимся с козой,
Где лужайку сжали стены.

Теперь нашли бы у Гумилева фрейдовский комплекс: считая себя уродом, он тем более старался прослыть Дон Жуаном, бравировал, преувеличивал. Позерство, идея, будто поэт лучше всех других мужчин для сердца женщин, идея романтически-привлекательная, но опасная, — вот черты, от которых Гумилев до конца дней своих не избавился. Его врагам и так называемым друзьям, которые, конечно, всегда хуже, чем открытые враги, это давало пищу для скверных шуток, для злословия за спиной. Но Гумилев был чистым, несмотря на «гумилизм».

Верный своему учителю Валерию Брюсову, он все же никогда не стал бы воспевать некрофильства, как это делал автор «Всех напевов». Гумилев был Дон Жуаном из задора, из желания свою робкую, нежную, впечатлительную натуру сломать. Но было бы ошибкой считать, что героем он не был, что целиком себя выдумал. Бряцая медью в первом насквозь подражательном сборнике «Путь конквистадоров», он понемногу от Бальмонта и даже от французских парнасцев переходил к более серьезным, более глубоким увлечениям.

«Ему всю жизнь было 16 лет!» — восклицает тот же Голлербах, никогда Гумилева не понимавший и не любивший.

Гораздо проницательнее Андрей Левинсон, сближавший автора «Мика и Луи», очаровательной африканской поэмы, с героями Фенимора Купера и Густава Эмара{139}. Но и это не верно. Гумилев — дитя и мудрец. Оба начала развивались в нем на

редкость гармонично.

Как дитя, впервые увидевшее мир и полное неудержимого восторга, он как бы наново открывал Африку, «грозовые военные забавы», женскую любовь.

Но ведь такой мудрец, как Вордсворт, учитель par exellence, The teacher, именно этого и требовал от истинного поэта. Оттого и дороги были Гумилеву, непрерывно что-то для себя открывавшему не только во внешнем мире, но и в книгах, оттого и дороги были ему Вордсворт, Кольридж, поэты озерной школы.

Чрезвычайно высоко ставил он и Теофиля Готье, которого глубоко понял, превосходно переводил и которому посвятил замечательную статью. Готье современники тоже считали холодным. Гумилев с огненным своим, но затаенным горением принял обиду, нанесенную Готье, как свою собственную.

Понял он хорошо и Франсуа Виллона, поэта более значительного, чем Верлен.

Недооценил, правда, А. де Виньи, хотя и взял из него две строчки эпиграфом для своих «Жемчугов». Иначе, наверно, посвятил бы этому едва ли не лучшему из поэтов Франции хотя бы несколько строк в своих всегда умных и проницательных статьях. Зато понял и полюбил Рабле и Шекспира.

Жажда все узнать, все испытать у декадентов ограничивалась кабинетными путешествиями в историю и географию народов, а также эротическими вдохновениями сомнительного свойства. Гумилев прошел и через это, но, как случайный гость, не без отвращения, как мы видели, к самому себе.

Его тянет на простор, в первобытное, неиспорченное.

Плохой ученик, он сравнительно поздно кончил гимназию. И…

> Вот мой Онегин на свободе…

Только он не «одетый по последней моде». Скорее как бедный студент-энтузиаст живет он в Париже. И все же в 1907 году он в Африке.

> Я люблю избранника свободы,
> Мореплавателя и стрелка.
> Ах, ему так звонко пели воды
> И завидовали облака.

Гумилев нес сам в себе противоядие против того, что его окружало. Упадок религиозный, моральный, отчасти и

политический в первом десятилетии нашего века был для него искуплен мощной силой русского модернизма. Он ощущал восьмидесятые годы с их полной отсталостью как позор.

Прозвучавшая в 1892 году как призыв опомниться статья Мережковского «О причинах упадка русской литературы» была предвестницей своего рода Sturm und Drang. Несмотря на все недостатки и уродства декадентства, оно вновь поднимало русскую поэзию на европейский уровень.

Гумилев понял, какая восходящая волна его несет. Отдаваясь с восторгом новым веяниям, он уже кует оружие для литературной борьбы. В нем зреет организатор, боец.

И вот, после первых головокружительных ощущений в Африке, привезя с собой вторую книгу стихов «Романтические цветы», напечатанную в 1908 году в Париже, он снова в Царском Селе.

Поразительный учитель ему дан, увы, всего лишь на два года: Иннокентий Анненский.

Я помню дни: я, робкий, торопливый,
Входил в высокий кабинет,
Где ждал меня спокойный и учтивый,
Слегка седеющий поэт.

Почему же «надменный, как юноша, лирик» (так называл себя сам Гумилев)[{140}], почему же он стал «робким, торопливым»? Не потому ли, что надменным он был в среде игравших в поэзию и в высокие чувства современников? Позднее он им бросил вызов:

Да, я знаю, я вам не пара,
Я пришел из другой страны.

Но к чему было ему защищаться, отмежевываться от Анненского. Наш «конквистадор» в своих брюсовских доспехах чувствует себя в присутствии истинного большого поэта обезоруженным. Из поэтов, современников Анненского, Гумилев, кажется, первый понял его значение. Анненский тоже отнесся к нему хорошо:

Меж нами сумрак жизни длинной,
Но этот сумрак не корю,
И мой закат холодно-дынный
С отрадой смотрит на зарю

(Анненский — Гумилеву).

Еще один поэт, тоже эллинист, ученик Моммзена, человек блестящего ума и эрудиции, Вячеслав Иванов, привлек в это время автора «Романтических цветов». «Назови мне своих друзей, и я скажу тебе, кто ты». Человек, ищущий дружбы таких сложных и тонких носителей культуры, как Анненский и Вячеслав Иванов, вряд ли похож на вечного гимназиста, каким пытались Гумилева изобразить его враги. Они считали его пустым. За него хочется ответить эпиграммой Пушкина:

Хоть, может, он поэт изрядный,
Эмилий — человек пустой.
А ты чем полон, шут нарядный?
А, понимаю, сам собой.
Ты полон дряни, милый мой!

«Романтические цветы» автор посвятил Анне Андреевне Горенко, то есть Анне Ахматовой, несомненно первой среди поэтесс русских и одной из самых первых среди женщин-поэтов вообще.

В ремешках пенал и книги были,
Возвращалась я домой из школы.
Эти липы, верно, не забыли
Нашу встречу, мальчик мой веселый.

Только ставши лебедем надменным,
Изменился серый лебеденок…

Эти строчки, напечатанные в «Четках», второй книге Ахматовой, посвящены Гумилеву. Под стихотворением дата: 1912 год, Царское Село. Уже в 1910 году Ахматова была женой Гумилева и в 1912-м с грустью вспоминала, быть может, те самые встречи, о которых он писал:

Вот идут по аллее, так странно нежны,
Гимназист с гимназисткой, как Дафнис и Хлоя.

Уже 1912 год. Но задержимся еще в 1909-м. Это год смерти Анненского. «Кипарисовый ларец — катехизис современной чувствительности, — пишет Гумилев, заканчивая некролог

словами: — Пришло время сказать, что не только Россия, но и вся Европа потеряла одного из больших поэтов».

В конце 1911 года, два года после смерти Анненского, Гумилев напечатал в «Аполлоне» замечательные стихи, начинающиеся словами:

> К таким нежданным и певучим бредням
> Зовя с собой умы людей,
> Был Иннокентий Анненский последним
> Из царскосельских лебедей.

Лебеди Царского Села: Жуковский, Пушкин, Карамзин, а потом — Анненский, Гумилев, Ахматова. Гумилев, конечно, прав, что из скромности не назвал и себя царскосельским лебедем. Но уже Ахматова знает, что лебеденок лебедем стал…

Есть две версии последней строфы стихотворения «Памяти Анненского».

Первая:

> То муза отошедшего поэта,
> Увы, безумная сейчас,
> Беги ее, в ней нет отныне света
> И раны, раны вместо глаз.

Вторая:

> Журчит вода, протачивая шлюзы,
> Сырой травою пахнет мгла,
> И жалок голос одинокой музы,
> Последней Царского Села.

Вторая версия благозвучней, но первая лучше показывает самого Гумилева: он музы Анненского боялся и был прав{141}. Для мужественной цельности автора «Колчана» у автора «Кипарисового ларца» слишком сильна обманчивая двойственность, разрушительная приблизительность.

Гумилев, герой легенды, певец свободных просторов, опьяненный природой, нет, не для него этот сумеречный свет лампы, зловещие тени в углах, тайная боль похоронного трилистника, пронизывающая всю поэзию Анненского. Анненского нельзя не любить. Но после него не мешает вспомнить о Пушкине. Вернемся к Гумилеву.

Мог ли быть счастливым его брак с Анной Ахматовой? Она еще, слава Богу, жива. Глубокое уважение и к ней, и к памяти Гумилева не позволяет касаться легкомысленно их биографий. Но их собственные стихотворные признания настолько красноречивы, что обеднять эту страницу, уже вписанную в историю литературы, было бы претенциозно:

Святой Антоний может подтвердить,
Что плоти я никак не мог смирить, —

признается Гумилев. Ахматова же сама себя называет «и грешной и праздной».

Гумилев страстно искал идеальную женщину:

Я твердо, я так сладко знаю,
С искусством иноков знаком,
Что лик жены подобен раю,
Обетованному Творцом.

Уже юношеские «Жемчуга» привлекают напряженной тоской по Беатриче:

Жил беспокойный художник
В мире лукавых обличий,
Грешник, развратник, безбожник,
Но он любил Беатриче.

Так характеризует поэт, конечно, самого себя. Но рядом с обожанием есть у него и недоверие к женщине, готовность принять от нее удар измены:

Дама, чем красивей, тем лукавей…

Даже Уллис у Гумилева, хотя и не сомневается в верности Пенелопы, восклицает:

Пусть незапятнано ложе царицы,
Грешные к ней прикасались мечты!

И герой от жены уезжает в новое плавание…

О том, что в юности Гумилев ведал искушения любви и

самоубийства, мы узнаем из прекрасного стихотворения «Эзбекие», написанного в 1917 году. Поэт рассказывает, что 10 лет назад, то есть в 1907 году, был измучен женщиной и хотел наложить на себя руки.

А вот и прямое отчаяние, отказ от мечты о Беатриче (цитирую снова стихи из юношеских «Жемчугов»):

Он поклялся в строгом храме
Перед статуей Мадонны,
Что он будет верен даме,
Той, чьи взоры непреклонны.

Когда же, после долгих лет распутной жизни, он возвращается к Мадонне и та его упрекает, что он изменил обету, «он», то есть Гумилев, отвечает:

Я нигде не встретил дамы,
Той, чьи взоры непреклонны.

И вот встреча с Ахматовой. Казалось бы, два больших поэта предназначены друг для друга. Но уже через два года после женитьбы Гумилев не скрывает своего раздражения:

Из логова змиева,
Из города Киева,
Я взял не жену, а колдунью.
А думал, забавницу,
Гадал, своенравницу,
Веселую птицу-певунью…

Ахматова отвечает:

Настоящую нежность не спутаешь
Ни с чем, и она тиха.

Вероятно, эти строчки относятся не к Гумилеву, но и он, конечно, их заслужил.

Почему бы в самом деле женщина, да еще такая, как Ахматова, должна была отвечать требованиям довольно сомнительного идеала: быть «забавницей» и «веселой птицей-певуньей»? Несмотря на высокое стремление к Беатриче, Гумилев был слишком отравлен сомнениями. Конечно, и Ахматова не

стремилась к тому, что было идеалом для пушкинской Татьяны:

Была бы верная супруга
И добродетельная мать.

Правда в том, что оба поэта принадлежали душой и телом своей эпохе, особой эпохе предвоенного Петербурга с его ночными кабаками, с его законами:

Да, я любила их, те сборища ночные, —

признается Ахматова. В другом месте она уже открыто негодует на своего спутника, жалуясь кому-то:

Прощай, прощай, меня ведет палач
По голубым предутренним дорогам.

Не была ли Ахматова слишком сложна для своего цельного рыцаря-мужа?

Мне жалко ее, виноватую, —

говорит он. В чем ее вина, это ясно из ее стихов. Но меньше ли вина самого Гумилева? Чем больше мы вникаем в его поэзию, тем яснее, что он любил любовь, а не одну женщину. Ни одной своеобразной индивидуальности у воспеваемых в его лирике героинь! Все на один манер, все со стандартными прелестями, воспеваемыми в условной форме под трубадуров и Петрарку или под самых патетических поэтов Востока. Из всех женских типов выделяется лишь один: Ахматова — быть может, именно потому, что она единственная Гумилева таким, каким он решил быть с женщинами, — не приняла.

Есть еще один очень важный вопрос в этом знаменитом романе.

Гумилев явно недооценивал поэзию своей жены. Почему? Маленькие люди инсинуировали, будто он ей завидовал. Это, конечно, не верно. Гумилев, как все мы, не чужд человеческих слабостей, но благородство его натуры несомненно, и оно всегда брало верх.

Я думаю, что он просто был жертвой своей теории. Леконт де Лиль был против поэзии ламентаций, признаний, проповедовал большие темы, по преимуществу исторического характера.

Гумилев долгое время был под влиянием Леконта де Лиля, которому даже посвятил отличные стихи. «Креол с лебединой душой» предъявлял поэзии требования, противоположные дневниковой, исповедной лирике Ахматовой. Разлад между его русским последователем и представительницей столь чуждого Леконту де Лилю начала был неизбежен.

1913 год был решающим в судьбе Ахматовой и Гумилева. Она переживает сильное чувство к «знаменитому современнику с коротким звонким именем». Гумилев после долгих жалоб на плен вырывается на свободу. Глава экспедиции на Сомали, он снова упоен природой, путешествием. Но разрыв произошел перед этим. О нем говорит сам Гумилев в первой версии превосходного стихотворения «Пятистопные ямбы»{142}, опубликованной в марте 1913 года в «Аполлоне»:

Я проиграл тебя, как Дамаянти
Когда-то проиграл безумный Наль…

Прежде чем продолжать биографию Гумилева, отметим три важнейших момента его творчества: африканские стихи, итальянские стихи и создание новой поэтической школы, акмеизма (об акмеизме подробно скажем дальше, касаясь роли Гумилева как теоретика).

Африканские стихи, почти все написанные анапестом, размером, чрезвычайно подходящим для выражения восторга, замечательны по вдохновению, звучны, увлекательны. Одно стихотворение лучше другого. Гумилев доказал, что экзотика кабинетная — одно, а экзотика подлинная — совсем другое. Он доказал также, что Россия, уже влюбленная в Кавказ и Крым, ничуть не меньше других стран может полюбить природу, ей самой не свойственную.

В итальянских стихах Гумилева меньше единства, но есть среди них шедевры.

Единство есть в итальянских стихах Блока. Их пронизывает чувство, сближающее его, например, с прерафаэлитами, искавшими в Италии следы высокого христианского пафоса, мученичества, монастырской чистоты. Блок обрушивается на Флоренцию с какими-то савонароловскими обличениями:

Всеевропейской желтой пыли
Ты предала себя сама, —

громит он, забывая, что сами итальянцы задолго до

Risorgimento и вплоть до наших дней жаловались, что слава их великого прошлого давит Италию настоящего, превращая ее в огромный музей.

Гумилева его итальянские стихи сближают с автором «Romische Elegien», любившим Италию, как любовь, с веселой радостью эпикурейца. С той лишь разницей, что Гёте искал для своего германского варварского начала, которое отлично сам сознавал, обуздывающей силы античности, классицизма. Гумилев же и не нуждался в Италии, как стихии латинской ясности, потому что у него была собственная ясность, ничем не возмущенная. Это с поразительной стройностью выпелось у него в одном из прекраснейших его стихотворений: «Фра Беато Анджелико». Есть что-то общее между этим стихотворением и знаменитым «Les phares» Бодлера. Но, перечислив несколько гениальных живописцев, Бодлер обращается к Богу с гордым призывом признать заслугу «наших пламенных воплей», претворенных в искусство, а Гумилев, предпочитая славнейшим художникам Италии смиренного Фра Беато, кончает свою вещь смиренными же словами:

Есть Бог, есть мир, они живут вовек,
А жизнь людей мгновенна и убога,
Но всё в себе вмещает человек,
Который любит мир и верит в Бога.

Из поэтов Италии Гумилев знал лучше других, кажется, Габриеля Д'Аннунцио, и не потому, что изучал его поэзию, но потому, что пленен был его ролью во время войны. Ему Гумилев посвятил оду:

И в дни прекраснейшей войны,
Которой кланяюсь я земно,
К которой завистью полны
И Александр, и Агамемнон…

Так в этой оде Гумилев говорит о войне.

В стихотворении «Память», которое служит нам для иллюстрации всей биографии поэта, есть такие строчки:

Променял постылую свободу
На веселый долгожданный бой.

Слышите: свобода постылая, бой — веселый и долгожданный…

Мы уже упоминали о замечательном стихотворении «Пятистопные ямбы», где поэт говорил о разрыве с Ахматовой. Теперь эта вещь, писавшаяся в общем в течение трех лет, приобретает новое значение, озаряясь пламенем войны. Как бывает только перед угрозой смерти, поэт, как бы при свете молнии, видит всю свою прошлую жизнь, смиренно признает свои ошибки и бросается очертя голову в водоворот:

И в реве человеческой толпы,
В гуденье проезжающих орудий,
В немолчном зове боевой трубы
Я вдруг услышал песнь моей судьбы
И побежал, куда бежали люди,
Покорно повторяя: «Буди, буди!»

Но перед тем как стать солдатом, поэт вспоминает о той, с кем жизнь ему не удалась, о той, которая от него

…ушла в простом и темном платье,
Похожая на древнее распятье.

Отметим мимоходом параллелизм этого ухода и другого, воспетого Блоком:

Ты в синий плащ покорно завернулась,
В сырую ночь ты из дому ушла…

Военные стихи Гумилева так же вдохновенны, как африканские. По глубине они даже лучше и уж, наверно, значительнее{143}. Иначе и не могло быть для поэта, сказавшего:

Победа, слава, подвиг, бледные
Слова, затерянные ныне,
Звучат в душе, как громы медные,
Как голос Господа в пустыне.

Военные призывы д’Аннунцио звучат чуть-чуть театрально рядом с военными стихами его русского почитателя. Среди поэтов, принявших войну с религиозной радостью, лишь один, Шарль Пеги, кажется мне по высоте и благородству чувства

равным Гумилеву. Сходство их строчек местами поразительно.

Убитый в 1914 году, Пеги не мог знать написанных в том же году военных стихов Гумилева, одно из которых начинается словами:

> Есть так много жизней достойных,
> Но одна лишь достойна смерть.
>
> Heureux ceux qui sont morts pour la terre chamelle,
> Mais pourvu que ce fut dans une juste guerre.
> (Prière pour nous autres charnels), —

как бы откликается Пеги на двустишие русского поэта. И Пеги продолжает:

> Heureux ceux qui sont morts dans les grandes batailles,
> Couchés dessus le sol à la face de Dieu.

А у Гумилева:

> Лишь под пулями в рвах спокойных
> Видишь знамя Господне, твердь.

Не тождественны ли почти эти строчки двух братьев по оружию, разделенных тысячами километров? Перед лицом высокого долга и смерти два верующих энтузиаста произнесли, как молитву, приведенные выше слова. Для знающих биографию Пеги нет ничего удивительного в его отношении к войне. Но ведь и Гумилев уже в юношеских «Жемчугах» писал:

> Несравненное право
> Самому выбирать себе смерть.

В 1914 году выбор и сделан: смерть на войне. Но Гумилеву назначено было другое…

Во время войны поэт-солдат не изменил своему главному призванию. Наоборот. В 1916 году написана лучшая из его больших вещей — драма в стихах «Гондла». Я лишь отчасти согласен с высокой оценкой «Отравленной туники», напечатанной в интереснейшей книге «Неизданный Гумилев». Глеб Струве эту драму, по-моему, переоценивает. Наоборот, отрывок прозы, напечатанный там же и тоже впервые{144}, мне кажется истинной

находкой для всех, кто любит Гумилева, и может служить подтверждением того, что я пытаюсь установить дальше в связи с анализом стихов Гумилева, посвященных России…

«Отравленная туника», подобно другой драме в стихах «Дитя Аллаха», не лишена ни прелести, ни значительных художественных достоинств, но в обеих вещах есть тень гумилизма, хотя бы в чуть-чуть хвастливом превозношении двух поэтов-героев, уж как-то чересчур неотразимых для всех женщин… Гондла же горбун, несчастный в любви, хотя именно он и есть настоящий герой.

Принося себя в жертву, чтобы обратить в христианство грубых исландцев, волков, он, высмеянный, опозоренный, поруганный в любви к невесте, которая и сама над ним издевается, поражает нас, как стон, как упрек, и вместе восхищает, как подлинный избранник свободы.

Вещь глубоко биографична, на что я уже указывал, говоря о детстве поэта. Некрасивый Гумилев нашел в цикле кельтских легенд образ для своего долгого затаенного страдания: горбун, но дивный певец, верующий и добрый, но таким ли ощущал себя в самых тайных тайниках души герой-поэт, гордый, почти заносчивый, но только с виду и только с неравными.

Больше чем где-нибудь Гумилев в этой вещи подобен Лермонтову, которому он вообще ближе, чем к кому-либо из русских поэтов.

Слияние поэта с его персонажем — явление довольно распространенное. Примеров много и в русской литературе, и в мировой. Среди современников Гумилева укажем лишь Блока с его драмой «Роза и крест». Обе вещи в чем-то перекликаются. В обеих стихи превосходны. «Гондла», кстати, написан тем же энергичным анапестом, который так подходил к африканским стихам Гумилева…

Было горе, будет горе,
Горю нет конца.
Да хранит святой Егорий
Твоего отца, —

пишет Ахматова в стихах, посвященных сыну. Отец, Гумилев, верит в покровительство, о котором Ахматова просит:

Но святой Георгий тронул дважды
Пулями нетронутую грудь…

Награжденный двумя Георгиевскими крестами, в феврале 1917 года он в Петербурге. К революции он холоден. Спешит уехать. Его отправляют на Салоникский фронт, куда он не доехал.

Лондон. Париж. Здесь он пишет стихи в альбом девушке, в которую влюблен. Стихов не мало, уровень их не очень высок.

Вот и монография готова:
Фолиант почтенной толщины
О любви несчастной Гумилева
В год четвертый мировой войны.

Но монографии этой, наверно, никто не напишет. Петраркизм парижских этих стихов, собранных позднее в книге «К Синей звезде», делает их условно-патетическими. Гумилев знал и любил провансальских трубадуров, но до уровня воспеваемого им мимоходом Жофре Рюделя в своем парижском цикле он не поднимается. Зато как только он отрезвляется от своей страсти, пишет строчки воистину гумилевские, то есть и вдохновенные, и нелживые:

Если ты сейчас же не забудешь…
Девушку, которой ты не нужен,
Девушку, которой ты не нужен,
То и жить ты, значит, не достоин.

Последуем его примеру и забудем случайный эпизод.

Из Парижа через Лондон и Мурманск Гумилев возвращается в Россию, уже советскую… Отчего он не остался выжидать в Лондоне? Он, открыто говоривший, что предан идее монархии, он, любивший мир, экзотику, свободу, мореплаватель, охотник, почему он вернулся в «край глухой и грешный», как назвала Россию Ахматова?

В плане налаженном самим человеком его судьбы это возвращение необъяснимо. В другом плане… Но вернемся к событиям земным…

Его называли «заграничной штучкой». Иванов-Разумник над ним издевался, ставя ему в пример не только Блока и Белого, но и Клюева и Есенина.

Иванов-Разумник Гумилева не понял. Это — поэт глубоко русский, не менее национальный поэт, чем был Блок.

Перечитайте стихи «Старина» из «Жемчугов», стихи, где уже юный поэт с умной и беззлобной иронией отмечает французоманию русских бар, говоря как бы за них: «пейзан»

вместо «крестьян». Перечитайте «Заводь» с очень странным для не знающих его истового православия четверостишием:

Я смотрел на сонную заводь,
Где днем так отрадно плавать,
А вечером плакать,
Потому что я люблю тебя, Господи!

Перечитайте стихи «Оборванец». Право, ни Есенин, ни Блок не говорили так просто и верно о людях из низов. Вот где вспоминаются снова «Веселые братья» из «Неизданного Гумилева». Называют этот отрывок гумилевской прозы таинственным. По-моему, нет ничего яснее и естественнее для иллюстрации какого-то смиренного уважения Гумилева к народу. Без заигрывания и ломаний он — свой с простыми людьми. Их темнота, их безумие для него очевидны, но у него для них сердце открыто:

Здесь священник в рясе дырявой
Умиленно поет псалом,
Здесь играют марш величавый
Над едва заметным холмом, —

говорил он в чудесных военных стихах, и мало кто лучше передал тишину и благость торжественных русских трагедий на полях сражений.

Глубоко и просто верующий, он умел ввести в стихи молитву, почти не меняя слов:

Честнейшую честнейших херувим,
Славнейшую славнейших серафим,
Земных надежд небесное свершенье…

Напомним слова молитвы Богородице:

«Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу тя величаем. Слава…»

Русь для Гумилева — таинственная, пламенно и безумно верующая «волшебница»…

Усадьбы старые разбросаны
По всей таинственной Руси.

Или:

Русь бредит Богом, красным пламенем,
Где видно ангелов сквозь дым.

Или еще:

О, Русь, волшебница суровая,
Повсюду ты свое возьмешь.
Любить? Но разве любишь новое.
Иль без тебя да проживешь?

Не думайте, впрочем, что Гумилев не видит с иронической зоркостью и смешного в русских усадьбах, где

На полке рядом с пистолетами
Барон Брамбеус и Руссо.

Барон Брамбеус, столь знаменитый в свое время, что Хлестаков у Гоголя хвастает: «Всё, что подписано этим именем, это я написал», — псевдоним Осипа Сенковского. Поставь Гумилев на полку рядом с Руссо сочинения Карамзина или Пушкина, правдоподобие пострадало бы: старосветские помещики до подлинной культуры еще не доросли.

Есть у Гумилева много и других стихов о России. Напомним «Старую деву», «Почтового чиновника», «Деревню», отличного «Андрея Рублева». Но поразительнее всех других стихотворение «Мужик».

Здесь на тему, ставшую пищей для бульварной хроники, на тему явно — о Распутине, создано нечто подобное историческим песням русского народа. Какие-нибудь сказания о взятии Казани или о свадьбе царя с Марией Темрюковной, вот к какому источнику стилистически восходит «Мужик» Гумилева.

Кто этот мужик? Ломоносов? Пугачев? Большевик?..

Но если бы мы пытались сделать из Гумилева поэта, замкнутого в границах России, русских тем, подобно Кольцову или Клюеву, он сам бы нас отрезвил. Нет, он ни на минуту не забывает Европы, не забывает даже кровной связи с нею:

О да, мы из расы
Завоевателей древних.

Взносивших над северным морем
Широкий крашеный парус!..

Как видим, книжный конквистадор исчез бесследно, вместо него явился сознательный воин, наследник варягов, норманнов:

…И неужели
К Руси славянской, печенежьей
Вотще твой Рюрик приходил, —

обращается он к Скандинавии. Человек западной культуры, Гумилев мысленно всегда расширял границы родины. Но выше всего для него Россия идеальная:

Сердце будет пламенем палимо
Вплоть до дня, когда взойдут, ясны,
Стены Нового Иерусалима
На полях моей родной страны…

Эти строчки, почти заканчивающие автобиографическое стихотворение «Память», напоминают религиозные песни народа. Калики перехожие распевают такие песни.

Я — угрюмый и упрямый зодчий
Храма, восстающего во мгле…

Да, он храм строил, и этот храм стоит. Как назвать его? Подождем называть. Но запомним, что поэзия Гумилева, этого русского европейца, крепкими корнями уходит в русскую землю.

* * *

Мудрая ясность Гумилева привела его к борьбе с символизмом и его злоупотреблениями. Отсюда статья «Наследие символизма и акмеизм», напечатанная в 1913 году. Это как бы манифест новой школы.

Роль Гумилева как теоретика искусства и критика хорошо известна. Ее даже преувеличивают, конечно, во вред его поэзии. Так, Ив. Тхоржевский утверждает, что Гумилев-теоретик выше, чем Гумилев-поэт. Это совершенно не верно.

Гораздо вернее мнение поэта Георгия Иванова, говорящего, что поэзия и теория у Гумилева слиты в одно. Но Г. Иванов делает ошибку, восклицая: «Не умри Гумилев так рано, у нас было бы наше „Art poétique“!»{145}

Так как «Art poétique» написано у Г. Иванова по-французски, не может быть сомнения, что он имеет в виду теорию Буало. Тогда как Буало, посредственный моралист и слабый поэт, конечно, не может быть указан как идеал для Гумилева, который, кстати, находится с ним в прямом разногласии.

Буало, например, утверждает:

— L'esprit n'est point ému de ce qu'il ne eroit pas.

Эта стрела, направленная против Корнеля, хоть и послана в лагерь враждебный с целью возвысить одного из величайших поэтов Франции, Расина, все же не достигает своей цели. Ведь она могла бы поразить и автора «Бури», Шекспира, и автора «Фауста», Гёте, и многих других выдающихся поэтов, вдохновлявшихся, как и Гумилев, народными легендами, иногда совершенно неправдоподобными.

Нет, уж лучше оставим Буало, превосходного комментатора Расина, очень полезного ментора. Гумилев, хоть и не составил эпохи, как теоретик уже потому хотя бы, что равного Расину поэта среди его современников не было, но в огромном хозяйстве русской поэзии, пришедшем в хаотическое состояние, именно он порядок навел. Кругозор его был ограничен. Немецкую поэзию он изучать не хотел, итальянской почти не знал. Но то, что любил поэзию французскую и отчасти английскую, он продумал глубоко, многое постиг и усвоенное знал твердо.

Я уже назвал поэтов, которых он особенно любил. Что касается его явного и тайного родства с поэтами русскими, то об этом следовало бы сказать особо, потому что сам он о них молчал, и могло показаться, что национальная поэзия, как и самая жизнь России, ему чужда. Мы только что пытались доказать обратное, разбирая его стихи.

«Письма о русской поэзии», которые Гумилев писал между 1909 и 1915 годами, очень замечательны, но вовсе небезошибочны, как утверждает Г. Иванов и как склонен допустить В. Брюсов.

Боюсь, что Брюсов делал это потому, что Гумилев его перехваливал. Автор «Писем» и в самом деле слишком высоко ценит Брюсова, что, при строгом отношении к таким поэтам, как Сологуб, Блок и некоторым другим, — вряд ли оправдано.

Г. Иванов, вероятно, об этом не упоминает из желания украсить Гумилева воображаемой непогрешимостью. Совершенно напрасно.

Как уст румяных без улыбки,
Без грамматической ошибки
Я русской речи не люблю, —

шутил Пушкин. Без ошибки невообразимо, даже непривлекательно и творчество теоретика поэзии, в особенности с темпераментом Гумилева.

И все же «Письма о русской поэзии» — явление замечательное. Такие статьи, как «Анатомия стихотворения», — истинные шедевры. В отзывах на ту или другую книгу почти всегда поражает верная мысль, смелое обобщение, прямота, энергия.

В чем заслуга акмеизма, всем хорошо известно. Символизм иссяк, заигрывание с тайнами запредельного, туманные и многозначительные намеки, превыспренний словарь — все это надо было убрать. На крайнем фланге беспорядочный натиск футуристов тоже был угрозой. Гумилев один обладал силой воли, ума и характера, достаточными для отпора, отбора, организации. Довольно вспомнить имена поэтов, так или иначе к акмеизму причастных: уровень их поэзии вряд ли ниже, чем уровень поэзии декадентов или символистов в лучшие годы их расцвета.

Гумилев — организатор и друг поэтов — явление для меня лично незабываемое. Как это всегда бывает при почти ежедневной совместной работе, я с ним при жизни его расходился гораздо больше, чем расхожусь теперь, но всегда у меня к нему было доверие: он был неизмеримо выше мелких интриг, которыми маленькие люди, разъедаемые тщеславием, всегда и всюду отравляют литературную атмосферу, мешая подлинным поэтам в их высоком незаинтересованном служении.

Теперь два слова о последней книге Гумилева «Огненный столп». Формальные достоинства собранных в ней стихов показывают, что автор достиг высшего расцвета своих сил.

«Лермонтову было 16 лет, когда он написал „Ангела“, и только через 10 лет он мог написать другое стихотворение равного качества, тогда как все его стихи, написанные в 1840 и 1841 годах, превосходны», — пишет Гумилев в статье «Читатель».

Значение этих слов ясно. Неутомимый труженик, Гумилев шел путем одного из самых больших тружеников мировой поэзии, Лермонтова. Не забудем, что «Демон» переработан пять раз.

Уже «Капитаны» в «Жемчугах» — вещь высокого качества. Но это стихотворение окружено вещами ученическими, под Брюсова, под французских парнасцев.

Военные стихи «Колчана», африканские «Шатра», так же, как

некоторые вещи «Костра», посвященные природе, северу России, не уступают большинству стихов «Огненного столпа». Но совершенство этих последних — как бы награда за долгий труд ремесленника, стремящегося делать все лучше и лучше свою работу.

Восточные мотивы, чрезвычайно Гумилева увлекавшие (они слышатся в каждой книге), вновь сближают его с Гёте, автором «Западно-восточного дивана». Еще больше сближают Гумилева с Гёте периода первой части Фауста — «колдовство и ворожба». Это лейтмотив «Огненного столпа». «Колдовской ребенок» вырос, и в нем окрепло влечение к таинственному. Суеверие и вера не исключают друг друга.

Просмотрите «Жемчуга». Уже там мотивы, близкие Кольриджу, мотивы, вдохновлявшие народы и племена, особенно кельтов, на создание легенд, — очень заметны. И так во всех книгах. В «Огненном столпе» стихи на ту же тему — маленькие шедевры. Одно стихотворение лучше другого. Не те же ли в них лучи, которые убивают ребенка в «Лесном царе» Гёте? Эдгар По был однажды в Петербурге. Математическая точность бредовых видений гениального алкоголика-американца близка Гумилеву этого периода. Веривший в общение душ, не беседовал ли он тогда с автором «Ворона»? Но душа стихов у Гумилева все же дневная, у Эдгара По — ночная.

Разрыв реальности на то, что есть и что должно было бы быть, всегда мучил Гумилева, но он находил утешение в вере:

> И здесь есть свет, и там — иные светы.

В России эпохи военного коммунизма среди своих коллег, терроризированных, голодных, Гумилев тверд и спокоен, но больше чем когда-нибудь ему нужно спасаться в область видений, снов.

Вероятно, будущим биографам поэта будет небезынтересно узнать, как и когда был написан «Заблудившийся трамвай», одно из центральных стихотворений «Огненного столпа». Гумилев в это время был со мной в самой тесной дружбе, дни и ночи просиживал у меня на Серпуховской. Ночь с 29-го на 30 декабря 1919 года мы провели у моего приятеля, импровизированного мецената, инженера Александра Васильевича К., по случаю договора, который он заключил с Гумилевым и который воспроизведен в фотокопии в моей университетской тезе.

Разумеется, К. переиздавать Гумилева не собирался, но, узнав, что поэт нуждается в деньгах, подписал бумагу, по которой автор «Колчана» получал 30 тысяч рублей. Мы веселились, пили,

ночью нельзя было выходить, мы вышли уже под утро.

Когда мы направлялись к мосту, неожиданно за нами, несмотря на очень ранний час, загремел трамвай. Я должен был провожать даму, Гумилев пустился бежать.

Как я вскочил на его подножку,
Было загадкою для меня,
В воздухе огненную дорожку
Он оставлял и при свете дня…

На следующий день Гумилев читал мне «Заблудившийся трамвай». Прием наложения планов, уже давно разрабатывавшийся некоторыми из тогда еще совсем молодых петербургских поэтов, использован Гумилевым в этом стихотворении, а позднее и в замечательном стихотворении «У цыган», с редким мастерством.

Отмечу, что в редакции, в которой Гумилев читал мне «Заблудившийся трамвай» сразу после его написания, были такие строчки:

Я же с напудренною косою
Шел представляться Impératrice.

Затем эти строчки были автором, судя по тексту, опубликованному в эмиграции, — изменены:

Я же с напудренной косой
Шел представляться Императрице{146}.

Мне кажется, что первая редакция лучше по тем же причинам, на которые я указывал, говоря о русских стихах Гумилева, где поэт не боится подчеркнуть не всегда русские выражения определенной среды и эпохи.

Две вещи капитального значения украшают «Огненный столп», вещи, похожие на духовное завещание Гумилева: «Моим читателям» и «Молитва мастеров».

Первое стихотворение, в котором среди читателей Гумилева мы узнаем и эсера Блюмкина, убившего посла графа Мирбаха в здании германского посольства в Москве, и старого бродягу в Аддис-Абебе, знакомого петербургским друзьям поэта по его устным рассказам, — обращено и к читателям анонимным:

Много их, добрых, злых и веселых,
Убивавших слонов и людей,
Замерзавших на кромке вечного льда…

В стихотворении есть выпад против символизма, даже, решусь утверждать, против Блока, выпад… чуть-чуть в запальчивости и раздражении. Но ведь и Блок, назвавший свою статью против акмеизма: «Без божества, без вдохновенья», был явно несправедлив.

Еще замечательнее в этих стихах мужественный призыв Гумилева:

Но когда вокруг свищут пули,
Когда волны ломают борта,
Я учу их, как не бояться,
Не бояться и делать, что надо.

Эти слова надо помнить: «не бояться и делать, что надо», не так легко.

«Молитву мастеров» следовало бы привести целиком. Превосходное это стихотворение, и по благородству, и по ясности, напоминает Пушкина.

И вот мы пришли к тому, с чего или, вернее, с кого великая русская поэзия начинается: к Пушкину.

Блок и Гумилев, первый после туманов Германии (сквозь Жуковского), второй — через Лермонтова и через французов, бывших первыми учителями и для самого Пушкина, — оба к нему обращены.

Блок один не в силах справиться со всеми задачами, которые поставил перед русским модернизмом, как ставил и будет ставить перед всеми поколениями русских поэтов — Пушкин, Петр Великий отечественной словесности. Но Блок и Гумилев — дело другое: преемственность полноценна, ответственность разделена.

Два слова о Пушкине. В русской поэзии, а значит, и мировой, это светоносный источник, один из сильнейших.

Есть потухшие звезды, их много в культуре людей. Пушкин — центр грандиозной солнечной системы. Он будет славен, «доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит».

Недавно на одном литературном диспуте мне пришлось об этой роли Пушкина говорить. Докладчик, несогласный со мною, прислал мне письмо, в котором есть такая фраза: «Если мы застынем на мысли, что Пушкин есть венец поэтов» и т. д., всей фразы не цитирую. Подчеркиваю только исходную ошибку:

застыть под лучами солнца нельзя. Пушкин и застывание — термины противоположные.

Далее докладчик мне пишет:

«Думаю, что, как ни велик Пушкин, он все же очень мал, хотя бы перед Гёте, и хотя бы потому, что Гёте выдерживает переводы, а Пушкин — нет».

Вторая ошибка. Присутствие Пушкина в русской стихии и тайно, и явно влечет к ней весь мир. Влечет и через него самого, и через его великих учеников, ставших учителями Запада, ибо Гоголь, Достоевский, Толстой пронизаны лучами своего солнца, то есть Пушкина. Переводить его и в самом деле очень трудно, кто этого не знает, хотя, например, в Германии есть превосходные переводы Вальтера и Грегора. Но не это существенно. Сейчас мне приходится работать бок о бок с французами, сделавшими и делающими очень много для проникновения русской культуры во Францию. Я знаю от них, что их ученики считают для себя наградой за труднейшие усилия — возможность читать Пушкина в оригинале. Допустим даже, что Пушкин непереводим. Но ради него стоит изучать русский язык!.. «Гёте — поэт мировой, а Пушкин — русский», — кончает свое письмо мой корреспондент.

Отчего же и Достоевский, и Блок в своих бессмертных речах обращаются к Европе с именем Пушкина? Отчего же назвать имя Пушкина для человека русской культуры равносильно и радостному привету: «Мир с вами», и призыву на помощь: S.O.S. Всем, всем, всем!

Русская культура — в расцвете. Ее праздник называется: Пушкин. Русская культура в опасности — ее призыв на помощь все тот же: имя Пушкина.

Не может быть поэтом только русским, а не мировым — такой, который в свою страну ввел без всякого усилия гений других стран.

Сколько переводов со всех языков сделано в России модернистами в начале нашего века! Пушкин переводил мало, но каждая строчка этого универсального гения пронизана глубочайшим знанием, глубочайшим чутьем поэзии всех народов.

В лирике он прост и доступен, как Анакреон, Сафо, Теокрит, блестящ и точен, как Гораций. «Борис Годунов» не уступает ни в чем лучшим трагедиям Софокла и Шекспира. В прозе он учитель наших учителей. Влияние «Евгения Онегина» и на прозаиков, и на поэтов огромно. В критике Пушкин безошибочно меток и точен. Не забудем и его неподражаемых эпиграмм.

Конечно, ни Данте, ни Шекспир, ни Гёте не меньше его, скорее — наоборот, но только в смысле грандиозности использованного материала. Это — титаны, поднявшие груз

веков. Пушкин то же самое делает с легкостью. Разнообразием своего гения он достигает того же, чего другие колоссы достигают широтой замысла.

Вернемся к Гумилеву.

Блок задохнулся. Его трагедия подчеркнута им самим в знаменитой речи, произнесенной на торжественном собрании в Доме литераторов в 84-ю годовщину со дня смерти Пушкина. Вскоре после этой речи Блок в страшных мучениях умер.

Его гроб принесли мы на Смоленское кладбище, и около этого гроба академик Ольденбург, Волынский, Волковысский и я сговорились идти в Чека хлопотать за Гумилева. Напрасно. Поэт был расстрелян.

Есть у Гумилева, как у каждого большого поэта, прямые пророчества своей судьбы. Не раз уже приводились в печати его беззлобные строчки, посвященные рабочему:

Всё он занят отливаньем пули,
Что меня с землею разлучит.

Виноват ли этот рабочий? Конечно, нет.

Но погиб поэт, менестрель, звонким, веселым голосом будивший от сна «Русь славянскую, печенежью», погиб свободный, прямой, бесстрашный, верующий, добрый человек.

Гумилев в последние три года жизни держался, как певец в «Арионе» Пушкина:

Лишь я, таинственный певец,
На берег выброшен волною,
Я гимны прежние пою…

Гумилев и пел «прежние гимны», оставаясь хранителем поэтической культуры. Среди кельтских легенд, его вдохновлявших, одна была ему особенно дорога: легенда о волшебной скрипке или лютне, легенда, которой вдохновлено первое стихотворение в «Жемчугах» и пьеса в стихах «Гондла». Видел ли он в ней предсказание? Знал ли, что, прервав свою постоянную работу поэта, будет разорван эринниями, как разорван в легенде певец, выронивший лютню.

Мир, враждебный певцу, не это ли — волки легенды?..

В годы, когда Россия в лице многих своих выдающихся людей живет и творит на Западе, одно имя достаточно для поддержания в нас связи с родиной, для полной гарантии от денационализации: имя Пушкина, самое русское и самое

универсальное. Блок продолжает, сильнее чем кто-нибудь, русскую линию Пушкина, Гумилев — универсальную. Он даже расширил географические границы русских песен, введя в них Африку, экзотику.

Имя Гумилева может быть для нас и для Запада еще одним примером нерасторжимости русских и европейских судеб.

Гумилев не предал Востока, который дал России и всему миру базу для религии, науки, искусства. Но он и не сделал себе из Востока кумира, он учился сам и звал всех учиться у Запада.

Неутомимый садовник, он работал в том очарованном саду, про который сказал прекрасные слова в одном из лучших своих стихотворений «Солнце духа»:

Чувствую, что скоро осень будет,
Солнечные кончатся труды,
И от древа духа снимут люди
Золотые, зрелые плоды.

Георгий Адамович[147]
Николай Гумилев

Гумилев считал своим учителем Валерия Брюсова, именно Брюсову, как учителю, посвятил сборник стихов «Жемчужина», положивший начало его известности. Было в его влечении к творчеству Брюсова две причины: во-первых, отсутствие каких-либо мистических туманов в брюсовской поэзии и, так сказать, «земной» ее характер. Во-вторых, и это, пожалуй, важнее, положение непререкаемого «мэтра», которого Брюсов сумел достичь; его влияние, его власть над литературной участью большинства поэтов начала нашего века. Многие из этих поэтов втайне считали, что дарование Бальмонта чище, как-то благороднее. Другие предпочитали Сологуба или восхищались тем, что писал молодой Блок. Но Брюсов был законодателем, верховым арбитром в поэтических делах, и это не могло Гумилеву не импонировать.

Он сам мечтал о такой же роли и, по-видимому, начал мечтать о ней рано, еще в юности. Впоследствии свое отношение к Брюсову он изменил и нередко критиковал его, если и почтительно, но все же не скрывая некоторого скептицизма. Но произошло это лишь тогда, когда Гумилеву самому удалось занять положение учителя, руководителя, а звезда Брюсова стала клониться к закату.

Познакомился я с Гумилевым года через два после того, как окончил гимназию и поступил в Петербургский университет. Знакомство произошло в романо-германском семинарии, который был чем-то вроде штаб-квартиры только что народившегося поэтического направления «акмеизм»[148]. Там читались и обсуждались стихи новых французских поэтов, последователей Малларме. Там устраивались поэтические собрания с участием Ахматовой и Осипа Мандельштама. И вообще этот семинарий был прибежищем модернизма, в противоположность отделению русской литературы, где профессора Шляпкин или Венгеров ревниво охраняли традиции прошлого века.

Помню, Гумилев спросил меня: «Вы знаете, что такое „акмеизм“?» Я читал его статьи в журнале «Аполлон» и с уверенностью ответил: «Знаю». — «Вы согласны с его программой?» Не задумываясь — правильнее было бы выразиться, не думая, я сказал: «Согласен». — «Приходите в Цех поэтов… Мы послушаем ваши стихи и решим, можно ли вас принять в члены Цеха. Предупреждаю заранее: не обижайтесь, если будет решено,

что следует подождать».

Собрание «Цеха» происходило раз в месяц или немного чаще[149]. Каждый участник читал новые стихи, после чего стихи эти обсуждались. Первым неизменно говорил Гумилев и давал обстоятельный, поистине удивительный в своей принципиальности и меткости формальный разбор прочитанного. Подчеркиваю, разбор только формальный. Мне приходилось несколько раз слышать критические разборы Вячеслава Иванова. Бесспорно, он взлетал выше, углублялся дальше. Но такой безошибочной, чисто формальной зоркости, как у Гумилева, не было ни у кого. Он сразу видел промахи, сразу оценивал удачи. Ахматова больше молчала. Оживлялась она лишь тогда, когда стихи читал Мандельштам. Как, впрочем, и сам Мандельштам оживлялся, когда очередь чтения доходила до Ахматовой. Как поэты они были влюблены друг в друга, и однажды Ахматова после собрания Цеха сказала о Мандельштаме, что это, конечно, первый русский поэт. Меня эти слова поразили и запомнились мне потому, что еще был жив Блок, сравнение с которым представлялось мне недоступным и кощунственным. Не буду, однако, задерживаться на воспоминаниях и «Цехе». Перейду к личности Гумилева, поэта и человека. Он верно почувствовал в нужный момент, что символизм изживает себя и что новое поэтическое течение привлечет молодежь и даст ему возможность играть роль мэтра. Именно так возник «акмеизм», почти единоличное его создание.

Гумилев решил свести поэзию с неба на землю и настойчиво утверждал, что, в качестве предмета вдохновения, для него живая женщина бесконечно дороже всяких заоблачных «прекрасных дам».

В «Послании к Блоку» Вячеслав Иванов писал, что «оба Соловьевым таинственным мы крещены». Гумилев от Владимира Соловьева отрекся, не без основания утверждая, что тот, при всей своей мудрости и возвышенности, стихи писал слабоватые[150]. Своей поэзии Гумилев придал характер волевой и мужественный, принципиально отвергнув возможность того, чтобы на ней была печать меланхолии. Воевать ему в качестве боевого вождя «акмеизма» приходилось на два фронта: и со старшими поэтами, мало-помалу сдавшими свои позиции, и с противниками — младшими, крикунами и задирами, обходившими его слева, т. е. «футуристами». Борьбе этой, в сущности ребяческой, он придавал большее значение. Она волновала и бодрила в соответствии с его душевным складом. Заслуживает внимания его отношение к Блоку. Гумилев высоко ценил его, никогда не позволял себе сколько-нибудь пренебрежительного отзыва о нем, но Блок ему

мешал. Он предпочел бы, чтобы Блок остался одиночкой и, в особенности, чтобы не тянулись к нему отовсюду нити какой-то страстной любви. С любовью этой Гумилев поделать ничего не мог и бессилие свое сознавал. Это его раздражало. В последние годы жизни оба поэта стали друг друга чуждаться, даже совсем разошлись{151}. Со стороны Гумилева ревность к Блоку и к окружающему его ореолу еще усилилась. Не знаю, отдавал ли он себе отчет в том, что поэтическое дарование его уступает блоковскому. Он верил в себя, да и в окружении его было немало льстецов, которые веру эту поддерживали. Впрочем, цену лести Гумилев знал, и однажды, после того, как один из начинающих стихотворцев будто бы с неподдельным жаром уверял его, что вот был Данте, был Гёте, был Пушкин, а теперь есть у нас Гумилев, он с добродушной усмешкой сказал: «Знаю, что врет, подлец, а слушать приятно».

Несомненно, в стихах Гумилева много достоинств: отчетливость и чистота стиля, энергия ритма, ясность замысла и композиция. Несомненно, однако, и то, что им недостает чего-то, того таинственного «чего-то», которое оправдывает самое существование поэзии и, не говоря уж о Блоке, всегда слышится в напеве только что названных Ахматовой или Мандельштама. В наши дни у Гумилева много читателей. Больше, чем, казалось, можно было ждать. Замечательно, однако, что преобладают среди них люди, которых прельщает главным образом волевая окраска гумилевских стихов, их идеологическая и эмоциональная сущность, отсутствие в них каких-либо соблазнов, туманов и даже сомнений. Мир, представленный в поэзии Гумилева, — мир светлый, дневной, без загадок, без чего-либо смущающего. Этот мир спокойный и благополучный. Гумилев восстанавливает образ поэзии как благотворного и общеполезного дела, и это-то и дорого людям, которые в мыслях, а порой и на практике озабочены упорядочиванием человеческого существования. Они рады тому, что большой, известный поэт — их союзник, их сотрудник, а не уклончивый угрюмый мечтатель, который, как знать, может обернуться и тайным врагом.

Смерть Гумилева — одно из очередных несчастий в долгом мартирологе русской поэзии — прервала его творческую деятельность в самом расцвете сил. Как бы ни казалось это парадоксально, революция удвоила, удесятерила его энергию. Политически он был ее убежденным противником. Монархические свои взгляды он всячески подчеркивал, как подчеркивал и верность православию: например, останавливался на улице перед церквами, снимал шапку или шляпу и крестился. Но с этим уживалась и надежда, что рано или поздно убедить

вождей нового строя в огромном жизнеутверждающем значении поэзии и что они предоставят ему, именно ему возможность доказать это значение на деле. Надежда была крайне расплывчата, но Гумилев не считал ее несбыточной. Он был умен, но бывал и наивен. Противоречие нередкое. Видел я его последний раз за несколько дней до ареста, и это был, пожалуй, самый мой долгий разговор с ним за все время, что я его знал. Участвовал в беседе и Георгий Иванов. Не помню, в связи с чем Гумилев заговорил об Иннокентии Анненском, назвал его неврастеником и сказал, что ошибся, признав его великим поэтом. В новых его планах и мечтах с Анненским ему было не по пути, как и с Блоком: Гумилев был расстрелян. Не сомневаюсь, что умер он с тем же достоинством, с тем же мужеством и с той же простой, крепкой верой, которой проникнута его поэзия.

Юрий Анненков{152}
Николай Гумилев

Н. С. Гумилеву

На обложке — набросок лица…
Это все знакомство с тобою.
Но смотрю теперь без конца
На твое лицо дорогое.

Отчего с тех горчайших лет
К этим дням протянуты нити?
Ты всю жизнь — любимый поэт,
Ты всегда и друг и учитель.

И стихов твоих нежный груз
Как свечу при жизни несу я.
О тебе — убитом — молюсь,
По тебе, как живом, тоскую.

Нонна Белавина

Оттого я люблю Гумилева,
Что ошибки и страсти влача,
Был он рыцарей света и слова
И что вера его горяча.

Николай Оцуп

С Николаем Степановичем Гумилевым я встречался сравнительно редко, хотя знал его в течение долгих лет и был с ним в дружбе. Нас разлучила война 1914 года. Героический и искренний патриот, Гумилев сразу же после ее объявления ушел добровольцем в действующую армию и за свое бесстрашие был даже дважды награжден Георгиевским крестом.

Своим характером и своей биографией Гумилев сильно отличался от других русских поэтов его времени. Если, например, Александр Блок, любивший путешествовать, посещал Германию (Бад-Наугейм, Берлин), Италию (Милан, Равенну, Пизу, Флоренцию, Перуджию, Сполето, Сеттиньяно и столь знакомую

мне Венецию), Бельгию, Голландию, Францию (Париж, окрестности Биарица и так близкий мне север Бретани), то — Лаперуз, де Гама, Колумб и мечтатель — Гумилев, кроме Франции (где он был студентом Сорбонны), Италии (Рим, Неаполь, Болонья, Пиза, Генуя, Падуя, Венеция, Фьезоле…), Англии, Швеции, Норвегии, — много странствовал по экзотическим и древним просторам Африки.

Было бы, конечно, легкомысленным предполагать, что любовь к экзотике, к неизведанному, к опасностям оставила Гумилева равнодушным к европейским странам, к Франции, к Италии… В главе об Александре Блоке я уже цитировал стихи Михаила Кузмина и Блока, посвященные Фьезоле. О Фьезоле писал и Гумилев, в 1912 году, в поэме{153} «Фра Беато Анджелико»:

На Фьезоле, средь тонких тополей,
Когда горят в траве зеленой маки,
И в глубине готических церквей,
Где мученики спят в прохладной раке, —
На всем, что сделал мастер мой, печать
Любви земной и простоты смиренной…

Впрочем, побывав в таких местах, нельзя умолчать об этом. Блок писал о Венеции (1909):

Холодный ветер от лагуны,
Гондол безмолвные гроба.
Я эту ночь — больной и юный —
Простерт у львиного столба.

На башне, с песнею чугунной,
Гиганты бьют полночный час.
Марк утопил в лагуне лунной
Узорный свой иконостас…

О Венеции же Блок говорил в письме к своей матери:

«Я здесь очень много воспринял, живя в Венеции уже совершенно, как в своем городе, и почти все обычаи, галереи, церкви, море, каналы для меня — свои, как будто я здесь очень давно… Вода вся зеленая. Это все известно из книг, но очень ново, однако — новизной не поражающей, но успокоительной и освежающей».

Гумилев — о Венеции (1912 г.):

…Город, как голос наяды,
В призрачно-светлом былом,
Кружев узорных аркады;
Воды застыли стеклом…
…Лев на колонне, и ярко
Львиные очи горят,
Держит Евангелье Марка,
Как серафимы, крылат{154}…

Здесь Гумилев коснулся Пушкина, написавшего:

Твоим огнем душа палима
Отвергла мрак земных сует,
И внемлет арфе серафима
В священном ужасе поэт…

Но это мое замечание — отнюдь не упрек Гумилеву, а просто — приоткрывшийся закоулок моей памяти.

Теперь Ахматова — о Венеции (1912. В этот год она была женой Гумилева):

Золотая голубятня у воды,
Ласковой и млеющe зеленой;
Заметает ветерок соленый
Черных лодок узкие следы…

…Как на древнем выцветшем холсте,
Стынет небо тускло-голубое…
Но не тесно в этой тесноте,
И не душно в сырости и зное.

* * *

Африка, однако, захватывала Гумилева более страстно, чем Венеция, чем Фьезоле, чем Европа. Отсюда — его цикл стихотворений «Шатер»: «Красное море», «Египет», «Сахара», «Суэцкий канал», «Судан», «Абиссиния», «Галла», «Сомалийский полуостров», «Либерия», «Мадагаскар», «Замбези», «Дамара», «Экваториальный лес», «Дагомея», «Нигер»…

Но будучи героем и искателем приключений, Гумилев, может быть — именно поэтому, предвидел и свой трагический конец.

Вспоминаю два его стихотворения:

Заблудившийся трамвай

…В красной рубашке, с лицом, как вымя,
Голову срезал палач и мне,
Она лежала вместе с другими,
Здесь, в ящике скользком, на самом дне…

И еще:

Рабочий

…Пуля, им отлитая, отыщет
Грудь мою, она пришла за мной.
Упаду, смертельно затоскую,
Прошлое увижу наяву.
Кровь ключом захлещет на сухую,
Пыльную и мятую траву…

* * *

За участие в мировой войне, а главное — за его любовь к родине большевики, в те годы резко отстранявшиеся от нее и проповедовавшие Интернационал, прозвали Гумилева «цепной собакой кровавой монархии». Несмотря на это, Гумилев вернулся после большевистской революции из заграницы, где в тот период он находился при отряде русских войск во Франции, и прожил первые годы советского режима и гражданской войны в красном Петербурге и даже был близко знаком с некоторыми большевистскими представителями власти. Так, я встречал его у председателя Петросовета (что-то вроде советского петербургского губернатора), молодого Бориса Каплуна{155}, где мы порой засиживались вместе с Евгением Замятиным, Всеволодом Мейерхольдом и с молчаливо-мечтательной красавицей балериной Ольгой Спесивцевой, которой Каплун оказал большую услугу, выдав ей бумаги на выезд за границу, где она вскоре стала первой балериной, «звездой» в театре Парижской Оперы. Студент Технологического института. Каплун сделал свою административную карьеру благодаря одной случайности: он был племянником Урицкого (основатель ЧК) и репетитором сына Зиновьева (или — наоборот). К революции он относился без всякого интереса, но очень увлекался вопросами искусства и литературы. В качестве влиятельного партийца

Каплун сделал много страшных вещей, но много и очень добрых (я стараюсь быть объективным). Однако, несмотря на это, спасти Гумилева ему не удалось. Что стало впоследствии с Каплуном, мне неизвестно.

* * *

Я не могу все же не рассказать об одном трагическом дне, проведенном мною в Петербурге с Гумилевым, Каплуном и одной девушкой. Чрезвычайное увеличение смертности петербургских граждан благодаря голоду, всякого рода эпидемиям и отсутствию лечебных средств, а также недостаточное количество гробов, выдававшихся тогда «напрокат» похоронным отделом Петросовета, — навели Каплуна на мысль построить первый в России крематорий. Это казалось ему своевременным и прогрессивным. Каплун даже попросил меня нарисовать обложку для «рекламной брошюры», что я и сделал. В этом веселом «проспекте» приводились «временные правила о порядке сожжения трупов в петроградском государственном Крематориуме» и торжественно объявлялось, что «сожженным имеет право быть каждый умерший гражданин».

Борис Каплун вообще отличался своеобразной изобретательностью. Так, в те же годы он печатно обратился «к целому ряду писателей и драматургов с предложением написать пьесы на тему о продовольственной нужде РСФСР и о необходимости всемирной поддержки голодающих частей республики», добавив, что подобный «план агитации при помощи театрализации лозунгов Наркомпрода (Народный Комиссариат Продовольствия) поможет ему в его продовольственной политике».

Не знаю, помогли ли эти пьесы Наркомпроду (ему помогла щедрая американская организация АРА), но некоторым «драматургам», откликнувшимся на воззвание Каплуна, они принесли несомненную материальную поддержку…

Я не забуду тот морозный день, или — вернее — те морозные сумерки 1919 года: было около 7 часов вечера. Мы сидели в обширном кабинете Каплуна, в доме бывшего Главного штаба, на площади Зимнего дворца (в будущем — площади Урицкого).

Комната была загромождена всякого рода замочными отмычками, отвертками, ножами, кинжалами, револьверами и иными таинственными орудиями грабежей, взломов и убийств — предметами, которые Каплун старательно собирал для будущего петербургского «музея преступности». В одном углу были

сложены винтовки и даже пулемет.

Укутанная в старую шаль поверх потертой шубы девушка грелась, сидя в кресле у камина, где пылали березовые дрова. У ее ног на плюшевой подушке отдыхал огромный полицейский пес, по-детски ласковый и гостеприимный, счастливо уцелевший в ту эпоху, когда собаки, кошки и даже крысы в Петербурге были уже почти целиком съедены населением. За бутылкой вина, извлеченной из погреба какого-то исчезнувшего крупного буржуя, Гумилев, Каплун и я мирно беседовали об Уитмане, о Киплинге, об Эдгаре По, когда Каплун, взглянув на часы, схватил телефонную трубку и крикнул в нее:

— Машину!

Это был отличный «мерседес», извлеченный из гаража какого-то ликвидированного «крупного капиталиста».

Каплун объяснил нам, что через полчаса должен был состояться в городском морге торжественный выбор покойника для первого пробного сожжения в законченном крематории, и настоял на том, чтобы мы поехали туда вместе с ним. В огромном сарае трупы, прикрытые их лохмотьями, лежали на полу, плечо к плечу, бесконечными тесными рядами. Нас ожидала там дирекция и администрация крематория.

— Выбор предоставляется даме, — любезно заявил Каплун, обратившись к девушке.

Девушка кинула на нас взгляд, полный ужаса, и, сделав несколько робких шагов среди трупов, указала на одного из них (ее рука была, помню, в черной перчатке).

— Бедная, — шепнул мне Гумилев, — этот вечер ей будет, наверное, долго сниться.

На груди избранника лежал кусочек грязного картона с карандашной надписью:

Иван Седякин.
Соц. пол.: Нищий.

— Итак, последний становится первым, — объявил Каплун и, обернувшись к нам, заметил с усмешкой: — В общем, довольно забавный трюк, а?

На возвратном пути, в «мерседесе», девушка неожиданно разрыдалась. Гумилев нежно гладил ладонью ее щеки и бормотал:

— Забудьте, забудьте, забудьте…

* * *

Лев Никулин писал о Б. Каплуне в «Записках спутника»:

> «Читатель и почитатель Ремизова, Сологуба и Белого, он имел большое тяготение к свободным художествам и проявлял это во всех подчиненных ему инстанциях. Что же, это было неплохо, но надо иметь в виду, что в то время, когда, скажем, милиционерши обучались пластике, на Невском лежали неубранные павшие лошади… Чудак и фантазер проявлял неиссякаемую энергию: сегодня открывал Музей петроградской преступности, завтра — школу ритма при ГОРОХР (городская охрана)… Но задор молодости был простителен — революционная власть родилась три года назад и из детства переходила к отрочеству. Детищем этого неутомимого товарища был Отель Петросовета, именно отель, а не гостиница или общежитие. Днем дом вымирал, почти все его обитатели приходили только на ночлег. В пятом этаже жил одержимый поэт Василий Князев, в первом — тишайший Ремизов. В третьем — тихая, задумчивая девушка, следователь уголовного розыска. По всем этажам странствовали полуночники в поисках споров, чаю с клюквой и в лучшем случае картофеля…»

Добавлю от себя, что незаметно прошедшего Бориса Гитмановича Каплуна мы не забудем.

* * *

В том же году в Доме Искусств, на Мойке, поздним вечером Гумилев, говоря о «тяжелой бессмыслице революции», предложил мне «уйти в мир сновидений».

— У нашего Бориса (Б. Каплун), — сказал Гумилев, — имеется банка с эфиром, конфискованная у какого-то черно-биржевика. Пойдем подышать с нами?{156}

Я был удивлен, но не отказался. От Мойки до площади Зимнего дворца было пять минут ходьбы. Мы поднялись в квартиру Каплуна, где встретили также очень миловидную девушку, имя которой я запамятовал. Гумилев рассказал Каплуну о цели нашего позднего прихода. Каплун улыбнулся:

— А почему бы и нет? Понюхаем!

Девушка тоже согласилась.

Каплун принес из другой комнаты четыре маленьких флакончика, наполненных эфиром. Девушка села в вольтеровское

кресло, Гумилев прилег на турецкую оттоманку; Каплун — в кресло около письменного стола; я сел на диван чиппендалевского стиля: мебель в кабинете председателя Петросовета была довольно сборная. Все поднесли флакончик к носу. Я — тоже, но «уход в сновидения» меня не привлекал: мне хотелось только увидеть, как это произойдет с другими, и я держал флакончик так же, как другие, но твердо заткнув горлышко пальцем.

Раньше всех и не сказав ни слова, уснула девушка, уронив флакон на пол. Каплун, еще почти вполне трезвый, и я уложили девушку на диван.

Гумилев не двигался. Каплун закрыл свой флакончик, сказал, что хочет «заснуть нормальным образом», и, пристально взглянув на Гумилева, пожал мне руку и вышел из кабинета, сказав, что мы можем остаться в нем до утра.

Гумилев лежал с закрытыми глазами, но через несколько минут прошептал, иронически улыбаясь:

— Начинаю грезить… вдыхаю эфир…

Вскоре он действительно стал впадать в бред и произносить какие-то непонятные слова, или, вернее, сочетания букв. Мне стало не по себе, и, не тревожа Гумилева, я спустился по лестнице и вышел на площадь, тем более что кабинет Каплуна начал уже заполняться эфирным запахом.

* * *

Гумилев очень нравился женщинам: он всегда был элегантен, даже в советскую пору, всегда слегка надменен. Но я никогда не слышал, чтобы он повышал голос. Его надменность была надменностью художника.

«Поэт в минуты творчества должен быть обладателем какого-нибудь ощущения, до него неосознанного и ценного. Это рождает в нем чувство катастрофичности, ему кажется, что он говорит свое последнее и самое главное, без познания чего не стоило земле и рождаться», — писал Гумилев в заметке, озаглавленной «Читатель», и продолжал:

«Это совсем особенное чувство, иногда наполняющее таким трепетом, что оно мешало бы говорить, если не сопутствующее ему чувство победности, сознания того, что творишь совершенные сочетания слов, подобные тем, которые некогда воскрешали мертвых, разрушали стены».

О читателе Гумилев писал несколько иначе:

«Прежде всего каждый читатель глубоко убежден, что он авторитет; один — потому, что дослужился до чина полковника, другой — потому, что написал книгу о минералогии, третий — потому, что тут и хитрости никакой нет: нравится — значит хорошо, не нравится — значит плохо… Картина безотрадная, не правда ли?.. Однако может быть иной читатель, читатель-друг… Он переживает творческий миг во всей его остроте… Для него стихотворение дорого во всей его материальной прелести… Прекрасное стихотворение входит в его сознание как непреложный факт, меняет его, определяет его чувства и поступки. Только при условии его существования поэзия выполняет свое мировое назначение облагораживать людскую породу. Такой читатель есть, я, по крайней мере, видел одного».

Гумилев был поэтом для поэтов и для подлинных ценителей поэзии, и его роль в развитии русской поэзии (и не только акмеистской) чрезвычайно существенна.

Ближайшими поэтическими спутниками Гумилева были Осип Мандельштам, Георгий Иванов и Анна Ахматова, ставшая женой Гумилева в 1910 году и расставшаяся с ним в 1918 году. Ряд стихотворений в ее первых сборниках («Вечер», 1909–1911, и «Четки», 1912–1914) навеян ее чувствами к Гумилеву…

По окончании гимназии Гумилев уехал в Париж, и там в 1908 году вышла книга его стихов «Романтические цветы», посвященных Анне Андреевне Горенко, т. е. — Ахматовой.

* * *

В 1918 году, разведясь с Ахматовой, Гумилев женился на Анне Николаевне Энгельгардт, шутливо прозванной «Anne II», и поселился в Петербурге, на Мойке, в Доме Искусств, приютившем уже Акима Волынского, Мариэтту Шагинян, М: Слонимского, иногда — зимой — С. Нельдихена, скрывавшегося там от холода; В. Шкловского и некоторых других представителей литературного мира. В Доме Искусств (где была устроена очень дешевая, а в некоторых случаях и бесплатная столовая для деятелей искусства) постоянно происходили литературно-художественные собрания, доклады, прения, споры. Там помещалась также литературная студия, давшая весьма серьезные результаты. Из «класса поэзии», руководимого Гумилевым, вышла среди других

Ирина Одоевцева. «Класс художественной прозы», руководимый Евгением Замятиным, сформировал писательскую группу «Серапионовых Братьев». При ближайшем участии Гумилева в той же студии возникла организация «Цех Поэтов», выпустившая в Петербурге, а затем в Берлине (в издательстве С. Эфрона) несколько сборников поэзии и статей, посвященных поэтическому творчеству. Благодаря энергии Гумилева, Замятина, Чуковского и Горького Дом Искусств в короткий срок стал подлинным центром интеллектуально-артистической жизни Петербурга. Там выступали с докладами, с чтениями своих произведений, а также — в прениях М. Горький, А. Блок, А. Белый, Н. Гумилев, А. Ахматова, Ф. Сологуб, А. Ремизов, Е. Замятин, Б. Пильняк, М. Кузмин, Александр Бенуа, В. Маяковский, В. Хлебников, О. Мандельштам, С. Есенин, Н. Клюев, В. Пяст, Б. Пастернак (во время редких наездов в Петербург, так же, как и А. Мариенгоф), А. Волынский, К. Чуковский, В. Ходасевич, В. Зоргенфрей, С. Нельдихен, П. Щеголев, Г. Адамович, Н. Евреинов, Н. Оцуп, К. Петров-Водкин, Ю. Тынянов, М. Шагинян, М. Зощенко, В. Лидин, Г. Иванов, М. Слонимский, В. Рождественский, меценат и коллекционер Б. Элькан и его жена А. Элькан, Г. Верейский, Н. Радлов, В. Замирайло, Д. Митрохин, Е. Лансере, С. Чехонин, К. Федин, В. Познер, С. Эрнст, А. Чеботаревская-Сологуб, В. Шкловский, Ю. Айхенвальд, И. Одоевцева, Л. Лунц, Н. Никитин, А. Тихонов, А. Кони; профессора: Н. Кареев, И. Гревс и Е. Тарле; Л. Никулин, Лариса Рейснер, А. Горнфельд, Е. Браудо, М. Левберг, Н. Котляревский, Б. Эйхенбаум, А. Румянов, М. Лозинский, М. Зенкевич, Л. Липавский, С. Алянский, Я. Блох, А. Ганзен, В. Азов, Н. Пунин, я и многие другие.

Кроме того, в Доме Искусств периодически устраивались высокого уровня музыкальные вечера и художественные выставки…

Член Совета Дома Искусств художник Добужинский запечатлел на нескольких прекрасных рисунках «двор Дома Искусств», двор, в который каждое утро выносился жбан, наполненный разорванными черновиками рукописей обитателей и постоянных посетителей Дома Искусств. Мне думается теперь, что гораздо полезнее было бы передавать эти рукописи в Пушкинский Дом Академии Наук, чем выбрасывать в сорные ящики.

* * *

В 1920 году в Ростове-на-Дону я видел в маленькой и почти

«нелегальной» театральной студии постановку драматической поэмы Гумилева «Гондла», впервые показанной со сцены и действие которой происходит в Исландии, в 9-м веке. Миниатюрный зрительный зал, человек на 80, и сценка аршина в три, вряд ли превосходившая площадь оттоманки в моем кабинете. Постановка некоего А. Надеждова (о котором я позже никогда и ничего не слышал), а также — игра юных актеров, несмотря на нищету предоставленных им технических возможностей, подкупали честностью работы, свежестью и неподдельным горением. Запомнилось имя очаровательной исполнительницы роли Леры: Халаджиева, артистка своеобразная и яркая. Ее дальнейшая судьба мне тоже не знакома. Музыка Н. Хейфеца.

Как зритель, близкий к тайнам сценического воплощения пьес, я, конечно, чувствовал робость движений действующих лиц, боявшихся задеть друг друга, столкнуться друг с другом на крохотном пространстве сценической площадки. Однако поэтическая сущность, поэтическая форма драмы Гумилева были выдвинуты ими, с неожиданным мастерством и чуткостью, на первый план. В противоположность общепринятому на сцене уничтожению стихотворной фонетики, заменяемой разговорной выразительностью, ростовские студисты ритмически скандировали строфы поэта, где каждое слово, каждая запятая имеют решающее значение.

Вернувшись в Петербург, я с удовольствием рассказал об этом спектакле Гумилеву, который даже не подозревал, что его пьеса была там поставлена на сцене. Тогда же я опубликовал мои краткие впечатления о ростовском вечере в газете «Жизнь Искусства», в номере от 21 августа 1920 года.

Вскоре после гибели Гумилева постановка «Гондлы» была повторена на одной из маленьких петербургских сцен, но почти сразу же снята с репертуара: тема о величии духа оказалась в противоречии с большевистско-марксистским материализмом.

У меня сохранилась статья об этом спектакле, подписанная инициалом Т. и напечатанная в «двухнедельном литературно-популярно-научном иллюстрированном журнале „Петербург“» (№ 2, январь 1922 г.). Я приведу несколько выдержек:

«7-го января Государственным Театром Театральная Мастерская была поставлена драматическая поэма в 4-х действиях Н. С. Гумилева „Гондла“».

«Об этой постановке год тому назад писал Ю. Анненков из Ростова, сейчас мы видим театр в гостях у себя в Петербурге…»

«Театральная Мастерская — театр слова. Здесь умеют читать стихи или хотят уметь».

«„Гондла“ вещь не драматическая, это именно поэма, лирическая поэма».

«Самые места действий не мотивированы, не мотивированы входы и выходы действующих лиц».

«Актерам нечего играть, поза может быть одна: поза произнесения».

«Но на сцене звучали стихи, стихи жили на сцене».

«Со своеобразной задачей постановки „Гондлы“ Мастерская справилась. Труднее всего было, когда прерывался текст и по ремарке автора шло действие, не сопровождаемое словами, как, например, в конце пьесы, когда вождь ирландцев крестит исландских волков».

«Как только на сцене воцарялось молчание, пьеса как бы прерывалась. Самый жест, там, где он был, казался странным и плохо сделанным».

«Может быть, впечатлению мешало то, что пьеса шла с двумя знаменами».

«Исполнитель роли Гондлы не нуждается в оговорках, его позы произнесения удавались, стихи звучали прекрасно, а образ Гондлы Королевича по праву поэзии весь в стихе».

«Наивна и трогательна гордость поэта Лебедя, заклинающего жизнь стихами. К концу вечера спектакль как-то спадал… Я думаю, что это объясняется, кроме случайных причин, и малым мастерством исполнителей…»

«Громадной заслугой театра является постановка пьесы современного автора».

«Мы не избалованы в этом отношении».

Я не сомневаюсь в том, что анонимный автор статьи хотел этим сказать, что «громадной заслугой» Театральной Мастерской явилось мужество показать на сцене пьесу поэта, расстрелянного всего за четыре с половиной месяца до спектакля.

* * *

В один из июльских вечеров 1921 года в литературном клубе на Литейном проспекте, в доме Мурузи (где раньше помещалась библиотека Пестовского, отца поэта Владимира Пяста, моего товарища по гимназии), было у меня назначено свидание с Гумилевым. Мы условились, что я сделаю там с него портретный набросок, предназначавшийся для книжки его стихов, которая должна была выйти в издательстве З. И. Гржебина. Гумилев, однако, не пришел, что меня крайне удивило, так как он был чрезвычайно точен и всегда сдерживал свои обещания. На

следующий день, утром, зайдя к Гумилеву в Дом Искусств, я узнал, что он был накануне арестован. Через несколько недель на облупившихся стенах петербургских улиц появились печатные извещения о состоявшемся 24 августа (17 дней после смерти Александра Блока) расстреле участников «таганцевского заговора» и в их числе поэта Николая Гумилева, обвиненного в составлении и в редактировании контрреволюционных заговорщицких прокламаций. Еще позже стало известно, что Гумилев на допросе открыто назвал себя монархистом и что он встретил расстрельщиков улыбаясь.

* * *

В дополнение я считаю нужным привести свидетельство одного из близких друзей Гумилева, Георгия Иванова, который рисует внутренний облик погибшего поэта:

> «Он по-настоящему любил и интересовался только одной вещью на свете — поэзией… Люди, близкие к нему, знают, что ничего воинственного, авантюристического в натуре Гумилева не было. В Африке ему было жарко и скучно, на войне мучительно мерзко, в пользу заговора, из-за которого он погиб, он верил очень мало… Он твердо считал, что право называться поэтом принадлежит только тому, кто в любом человеческом деле будет всегда стремиться быть впереди других, кто глубже других зная человеческие слабости — эгоизм, ничтожество, страх, — должен будет преодолевать в себе ветхого Адама. И от природы робкий, тихий, болезненный, книжный человек, он приказал себе быть охотником на львов, солдатом, награжденным двумя Георгиями, заговорщиком, рискующим жизнью за восстановление монархии, и то же, что со своей жизнью, он проделал над своей поэзией. Мечтательный, грустный лирик, он сломал свой лиризм, сорвал свой не особенно сильный, но необыкновенно чистый голос, желая вернуть поэзии ее прежнее величие и влияние на души — быть звенящим кинжалом, жечь сердца людей».

Вспоминая некоторые интимные беседы с Гумилевым во время наших встреч с глазу на глаз, я должен согласиться с характеристикой, сделанной Георгием Ивановым. И если Николай Оцуп писал, что «в современной русской поэзии только Гумилев

может быть назван теоретиком классицизма»; что «акмеист, по Н. Гумилеву, равномерно и наиболее интенсивно напрягает все свои человеческие способности для миропознания» и что «такой художественный темперамент нельзя не признать классическим»; что «вся деятельность Н. Гумилева как теоретика и поэта носит печать классицизма», а также, что «мы находимся в стадии развития классицизма, чему больше других послужил Н. Гумилев», — то лично мне, несмотря на редкое совершенство поэзии Н. Гумилева, ближе всего в ней те стихотворения, которые наиболее далеки от классицизма, а родственны творчеству А. Ахматовой, Г. Иванова, И. Одоевцевой…

Пример:

Телефон
Неожиданный и смелый
Женский голос в телефоне, —
Сколько радостных гармоний
В этом голосе без тела!

Счастье, шаг твой благосклонный
Не всегда проходит мимо:
Звонче лютни серафима[26]
Ты и в трубке телефонной.

Или:

Сомнение
Вот я один в вечерний тихий час,
И буду думать лишь о вас, о вас.

Возьмусь за книгу, но прочту: «она»,
И вновь душа пьяна и смятена …[27]

…Вот там, у клумб, вы мне сказали «да».
О, это «да» со мною навсегда.

И вдруг сознанье бросит мне в ответ,
Что вас, пожалуй, не было и нет,

Что ваше «да», ваш трепет у сосны,
Ваш поцелуй — лишь бред весны и сны.

Или стихотворение «Разговор», посвященное Г. Иванову:

Как хорошо теперь сидеть в кафе счастливым,
Где над людской толпой потрескивает газ,
И слушать, светлое потягивая пиво,
Как женщина поет «La p'tite Tonkinoise…»

* * *

Но все же рядом с этим и несмотря на утверждение Г. Иванова, что в Африке Гумилеву «было жарко и скучно», нельзя не вспомнить одно из его последних стихотворений, написанное уже через год после возвращения в Советский Союз и напечатанное в посмертном сборнике «К Синей звезде»:

…Ах, бежать бы, скрыться бы, как вору,
В Африку, как прежде, как тогда,
Лечь под царственную сикомору
И не подыматься никогда…

И, наконец, еще позже, за месяц до своего расстрела, Гумилев, предчувствуя свой отрыв от земли, но не желая верить в несуществование после смерти, переходит к «заумному» языку Хлебникова и пишет:

На Венере, ах, на Венере,
Нету слов обидных и властных,
Говорят ангелы на Венере
Языком из одних только гласных.

Если скажут «еа» и «аи»,
Это радостное обещанье,
«Уо», «ао» — о древнем рае,
Золотое воспоминанье.

Читая эти стихи, я вспомнил ночь, проведенную у Каплуна. Кто знает: может быть, в ту ночь Гумилев, побывав «в мире сновидений», видел уже Венеру и слышал ангелов, говоривших только одними гласными?

Леонид Страховский{157}
О Гумилеве. 1886–1921

Двадцать пятого августа тысяча девятьсот двадцать первого года был расстрелян Николай Степанович Гумилев, один из прекраснейших русских поэтов, приведший русскую поэзию опять к чистоте, простоте, точности и ясности после ее засорения туманностями символистов. Он был арестован по делу так называемого Таганцевского заговора и, наверное, был бы отпущен, как учитель многих пролетарских поэтов в рабочих клубах, если бы он вызывающе не заявил на первом же допросе, что он — монархист. Из тюрьмы, когда он уже был уверен в своей участи, он писал своей жене: «Не беспокойся обо мне, я чувствую себя хорошо; читаю Гомера и пишу стихи»{158}. А первого сентября в газете «Петроградская Правда» на первой странице в списке расстрелянных по делу заговора значилось: «Гумилев Н. С., тридцати трех лет (на самом деле ему было 35 лет. — Л. С.), филолог и поэт, член правления издательства „Мировая Литература“, беспартийный, бывший офицер. Участвовал в составлении прокламаций. Обещался присоединить к организации группу интеллигентов в момент восстания. Получал деньги от организации для технических надобностей».

О Гумилеве-поэте писали многие. Его стихи магнетизируют. Помню, как юношей я купил в книжном магазине Вольфа на Невском проспекте в Петербурге книжку мне тогда неизвестного поэта, озаглавленную: «Романтические цветы». Вернувшись домой на Каменный Остров, я начал ее читать. Все сильнее и сильнее стихи ее меня захватывали. И вдруг две строчки прямо пронзили меня, и дух захватило:

> Далеко, далеко, на озере Чад
> Изысканный бродит жираф.

Это была моя первая «встреча» с Николаем Степановичем. После этого я продолжал «знакомство», покупая все его сборники стихов в меру моего ограниченного бюджета и читая его стихи в «Аполлоне», на который подписывалась моя тетушка, София Михайловна Ростовцева. А настоящая встреча и краткое знакомство произошли гораздо позже, а именно на литературном утреннике (в 2 часа дня!) в зале Тенишевского училища, организованном обществом «Арзамас»{159}. Привел меня туда поэт Георгий Иванов. Было это в начале мая 1918 года. Большевики

властвовали уже более полугода, но Петербург, посеревший, полинявший, с пыльными, засоренными улицами, был прекрасен, как всегда, в эту памятную мне весну.

На утреннике выступали как видные, так и начинающие поэты. Среди последних особенно помню Леонида Канегиссера, в форме вольноопределяющегося, с бледным, красивым, чуть семитическим лицом. Кто мог бы предположить, что еще до конца лета он застрелит чекиста Урицкого и умрет мученической смертью? Первая часть утренника закончилась первым публичным чтением поэмы Блока «Двенадцать», эффектно продекламированной его женой, которая выступала под своей сценической фамилией: Басаргина. По окончании этого чтения в зале поднялся бедлам. Часть публики аплодировала, другая шикала и стучала ногами. Я прошел в крохотную артистическую комнату, буквально набитую поэтами. По программе очередь выступать после перерыва была за Блоком, но он с трясущейся губой повторял: «Я не пойду, я не пойду». И тогда к нему подошел блондин среднего роста с каким-то будто утиным носом и сказал: «Эх, Александр Александрович, написали, так и признавайтесь, а лучше бы не написали». После этого он повернулся и пошел к двери, ведшей на эстраду. Это был Гумилев.

Вернувшись в зал, который продолжал бушевать, я увидел Гумилева, спокойно стоявшего, облокотившись о лекторский пюпитр, и озиравшего публику своими серо-голубыми глазами. Так, вероятно, он смотрел на диких зверей в дебрях Африки, держа наготове свое верное нарезное ружье.

Но теперь его оружием была его поэзия. И когда зал немного утих, он начал читать свои газеллы, и в конце концов от его стихов и от него самого разлилась такая магическая сила, что чтение его сопровождалось бурными аплодисментами. После этого, когда появился Блок, никаких демонстраций уже больше не было.

По окончании утренника Георгий Иванов познакомил меня с Гумилевым. Узнав, что я пишу стихи, Николай Степанович предложил мне прогуляться с ним. Мы пошли по Летнему саду. Был весенний, хотя все еще прохладный день. Солнце пробивалось сквозь деревья, опушенные молодой листвой, и ложилось светлыми бликами на белый мрамор статуй, на желтый песок аллей и на чуть пробивающуюся траву. Мы представляли довольно странную пару в большевистском Петербурге. Я «донашивал» лицейскую форму. На мне была лицейская фуражка, и одет я был в черное пальто с золотыми пуговицами, на которых сияли двуглавые орлы, а на Гумилеве были элегантное пальто английского покроя и фетровая шляпа. Он ведь еще недавно

вернулся из Англии.

Гумилев попросил меня прочесть свои стихи, и я прочел одно, как сейчас помню, начинавшееся следующими строками:

Твой портрет в деревянной раме
Смотрит вдумчиво со стены.
Ах, стихи о Прекрасной Даме
Не тебе ли посвящены?

Когда я кончил, Гумилев сказал: «Хорошо. Запоминаются». И повторил первую строфу. «Но почему „Прекрасная Дама“? — добавил он с улыбкой. — Лучше бы Беатриче или Ленора». Тем не менее я был на седьмом небе и сейчас уже не помню, как закончилась наша прогулка, что еще Гумилев говорил и как мы расстались. Вскоре после этого я бежал из красного Петербурга на Мурман и больше уже никогда Гумилева не видал. Но эта личная встреча и «акколада» мастера, давно уже почти боготворимого мной, запомнились на всю жизнь так ясно и рельефно, как будто это случилось только вчера.

Свое замечательное стихотворение «Вступление» к сборнику «Шатер», как известно, целиком посвященному Африке, Гумилев закончил следующей строфой, в которой он обращался к Богу:

Но последнюю милость, с которою
Отойду я в селенья святые,
Дай скончаться под той сикоморою.
Где с Христом отдыхала Мария.

Но судьба была жестока к Гумилеву. Его конец — пуля чекиста в затылок и безвестная могила. Глубочайшая трагедия русской поэзии в том, что три ее самых замечательных поэта кончили свою жизнь насильственной смертью, и при этом в молодых годах: Пушкин — тридцати семи лет, Лермонтов — двадцати шести и Гумилев — тридцати пяти.

Владислав Ходасевич{160}
Гумилев и Блок

Блок умер 7-го, Гумилев — 27 августа 1921 года{161}. Но для меня они оба умерли 3 августа. Почему — я расскажу ниже.

Пожалуй, трудно себе представить двух людей, более различных между собою, чем были они. Кажется, только возрастом были они не столь далеки друг от друга: Блок был всего лет на шесть старше.

Принадлежа к одной литературной эпохе, они были людьми разных поэтических поколений. Блок, порой бунтовавший против символизма, был одним из чистейших символистов. Гумилев, до конца жизни не вышедший из-под влияния Брюсова, воображал себя глубоким, последовательным врагом символизма. Блок был мистик, поклонник Прекрасной Дамы, — и писал кощунственные стихи не только о ней. Гумилев не забывал креститься на все церкви, но я редко видал людей, до такой степени не подозревающих о том, что такое религия. Для Блока его поэзия была первейшим реальным духовным подвигом, неотделимым от жизни. Для Гумилева она была формой литературной деятельности{162}. Блок был поэтом всегда, в каждую минуту своей жизни. Гумилев — лишь тогда, когда он писал стихи. Все это (и многое другое) завершалось тем, что они терпеть не могли друг друга — и этого не скрывали. Однако в памяти моей они часто являются вместе. Последний год их жизни, в сущности, единственный год моего с ними знакомства, кончился почти одновременной смертью обоих. И в самой кончине их, и в том потрясении, которое она вызвала в Петербурге, было что-то связующее.

Мы с Гумилевым в один год родились, в один год начали печататься{163}, но не встречались долго: я мало бывал в Петербурге, а он в Москве, кажется, и совсем не бывал. Мы познакомились осенью 1918 года, в Петербурге, на заседании коллегии «Всемирной Литературы». Важность, с которою Гумилев «заседал», тотчас мне напомнила Брюсова.

Он меня пригласил к себе и встретил так, словно это было свидание двух монархов. В его торжественной учтивости было нечто столь неестественное, что сперва я подумал — не шутит ли он? Пришлось, однако, и мне взять примерно такой же тон: всякий другой был бы фамильярностью. В опустелом, голодном, пропахшем воблою Петербурге, оба голодные, исхудалые, в истрепанных пиджаках и дырявых штиблетах, среди нетопленого

и неубранного кабинета сидели мы и беседовали с непомерною важностью. Памятуя, что я москвич, Гумилев счел нужным предложить мне чаю, но сделал это таким неуверенным голосом (сахару, вероятно, не было), что я отказался и тем, кажется, вывел его из затруднения. Меж тем обстановка его кабинета все более привлекала мое внимание. Письменный стол, трехстворчатый книжный шкаф, высокие зеркала в простенках, кресла и прочее — все мне было знакомо до чрезвычайности. Наконец, я спросил осторожно, давно ли он живет в этой квартире.

— В сущности, это не моя квартира, — отвечал Гумилев, — это квартира М.{164} — Тут я все понял: мы с Гумилевым сидели в бывшем моем кабинете! Лет за десять до того эта мебель отчасти принадлежала мне. Она имела свою историю. Адмирал Федор Федорович Матюшкин, лицейский товарищ Пушкина, снял ее с какого-то корабля и ею обставил дом у себя в имении, возле Бологое, на берегу озера. Имение называлось «Заимка». По местным преданиям, Пушкин, конечно, не раз бывал в «Заимке»; показывали даже кресло, обитое зеленым сафьяном, — любимое кресло Пушкина. Как водится, это была лишь легенда: Пушкин в тех местах не бывал вовсе, да и Матюшкин купил это имение только лет через тридцать после смерти Пушкина. После кончины Матюшкина «Заимка» переходила из рук в руки, стала называться «Лидиным», но обстановка старого дома сохранилась. Даже особые приспособления в буфете для подвешивания посуды на случай качки не были заменены обыкновенными полками. В 1905 году я сделался случайным полуобладателем этой мебели и вывез ее в Москву. Затем ей суждено было перекочевать в Петербург, а когда революция окончательно сдвинула с мест всех и все, я застал среди нее Гумилева. Ее настоящая собственница была в Крыму{165}.

Посидев, сколько следовало для столь натянутого визита, я встал. Когда Гумилев меня провожал в передней, из боковой двери выскочил тощенький, бледный мальчик, такой же длиннолицый, как Гумилев, в запачканной косоворотке и в валенках. На голове у него была уланская каска, он размахивал игрушечной сабелькой и что-то кричал. Гумилев тотчас отослал его — тоном короля, отсылающего дофина к его гувернерам. Чувствовалось, однако, что в сырой и промозглой квартире нет никого, кроме Гумилева и его сына.

Два года спустя переехал я в Петербург{166}. Мы стали видеться чаще. В Гумилеве было много хорошего. Он обладал отличным литературным вкусом, несколько поверхностным, но в известном смысле непогрешимым. К стихам подходил формально, но в этой области был и зорок, и тонок. В механику

стиха он проникал, как мало кто. Думаю, что он это делал глубже и зорче, нежели даже Брюсов. Поэзию он обожал, в суждениях старался быть беспристрастным.

За всем тем его разговор, как и его стихи, редко был для меня «питателен». Он был удивительно молод душой, а может быть и умом. Он всегда мне казался ребенком. Было что-то ребяческое в его под машинку стриженной голове, в его выправке, скорее гимназической, чем военной. То же ребячество прорывалось в его увлечении Африкой, войной, наконец — в напускной важности, которая так меня удивила при первой встрече и которая вдруг сползала, куда-то улетучивалась, пока он не спохватывался и не натягивал ее на себя сызнова. Изображать взрослого ему нравилось, как всем детям. Он любил играть в «мэтра», в литературное начальство своих «гумилят», то есть маленьких поэтов и поэтесс, его окружавших. Поэтическая детвора его очень любила. Иногда, после лекций о поэтике, он играл с нею в жмурки — в самом буквальном, а не в переносном смысле слова. Я раза два это видел. Гумилев был тогда похож на славного пятиклассника, который разыгрался с приготовишками. Было забавно видеть, как через полчаса после этого он, играя в большого, степенно беседовал с А. Ф. Кони — и Кони весьма уступал ему в важности обращения.

На святках 1920 года в Институте Истории Искусств устроили бал. Помню: в огромных промерзших залах зубовского особняка на Исаакиевской площади — скудное освещение и морозный пар. В каминах чадят и тлеют сырые дрова. Весь литературный и художнический Петербург — налицо. Гремит музыка. Люди движутся в полумраке, теснятся к каминам. Боже мой, как одета эта толпа! Валенки, свитеры, потертые шубы, с которыми невозможно расстаться и в танцевальном зале. И вот, с подобающим опозданием, является Гумилев под руку с дамой, дрожащей от холода в черном платье с глубоким вырезом. Прямой и надменный, во фраке, Гумилев проходит по залам. Он дрогнет от холода, но величественно и любезно раскланивается направо и налево. Беседует со знакомыми в светском тоне. Он играет в бал. Весь вид его говорит: «Ничего не произошло. Революция? Не слыхал».

* * *

В ту зиму Блок избегал людей. Конечно, он не был и на балу. Он запомнился мне на другом вечере. «Дом Литераторов», одно из последних прибежищ наших, задумал устраивать ежегодные

всероссийские чествования памяти Пушкина в день его смерти. (Впоследствии они были перенесены на день рождения Пушкина; из них же возникли и зарубежные «Дни русской культуры».) Первый вечер состоялся 11 февраля 1921 года. Предстояли речи А. Ф. Кони, Н. А. Котляревского, Блока и моя. Кузмин должен был читать стихи. Я был болен, не успел подготовить речь к сроку и отказался выступить, но пошел на вечер. На эстраде сидели представители «Дома Литераторов» — Н. М. Волковысский, Б. И. Харитон, В. Я. Ирецкий. За столом президиума, в центре — Котляревский (председатель), по правую руку от него — Ахматова, Щеголев и я, по левую — Кони, Кузмин и на конце стола Блок, который все время сидел, низко опустив голову.

Речам предшествовали краткие заявления разных организаций о том, в какой форме предполагают они в будущем отмечать Пушкинские дни. В числе делегатов явился и официальный представитель правительства, некий Кристи, по должности — заведующий так называемым академическим центром. Писателям и ученым постоянно приходилось иметь с ним дело. Он был человек пожилой, мягкий, благожелательный. Под несочувственными взглядами битком набитого зала он приметно конфузился. Когда ему предоставили слово, он встал, покраснел и, будучи неречист от природы, тотчас же сбился: не рассчитал отрицательных частиц и произнес буквально следующее:

— Русское общество не должно предполагать, будто во всем, что касается увековечения памяти Пушкина, оно не встретит препятствий со стороны рабоче-крестьянской власти.

По залу пробежал смех. Кто-то громко сказал: «И не предполагаем». Блок поднял лицо и взглянул на Кристи с кривой усмешкой.

Свое вдохновенное слово о Пушкине он читал последним. На нем был черный пиджак поверх белого свитера с высоким воротником. Весь жилистый и сухой, обветренным красноватым лицом он похож был на рыбака. Говорил глуховатым голосом, отрубая слова, засунув руки в карманы. Иногда поворачивал голову в сторону Кристи и отчеканивал: «Чиновники суть наша чернь, чернь вчерашнего и сегодняшнего дня… Пускай же остерегутся от худшей клички те чиновники, которые собираются направлять поэзию по каким-то собственным руслам, посягая на ее тайную свободу и препятствуя ей выполнять ее таинственное назначение…» Бедный Кристи приметно страдал, ерзая на своем стуле. Мне передавали, что перед уходом, надевая пальто в передней, он сказал громко:

— Не ожидал я от Блока такой бестактности.

Однако в той обстановке и в устах Блока речь прозвучала не бестактностью, а глубоким трагизмом, отчасти, может быть, покаянием. Автор «Двенадцати» завещал русскому обществу и русской литературе хранить последнее пушкинское наследие — свободу, хотя бы «тайную». И пока он говорил, чувствовалось, как постепенно рушится стена между ним и залом. В овациях, которыми его провожали, была та просветленная радость, которая всегда сопутствует примирению с любимым человеком.

Во время блоковской речи появился Гумилев. Под руку с тою же дамою, что была с ним на балу, он торжественно шел через весь зал по проходу. Однако на этот раз в его опоздании на Пушкинский вечер, и в его фраке (быть может, рядом со свитером Блока), и в вырезном платье его спутницы было что-то неприятное. На эстраде было для него приготовлено место. Он уже занес ногу на скрипучую ступеньку, но Котляревский резко махнул на него рукой, он сел где-то в публике и через несколько минут вышел.

Вечер был повторен три раза. Я, наконец, написал свою речь («Колеблемый треножник») и читал ее. «За кулисами», в ожидании своей очереди, мы с Блоком беседовали. В сущности, только в те вечера мы с ним говорили более или менее наедине. В последний раз (это было в здании Университета) так вышло, что в какой-то пустынной комнате, за холодным клеенчатым столом просидели мы часа полтора. Начали с Пушкина, перешли к раннему символизму. О той эпохе, о тогдашних мистических увлечениях, об Андрее Белом и С. М. Соловьеве Блок говорил с любовной усмешкой. Так вспоминают детство. Блок признавался, что многих тогдашних стихов своих он больше не понимает: «Забыл, что тогда значили многие слова. А ведь казались сакраментальными. А теперь читаю эти стихи, как чужие, и не всегда понимаю, что, собственно, хотел сказать автор».

В тот вечер, 26 февраля, он был печальнее, чем когда-либо. Говорил много о себе, как будто с самим собою, смотря в глубь себя, очень сдержанно, порою — полунамеками, смутно, спутанно, но за его словами ощущалась суровая, терпковая правдивость. Казалось, он видит мир и себя самого в трагической обнаженности и простоте. Правдивость и простота навсегда и остались во мне связаны с воспоминанием о Блоке.

Гумилев слишком хорошо разбирался в поэтическом мастерстве, чтобы не ценить Блока вовсе. Но это не мешало ему не любить Блока лично. Не знаю, каковы были их отношения прежде того, но, приехав в Петербург, я застал обоюдную вражду. Не думаю, чтобы ее причины были мелочные, хотя Гумилев, очень

считавшийся с тем, кто какое место занимает в поэтической иерархии, мог завидовать Блоку. Вероятно, что дело тут было в более серьезных расхождениях. Враждебны были миросозерцания, резко противоположны литературные задачи. Главное в поэзии Блока, ее «сокрытый двигатель» и ее душевно-духовный смысл, должны были быть Гумилеву чужды. Для Гумилева в Блоке с особою ясностью должны были проступать враждебные и не совсем понятные ему стороны символизма. Недаром манифесты акмеистов были направлены прежде всего против Блока и Белого. Блока же в Гумилеве должна была задевать «пустоватость», «ненужность», «внешность». Впрочем, с поэзией Гумилева, если бы дело все только в ней заключалось, Блок, вероятно, примирился бы, мог бы, во всяком случае, отнестись к ней с большей терпимостью. Но были тут два осложняющих обстоятельства. На ученика — Гумилева — обрушивалась накоплявшаяся годами вражда к учителю — Брюсову, вражда тем более острая, что она возникла на развалинах бывшей любви. Акмеизм и все то, что позднее называли «гумилевщиной», казались Блоку разложением «брюсовщины». Во-вторых — Гумилев был не одинок. С каждым годом увеличивалось его влияние на литературную молодежь, и это влияние Блок считал духовно и поэтически пагубным.

В начале 1921 года вражда пробилась наружу. Чтобы попутно коснуться еще некоторых происшествий, я начну несколько издалека. Еще года за четыре до войны в Петербурге возникло поэтическое сообщество, получившее название «Цех Поэтов». В нем участвовали Блок, Сергей Городецкий, Георгий Чулков, Юрий Верховский, Николай Клюев, Гумилев и даже Алексей Толстой, в ту пору еще писавший стихи. Из молодежи — О. Мандельштам, Георгий Нарбут и Анна Ахматова, тогдашняя жена Гумилева. Первоначально объединение было в литературном смысле беспартийно. Потом завладели им акмеисты, а несочувствующие акмеизму, в том числе Блок, постепенно отпали. В эпоху войны и военного коммунизма акмеизм кончился, «Цех» заглох. В начале 1921 года Гумилев вздумал его воскресить и пригласил меня в нем участвовать. Я спросил, будет ли это первый «Цех», т. е. беспартийный, или второй, акмеистский. Гумилев ответил, что первый, и я согласился. Как раз в тот вечер должно было состояться собрание, уже второе по счету. Я жил тогда в «Доме Искусств», много хворал и почти никого не видел. Перед собранием я зашел к соседу своему, Мандельштаму, и спросил его, почему до сих пор он мне ничего не сказал о возобновлении «Цеха». Мандельштам засмеялся:

— Да потому, что и нет никакого «Цеха». Блок, Сологуб и Ахматова отказались. Гумилеву только бы председательствовать.

Он же любит играть в солдатики. А вы попались. Там нет никого, кроме гумилят.

— Позвольте, а сами-то вы что же делаете в таком «Цехе»? — спросил я с досадой.

Мандельштам сделал очень серьезное лицо:

— Я там пью чай с конфетами.

В собрании, кроме Гумилева и Мандельштама, я застал еще пять человек[167]. Читали стихи, разбирали их. «Цех» показался мне бесполезным, но и безвредным. Но на третьем собрании меня ждал неприятный сюрприз. Происходило вступление нового члена — молодого стихотворца Нельдихена[168]. Неофит читал свои стихи. В сущности, это были стихотворения в прозе. По-своему они были даже восхитительны: той игривою глупостью, которая в них разливалась от первой строки до последней. Тот «я», от имени которого изъяснялся Нельдихен, являл собою образчик отборного и законченного дурака, притом дурака счастливого, торжествующего и беспредельно самодовольного. Нельдихен читал:

Женщины, двухсполовинойаршинные куклы,
Хохочущие, бугристотелые,
Мягкогубые, прозрачноглазые, каштановолосые,
Носящие всевозможные распашонки и матовые
висюльки-серьги,
Любящие мои альтоголосые проповеди и плохие
хозяйки,—
О, как волнуют меня такие женщины!
По улицам всюду ходят пары,
У всех есть жены и любовницы,
А у меня нет подходящих;
Я совсем не какой-нибудь урод,
Когда я полнею, я даже бываю лицом похож
на Байрона…

Дальше рассказывалось, что нашлась все-таки какая-то Женька или Сонька, которой он подарил карманный фонарик, но она стала ему изменять с бухгалтером, и он, чтобы отплатить, украл у нее фонарик, когда ее не было дома. Все это декламировалось нараспев и совсем серьезно. Слушатели улыбались. Они не покатывались со смеху только потому, что знали историю фонарика чуть ли не наизусть: излияния Нельдихена уже были в славе. Авторское чтение в «Цехе» было всего лишь формальностью, до которых Гумилев был охотник. Когда Нельдихен кончил, Гумилев в качестве «синдика» произнес

приветственное слово. Прежде всего он отметил, что глупость доныне была в загоне, поэты ею несправедливо гнушались. Однако пора ей иметь свой голос в литературе. Глупость — такое же естественное свойство, как ум. Можно ее развивать, культивировать. Припомнив двустишие Бальмонта:

Но мерзок сердцу облик идиота,
И глупости я не могу понять, —

Гумилев назвал его жестоким и в лице Нельдихена приветствовал вступление очевидной глупости в «Цех поэтов».

После собрания я спросил Гумилева, стоит ли издеваться над Нельдихеном и зачем нужен Нельдихен в «Цехе». К моему удивлению, Гумилев заявил, что издевательства никакого нет. — Не мое дело, — сказал он, — разбирать, кто из поэтов что думает. Я только сужу, как они излагают свои мысли или свои глупости. Сам я не хотел бы быть дураком, но я не вправе требовать ума от Нельдихена. Свою глупость он выражает с таким умением, какое не дается и многим умным. А ведь поэзия и есть умение. Значит, Нельдихен — поэт, и мой долг — принять его в «Цех».

Несколько времени спустя должен был состояться публичный вечер «Цеха» с участием Нельдихена. Я послал Гумилеву письмо о своем выходе из «Цеха». Однако я сделал это не только из-за Нельдихена. У меня была и другая причина, гораздо более веская.

Еще до моего переезда в Петербург там образовалось отделение Всероссийского Союза Поэтов, правление которого находилось в Москве и возглавлялось чуть ли не самим Луначарским. Не помню, из кого состояло правление, председателем же его был Блок. Однажды ночью пришел ко мне Мандельштам и сообщил, что «блоковское» правление Союза час тому назад свергнуто и заменено другим, в состав которого вошли исключительно члены «Цеха», в том числе я. Председателем избран Гумилев. Переворот совершился как-то странно — повестки были разосланы чуть ли не за час до собрания, и далеко не все их получили. Все это мне не понравилось, и я сказал, что напрасно меня выбрали, меня не спросив. Мандельштам стал меня уговаривать «не подымать истории», чтобы не обижать Гумилева. Из его слов я понял, что «перевыборы» были подстроены некоторыми членами «Цеха», которым надобно было завладеть печатью Союза, чтобы при помощи ее обделывать дела мошеннического и коммерческого свойства{169}. Для этого они и прикрылись именем и положением Гумилева. Гумилева же, как ребенка, соблазнили титулом председателя. Кончилось тем, что я пообещал формально из

правления не выходить, но фактически не участвовал ни в его заседаниях, ни вообще в делах Союза. Это-то и толкнуло меня на выход из «Цеха».

Блок своим председательством в Союзе, разумеется, не дорожил. Но ему не понравились явно подстроенные выборы, и он был недоволен тем, что отныне литературное влияние Гумилева будет подкреплено нажимом со стороны союзного правления. И Блок решился выйти из неподвижности.

Как раз в это время удалось получить разрешение на издание еженедельника под названием «Литературная Газета». В редакцию вошли А. Н. Тихонов, Е. И. Замятин и К. И. Чуковский. Для первого номера Блок дал статью, направленную против Гумилева и «Цеха». Называлась она «Без божества, без вдохновенья». «Литературная Газета» прекратила существование раньше, чем начала выходить: за рассказ Замятина и мою передовицу номер был конфискован еще в типографии по распоряжению Зиновьева. Статью Блока я прочел лишь много лет спустя, в собрании его сочинений. Признаться, она мне кажется очень вялой и туманной, как многие статьи Блока. Но в ту пору ходили слухи, что она очень резка. В одну из тогдашних встреч Блок и сам говорил мне то же. С досадой он говорил о том, что Гумилев делает поэтов «из ничего» <…>

<…> Мой уход из «Цеха Поэтов»{170} не повлиял на наши личные отношения с Гумилевым. Около этого времени он тоже поселился в «Доме Искусств», и мы стали видеться даже чаще. Он жил деятельно и бодро{171}. Конец его начался приблизительно в то же время, когда и конец Блока.

На Пасхе вернулся из Москвы в Петербург один наш общий друг, человек большого таланта и большого легкомыслия. Жил он, как птица небесная, говорил — что Бог на душу положит. Провокаторы и шпионы к нему так и льнули: про писателей от него можно было узнать все, что нужно. Из Москвы привез он нового своего знакомца. Знакомец был молод, приятен в обхождении, щедр на небольшие подарки: папиросами, сластями и прочим. Называл он себя начинающим поэтом, со всеми спешил познакомиться. Привели его и ко мне, но я скоро его спровадил. Гумилеву он очень понравился.

Новый знакомец стал у него частым гостем. Помогал налаживать «Дом Поэтов» (филиал Союза), козырял связями в высших советских сферах. Не одному мне казался он подозрителен. Гумилева пытались предостеречь — из этого ничего не вышло. Словом, не могу утверждать, что этот человек был главным и единственным виновником гибели Гумилева, но после того, как Гумилев был арестован, он разом исчез, как в воду

канул. Уже за границей я узнал от Максима Горького, что показания этого человека фигурировали в гумилевском деле и что он был подослан.

В конце лета я стал собираться в деревню на отдых. В среду, 3 августа, мне предстояло уехать. Вечером накануне отъезда пошел я проститься кое с кем из соседей по «Дому Искусств». Уже часов в десять постучался к Гумилеву. Он был дома, отдыхал после лекции.

Мы были в хороших отношениях, но короткости между нами не было. И вот как два с половиной года тому назад меня удивил слишком официальный прием со стороны Гумилева, так теперь я не знал, чему приписать необычайную живость, с которой он обрадовался моему приходу. Он выказал какую-то особую даже теплоту, ему как будто бы и вообще несвойственную. Мне нужно было еще зайти к баронессе В. И. Икскуль, жившей этажом ниже. Но каждый раз, как я подымался уйти, Гумилев начинал упрашивать: «Посидите еще». Так я и не попал к Варваре Ивановне, просидев у Гумилева часов до двух ночи. Он был на редкость весел. Говорил много, на разные темы. Мне почему-то запомнился только его рассказ о пребывании в царскосельском лазарете, о государыне Александре Феодоровне и великих княжнах. Потом Гумилев стал меня уверять, что ему суждено прожить очень долго — «по крайней мере до девяноста лет». Он все повторял:

— Непременно до девяноста лет, уж никак не меньше.

До тех пор собирался написать кипу книг. Упрекал меня:

— Вот мы однолетки с вами, а поглядите: я, право, на десять лет моложе. Это все потому, что я люблю молодежь. Я со своими студистками в жмурки играю — и сегодня играл. И потому непременно проживу до девяноста лет, а вы через пять лет скиснете.

И он, хохоча, показывал, как через пять лет я буду, сгорбившись, волочить ноги и как он будет выступать «молодцом».

Прощаясь, я попросил разрешения принести ему на следующий день кое-какие вещи на сохранение. Когда наутро, в условленный час, я с вещами подошел к дверям Гумилева, мне на стук никто не ответил. В столовой служитель Ефим сообщил мне, что ночью Гумилева арестовали и увезли. Итак, я был последним, кто видел его на воле. В его преувеличенной радости моему приходу, должно быть, было предчувствие, что после меня он уже никого не увидит.

Я пошел к себе — и застал там поэтессу Надежду Павлович, общую нашу с Блоком приятельницу. Она только что прибежала

от Блока, красная от жары и запухшая от слез. Она сказала мне, что у Блока началась агония. Как водится, я стал утешать ее, обнадеживать. Тогда, в последнем отчаянии, она подбежала ко мне и, захлебываясь слезами, сказала:

— Ничего вы не знаете… никому не говорите… уже несколько дней… он сошел с ума!

Через несколько дней, когда я был уже в деревне, Андрей Белый известил меня о кончине Блока. 14-го числа, в воскресенье, отслужили мы по нем панихиду в деревенской церкви. По вечерам у костров собиралась местная молодежь, пела песни. Мне захотелось тайком помянуть Блока. Я предложил спеть «Коробейников», которых он так любил. Странно — никто не знал «Коробейников».

В начале сентября мы узнали, что Гумилев убит. Письма из Петербурга шли мрачные, с полунамеками, с умолчаниями. Когда вернулся я в город, там еще не опомнились после этих смертей.

В начале 1922 года, когда театр, о котором перед арестом много хлопотал Гумилев, поставил его пьесу «Гондла», на генеральной репетиции, а потом и на первом представлении публика стала вызывать:

— Автора!

Пьесу велели снять с репертуара.

Андрей Левинсон[{172}]
Гумилев

Когда несколько месяцев тому назад был замучен и убит Н. С. Гумилев, я не нашел в себе сил рассказать о поэте: негодование и скорбь, чудовищность преступления заслонили на время образ его в интимной простоте и трудовой его обыденности. Впрочем, пафос и торжественность поэтического делания не покидали его и в быту каждодневном. Он не шагал, а выступал истово, с надменной и медлительной важностью; он не беседовал, а вещал наставительно, ровно, без трепета сомнения в голосе. Мерой вещей была для него поэзия; вселенная — материалом для создания образов. Музыка сфер — прообразом стихотворной ритмики. Свое знание о поэзии он считал точным, окончательным; он охотно искал твердых и повелительных формул, любил себя окружать учениками, подмастерьями поэтического цеха, и обучать их догме стихотворного искусства. В последние годы жизни он был чрезвычайно окружен, молодежь тянулась к нему со всех сторон, с восхищением подчиняясь деспотизму молодого мастера, владеющего философским камнем поэзии. В Красном Петрограде стал он наставником целого поколения: университет и пролеткульт равно слали ему прозелитов. Однако не отшлифованные, с педантизмом схемы Гумилева, не рецепты творчества, им преподаваемые, завоевали ему подобную власть над умами. В нем чувствовалось всегда ровное напряжение большой воли, создающей красоту, а сквозь маску педанта с коническим черепом виден был юношеский пыл души, цельной, без щербинки и во многом ребячески-простой. У этого профессора поэзии была душа мальчика, бегущего в мексиканские пампасы, начитавшись Густава Эмара. Поэт-скиталец, поэт-паломник и явился к нам издалека; на обложке первой его книжки — если не считать предварительного, так сказать, поэтического опыта «Пути конквистадоров» — обозначен как место издания Париж. Я был, помнится, первым из русских критиков, с волнением откликнувшихся на эти его «Романтические цветы», потому что был озадачен и привлечен «необщим выражением» маленького сборника[{173}]. Насквозь эклектичная книга, где на малом пространстве нескольких десятков страниц сгрудились античность и экзотика, римские галеры и каравеллы Кортеца, сновало многоголосое и разноцветное, как в Левантинском порту, население образов, где русский ямб то уподоблялся патетическому и взбудораженному

александрийцу Виктора Гюго, то кованому, насыщенному, как афоризм, стиху Эредиа, то легкой и крепкой восьмисложной строке Теофиля Готье. Гумилев показался мне тогда «французским поэтом на русском языке», царскосел-парижанином, но уже в самом характере воспринятых им воздействий заключалась немалая новизна. Поколение наших символистов черпало импульсы из творчества «проклятых поэтов», из демонической риторики Бодлэра, тайнописи Маллармэ, текучего, аморфного, музыкального лиризма Поля Верлэна, грандиозного бреда Верхарна. Юный Гумилев по внутренней необходимости обратился к тем поэтам, для которых «видимый мир существует». Тогдашний его «круг чтения» предопределяет поэтическую доктрину, вокруг которой он сгруппирует впоследствии важную часть молодых стихотворцев наших. Так подготовляется петербургская пора его деятельности, отмеченная сборниками «Чужое небо» и «Жемчуга»{174}, переводом «Эмалей и Камей» Теофиля Готье и критической работой в «Аполлоне». Однако труженичество и учительство этих лет, литературная борьба с символистами не были плодом столичного писательского быта, кружковой обыденщины. Строй поэтической мысли Гумилева сложился на просторах африканской пустыни, под мерный шаг караванов. Два путешествия в Абиссинию, куда некогда ушел от Европы и от поэзии гениальный юноша Артюр Рэмбо, — до последних дней жизни напитали душу Гумилева воспоминаниями, образами, восторгом. Абиссиния его Эльдорадо, подобное тому, куда четыре века тому назад стремились на крутобоких талионах конквистадоры, которых не уставал во всю свою недолгую жизнь воспевать Гумилев. Пусть русский поэт не искал, как испанские мореплаватели, золотого края или таинственных истоков Нила, та же мечта о безмерной, небывалой, девственной жизни, та же жажда волшебства, неутоленная воля к действию руководила им.

И не меньше, чем из примера таких писателей, как Теофиль Готье или Раблэ, из ночных размышлений в палатке где-либо на плоскогорий Харрара возникла поэтическая доктрина акмеизма, объединившая вокруг Гумилева сонм молодых поэтов: О. Мандельштама, Георгия Иванова, М. Зенкевича, других еще.

Чем же был этот загадочный акмеизм, что притязал упразднить и сменить русский символизм, его идеологию, его методы иносказания? Приятием и утверждением зримого и ощутимого мира, культом углубленной и усиленной конкретности, славословием вещи и ее имени: слова. Омолодить мир, увидеть его словно впервые в первозданном его облике — такова надежда. Самая же поэзия представлялась Гумилеву и его

кругу не как плод прихотливых вдохновений, а как стихотворное ремесло, имеющее свои законы и приемы, свой материал: слово в его значении и его звучании, образности и ритме; недаром группа его, в которой участвовал тогда и ветреный, взбалмошный Сергей Городецкий, объединилась в Цех, где вокруг мастеров сплотились ученики. Журнал и издательство «Гиперборей» явились органами нового поэтического упования; так возник первый исключительно стихотворный журнал{175}.

Мне доныне кажется лучшим памятником этой поры в жизни Гумилева бесценный перевод «Эмалей и Камей», поистине чудо перевоплощения в облик любимого им Готье. Нельзя представить, при коренной разнице в стихосложении французском и русском, в естественном ритме и артикуляции обоих языков, более разительного впечатления тождественности обоих текстов. И не подумайте, что столь полной аналогии возможно достигнуть лишь обдуманностью и совершенством фактуры, выработанностью ремесла; тут нужно постижение более глубокое, поэтическое братство с иноязычным стихотворцем.

Наступила война, а с нею для Гумилева военная страда. Войну он принял с простотою совершенной, с прямолинейной горячностью. Он был, пожалуй, одним из тех немногих людей в России, чью душу война застала в наибольшей боевой готовности. Патриотизм его был столь же безоговорочен, как безоблачно было его религиозное исповедание. Я не видел человека, природе которого было бы более чуждо сомнение, как совершенно, редкостно, чужд был ему и юмор. Ум его, догматический и упрямый, не ведал никакой двойственности.

Гумилев ушел на фронт гусаром{176}, участвовал в трагическом походе в Восточную Пруссию, был ранен, заслужил двух Георгиев, позже был направлен во Францию; позже состоял здесь ординарцем при комиссаре Временного правительства; я встретился с ним вновь в России уже на исходе 1918 года.

Как раньше в африканской пустыне, на коне, при винтовке, Гумилев двигался по широким просторам навстречу неизвестности, навстречу опасности. Его переживание войны было легким, восторженным, подвиг был радостным. Сборник «Колчан», памятка об этой поре, свидетельствует об этом состоянии его души, просветленном и экзальтированном. Он «земно кланяется сей священной войне», но до чего он чужд кровожадному фанфаронству тыла! Нет, помнится, в книге ни единого слова о чужой крови, о чужой жизни, есть лишь готовность отдать свою. Нет врага, есть только воин, готовый претерпеть и восприять чин ангельский.

Хоть и вышедшие в свет в дни большевистского владычества,

последующие три книги Гумилева сложились раньше; они продолжают предшествующее без резких перебоев.

Его «Костер», последовавший за радостно-фаталистическим «Колчаном» первого года войны, рисуется как эпизод, довольно краткое интермеццо. Душа, возвеличенная было жертвенным подвигом солдата, вновь погружена в марево северных туманов, в чистилище смутных кошмаров, над которыми лишь в высоте сияет воскрылье серафимов (бесконечно, искони любимый Гумилевым образ).

Поэт сам ощущает «Костер» как «зловещую ночных видений тетрадь», томится в своем гиперборейском изгнании, ибо кто он, если не

> …Простой индиец, задремавший
> В священный вечер у ручья?

Таков, полный меланхолии, а может быть и черного предчувствия, интимный стержень этого цикла. Между тем Гумилев слыл, да и сейчас слывет у многих парнасцем по содержанию и форме, т. е. безличным и безразличным нанизывателем отраженных чувствований, собирателем живописных эпитетов и диковинных звонов. Не может быть большего заблуждения. Лиризм его — выражение сокровенной и скрытной чувствительности; конечно, он мастер и фанатик формы: но что есть поэзия, если не постижение мира через образ и звук? Потому-то повторный, омертвелый образ, подсказанный лишь памятью слуха или привычной ассоциацией мыслей, перестает быть поэзией. Но творческая новизна образов Гумилева бесподобна. Он твердо помнит, что

> Лишь девственные наименования
> Поэтам разрешаются отсель.

Магия поэтического воображения в том — согласно «акмеистическому» воззрению Гумилева, — что стихотворец словно впервые вскидывает глаза на весь предметный мир — впервые, как дикарский мальчик Мик в африканской роще.

Африканская поэма «Мик» вся изложена рифмованными четырехстопными стихами, бодрыми путниками с легкой поклажей. Как описать мудрую детскость этой эпики, где радость от тривиальных подробностей экзотического быта граничит с жутью тропической чащи, Майн Рид — с седым мифом, где в недра дикарской преисподней нисходят отсветы христианского

рая?

Арабская сказка «Дитя Аллаха» возвеличивает в форме драматизированной притчи призвание поэта. Здесь образ Гафиза окружен целым сонмом воспоминаний: фигурами «Тысячи и одной ночи», уж преломленными через философские сказки Вольтера, веяниями западного ветра, как он воспет в «Диване» Гёте, арабесками и эмалевой расцветкой персидских миниатюр. На всех этих пахучих травах настоялся ароматный фиал сказки Гумилева. Поэт дал остроте его выветриться, яри его слегка потускнеть, прежде чем вручить его читателю.

«Дитя Аллаха» — лучшее из осуществленного Гумилевым в драматическом роде. Этому цельному человеку не давалось искусство масок; он не мог расчленить и воплотить во множестве фигур борение своей души, ясной и невинной. Так, его ненапечатанная еще, кажется, «Окровавленная туника»{177}, задуманная в духе Расиновых «правильных» трагедий, лишь цикл лирических отступлений и вялых диалогов. Его опыты как драматурга — заблуждение о самом себе, превышение данной ему власти.

В 18-м году мы встретились в издательстве «Всемирная литература»; на два с лишком года объединил нас общий труд, безнадежный и парадоксальный труд насаждения духовной культуры Запада на развалинах русской жизни. Кто испытал «культурную» работу в Совдепии, знает всю горечь бесполезных усилий, всю обреченность борьбы с звериной враждою хозяев жизни, но все же этой великодушной иллюзией мы жили в эти годы, уповая, что Байрон и Флобер, проникающие в массы хотя бы во славу большевистского «блёффа», плодотворно потрясут не одну душу. Я смог оценить тогда обширность знаний Гумилева в области европейской поэзии, необыкновенную напряженность и добротность его работы, а особо его педагогический дар. «Студия Всемирной литературы» была его главной кафедрой; здесь отчеканивал он правила своей поэтики, которым охотно придавал форму «заповедей», столь был уверен в провозглашенных. Мы знаем поэтов-мистиков, озаряемых молниями интуиции, послушных голосам в ночи. Таков был Блок. И как представить Блока преподавателем? Гумилев был по природе церковником, ортодоксом поэзии, как был он и христианином православным. Не мистический опыт, а откровение поэзии в высоких образцах руководило им. Он естественно влекся к закону, симметрии чисел, мере; помнится, он принялся было составлять таблицы образов, энциклопедию метафор, где мифы всех племен соседствовали с исторической легендой; так вот, сакраментальным числом, ключом было число 12–12 апостолов,

12 паладинов и т. д.

В общественном нашем быту, ограниченном заседаниями редакции, он с чрезвычайной резкостью и бесстрашием отстаивал достоинство писателя. Мечтал даже во имя попранных наших прерогатив и неотъемлемых прав духа апеллировать ко всем писателям Запада; ждал оттуда спасенья и защиты.

О политике он почти не говорил: раз навсегда с негодованием и брезгливостью отвергнутый режим как бы не существовал для него. Он делал свое поэтическое дело и шел всюду, куда его звали: в Балтфлот, в Пролеткульт, в другие советские организации и клубы, название которых я запамятовал. Помню, что одно время осуждал его за это. Но этот «железный человек», как называли мы его в шутку, приносил и в эти бурные аудитории свое поэтическое учение неизмененным, свое осуждение псевдопролетарской культуре высказывал с откровенностью совершенной, а сплошь и рядом раскрывал без обиняков и свое патриотическое исповедание. Разумеется, Гумилев мог пойти всюду, потому что нигде не потерял бы себя.

В последний год он написал обширную космогоническую поэму «Дракон», законченную уж не при мне. После отъезда моего Гумилев недолго пробыл в Петрограде; им овладело беспокойство, он уезжал на юг, был арестован «за преступление по должности» (поэт!)[178] и в минувшее лето расстрелян заодно с шестьюдесятью жертвами. Так закончил жизнь стойкий человек, видевший в поэзии устремление к «величию совершенной жизни». Удивляться ли тому, что его убили? Такие люди несовместимы с режимом лицемерия и жестокости, с методами растления душ, царящими у большевиков. Ведь каждая юношеская душа, которую Гумилев отвоевывал для поэзии, была потеряна для советского просвещения.

У нас, за границей, нет почти книг Гумилева. Собрание его сочинений, хотя бы избранных, мне кажется необходимым, налицо лишь недавно вышедший в Риге сборник «Шатер»[179], это — часть задуманной Гумилевым «поэтической географии», развернутой на любимой странице: стихотворной карте Африки. Прочитав эту единственную доступную здесь книгу Гумилева, отдайте ее детям. Это — лучшее, что я могу сказать о ней; если же немногие и общие черты жизни поэта, здесь изложенные мною, приобретут ему несколько новых, посмертных друзей и оживят в памяти тех, кто знавал его, образ человека, которого нельзя забывать, — цель этой слишком краткой памятки достигнута.

Вера Лурье{180}
Воспоминания

Когда я хочу представить себе Петроград, тот Петроград, из которого в туманный дождливый вечер, как я писала, попав за границу, «…унес меня в чужие страны одноцветный длинный эшелон», то я вижу перед глазами набережную Невы, где я, бывало, стояла часами, глядя на плывущие по небу облака, исчезающие за шпилем Петропавловской крепости, и улицы, проросшие травою, запущенные и любимые, и воздух петроградский, свежий, пьянящий и наполняющий душу смутными, неясными желаниями и надеждами на неизведанное будущее! Быть может, все было не так, но мне было девятнадцать лет и таким я ощущала Петроград, таская на четвертый этаж воду, раскалывая дворницким колуном дрова и под напев керосинового примуса декламируя вслух любимые стихи Анны Ахматовой.

На этом фоне проходило мое недолгое знакомство с Н. С. Гумилевым. Гумилев читал в петроградском «Доме Искусства» лекции по стихосложению.

Гумилев был основателем акмеизма, литературного течения, последовавшего за символизмом. Акмеисты не искали потустороннего смысла и, утомленные мистикой и символами, в своих произведениях воспевали жизнь с ее реальными ощущениями. Они обращали большое внимание на форму стиха, на чистоту и новизну рифмы, на яркость образов, на ритм. Для них стихосложение было не только духовной необходимостью, но и ремеслом, которое изучением, работой и прилежанием можно было совершенствовать.

Лектором Гумилев был очень интересным и хорошим учителем по стихосложению. Я могу судить по своим собственным стихам, они стали четкими, ритмичными, в них не повторялись избитые рифмы, и не только у меня, но и у других молодых студистов, благодаря разборам и критике стихов во время совместных занятий, были заметны большие успехи!

Вечера в «Доме Искусства» и лекции Николая Степановича были так давно и столько за последующие годы было пережито, что мне трудно было бы реконструировать в памяти это время в подробностях. У меня как бы остались запечатлевшимися отдельные фрагменты тех дней.

Длинный стол, за которым сидим мы, студисты. В комнату входит Николай Степанович в меховой дохе и в меховой шапке,

спокойно, не спеша снимает доху и шапку, садится за стол, смотрит на нас, прищурив слегка левый глаз, затем вынимает и кладет перед собой на стол черепаховый портсигар, почему-то напоминавший мне большую мыльницу.

Гумилева можно было назвать некрасивым с его длинной, конусообразной головой и с серыми узкими глазами, но у него был свой шарм, свое очарование, и я, влюбленная девочка, писала:

Вы глядите на всех свысока.
И в глазах Ваших серых тоска.
Я люблю Ваш опущенный взгляд.
Так восточные боги глядят!
Ваши сжатые губы бледны.
По ночам вижу грешные сны!
Вы умеете ласковым быть.
Ваших ласк никогда не забыть!
А когда Вы со мной холодны,
Ненавижу улыбку весны!
Мы случайно столкнулись в пути.
Мне от Вас никуда не уйти.
И усердно я Бога молю,
Чтоб сказали Вы слово «люблю».
И по картам гадаю на Вас
Каждый вечер в двенадцатый час!

Однажды вечером в одном из залов «Дома Искусства» под чей-то аккомпанемент на рояле начали танцевать. В углу с папиросой во рту и, как всегда, в белых носках, свисающих поверх ботинок, стоял Гумилев, погруженный в разговор с Осипом Мандельштамом. Я была в компании наших студистов и на пари пошла пригласить танцевать Гумилева, с которым в то время почти еще не была знакома. Он улыбнулся, отошел от Мандельштама и, любезно предложив мне руку, сказал: «Я не танцую, но даме не могу отказать». Пари было мною выиграно!

Мы часто встречались вне лекций. В день моего рождения, когда мне минуло двадцать лет, я устроила вечеринку. Николай Степанович был у меня в гостях{181}. Ввиду военного положения в Петрограде мы большой компанией провели всю ночь в моей квартире. Мы рассказывали тут же придуманную фантастическую историю, которую один продолжал рассказывать за другим.

Николай Степанович был в тот вечер очень благосклонен ко мне. На следующий день я очень волновалась увидеть его в студии, но меня встретил, как всегда, обычный Гумилев,

вчерашнее было забыто!

Студию «Дома Искусства» посещали две дочери фотографа Наппельбаума, фотография их отца помещалась на Невском проспекте, недалеко от Николаевского вокзала. У них в квартире мы тоже иногда собирались, туда же приходил Николай Степанович. У меня сохранилась фотография, снятая незадолго до его смерти.

Николай Степанович сидит в середине группы, в правой руке он держит папиросу. Руки у него были очень красивые, длинные и тонкие пальцы. И кажется мне он таким молодым, почти мальчиком на этом снимке. Рядом с ним сидит Ирина Одоевцева с большим бантом в волосах, который она в те годы постоянно носила, у ног его расположился, почему-то в кепке на голове, поэт Георгий Иванов, слушатели его лекций стоят вокруг него, совсем позади виднеется голова Николая Тихонова{182}.

Насколько Гумилев держался официально-корректно во время занятий в студии, настолько он был простым, старшим товарищем молодежи помимо занятий. Мы совершали совместные прогулки, и тут снова мне видится гранитная набережная Невы, и Летний сад, и Марсово поле.

Но Гумилев мог быть очень неприятен и заносчив. Однажды он читал, поскольку помнится, в «Доме Писателя», где-то не то на Моховой, не то на Литейном, доклад и обратился к публике со словами: «Господа!» После доклада к нему подошел не известный ему человек и сказал, что теперь надо говорить не «господа», но «граждане» или «товарищи». Гумилев посмотрел на него свысока, холодным насмешливым взглядом и процедил сквозь зубы: «Такого декрета не было!»

Я на что-то рассердилась на Николая Степановича. Мы случайно встретились в «Доме Писателя», на этот раз Гумилев пригласил меня танцевать и сказал, что я разговариваю с ним так, как телега едет на несмазанных колесах, и что он хочет, чтобы мы были снова друзьями. Мы дружески попрощались в тот вечер, условившись назавтра встретиться на вечеринке у Наппельбаумов. Но назавтра мы не встретились… Когда я на следующее утро пришла в «Дом Искусства», меня предупредили, чтобы я не входила в комнаты, где жил в «Доме Искусства» Гумилев со своей женой, так как там была устроена засада, а сам Гумилев арестован.

Мрачные это были дни в Петрограде. Приблизительно в то же время умер Александр Блок.

Помню, как я вхожу в его квартиру на панихиду. Потом его похороны, на которые пришел весь культурный, литературный, писательский Петроград. Помню, как кто-то сказал, что если

теперь бросить бомбу, то не останется больше интеллигенции в Петрограде!

Последняя жена Гумилева была падчерица Бальмонта[183]. Это была очень хорошенькая, совершенно молоденькая девочка. Она жила где-то вне Петрограда и приехала в Петроград незадолго до ареста Николая Степановича. Во время ареста Гумилева и после его расстрела ее приводили ко мне на квартиру. Она мечтала о сцене, произносила длинные монологи из каких-то пьес, мы старались ее всячески развлекать, но у меня осталось впечатление, что горя своего она полностью не сознавала.

Слушатели Гумилева из «Дома Искусства» решили отслужить по нем панихиду. Панихиду заказали в Казанском соборе на Невском проспекте. Батюшку попросили отслужить панихиду по рабе Божьем Николае. Людей было немного. Как раз за несколько дней до панихиды я случайно увидела на улице Анну Ахматову; не будучи с ней даже знакома, я подошла к ней и просила ее прийти в церковь!

На смерть Гумилева я написала стихи:

Никогда не увижу Вас!
Я не верю в эти слова.
Разве солнечный свет погас,
Потемнела небес синева?

Но такой, как и все, этот день…
Только в церкви протяжней звонят
И повисла черная тень!
Не увижу тот серый взгляд!

А последней зеленой весной
Он мимозу напомнил мне.
Подойду и открою окно.
От заката весь город в огне.

В книге стихов «Шатер», вышедшей незадолго до смерти Гумилева, в одном из стихотворений он писал, что хотел бы умереть под той сикоморой, где Мария сидела с Христом.

Слишком трудно идти по дороге.
Слишком трудно глядеть в облака,
В топкой глине запутались ноги,
Длинной плетью повисла рука.

Был он сильным, свободным

и гордым,
И воздвиг он из мрамора дом.
Но не умер под той сикоморой,
Где Мария сидела с Христом!

Он прошел спокойно, угрюмо
Поглядел в черноту небес.
И его последние думы
Знает только северный лес!

Александр Амфитеатров{184}
Н. С. Гумилев

…Когда его месяц тому назад арестовали, никто в петроградских литературных кругах не мог угадать, что сей сон означает. Потому что, казалось бы, не было в них писателя, более далекого от политики, чем этот цельный и самый выразительный жрец «искусства для искусства». Гумилев и почитал себя, и был поэтом не только по призванию, но и, так сказать, по званию. Когда его спрашивали незнакомые люди, кто он таков, он отвечал — «я поэт» с такою же простотою и уверенностью обычности, как иной обыватель скажет — «я потомственный почетный гражданин», «я присяжный поверенный», «я офицер» и т. п. Да он даже и в списках смертников «Правды» обозначен как «Гумилев, поэт». Поэзия была для него не случайным вдохновением, украшающим большую или меньшую часть жизни, но всем ее существом; поэтическая мысль и чувство переплетались в нем, как в древнегерманском мейстерзингере, со стихотворческим ремеслом, — и недаром же одно из основанных им поэтических товариществ носило имя-девиз «Цех поэтов». Он был именно цеховой поэт, то есть поэт и только поэт, сознательно и умышленно ограничивший себя рамками стихотворного ритма и рифмы. Он даже не любил, чтобы его называли «писателем», «литератором», резко отделяя «поэта» от этих определений в особый, магически очерченный круг, возвышенный над миром, наподобие как бы некоего амвона. Еще не так давно мы — я и он, всегда очень дружелюбные между собою, — довольно резко поспорили об этом разделении в комитете Дома Литераторов, членами которого мы оба были, по поводу непременного желания Гумилева ввести в экспертную комиссию этого учреждения специального делегата от Союза Поэтов{185}, что мне казалось излишним. А однажды на мой вопрос, читал ли он, не помню уже, какой роман, Николай Степанович совершенно серьезно возразил, что он никогда не читает беллетристики, потому что если идея истинно художественна, то она может и должна быть выражена только стихом… Он был всегда серьезен, очень серьезен, жречески важный стихотворец-гиерофант. Он писал свои стихи, как будто возносил на алтарь дымящуюся благоуханием жертву богам, и вот уж кто истинно-то мог и имел право сказать о себе:

Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,

Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв…

Всем своим внутренним обликом (в наружности между ними не было решительно ничего общего) Гумилев живо напоминал мне первого поэта, которого я, еще ребенком, встретил на жизненном пути своем: безулыбочного священнодейца Ап. Ник. Майкова… Другие мотивы и формы, но то же мастерство, та же строгая размеренность вдохновения, та же рассудочность средств и, при совершенном изяществе, некоторый творческий холод… Как Майков, так и Гумилев принадлежали к типу благородных, аристократических поэтов, неохотно спускавшихся с неба на землю, упорно стоявших за свою привилегию говорить глаголом богов. Пушкин рассказывает о ком-то из своих сверстников, что тот гордо хвалился: — В стихах моих может найтись бессмыслица, но проза — никогда! Я думаю, что Гумилев охотно подписался бы под этою характеристикою.

Арест человека, столь исключительно замкнутого в своем искусстве, возбудил в недоумевающем обществе самые разнообразные толки. Тогда шла перерегистрация военных «спецов» — думали, что Гумилев попал в беду как бывший офицер, который скрывал свое звание. Другие полагали, что он арестован как председатель Клуба поэтов за несоблюдение каких-то формальностей при открытии этого довольно странного учреждения, принявшего к тому же несколько слишком резвый характер. Принадлежности поэта к какому-нибудь заговору никто не воображал. Не верю я в нее и теперь, когда он расстрелян как будто бы участник заговора. И не верю не только потому, что быть политическим заговорщиком было не в натуре Гумилева, но и потому, что, скажу откровенно: если бы Гумилев был в заговоре, я знал бы об этом{186}. Сдержанный и даже скрытный вообще, он был очень откровенен со мною именно в политических разговорах по душам, которые мы часто вели, шагая вдвоем по Моховой, Симеоновской, Караванной, Невскому, сокрушаясь стыдом и горем, что умирающему Петрограду недостает сил, энергии, героизма, чтобы разрушить постылый «существующий строй»…

Мы не были политическими единомышленниками. Напротив. Мой демократический республиканизм был ему не по душе. Как-то раз я, шутя, напомнил ему, что Платон, в своей идеальной утопии государства, советовал изгнать поэтов из республики. — Да поэты и сами не пошли бы к нему в республику, — гордо возразил Гумилев. Он был монархист — и крепкий. Не крикливый, но и нисколько не скрывающийся. В последней

книжке своих стихов, вышедшей уже под советским страхом, он не усомнился напечатать маленькую поэму о том, как он, путешествуя в Африке, посетил пророка-полубога Махди, и —

Я ему подарил пистолет
И портрет моего Государя.

На этом, должно быть, и споткнулся он, уже будучи под арестом. Что арестовали его не как заговорщика, тем более опасного, важного, достойного расстрела, есть прямое доказательство. Депутация Профессионального Союза Писателей недели через две после ареста отправилась хлопотать за Гумилева. Председатель Чрезвычайки не только не мог ответить, за что взят Гумилев, но даже оказался не знающим, кто он такой{187}…

— Да чем он, собственно, занимается ваш Гумилевич?

— Не Гумилевич, а Гумилев…

— Ну?

— Он поэт…

— Ага! значит, писатель… Не слыхал… Зайдите через недельку, мы наведем справки…

— Да за что же он арестован-то?

Подумал и… объяснил:

— Видите ли, так как теперь, за свободою торговли, причина спекуляции исключается, то, вероятно, господин Гумилев взят за какое-нибудь должностное преступление…

Депутации оставалось лишь дико уставиться на глубокомысленного чекиста изумленными глазами: Гумилев нигде не служил, — какое же за ним могло быть «должностное преступление»? Аполлону, что ли, дерзостей наговорил на Парнасе?

Над удивительным свиданием и разговором этим мы много смеялись в Петрограде, никак не предчувствуя, что смех будет прерван пулями и кровью…

По всей вероятности, Гумилеву на допросе, как водится у следователей ЧК, был поставлен названный вопрос о политических убеждениях. Отвильнуть от подобного вопроса каким-нибудь спасительным обиняком не составляет большой хитрости, но Гумилев был слишком прямолинеен для фехтования обиняками. В обществе товарищей республиканцев, демократов и социалистов он, без страха за свою репутацию, заявлял себя монархистом (хотя очень не любил Николая II и все последнее поколение павшей династии). В обществе товарищей атеистов и вольнодумцев, не смущаясь насмешливыми улыбками, крестился

на церкви и носил на груди большой крест-тельник. Если же на допросе следователь умел задеть его самолюбие, оскорбить его тоном или грубым выражением, на что эти господа великие мастера, то можно быть уверенным, что Николай Степанович тотчас же ответил ему по заслуге — с тою мнимо холодною, уничтожающею надменностью, которая всегда проявлялась в нем при враждебных столкновениях, родня его, как некий анахронизм, с дуэлистами-бретерами «доброго старого времени». И как офицер, и как путешественник он был человек большой храбрости и присутствия духа, закаленных и в ужасах великой войны, и в диких авантюрах сказочных африканских пустынь. Ну а в чрезвычайках строптивцам подобного закала не спускают. Ставили там людей к стенке и за непочтительную усмешку при имени Ленина или в ответ на провокаторский гимн следователя во славу Третьего Интернационала…

Борис Сильверсван
Гумилев и таганцевский заговор{188}
(Письмо А. В. Амфитеатрову)

20. IX. 1931

Дорогой Александр Валентинович!

Давно не удавалось написать вам, за это время пришлось пережить много разных катавасий — передряг, болезней, etc.; теперь, слава Богу, все это прошло. Прочитал вашу статью в «Сегодня» о Гумилеве и хотел бы сообщить вам кое-что известное мне. Гумилев, несомненно, принимал участие в таганцевском заговоре и даже играл там видную роль; он был арестован в начале августа, выданный Таганцевым, а в конце июля 1921 года он предложил мне вступить в эту организацию, причем ему нужно было сперва мое принципиальное согласие (каковое я немедленно и от всей души ему дал), а за этим должно было последовать мое фактическое вступление в организацию; предполагалось, между прочим, воспользоваться моей тайной связью с Финляндией, т. е. предполагал это, по-видимому, пока только Гумилев; он сообщил мне тогда, что организация состоит из «пятерок»; членов каждой пятерки знает только ее глава, а эти главы пятерок известны самому Таганцеву; вследствие летних арестов в этих пятерках оказались пробелы, и Гумилев стремился к их заполнению; он говорил мне также, что разветвления заговора весьма многочисленные и захватывают влиятельные круги Красной армии; он был чрезвычайно конспиративен и взял с меня честное слово, что о его предложении я не скажу никому, даже Евд. П., матери и т. п. (что я исполнил); я говорил ему тогда же, что ввиду того, что чекисты несомненно напали на след организации, м.б., следовало бы временно притаиться, что арестованный Таганцев, по слухам, подвергнулся пыткам и может начать выдавать; на это Гумилев ответил, что уверен, что Таганцев никого не выдаст и пр., наоборот, теперь-то и нужно действовать; из его слов я заключил также, что он составлял все прокламации и вообще ведал пропагандой в Красной армии; Ник. Степ, был добр и твердо уверен в успехе; через несколько дней после нашего разговора он был арестован; т. к. он говорил мне, что ему не грозит никакая опасность, т. к. выдать его мог бы только Т., а в нем он уверен, — то я понял, что Таг. действительно выдает, как, впрочем, говорили в городе уже раньше.

Я ужасно боялся, что в руках чекистов окажутся какие-нибудь доказательства против Ник. Степ., и, как я потом узнал от лиц,

сидевших одновременно с ним, но потом выпущенных, им в руки попали написанные его рукою прокламации, и гибель его была неизбежна.

В связи с этим, т. е. с тем, что обвинения против него были весьма серьезны, я хочу указать на статью Н. Волковысского (не помню, в какой газете), где он рассказывает о посещении чеки им и несколькими другими литераторами для справок об арестованном Гумилеве и говорит, м. проч., что вы (в «Горестных заметках» или в отдельной статье — не помню) неточно передали этот случай. Волковысский пишет, что после справки по телефону о Гумилеве чекист, разговаривавший с ним, сразу изменил выражение своей рожи и потребовал предъявить «документы» — т. обр. ясно, что чека рассматривала Н. Ст-ча как очень опасного своего врага.

Теперь я хочу вам рассказать о моем свидании с Горьким после таганцевских расстрелов; разговор, бывший во время этого свидания, я тогда же дословно записал и хранил эту запись в надежном месте и потом привез сюда; сперва хочу сказать, что я лично уверен, что Горький был вполне искренен; уверен я, что он искренен и теперь, говоря совсем противоположное; вообще я не считаю Горького «продавшимся», а считаю его прежде всего человеком непросвещенным, а кроме того — легко поддающимся чужому влиянию; как бы то ни было, в начале сент. 1921 года я пришел к нему на квартиру, чтобы заявить ему о своем решении бежать за границу; я считал своим долгом сделать это, т. к. в феврале 1921 года был выпущен из чеки за поручительством Горького и дал подписку о невыезде из Петербурга. Вот наш разговор слово в слово.

Я. — А. М., т. к. вы взяли меня на поруки из ЧК, я считаю своим долгом предупредить вас, что я бесповоротно решил бежать за границу.

Г. — Благое дело, благое дело, голубчик; я тоже скоро уеду; о поручительстве моем не беспокойтесь; да помилуйте, что это такое? Какие это революционеры, социалисты? Все это сволочь, убийцы, воры; я вам скажу, я всякую веру в них потерял; мой совет — всем уезжать, кто только может, они ведь всех убьют, всю интеллигенцию уничтожат. Надо спасаться, надо спасаться.

Я. — А скажите, А. М., неужели никого нельзя было спасти из убитых по таганцевскому делу?

Г. (сильно волнуясь, со слезами на глазах)[{189}] — Вы видели, видели, кто от меня сейчас вышел? — (Входя, я встретил выходившую от него даму в трауре.) — Это жена Тихвинского; Ленин его хорошо знал; Ленин мне говорил про него: «Вот это голова! Нам такие люди нужны, очень нужны». И вот видите?

Я. — Т. е. вы хотите сказать, что даже Ленин не мог здесь ничего сделать?

Г. (после небольшого колебания) — Я вам расскажу. Я несколько раз ездил в Москву по этому делу{190}. Первый раз Ленин сказал мне, что эти аресты — пустяки, чтоб я не беспокоился, что скоро всех выпустят. Я вернулся сюда{191}. Но здесь слышу, что аресты продолжаются, что дело серьезно, командированы следователи из Москвы. Я опять поехал в Москву; прихожу к Ленину. Он смеется: «Да что вы беспокоитесь, А. М., ничего нет особенного. Вы поговорите с Дзержинским». Я иду к Дзержинскому, и представьте, этот мерзавец (sic!) первым делом мне говорит: «В показаниях по этому делу слишком часто упоминается ваше имя». Что же, я говорю, вы и меня хотите арестовать? — «Пока нет». Вижу, дело серьезное. Я пошел к Красину. Красин страшно был возмущен. Мы вместе с ним были у Ленина; Ленин обещал поговорить с Дзержинским. Потом я несколько раз звонил Ленину, но меня не соединяли с ним, а раньше всегда соединяли. Наконец, я опять добился быть у него; он сказал, что ручается, что никто не будет расстрелян; я уехал; в Петрограде через два дня прочел в газетах о расстреле всех{192}. Вот. А с Романовыми хуже было. Я в Москве упросил Ленина отдать мне их на поруки (речь идет о Вел. князьях Ник. Мих., Павле Ал-др., Георг. Мих., Дмитр. Конст. и Иоан. Конст. — *Б. С.*), и он мне выдал бумагу, по которой я мог увезти их из чека; я сел в поезд в тот же вечер и утром уже был в чека с бумагой; мне говорят: — Сегодня ночью расстреляны. Как, почему? — По телефонному распоряжению Ленина из Москвы (sic!!!).

Я. — Но… после этого… что же такое Ленин?

Г. (вдруг стихнул, как будто смущенный) — Ленин… видите ли… это прежде всего человек… безмерно хитрый (sic!){193}.

Я. — Безмерно хитрый? Другими словами — подлец 96-й пробы!

Г. (насупившись, молча смотрит перед собой).

Я. — А. М., но об этом нельзя же молчать?

Г. (скривившись) — Да, за границей я опубликую мои о них сведения! Пусть все узнают, это так оставить нельзя. Дзержинский задерживает мне паспорт, но я его получу!

Я. — А. М., это будет иметь огромное значение, это необходимо сделать! (Дальше идет сердечное прощание, пожелания, etc.)

Горький уехал за границу; я все ждал его разоблачений; вместо них он написал… восторженную статью о Ленине и такую же о Дзержинском! Дальнейшее — известно.

Этот любопытный разговор я не сделал — и не сделаю —

достоянием печати, пока существуют большевики; о нем знают только мои близкие и Ю. А. Григорков.

Повторяю, в искренности Горького я не сомневаюсь; сообщаю вам копию моей записи «доверительно». Одно время я так (одно слово неразборчиво. — Б. С.), что хотел опубликовать эту беседу в «открытом письме Горькому», но решил, что пока большевики не сдохли, это может быть похоже на донос, и мы с Евд. П. решили держать это под спудом, сообщая лишь близким друзьям. Теперь — что будет дальше, дорогой Александр Валентинович? <…>

Георгий Адамович{194}
Памяти Гумилева

Обыкновенно говорят: «время летит». О далеких событиях, врезавшихся в память, с удовольствием замечают, что они были «как будто вчера». Но в наши годы даже и это изменилось. Вспомните начало войны, — ведь это было всего лишь пятнадцать лет тому назад. Пятнадцать лет! А кажется — целая вечность. И действительно, столько за эти пятнадцать лет произошло, столько нового возникло, столько старого погибло, вообще «так мало прожито, так много пережито», что на несколько иных благополучных веков с избытком хватило бы.

Мне в эти дни вспоминается арест и последовавший за тем расстрел Н. С. Гумилева. Было это в августе 1921 года — как давно! Будто солдатам на войне, месяцы нам теперь насчитываются за годы. Но то, чтобы события стирались или тускнели в памяти… Нет, как в бинокль с обратной стороны — все совершенно ясно и отчетливо, но удалено на огромное расстояние.

Утром ко мне позвонили из «Всемирной литературы»:

— Знаете, «Колчан» задержан в типографии… Вероятно, недоразумение какое-нибудь.

«Колчан» — название одной из ранних книг Гумилева. Тогда как раз печаталось второе ее издание. Сначала я не понял, о чем мне сообщают, подумал, что действительно речь идет о типографских или цензурных неурядицах. И только по интонации, по какой-то дрожи в голосе, по ударению на слове «задержан» я догадался, в чем дело. Тогда в городе к этому условному телефонному языку все были привычны и понимали его с полуслова. Да и не сложные велись разговоры, все говорили равнодушно и как будто невзначай: «Знаете, скоро, кажется, будет тепло», — знали, что, по слухам, ожидаются перемены. Если кто-либо внезапно «заболевал» — понимали, что больница находится на Гороховой или Шпалерной{195}. Как только распространилась весть, что «„Колчан“ задержан», начались хлопоты о его скорейшем освобождении. Ездили по властям и большим, и малым, телеграфировали Горькому, который тогда находился в Москве. Но никто не предполагал, что конец будет такой быстрый и роковой. Хлопотали, не думая о расстреле — не было к нему никаких оснований. Даже и по чекистской мерке не было.

В эти дни скончался Александр Блок. Мы толковали между собой: знает ли «Колчан» в тюрьме о смерти поэта, как

подействовало на него это известие.

Гумилев раз или два прислал из заключения записку. Просил какие-то мелочи, Евангелие и, кажется, Гомера. Но читать ему пришлось недолго{196}.

Как все это было давно.

Удивительно, что ранняя насильственная смерть дала толчок к расширению поэтической славы Гумилева. Никогда при жизни Гумилева его книги не имели большого распространения{197}. Никогда Гумилев не был популярен. В стихах его все единогласно признавали большие достоинства, но считали их холодными, искусственными. Гумилев имел учеников, последователей, но проникнуть в широкую публику ему не давали, и, по-видимому, он этим тяготился. Он хотел известности громкой, влияния неограниченного. И вот это совершается сейчас, — может быть, не в тех размерах, как Гумилев мечтал, но совершается. Имя Гумилева стало славным. Стихи его читаются не одними литературными специалистами или поэтами; их читает «рядовой читатель» и приучается любить эти стихи — мужественные, умные, стройные, благородные, человечные — в лучшем смысле слова.

Василий Немирович-Данченко{198} Рыцарь на час (из воспоминаний о Гумилеве)

Невыразимою грустью на меня повеяло от небольшой, изящно изданной книжки Гумилева — «К синей звезде»{199}. Точно из далекой, неведомо где затерянной могилы убитого поэта меня позвал его едва-едва различимый голос.

Мы обдумывали планы бегства из советского рая.

Мне перед этим два раза отказали в выдаче заграничного паспорта. Другого выхода для меня не было. Он тосковал по яркому солнечному югу, вдохновлявшему его заманчивыми далями. По ним еще недавно он странствовал истинным конквистадором. Рассказывал мне о приключениях в Абиссинии{200}. Если бы поверить в перевоплощение душ, можно было бы признать в нем такого отважного искателя новых островов и континентов в неведомых просторах великого океана времен Америго Веспуччи, Васко де Гамы, завоевателей вроде Кортеса и Визарро… Я хотел уходить через Финляндию, он через Латвию. Мы помирились на эстонской границе. Наш маршрут был на Гдов, Чудское озеро. В прибрежных селах он знал рыбаков, которые за переброс нас на ту сторону взяли бы недорого. Ведь денег у нас обоих было мало — и миллионов (тогда счет уже был на миллионы!) мы тратить не могли. И вот в таких именно беседах Николай Степанович не раз говорил мне:

— На переворот в самой России — никакой надежды. Все усилия тех, кто любит ее и болеет по ней, разобьются о сплошную стену небывалого в мире шпионажа. Ведь он просочил нас, как вода губку. Нельзя верить никому. Из-за границы спасение тоже не придет. Большевики, когда им грозит что-нибудь оттуда, — бросают кость. Ведь награбленного не жалко. Нет, здесь восстание невозможно. Даже мысль о нем предупреждена. И готовиться к нему глупо. Все это вода на их мельницу.

Помню одну из таких прогулок.

Навстречу вьюга. Волны снега неслись нам в лица. Ноги тонули в сугробах.

Гумилев остановился и с внутреннею болью:

— Да ведь есть же еще на свете солнце, и теплое море, и синее-синее небо. Неужели мы так и не увидим их… И смелые, сильные люди, которые не корчатся, как черви под железною пятою этого торжествующего хама. И вольная песня, и радость

жизни. И ведь будет же, будет Россия свободная, могучая, счастливая — только мы не увидим.

Этот душевный крик особенно действовал из уст такого, по-видимому, спокойного, невозмутимого человека, каким он казался, только казался. Его сдержанность была маскою, гордою и презрительной к людской пошлости, низменности и малодушию.

Он был бы на своем месте в Средние века.

Он опоздал родиться лет на четыреста!

Настоящий паладин, живший миражами великих подвигов. Он увлекался бы красотою невероятных приключений, пытал бы свои силы в схватках со сказочными гигантами, на утлых каравеллах в грозах и бурях одолевал неведомые моря. И, разумеется, сырые и серые дни Севера среди трусливо припавшего к низинам народа, в вечных сумерках, где только безлистые ветви чахлых деревьев метались во все стороны, — были не по нем, давили его могильною плитою.

Бывая у меня, он передавал свои красочные замыслы. Я думаю, лучшего слушателя он не мог найти: ведь в экзотическом мире, как свободная птица в горячем воздухе, носилась и моя мечта. Мусульманский Восток и африканские пустыни тревожили наше воображение. Часто, когда мы смолкали, переживая грезовые паузы, оказывалось, оба странствовали мысленно за морями и океанами. Сейчас, когда я перечитываю его стихи — строгий и суровый образ поэта, застегнувшегося как будто на все пуговицы, живой стоит передо мною. Он, казалось, весь был в железной непроницаемой броне, чтобы посторонний взгляд не угадал пламя, горевшее в его груди.

Он не мог иначе мыслить, как образами.

Я помню, как-то он приехал ко мне.

— Нет ли в ваших коллекциях или библиотеке рисунков, сделанных африканскими дикарями?

Тогда у меня была большая библиотека, собранная в далеких странствиях. Увы, от нее ни следа!.. Второй такой не составить… Где-то она теперь?!

— Зачем вам?

— Я пишу географию в стихах… Самая поэтическая наука, а из нее делают какой-то сухой гербарий. Сейчас у меня Африка — черные племена. Надо изобразить, как они представляют себе мир.

Я не знаю, что вышло из этого. Издатель нашелся. Я видел первые печатные листы… Он не только как поэт сам увлекался часто даже странными идеями, нет. Он умел зажигать и окружающих, случалось, совсем не свойственным им энтузиазмом. Аудитории, в которых он неутомимо выступал как

лектор, проникались его восторженностью и героизмом. Если бы существовала школа исследователей и авантюристов (в благородном значении этого опошленного теперь слова), я не мог бы указать для нее лучшего руководителя.

Он был необыкновенно деятелен в эту мертвую зыбь нашей печати. Читал лекции в Доме Искусств и пролетарским поэтам. Выступал и в Петербурге, и в Москве на литературных вечерах, живым словом заменивших убиенные большевиками журналы. И как себе, так и другим не давал поблажек. Его требовательность красоты и чистоты стиха доходила до фанатизма. До ярости доводили его статьи, затасканные приемы архивной словесности у молодых начинающих дарований. Сгнившие, навязшие в зубах сравнения, обычная, все нивелирующая плоскость, пошлые приемы мещанского юмора, заимствованные, тысячу раз повторявшиеся рифмы. А. М. Горький на Моховой устроил колоссальное предприятие — художественных переводов иностранных писателей{201}. Оно сложилось в мощную организацию. Благодаря этому учреждению немало наших беллетристов просуществовало в самый ужасный голодный период отечественных злоключений. Приготовлена была таким образом масса рукописей, едва ли десятая часть которых явилась в печати. Все остальное лежит под спудом и ждет воскрешающей трубы Архангела.

Николай Степанович там заведовал, кажется, отделом французской поэзии и доводил наших переводчиков до отчаяния. Он был так строг и к себе, и к другим, что забраковал даже считавшиеся до тех пор классическими переложения песен Беранже, сделанные когда-то Вас. Курочкиным. Гумилев доходил до педантизма: великолепный перевод «Овечьего источника» и «Собаки на сене» Лопе де Веги, исполненный А. Н. Бежецким (Масловым), он вернул потому, что число строф в переводе не соответствовало такому же и в подлиннике. Надо было не только соблюдать арифметическую точность, но и в каждой строке передать содержание авторской строки. Сам он умел так работать и беспощадно требовал того же от других.

Гумилев в то же время необыкновенно чутко относился к начинающим — именно в кучах навозу отыскивал жемчужные зерна. В слушателях особенно ценил оригинальность, хотя бы неловкую на первых порах, именно дорогую в каждом писателе. Он требовал от них упорной работы над собою.

— Над стихом надо изводиться, как пианисту над клавишами, чтобы усвоить технику. Это не одно вдохновение, но и трудная наука. Легче ювелиру выучиться чеканить драгоценные металлы… А ведь наш русский язык именно драгоценнейший из

них. Нет в мире другого, равного ему — по красоте звука и по гармонии концепции.

С его легкой (в данном случае, впрочем, тяжелой) руки во всей России сложились кружки поэтов под всевозможными кличками — от «жемчужной раковины»{202} чуть ли не до «разбитого корыта». И, увы, стихи стали ремеслом. Явились десятки юных самозваных гениев, в звучных и по форме совершенных строфах которых истинная поэзия, по словам И. С. Тургенева, даже не ночевала. Почти накануне его нежданного, так изумившего всех ареста он был у меня, чтобы повидаться с г. Оргом, тогда главою эстонской миссии в России. Орг в то же время был представителем только что образовавшегося книгоиздательства в Ревеле «Библиофил». Н. С. продал ему новые стихотворения и, покончив с условиями по этому поводу, заторопился в дом Мурузи на Литейную, где он должен был открыть новый кружок поэтов.

— Не слишком ли много их? — заметил я.

— Каждый человек поэт. Кастальский источник в его душе завален мусором. Надо расчистить его. В старое рыцарское время паладины были и трубадурами, как немецкие цеховые ремесленники мейстерзингерами… Мне иногда снится, что я в одну из прежних жизней владел и мечом, и песней. Талант не всегда дар, часто и воспоминание. Неясное, смутное, нечеткое. За ним ощупью идешь в сумрак и туман к таящимся там прекрасным призракам когда-то пережитого…

В этот раз, повторяю, накануне своего ареста он еще раз заговорил о неизбежности уйти из России:

— Ждать нечего. Ни переворота не будет, ни Термидора. Эти каторжники крепко захватили власть. Они опираются на две армии: красную и армию шпионов. И вторая гораздо многочисленнее первой. Я удивляюсь тем, кто составляет сейчас заговоры… Слепцы, они играют в руки провокации. Я не трус. Борьба моя стихия, но на работу в тайных организациях я теперь бы не пошел.

И узнав о том, что он взят в Чека, я ничего не понял.

Разумеется — глупая ошибка, недоразумение, которое разъяснится сейчас, и он будет выпущен. Вспомнили его работу с пролетарскими поэтами. В своих лекциях он не скрывал ненависти к деспотизму коммунистических тиранов. Но там, в кружке молодежи, предателей не было. Некоторое время меня мучило: не послужило ли поводом к аресту Гумилева устроенное мною знакомство его с Оргом и предполагавшееся печатание поэм Николая Степановича в Ревеле. Ведь всякое сношение с заграницей считалось в России преступлением. И только через

неделю появились первые смутные слухи о Таганцевском заговоре, к которому пристегнули поэта. Это показалось нам всем так нелепо, что мы успокоились…

Вы слышали о Гумилеве на войне?

В мировой бойне он был таким же пламенным и бестрепетным паладином, встречавшим опасность лицом к лицу. Товарищи кавалеристы рассказывают о нем много. В самые ужасные минуты, когда все терялись кругом, он был сдержан и спокоен, точно меряя смерть из-под припухших серых век. Его эскадрон, случалось, сажали в окопы. И всадники служили за пехотинцев. Неприятельские траншеи близко сходились с нашими. Гумилев встанет, бывало, на банкет бруствера, из-за которого немцы и русские перебрасываются ручными гранатами, и, нисколько не думая, что он является живой целью, весь уходит жадными глазами в зеленеющие дали. Там — в сквозной дымке стоят обезлиственные от выстрелов деревья, мерещатся развороченные снарядами кровли, зияет иззубренным пролетом раненая колокольня и плывет, едва-едва поблескивая, река. Гумилев — до пояса под воронеными дулами оттуда. По нем бьют. Стальные пчелы посвистывают у самой головы… Товарищи говорили: «Пытает судьбу». Другие думали: для чего-то, втайне задуманного, испытывает нервы. И не сходит со своего опасного поста, пока солдаты не схватят его и не стащат вниз. В кавалерийских атаках он был всегда впереди. Его дурманило боевое одушевление. Он писал с фронта в Петербург: «Я знаю смерть не здесь — не в поле боевом. Она, как вор, подстерегает меня негаданно, внезапно. Я ее вижу вдали в скупом и тусклом рассвете, не красной точкою неконченной строки — не подвига восторженным аккордом». Эти полустихи-полупроза — были пророческими…

Я тогда еще не был знаком с ним.

Любил его чудесную книжку рапсодий «Конквистадоры».

Ее нет в продаже. Она разошлась удивительно быстро, и почему-то он ее не переиздавал. Маленькие поэмы ее были похожи на стройные каравеллы испанских завоевателей, под горячим солнцем скользившие по неведомым океанам к чудесным, сказочным берегам. Строки их звучали, как звон мечей о стальную броню… Как-то говорю о них К. И. Чуковскому{203}.

— Хотите познакомиться с автором?

— Еще бы!

Я еще заранее мечтал о встрече с ним, как перед тем о Максимильяне Волошине и потом о В. Ходасевиче.

Дня через два ко мне на Николаевскую пришел Чуковский:

— Я к вам не один…

День был тусклый, серый… И в этом тусклом, сером выступало позади что-то неопределенное. Ни одной черты, которая остановила бы на себе внимание. Несколько раскосые из-под припухших век глаза на бледном, плоском лице. Тонкая фигура… Солнечный поэт — и ничего в нем от солнца и красочного Востока. Он странствовал по его востоку, я — по северу и западу, спускаясь до южных границ Марокко и потом до таинственных Тимбукту и Диенне… Диенне, в котором до сих пор в нравах и в постройках нет-нет да и скажется Древний Египет, через весь этот громадный континент забросивший сюда своих посельников. В России росла страшная явь большевизма. Было жутко, нудно, холодно и голодно. Хотелось отойти от нее, отогреться на впечатлениях знойного, далекого, недосягаемого юга. Забыться в свободных просторах спаленных небом пустынь… И мы потом целые дни говорили о чужой, сказочной жизни… Хотели даже начать ряд лекций об Африке. Думаю, в советском раю они не имели бы успеха. Слишком львиные приволья и черные племена были в Петербурге не к месту и не ко времени. Я был несколько раз у Гумилева, кажется, на Ивановской{204}. Николай Степанович жил в изящной, полной прекрасных картин, уступленной ему С. К. Маковским квартире. Потом он переехал, но в этой все кругом говорило о настоящем поэте. Было изящно. Много хороших картин, и не нашего холодного севера, а опять-таки прекрасного яркого юга. Я никогда не понимал, как можно в мутном и тусклом Петербурге, где долгая зима все кутает кругом в свой снеговой саван, такие же саваны развешивать по стенам.

— Вам хорошо работается здесь?

— Да… но не так, как в Париже.

Он со страстною тоскою вспоминал о нем.

Он именно там выковывал свой чудесный талант. Солнечные утра, когда он сидел под тенью цветущих деревьев одинокий, задумчивый, так много дали ему. В мировом центре города-света (ville-lumière) ленивая мысль и анемичное творчество невольно, точно наливаются здоровою горячею кровью. Все вас зовет к труду. В самом воздухе какой-то особенный озон, что ли, дыша которым вы тянетесь к неоглядным просторам искусства. На этой вечной живой этнографической выставке вы роднитесь с ширями и далями всей земли, делаетесь ее гражданином и еще глубже и умиленнее поэтому любите запавшее в холодные туманы отечество.

В Гумилеве жил редкий у нас дар восторга и пафоса.

Он не только читателя, но и слушателя в длинные и скучные сумерки петербургской зимы уносил в головокружительную высь чарующей сказки. Часто музыка его стихов дополняла

недосказанное их образами.

И этого поэта, поэта-рыцаря, уходившего душою в фата-моргану тропиков, прислушивавшегося из своего далека задумчиво и чутко к таинственным зовам муэдзинов и шороху караванов в золотых песках загадочных пустынь, безграмотные, глупые и подлые люди убили, как бродячую собаку, где-то за городом, так что и могилу его нельзя найти. Братскую могилу, куда с ним легли такие же неповинные, как и он, профессора, художники с едва-едва вышедшими из детства девочками.

Хороши и пролетарские поэты.

Они могли бы спасти своего учителя.

Ведь Гумилев в их студии преподавал им — полуграмотным, но жадно рвавшимся к искусству и знанию, законы поэзии, ее историю, приобщая их к ее красоте и мощи. Поливал эту молодую, пока бесцветную поросль живоносными водами нашей великой литературы, связывая своих учеников, родня их с бессмертными творцами чудесного русского языка. Они его жадно слушали, любили. Но когда понадобилось собраться всей аудиторией и пойти к комиссару Чека, человеку их партии, бывавшему в их клубах, считавшемуся с их симпатиями, они трусливо, малодушно и подло отреклись от Н. С. Гумилева.

— Знаете, мы справлялись по телефону, но нам оттуда посоветовали не мешаться в это дело…

Серьезно пытались спасти поэта Дома Литераторов и Искусств. Об этом писали и Амфитеатров, и Волковысский[{205}], участвовавший в депутации к начальнику Чрезвычайки.

Наших представителей комиссар Чрезвычайки встретил недоуменно:

— Что это за Гумилевский? И зачем он вам понадобился?

— И вообще, к чему нам поэты, когда у нас свои есть…

Разумеется, следователи на Гороховой были грамотнее этого эскимоса. Один из них оказался даже правоведом. Ни в чем не уличенный Гумилев, как мне рассказывали, держался с никогда не изменявшими ему спокойствием и мужеством. Как и в окопах под адским огнем германской атаки. Встречал опасность, не опуская глаз и презрительно глядя на эту стаю палачей. Может быть, он считал ниже своего рыцарского достоинства скрывать убеждения, не следовал примеру Петра Апостола, которому нужен был петух, чтобы прийти в себя.

Как Гумилев провел канун обычной в советском раю казни?

Я рисую себе застенок вшивой тюрьмы, где вместе с ним метались измученные пытками смертники. Думаю, что он оставался так же спокоен, как всегда, мечтая в последние минуты о счастливых солнечных далях. О раннем утре перед кошмаром

этого содомского убийства, о тех истязаниях и муках, которым подвергали обреченных агенты Чрезвычайки, передают нечто невероятное… Я воздерживаюсь приводить здесь слухи, тогда волновавшие Петербург. Все равно нет тайного, что со временем не сделалось бы явным. Пусть их расскажут другие…

Гумилев любил цитировать две строки из Альфреда де Виньи. Он поставил их эпиграфом к своим «Жемчугам»:

> Qu'ils seront doux les pieds de celui qui viendra
> Pour m'annoncer la mort{206}…

Ужасная русская действительность подарила своего поэта варварскою и подлою вестницею смерти во вшивом и смрадном каземате.

В последнее свидание в Доме Литераторов Гумилев говорил мне о своих поэтических замыслах. Жалко, что здесь я не могу остановиться на них. Нет места. И без того мой очерк слишком разросся. В них воскресал арийский Восток. «Дитя Аллаха» было только вступлением в этот сказочный мир.

Мне и до сих пор слышится его напевный голос:

> И снова властвует Багдад,
> И снова странствует Синбад,
> Вступая с демонами в ссору…
> И от египетской земли
> Опять уходят корабли
> В великолепную Бассору{207}[28]…

Вскоре после мученической смерти Рыцаря на Час одна из его восточных пьес была поставлена в коммунистическом театре.

Мне рассказывали:

В первом ряду сидел комиссар Чека и двое следователей.

Усердно аплодировали и… вызывали автора!

Убитого ими.

С того света! Из грязной ямы, куда было брошено его еще дышавшее и шевелившееся тело… Какая трагическая гримаса нашей невероятной яви! Что перед нею средневековый danse macabre?

Иллюстрации

Н. С. Гумилев. 1909 г. Рисунок Н. Войтинской

Ю. Я. Львова (бабушка поэта),А. И. Гумилева (мать поэта),И. Л. Львов (дед поэта).

С. Я. Гумилев, отец поэта.

А. И. Гумилева, мать поэта.

Дом Гумилевых в Слепневе.

А. С. Сверчкова, сестра поэта.

Н. Сверчков, племянник поэта.

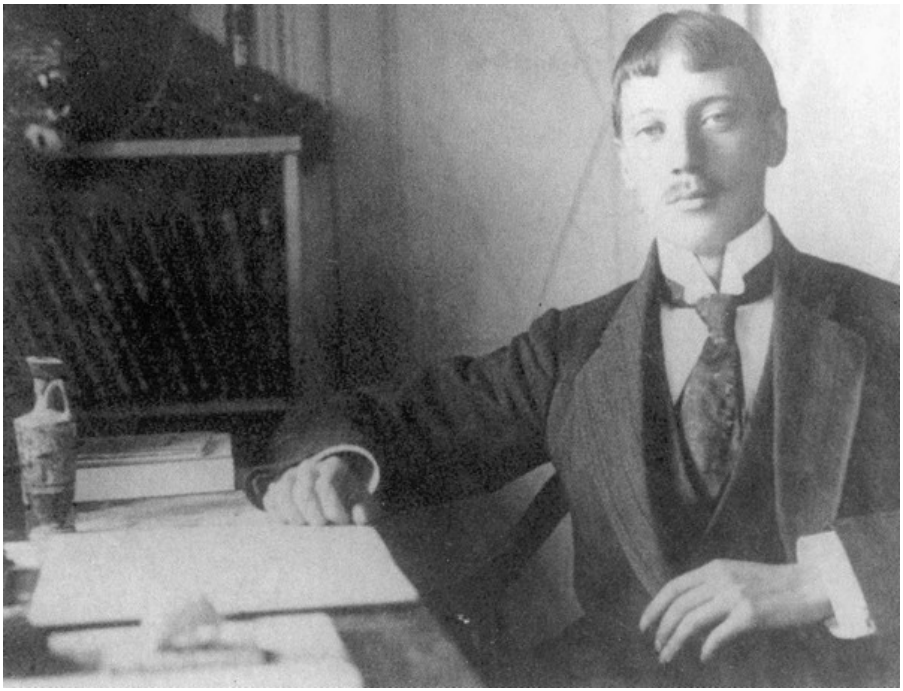
Николай Гумилев. Выпускник Николаевской гимназии. 1908 г.

Анна Горенко.1904 г. Царское Село.

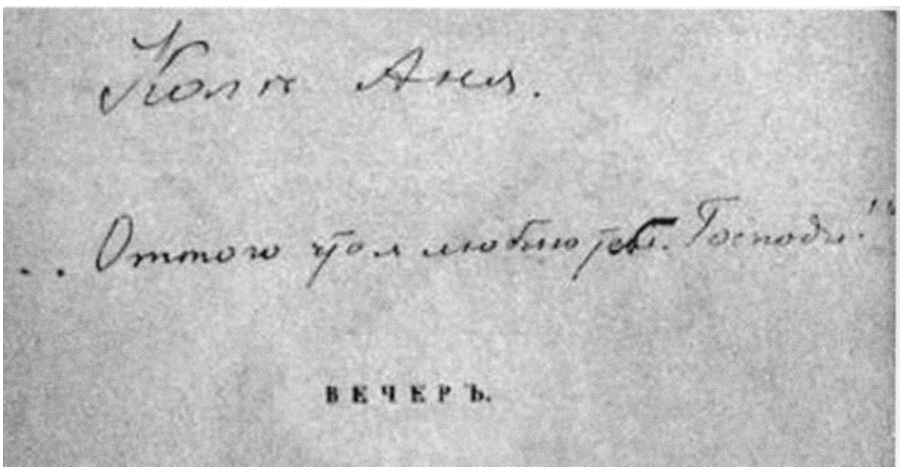
Царское Село. Тройной пруд в старом саду. 1910-е гг.

И. Ф. Анненский.

В. Я. Брюсов.



Н. С. Гумилев. 1909 г.



Дарственная надпись А. А. Ахматовой Н. С. Гумилеву на экземпляре книги ее стихов «Вечер». 1912 г.

Н. С. Гумилев и А. А. Ахматова с сыном Львом. 1916 г.

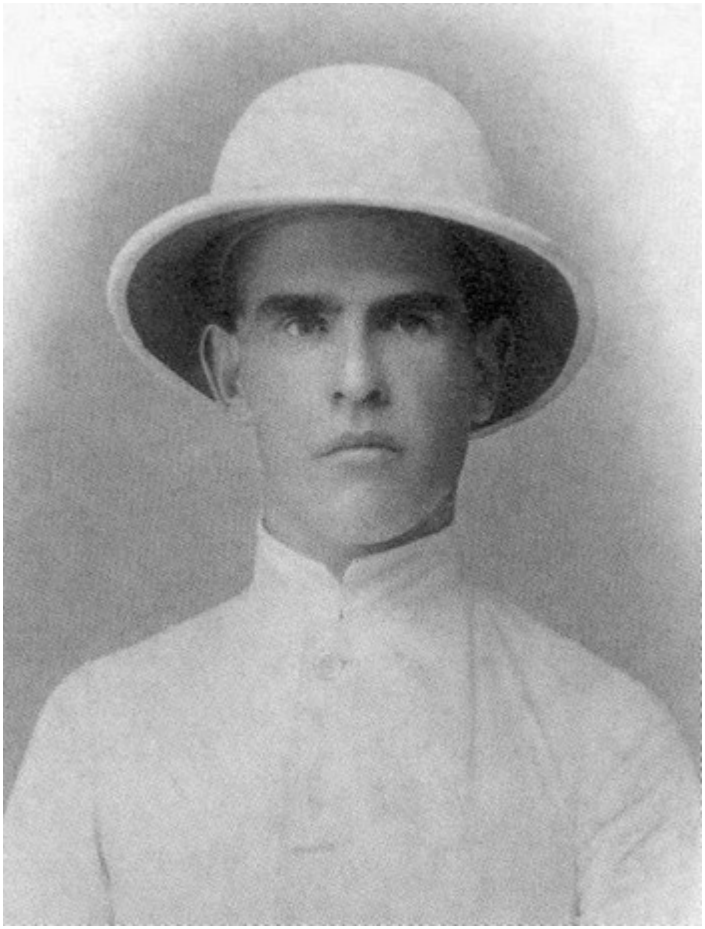
Н. С. Гумилев с племянником Николаем Сверчковым в Африке. 1913 г.

М. В. Добужинский. Эмблема подвала «Бродячая собака».

Н. Высотский

и А. Атрыганьева, родители Ольги Высотской.

Ольга Высотская.



Н. Н. Высотский, дядя О. Н. Высотского, усыновивший его в 1930 г. фото. 1910 г. Каир.

Ольга Высотская с сыном Орестом. 1914 г.

В. Е. Аренс. 1903 г.

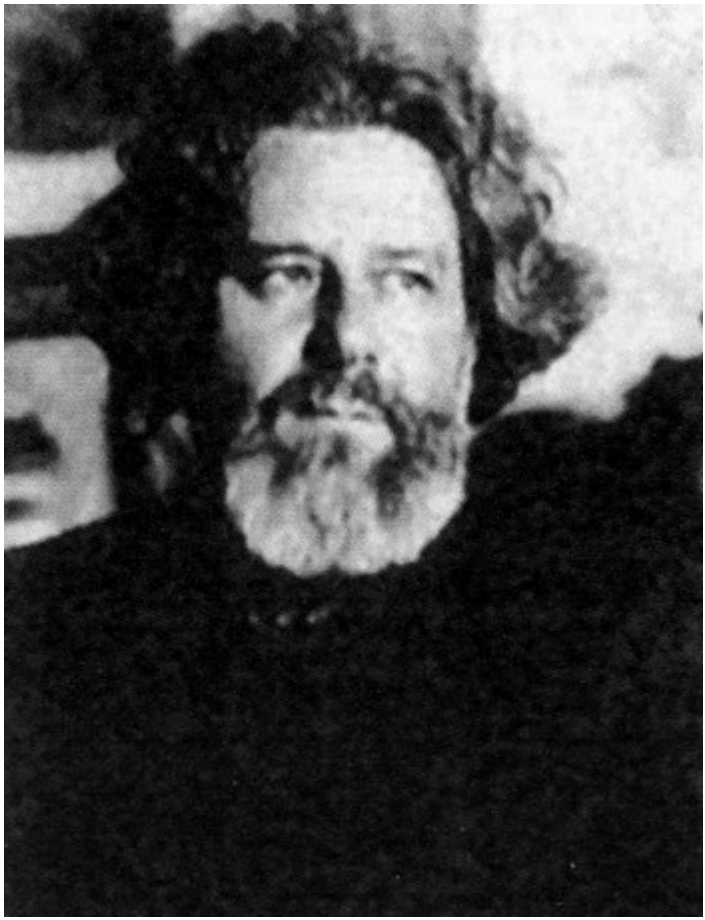
Л. М. Рейснер.

М. Тумповская.(На фото ей 16 лет.)

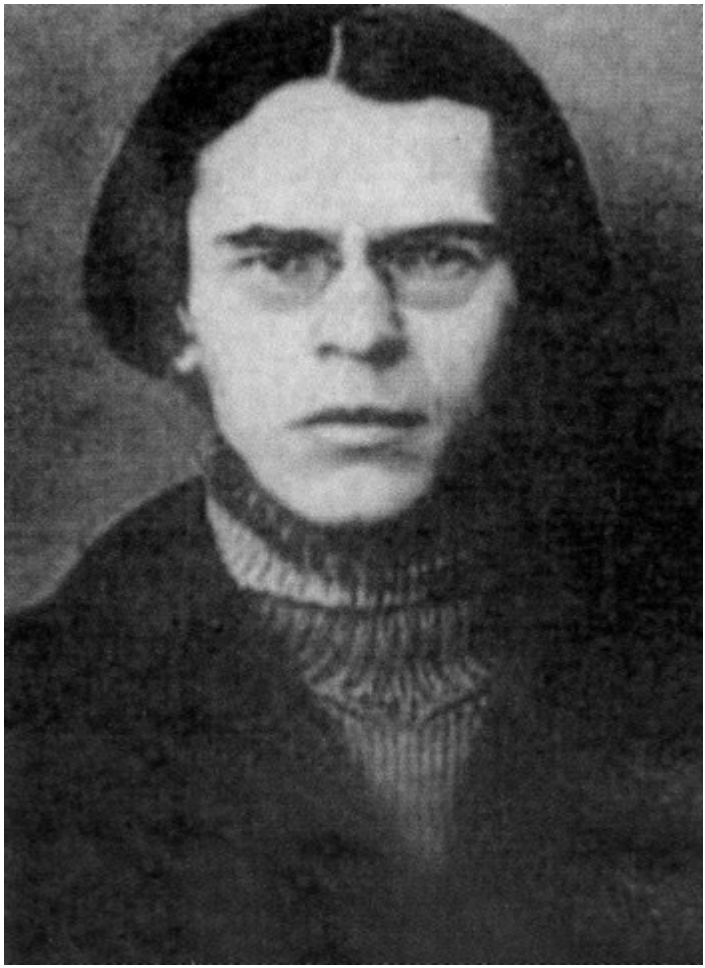
Е. Дмитриева (Черубина де Габриак).

Афиша «Понедельники Дома искусств».

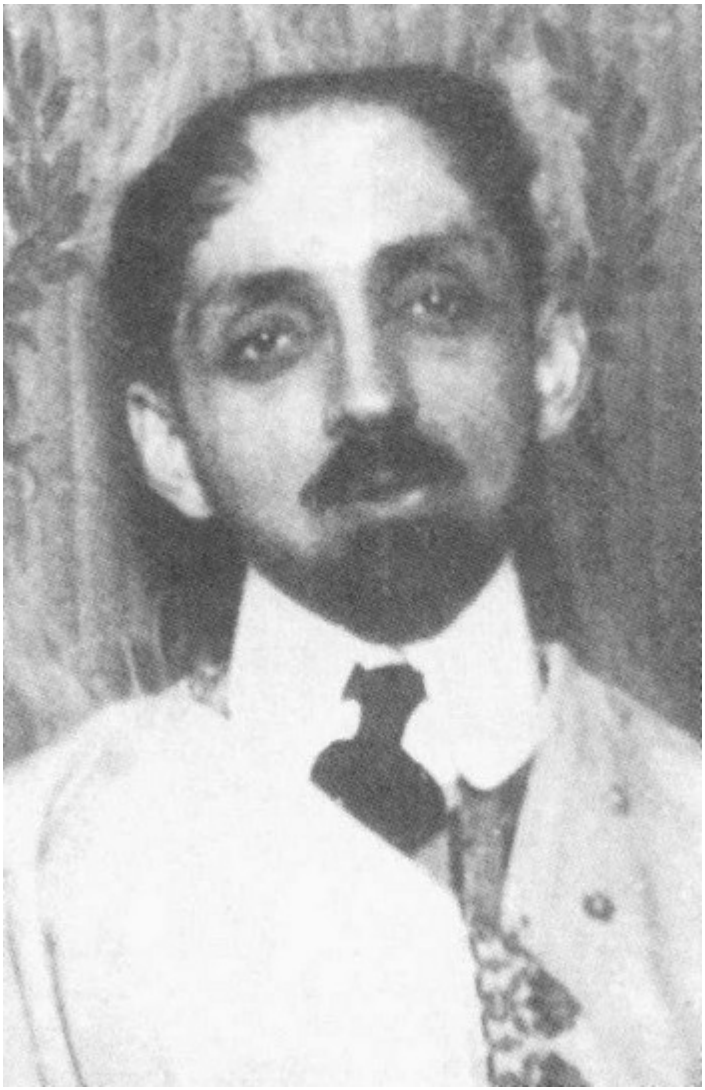
А. А. Блок.



М. А. Волошин.



В. Ф. Ходасевич.



М. А. Кузьмин.

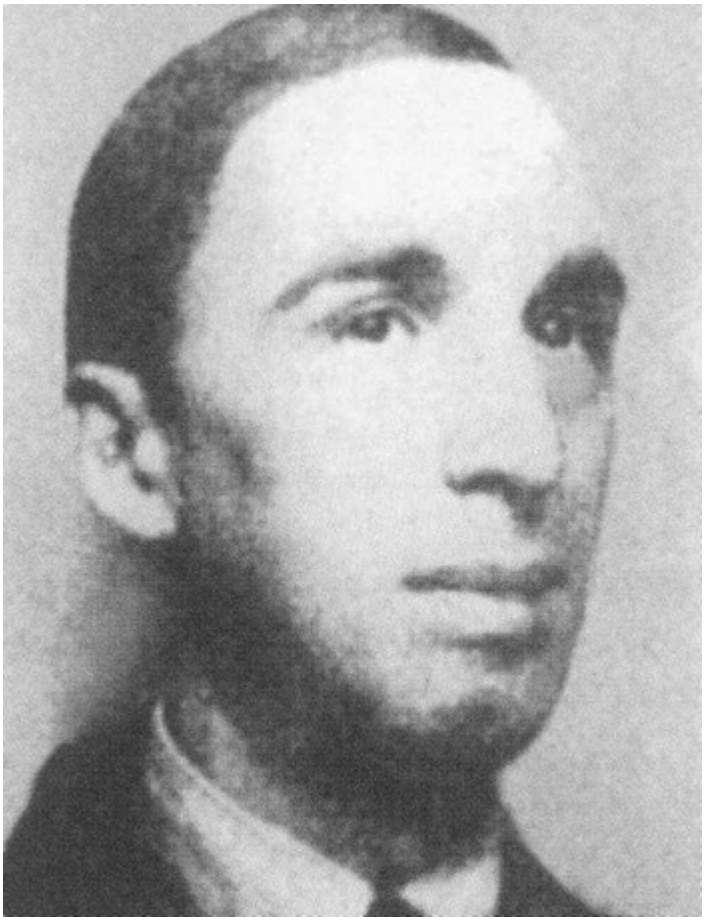
Г. В. Адамович.

З. Н. Гиппиус.

О. Э. Мандельштам.

Анна Ахматова.

Анна Энгельгардт-Гумилева.



Г. В. Иванов. 1920-е гг.

Ирина Одоевцева. 1920-е гг.

Н. С. Гумилев. 1921 г. (Один из последних снимков поэта.)

О. Н. Высотский на фронте. 12 мая 1943 г.

Л. Н. Гумилев в лагере. 1956 г.

А. И. Гумилева, мать поэта. Фото. 1939 г.

Л. Н. Гумилев и О. Н. Высотский, сыновья поэта.

notes

Примечания

1

Дьячок — служитель духовного сословия до 1868 года, после — псаломщик. *(Прим. авт.)*

2

Чин морского лейтенанта равен чину штабс-капитана. *(Прим. авт.)*

3

По Табели о рангах коллежский асессор равен воинскому чину капитана, ротмистра. *(Прим. авт.)*

4

«Горе побежденным» — *лат. (Прим. авт.)*

5

Волошин ошибся, дуэль состоялась осенью. *(Прим. авт.)*

Даты указаны по новому стилю. *(Прим. авт.)*

7

При публикации дневника Гумилева слово «шангала» неверно прочтено как «мангеля». «Шангала» значит «черный» — негр из Судана. *(Прим, авт.)*

8

Тезка Н. С. Гумилева эфиоп Гумало умер в 1974 году. *(Прим. авт.)*

9

Ранен был поручик Хлебников; он был взят австрийцами в плен. *(Прим. авт.)*

10

Так в письме, но по табелю экзаменов 17. *(Прим. авт.)*

11

Газета «Биржевые ведомости». *(Прим. авт.)*

12

По 12-балльной системе, принятой в военных учебных заведениях. *(Прим. авт.)*

13

П. Б. О. — Петроградская Боевая Организация. *(Прим. авт.)*

Однако первый выпуск «Аполлона» вышел в издательстве Ефронов — «Якорь». Вследствие ухода А. Л. Волынского из сотрудников «Аполлона» Ефроны от дальнейшего издания отказались, я один продолжал дело, с помощью Ушкова.

15

С годами Вячеслав Иванов изменил свое мнение. Мне было приятно много позже (в 1935 г.) в его предисловии к сборнику стихов Ильи Голенищева-Кутузова (изд. «Парабола») прочесть о Гумилеве — «наша погибшая великая надежда».

16

В котором появилась его короткая и, на мой взгляд, удачнейшая из драм в стихах — «Актеон» (заняла весь номер «Гиперборея»).

17

Недаром перед возвращением в Россию Гумилев усердно занимался французскими народными песнями. Они были изданы берлинским «Петрополисом» в 1923 году.

18

Анна Ивановна Львова вышла замуж за военного врача Гумилева. Его фамилия произносилась первоначально с ударением на первом слоге — Гумилев (от humilis; отец был священником). Николай Степанович не мог терпеть, когда его в гимназии вызывали с этим ударением на первом слоге, и не вставал с места.

Посмертное издание Центр. Коопер. изд-ва «Мысль». Петроград, 1922.

Изд. Центр. Коопер. изд-ва «Мысль», 1922 и 1923, с введением Георгия Иванова.

«Истоки», 1922.

22

Оно извлечено из альбома Гумилева, подаренного им Б. Н. Анрепу, который передал его Г. П. Струве для опубликования («Новый журнал», 1944, VIII).

23

Она была еще гимназисткой, когда Гумилев, изображавший из себя рокового обольстителя, написал обращенные к ней стихи:

Это было не раз, это было не раз
В нашей битве глухой и упорной:
Как всегда, от меня ты теперь отреклась,
Завтра, знаю, вернешься покорной.
Но зато не дивись, мой враждующий друг,
Враг мой, схваченный тайной любовью,
Если стоны любви будут стонами мук,
Поцелуи окрашены кровью…

[Стихотворение вошло в «Жемчуга».]

Гумилев писал о Слепневе:

Дом косой, двухэтажный,
И тут же рига, скотный двор,
Где у корыта гуси важно
Ведут немолчный разговор.

25

Она скончалась в самом начале 1912 года, в Италии, в Оспидалетти, двадцати двух лет от роду, похоронена в Бежецке, в монастыре.

26

Опять вспоминается Пушкин.

Здесь — что-то блоковское:

А ты душа… душа глухая…
Пьяным-пьяна… Пьяным-пьяна…

28

Стихи написаны в прошедшем времени. Гумилев читал их в настоящем.

Комментарии

1

Орест Николаевич Высотский (1913–1992). Сын Николая Степановича Гумилева. Его мать — Ольга Николаевна Высотская, драматическая актриса. О. Высотский в детстве жил с матерью, его усыновил дядя, родной брат матери Николай Николаевич Высотский. Только в 1937 г. Орест Высотский узнал, что у него есть брат по отцу, сын А. А. Ахматовой — Лев Гумилев. В том же году братья познакомились, а в 1938 г. оба брата были арестованы, Лев — в марте, Орест — в апреле. В отличие от своего брата, прошедшего сталинские лагеря, О. Высотский уже в 1939 г. был освобожден. О. Высотский — участник Великой Отечественной войны. С 1942 г. по 9 мая 1945-го — на фронте, служил в гвардейском минометном полку. Окончил Ленинградскую лесотехническую академию, двадцать пять лет работал в лесном хозяйстве и лесной промышленности. Кандидат экономических наук, преподавал в вузе, доцент. С 1959 г. до последних дней жил в Молдавии.

О. Н. Высотский был талантливым поэтом, его стихи начиная с 50-х гг. публиковались в коллективных сборниках и антологиях. В Москве стихи Высотского были напечатаны в знаменитом молодогвардейском альманахе «Поэзия». После смерти его стихи вошли в престижную антологию «Русская поэзия. XX век». До конца жизни О. Н. Высотский работал над книгой «Мой отец — Николай Гумилев», главы из которой также были опубликованы в альманахе «Поэзия».

2

Речь идет о городке Дыре-Дауа. Тут, должно быть, описка. Гумилев употреблял принятое тогда русское написание географических названий и имен, и нередко по-разному (например, Харар или Харрар). К нашему времени транслитерация изменилась: не Гаваш, а Аваш, не Харар, а Харэр, не Дире-Дауа, а Дыре-Дауа, не Черчер, а Чэрчэр, не Шейх-Гуссейн, а Шейх-Хуссейн, не Маргарита, а Маргерита, не Родольфо, а Рудольф, не Тафари, а Тэфэри, не Маконен, а Мэконын и т. д. Некоторые же старые наименования настолько изменились в самой Эфиопии, что их трудно отождествить с чем-то ныне известным.

3

Впервые опубликовано в «Новом журнале» (1952. № 29. С. 132–138).

Дмитрий Иосифович Крачковский (Кленовский) — поэт. Родился в Петербурге 24 сентября 1892 г. Умер в Траунштейне (Бавария) в декабре 1976 г. Кленовский — автор сборников «След жизни» (1950), «Навстречу небу» (1952), «Неуловимый спутник» (1956), «Прикосновение» (1959), «Уходящие паруса» (1962), «Разрозненная тайна» (1965), «Стихи. Из шести книг» (1967), «Певучая ноша» (1969), «Почерком поэта» (1971), «Теплый вечер» (1975). В этих книгах встречаются стихи, в которых упоминается имя Гумилева, и стихи, ему посвященные. Приведем здесь два стихотворения Кленовского.

Н. С. Гумилеву

Как валежник, сухие годы
Под ногою хрустят мертво,
Волчьей ягодою невзгоды
Обвивают истлевший ствол.

И сквозь голые сучья небо —
Словно треснувшая слюда.
Все чужое: краюха хлеба.
Сеновал, скамья и вода.

Дай мне руку! Как никогда ты
Мне, учитель, нужен сейчас,
В час бессмысленнейшей расплаты,
В обнаженный, как череп, час.

Другое его стихотворение является лучшим комментарием к его же очерку «Поэты Царскосельской гимназии»:

Царскосельская гимназия

Есть зданья неказистые на вид,
Украшенные теми, кто в них жили.
Так было с этим.
Вот оно стоит
На перекрестке скудости и пыли.

Какой-то тесный и неловкий вход

Да лестница, взбегающая круто,
И коридоров скучный разворот… —
Казенщина без всякого уюта.

Но если приотворишь двери в класс —
Ты юношу увидишь на уроке,
Что на полях Краевича, таясь,
О конквистадорах рифмует строки.

А если ты заглянешь в кабинет,
Где бродит смерть внимательным дозором, —
Услышишь, как седеющий поэт
С античным разговаривает хором.

Обоих нет уже давно. Лежит
Один в гробу, другой, без гроба, — в яме,
И вместе с ними, смятые, в грязи,
Страницы с их казненными стихами.

А здание? Стои́т еще оно
Иль может быть уже с землей сровнялось?
Чтоб от всего, чем в юности, давно,
Так сердце было до краев полно,
И этой капли даже не осталось.

1957

4

В настоящее издание включен лишь имеющий отношение к Гумилеву отрывок из очерка А. Биска, опубликованного в журнале «Современник» (Торонто). 1963. № 7. С. 59–68.

Александр Акимович Биск (1883–1973) — поэт и переводчик Рильке. В 1912 г. вышла его книга «Рассыпанное ожерелье. Стихи. 1903–1911» (СПб.: Изд-во М. Семенова). Биск прибыл в Париж за несколько месяцев до приезда Гумилева — весной 1906 г., и в том же году они познакомились.

Видеться они могли у художницы Кругликовой, которая регулярно по четвергам устраивала приемы. Иногда это были, как писал Биск, — «костюмированные вечера с обильным угощением». В ту пору, когда Гумилев жил в Париже (лето 1906 — весна 1908), на вечерах у Кругликовой бывали многие русские писатели, приезжавшие в Париж или подолгу жившие там: Волошин, Минский, Амфитеатров, Любовь Столица, Бальмонт и др.

5

Речь идет о журнале «Сириус», который Гумилев на паях с художниками Фармаковским и Божеряновым издавал в Париже в 1907 г. Всего вышло три номера.

6

Стихи Биска были напечатаны во втором номере «Сириуса».

7

Печатается по книге Белого «Между двух революций» (Л., 1934. С. 172–173,178). У Белого название главы — «На экране (Манасевич-Мануйлов, Гумилев, Александр Бенуа)». Страница 182 в книге Белого является началом главы «Болезнь». В настоящем издании отрывок из этой главы дан под *** *Андрей Белый* (псевдоним Бориса Николаевича Бугаева, 1880–1934) — поэт, прозаик, критик, теоретик литературы.

В конце декабря, но не позднее 7 января 1907 г. Гумилев отправился с визитом к Зинаиде Гиппиус. Он позвонил. Долго не открывали, наконец вышла горничная, и, возможно, все было точно так же, как описывает свой визит к Мережковским Андрей Белый: «Я позвонился: передняя — белая; горничная в черном платьице, в беленьком чепчике; вижу из двери: на белой стене рыжеватая женщина в черном атласе, с осиной талией, в белой горжетке, лорнетик к глазам приложив…» В своих воспоминаниях Белый уверяет, что на звонок Гумилева вышла не горничная, а он сам. За дверью стоял, по описанию Белого, «бледный юноша с глазами гуся». Гумилев же изображал сцену иначе: «Войдя, я отдал письмо и был введен в гостиную.

Там, кроме Зинаиды Николаевны, был еще Философов, Андрей Белый и Мережковский». Все, кроме почти немедленно ушедшего Мережковского, принялись навешивать на гостя всевозможные ярлыки. «Дразнили беднягу, который преглупо стоял, — пишет А. Белый, — …шел от чистого сердца к поэтам же». Затем появился Мережковский и, сунув руки в карманы, сказал с французским прононсом: «Вы, голубчик, не туда попали! Вам здесь не место». И тут же Гиппиус указала на дверь лорнеткой.

8

Опубликовано в парижской эмигрантской газете «Последние новости» 23 и 25 октября 1921 г.

Алексей Николаевич Толстой (1882–1945) — прозаик и драматург. Толстой начинал как поэт, в 1907 г. вышла его книга «Лирика» (Пб., издание автора). Гумилев и Толстой познакомились в Париже в 1908 г. По возвращении в Россию два писателя поддерживали дружеские отношения, оба участвовали в журналах «Остров» и «Аполлон», а также в «Про-Академии» на «башне» у Вяч. Иванова в первой половине 1909 г. Известен лишь один отзыв Гумилева о стихах Толстого — несколько строк в рецензии на вышедшую по-французски «Антологию русских поэтов» под редакцией Жана Шюзвиля. Гумилев отмечает здесь зависимость Толстого-поэта на протяжении своей краткой поэтической карьеры от Городецкого. Имя Толстого встречается в письмах Гумилева Брюсову. В письме от 7 марта 1908 г. читаем: «Не так давно я познакомился с новым поэтом, мистиком и народником Алексеем Н. Толстым (он послал Вам свои стихи). Кажется, это типичный „петербургский“ поэт, из тех, которыми столько занимается Андрей Белый. По собственному признанию, он пишет стихи всего один год, а уже считает себя metr’ом. С высоты своего величья он сообщил несколько своих взглядов и кучу стихов. Из трех наших встреч я вынес только чувство стыда перед Андреем Белым, которого я иногда упрекал (мысленно) в несдержанности его критики. Теперь я понял, что нет таких насмешек, которых нельзя было бы применить к рыцарям „Патентованной калоши“». В другом письме, написанном почти через месяц (6 апреля 1908 г.), Гумилев сообщает Брюсову: «Скоро, наверное, в Москву приедет поэт гр. Толстой, о котором я Вам писал. За последнее время мы с ним сошлись, несмотря на разницу наших взглядов, и его последние стихи мне очень нравятся».

9

Гумилев уехал из Парижа в начале мая 1908 г.

10

«Аттестат зрелости Николая Гумилева» содержит только две пятерки. Другие отметки, включенные в аттестат, — тройки и четверки.

11

«Остров» имел подзаголовок «Ежемесячный журнал стихов»; о том же еще раз сообщалось в начале первого номера — «посвященного исключительно стихам современных поэтов». В первом номере были напечатаны стихи М. Кузмина «Благовещение», «Успение», «Покров», «Одигитрия», стихотворение Вяч. Иванова «Суд огня», два стихотворения Волошина, газеллы Потемкина, стихи А. Н. Толстого:

Утром росы не хватило,
Стонет утроба земная.
Сверху то высь затомила
Матушка степь голубая,
Бык на цепи золотой
В небе высоко ревет…
Вон и корова плывет,
Бык увидал огневой,
Вздыбился, пал…

Именно на эти стихи была написана пародия неизвестным автором:

Корова ль, бык, мне все равно.
Я — агнец, ты — овца.
Я куриц все люблю равно
Без меры, без конца.

В первый номер «Острова» вошли стихотворения Гумилева: «Царица», «Воин Агамемнона», «Лесной пожар». На первый номер «Острова» появилась в «Весах» (1909. № 7) рецензия С. Соловьева, в которой он писал о Гумилеве, что, по-видимому, он «находится под влиянием Леконта де Лиля. Его влечет античная Греция, еще больше — красочная экзотика Востока. Стих Гумилева заметно крепнет. Попадаются у него литые строфы, выдающие школу Брюсова, напр.»:

Узорный лук в дугу был согнут,
И, вольность древнюю любя,
Я знал, что мускулы не дрогнут
И острие найдет тебя.

«Попадаются яркие образы, — пишет далее С. Соловьев, — напр., „твои веселые онагры звенели золотом копыт“». К сожалению, Гумилев злоупотребляет изысканными рифмами. Так, в трех строфах подряд у него встречаются: бронзы — бонзы, злобе — Роби, Агры — онагры. А через несколько строф далее идут: согнут — дрогнут, былое — алоэ… В античном стихотворении «Воины Агамемнона» Гумилев не строго античен. Рядом с прекрасным и вполне греческим «вождем золотоносных Микен» неприятно поражает совсем современное: «сказка — в изгибе колен».

Другая рецензия на «Остров» (написана С. Ауслендером) была опубликована в газете «Речь» в номере от 29 июня 1909 г. Что касается даты издания первого номера, то судить о ней можно по письму Гумилева Кузмину. «Наконец-то вышел первый номер „Острова“, — пишет Гумилев. — Я высылаю Вам на днях…» В письме Ф. М. Самоненко Гумилев сообщает, что второй номер «Острова» выйдет в конце августа. О содержании второго номера можно судить лишь по рецензиям на него. Гумилев писал о втором номере в декабрьской книжке «Аполлона» (1909). «Во втором номере „Острова“, — пишет Гумилев. — стихи Анненского „То было на Валлен-Коски“ и „Шарики“». О других участниках «Острова» Гумилев в своей рецензии не упоминает. Однако вслед за его рецензией на той же и на следующей странице напечатан отзыв М. Кузмина под названием «Журнал „Остров“» (СПб., 1909. № 2). Во втором номере «Острова» были напечатаны стихи Л. Столицы, «Солнечные песни» А. Н. Толстого, сонет Л. Дмитриевой, стихи Блока, Белого, Эльснера, Лившица, С. Соловьева. «Особенно хорош его „Отрок со свирелью“», — заключает М. Кузмин. Что касается Гумилева, то Кузмин посвятил ему в своей рецензии лишь одно предложение: «Н. Гумилев дал изящный сонет, начинающийся с довольно рискованного утверждения: „Я попугай с Антильских островов“».

12

Речь идет о сотрудничестве Гумилева в «Журнале театра», редактором которого был упоминаемый Толстым Б. С. Глаголин, а издателем А. С. Суворин. В числе сотрудников «Журнала театра» были объявлены близкие знакомые Гумилева С. Судейкин, М. Кузмин, М. Волошин.

13

Здесь Толстой напутал. У Гумилева был только один брат — старший.

14

Речь идет о Елизавете Дмитриевой, в замужестве Васильевой, но более известной под одним из ее псевдонимов — Черубина де Габриак. Толстой здесь опять напутал: его не могла туда влечь «встреча с Д.», так как в Коктебель к Волошину он поехал вместе с ней. В письме к Волошину, написанном в мае 1909 г., он сообщает: «В Коктебель я думаю выехать числа 27-го, вряд ли раньше, может быть позже». Гумилев с Дмитриевой, по хорошо документированной датировке, приехали в Коктебель 30 мая 1909 г., уехал же он в начале июля. По дороге в Коктебель 26 мая Гумилев уже был в Москве и пытался встретиться с Брюсовым. Сохранилось письмо последнего с выражением сожаления о том, что Гумилеву не удалось застать Брюсова дома.

15

«Капитаны» были напечатаны в первом номере «Аполлона», вышедшем 25 октября 1909 г.

16

Здесь же он вызвал В. на дуэль — дуэль состоялась в начале двадцатых чисел ноября.

17

Александр Константинович Шервашидзе, князь (1872–1968) — театральный художник, сотрудник «Аполлона».

18

Евгений Александрович Зноско-Боровский (1884–1954) — секретарь редакции «Аполлона» — драматург, критик, театровед, шахматист. Умер в эмиграции. О Гумилеве он написал несколько рецензий, печатавшихся в «Литературных и научно-популярных приложениях „Нивы“». В рецензии на «Колчан» он писал: «Красною нитью проходит по всей этой книге отрицательное отношение к неясному, расплывчатому приятию мира, к нечеткой, приблизительной фиксации мысли и образа, ко всему недоговоренному и подразумеваемому. Слово, до конца верное определяемому им понятию, правдивая, вплоть до прозаизма, подлинность рисунка — вот что хотят провести в современную поэзию акмеисты и адамисты. Многое в этом кредо имеет хорошее, ясное, светлое будущее. Молодая поэзия наша — в громадном количестве своих представителей — действительно заблудилась на туманных дорогах всяких нездоровых западнических течений, и вернуть ее на ясный, солнечный, трезвый путь — более чем желательно. Но нельзя даже во имя художественной правды так явно пренебрегать заветами старой лирики, как это делают подчас акмеисты, сознательно равнодушные к музыкальной стороне своих произведений, вплоть до употребления некрасивых, грубо-прозаических слов, неправильных ударений, нарочитых пересеканий ритма и т. д. Все эти недочеты, впрочем, у автора „Колчана“ почти отсутствуют, во всяком случае, по отношении внешности. Его холодный, умный стих строго отчеканен, хотя чаще вне музыки и чувства, вне тютчевских бездн и фетовских высот. Н. Гумилев прежде всего рассудочен и уравновешен, в творчестве его философ всегда берет верх над лириком, почти не оставляя последнему места. Стихи его тем не менее несомненно интересны — и широкой культурностью мысли скорее европейского, чем славянского склада, и красивой четкостью отделки».

19

Михаил Алексеевич Кузмин (1875–1936) — поэт, прозаик. Гумилев посвятил Кузмину стихотворение «В библиотеке», вошедшее в книгу «Жемчуга». Как критик Гумилев писал о Кузмине часто: в статье «Жизнь стиха»; упоминает его имя в рецензии на альманах «Смерть»; в статье «Поэзия в „Весах“»; в отзыве на книгу «Стихотворения» рано умершего Ю. Сидорова. В рецензии на «Антологию» книгоиздательства «Мусагет» Гумилев называет некоторые стихотворения Кузмина «классически безупречными». В 1912 г. он пишет рецензию на вторую книгу стихов Кузмина «Осенние озера» и года за два до того (также в «Аполлоне») — заметку о прозе Кузмина. В вышедших в Вене «Гумилевских чтениях» (1984) опубликована некогда печатавшаяся в газете «Речь» (22 мая 1908 г.) рецензия Гумилева на «Осенние озера» Кузмина.

Кузмин также неоднократно писал о Гумилеве, далеко не всегда доброжелательно. Например, в рецензии на «Чужое небо» он пишет: «Нам кажется, что эта третья книга (на самом деле это была четвертая книга. — *В. К.)* не составляет собою книги, как „Жемчуга“ того же автора. Это зависит не от небольшого ее объема… а от недостаточной выраженности, перемен и эволюций, совершающихся с поэтом. Если бы он оставался таким же, как в „Жемчугах“, объединив случайно написанные стихотворения в небольшую книгу, никто бы не мог задаваться вопросом о том, достаточно ли характеристична эта книга, которая определялась бы первой, достаточно выраженной, но дело в том, что в книге „Чужое небо“ Гумилев от „Жемчугов“ отошел, но ни к чему определенному еще не пришел. Он „пуст“ — вот все, что можно про него сказать, хотя уже намечаются черты, по которым можно гадать, какою будет его следующая книга, более определенная, нежели изданная „Аполлоном“. Большая свобода форм, более прочувствованная лирика, стремление к большой простоте, освобождение от романтического эстетизма. При сохранении всей крепости стиха и выдержанности форм нам кажутся показателями очень симптоматическими не только для одного Гумилева… Кажется, и от Гумилева, судя по „Чужому небу“, можно ожидать его „Зеркала теней“, которое удивит, пленит и разочарует поклонников бывшего его экзотизма. Что он при всех своих переменах не утратит заостренной и крепкой формы, порукой почти все пьесы нового сборника» (Литературные и научно-популярные приложения «Нивы». 1913. Янв. С. 161–162).

О взаимоотношениях двух поэтов некоторые сведения

содержатся в «Записках об Анне Ахматовой» Лидии Чуковской. «Одни делают всю жизнь только плохое, — записывает Чуковская слова Ахматовой, — а говорят о них все хорошо. В памяти людей они сохраняются как добрые. Например, Кузмин никому ничего хорошего не сделал. А о нем все вспоминают с любовью». В другом месте в тех же «Записках»: «У нас, у Коли, например, все было всерьез, а в руках Кузмина все превращалось в игрушки… С Колей он дружил только вначале, а потом они быстро разошлись. Кузмин был человек очень дурной, недоброжелательный, злопамятный. Коля написал рецензию на „Осенние озера“, в которой назвал стихи Кузмина „будуарной поэзией“. И показал, прежде чем напечатать, Кузмину. Тот попросил слово „будуарная“ заменить словом „салонная“ и никогда во всю жизнь не прощал Коле этой рецензии» (Записки об Анне Ахматовой. Т. 1. Париж, 1976. С. 150).

Противоположное мнение об этих взаимоотношениях находим в воспоминаниях В. Петрова о Кузмине. «Впрочем, литературные разногласия, — пишет искусствовед Петров, — не всегда переносились на личные взаимоотношения поэтов. Гумилев сердечно любил Кузмина как человека и, мне кажется, разглядел в нем нечто очень существенное и характерное. У Гумилева была теория, согласно которой у каждого человека есть свой истинный возраст, независимо от паспортного и не изменяющийся с годами. Про себя Гумилев говорил, что ему вечно тринадцать лет. А Мишеньке (т. е. Кузмину) — три. „Я помню, — рассказывал Гумилев, — как вдумчиво и серьезно рассуждал Кузмин с моими тетками про малиновое варенье. Большие мальчики или тем более взрослые так уже не могут разговаривать о сладком — с такой непосредственностью и всепоглощающим увлечением“».

В той же статье В. Петров приводит слова Ахматовой, подтверждающие ее мнение, записанное Лидией Чуковской: «Впоследствии я слышал от А. А. Ахматовой, что, по ее убеждению, рецензия Гумилева навсегда оттолкнула Кузмина от всей группы акмеистов» *(Петров В.* Калиостро// Новый журнал. 1986. № 163. С. 90).

20

Зимой 10/11 года — Цех поэтов был основан в октябре 1911 г.

21

Он получил три Георгия — Гумилев был награжден двумя Георгиевскими крестами.

22

В шестнадцатом году он был послан в Париж — Гумилев уехал за границу в 1917 г. и пробыл там один год.

23

«Посредине странствия земного» — название было переменено на «Огненный столп», вышедший в количестве одной тысячи экземпляров в издательстве «Петрополис» в 1921 г. в Петрограде. Книга посвящена Анне Николаевне Гумилевой.

24

Печатается по книге Маковского «На Парнасе серебряного века» (Мюнхен: Изд-во Центр, объединения полит. эмигрантов из СССР, 1962. С. 197–222). В подзаголовке этого очерка дата рождения Гумилева ошибочно указана как 1882 г. В настоящем издании этот очерк напечатан с небольшими сокращениями.

Сергей Константинович Маковский (1877–1962) — историк искусства, художественный критик, поэт, мемуарист, издатель, редактор, организатор художественных выставок. Выступил в печати как художественный критик в 1898 г. В 1905 г. вышел его поэтический сборник «Собрание стихов». В 1907 г. участвовал в создании журнала «Старые годы» и был одним из его редакторов. В 1909 г. основал журнал «Аполлон». Опубликовал восемь книг по искусству, самые известные из которых «Страницы художественной критики» в трех томах и «Силуэты русских художников». Маковский — автор девяти сборников стихов и двух мемуарных книг. Его цикл сонетов «Нагарэль» посвящен Гумилеву.

25

В очерке «Николай Гумилев по личным воспоминаниям» Маковский писал, что познакомился с Гумилевым 1 января 1909 г. О выставке, на которой состоялось это знакомство, Гумилев написал небольшую статью, напечатанную в «Журнале театра литературно-художественного общества» (1909. № 6).

26

«Тихие песни» Анненского вышли в 1904 г.

27

Ср. с рецензией на «Романтические цветы» в журнале «Образование» (1908. № 7). Автор, подписавшийся Л. Ф., заканчивает свой отзыв о сборнике стихов Гумилева следующими словами: «Книжка опрятная и недурная, но мы не хотим скрыть, что знаки препинания во многих цитированных здесь стихах составляют честь нашу, а не автора».

28

Имеется в виду статья В. М. Жирмунского «Преодолевшие символизм», напечатанная в «Русской мысли». (1916. № 12).

29

В шестидесятые годы Ахматова просмотрела сборники Гумилева и отметила стихи, в которых, с ее точки зрения, говорилось о ней, хотя формально эти стихи ей посвящены не были. Таких стихотворений в общей сложности насчитывается двадцать два.

30

Стихотворение «Из логова змиева» было напечатано впервые в июле 1911 г. Датировка Маковского чрезвычайно проясняет содержание этого стихотворения.

31

Ср. с автобиографией Ахматовой: «Весну 1911 года я провела в Париже, где была свидетельницей первых триумфов русского балета». И в другой своей автобиографии: «Весны 1910–11 годов я провела в Париже. Модильяни».

Маковский здесь не совсем точен: Ахматова к этому времени напечатала свои стихи, по крайней мере, в трех журналах. — См.: Русские советские писатели. Поэты. Библиографический указатель Т. 2. М.: Книга, 1978. С. 153.

33

В «Аполлоне» (1911. № 4) было напечатано четыре стихотворения Ахматовой: «Сероглазый король», «В лесу», «Над водой» и «Мне больше ног моих не надо».

34

Лев Гумилев, сын Гумилева и Ахматовой, родился 1 октября 1912 г.

35

Ахматова считала, что из этих трех стихотворений ей посвящено только «Эзбекие».

36

Речь идет о статье Гумилева «Наследие символизма и акмеизм». В ней Готье не цитируется. Цитируемое Маковским стихотворение Готье было переведено Гумилевым и опубликовано раньше — в 1911 г. в «Аполлоне». В том же девятом номере за 1911 г. была напечатана статья Гумилева «Теофиль Готье».

37

Цех поэтов возник осенью 1911 г. Гумилев собственноручно написал приглашение нескольким петербургским поэтам, которые и встретились в октябре 1911 г. на квартире у С. М. Городецкого. К тому времени мысль о провозглашении акмеизма у Гумилева еще не вполне созрела. В 1913 г. Гумилев писал Брюсову, что в стоящем совершенно отдельно от акмеизма Цехе в общей сложности 26 членов. Жирмунский в своей книге об Ахматовой приводит «восстановленный ею в рукописных воспоминаниях» список, включающий семнадцать имен, к которому надо прибавить и саму Ахматову, а также двух синдиков — Гумилева и Городецкого и «стряпчего» — Д. В. Кузьмина-Караваева. Жирмунский говорит, что в Цехе кроме них бывали Клюев и Хлебников, а на открытии присутствовал Блок. Однако Жирмунский забыл упомянуть бывавших в Цехе Пяста, Грааля, Арельского, Верховского, Чулкова, А. Толстого. Новых членов принимали большинством голосов и только в исключительных случаях «без баллатировки». Именно таким образом был утвержден членом Цеха в 1912 г. Георгий Иванов.

38

Журнал «Гиперборей» выходил в 1912–1913 гг. Этот «ежемесячник стихов и критики» выпускался не особенно регулярно с октября 1912 г. по декабрь 1913 г. Всего вышло десять номеров (один из них сдвоенный). Редактором и издателем был М. Лозинский. Однако в каждом выпуске «Гиперборея» указывалось, что журнал издается при непосредственном участии С. Городецкого и Н. Гумилева. В большей степени, чем Лозинскому или Городецкому, журнал был обязан своим существованием Гумилеву. Само его название воспринималось как квинтэссенция гумилевской эстетики: ибо гиперборейцы — это хранители храма Аполлона, мифическая раса вечно юных людей, наслаждавшихся непрерывным солнечным светом. Современники воспринимали «Гиперборей» как своеобразное отпочкование от «Аполлона», ибо несколько поэтов одновременно сотрудничали в обоих журналах. Сам редактор «Гиперборея» в то же время был секретарем редакции «Аполлона». Если не считать малоудавшейся попытки издавать журнал «Остров», «Гиперборей» благодаря Гумилеву явился первым в России периодическим изданием, целиком посвященным модернистской поэзии. Поэтический отдел всегда был главным, а в некоторых номерах «Гиперборея» единственным отделом. Критический отдел занимал подчиненное место и полностью посвящался разбору новейших поэтических сборников. Здесь печатались рецензии Городецкого, Лозинского, Мандельштама, Г. Иванова, но чаще других в критическом отделе выступал Гумилев. Некоторые его рецензии не подписаны, но в них с несомненностью видны стиль Гумилева, его фразеология, встречающаяся в его же рецензиях в «Аполлоне». При журнале возникло издательство того же имени. Под его издательской маркой вышли книги Гумилева «Фарфоровый павильон» и «Мик».

39

Печаталось в «Новом журнале» (1964. № 77. С. 157–189) с примечанием редактора журнала: «Эта работа о Гумилеве — последняя работа покойного С. К. Маковского…» К этому примечанию нужно добавить, что данный очерк представляет собой новый вариант воспоминаний о Гумилеве, вошедших в книгу Маковского «На Парнасе серебряного века».

О том же пишет Г. Иванов в небольшом своем очерке «Блок и Гумилев» (Сегодня. 1929. № 277): «Гумилев был слабый, неловкий, некрасивый ребенок, но он задирал сильных и соперничал с ловкими и красивыми. Неудачи только пришпоривали его».

Отца звали Степан Яковлевич.

42

С Николаем Сверчковым Гумилев ездил в Абиссинию не в 1907-м, а в 1913 г.

43

Невестка Гумилева (жена его старшего брата Дмитрия) писала, что мать поэта была родом «из старинной дворянской семьи».

Гумилев учился в первой и затем во второй тифлисской гимназии и пробыл на Кавказе в общей сложности около трех лет, а не шесть лет, как пишет Маковский.

Маковский имеет в виду следующие слова Н. Оцупа: «По рассказам Хмара-Барщевских, еще за шесть лет до своей смерти Анненский с вниманием следил за первыми литературными шагами Гумилева».

Здесь у Маковского ошибка: «Романтические цветы» вышли в свет в январе 1908 г.

47

Здесь опять неточно. К 1907 г. Гумилев выпустил только одну книгу стихов. В 1908 г. после выхода в свет «Романтических цветов» он задумал издать «Жемчуга», но об издании «Чужого неба» еще не могло быть речи.

Сначала Гумилев поступил на юридический факультет Петербургского университета. На историко-филологический он был переведен 1 сентября 1909 г.

49

Корректуру «Жемчугов» Гумилев правил в апреле. В том же месяце книга вышла в свет (1910).

50

Эта встреча в вагоне не могла произойти осенью. Гумилев и Ахматова вернулись из Парижа летом 1910 г., скорее всего в первой половине июня. Ср. со словами Ахматовой: «В 1910-м (25 апреля ст. ст.) я вышла замуж за Н. С. Гумилева, и мы поехали на месяц в Париж» (*Ахматова А.* Коротко о себе. — В кн.: *Ахматова А.* Стихотворения и поэмы. М.: Сов. писатель, 1976. С. 20).

51

В африканское путешествие Гумилев уехал через пять месяцев после венчания — в сентябре 1910 г.

52

До своей первой публикации в «Аполлоне» Ахматова напечатала стихи в «Сириусе», «Всеобщем журнале» и «Гаудеамусе».

53

Вторая строка в последнем четверостишии читается в «Чужом небе»:

Что, взойдя на крутую скалу…

Последняя строка второго четверостишия в «Чужом небе»:

Перед *пыльными* грудами книг.

55

Ср.: «Первого октября 1912 года родился мой единственный сын Лев» (*Ахматова А.* Коротко о себе — автобиография, печатавшаяся в нескольких разных изданиях, напр. в кн. «Стихотворения и поэмы» в Большой серии Библиотеки поэта. Л., 1976).

56

Здесь неточность. Ахматова в это время стала готовить к печати не «Белую стаю», а «Четки» (первое издание в марте 1914 г.).

57

Речь идет о Татьяне Викторовне Адамович, сестре Георгия Адамовича.

58

«Актеон» был напечатан в *седьмом* номере «Гиперборея» (1913).

59

Впервые опубликовано М. Баскером и Ш. Греем в книге «Неизданное и несобранное» (Paris, YMCA-Press: 1986). *Черубина де Габриак* — псевдоним поэтессы и переводчицы *Елизаветы Ивановны Васильевой,* урожденной *Дмитриевой* (1887–1928). Родилась в Петербурге в дворянской семье. «Мое детство, — писала она в автобиографии, — все связано с Медным всадником, Сфинксом на Неве и Казанским собором». Окончила Женский императорский педагогический институт по специальности «средневековая история и французская средневековая литература». Училась в Сорбонне (не окончила). Прославилась своими стихами, напечатанными под псевдонимом Черубина де Габриак в «Аполлоне» в 1909 и 1910 гг. Писала пьесы для детского театра в Екатеринодаре. В двадцатые годы жила в Петрограде, в 1927 г. была сослана в Узбекистан.

Гумилев был на год старше ее.

61

«Капитаны» были напечатаны в октябре 1909 г. в «Аполлоне» и затем включены в сборник «Жемчуга».

62

Здесь печатается только отрывок, имеющий отношение к дуэли Гумилева и Волошина в ноябре 1909 г. (Новый журнал. 1983. № 151. С. 188–208).

Максимилиан Александрович Волошин (1877–1932) — поэт, переводчик, критик, искусствовед, художник. Точных сведений о дате знакомства Гумилева с Волошиным, кажется, не сохранилось. Июнь, возможно, и часть июля 1909 г. Гумилев проводит у Волошина в Коктебеле. Встречи Гумилева и Волошина возобновились осенью 1909 г. — в «Аполлоне» и в Академии стиха при редакции этого журнала. В конце ноября 1909 г. произошла дуэль между Гумилевым и Волошиным. По словам Волошина, с тех пор они не встречались до июня 1921 г., когда Гумилев в поезде командующего морскими силами приезжал в Крым. По словам же С. Маковского, два поэта продолжали встречаться в Академии стиха, но делали вид, что друг друга не замечают. В критических выступлениях Гумилева имя Волошина упоминается дважды. В рецензии на «Антологию» издательства «Мусагет» (1911) о стихах Волошина говорится без всякой оценки. Читателю этой рецензии видно лишь, что рецензент заметил стихи Волошина, но абсолютно никак не отметил. В 1916 г. в «Аполлоне» (№ 1) была напечатана рецензия Гумилева на книгу М. Лозинского «Горный ключ». В ней Лозинский сравнивается с Волошиным в том отношении, что оба следуют принципу символизма, который побуждает поэта говорить таинственно о таинственном — «в неведомых доселе сочетаниях слов».

63

В своей «Исповеди» Е. Дмитриева (Черубина де Габриак) писала о поездке вместе с Гумилевым в Коктебель в конце мая 1909 г. — См.: *Габриак Ч.* Исповедь.

Дмитриева вышла замуж за врача В. Н. Васильева и приняла его фамилию. В словаре Козьмина «Писатели современной эпохи» статья о ней под фамилией Васильева (урожд. Дмитриева).

65

Борис Алексеевич Леман — известный петербургский антропософ, также критик и поэт; печатался под псевдонимом Борис Дикс.

Описание дуэли, оставленное А. Толстым, во многом расходится с описанием Волошина (см. в настоящем издании мемуарный очерк А. Толстого «Н. Гумилев»), Волошин перепутал год, когда состоялась дуэль. В своих воспоминаниях он пишет: «За год до этого, в 1909 г., летом, будучи в Коктебеле…» Речь идет о времени разоблачения псевдонима Черубина де Габриак и последовавшей дуэли. Волошин, работая над этими воспоминаниями (дата их написания не установлена), думал, что дуэль произошла в 1910 г.

Печатаются отрывки из книги Гюнтера «Под восточным ветром» (Ein Leben im Ostwind. Zwischen Petersburg und München). Около двадцати страниц из этой книги в переводе Т. Петровской было опубликовано в альманахе «Мосты» (1970. № 15. С. 329–348). Здесь воспроизводятся отдельные страницы из этой публикации — все, что имеет непосредственное отношение к Гумилеву.

Иоганнес фон Гюнтер — немецкий поэт, прозаик, драматург, переводчик. Много переводил на немецкий язык русских авторов. В первый свой приезд в Россию в 1906 г. познакомился с Блоком. Во второй приезд в апреле 1908 г. его круг знакомств среди писателей значительно расширился, чему способствовали его визиты к Вячеславу Иванову, в квартире которого по средам собирался «весь» литературно-художественный Петербург. В третий раз он приезжает в Россию осенью 1909 г. — знакомится с Гумилевым, становится сотрудником «Аполлона». В объявлениях «Аполлона» его имя упоминается непосредственно после Гумилева в качестве сотрудника отдела «вопросов литературы и литературной критики». В декабрьском номере «Аполлона» за 1909 г. была опубликована драма Гюнтера «Маг» в переводе Петра Потемкина. Петербург и его литературная среда произвели на Гюнтера глубокое впечатление. В апреле 1964 г. Кленовский писал Страннику (Иоанну Сан-Францисскому): «Был у меня недавно интересный посетитель, приехавший лично познакомиться со мной Johannes von Guenther… Интересно было с ним поговорить: он ведь в свое время вращался в самой гуще так наз. Серебряного века, дружил с Блоком, Гумилевым, Кузминым. Он и сейчас только и живет и дышит что русской литературой и воспоминаниями о России. Патриот, каких мало: несмотря на свое немецкое происхождение, отказывается от немецкого подданства…» (Странник. «Переписка с Кленовским». С. 140).

68

Виктор Викторович Гофман (1884–1911) — поэт, автор поэтических сборников «Книга вступлений» (1904) и «Искус» (1910). Сотрудничал в «Весах». Гумилев написал о нем некролог, напечатанный в «Аполлоне» (1911. № 7): «Свободный и певучий стих, страстное любование красотой жизни и мечты, смелость приемов и пышное разнообразие образов, им впервые намеченных и впоследствии вошедших в поэзию, — вот отличительные черты этой книги» (т. е. «Книги вступлений». — *В. К.)*. «Во второй книге эти достоинства сменяются более веским и упругим стихом, большей сосредоточенностью и отчетливостью мысли».

Имеется и другая версия происхождения названия «молодая редакция „Аполлона“». Придумано оно было секретарем редакции Е. Зноско-Боровским по образцу известной в истории литературы и журналистики «молодой редакции „Москвитянина“».

70

Этого стихотворения нет в самом полном собрании стихотворений Анненского, подготовленном к печати А. В. Федоровым (Л., 1959. Большая серия Библиотеки поэта).

71

Статья М. Кузмина «О прекрасной ясности» была напечатана как самый важный материал номера на открытии январского выпуска (1910) «Аполлона».

Именно так в тексте.

Кроме Гюнтера об этой истории писали в своих воспоминаниях С. Маковский, М. Волошин, А. Толстой, а также сама Е. Дмитриева (Черубина де Габриак).

С. Маковский в книге «На Парнасе серебряного века» пишет, что встретил Гумилева и Ахматову в Париже во время их свадебного путешествия: «Затем мы вместе возвращались в Петербург».

75

Здесь хронологическая путаница. «Бродячая собака» открылась 31 декабря 1911 г. Гумилев женился на Ахматовой 25 апреля 1910 г. Словом, Гюнтер не мог увидеть Ахматову через полгода после венчания в несуществовавшей еще «Бродячей собаке».

76

Настоящая публикация представляет собой отрывок из главы «Черубина де Габриак», вошедшей в книгу воспоминаний С. К. Маковского «Портреты современников» (Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1955. С. 342–345, 356–357). О Маковском см. в настоящем издании — в комментарии к его очерку «Николай Гумилев (1886–1921)».

77

Александр Яковлевич Головин (1863–1930) — художник, сотрудник «Художественного отдела» «Аполлона».

78

Фамилии всех присутствовавших в этот вечер в мастерской Головина, когда Гумилев вызвал Волошина на дуэль, теперь уже трудно восстановить. Нам известно, однако, что кроме Гумилева, Волошина и Маковского там в этот вечер находились также Анненский, Блок, Вяч. Иванов, А. Толстой и Е. Зноско-Боровский. Вполне вероятно, что присутствовали Кузмин и художник А. Шервашидзе.

79

В газете «Столичная молва» (22 ноября 1909 г.) появилась заметка «Еще дуэль». На следующий день в той же газете были напечатаны дополнительные сведения под заголовком «Дуэль литераторов». В тот же день появилось описание дуэли в «Биржевых ведомостях» под названием «Две дуэли». В московской газете «Раннее утро» 26 ноября напечатана заметка «Декадентская дуэль». Еще ранее в «Вечернем Петербурге» приведено было описание дуэли под заголовком «Поединок между поэтами». Позднее, почти через год, в газетах появились сообщения о решении суда по поводу этой дуэли: «Дело литераторов-дуэлянтов» 13 октября 1910 г. в «Русском слове»; в тот же день в «Петербургской газете» — статья «Дуэль из-за поэтессы», а также — заметка «Дуэль между литераторами» в газете «Копейка».

80

М. Волошин в «Воспоминаниях о Черубине де Габриак» говорит, что после дуэли он «встретился с Гумилевым только один раз, случайно, в Крыму». — См.: *Волошин М.* Воспоминания о Черубине де Габриак.

81

В описаниях Черубины де Габриак картина представлена прямо противоположным образом. С ее слов, заслуживающих лишь умеренного доверия, получается, что не она, а Гумилев имел подобные «притязания» (см. ее «Исповедь» в настоящем издании).

82

Опубликовано в «Новом журнале» (1956. № 46. С. 107–126). *Анна Андреевна Гумилева* — невестка поэта. Ее воспоминания явились значительным вкладом в мемуарную литературу о Гумилеве. Впрочем, были и голоса, упрекавшие автора этих, не претендующих на литературную отточенность воспоминаний в ряде неточностей. Через десять лет после опубликования воспоминаний Анны Гумилевой И. В. Одоевцева откликнулась на них в «Новом журнале». «Г. Струве. — пишет Одоевцева, — справедливо, „без особого доверия“ отнесся к домыслам и заключениям невестки Гумилева о любви Гумилева, „якобы единственной настоящей его любви к его рано умершей кузине Маше Кузьминой-Караваевой“ и к тому, что написанный в 20-м году „Заблудившийся трамвай“ относится именно к ней». «Я не знаю, — продолжает Одоевцева, — был ли влюблен Гумилев в свою кузину, он при мне вообще никогда не вспоминал о ней. Но я охотно допускаю это. Ведь Гумилев был влюблен несчетное число раз…» Но рассказ о том, что «Заблудившийся трамвай» (кстати, написанный не в 20-м, а весной 21-го года) относится к Маше Кузьминой-Караваевой, вполне фантастичен. Небезынтересно упомянуть, что в первом варианте «Машенька» называлась «Катенькой» — и только впоследствии, в честь «Капитанской дочки» превратилась в Машеньку… Та же невестка Гумилева перепутала даты второй женитьбы Гумилева и рождения его дочери Елены. Гумилев действительно вернулся в Петербург в мае и вскоре же — по желанию Анны Ахматовой — произошел развод с ней. Но женился он на Анне Николаевне Энгельгардт не «в следующем году», а по словам самого Гумилева, «тут же…».

83

Свадьба старшего брата Гумилева, Дмитрия, была отпразднована 5 июля 1909 г.; знакомство Н. С. Гумилева с его будущей невесткой имело место где-то в первой половине 1909 г.

Гумилеву в это время шел 24-й год.

85

С. Маковский в книге «На Парнасе серебряного века» писал о внешности Гумилева и впечатлениях, оставшихся от первой встречи. Она произошла 1 января 1909 г.: «Юноша был тонок, строен, в элегантном университетском сюртуке, с очень высоким темно-синим воротником (тогдашняя мода) и причесан на пробор тщательно. Но лицо его благообразием не отличалось: бесформенно-мягкий нос, толстоватые бледные губы и немного косящий взгляд (белые точеные руки я заметил не сразу)».

Первый номер «Аполлона» вышел в октябре 1909 г. Общество ревнителей художественного слова, созданное по инициативе Гумилева и собиравшееся на заседания при редакции «Аполлона», начало свою деятельность также в октябре. Прошение в петербургское градоначальство об учреждении этого общества было подано за подписями Маковского, Анненского и Вяч. Иванова до выхода в свет первого номера «Аполлона». В дневнике Блока есть запись, относящаяся к началу октября 1909 г.: «Выбран в совет Общества ревнителей художественного слова». Кроме того, в книге Маковского «Портреты современников» говорится, что выступления Анненского продолжались в этом Обществе (или иными словами — Академии стиха) «в течение двух первых месяцев». Следовательно, речь идет о существовании Общества ревнителей на протяжении двух месяцев до смерти Анненского (он умер 30 ноября). На основании разных источников можно предположить, что Академия стиха была открыта в первых числах октября. С самого начала ее существования Гумилев входил в совет Академии — вместе с Ивановым, Анненским, Маковским, Блоком и Кузминым. Собрания Академии бывали раз или два в месяц. Состав Академии не был постоянным. Менялось даже самое стойкое ее ядро — президиум. К осени 1913 г. президиум, или как он иногда назывался «совет Общества ревнителей», состоял уже из пяти человек. Гумилева в их числе не было. Гумилев был «доизбран в совет» вместе с В. Недоброво и В. Чудовским 30 ноября 1913 г. Второе избрание Гумилева в президиум может быть объяснено тем, что с осени 1912 г. уехавший за границу Вяч. Иванов уже не мог вмешиваться в дела Общества. Еще в 1911 г. Гумилев покинул Академию фактически из-за Вяч. Иванова. Впрочем, этот уход ускорил создание Цеха поэтов. Вернувшись из-за границы, Вяч. Иванов поселился в Москве, и Гумилев согласился войти в состав президиума. Он оставался активным членом Академии до весны 1914 г. Неизвестно, прочел ли Гумилев в Академии хоть один доклад, но в прениях он выступал довольно часто. Без стимулов, полученных в Академии, Гумилев не стал бы таким точным, осторожным и вдумчивым критиком. Трудно сказать, был ли это заранее подготовленный доклад или просто спонтанное выступление, когда в конце января 1914 г. Гумилев «изложил свои взгляды на эпический род и его современные возможности» (Аполлон. 1914. № 5. С. 53–54). Это «изложение взглядов» имело место после чтения Гумилевым своей поэмы «Мик и Луи». «Большая часть

выступавших оспаривали», — заканчивает свой отчет автор заметки в «Аполлоне».

Сохранилось несколько других сведений, касающихся деятельности Гумилева в Академии. Так, в записных книжках Блока имеется запись от 26 марта 1910 г., в которой упоминается Гумилев: «Замечание Вяч. Иванова — символизм хочет говорить правду. — А что такое правда? — спросил Кондратьев. И Гумилев делает замечание». В журнале «Труды и дни» (№ 2) сообщается о заседании в Академии стиха 18 февраля 1912 г.: «Чтение и обсуждение докладов Вячеслава Иванова и А. Белого о символизме. В прениях — В. Пяст, В. Чудовский, С. Городецкий, Н. Гумилев. Двое последних заявили о своем отрицательном отношении к символизму». Затем находим запись в дневнике Блока, сделанную 17 апреля 1912 г. Эта запись лишь слегка приоткрывает завесу над тем, что происходило в Академии: «Утверждение Гумилева, что „слово должно значить только то, что оно значит“, — глупо, но понятно психологически как бунт против В. Иванова и даже как желание развязаться с его авторитетом и деспотизмом». И еще одно сведение, касающееся участия Гумилева в Академии: в ноябре 1913 г. состоялось заседание, на котором Гумилев читал свою одноактную пьесу «Актеон». По поводу этого чтения в «Аполлоне» (1914. № 1–2) было сказано, что оно вызвало «особенно продолжительные прения». Имеются еще некоторые беглые упоминания об Академии во «Второй книге» — мемуарах Надежды Мандельштам, не отличающихся высокой степенью точности. «„Блудный сын“ Гумилева, — пишет она, — …был прочитан в Академии стиха, где княжил Вячеслав Иванов, окруженный почтительными учениками. Вячеслав Иванов подверг „Блудного сына“ настоящему разгрому. Выступление было настолько резкое и грубое („никогда ничего подобного мы не слышали“), что друзья Гумилева покинули Академию и организовали Цех поэтов в противовес ей». Рассказ этот приводится со слов А. Ахматовой. Было ли выступление Вяч. Иванова действительно неслыханно грубым или это деформация, случившаяся в передаче впечатления многолетней давности? Не добавлено ли к этому рассказу «остроты» самой Надеждой Мандельштам?

87

Из многих источников хорошо известно о дуэли Гумилева и Волошина в 1909 г. О другой или других дуэлях сведения неопределенные. Имеется, например, упоминание о «дуэлях» у Георгия Иванова в его небольшой газетной статье «Блок и Гумилев» (Сегодня. 1929. № 277): «Он дрался на дуэлях, охотился на львов, пошел добровольцем на войну и получил там два Георгия…»

88

В аттестате зрелости Гумилева, выданном «Николаевской Императорской Царскосельской гимназией» 30 мая 1906 г, — пятерки по русскому языку и логике; по другим предметам — тройки и четверки.

В Париже Гумилев издавал «Сириус», имевший подзаголовок «Двухнедельный журнал Искусства и Литературы». В первом номере «Сириуса» — повесть Гумилева «Гибели обреченные» подписана его настоящей фамилией, а стихотворение «Франция», напечатанное там же, подписано псевдонимом К-о — может быть, в противоположность Анненскому, подписавшему свои «Тихие песни» псевдонимом Ник. Т-о. Впрочем, в оглавлении автором стихотворения «Франция» назван К… Помимо двух вещей Гумилева, в первом номере был напечатан «этюд» «Помпея» Мстислава Фармаковского, художественная критика и три репродукции с картин С. Данишевского, Я. Николадзе и А. Божерянова. Обложка журнала была выполнена Божеряновым. Журнал открывался небольшим обращением «От редакции»: «Издавая первый русский художественный журнал в Париже, этой второй Александрии утонченности и просвещения, мы считаем долгом познакомить читателей с нашими планами и взглядами на искусство. Мы дадим в нашем журнале новые ценности для изысканного миропонимания и старые ценности в новом аспекте. Мы полюбим все, что дает эстетический трепет нашей душе, будет ли это развратная, но роскошная Помпея или Новый Египет, где времена сплелись в безумье и пляске, или золотое Средневековье, или наше время, строгое и задумчивое. Мы не будем поклоняться кумирам, искусство не будет рабыней для домашних услуг. Ибо искусство так разнообразно, что свести его к какой-либо цели, хотя бы и для спасения человечества, есть мерзость перед Господом». Подписи под этой редакционной вступительной заметкой не имеется. Можно предположить, что заметка была написана Гумилевым, так как другими участниками первого номера были художники (не литераторы). Скорее всего проект был написан Гумилевым и мог быть подправлен другими участниками. Впрочем, рука юного Гумилева в этой заметке чувствуется с определенностью, если не во многом, то, по крайней мере, в упоминании о «Новом Египте», где «времена сплелись в безумье и пляске».

В конце журнала было приложено объявление о подписке, которое также помогает составить представление о том, каким виделся этот журнал Гумилеву в ближайшем будущем: «Открыта подписка на три месяца на литературно-художественный журнал „Сириус“. Подписчики получат 6 нумеров размером от одного до двух печатных листов с репродукциями на отдельных листах. ПОДПИСНАЯ ЦЕНА на 3 месяца: в Париже 5 фр. в России и за

границей 3 рубля. Отдельные нумера в Париже 1 фр., в России 50 коп. Адрес редакции… Прием по делам редакции по пятницам от 1 ч. до 3 ч.». Во втором номере была напечатана прозаическая миниатюра Гумилева «Карты» (подпись — Анатолий Грант), стихотворение Ахматовой «На руке его много блестящих колец» (ее первое выступление в печати), стихи Александра Биска, продолжение повести Гумилева «Гибели обреченные». В третьем номере было напечатано стихотворение Гумилева «Неоромантическая сказка», его же очерк «Вверх по Нилу» и продолжение повести «Гибели обреченные», оставшейся неоконченной. На обложке и на титульном листе первого номера «Сириуса» нет ни числа, ни месяца — только год: 1907. Датировать этот выпуск помогают письма Гумилева Брюсову. В письме от 8 января 1907 г. сообщается: «Теперь приступаю к самому главному. Несколько русских художников, живущих в Париже, затеяли издавать журнал художественный и литературный. Так как среди них пишу я один, то они уговорили меня взять заведование литературной частью с титулом редактора-издателя. Его направление будет новое, и политика тщательно изгоняема. Он будет выходить еженедельно размером в один или два печатных листа. Его небольшой размер почти дает мне возможность надеяться избежать ошибок и неловкостей, которые могут произойти от моей неопытности. Теперь, Валерий Яковлевич, если бы Вы могли дать нам что-нибудь свое — стихотворение, рассказ или статью, — Вы еще раз доказали бы свою бесконечную доброту ко мне. К несчастью, дело настолько молодое, что мы ничего не можем сказать о гонораре. Мы, его устроители, работаем совершенно бесплатно». Словом, журнал был задуман, очевидно, в конце 1906 г. Первоначальный план состоял в издании не двухнедельника, а еженедельника. Строки эти также подтверждают предположение, что заметка «От редакции» была в основном написана самим Гумилевым.

Дополнительные сведения об издании «Сириуса» находим в письме Гумилева Брюсову от 24 марта 1907 г.: «Теперь, я надеюсь. Вы уже получили „Сириус“. Если же нет, то напишите об этом одно слово, я высылаю его в третий раз и начинаю ссору с почтой. Если будет время и желание, напишите несколько слов, как Вы нашли мою прозу. Вам я открою инкогнито: Анатолий Грант — это я. Что же мне было делать, если у нас совсем нет подходящих сотрудников. Приходится хитрить, и истина об Анат. Гранте — тайна даже для моих компаньонов. Я очень огорчен нашей художественной критикой, но, увы, я не свободен. Меня с моими компаньонами связывают прежде всего денежные счеты». Таким образом, к марту был издан второй или третий номер «Сириуса»,

так как в этом письме упоминается псевдоним Гумилева, в первом номере не появлявшийся.

Как было сказано, дебют Ахматовой имел место именно в «Сириусе», однако сама Ахматова к издательской затее Гумилева отнеслась скорее иронически. Одно из ее писем к Сергею Владимировичу фон Штейну, мужу старшей сестры Ахматовой, датированное 13 марта 1907 г., также помогает уяснить хронологию, связанную с изданием «Сириуса». В этом письме речь идет о втором номере журнала. «Зачем Гумилев взялся за „Сириус“? — пишет Ахматова. — Это меня удивляет и приводит в необычайно веселое настроение. Сколько несчастнее наш Микола перенес, и все понапрасну. Вы заметили, что сотрудники почти все так же известны и почтенны, как я? Я думаю, что нашло на Гумилева затмение от Господа». *(Ахматова А.* Стихи. Переписка. Воспоминания. Иконография. Анн Арбор, «Ардис», 1977).

О «Сириусе» находим также несколько слов в одном мемуарном очерке Г. Иванова: «„Сириус“ прекратился. Но память о нем осталась настолько приятная, что бывшие его сотрудники, завоевав себе имена и печатаемые охотно всюду, пытались восстановить „Сириус“. Так был основан „Остров“… „Остров“, бывший по составу сотрудников повторением „Сириуса“, — скоро прекратился. Тогда Гумилеву, инициатору парижского журнала, пришла мысль не реставрировать его, а основать новый и по духу и по составу сотрудников, но такого же типа — только поэты хозяева, никаких издателей и гонораров, словом, вполне свое хозяйство» (Дни.1926. № 972).

90

Ахматова рассказывала Л. Чуковской: «У меня в молодости был трудный характер, я очень отстаивала свою внутреннюю независимость и была очень избалована. Но даже свекровь меня ставила потом в пример Анне Николаевне (второй жене Гумилева. — *В. К.)*. Это был поспешный брак. Коля был очень уязвлен, когда я его оставила, и женился как-то наспех, нарочно, назло» *(Чуковская Л.* Записки об Анне Ахматовой. Т. 1. Paris: YMCA-Press. 1976. С. 120).

Со слов брата Ахматовой, Надежда Мандельштам рассказывала об этом браке во «Второй книге»: «В семье всегда считали этот брак обреченным на неудачу, и потому никто не пришел в церковь на венчание. Ахматова подтвердила, что так и было. Ее оскорбляло отношение семьи».

91

В своей автобиографии «Коротко о себе» Ахматова писала: «Первого октября 1912 года родился мой единственный сын Лев».

92

В 1912 г. Гумилев и Ахматова побывали в Генуе, Пизе, Флоренции, Болонье, Падуе, Венеции. В письме Брюсову Гумилев писал, что «проехал почти всю Италию». Письмо это датировано 20 мая 1912 г.

93

Об обстоятельствах отъезда см. в воспоминаниях Г. Иванова.

Валериан Адольфович Чудовский — критик, печатался в «Аполлоне», был членом Общества ревнителей художественного слова, работал хранителем в Императорской публичной библиотеке.

Ахматова и Гумилев развелись в августе 1918 г., в том же месяце Ахматова вышла замуж за В. К. Шилейко.

О том, что среди лекторов словесного отделения Института истории искусств был и Гумилев, находим подтверждение в воспоминаниях основателя института В. Зубова.

Относительно Института живого слова писала Ирина Одоевцева: «Гумилев в последние дни своей жизни никак не мог ездить ежедневно в Царское Село… Лекции в „Живом Слове“ он вообще прекратил читать в конце 20-го года за полным отсутствием слушателей. Но и в 1919 году, хотя небольшая группа „живословцев“ выехала в Царское Село на летний отдых, он там никаких лекций не читал. Все же в то лето 19-го года он постоянно ездил в Царское…» *(Одоевцева И.* Рец. на Собр. соч. Гумилева//Новый журнал. 1966. № 84. С. 286).

В той же рецензии Одоевцева писала, что Гумилеву «удалось перевезти свою библиотеку в Петербург на Преображенскую улицу, № 5, где он тогда жил».

Об этом эпизоде рассказано в воспоминаниях Леонида Страховского, включенных в настоящее издание.

И. Одоевцева писала по поводу воспоминаний Анны Гумилевой: «Дочь Гумилева родилась не в 1920 году… а весной 1919 года. Я увидела ее впервые летом 19-го года — ей тогда, по словам отца, было три месяца».

В заключение этого комментария приводим письмо читателя «Последних новостей», рассказывающее о судьбе брата Гумилева (автора данных воспоминаний) и его жены непосредственно после гибели поэта. Это письмо было напечатано в «ПН» (Париж) 12 октября 1921 г. № 457.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Милостивый Государь,

г. Редактор,

Потрясенный известием о гибели талантливого поэта, Николая Степановича Гумилева, я одновременно узнал о трагическом положении, в котором находятся самые близкие ему люди, — родной брат его Дмитрий Степанович Гумилев, со своей женой Анной Андреевной.

Дмитрий Гумилев, после всех пережитых ужасов и лишений, душевно заболел и помещен в лечебниц (г. Рига, 22 Дуденгофская ул. лечебница Ротенберга). Жена его, без всяких средств и работы, измученная и больная, бедствует и не может продолжать платить за мужа в лечебницу.

Зная, как покойный поэт нежно относился к единственному брату и его жене, я полагаю, что наша обязанность и лучший способ почтить его память, это — немедленно помочь его близким людям. Не откажите дать место на страницах Вашей уважаемой газеты настоящему моему письму и открыть подписку в пользу названных лиц.

Собранное мне казалось бы целесообразным, по мере поступления, ибо помощь срочная, посылать Анне Андреевне Гумилевой, г. Рига, 46, Мариинская ул., кв. 8. Прилагаю свою посильную скудную лепту — 20 франков. М. Гриневич.

100

Печатается по кн.: *Белый А.* Начало века. М.; Л., 1933. С. 321, 322, 323, 324. Название главы, из которой взяты настоящие отрывки, — «Башенный житель».

«Проакадемия», которая возникла по инициативе Гумилева на «башне» Вячеслава Иванова, собиралась регулярно весной 1909 г. Эти собрания решено было перенести в редакцию только что основанного журнала «Аполлон», и тогда кружок получил название «Общество ревнителей художественного слова». В обиходе же его называли Академией стиха. С открытием этой поэтической Академии в начале октября 1909 г. стиль жизни на «башне» мало переменился, хотя одной из целей Вячеслава Иванова было разгрузить квартиру от наплыва многочисленных гостей. Заседания в «Аполлоне» на Мойке продолжались параллельно с «радениями» в квартире Иванова на Таврической улице, 25, т. е. на «башне».

В данном отрывке Белый говорит о пяти неделях, проведенных у «Вячеслава Великолепного» в 1909–1910 гг. Если хронология Белого верна, то речь может идти только о декабре 1909-го и январе 1910 г. Но Гумилев уехал из Петербурга в самом конце ноября, через неделю после дуэли с Волошиным. К этому времени знаменитые «среды» Иванова превратились уже в «четверги». Но Гумилева Белый здесь мог застать не только в «день открытых дверей» — по четвергам. Гумилев, по словам Белого, считался на «башне» своим и оставался иногда ночевать, когда было поздно возвращаться домой в Царское Село. В деталях башенного быта в воспоминаниях Белого существенных добавлений к биографии Гумилева, увы, не много. Иное дело — описанные им отношения с Вяч. Ивановым. Уже тогда они не прямые и не легкие. В период работы «Проакадемии» отношения были определеннее: с одной стороны — учитель, с другой — ученик; вещающий мэтр и внимающий последователь. К началу 1910 г. ситуация меняется. Внешний респект остается, но ученика уже нет. Гумилев сам определяет литературную линию нового журнала. Однако Иванов в силу иных — внежурнальных заслуг — занимает в аполлоновской иерархии место олимпийца. Место Гумилева, вполне понятное для сотрудников журнала, в первом номере «Аполлона» формально никак не определяется. В объявлении, приложенном к первому номеру, сотрудниками литературного отдела названы Анненский. Брюсов. Волошин, Волынский, Зелинский, даже Гюнтер и Л. Гуревич и, конечно, Иванов, но фамилии Гумилева среди них нет. Его имя вообще не

фигурирует в списке сотрудников журнала. Упоминается оно лишь в связи с «литературным альманахом», т. е. в числе участников. На основании воспоминаний редактора «Аполлона» С. Маковского напрашивается вывод, что невключение Гумилева в перечень сотрудников явилось результатом настойчивости Иванова. Но уже во втором номере журнала Маковский проявил независимость: теперь имя Гумилева было указано в числе сотрудников литературного отдела.

Примечательно, что в первом — программном — номере «Аполлона», утверждавшем ясное аполлонийское начало над дионисийским символизмом, была помещена статья Иванова, утверждавшего роль художника как «ремесленника Дионисова». Таков был авторитет «Таврического мудреца», и в этой его позиции уже тогда намечен и будущий раскол, и споры о символизме, и бунт Гумилева против Иванова в 1911 г.

В конце 1909-го — начале 1910 г. будущая полемика проявляется еще лишь в частных разговорах. В воспоминаниях Белого мы встречаемся с лучшим описанием эмбриональной стадии этой полемики, принявшей вскоре широкий характер, с подключением к ней даже такого крупного журнала, каким была «Русская мысль».

Наибольшее недоумение вызывает в этих мемуарах Белого хронология. 29 ноября 1909 г. Гумилев уже в Киеве (возможно, 30-го). 1 декабря он прибыл в Одессу. Оттуда он приезжает в Варну. 5 января он пишет из абиссинского порта Джибути Вячеславу Иванову: «Здесь уже настоящая Африка. Жара, голые негры, ручные обезьяны». Так далеко на юг он еще не забирался. Из Джибути он поехал по единственной в стране железной дороге в город Дире-Дауа. Это была конечная станция. Дальше на юг можно было проехать по вполне сносной по эфиопским стандартам караванной дороге. Британская энциклопедия 1910 г. упоминает эту дорогу длиною «около тридцати миль» как едва ли не лучшую в стране. Об этом путешествии, занявшем целый день, Гумилев писал Кузмину: «Дорогой Миша, пишу уже из Харрара. Вчера сделал двенадцать часов (семьдесят километров) на муле». Харрар, крупнейший в ту пору город Абиссинии, ничем в особенности его не впечатлил: «Здесь только один отель, и цены, конечно, страшные». Из Харрара он собирается отъехать на расстояние приблизительно пятидесяти миль и там попытать свое охотничье счастье.

В Царское Село Гумилев вернулся в феврале. По возвращении его ждали тяжелые новости. Его отец был при смерти. Итак, в свете всех этих хронологических подробностей, неизвестно, каким образом Белый сумел встречаться и беседовать с

Гумилевым в конце 1909-го — начале 1910 г. Но и при этих неувязках не возникает сомнений, что Белый встречался с Гумилевым на «башне» и вступал с ним в споры. По-видимому, это было уже в ту пору, когда открылся «Аполлон» и уже начала свою деятельность Академия стиха.

101

Опубликовано в «Новом журнале» (1954. № 38. С. 182–190).

102

Вера Алексеевна Неведомская — соседка Гумилевых, владелица имения Подобино. Знакомство Неведомской с Гумилевым и Ахматовой произошло вскоре после их свадебного путешествия в Париж. Во Франции они оставались около месяца. Ахматова вспоминала о своих парижских впечатлениях 1910 г.: «Стихи были в полном запустении, и их покупали только из-за виньеток более или менее известных художников. Я уже тогда понимала, что парижская живопись съела французскую поэзию» («Коротко о себе». — В кн.: Тайны ремесла. М.: Сов. Россия, 1986). В той же короткой автобиографии находим описание окрестностей Слепнева: «Это не живописное место: распаханные ровными квадратами на холмистой местности поля, мельницы, трясины, осушенные болота, „воротца“, хлеба, хлеба…»

103

В рассказе о «цирковых представлениях» находим разгадку — почему свое стихотворение «Бродячие актеры» Георгий Иванов посвятил именно Гумилеву. Стихотворение первоначально было опубликовано в «Гиперборее» (1912. № 2. С. 13–14) и затем вошло в сборник «Горница», изданный «Гипербореем» в 1914 г.

Бродячие актеры
Н. Гумилеву

Снова солнечное пламя
Льется знойным янтарем.
Нагруженные узлами,
Снова мы подошвы трем.

Придорожная таверна
Уж далеко за спиной.
Небо медленно, но верно
Увеличивает зной.

Ах, бессилен каждый мускул.
В горле — словно острия.
Потемнела, как зулуска,
Берта, спутница моя.

Но теперь уже недолго
Жариться в огне небес:
Встречный ветер пахнет елкой.
Недалеко виден лес.

Вот пришли. — Скорее падай,
Узел мой, с усталых плеч.
Осененному прохладой,
Сладко путнику прилечь.

Распаковывает Берта
Тюк с едою и вином.
Край лилового конверта
Я целую за стволом.

Имеется также воспоминание о «цирковом представлении» Ахматовой на «башне» Вяч. Иванова в 1911 г. Дочь Иванова

вспоминает: «Один раз на ковре посреди собравшихся Анна Ахматова показывала свою гибкость: перегнувшись назад, она, стоя, зубами должна была схватить спичку…» *(Иванова Л.* Воспоминания о Вячеславе Иванове//Новый журнал. 1982. № 147. С. 153–154).

104

Ср. с «Биографическим очерком» Павла Лукницкого. Лукницкий утверждает, что лето 1911 г. Гумилев провел в усадьбе Слепнево.

105

Артистический кабачок «Бродячая собака» был открыт под новый 1912 г. Соответственно воспоминания в данном абзаце относятся, должно быть, к 1913-му или к 1914 г.

106

О том, что Гумилев чувствовал себя одиноко в современной ему литературной среде, находим указания в воспоминаниях Н. Оцупа и Г. Иванова. Но о близости к Блоку не существует сколько-нибудь достоверных свидетельств.

107

Тема перевоплощения, переселения душ, метапсихоза — чрезвычайно настойчивая в русской поэзии. У Гумилева интерес к проблеме перевоплощения оформился, очевидно, на основании ряда глубоко интимных переживаний в Париже в 1906–1907 гг. под влиянием чтения французских оккультистов. Как пример других стихотворений Гумилева, в которых речь идет о перевоплощении, назовем «Прапамять» и «Унижение».

108

Книга воспоминаний «Полутораглазый стрелец» вышла в свет в 1933 г. в Издательстве писателей в Ленинграде. В настоящем издании приводятся отрывки, в которых говорится о Гумилеве и его окружении (С. 260, 264, 269, 270 и 277 первого издания).

Бенедикт Константинович Лившиц (1886–1938) — поэт-футурист и переводчик. Родился в Одессе. По окончании Одесской Ришельевской гимназии учился на юридическом факультете в Новороссийском университете. Закончил в 1912 г. Киевский университет. Жил в Петербурге, сотрудничал в «Аполлоне», сблизился с футуристами «Гилеи». Участвовал в изданиях футуристов «Пощечина общественному вкусу», «Дохлая луна», «Рыкающий Парнас», «Молоко кобылиц», «Союз молодежи», «Садок судей» и др. Его ранние стихи (1907–1910) составили книгу «Флейта Марсия». Гумилев писал, что эта книга «ставит себе серьезные и, что важнее всего, чисто литературные задачи и справляется с ними если не всегда умело, то вдохновенно. Темы ее часто нехудожественны, надуманны: грешная любовь каких-то девушек к Христу (есть вещи, к которым, хотя бы из эстетических соображений, надо относиться благоговейно), рассудочное прославление бесплодия и т. д. Такое незаражение поэта своими темами отражается на однотонно-ярких, словно при электрическом свете найденных эпитетах. Но зато гибкий, сухой, уверенный стих, глубокие и меткие метафоры, уменье дать почувствовать в каждом стихотворении действительное переживание — все это ставит книгу в разряд истинно ценных и делает ее не только обещанием, но и достижением. В книге всего 25 стихотворений, но видно, что они являются плодом долгой подготовительной работы. И веришь, что это — немногословие честолюбивой юности, стремящейся к большему, а не вялость творческого духа» *(Гумилев Н. С.* Собр. соч. Т. 4. С. 261–262).

В рецензии на «Садок судей», напечатанной в «Гиперборее» (февраль 1913 г.), Гумилев посвящает Лившицу лишь одно предложение: «Дешевая красивость Б. Лившица иногда неприятна». Еще одно упоминание имени Б. Лившица находим в рецензии Гумилева на «Антологию современной поэзии», составленную Ф. М. Самоненко (Киев, 1912). Рецензия была опубликована в «Аполлоне» (1913. № 2). В этом отзыве на «Антологию» Гумилев ставит Лившица рядом с О. Мандельштамом: «Как можно было помещать г. Животова, если не нашлось места для Георгия Чулкова, Зенкевича, Мандельштама, Лившица!»

Повсюду, где встречается в «Полутораглазом стрельце» имя Гумилева, о нем говорится холодно и, пожалуй, с антипатией. В 1914 г. Лившиц был призван в армию, получил ранение, жил в Киеве и вновь поселился в Петрограде лишь в 1922 г. С большой вероятностью можно предположить, что более поздних встреч, чем те, что описаны в «Полутораглазом стрельце», у Лившица с Гумилевым не было. Помимо «Флейты Марсия», которую рецензировал Гумилев, вышли еще книги Лившица: «Волчье солнце. Стихи. 1911–1914»; «Из топи блат. Стихи. 1914–1918»; «Патмос» (М., 1926); «Кротонский полдень» (М., 1928). Позднее появились книги его переводов: в 1934 г. — «От романтиков до сюрреалистов» и в 1937 г. — «Французские лирики XIX и XX веков».

Борис Пронин — хозяин «Бродячей собаки», открывшейся под новый 1912 г. О «Бродячей собаке» писали многие: Г. Иванов в «Петербургских зимах» и в нескольких мемуарных очерках, не вошедших в «Петербургские зимы»; Ахматова — в своих стихах; В. Шкловский — в «Жили-были»; Одоевцева — в «На берегах Невы» и др. Борис Садовский посвятил подвальчику — ночному пристанищу художественной богемы — шуточное стихотворение:

Прекрасен поздний час в собачьем душном крове,
Когда весь в фонарях чертог сиять готов,
Когда пред зеркалом Кузмин подводит брови
И семенит рысцой к буфету Тиняков.

Прекрасен песий кров, когда шагнуло за ночь,
Когда Ахматова богиней входит в зал,
Потемкин пьет коньяк, и Александр Иваныч
О майхородусах Нагродской рассказал.

Но вот уж близок день; уж месяц бледноокий,
Как Конге, щурится под петушиный крик,
И шубы разроняв, склоняет Одинокий
Швейцару на плечо свой помертвелый лик.

В. Шкловский в книге «Жили-были» писал о Борисе Пронине: «Артист Александрийского театра, знакомый Всеволода Мейерхольда. Нестареющий, с закинутыми назад нередеющими волосами, он, ночной человек, принимал гостей больше из удовольствия разговаривать, чем из корысти. В театре он позировал в толпе гостей в последнем акте „Ревизора“. Стоял, откинув красивую голову, в мейерхольдовской постановке „Маскарада“. В театре в Териоках, где режиссером был Мейерхольд, Борис Пронин заведовал хозяйством. Гость на сцене, собутыльник гостей в жизни. Так и провел он ее, жизнь, у стены». Шкловский пишет и о знаменитой «Свиной книге»: «У входа лежала большая, толстая, более чем в полторы четверти толщины, книга, переплетенная в синюю кожу: в ней расписывались посетители. Звалась она „Свиная книга“».

Позднее Пронин открыл «Привал комедиантов», который занял место отжившей свое «Бродячей собаки». В «Привале» Гумилев бывал неоднократно. Здесь в форме

вольноопределяющегося, по воспоминаниям мемуариста, читал он свои стихи. Его стихотворение «Разговор», посвященное Г. Иванову, читается с более точным пониманием, если знать, что этот «разговор» между душой и телом происходит в пронинском «Привале комедиантов».

110

Поэтессе Палладе Олимповне Богдановой-Бельской (1885–1968) посвящена последняя строфа в гимне «Бродячей собаки» (автор — М. Кузмин):

А!..
Не забыта и Паллада
В титулованном кругу,
Словно древняя дриада,
Что резвится на лугу,
Ей любовь одна отрада,
И, где надо и не надо,
Не ответит (3 раза) «не могу!»

О ней же писал в очерке «Прекрасный принц» Г. Иванов (Сегодня. 1933. № 99): «Родители ее были люди с фантазией: дали ей простенькое имя — Паллада. Когда Паллада шла по улице, прохожие оглядывались… Как не обернуться? Существо в кружевах и браслетах растерянно топчется на тротуаре, достает зеркало из сумочки, пудрится, красит рот, роняет пуховку, проливает духи. У стены — нищий. Паллада бросается к нему: — Ах, бедняжка… Вот, возьмите… — Сегодня у нее прием, скоро начнут собираться гости — а даже пти фур еще не куплены. Вот, кстати, кондитерская… Продавщица отвешивает товар, косясь на странную покупательницу… И куда девались деньги — ведь была сдача с десяти рублей. Ну да, нищий. Он еще не ушел, может быть. — Подождите, я сейчас, — говорит Паллада. — Где же этот нищий… Послушайте, как вас… Нищий! Я только что дала вам много денег. Но я купила печенье и мне не хватает. Одолжите мне двугривенный до завтра. — Денег у Паллады мало. Талантов никаких. Воображение воспаленное. Еще в институте прочтенный тайком „Портрет Дориана Грея“ решил ее судьбу… Гости толкутся по двум гостиным — голубой и оранжевой. Гостиных две, всего комнат в квартире три. Пьют чай, стряхивают пепел с египетских папирос… изящно кланяются. Кто они, эти гости?.. Вот барон Врангель, историк искусства, вот граф Зубов, вот знаменитый пианист…»

111

Печатается по «Новому журналу» (1990. № 180. С. 116–120). *Надежда Александровна Тэффи* (урожденная *Лохвицкая*, 1872–1952) — писательница, поэтесса, автор множества фельетонов и рассказов. Впервые выступила в печати в 1901 г. Стала широко известной вскоре после выхода в свет первой же своей книги «Юмористические рассказы» (1910), выдержавшей до революции десять изданий. В 1919 г. Тэффи уехала из России. В эмиграции опубликовала 18 книг, в том числе два поэтических сборника. О первом ее сборнике «Семь огней», вышедшем до революции, Гумилев писал в «Аполлоне» (1910. № 7): «В стихах Тэффи радует больше всего их литературность в лучшем смысле этого слова… Поэтесса говорит не о себе и не о том, что она любит, а о том, какой она могла бы быть… Отсюда маска, которую она носит с торжественной грацией». Гумилев посвятил Тэффи стихотворение «Сказка», вошедшее в его сборник «Колчан» (1916).

112

Василий Васильевич Каменский (1884–1961) — поэт-футурист, прозаик, драматург, мемуарист.

113

Саломея Николаевна Андроникова (1888–1982) — княжна, петербургская красавица, хозяйка салона, в котором встречались поэты, писатели, художники. Ей посвятил стихотворение «Соломинка» Осип Мандельштам. Георгий Иванов упоминает ее в стихотворении «Январский день…». Ей же посвящено стихотворение Анны Ахматовой «Тень».

Имеется в виду теперь уже очень редкое Собрание сочинений Гумилева в четырех томах под редакцией Вячеслава Завалишина (Регенсбург, 1947).

115

Печатается по «Новому журналу» (1953. № 33). *Бронислава Матвеевна Погорелова* (девичья фамилия *Рунт*) — свояченица Валерия Яковлевича Брюсова (сестра его жены Иоанны Матвеевны). Писала рецензии для брюсовских «Весов», вела переписку с читателями журнала, правила корректуры, с 1905 г. была секретарем «Весов». Переводила с французского Анри де Репье и др. В 1923 г. эмигрировала. Мемуарный очерк «Брюсов и его окружение» написан Погореловой в эмиграции. Если эта встреча с Гумилевым действительно происходила «в ясный весенний день», то она могла иметь место только в марте 1911 г., когда из своей поездки в Абиссинию Гумилев возвращался в Царское Село через Одессу и Москву.

116

Печатается по «Современным запискам» (1931. № 47. С. 306–321). Очерк написан к десятилетию со дня гибели Гумилева.

Георгий Владимирович Иванов (1894–1958) — поэт, прозаик, переводчик, критик, мемуарист. Познакомился с Гумилевым весной 1912 г. Встречи двух поэтов были частыми и продолжались девять лет, до ареста Гумилева. Под редакцией Г. Иванова и с его предисловием вышел в 1922 г. «Посмертный сборник» Гумилева, переизданный с дополнениями и комментариями в 1923 г. Тогда же изданы собранные Г. Ивановым «Письма о русской поэзии» Гумилева. Г. Иванов фактически был первым «гумилеведом». В 1924 г. во «Всемирной литературе» вышла по-русски «Орлеанская девственница» Вольтера, плод совместной переводческой работы Г. Иванова, Г. Адамовича и Н. Гумилева. В 1936 г. под редакцией Г. Иванова вышел в зарубежном издательстве сборник Гумилева «Чужое небо». Гумилев посвятил Г. Иванову стихотворения «Разговор» и «Надпись на книге» и опубликовал в «Аполлоне» три рецензии на сборники Г. Иванова «Отплытье на о. Цитеру», «Горница» и «Вереск». Г. Иванов посвятил Гумилеву стихотворение «Бродячие актеры». В ряде других стихотворений Г. Иванова имя Гумилева либо упоминается, либо прослеживается связь с гумилевским наследием. Первый раз Г. Иванов писал о Гумилеве в статье «Стихи в журналах 1912 г.», напечатанной в журнале «Аполлон». С тех пор к имени Гумилева он обращался в своих статьях и эссе многократно. Ценным источником для биографии Гумилева являются знаменитые «Петербургские зимы» Г. Иванова (1928), вышедшие в 1952 г. вторым изданием с добавлением главы «Блок и Гумилев».

117

Сборник «Огненный столп» был в печати в те дни, когда Гумилев уже сидел в тюрьме на Шпалерной.

118

Ср. с воспоминаниями В. Ходасевича в настоящем издании. Ходасевич пишет: «Уже часов в десять постучался к Гумилеву. Он был дома, отдыхал после лекции».

119

А. Ахматова говорила, что место, где «закопали» Гумилева, ей было известно.

Датой расстрела считается 25 августа. Г. Иванов настаивал на другой дате — 27 августа.

121

Первая встреча Гумилева и Г. Иванова подробно описана И. Одоевцевой в книге «На берегах Сены».

122

Гумилев побывал в Африке пять раз: в 1907 (Египет), в 1908 (Египет), в декабре 1909 — январе 1910-го, в конце 1910 — начале 1911-го и с середины апреля до конца июня 1913 г.

Неточно цитируется стихотворение «Мужик». У Гумилева:

Как не погнулись — о горе! —
Как не покинули мест
Крест на Казанском соборе
И на Исакии крест?

Гумилев вернулся в Петроград в начале мая 1918 г.

125

Строки из «Баллады о Гумилеве» Ирины Одоевцевой.

126

Печатается по кн.: *Оцуп Н.* Современники. Париж, 1961. С. 23–33. Ранее эти воспоминания публиковались в «Последних новостях» (Париж, 1926). В книге «Литературные очерки» Оцуп писал по поводу своих воспоминаний: «Ни от одной строчки моей статьи я не отказываюсь».

Николай Авдеевич Оцуп (1894–1958) — поэт, прозаик, литературный критик, литературовед, основатель журнала «Числа» (вышло десять номеров, один из них сдвоенный). О Гумилеве Оцуп писал много. О месте Гумилева в его жизни хорошо сказал Александр Бахрах: «Собственно, Бергсон и Гумилев… были двумя полюсами, между которыми простирался духовный опыт Оцупа» (Мосты. 1962. № 9. С. 204). Бахрах имел здесь в виду ранний период эмиграции. Но значение Гумилева в духовной жизни Оцупа вряд ли когда-нибудь шло на убыль. Об этом свидетельствуют некоторые страницы его монументального (в 12 тыс. строк) поэтического дневника. До конца жизни Оцуп остался верен ряду принципов акмеизма, который хотел он возродить под названием «персонализм». С Гумилевым Оцупа объединял не только акмеизм, не только Цех и работа в издательстве «Всемирная литература». Оба поэта были царскоселами, и это обстоятельство играло известную роль в их отношениях. Оба в ранние годы испытали влияние поэзии Анненского. Оба учились в той же самой гимназии, хотя и в разные годы, и по окончании оба отправились в Париж. В разных литературных кругах у Гумилева и Оцупа было много общих знакомых. Вскоре после гибели Гумилева в третьем сборнике «Цех поэтов» была опубликована статья Оцупа «О Гумилеве и классической поэзии». Впоследствии, живя в Париже, Оцуп защитил о Гумилеве докторскую диссертацию.

127

Зиму 1915/16 г. Гумилев провел в Петрограде. «Привал комедиантов», хотя и не названным по имени, упоминается в стихотворении Гумилева «Разговор». Таким образом, облегчается датировка этого стихотворения, оставленного недатированным. «Привал» был открыт в 1915 г. В «Разговоре» о нем сказано в стихах, начинающихся строкой: «Как хорошо сидеть в кафе счастливом…» Словом, это стихотворение не могло быть написано ранее 1915 г.

Александр Толмачев печатался вместе с Северяниным в сборнике «Острова очарований» (1917); в альманахе «Винтик» (1915); в литературном сборнике «Полон» — вместе с Гумилевым, Садовским, Сологубом, Блоком, Л. Столицей и др. В «Очарованном страннике» его стихи напечатаны вместе со стихами Северянина.

129

Здесь какая-то неточность: когда Гумилеву было пятнадцать лет, он жил в Тифлисе. Может быть, эта встреча имела место в 1903 г. или даже чуть позднее.

Родственники Анненского, жившие в Царском Селе.

131

Из стихотворения Гумилева «Памяти Анненского» — первое стихотворение в сборнике «Колчан» (1916).

132

О пиетете, который испытывал Оцуп по отношению к Гумилеву, упоминает в своих мемуарах А. Элькан, жена известного коллекционера и одного из основателей издательства «Аквилон». Рассказывая о костюмированном бале в январе 1921 г., Элькан вспоминает: «Гумилев стоял в углу и ухаживал за зеленоглазой поэтессой (И. Одоевцевой. — *В. К.)*. Николай Оцуп суетился, кого-то искал, у него было лицо подростка, чем-то радостно-взволнованное, может быть, близостью Николая Степановича» (*Элькан А.* Дом Искусств//Мосты. 1960. № 5. С. 295).

Об этой же черте характера писал в «Петербургских зимах» знавший его на протяжении девяти лет Георгий Иванов: «Девиз Гумилева и в жизни и в поэзии был — „всегда линия наибольшего сопротивления“. Это мировоззрение делало его в современном ему литературном кругу одиноким, хотя и окруженным поклонниками и подражателями, признанным мэтром и все-таки непонятным поэтом» (2-е изд. С. 216). О том же писал и сам Гумилев в своем манифесте акмеизма: «Акмеистом труднее быть, чем символистом, как труднее построить собор, чем башню. А один из принципов нового направления — всегда идти по линии наибольшего сопротивления» («Наследие символизма и акмеизм». — Аполлон. 1913. Янв.).

Газеты с сообщением о расстреле Гумилева вышли 1 сентября 1921 г. «Красная газета» от 1 сентября поместила отчет о собрании Совета Петроградской губернии, заседавшего 31 августа. Председатель Губчека Семенов сделал доклад о ликвидации «заговоров». «Совет открылся в переполненном зале, — сообщается в „Красной газете“. — Пожалуй, со времени кронштадтских событий не наблюдалось вчерашней картины: все проходы, ступеньки лестниц, хоры заполнены членами Петросовета и представителями организаций. Открывает собрание Евдокимов, предлагающий почтить вставанием третью годовщину смерти Урицкого. Затем начинается доклад Семенова… „Вы понимаете, — обращается Семенов к Петросовету, — чем грозило это нам и всей России, когда в самую страду пуд за пудом собираются и шлются в местности, где 20 миллионов людей вопиют о корке хлеба, в это время белогвардейцы мечтали сорвать организацию сбора продналога… чтобы, воспользовавшись недовольством голодных, и на их костях и крови воздвигнуть старое здание монархии… Здесь и поэт Гумилев, вербовавший кадровых офицеров…“»

В тот же день петроградская газета «Правда» напечатала официальное сообщение ВЧК об убийстве 61 человека. Все они были расстреляны без суда, включая Гумилева. «В настоящее время, — говорится в этом сообщении, — ввиду полной ликвидации белогвардейских организаций в Петрограде, предоставляется возможным опубликование более полных данных о подготовлявшемся восстании… Объединенные организационными связями и тактическим объединением своих центров, находящихся в Финляндии, белые организации представляли собою единый заговорщический фронт, подготовлявший вооруженное восстание в Петрограде к моменту сбора продналога… В распоряжении ВЧК находится письмо парижского шефа петроградской боевой организации ген. Владимирова… „Убедительно прошу кустарно не делать. Необходимо сочетать ваши намерения с какими-либо крупными беспорядками“. Со времени раскрытия в июне первой боевой организации деятельность заговорщиков не прекращалась ни на минуту. Через финляндскую границу продолжали прибывать агенты для пополнения разбитых рядов… Борьба стоила не мало жертв органам ЧК. Белыми террористами за последние 2 месяца убиты в Петрограде 7 и тяжело ранены 8 коммунистов… Наиболее значительной организацией является петроградская

организация „ВОССТАНИЯ“. Во главе ее стоял комитет из трех лиц: главы организации проф. В. Н. Таганцева, бывшего подполковника В. Г. Шведова и агента финской разведки быв. офицера Ю. П. Германа… При ликвидации организации обнаружено оружие, динамит, типографии, печати, бланки многих советских и военных учреждений, литература и прокламации… Были приняты меры ко взрыву поезда Красина, в котором, по сведениям ПБО, были золото и ценности, но террористы, посланные с бомбами на вокзал, опоздали к отходу поезда… Подготовлялись взрывы Нобелевских складов и поджог лесозаготовительного завода… Получено 2 млн. рублей от владельца кожевенного завода Давида Лурье на организацию восстания в Петрограде. Центр этой организации в Париже составляли: ген. Владимиров, кадеты Карташев, Струве, Коковцев, Иваницкий и др. … После съездов национального объединения… во главе парижского центра становится ген. Врангель. …Таганцев стоял за ограниченную монархию… Учитывая отрицательное отношение масс… к лозунгам Учредительного собрания, организаторы предпочли укрыться под сень кронштадтских лозунгов „беспартийных советов“… ПБО является кадетской организацией правого толка…» Далее по методу, очень рано разработанному ЧК, на «организацию» валились сотни других фантастических грехов, как, например, связь с Антантой, германофильская ориентация (это у Гумилева-то!), переговоры с германскими общественными организациями и с Министерством иностранных дел, связь с редакцией газеты «Руль» (это также считалось преступлением), связь с французской разведкой и многое, многое другое.

Затем шел список расстрелянных. Фамилия Гумилева стоит тридцатой, как раз посредине (список не алфавитный). Это место в списке выбрано преднамеренно. О Гумилеве здесь сказано: «ГУМИЛЕВ Н. С. 33 л., филолог, поэт, член коллегии издательства „Всемирная литература“, беспартийный, б. офицер. Содействовал составлению прокламаций. Обещал связать с организацией в момент восстания группу интеллигентов. Получал от организации деньги на технические надобности». Итак, по официальной версии, против него выставлено три обвинения: обещание, получение денег и участие в составлении прокламаций, которые неизвестно кто и когда видел. Относительно же получения денег, мнимых или реальных, здесь уместно было бы напомнить, что царский довоенный рубль в августе 1921 г. равнялся 20 тыс. советских рублей. В это время на Кубани пуд картофеля стоил 100 тыс. рублей, пуд муки — 400 тыс. рублей, в Петрограде же еще дороже.

135

В среду, т. е. 31 августа. В связи с этим очень странным кажется ответ, услышанный Оцупом от служащей тюрьмы на Шпалерной: «Ночью взят на Гороховую». Ночью — значит в ночь с 30-го на 31 августа. По мнению большинства современников, писавших о Гумилеве, он был расстрелян 25 августа. В предисловии к книге Н. Гумилев «Избранное» Оцуп писал: «7 августа 1921 г. умер в страшных мучениях Блок. 24 августа того же года расстрелян Гумилев». Возможно, Оцуп имеет в виду среду 23 августа, однако доклад председателя петроградской Чека о расстреле Гумилева и других был зачитан на заседании Петросовета в среду 31 августа. В 1921 г. в одной эмигрантской газете сообщалось, что приговоренным к высшей мере о расстреле объявлялось за минуту до казни.

С Н. Гумилевым, Георгием Ивановым и М. Лозинским основали новый Цех Поэтов. Георгий Адамович приехал из Новоржева позднее. Новый Цех, конечно, не похож на первый, основанный в 1911 г. Несколько поэтов договорились основательно, и Цех существует и работает, несмотря на тяжелую потерю одного из лучших вдохновителей поэзии Цеха, незаменимого поэта и друга, Н. С. Гумилева. Теперь уже стало традиционным цитировать строчки его стихов:

И в Евангелии от Иоанна Сказано, что Слово — это Бог.

Вероятно, поэзия — единственное священное дело на земле.

Очерк был напечатан в журнале «Опыты» (Нью-Йорк. 1953. № 1. С. 117–142). Оцуп написал лучшую из существующих кратких биографий Гумилева. Ценность ее повышается и благодаря тому, что эта биография основана на личных впечатлениях. Его знакомство с Гумилевым длилось в течение трех лет. С некоторыми изменениями этот же очерк был напечатан как предисловие к книге под ред. Оцупа: *Гумилев Н.* Избранное, 1959.

Воспроизводим отрывок из его автобиографии. Написана она была для журнала «Новая русская книга» и опубликована в № 11/12. 1922. С. 42–43.

«После окончания курса в Царскосельской гимназии, заложив за 32 рубля золотую медаль, я уехал в Париж. Я с отвращением учился в Ecole de droit и предпочитал слушать Бергсона. Как поэта любил тогда и до сих пор Иннокентия Федоровича Анненского. Так и не узнал его лично, хотя в доме Хмара-Барщевских, моих лучших друзей гимназического времени, был подлинный культ поэта.

За два-три месяца до войны впал в крайнюю бедность и питался бананами. Это было в Париже.

Период войны и революции для меня соответствует живописи супрематистов: линии, плоскости, круги, спирали. Шведский пароход, Руан, Гетеборг, Петербург и казармы, запасный полк, 5-я Армия и снова Петербург, уже с красными флагами, ошалевшими броневиками, я тоже ошалел. Потом, когда дело стало серьезнее, мне стало ясно, что надо заниматься серьезно своим делом. Стал работать в издательстве „Всемирная Литература“».

137

Имеется в виду «Биобиблиографический словарь русских писателей XX века» — «Писатели современной эпохи» под редакцией Б. П. Козьмина (вышел только первый том. — М., 1928). В статье о Гумилеве сказано: «В Тифлисе Г. увлекся левыми соц. течениями, читал Маркса, в усадьбе Березки Ряз. губ., где он жил летом, вел агитацию среди мельников, навлекшую на него осложнения со стороны ряз. губернатора».

138

Все мемуаристы, кроме В. С. Срезневской, писали о возвращении семьи Гумилевых в Царское Село в 1903 г. Подруга Ахматовой Срезневская пишет в своих воспоминаниях, что Гумилев и Горенко (Ахматова) познакомились в Царском в 1902 г. (см.: Николай Гумилев. Неизданное и несобранное / Под ред. М. Баскера, Ш. Греема. Paris: YMCA-Press, 1986). В этих воспоминаниях сказано: «С Колей Гумилевым, тогда еще гимназистом VII класса, Аня познакомилась в 1902 году под Рождество». Павел Лукницкий в своем «Биографическом очерке» писал, что Гумилевы переехали в Царское в 1903 г. Г. Струве в предисловии к первому тому четырехтомника Н. Гумилев. «Собр. соч.» следует Б. Козьмину, давая дату: 1903 г. Та же дата и в биографии Гумилева, включенной Г. Струве в вышедшую под его редакцией книгу «Неизданный Гумилев» (1952). В воспоминаниях Анны Андреевны Гумилевой, жены Дмитрия Гумилева, старшего брата поэта, сказано: «В 1903 г. семья вернулась в Царское Село» (см. настоящее издание).

139

Оцуп не указывает, где об этом говорит А. Левинсон. В его очерке «Гумилев», напечатанном в «Современных записках», о поэме «Мик» сказано лишь, что она вся «изложена рифмованными четырехстопными стихами, бодрыми путниками с легкой поклажей». И далее: «Как описать мудрую детскость этой эпики, где радость от тривиальных подробностей экзотического быта граничит с жутью тропической чащи, Майн Рид — с седым мифом». О влиянии Фенимора Купера Левинсон не говорит совсем; о Густаве Эмаре сказано им в совершенно ином контексте: «У этого профессора поэзии была душа мальчика, бегущего в мексиканские пампасы, начитавшись Густава Эмара».

140

«Надменный, как юноша, лирик» — первая строка стихотворения «Любовь», включенного в «Чужое небо». Георгий Иванов написал на это стихотворение пародию или, может быть, пародирующее подражание — «Осенний фантом», вошедший в его сборник «Горница» (1914).

141

В первоначальной публикации в «Аполлоне» (1912. № 9) стихотворение «Памяти Иннокентия Федоровича Анненского» кончалось строфой:

То муза отошедшего поэта,
Увы! безумная сейчас,
Беги ее: в ней нет отныне света
И раны, раны вместо глаз.

Стихотворение в журнальном тексте носило подзаголовок «По случаю второй годовщины смерти, исполнившейся 30-го ноября». На основании этого подзаголовка обычно и датируется это стихотворение. Летом 1911 г. Гумилев вновь пережил увлечение Анненским, но выводы из этого увлечения были для Гумилева маловдохновляющими. Это переосмысление Анненского сказалось в цитированной выше заключительной строфе его стихотворения. Подбирая в 1915 г. свои стихи для книги «Колчан», Гумилев написал заново заключительную строфу:

Журчит вода, протачивая шлюзы,
Сырой травою пахнет мгла,
И жалок голос одинокой музы,
Последней — Царского Села.

Знаменательно, что это стихотворение в «Колчане» идет первым: по-видимому, его взгляд на Анненского опять претерпел изменение. Отношение это было двойственным — приятие и отталкивание. О расхождении с эстетикой Анненского отчетливо сказано в одном стихотворении Г. Иванова, который с Гумилевым познакомился в 1912 г. и с промежутками, порой длительными, встречался с ним вплоть до лета 1921 г.:

Я люблю безнадежный покой,
В октябре — хризантемы в цвету,
Огоньки за туманной рекой,
Догоревшей зари нищету…
Тишину безымянных могил,
Все банальности «Песен без слов»,
То, что Анненский жадно любил,

То, чего не терпел Гумилев.

142

Ахматова утверждала, что «Пятистопные ямбы» — о ней. — См.: Стихи и письма. Анна Ахматова. Н. Гумилев / Публ., сост., прим, и вступ. слово Э. Г. Герштейн//Новый мир. 1986. № 9.

143

Б. Эйхенбаум был первым, кто отметил в печати духовную силу стихов Гумилева о войне. Его «военные стихи, — писал Эйхенбаум в феврале 1916 г. в „Русской мысли“, — приняли вид псалмов об „огнезарном бое“. …Не замечательно ли самое стремление поэта — показать войну как мистерию духа?»

144

Речь идет о неоконченной повести Гумилева «Веселые братья», впервые опубликованной в книге «Неизданный Гумилев» (под ред. Г. П. Струве, Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1952. С. 159–200).

145

Не точно цитируется предисловие Г. Иванова к составленной им книге Н. Гумилев. «Письма о русской поэзии». Предисловие датировано им самим: сентябрь, 1922 г. Он пишет: «Если бы жизнь Гумилева не прервалась и он написал бы задуманную им теорию поэзии, мы бы имели наконец столь необходимую нам „L'art poétique“. Но теперь русские поэты и русские критики еще долго будут учиться по этим разрозненным письмам своему трудному „святому ремеслу“. И образ Гумилева, поэта и критика, навсегда останется в русской литературе прекрасным и возвышенным образом, к которому так хорошо могут быть обращены пушкинские стихи»:

С Гомером долго ты беседовал один.
Тебя мы долго поджидали.
И светел ты сошел с таинственных вершин
И вынес нам свои скрижали…

146

«Заблудившийся трамвай» был напечатан в журнале «Дом Искусств» (1921. № 1). Здесь строфа, о которой говорит Н. Оцуп, отсутствует. Впервые она появляется в вышедшем через несколько дней после убийства Гумилева его сборнике «Огненный столп». В этом издании на с. 38 одиннадцатая строфа читается:

Как ты страдала в своей светлице,
Я же с напудренною косой
Шел представляться Императрице
И не увиделся вновь с тобой.

Н. Оцуп в вышедшую под его редакцией книгу Н. Гумилев. «Избранное» (1959) включил именно этот вариант.

147

Печатается по «Новому русскому слову», 5 сентября 1971 г.

148

Почти дословное совпадение с соответствующим местом в очерке Адамовича «Мои встречи с Анной Ахматовой». Ср.: «Вероятно, это было года за два до первой мировой войны в романо-германском семинарии Петербургского университета… Был он чем-то вроде штаб-квартиры молодого, недавно народившегося акмеизма…»

149

В. М. Жирмунский в книге «Творчество Анны Ахматовой» (Л.: Наука, 1973) писал, что Цех собирался с ноября 1911 г. по апрель 1912 г. приблизительно 15 раз, примерно три раза в месяц. В следующий литературный сезон — с октября 1912-го по апрель 1913 г. — 10 раз, по два раза в месяц. На собраниях читались и подвергались критике стихи членов Цеха. Критика носила характер профессиональной оценки мастерства и недостатков прочитанного стихотворения. В дальнейшем собрания стали более редкими.

В печати Гумилев редко упоминал о Вл. Соловьеве. В рецензии на «Антологию» издательства «Мусагет» он писал, что книга эта открывается ранее не печатавшимся стихотворением Соловьева, «не принадлежащим, однако, к числу его лучших вещей». Другой раз имя Соловьева встречается также в маловыразительном контексте. Говоря о вышедшей в Париже «Антологии русских поэтов» (переводчик Жан Шюзвиль), Гумилев просто отмечает, что переводчик «ограничил свою задачу последним периодом русской поэзии, от Вл. Соловьева до Алексея Н. Толстого». Таким образом, воспоминание Адамовича передает единственное нам известное более определенное высказывание Гумилева о поэзии Вл. Соловьева.

151

О взаимной отчужденности Гумилева и Блока, особенно в последние годы жизни, писалось сравнительно много. Менее известной является поэма Надежды Павлович, в которой упоминается и Г. Адамович, автор настоящих воспоминаний. Приводим пятую часть этой поэмы. Павлович была секретарем Союза поэтов в начале существования этой организации, которую впоследствии возглавил Гумилев. В противостоянии Гумилева и Блока все симпатии Павлович на стороне последнего.

Клуб поэтов

Поэты собирались в клуб,
Как будто в гости к музе,
К вечному милому теплу:
Литейный. Дом Мурузи.

В ту зиму здесь хозяин Блок,
Рачительный хозяин:
Достать товарищам паек,
Дать вечер для окраин.

…В ответ «Куранты» пел Кузмин,
Пришептывая нежно…
Александрия среди льдин,
Средь нашей ночи снежной!

И, отутюжен, вымыт, брит,
Слонялся Адамович:
Изящный стих, как смокинг, сшит,
Остроты наготове.

Поклон надменный Гумилева…
Осанка. Мелкие черты…
И осуждающее слово
С высокомерной высоты.

Порой застенчивостью тайной
Сменялся этот важный тон,
И мягкостью необычайной
Был собеседник изумлен.

Но с Блоком вместе, с Блоком рядом

Для Гумилева нет путей:
Прищуренным следил он взглядом
Боренье родины своей.

И страшно было увидать
В холодном гневе Блока, —
Умел он в споре промолчать
Презрительно-жестоко…

…Прочтем стихи! — По одному
Прочли стихотворенью.
Москвы я помню кутерьму
И братское волненье…

А здесь ни споров, ни похвал,
Глухое состязанье:
Здесь Гумилеву Блок внимал
В безмолвном отрицанье.

И молча Блока слушал «Цех»,
Так чуждо, так прилично.
Был Гумилев надменней всех
В учтивости столичной.

Как два клинка, как два меча,
Стихи скрестились к бою.
Два мира бьются и молчат,
Два мира пред тобою…

152

Печатается по книге Ю. Анненкова «Дневник моих встреч. Цикл трагедий» (Т. 1. Международное литературное содружество. Нью-Йорк, 1966. С. 97–112).

Юрий Павлович Анненков (1889–1974) — художник-иллюстратор, театральный художник, живописец, беллетрист, эссеист, мемуарист. Родился в Петропавловске-на-Камчатке, с 1893 по 1924 г. жил в Петербурге с некоторыми перерывами. Учился на юридическом факультете Петербургского университета и одновременно в художественной школе Штиглица. В 1909 г. перешел в класс художника Я. Ционглинского, преподававшего в Академии художеств. С 1911 по 1913 г. жил в Париже, учился у Феликса Валлотона. С 1920 по 1924 г. — профессор Ленинградской Академии художеств. С 1924 г. — невозвращенец, жил в Париже. Свои беллетристические произведения печатал под псевдонимом Борис Темирязев. Наибольшее внимание в свое время привлекли его «Повесть о пустяках» и «Рваная эпопея».

153

Вряд ли справедливо было бы назвать это стихотворение поэмой. Фра Беато Анжелико, художник тосканской школы, привлекал особое внимание Гумилева еще в тот период, когда он после окончания гимназии жил в Париже (1906–1908). Это стихотворение было навеяно поездкой по итальянским городам в 1912 г. Ахматова писала в своей автобиографии: «Впечатление от итальянской живописи и архитектуры было огромно: оно похоже на сновидение, которое помнишь всю жизнь». «Фра Беато» впервые было опубликовано в журнале «Гиперборей», затем вошло в сборник «Колчан».

154

Цитируется стихотворение «Венеция» из книги «Колчан» с ошибкой в третьей строке цитаты. Следует читать: «Кружев узорней аркады».

155

Борис Гитманович Каплун (также *Сумский,* род. в 1894 — дата смерти неизвестна) — управляющий Петроградского совета, позднее заведовал издательством «Эпоха». С. Алянский, издатель и основатель издательства «Алконост», писал о нем: «Молодой человек большой культуры и инициативы». В частности, он основал журнал «Красный милиционер», в котором сотрудничали петроградские писатели. Со многими из них Каплун был знаком лично — в частности, с Мережковским и Блоком.

О подобных опытах есть у Гумилева рассказ «Путешествие в страну эфира», вошедший в посмертно изданный его сборник рассказов «Тень от пальмы».

157

Печатается по журналу «Современник» (Торонто). 1961. № 4. С. 59–61. *Леонид Иванович Страховский* (1898–1963) — автор трех поэтических сборников, литературовед. В 1922 г. в Берлине вышел его первый сборник стихов «Ладья» (под псевдонимом Леонид Чацкий). Второй сборник «У антиквара» вышел в Брюсселе в 1927 г. Сборник «Долг жизни» с подзаголовком «Третья книга стихов» напечатан в Торонто в 1953 г. Этот сборник нам интересен только своим посвящением:

«Памяти
безукоризненного поэта,
совершенного кудесника русского слова,
дорогого и уважаемого
Друга и Учителя
НИКОЛАЯ ГУМИЛЕВА
с чувством
глубочайшего смирения
посвящаю я эти стихи.
Л. С.»

Его стихи, статьи и рецензии появлялись в русских зарубежных журналах («Возрождение», «Грани», «Новый журнал»), чаще всего в канадском «Современнике». В 1949 г. он опубликовал по-английски небольшую книгу «Craftsmen of the World. Three Poets of Modem Russia», в которую включена глава о Гумилеве. Об этой книге Георгий Иванов опубликовал в «Возрождении» (1950. № 9) небольшую рецензию мемуарного характера: «В начале 18 года Гумилев познакомил меня с молодым поэтом Леонидом Страховским. Поэт был очень молод, был в сущности еще подростком — революция застала его на школьной скамье, и теперь в большевистском Петербурге он беспечно „донашивал“ „контрреволюционную форму“ Александровского лицея. Несмотря на юность, он был сдержан, серьезен и много говорил о поэзии, обнаруживая настоящие познания и вкус. Гумилев явно ему покровительствовал. Стихи молодого Страховского нравились Гумилеву — он называл их „акмеистическими“ — в устах Гумилева серьезная похвала. Понравились, помню, стихи и мне — в них было то же, что в облике их юного автора, — сдержанность, ясность, приятная „петербургская“ сухость, за ними чувствовались вкус и культура.

Спустя три года мне пришлось еще раз столкнуться с именами Гумилев — Страховский, увы, на этот раз в трагическом сочетании. Сенатор И. Страховский — отец юного поэта — был назван вместе с Гумилевым в длинном списке расстрелянных по „таганцевскому делу“. Теперь имя Страховского снова перед моими глазами — на обложке изданной в Америке книги… Книга написана по-английски и состоит из трех статей — сжатых характеристик творчества и жизни Гумилева, Ахматовой и Мандельштама. В книге Страховского всего 114 страниц, причем двенадцать из них заняты перечнем источников, которыми автор пользовался! Мне сразу вспомнилась серьезность полумальчика-лицеиста, скупая сдержанность его суждений, всегда подкрепленная основательной эрудицией… Скажу откровенно — эта чрезмерная добросовестность, по-моему, скорее вредит книге. Разумеется, очень ценно, что каждое событие или дата проверены по всем доступным источникам… Но Страховский, занимая место, которого у него немного, этим „научным материалом“, почти не дает голоса самому себе, человеку, тонко чувствующему русскую поэзию, умеющему и проницательно оценить особенности таких разных поэтов, как Гумилев, Ахматова и Мандельштам, и — без всяких источников и ссылок, опираясь только на свое критическое чутье — показать то вечное, главное, что их троих неразрывно связывает».

158

Эти же строки из неизвестного письма Гумилева цитируются в воспоминаниях Н. Оцупа и Г. Иванова.

Чтение стихов поэтов — участников кружка «Арзамас» — происходило в зале Тенишевского училища (того самого, где учились Мандельштам и Набоков и преподавал Владимир Гиппиус) 13 мая 1918 г., т. е. через несколько дней после возвращения Гумилева в Петроград после годичного пребывания за границей, во Франции и в Англии. Сологуб, Пяст и Ахматова отказались от участия из-за чтения «Двенадцати». Блок на этом «утреннике» читал свои «Скифы» и несколько стихотворений.

За десять лет до публикации настоящих воспоминаний Страховским была опубликована в «Возрождении» (1951. № 16) статья «Рыцарь без страха и упрека (Памяти Н. С. Гумилева)». Начало этой статьи — мемуарное, причем эти воспоминания перенесены почти слово в слово в позднейшую статью 1961 г., которую мы приводим в настоящем издании. Единственное существенное отличие между двумя статьями — в датировке «утренника» в Тенишевском училище. В более ранней статье Страховский отнес это событие к апрелю 1918 г., в более поздней — к маю.

Отношение Гумилева к Блоку заметно позитивнее, терпимее, ближе к большему приятию и широте. Блок загипнотизировал целое поколение. Несомненно, что это «всеобщее» преклонение повлияло и на отношение Гумилева к Блоку. «А вот мы втроем, — вспоминала А. Ахматова, — (Блок, Гумилев и я) обедаем (5 августа 1914 года) на Царскосельском вокзале в первые дни войны (Гумилев уже в солдатской форме)… Когда мы остались вдвоем, Коля сказал: „Неужели и его пошлют на фронт? Ведь это то же самое, что жарить соловьев“».

Как вспоминает К. Чуковский, статья Блока «Без божества, без вдохновенья», направленная против акмеизма, явилась результатом его споров с Гумилевым. «Статья вышла, — пишет Чуковский, — излишне язвительной». В одних воспоминаниях встретился нам некий прямой вопрос, заданный Гумилеву о его отношении к Блоку: «А что бы вы делали, если бы перед вами был живой Лермонтов?» Подобное же сопоставление находим в рецензии Гумилева на сборник стихотворений Вяч. Иванова: «Неизмеримая пропасть отделяет его от поэтов линий и красок, Пушкина или Брюсова, Лермонтова или Блока. Их поэзия — это озеро, отражающее в себе небо…» (Собр. соч. Т. 4. С. 266). Разумеется, эта оценка целиком зависит от своего времени, когда имя Брюсова — не одним только Гумилевым — могло быть поставлено рядом с именем Пушкина. Единственную несколько

двусмысленную в устах Гумилева оценку находим в его рецензии на «Антологию», выпущенную издательством «Мусагет» в 1911 г.: «Александр Блок является в полном расцвете своего таланта: достойно Байрона его царственное безумие, влитое в полнозвучный стих». Сопоставление Блока с Лермонтовым встречается также и в рецензии Гумилева на «Ночные часы»: «Перед А. Блоком стоят два сфинкса… Первый некрасовский, второй — лермонтовский. И часто, очень часто Блок показывает нам их слитых в одно… Невозможно? Но разве не Лермонтов написал „Песню про купца Калашникова“?» И далее: «В чисто лирических стихах и признаниях у Блока — лермонтовское спокойствие и грусть…» В этой же рецензии Блок назван «чудотворцем русского стиха».

В 1912 г. Гумилевым написана еще одна рецензия о Блоке — на его «Собрание стихотворений в трех книгах». Как и во всех гумилевских высказываниях о Блоке, здесь также чувствуется пафос справедливости. В соответствии с этой рецензией Блок «обладает чисто пушкинской способностью в минутном давать почувствовать вечное, за каждым случайным образом — показать тень гения, блюдущего его судьбу».

Вошло в книгу Ходасевича «Некрополь». Впервые этот очерк под заголовком «О Блоке и Гумилеве» был напечатан в парижской газете «Дни» (1926. № 1069). Окончание этого очерка было напечатано через несколько дней — в воскресном номере 8 августа. В 1926 г. Ходасевич печатался в «Днях» довольно часто — нам известно девять его публикаций. Очерк был приурочен к пятилетию со дня смерти Блока и Гумилева. Текст в настоящем издании (с небольшими сокращениями) печатается по «Некрополю» Ходасевича, однако разница между газетным и книжным вариантами этих воспоминаний такова, что речь здесь идет более чем просто о «разночтениях». В последнем варианте оказались выпущены целые абзацы. Вот некоторые из этих опущенных в последнем издании строк:

«До ноября 1920 года я мало бывал в Петербурге. Они оба редко бывали в Москве. Но в конце 1920 года я переселился в Петербург. После Москвы, превратившейся в советскую столицу, с большевицко-административным духом, с повальною службою всех писателей, с вечным вторжением Кремля в литературную жизнь, Петербург, сохранивший гораздо больше достоинства, показался мне раем. Здесь еще писали и говорили о литературе. В Москве уже нечего было делать, как только служить».

«…Гумилев был порой даже блестящ. Не меньше, а больше Брюсова, притом неизмеримо благородней и бескорыстней любил он поэзию. В суждениях он старался быть беспристрастным, это встречается не так часто».

«Здесь в эмиграции мне несколько раз доводилось читать и слышать о Гумилеве безвкусное слово „рыцарь-поэт“. Те, кто не знал Гумилева, любят в таком духе выражаться о его смерти. Это, конечно, вздор и — говоря по-модному — лубок. Рыцари умирают в борьбе, в ярости боя. В смерти же Гумилева — другой, совсем иного порядка трагизм, менее „казистый“, но гораздо более страшный. Гумилев умер (я не нахожу других слов) подобно тем, что зовутся „маленькими героями“. Есть рассказы о маленьких барабанщиках, которые попадают в плен — и их убивают за то, что они не хотят выдать своих. Есть рассказ о Маттео Фальконе. Вот где надо искать аналогий со смертью Гумилева. Конечно, он не любил большевиков. Но даже они не могли поставить ему в вину ничего, кроме „стилистической отделки“ каких-то прокламаций, не им даже писанных. Его убили ради наслаждения убийством вообще, еще — ради удовольствия убить поэта, еще — „для острастки“, в порядке чистого террора, так сказать. И

соответственно этому Гумилев пал не жертвою политической борьбы, но „в порядке“ чистого, отвлеченного героизма, ради того, чтоб „не дрогнуть глазом“, не выказать страх и слабость перед теми, кого он гораздо более презирал, нежели ненавидел. Политическим борцом он не был. От этого его героизм и жертва, им принесенная, — не меньше, а больше».

«Гумилев любил жест и позу. Мне казалось, что и в этом он юношески подражает Брюсову. Но смысл этого жеста, смысл его позы был изысканнее, чем у Брюсова. Подобно Брюсову, он любил всяческую официальность и представительство, но это выходило у него несравненно простодушнее и бескорыстнее. Он весело и невинно радовался почетному званию „синдика“ в воссозданном им „Цехе Поэтов“ и самодержавствовал в нем — без грубого начальствования. Как всякий ребенок, он больше всего любил быть взрослым. Подражая порокам взрослых, он оставался собою».

«Помню святки 1920 года. В Институте Истории Искусств — бал. Весь литературный и художественный Петербург налицо… Он играет в бал… Во всей этой толпе играла в ту же игру еще лишь одна семидесятилетняя старуха — не знаю кто. Серая, сильно декольтированная, в шелковом сером платье, накрашенная, с голыми плечами, густо обсыпанная голубоватой пудрой, она вся казалась жемчужной и страшной. Сидела в пунцовом шелковом кресле, обмахиваясь дымчатым страусовым веером и молча шевеля поддельными челюстями, как лошадь — мундштук. Казалось, сейчас ворвутся кожаные и потащат вон старуху и Гумилева вместе».

161

В отличие от многих авторов, писавших о Гумилеве, Ходасевич (как и Г. Иванов) считал датой смерти 27, а не 25 августа. А. Ахматова, А. Гумилева, Л. Страховский говорят, что убийство произошло 25 августа. Н. Оцуп в предисловии к «Избранному» Гумилева называет датой смерти день 24 августа.

162

Ср. со словами Амфитеатрова: «Поэзия была для него не случайным вдохновением, украшающим большую или меньшую часть жизни, но всем ее существом». О том же неоднократно писал Г. Иванов, знавший Гумилева дольше, ближе и лучше, чем В. Ходасевич.

163

Первая публикация Гумилева — стихотворение «Я в лес бежал из городов» — была напечатана в «Тифлисском листке» 8 сентября 1902 г. Первая книга — «Путь конквистадоров» — была отпечатана в 1905 г. Первая публикация Ходасевича относится к марту 1905 г. (стихи в альманахе «Гриф»). Первая его книга — сборник «Молодость» — вышла в свет в 1908 г.

164

Эта квартира на Ивановской улице принадлежала редактору «Аполлона», историку искусства и поэту Сергею Константиновичу Маковскому (см.: *Маковский С.* Николай Гумилев).

165

«Настоящая собственница» — Марина Маковская, ранее бывшая замужем за Ходасевичем. Ее девичья фамилия — Рындина. Ходасевич женился на Марине Эрастовне Рындиной в апреле 1905 г. Их совместная жизнь продолжалась до декабря 1907 г. Позднее Рындина вышла замуж за Маковского.

Ходасевич переехал в Петербург 17 ноября 1920 г.

167

Есть основания предположить, что эти пятеро были — Г. Иванов, Г. Адамович, И. Одоевцева, Н. Оцуп и М. Лозинский.

Сергей Нельдихен — член Цеха поэтов, его стихотворение «Праздник» было напечатано в первом альманахе Цеха. Его книга «Органное многоголосье» (1922) привлекла внимание критики. За ней последовал целый ряд небольших книжек: «Праздник (Илья Радалет) Поэмороман», «С девятнадцатой страницы», «Веселый стишок учебе впрок», «Он пришел и сказал», «Он пошел дальше». В литературе о послереволюционном Цехе поэтов имеется забытый очерк Надежды Павлович, в котором содержится не лишенное интереса наблюдение: «В Москве не мог бы органически возникнуть наивный акмеизм, рождающийся из ощущения прочности мира вещей, — ибо какая уж тут прочность, если двигательные силы мира разбужены катастрофически и, может быть, готовят нам такие сюрпризы, которые и не снились никому. Невозможно и поклонение Западной Европе, свойственное, например. Цеху, потому что мы, москвичи, знаем, заглянули уже туда, куда она взглянуть не осмеливается, — скорей обернемся мы лицом к Азии… И, наконец, Петербургу свойственна дисциплина, в прочных путах ее и спокойнее, может быть, и красивее ее красивостью. Цех держится на дисциплине. Москва свободна. Москва — это город или одиночек, или свободных содружеств, но не цехов» *(Павлович Н.* Московские впечатления//Литературные записки. 1922. № 2. 23 июня).

О лучшей книжке Нельдихена («Органное многоголосье») писал в весьма развязных тонах коммунистический критик Э. П. Бик: «Межеумки. Ни футуристы, ни символисты, ни акмеисты — а просто черт знает что: Оцуп и Нельдихен. Они знают, что они одно и то же, так этот Оцуп и пишет… Порядочный человек после этого запил бы горькую на тему „простите, православные“… Но ведь этому Нельдихену собирать бы коллекцию перышек (до марок он еще явно не дорос) и выпрашивать у мамы двугривенный на резину для рогатки — нет, он, оказывается, поэт. А ведь это слово все-таки как-никак не ругательство же… У нас в Москве такие малютки папиросами торгуют и в голос от них воют несчастные учительницы подобающих ступеней; в Питере эта братия стихи пишет. Удобный город. Почему-то Оцуп куда-то еще пыжится, пробует там под Кузмина, под Северянина… Нельдихену на все это чихать, товарищи; да ведь это сам „румяный Лука“ из умницы-Кантемира, который „трижды рыгнув“ изъясняется с изумительной простотой. У меня есть прямая кишка, карточка литера „Б“ и адрес — а следовательно, я человек. …А ведь у

беговой лошади, пожалуй, больше прав называться человеком, чем у Нельдихена, ежели подумать…» (*Бик Э.* Литературные края. — «Красная новь», кн. 2, март-апрель, 1922. С. 352). Статья Бика как нельзя лучше показывает атмосферу, в которой приходилось работать Цеху поэтов.

169

Намек на Н. Оцупа. Корней Чуковский, вспоминая об этом времени, писал: «Оцуп был замечателен тем, что временами исчезал из столицы и, возвратившись, привозил откуда-то из дальних краев такие драгоценности, как сушеная вобла, клюква, баранки, горох, овес, а порой — это звучало, как чудо — двадцать или тридцать кусков сахару. Не все привезенные яства поглощал он один. Кое-какие из них он приносил в красивых пакетиках, перевязанных ленточками, высокодаровитым, но голодным писателям, получая от них в обмен то балладу, то сонет, то элегию» (Чукоккала. М: Искусство, 1979. С. 265–266).

Более сведущий свидетель тех лет, лучше знавший и Н. Оцупа, и вообще обо всех петербургских литературных делах, справедливо относит эту хозяйственную деятельность Оцупа к более раннему времени и связывает ее начало не с «Союзом поэтов», а с «Всемирной литературой»: «Однажды во „Всемирной литературе“ на общем собрании после долгих дебатов, суть которых сводилась к тому, что „все что-то получают, потому что хлопочут, а мы никогда ничего, так больше нельзя“, — это „общее собрание“, составленное из цвета петербургского „литературного мира“ (ибо „Всемирная литература“, основанное Горьким издательство всяческих переводов — было единственным местом, где можно было „не теряя чести“ если не печататься, то заниматься литературным трудом, получая гонорар)… это общее собрание после дебатов единогласно постановило основать „хозяйственный комитет“, который что-нибудь бы доставал. И так же единогласно председателем этого комитета решили выбрать поэта Оцупа. Почему именно Оцупа? На это были веские причины. Во-первых, у него был оставшийся от военных времен полушубок и желтый портфель, в котором во „Всемирную литературу“ носили рукописи переводов, а оттуда сахар и всякую подозрительную гастрономию нашей маркитантки Розы. …От этих полушубка и портфеля, соединенных вместе, действительно так и разило „завоеваниями революции“. Уполномоченный, так декорированный, имел, конечно, шанс, которого не давал ему мандат, нащелканный на нашем жалком бланке, шанс пролезть через игольные уши приемных, сквозь очередь и секретарей, добиться аудиенции у какого-нибудь „зава“ и что-нибудь у него выпросить. Кроме того, у Оцупа, несмотря на то, что он, как и все остальные, питался картошкой и продуктами Розы, — была от Бога „сытая“ внешность, какая и полагается настоящему, способному внушить к себе доверие „предхозкому“.

Собрание все это учло. Бедный поэт вздохнул, положил мандат в портфель, надел свой „комиссарский“ полушубок и отправился в „Петрокоммуну“. Добившись приема у грозного „заведующего распределительной частью“, он с удивлением и блаженством узнал в нем старого знакомого — Анатолия Серебряного.

Далее „было все очень просто, было все очень мило“. Пучков (незначительный поэт, он же — Анатолий Серебряный. — *В. К.)* прочел „венок сонетов“. Оцуп одобрил рифмы. Пучков просиял и, оторвавшись на минуту от приятной беседы, прокричал в телефон распоряжение немедленно приготовить ордера „на все“ — шапки, пальто, муку. Потом этот способ — разыскивать в советских учреждениях графоманов и при их помощи устраивать железнодорожный билет или калоши стал общеизвестным, опошлился, так сказать. Но честь его открытия — принадлежит Н. Оцупу» *(Иванов Г.* Анатолий Серебряный//Сегодня. 1933. № 57. С. 4).

Второй Цех поэтов возник в конце 1920 г. Вот что писали участники этого Цеха в предисловии к первому берлинскому выпуску альманаха «Цех поэтов»: «В конце 1920 г. в Петрограде некоторые поэты, в том числе и несколько членов первого Цеха, объединились под старым цеховым знаменем. В основу были положены принципы работы и строгой дисциплины. Основателями второго Цеха были Г. Адамович, Н. Гумилев, Георгий Иванов, М. Лозинский и Ник. Оцуп». Цитируемое предисловие было написано в Берлине 11 октября 1922 г., т. е. по довольно свежим следам, когда память о подробностях еще не изгладилась. Кроме того, это предисловие написано самими участниками Цеха — Г. Ивановым, Г. Адамовичем, Н. Оцупом. Подпись под предисловием — «Редакционная коллегия» — подчеркивает, что предисловие было результатом коллективного обсуждения.

171

О Гумилеве в период его жизни в Доме Искусств имеется несколько строк в «Сентиментальном путешествии» В. Шкловского: «Внизу ходил, не сгибаясь в пояснице, Николай Степанович Гумилев. У этого человека была воля, он гипнотизировал себя. Вокруг него водилась молодежь. Я не люблю его школу; но знаю, что он умел по-своему растить людей. Он запрещал своим ученикам писать про весну, говоря, что нет такого времени года. Вы представляете, какую гору слизи несет в себе массовое стихотворство. Гумилев организовывал стихотворцев. Он делал из плохих поэтов неплохих. У него был пафос мастерства и уверенность в себе мастера».

В «Сумасшедшем корабле» Ольги Форш, книге, рассказывающей о Доме Искусств, о Гумилеве сказано: «Под вечер один поэт, с лицом египетского письмоводителя и с узкими глазами нильского крокодила, шепелявя сказал обитателям Сумасшедшего корабля: „У кого есть что-нибудь для секции детской литературы, принесите мне завтра. Ночью его арестовали. Никто не знал, почему, но думали — конечно, пустяки“» *(Форш О.* Сумасшедший корабль. Вашингтон, 1964. С. 155).

172

Андрей Яковлевич Левинсон (1887–1933) — театральный, художественный, литературный критик, журналист и переводчик. Сотрудничал в «Аполлоне». Еще до своего сотрудничества в «Аполлоне» Левинсон издал книгу «Аксель Галлен. Суждения о характере творчества и произведениях художника» (СПб.: Пропилеи, 1908). Несколько позднее в газете «Речь» начали появляться его еженедельные (по средам) талантливые фельетоны. После революции он был приглашен в издательство «Всемирная литература» и вошел в его редакционную коллегию. Вместе с Гумилевым был ответственным за французский отдел издательства. В сохранившихся архивах «Всемирной литературы» имеются рукописи переводов, которые редактировал Левинсон. В 1920 г. бежал за границу. О его берлинском периоде, длившемся год, вспоминала известная в довоенной эмиграции журналистка А. Даманская: «Помню, как томился в Берлине А. Я. — спокойной и даже обеспеченной жизнью. — „Но ведь это не жизнь. Только сытой и покойной жизни ради не стоило уезжать из России“. Его тянуло в Париж, во Францию, в страну, литературу, искусство которой он знал и любил» (*Даманская А.* Рыцарь литературы// Сегодня (Рига). 1933. № 343. Во Франции он пишет по-прежнему очень много. Его имя появляется в крупнейших французских художественных периодических изданиях. Он печатался также во многих русских эмигрантских газетах и журналах. Настоящая статья была напечатана в «Современных записках». (1922. № 9. С. 309–315).

173

О «Романтических цветах» гораздо раньше написал Брюсов — в № 3 «Весов» за 1908 г. Эта рецензия в дальнейшем была перепечатана в книге Брюсова «Далекие и близкие» (М., 1912).

Отнюдь не все стихотворения, вошедшие в первое издание «Жемчугов», можно отнести к петербургскому периоду. Некоторые из них были написаны во Франции до возвращения Гумилева в Россию в мае 1908 г., т. е. до того времени, которое Левинсон называет «петербургской порой» его деятельности.

Первым «исключительно стихотворным журналом» был, конечно, не «Гиперборей», а «Остров», имевший подзаголовок «Ежемесячный журнал стихов». Журнал возник по инициативе Гумилева. Напечатано было только два номера. «Гиперборей» начал издаваться осенью 1912 г. Кроме стихов, этот журнал имел отдел критики, в котором печатались рецензии, писавшиеся Гумилевым, Мандельштамом, Г. Ивановым, Городецким. Издательство «Гиперборей», о котором упоминает Левинсон, возникло при журнале. Издательство выпускало только сборники стихов: «Четки» Ахматовой, «Горницу» Г. Иванова, «Облака» Адамовича, «Камень» Мандельштама. Журнал выходил чуть более двух лет. Издательство просуществовало дольше. Последними в нем вышедшими книгами были «Четырнадцать стихотворений» М. Зенкевича, поэма «Мик» Гумилева и его же «Фарфоровый павильон». В 1916 г. рецензент «Нивы» писал о деятельности этого издательства: «Оно избрало своей специальностью труды молодых и подарило нас уже многими более или менее ценными сборниками». Этот отзыв, впрочем, не был положительным. Рецензента «Нивы» не устраивал «благородный холод» и эмоциональная сдержанность, присущие стихам акмеистов. «Теплая задушевная лирика, — писал этот критик, — вообще… упразднена нашими молодыми, и может быть, именно поэтому молодости в их творениях меньше всего». Лучшая статья о поэтах «Гиперборея» принадлежит перу В. Жирмунского. Опубликованная в 1916 г. в «Русской мысли», она по сей день не утратила своего значения. Жирмунский рассматривает не журнал «Гиперборей», а лишь поэтические сборники, выпущенные одноименным издательством. В своей статье Жирмунский показал, что не случайная близость объединила поэтов «Гиперборея», но особое чувство жизни, отличавшее их от поэтов предшествующего поколения. «Наиболее явные черты этого нового чувства жизни — в отказе от мистического восприятия и в выходе из лирически погруженной в себя личности поэта-индивидуалиста в разнообразный и богатый чувственными впечатлениями внешний мир». В начале 1917 г. в газете «Русская воля» появилась рецензия Жирмунского на «Вереск» Г. Иванова. И хотя «Вереск» был издан не «Гипербореем», а «Альционой», Жирмунский в этой рецензии, которая может быть рассмотрена как продолжение статьи в «Русской мысли», уточнил некоторые свои положения об эстетике «гиперборейских» поэтов.

Гумилев поступил добровольцем в уланский полк. В гусарский полк он был переведен весной 1916 г.

177

Речь идет о пьесе «Отравленная туника», впервые опубликованной Г. Струве в 1952 г. в книге «Неизданный Гумилев». Однако Струве в комментариях к этой пьесе в собрании сочинений Гумилева (Т. 3. С. 245) ошибочно утверждает, что «первые сведения о пьесе попали в зарубежную русскую печать в 1931 г.». Как видим, задолго до этой даты об «Отравленной тунике» писал Левинсон в «Современных записках», а в 1931 г. о ней писал Г. Иванов независимо от сообщений об этой пьесе в газете «Россия и славянство», на которую ссылался Струве.

178

Об аресте Гумилева «за должностное преступление» говорит также и Н. Оцуп в своей книге «Современники». О том, что председатель петроградской «чрезвычайки» не знал, за что арестован Гумилев и сделал предположение об аресте «за какое-нибудь должностное преступление», рассказывает также и Амфитеатров (см. настоящее издание).

179

О существовании рижского издания сборника «Шатер» ничего не известно; вероятно, автор перепутал с ревельским изданием: Шатер, 2-е изд. П.; Ревель: Библиофил, 1922.

180

Печатается по «Новому журналу» (1996. № 205. С. 158–163). *Вера Осиповна Лурье* (1901–199?). Родилась и училась в Петербурге. В 1920–1921 гг. часто посещала петроградский Дом Искусств, бывала на выступлениях Блока, Белого, Замятина, Чуковского, Гумилева. Занималась в поэтической студии Гумилева. Участвовала в кружке «Звучащая раковина». В сборнике, изданном этим кружком, были напечатаны стихотворения Лурье. Приняла латвийское гражданство и в октябре 1921 г. уехала в Ригу, а через месяц в Берлин. В то время Берлин являлся средоточием эмигрантской литературной жизни. Лурье встречалась в германской столице с Ходасевичем, Ремизовым, Осоргиным, Белым, бывала в берлинском Доме Искусств. Писала многочисленные рецензии на книги современных авторов. Ее стихи печатались в основанной А. Ф. Керенским берлинской газете «Дни». Стала членом берлинского Союза русских писателей и журналистов. В 1938 г. В. Лурье была арестована гестапо. Внезапно была освобождена в рождественскую ночь, о чем рассказала в своих воспоминаниях. В 1987 г. вышел ее сборник «Стихотворения». Печаталась также по-немецки.

181

Это было 21 апреля 1921 г.

182

Групповой снимок студии «Звучащая раковина» был сделан незадолго до смерти Гумилева, в июле 1921 г. Воспроизведен он в мемуарах Ирины Одоевцевой «На берегах Невы» (Вашингтон, 1967) и позднее печатался еще несколько раз.

183

Летом 1918 г. Гумилев женился на Анне Николаевне Энгельгардт (1895–1942). Ее мать Лариса Михайловна Гарелина первым браком была замужем за Константином Бальмонтом. Отец Анны Николаевны — писатель, автор исторических и бытовых романов Н. А. Энгельгардт.

184

Очерк вошел в книгу Амфитеатрова «Горестные заметы» (Берлин: Грани, 1922. С. 37–43). Глава о Гумилеве была написана в сентябре 1921 г. В сокращенном виде печаталась также в газете «Последние новости» (Париж) осенью 1921 г.

Александр Валентинович Амфитеатров (1862–1938) — писатель и журналист, автор многих книг. Когда состоялось его знакомство с Гумилевым, нам неизвестно. Амфитеатров жил в Париже и издавал там журнал «Красное знамя» как раз в то время, когда Гумилев по окончании гимназии поселился в Париже. Вряд ли что-нибудь могло объединять двух писателей. Амфитеатров был на 24 года старше. Гумилев был правых убеждений, в то время как Амфитеатров издавал радикальный журнал, в котором Бальмонт печатал свои «Песни мстителя». Между прочим, А. Биск, воспоминания которого приводятся в настоящем издании, напечатал в «Красном знамени» свои революционные «Песни юродивого» — публикация, из-за которой он до 1910 г. не мог вернуться в Россию. Сверх того эстетические взгляды Амфитеатрова и Гумилева представляются диаметральной противоположностью. Амфитеатров в то время был членом правления кассы взаимопомощи русских литераторов за границей. Однако о парижских встречах с Гумилевым в этой книге Амфитеатрова ничего не сказано.

185

Петроградский Союз поэтов был основан в 1920 г. по инициативе из Москвы. С этой целью от московского Союза поэтов, организованного ранее, была послана в Петроград поэтесса Надежда Павлович. Первое организационное заседание состоялось в «Вольной философской академии» (Вольфиле) 27 июня 1920 г. Общее собрание поэтов Петрограда состоялось 4 июля. Председателем Союза поэтов был Блок, секретарем Вс. Рождественский. Но вскоре начались и в сентябре обострились разногласия между Блоком и Гумилевым. 5 октября Блок снял с себя должность председателя, Гумилев вошел в правление Союза поэтов, а позднее стал председателем.

186

Ср. со словами Оцупа в его предисловии к «Избранному» Гумилева: «Он был арестован неожиданно даже для своей жены. Скрывал от друзей, учеников, почитателей свое участие в заговоре Таганцева».

«Депутация» состояла из Н. Оцупа, Н. Волковысского, А. Волынского и С. Ольденбурга.

188

Это письмо Сильверсвана А. В. Амфитеатрову печатается по рукописи, хранящейся в архиве Индианского университета, г. Блумингтона (США). *Борис Павлович Сильверсван* (? — 1934) — филолог, специалист по скандинавским литературам. Он хорошо знал Гумилева, часто встречался с ним в издательстве «Всемирная литература», где оба работали. «Он был близок к Гумилеву, — писал о Сильверсване Амфитеатров, — и лишь счастливым случаем избежал опасности разделить его печальную участь». Дословная запись беседы Сильверсвана с Горьким проясняет ряд загадок, нагроможденных вокруг ареста и гибели Гумилева.

189

Ср. с впечатлением Евгения Замятина, оставившего краткую запись о разговоре с Горьким по поводу судьбы Гумилева: «Случилось так, что незадолго до его отъезда я, возвращаясь из Москвы в Петербург, оказался в одном вагоне с Горьким. Была ночь, весь вагон уже спал. Вдвоем мы долго стояли в коридоре, смотрели на летевшие за черным окном искры и говорили. Шла речь о большом русском поэте Гумилеве, расстрелянном за несколько месяцев перед тем. Это был человек и политически, и литературно чужой Горькому, но тем не менее Горький сделал все, чтобы спасти его. По словам Горького, ему уже удалось добиться в Москве обещания сохранить жизнь Гумилеву, но петербургские власти узнали об этом и поспешили немедленно привести приговор в исполнение. Я никогда не видел Горького в таком раздражении, как в эту ночь».

190

Горький поехал в Москву ночным поездом с 9 на 10 августа. Около 15 августа он вернулся в Петроград. Через непродолжительное время он снова решает ехать в Москву, но откладывает эту поездку. 24 августа, т. е. в день, когда Гумилеву был вынесен приговор. Горький писал Е. Пешковой, что поездку в Москву он отложил по болезни. С 24 по 27 августа он отдыхал в Белоострове под Петроградом, а 27-го снова поехал в Москву, где и оставался до 31 августа. Так что слова Горького о том, что он «несколько раз ездил в Москву по этому делу», должны быть уточнены: в Москву он ездил в августе 1921 года два раза, что и следует в точности из дальнейшего рассказа Горького Сильверсвану. Однако за эти две поездки Горький встречался с Лениным не два, а несколько раз.

191

Речь идет о возвращении Горького в Петроград из Москвы не позднее 15 августа 1921 года.

Из этой поездки в Москву Горький вернулся в Петроград самое позднее 31 августа, а сообщение о расстреле 61 человека по таганцевскому делу, включая Гумилева, было опубликовано в Петрограде 1 сентября.

193

Ленин был хорошо осведомлен о так называемом Таганцевском заговоре, который, в соответствии с чекистскими авторами, был раскрыт 31 мая 1921 г. Владимир Таганцев, приват-доцент, ученый-географ, по имени которого и назван заговор, был арестован 5 июня. Через десять дней его отец всемирно известный юрист-криминалист академик Николай Степанович Таганцев направил письмо Ленину с просьбой о смягчении участи сына, а также о том, что Чека без всяких оснований конфисковала его, Николая Степановича Таганцева, личное имущество. Ленин получил и прочел это письмо 17 июня и наложил резолюцию: «Очень просил бы рассмотреть возможно скорее настоящее заявление в обеих его частях» (т. е. смягчение участи и увоз из квартиры Таганцева вещей, принадлежащих лично Н. С. Таганцеву). Было снято пять копий с этой резолюции, из которых одна была передана Дзержинскому, другая — Д. И. Курскому, комиссару юстиции. Что ответил Дзержинский Ленину и ответил ли вообще, неизвестно. Курский же ответил только 5 июля. Он заявил, что Таганцев-младший должен быть «подвергнут суровым репрессиям» в связи с его участием в «Союзе возрождения России». Но этот союз (СВР) был разгромлен еще в 1919 г., так что о Петроградской Боевой Организации (другое название Таганцевского заговора) комиссар юстиции еще ничего не знает. Заговор еще только стряпали в кабинетах Чека.

Но в первой декаде августа судьба арестованных в принципе уже была решена. Еще 29 июля Ленин прочитал письмо от некой А. Ю. Кадьян, знавшей лично родителей Ленина. Она просила Ленина вмешаться в дело Таганцева, ее родственника, и что-нибудь сделать для смягчения его участи. Ленин ответил на это письмо через двенадцать дней, но не собственноручно, а поручил своей секретарше Фотиевой ответить Кадьян, чтобы она больше не беспокоила Ленина, что он болен и по болезни уехал из Москвы и что преступление Таганцева-младшего настолько серьезно, что об освобождении речи быть не может. Эта записка Фотиевой кончается словами: «Я наводил справки о нем не раз уже». Речь идет о Вл. Таганцеве. Иначе говоря, Ленин был в курсе дела, знал, что участь Таганцева и арестованных по его делу уже предрешена, а встречаясь с Горьким, лицемерил и водил «буревестника революции» за нос.

Напечатано в «Иллюстрированной России» (1929. № 34) под рубрикой «Литературная неделя». Это была постоянная рубрика в журнале, в котором Адамович интенсивно сотрудничал. Ранее под аналогичной рубрикой — «Литературные беседы» — он печатал статьи в парижском «Звене». В тридцатые годы под общим заголовком «Литературные заметки» Адамович опубликовал ряд подобных статей в «Последних новостях».

Краткие или попросту миниатюрные воспоминания о Гумилеве разбросаны по разным литературным «заметкам» и «беседам» Адамовича. Например, в заметке о Есенине, напечатанной в «Последних новостях» (1935. № 5390), Адамович вспоминает, что однажды во время чтения Есениным своих стихов Гумилев громко и демонстративно заговорил с кем-то из сидевших рядом, чтобы показать свое пренебрежение к поэзии Есенина. В «Иллюстрированной России» через два года был напечатан Адамовичем еще один небольшой очерк о Гумилеве (13 июня 1931 г.).

Гумилев написал об Адамовиче рецензию на его первую книгу «Облака», вышедшую в январе 1916 г. (возможно, в декабре 1915 г. в издательстве «Гиперборей»). Рецензия появилась в «Аполлоне» (1916. № 1). За нею следовал отзыв Гумилева на «Вереск» Георгия Иванова. Последний не мог не читать этой рецензии, помещенной в журнале, в котором сам Г. Иванов был постоянным сотрудником. Но по очевидным причинам Г. Иванов не включил это гумилевское «Письмо о русской поэзии» в напечатанную посмертно книгу его статей. Эта книга под редакцией Г. Иванова вышла в свет в Петрограде в 1923 г. Рецензии на «Облака» Адамовича в ней нет. В своей заметке Гумилев писал, что автор «Облаков» является поэтом, «во многом неустановившимся». Его стихи бледны, «типично юношеские», подражательные. В них слышны «перепевы строчек Ахматовой», а в одном стихотворении настолько виден Анненский, что Адамовичу, чтобы спасти это стихотворение, пришлось взять к нему эпиграф из «Баллады» Анненского. Вместе с тем Гумилев отметил лирическое дарование начинающего поэта, «хорошую школу и проверенный вкус». В этой заметке Гумилев оказался настолько проницательным критиком, что с большой точностью предсказал направление развития Адамовича: «Иногда проглядывает своеобразие мышленья, которое может вырасти в особый стиль и даже мировоззрение». Адамович познакомился с Гумилевым в 1912 г. Встречался с ним и позднее, когда тот

вернулся весной 1918 г. в Петроград после годичного пребывания за границей. Затем в начале 1919 г. Адамович уехал в Новоржев, где и оставался до весны 1921 г. С той весны встречи с Гумилевым возобновились. Адамович вступает во вновь организованный Гумилевым Цех поэтов, участвует в альманахах Цеха, работает в издательстве «Всемирная литература». Для этого издательства совместно с Гумилевым и Г. Ивановым Адамович подготовил перевод «Орлеанской девственницы» Вольтера. Книга вышла в свет в 1924 г. Впрочем, по сообщению И. Одоевцевой («На берегах Сены»), основная часть перевода была сделана Г. Ивановым.

«Колчан», о котором говорит Адамович в этой заметке, вышел в 1916 г. О нем появилось большое количество отзывов: Иннокентия Оксенова в «Новом журнале для всех», Б. Эйхенбаума в «Русской мысли», М. Тумповской в «Аполлоне», Е. Зноско-Боровского в литературных приложениях к «Ниве» и др. Известность Гумилева после публикации «Колчана» чрезвычайно возросла, но это еще не была истинная популярность, о чем и пишет Адамович в конце своей заметки. Второе издание «Колчана» вышло не в Петрограде, а в Берлине (изд. Гржебина, 1922). Второе петроградское издание, о котором пишет Адамович, очевидно, было остановлено, когда книга уже была готова к печати.

195

На Гороховой в здании, которое ранее занимало петербургское градоначальство, в это время находился центр Петрочека. В том же здании на верхних этажах была тюрьма, в которой, в частности, провел короткое время Блок. На Шпалерной — другая чекистская тюрьма.

О просьбе Гумилева прислать ему в тюрьму Гомера и Евангелие рассказывают также Н. Оцуп и Г. Иванов.

197

Г. Иванов, который лично знал Гумилева дольше и лучше, чем Адамович, пишет о Гумилеве, как о поэте, к концу жизни «становившемся знаменитым». О «знаменитости» Гумилева говорит и К. Чуковский в дневниковой записи от 5 марта 1919 г. «Вчера у меня было, — пишет Чуковский, — небывалое собрание знаменитых писателей». И рядом с Горьким, Куприным, Мережковским, Блоком К. Чуковский называет имя Гумилева (см.: Литературное наследство. Т. 92. Кн. 2. С. 245).

198

Василий Иванович Немирович-Данченко (1844–1936) — один из двух самых плодовитых русских писателей, по определению Блока (второй, по его словам, — Ясинский). Очерк «Рыцарь на час» впервые опубликован в журнале «Воля России» (1924. № 8/9. С. 249–256).

199

Сборник «К синей звезде» с подзаголовком «Неизданные стихи 1918 г.» вышел посмертно — в 1923 г. в Берлине.

200

Многие мемуаристы говорят об устных рассказах Гумилева о его поездках в Африку. Например, дочь Вяч. Иванова пишет о посещениях Гумилевым «башни»: «Среди разговоров за столом были такие, которые увлекали одинаково и меня и моего отца. Это были рассказы Гумилева об Африке, которые он чередовал чтением своих стихов» (*Иванова Л.* Воспоминания о Вячеславе Иванове//Новый журнал. 1982. № 147).

201

Речь идет об издательстве «Всемирная литература», которое с пропагандистской целью объявило о своих планах издать в ближайшее время 800 томов классиков и в дополнение 2000 книжек серии народной библиотеки. Разумеется, эти циклопические планы не были выполнены и на одну десятую. Гумилев вошел в редколлегию «Всемирной литературы» по рекомендации Блока. Он заведовал вместе с А. Левинсоном французской секцией, а также состоял членом поэтической комиссии. Под его руководством и им лично было подготовлено значительное количество переводов. Издательство оказалось во многом мертворожденным предприятием: оно прекратилось в 1924 г. Важнейшим его достижением было то, что оно поддерживало материально петроградских писателей в годы разрухи.

Здесь Немирович-Данченко не точен. Речь должна бы идти о кружке «Звучащая раковина». Действительно, в разных городах России под влиянием гумилевского Цеха поэтов образовалось несколько провинциальных «цехов». О тифлисском Цехе существуют воспоминания Г. Эристова, напечатанные в «Современнике» (Канада, 1962. № 5). Этот Цех был организован Городецким. В 1918 г. Цех выпустил альманах «Акмэ». «Запомнилось два исключительных события, — пишет Г. Эристов, — приезд Осипа Мандельштама и получение экземпляра „Огненного столпа“ Гумилева». Деятельность тифлисского Цеха поэтов прекратилась в 1921 г.

203

Дочь Чуковского Лидия в своих «Записках об Анне Ахматовой» упоминает, что видела Гумилева и Ахматову в детстве, когда они приезжали к ее отцу. Знакомство Гумилева с Немировичем-Данченко при посредстве Чуковского произошло либо во второй половине 1918 г., либо в первой половине 1919 г.

204

Квартира на Ивановской принадлежала покинувшему Петербург С. Маковскому.

Мемуары Амфитеатрова включены в настоящее издание.

Николай Моисеевич Волковысский (1881—?) — журналист, литератор. Об участии Волковысского вместе с Оцупом, академиком Ольденбургом и Волынским в делегации писателей к председателю Чека Бакаеву с попыткой спасти Гумилева рассказал Оцуп в парижских «Последних новостях», и позднее о том же он упоминает в своем предисловии к вышедшей под его редакцией книге: *Гумилев Н.* Избранное. Париж, 1959.

206

Этот эпиграф к разделу «Жемчуг черный» взят из поэмы де Виньи «Самсонов гнев».

207

И снова властвует Багдад… — строфа из стихотворения «Ослепительное», вошедшего в сборник «Чужое небо». Третью строку Немирович-Данченко цитирует неточно. У Гумилева: «Вступает с демонами в ссору». Подстрочное примечание Немировича-Данченко о том, что эти стихи написаны в прошедшем времени, не подтверждается ни публикацией в «Чужом небе», ни предшествующей публикацией в альманахе «Мусагет».